



**НИКОЛАЙ
НИКИТИН**



НИКОЛАЙ НИКИТИН

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ

2

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

Ленинградское

отделение

Ленинград

1968



СЕВЕРНАЯ АВРОРА



Художник
Е. Александрова

Р О М А Н

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Жаркая синяя мгла повисла над городом. Деревья стояли неподвижно, будто чугунные. Близость Невы не освежала раскаленного воздуха. Догорало солнце. Его лучи, проникая сквозь густую листву Александровского сада, освещали часть огромной Дворцовой площади и отражались в окнах Главного штаба.

На гранитном фундаменте этого выкрашенного еще издавна в багровую краску полуциркульного здания, в котором размещался сейчас военный комиссариат Северной коммуны, были расклеены плакаты: «Записался ли ты добровольцем?»

У заглухших клумб, не засаженных в этом году цветами и уже заросших мать-мачехой и крапивой, среди тенистых деревьев и на садовых аллеях, у лениво бьющего фонтана и у памятника Пржевальскому не видно

было гуляющих. Тишину нарушали только выкрики военной команды. Возле Адмиралтейской арки усатый матрос обучал пешему строю группу молодых военных моряков. Стрижи с пронзительным свистом носились над пахучими липами.

Даже этот безобидный птичий гомон казался тревожным художавому, узкоплечему юноше, сидевшему на садовой скамейке. Андрей Латкин так исхудал за зиму, что старенький китель защитного цвета болтался на его плечах, как на вешалке. Но студенческая фуражка с зеленоватым, выгоревшим верхом и синим околышем все-таки была лихо заломлена на затылок.

Все в мире сейчас представлялось Андрею зыбким и ненадежным: увлечение наукой (он учился на математическом факультете), личные интересы, судьба матери, оставшейся в занятом немцами Пскове. Будущее казалось ему особенно тревожным, как только он отвлекался от своих собственных дел и задумывался над тем, что происходило в стране.

Шло тяжелое знойное лето 1918 года.

Немцы разбойничали на северо-западе России и на Украине. Обманутые агентурой Антанты, легионы чехословаков, бывших военнопленных, были использованы ею в момент мятежей на Волге и в Сибири. Белогвардейские генералы, купленные Америкой, Англией и Францией, шли войной против Советов. В Мурманске еще весной высадились интервенты.

Тучи войны сгустились не только на юге, востоке и западе. И здесь, на севере, уже заволакивался горизонт. Выехать из Петрограда и въехать в него можно было только по специальным пропускам. Город был отрезан от основных продовольственных, сырьевых и топливных районов страны. Рабочие получали по осьмушке хлеба на два дня.

Но, несмотря на все трудности и лишения, молодой, революционный Питер жил напряженной, кипучей жизнью. Здесь, в Петрограде, так же как и в Москве, партия создавала Красную Армию — великую армию борцов за счастье народа.

Пролетарский Питер смело глядел в лицо врагу. В эту тяжелую пору питерские рабочие по зову партии большевиков вернулись к своим станкам, чтобы снова на-

ладить военную промышленность. На заглохшей было Выборгской стороне ожили заводы. Оживилась и Невская застава. Задымили фабричные трубы в Московско-Нарвском районе. И старые, прославленные пушечные мастерские Путиловского завода вновь стали выпускать орудия и железнодорожные батареи.

Питерские рабочие думали только об одном: дать как можно больше патронов, снарядов, оружия и одежды бойцам рабоче-крестьянской армии.

Первыми шли в эту новую армию представители закаленного в октябрьских боях питерского пролетариата. Над воротами казарм ярко горели ленинские слова: «Победа или смерть!» Казармы наполнялись вооруженными людьми в косоворотках, кожаных куртках и рабочих блузах...

Андрей Латкин также решил вступить в один из создававшихся красноармейских отрядов. Вчера ему удалось встретиться с комиссаром Павлом Игнатьевичем Фроловым.

Комиссар настороженно и недоверчиво оглядел узкоплечего юношу в студенческой фуражке.

— Имейте в виду, товарищ, — сказал комиссар, — нам, быть может, придется сражаться не только с немцами, но и с нашими бывшими «союзниками». Вы, конечно, знаете, что происходит в Мурманске...

— Знаю, — ответил Андрей. — Я ко всему готов, не могу сидеть сложа руки в этот страшный час. И буду сражаться, не щадя своей жизни, там, где мне прикажет советская власть!

Комиссар, видимо, остался доволен этим ответом. Во всяком случае, через час Андрей был принят в число бойцов первого отряда, именовавшегося отрядом железной защиты.

Отряд стоял на Фонтанке, в Проходных казармах. По распоряжению комиссара Андрей Латкин был назначен культработником, но такой должности в отряде не имелось, и Андрея условно приписали к команде разведчиков, которую возглавлял Валерий Сергунько, восемнадцатилетний паренек, питерский рабочий и красногвардеец. Он знал, что Латкин приписан к нему временно, но, принимая от него документы, сделал вид, что ему ничего не известно.

— О гранате понятие имеешь? — спросил Валерий, окинув строгим взглядом щуплую фигуру стоявшего перед ним студента.

— Нет.

— А из винтовки стрелять тоже, поди, не умеешь?

— Не умею, — чистосердечно признался Андрей.

Валерий обернулся к сидевшему на голых нарах пожилому широкоплечему бойцу с круглым, добродушным лицом:

— Видал, Жарнильский?

Пожилой боец, ничего не ответив, беззлобно ухмыльнулся.

— Ну, ничего... Научим! — важно заметил Сергунько, поигрывая озорными глазами. Он заглянул в документы Андрея: — Латкин? С этой минуты будешь подчиняться мне.

— Есть! — коротко отозвался Андрей. Ему хотелось, чтобы ответ прозвучал лихо, как у заправского солдата, но, видимо, это не вышло, потому что Сергунько переглянулся с Жарнильским и чуть заметно усмехнулся.

Андрей невольно покраснел, нахмурился и твердо решил, что куда-то из команды разведчиков не уйдет и никакой культурной заниматься не будет.

Все это было вчера. А сегодня Андрей Латкин уже сопровождал комиссара Фролова, отправившегося в военный комиссариат Северной коммуны за получением срочных инструкций. После разговора в комиссариате Фролов намеревался побывать в Смольном. Андрея он взял с собой для связи, на всякий случай, так как телефоны в казармах не действовали.

Сидя в саду и дожидаясь комиссара, Андрей следил за людьми, выходящими из углового подъезда Главного штаба. Солнце уже закатилось. Небо слегка потускнело. Приближалась белая ночь.

2

На каменной лестнице Главного штаба горела одинокая электрическая лампочка. Несмотря на летнюю жару, в здании штаба было холодно, как в старинной замковой башне.

Фролов долго ходил по темным коридорам, пока наконец не добрался до приемной. Здесь было почти так же темно, как в коридорах. Настольная лампа под зеленым канцелярским колпаком не могла осветить эту огромную комнату. Из-за письменного стола навстречу Фролову поднялся высокий мускулистый и стройный молодой человек в длинном френче офицера царской армии, но, разумеется, без погон. Волосы его были аккуратно расчесаны на прямой пробор.

Фролов протянул свои партийные документы.

— Прием окончен, — устало сказал молодой человек. — Из какой части?

— Из первого отряда железной защиты. Комиссар Павел Фролов.

— Товарищ Семенковский занят.

— Он меня вызывал. Я явился точно. Как было указано.

— Присядьте, — сказал адъютант. — Я доложу.

Вдоль стен были расставлены массивные старинные кресла. Фролов сел. Окна приемной, обрамленные тяжелыми зелеными портьерами, выходили на Дворцовую площадь.

Адъютант полистал бумаги, затем отложил их в сторону и, закулив, погрузился в чтение какой-то книжки.

Просидев с полчаса, Фролов встал и принялся расхаживать по приемной вдоль длинных и высоких шкафов. За их стеклянными дверцами стояли толстые тома приказов и распоряжений царского военного министерства. Из глубины приемной доносилось тиканье старинных английских часов в узком, высоком футляре красного дерева.

Все в этой парадной комнате раздражало Фролова, начиная с неудобных фигурных кресел и кончая портретами нарядных военных XVIII века в роскошных цветных камзолах с кружевными манжетами и с тоненькими, точно карандаши, шпагами в руках. Из некоторых рам холсты были вынуты. «Царей изъяли», — усмехнулся Фролов.

Впервые он попал сюда в памятную ночь Октябрьского штурма. Это было всего восемь месяцев назад. Сверкающие золотистым блеском паркетные доски трещали тогда под каблуками кронштадтцев. Матросы искали тайную радиостанцию штаба Керенского. С тех пор

Фролову не пришлось бывать в этом здании. Сейчас его возмущало, что выложенный адъютант расположился здесь как дома.

— Когда же Семенковский меня примет? — нетерпеливо спросил он. — Целую ночь мне ждать, что ли?

— Илья Николаевич занят, — сказал адъютант. — У него товарищи из Архангельска: заместитель председателя Архангельского исполкома Виноградов, и губвоенком Зенькович, и еще два штабных генерала.

Фролову показалось, что последние слова были сказаны с особой, почтительной интонацией. «Да уж и ты сам, — подумал он, — не генеральский ли сынок?»

Часы пробили полночь. Часто звонил телефон. Адъютант с видимой досадой отрывался от книги и либо соединял звонивших с Семенковским, либо отдавал распоряжения сам. Все это он проделывал с видом человека, вынужденного выполнять обязанности, которые он глубоко презирает. Кончив очередной телефонный разговор, он тотчас снова принимался за чтение.

Пройдя мимо стола, Фролов заглянул в книгу.

— Английская, — пробормотал он, и раздражение его еще усилилось.

— Вы знаете английский язык? — удивленно спросил адъютант.

— Знаю, — нехотя отозвался Фролов.

Из кабинета вышли два посетителя: молодцеватый лысый здоровяк с длинными усами, в парусиновой толстовке, в кавалерийских бриджах, обшитых желтой кожей, и седобородый старичок в пиджачной тройке. При виде их адъютант встал и звякнул шпорами. Фролов понял, что это и были штабные генералы. Они прошли, не обратив внимания ни на него, ни на адъютанта.

На столе загорелась сигнальная лампочка. Машинным движением оправив френч, адъютант скрылся в кабинете. Вскоре он вернулся в сопровождении еще двух человек. Пропустив их вперед, адъютант обратился к Фролову:

— Илья Николаевич просит вас подождать несколько минут. Он говорит со Смольным. А вас, — он повернулся к людям, только что вышедшим из кабинета, — я попрошу тоже немного подождать. Сейчас я принесу железнодорожные литеры.

С этими словами он вышел из приемной.

Фролов с невольным любопытством рассматривал тех, кого адъютант называл товарищами из Архангельска.

Один из них — человек лет тридцати, в длинном черном пиджаке — был чем-то сильно взволнован. Он вертел в руках старенькую, выгоревшую шляпу. Затем, положив ее на стол и сняв очки в никелевой оправе, он вытер платком свое вспотевшее загорелое лицо с небольшими черными усиками и, обращаясь к другому, резко сказал:

— По существу говоря, он оправдывает Юрьева! Верно, Зенькович?

— Верно, — сдержанно, но с какой-то особенной твердостью в голосе ответил другой.

Это был коренастый, широкоплечий человек. Его манера держаться, аккуратная гимнастерка, туго перетянутая широким кожаным поясом, шаровары защитного цвета, начищенные сапоги, по-солдатски коротко стриженные русые волосы и так же коротко подстриженные усы над упрямо сжатыми губами и, наконец, его властный голос — во всем этом чувствовалась твердость человека, привыкшего командовать. «Военный», — подумал Фролов.

— Это все Троцкий. Он сбил Юрьева... — сказал Зенькович.

— Ну, а сам Юрьев? Что он, младенец? Соску сосет? Не понимает, что делает? Допустить англичан на Мурманское побережье! Да это все равно, что волка впустить в овчарню. Нечего сказать, хорош председатель Мурманского Совета!.. Он, видите ли, верит в то, что англичане действительно хотят помочь России отразить немцев, находящихся в Финляндии и посягающих на советский Север. Да что он, идиот? Нет, он Азеф! Двух мнений быть не может.

— Ты прав, Павлин, — сказал Зенькович, с дружеской улыбкой глядя на своего разволновавшегося спутника. — Но горячиться не надо. Горячка ни к чему.

— Да как можно относиться к этому спокойно? — воскликнул тот, кого называли Павлином. — Ведь Ленин говорил с Мурманском по прямому проводу. Требовал немедленно ликвидировать соглашение с представителями Антанты. Ты знаешь, тогда прямо сказали Юрьеву: «Вы попались». А как реагировал Юрьев на это? Юлил, извивался, как уж. Он предатель. Будь я там,

в Мурманске, я, не задумываясь, собственноручно расстрелял бы его.

События, о которых шел разговор, были известны и Фролову. Он с интересом и сочувствием вслушивался в слова незнакомого человека, с негодованием говорившего о предательстве Юрьева. Словно ощущая это сочувствие, незнакомец обернулся и взглянул на Фролова своими быстрыми блестящими черными глазами. Фролов уже хотел вмешаться в разговор, но в эту минуту дверь кабинета приоткрылась. Оттуда показалась лохматая голова с длинными отросшими волосами. Это был Семенковский.

— Товарищ Фролов? Еще здесь? Прошу.

Комиссар прошел в кабинет.

3

Илье Николаевичу Семенковскому, одному из руководителей военного комиссариата Северной коммуны, было лет тридцать с небольшим. Но морщины, образовавшиеся около губ и глаз от постоянной иронической усмешки, старили его. Гимнастерка с расстегнутым воротом, брюки в полоску, манера жестиковать при разговоре — все обличало в нем штатского. Тем более он старался теперь показать всем окружающим, что в его лице они имеют дело с настоящим военным. Говорил он преувеличенно громким и от этого фальшивым голосом, держался неестественно прямо, а речи своей стремился придать ту отрывистую резкость, которая, по его мнению, должна была сопутствовать каждому военачальнику. Заложив руки за спину, он расхаживал вдоль своего длинного письменного стола, уставленного стаканчиками для перьев и карандашей, бронзовым пресс-папье, подсвечниками и чернильницами.

Разговор начался с того, что Семенковский попросил Фролова рассказать его биографию.

— Хочу познакомиться с вами, — сказал он, так приторно улыбаясь, что это сразу не понравилось Фролову.

— Да что особенного... Ничего особенного в моей биографии нет, — хмурясь, проговорил комиссар. — Участвовал в Свеаборгском восстании... Помните тысяча девятьсот шестой год? Ну, удрал из тюрьмы и до тысяча

девятьсот пятнадцатого года скитался по всяким заграницам. И магросом плавал, и кочегаром, и помощником машиниста. В тысяча девятьсот пятнадцатом году пришел в Мурманск из Англии. Здесь получил амнистию, но остался служить в торговом флоте. На военный-то не взяли... После приезда Ленина окончательно осознал, что мне по пути с большевиками. Вступил в партию. Вот и все! — В заключение Фролов пожаловался на то, что в порядке партийной мобилизации он получил назначение в армию. — А я флотский. Прошу откомандировать меня на флот.

— Какой там флот... — Семенковский махнул рукой. — Вы, товарищ, назначаетесь на Север! Сегодня ночью ваш отряд должен быть готов к выступлению. Ясно?

— Ясно, — ответил Фролов. — Ребята у меня хорошие, молодые. Половина — питерцы, половина — псковичи. Есть и старослужащие. Только я-то сам...

— Что вы-то?

— Я, так сказать, коренной матрос. В пехоте никогда не служил. Есть у меня в отряде два пехотных унтера. Да ведь это все-таки солдаты. Военспеца настоящего нет...

— А как же я? — с хвастливым задором перебил его Семенковский. — Генералам приказы отдаю! По струнке ходят! Научился! Завтра еду в Вологду. Там будет местный центр обороны. Хотят меня в штаб законопатить. Я, конечно, предпочел бы строй.

Семенковский поморщился, делая вид, что недоволен новым назначением. Но Фролов, занятый своими мыслями, не обратил на это никакого внимания.

— Мне бы на Северную флотилию, — твердил он. — Самое подходящее дело. Туда нельзя ли?

Улыбнувшись той особой улыбкой, которую, по его мнению, должны иногда позволять себе снисходительные начальники, Семенковский похлопал Фролова по плечу:

— Во-первых, батенька, говорить о переводе уже поздно. А во-вторых, какие там флотилии! Всех моряков на пешее положение переводим. Документы об отправке получи сегодня же. И... шагом марш!

Он пожал Фролову руку, показывая, что разговор окончен.

— Обратитесь к Драницыну. Он все оформит.

— Это какой? С пробором, что ли?

— Он самый! — Семеновский усмехнулся. — Попал ко мне вместе с мебелью. Между прочим, кадровик! Презирает канцеляршину. — Он помолчал, как бы что-то соображая. — Тебе военспец нужен. Вот и возьми его в свой отряд. Хочешь?

— Не нравится он мне.

— Не нравится? — Тонкие губы Семеновского сами собой сложились в ироническую усмешку. — Не нравится? Ты что, невесту выбираешь? Бери тех, кто идет к нам на службу. Думаешь, мне нравятся мои генералы? Я смотрю на них как на заложников.

— А разве он не едет с вами в Вологду?

— Наотрез отказался. Хочет в строй. Не желает сидеть у чернильницы.

— Воевать хочет?

— Именно! Кадровик. Боевые награды. Судя по послужному списку, отлично зарекомендовал себя в прошлой войне.

— Ну, а вообще-то что он собой представляет? С изнанки-то? Каковы его политические симпатии?

— Насколько мне известно, честный военспец. К тому же артиллерист.

Фролов задумался. У него в отряде вовсе не было артиллеристов. Молодой офицер как будто подходил по всем статьям, но аккуратный прямой пробор, английская книга... Впрочем, на то он и комиссар, чтобы в случае чего...

— Черт с ним! Беру! — Он решительно хлопнул ладонью по столу. — А дальше посмотрим.

4

Драницын был искренне рад перемене в своей жизни. Прежде всего он избавлялся наконец от этого самовлюбленного «штафирки», как он называл Семеновского. Но еще радостнее для него было возвращение к старому, привычному делу.

Драницын думал об этом, шагая по Невскому проспекту вместе с Фроловым и Андреем. Фролов только изредка, словно невзначай, поглядывал на своего военспеца, который был выше его на целую голову.

— Странный человек ваш бывший начальник, — усмехнувшись, сказал Фролов Драницыну. — Как же он мог так в два счета вас отпустить? Ведь все дела в ваших руках...

— Во-первых, я только дежурный адъютант, — ответил Драницын. — А во-вторых, Семеновский усвоил себе такую манеру. Раз, два — и готово. Ему кажется, что это стиль истинного военного.

На Аничковом мосту, возле вздыбленных бронзовых коней, которых удерживают нагие стройные юноши, комиссар остановился.

— Сегодня ночью мы выступаем, — сказал он Драницыну. — Вот вам первая боевая задача. Я вернусь через три часа. К этому времени все должно быть готово.

— Слушаюсь! — ответил Драницын.

Фролов простился со своими спутниками и пешком (тогда все в городе ходили пешком) направился в Смольный.

Некоторое время Драницын и Андрей шли молча.

— Что за человек комиссар? — наконец спросил Драницын. — Кажется, не из разговорчивых.

— Право, не знаю, — ответил Андрей. — Я ведь сам только второй день в отряде. Насколько я могу судить, довольно замкнутый человек. Но в общем и целом как будто симпатичный.

— В общем и целом? — Драницын засмеялся. — Да... Другие люди пришли, — задумчиво проговорил он. — Мне сначала казалось, что все большевики одинаковые, и только теперь я начинаю понимать, до чего они разные. Вы, конечно, непартийный?

— Да, я не в партии, — ответил Андрей.

— Я так и думал. Но, очевидно, сочувствуете большевикам, раз пошли к ним в армию?

— Да, во многом сочувствую. Во всяком случае, большевики мне гораздо ближе, чем Керенский. Керенщину я просто презираю. Я уже не говорю о царизме...

Драницын вскинул глаза на Андрея и сейчас же опустил их. Он остановился, свернул папиросу и протянул Андрею жестянку с табаком.

— Что же вы меня не спросите, почему я в большевистской армии? Ведь вы думаете сейчас об этом?

— Думаю, — смущенно признался Андрей.

— Только что я исповедовался, — не замечая его смущения, продолжал Драницын. — Комиссар ваш допрашивал меня: «Какое верую». Бояться нашего брата, офицера. — Он покачал головой. — Но и офицеры бывают разные.

Снова наступило молчание.

— А чем я лучше пролетария? — вдруг сказал Драницын. — Так же гол как сокол. Вся моя собственность — только шпага! Я сказал об этом комиссару, но до него, по всей вероятности, не дошло. Вряд ли он понял меня.

— Не думаю, — возразил Андрей. — Он, по-моему, человек сообразительный.

Драницын пожал плечами.

5

В середине ночи отряд был поднят.

Когда Фролов вернулся из Смольного, повозки с имуществом уже стояли на набережной Фонтанки. Комиссар принял от Драницына первый рапорт.

— Замучились, товарищ комиссар? — по-домашнему спросил Драницын, закончив официальную часть разговора.

— Пустяки, — холодно ответил Фролов. Он понял, что военспец хочет держаться с ним запросто. «Не торопись, братец. Сначала покажи, на что ты способен», — подумал он.

Отряд в полтора человека, одетых по-разному, но снабженных винтовками и пулеметами, промаршировал по городу. Выйдя на грязную Полтавскую улицу, люди столпились у ворот товарной станции. Несколько спекулянтов, опасаясь облавы, дожидались именно здесь, а не у вокзала приезда мешочников с продуктами, мешочники пробирались в город как бы с черного хода.

Цены стояли невероятные.

Бойцы расселись на ступеньках подъезда здания товарной конторы. Некоторые прилегли на земле у забора, за которым находились пакгаузы. Одни подремывали, другие балагурили. Тут же пристроились и пулеметчики

с тупорылыми пулеметами системы Лебедева или Максима.

Фролов — с карабином за плечом, в потертой солдатской шинели, в черной морской фуражке с белым калитом — по внешнему виду ничем не отличался от своих подчиненных.

Один из спекулянтов — бородатый мужичонка с бегающими по сторонам глазками — подошел к бойцам.

— Опять на фронт, служивые? — ухмыляясь, спросил он Фролова. — Что и говорить, «мир да мир»... А теперь снова кровь проливать. Вот оно, вранье комиссарское.

Глаза Фролова сузились от гнева; мужичонка попятился и побежал к воротам.

— Ах ты, гидра!.. Контрик! — заговорили бойцы. — Кто производит голод? Они, товарищ комиссар, такие элементы.

Несколько человек кинулись вслед бежавшему. Спекулянт был пойман. Комиссар приказал отправить его в комендатуру.

— Пришить его на месте, мародера, — сказал чей-то спокойный голос. — Всего и делов! Чтоб не распространялся!

Андрей Латкин, сидевший поодаль, обернулся и узнал Жарнильского. Он хотел с ним заговорить, но тут пронзительно засвистел паровоз, и сразу все пришло в движение. Толпа бойцов, стоящая в проезде возле конторы, зашумела. Взводные командиры направили людей в ворота, к станционным платформам с деревянными наветсами. Эшелон, состоявший из теплушек, был уже подан. Началась погрузка.

Ровно в полдень маршрут срочного назначения тронулся и под перестукивание вагонных колес, скрипения осей, звуки гармошки стал набирать скорость.

Миновав Обухово, поезд свернул на северную линию. Навстречу потянулись чахлые рощи, унылые полустанки, болота. После задыхающегося от жары огромного пыльного Петрограда люди радовались даже этой бедной природе и скудной зелени пригородов. В одной из теплушек стройно запели «Вихри враждебные веют над нами...» В середине эшелона к стенке одного из вагонов была прибита гвоздями полоска кумача с надписью: «Прочь, гады, от Красного Питера!»

В тот же день, только пассажирским поездом, покинули Петроград и товарищи из Архангельска — Павлин Виноградов и Андрей Зенькович, — с которыми комиссар Фролов столкнулся в приемной Семеновского.

В вагоне было тесно и очень душно, несмотря на открытые окна. Поезд подолгу стоял на полустанках и разъездах, уступая дорогу воинским эшелонам. На узловых станциях было особенно оживленно. Военная тревога ощущалась и в разговорах пассажиров.

На станции Мга Павлин Виноградов с трудом достал кипятку. Зенькович вытащил скудный паек, полученный на двоих, и они поужинали. Наступал вечер, в вагоне стало темно. Сидевший напротив Павлина Зенькович дремал, а Павлин, примостившись у окна, глядел на бесконечно бегущие мимо телеграфные столбы. Ему не спалось. В голове мелькали обрывки питерских встреч и разговоров; напряженно и тревожно думалось о том, что еще совсем недавно было пережито в Архангельске.

Павлин Виноградов приехал в Архангельск из Петрограда только четыре месяца назад. Но как-то сразу и люди, и бледное, северное небо, и леса, и болота, и тундра — все показалось ему давно знакомым и близким. Великолепие широкой и полноводной Северной Двины, мощный размах ее необозримого устья покорили его с первого взгляда. Теперь, попав в Петроград на короткое время, Павлин скучал и по Двине и по деревянному городу, стройные кварталы которого на много верст свободно и привольно раскинулись по правому берегу реки. Тогда Павлин уезжал из Питера ненадолго: предполагалось, что он пробудет в Архангельске несколько недель. Но все сложилось иначе. В июне переизбирался Архангельский Совет, надо было очистить его от меньшевиков и эсеров. Павлин выступал на митингах в Соломбале и беспощадно громил тех и других как яростных врагов советской власти. Рабочие Соломбалы избрали его своим депутатом. На первом же заседании Совета он был избран заместителем председателя. Все это произошло так быстро, что Павлин даже не успел удивиться резкой перемене, происшедшей в его судьбе. Нет, он не жалел, что ради Архангельска покинул родной Питер.

Павлин родился под Питером, в городе Сестрорецке, знаменитом своим оружейным заводом. Отец его работал на Сестрорецкой табачной фабрике. После смерти отца двенадцатилетним мальчиком Павлин поступил на оружейный завод. Надо было как-то жить и кормить семью. «Да видел ли я детство? Ну конечно, видел! А лодки? А купание в Финском заливе? А Корабельная роща? А деревня Дубки?»

Павлин невольно усмехнулся. Все-таки детство его было слишком коротким...

А затем юность... Питер, Васильевский остров, гвоздильный завод, Семяниковский завод за Невской заставой, Смоленские вечерние классы, революционные сходки, столкновения с полицией на заводском дворе и, наконец, 9 января...

Да, 9 января. Он шел тогда к Зимнему дворцу вместе с рабочими своего завода. Царские войска стреляли. Конные жандармы и казаки топтали людей. Кровь на снегу увидел тогда Павлин, алые пятна крови своих друзей и товарищей. «Нет, этот день не забудется никогда. Быть может, он и определил всю мою жизнь», — думал Павлин, прислушиваясь к стуку вагонных колес.

«Да, юность была буйной. Пылкие речи, революционные надежды... Сколько романтики, сколько хорошего!»

— Хорошего? — вслух повторил Павлин и невольно обернулся. Нет, никто его не слышал. Зенькович мирно дремал, сидя на своей полке.

«Что же хорошего? — Павлин снова усмехнулся. — Солдатчина, военный суд за революционную пропаганду среди солдат, Шлиссельбургская крепость, снова суд, а затем Сибирь, каторга, Александровский каторжный централ...»

Поезд замедлил ход, вагон лязгнул буферами и остановился.

— Какая станция? — сонным голосом спросил Зенькович и громко зевнул.

— Разъезд, — ответил Павлин, высываясь из окна. — Спи.

Раздался резкий паровозный гудок. Поезд тронулся, и за окном снова — сначала медленно, потом все быстрее — побежали телеграфные столбы.

Павлин посмотрел на Зеньковича. Тот уже спал в своем углу, запрокинув голову и сладко похрапывая.

Они познакомились недавно. Павлину, как заместителю председателя Архангельского исполкома, часто приходилось иметь дело с Андреем Зеньковичем и по исполкому и по губернскому военному комиссариату. Несмотря на недавнее знакомство, они быстро сошлись и теперь все знали друг о друге.

Зенькович, так же как и Виноградов, не был кореным архангельцем, или, как говорят на Севере, архангелогородцем. Он родился на Смоленщине, в юности был осужден царским правительством за революционную работу и долгие годы провел в сибирской ссылке. Когда началась мировая война, его мобилизовали и направили в иркутскую школу прапорщиков. Почти все годы войны он провел на фронте. Тяжелые, кровопролитные бои, в которых ему поневоле пришлось участвовать, казармы и окопы, ранения и контузии, томительные месяцы в прифронтовых госпиталях и, с другой стороны, дружба с солдатами, революционная пропаганда в армии, надежды на близость революции и на победу трудового народа — так складывалась жизнь Зеньковича вплоть до октября 1917 года.

Павлин Виноградов и Андрей Зенькович были людьми совершенно разных характеров. Но порывистого и горячего Павлина сразу потянуло к Зеньковичу, всегда казавшемуся уравновешенным и спокойным. Это тяготение было взаимным: будучи вместе, они словно дополняли друг друга. Каждый чувствовал в другом прежде всего беспредельную преданность тем идеям, в которые они, как большевики, глубоко верили и за победу которых, не задумываясь, отдали бы жизнь.

Сейчас, сидя в темном вагоне и напряженно думая о прошлом и будущем, Павлин почти с нежностью вглядывался в смутно различимое лицо своего верного товарища и друга. «С такими людьми, как Андрей, — подумал Павлин, — нам не страшны никакие бури».

Где-то вдали прокатился гром. Свежий ветер ворвался в открытое окно, и в вагоне запахло лесом и скошенными травами. Сразу стало легче дышать. Крупные капли дождя забарабанили по крыше вагона.

«Вперед, без страха и сомнений», — вдруг вспомнилось Павлину.

Над самой крышей вагона что-то оглушительно треснуло, и тотчас хлынул бурный, неудержимый летний ливень.

Павлин привстал и, опираясь руками о вагонную раму, насколько мог, высунулся из окна. Молодая березовая роща трепетала от дождя и ветра. Тонкие стволы деревьев сгибались, листва буйно шумела, и во всем этом было столько молодости и силы, что Павлин невольно залюбовался. Подставляя голову дождю, он жадно вдыхал запах летней грозы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Пробило пять часов. На передвижном столике остыла чашка с чаем буро-кирпичного цвета. Была суббота, уикэнд (конец недели), и Уинстон Черчилль торопился поскорее выехать из Лондона к морю, в Брайтон. Машина ждала его на дворе Уайт-холла.

Консультант Черчилля, военно-политический писатель Мэрфи, носивший мундир полковника и служивший в военном министерстве, докладывал своему шефу о событиях на французском фронте. Черчилль слушал его невнимательно. «На кого Мэрфи похож? — рассеянно думал он. — Пожалуй, на молочник».

Он улыбнулся своим мыслям.

— Продолжайте, мой дорогой, я слушаю...

Свою карьеру Черчилль начал двадцать лет назад рядовым офицером, участником нескольких колониальных кампаний. Затем он перешел к журналистике и, наконец, стал парламентским дельцом, членом военного кабинета. Когда один из писателей-историков того времени назвал его яростным слугой империализма, Черчилль рассмеялся.

— Нет! Это неправда, — сказал он. — Я жрец его, как Савонарола был жрецом бога.

Крылатая фраза еще более укрепила его положение в капиталистическом мире.

Разложив по столу отпечатанные на веленовой бумаге донесения Хейга, командующего английскими

войсками во Франции, консультант Мэрфи рассказывал министру о делах Западного фронта.

— Германский штаб готов к наступлению, не известен только час этого наступления, — говорил Мэрфи. — Фош также готовит контрудар. Но планы Фоша и Петэна противоположны. Хейг колеблется между ними. Положение весьма опасное!

— Чем оно опасно? — с раздражением перебил его Черчилль. — Если до июня мы продержались, так теперь... При малейшей удаче мы расколотим Германию вдребезги! Даже в худшем случае обстановка не изменится. В конце концов немцы — это только немцы! Что нового из Москвы? — спросил он неожиданно.

Черчилль с первых дней возникновения Советской России враждебно относился к ней, внимательно следил за русскими событиями.

Консультант подал ему пачку расшифрованных телеграмм.

Одобрительный возглас вырвался у министра, когда он проглядел донесения Локкарта, английского агента, находившегося в Москве.

— Что нового из Мурманска?

— Там события развертываются...

Вялым, протокольным языком Мэрфи сообщил Черчиллю, что английские отряды, спустившись по железной дороге к югу от Мурманска, заняли Кандалакшу, Сороку и Кемь.

— В рапортах указывается, что Кемский Совет разогнан, стоявшие во главе его лица расстреляны, — докладывал Мэрфи. — Десятки людей, даже и не принадлежащих к большевистской партии, но известных своими советскими убеждениями, взяты в Кемии контрразведкой и заключены в тюрьму. Слухи об этом докатились до Архангельска. Архангельск встревожен и возмущен.

Мэрфи вздохнул. Он любил щегольнуть своей активностью и даже при Черчилле старался это подчеркнуть. Кроме того, он был в ссоре с генералом Пулем и негодовал на этого генерала, находившегося сейчас в Мурманске. Пуль, по его мнению, поторопился, прежде времени раскрыв карты.

Но, увидев, что Черчилль улыбается, Мэрфи умолк.

— Разве вы одобряете это, сэр? — спросил он после паузы.

— Да, — продолжая улыбаться, ответил Черчилль. — Все это сделано с моего ведома.

— Опрометчивый шаг! Ведь у Англии еще не развязаны руки. Пока существует Западный фронт...

— Пустяки! — резко оборвал его Черчилль. — Против большевиков немного требуется. Кроме того, говоря откровенно, большевики для меня страшнее немцев. Они разжигают революционные идеи во всем мире! Вот что опасно!

— Но, позвольте... Это же помешает английской пропаганде! — Мэрфи пожал плечами. — Мы явились в Мурманск якобы для того, чтобы оказать русским помощь... Мы даже официально назвали это помощью России против германских субмарин, будто бы рыщущих где-то в районе русской Арктики... Правда, и слепому ясно, что Германии сейчас не до субмарин... Впрочем, о субмаринах еще можно говорить, хотя это и смешно! Но то, что проделывает Пуль... Это же — вооруженное нападение!

Сейчас он разговаривал не как подчиненный, а как человек, считающий своим долгом предостеречь старого приятеля от необдуманных поступков.

— Я все предусмотрел! — сказал Черчилль. — От Германии скоро останется только пепел. Мы разобьем ее. Руки у нас будут развязаны. Словом, Мэрфи, нечего спорить! Пора начинать войну на Востоке, разрушить этот Карфаген.

— Вы считаете Советскую Россию Карфагеном? — возразил ему Мэрфи. — По-моему, это еще младенец в колыбели.

— Ну, так в колыбели мы его и утопим! — сказал Черчилль.

— Они закричат об интервенции.

— Пусть кричат, — Черчилль с брезгливым видом пожал плечами.

Мэрфи удивленно выкатил свои мертвые, точно искусственные, стального цвета глаза. Остряки утверждали, что на их обратной стороне имеется надпись: «Сделано в Шеффилде».

— Но как быть с Кемью? Ведь и у нас за это дело непременно схватятся некоторые либеральные газеты.

— Адмирал Николлс в Мурманске?

— Да.

— Пусть съездит в Архангельск, успокоит нервы большевикам. А для газет составит успокоительную информацию. Это необходимо и для так называемых прогрессивных деятелей... и чтобы рабочие не волновались. Словом, это необходимо как политически, так и стратегически.

Черчилль подошел к чайному столику и допил чай.

В запасе у него был самый крупный козырь, ради которого он, собственно, и вызвал своего консультанта. Мэрфи не из тех, кто только поддакивает. Поэтому он и хочет посвятить его в свои планы, осуществлением которых должен немедленно заняться генерал Пуль. С французами эти планы уже согласованы.

Подойдя к карте севера России, Черчилль показал на три линии: от Мурманска на Петроград, от Архангельска на Москву и от Архангельска на Котлас.

— Последнее направление очень важное! Северодвинское! Здесь мы должны соединиться с армиями Колчака и чехословаками. Здесь — у Котласа или у Вятки. Мы ударим на них с Урала и с юга, и тогда большевистская Мекка упадет к нам в руки сама, как перезрелый плод. Как вам это нравится?

— Очень интересно! — сказал Мэрфи. — Но ведь адмирал Колчак — это же просто пешка... Кажется, сейчас он в Харбине? По нашему заданию он формирует там дальневосточный фронт против большевиков.

— Он будет в Сибири!.. А потом и за Уральским хребтом. Это решено. И в самое ближайшее время я...

— Сделаете пешку ферзем! — с поспешной улыбкой подказал Мэрфи.

Черчилль похлопал его по плечу. При всех своих недостатках Мэрфи все-таки именно тот человек, на которого можно положиться.

— Послушайте, Уинстон, — сказал Мэрфи. — Я сегодня получил интереснейшую информацию.

— Да? — Глаза министра блеснули.

— Соединенные Штаты уже понимают, что Германия на пределе, что война скоро кончится... Они тянут руки к России. Их интересуют лес, нефть, медь... Благодаря американскому Красному Кресту, Русско-Американской торговой палате и железнодорожной комиссии, которая была послана еще при Керенском, в России действуют сотни, если не тысячи, американских агентов.

— Ну?

— А что же мы? — Мэрфи развел руками. — Будем таскать для них каштаны из огня? А они будут стоять за нашей спиной и наживать капиталы!.. Мы становимся кондотьерами Америки. Америка — гегемон?

— Да, — сказал Черчилль улыбаясь. — Другой позиции нет и не может быть. Американцы мечтают о полном захвате России... Я это знаю. Они мечтают путешествовать из Вашингтона в Петроград без пересадки... Но на этом деле заработаем и мы! Довольно вопросов, Мэрфи! Вы не политик. Садитесь и пишите.

Закурив сигару, Черчилль стал диктовать распоряжения к занятию Архангельска. Мэрфи записывал. Министр требовал от генерала Пуля полного сохранения тайны. Все скоро должно произойти, но ни в Мурманске, ни в штабе оккупационных войск до поры до времени никто не должен ничего знать.

Черчилль ткнул толстый окуроч в пепельницу. «Да, Карфаген будет разрушен!» — опять подумал он.

Кончив диктовать и простившись с Мэрфи, он покинул кабинет, довольный тем, что за такой короткий срок, даже не докурив сигары, успел решить столько важных, огромных, исторических, по его мнению, вопросов.

Часовые, стоявшие с обнаженными палашами по обе стороны ворот, украшенных каменными фигурами, отдали ему честь.

Шофер, выскочив из своей кабины, открыл дверцу автомобиля. «Роллс-ройс» плавно выкатил из Уайт-холла. Вспыхнуло электричество под особыми колпаками на фонарях, делающими свет невидимым сверху. В дымном городе, насквозь пропахшем бензином, еще существовало затемнение. Шла мировая война. Германия еще воевала с Англией. Однако немецкие аэропланы уже не бомбили Лондон. И все-таки на Трафальгар-сквере круглые фонари были прикрыты чехлами из зеленой материи.

Черчилль уже проезжал через Брайтон, наслаждаясь свежим йодистым запахом моря, а Мэрфи все еще работал в шифровальной. Оттуда радиотелеграммы в экстренном порядке передавались дежурным телеграфистам. Они, вызвав Мурманск, посылали указания правительства в эфир.

Получив распоряжение съездить в Архангельск и «успокоить нервы большевикам», адмирал Николлс решил выполнить это немедленно.

Десятого июля его яхта «Сальвадор» остановилась на Архангельском рейде. Николлс, длинный, костлявый человек с постным лицом пастора, испещренным красными прожилками, спустился в катер, на котором встретил его английский консул Юнг. На пристани адмирал и сопровождавшие его лица разместились в двух парных колясках. Вскоре нарядные экипажи подъехали к большому белому дому с колоннами, где раньше было губернское присутствие, а теперь помещался исполнительный комитет.

Прохожие толпились на дощатых тротуарах, с недоумением и неприязнью разглядывая коляски, лошадей, матроса с красными нашивками и значками, застывшего рядом с кучером на козлах первой коляски.

Неподалеку от церкви Михаила Архангела, у причалов, качался на волнах белый катер под английским флагом.

Несколько матросов в синих шапках с короткими ленточками вышли на берег. Покуривая трубки, они весело сплевывали и подмигивали жителям, угрюмо смотревшим на них сверху, из-за деревянного парапета.

В двух шагах от матросов сидели на корточках несколько босоногих, вихрастых мальчишек. Матрос, с багрово-синими щеками и большим горбатым носом, вынул из кармана сигарету и кинул мальчишкам. Один из них потянулся за ней. Но другой — постарше — двинул его по затылку. Тот пугливо оглянулся и спрятался за спины ребят.

— Что дерешься?

— Сам знаешь, — пробормотал голенастый подросток и с нескрываемой ненавистью поглядел на чужеземного матроса.

Сидя в кресле у письменного стола, адмирал Николлс негромко и уверенно говорил о том, что сведения об английских бесчинствах в Кемии невероятно раздуты. Юнг

переводил его слова на русский язык. Он много лет прожил в Архангельске и говорил по-русски чисто, иногда даже окая, как северянин.

Зенькович сидел за столом, а Павлин Виноградов стоял за спиной у адмирала возле большого окна с полукруглыми фрамугами.

— Если бы слухи, дошедшие до вас, соответствовали действительности, — все так же негромко продолжал адмирал, глядя прямо в глаза Зеньковичу, — я первый, открыто и никого не стесняясь, выразил бы свое возмущение. Но ничего этого не было. Даю слово.

— Русская пословица говорит, что дыма без огня не бывает, — вмешался Павлин. — Что же все-таки было в Кемии?

Адмирал оглянулся. Войдя в кабинет, он не обратил внимания на этого темноволосого, коротко постриженного человека в очках. Он показался Николлсу одним из служащих Совета. Адмирал посмотрел на Юнга, спрашивая взглядом: «Надо ли отвечать?»

«Надо», — одними глазами ответил Юнг.

— Уверю вас, слухи не соответствуют действительности, — твердо повторил адмирал. — Я обещаю в самые ближайшие дни лично расследовать все это дело, — продолжал он, снова обращаясь к Зеньковичу. — Мое следствие будет беспощадно к лицам любого чина. И совершенно объективно! Такие инструкции я получил от военного министра.

— Вы предполагаете лично посетить Кемь? — спросил Павлин.

— Да, конечно!

— Когда именно?

— На обратном пути отсюда. Завтра я предполагаю отплыть.

— Завтра?.. — переспросил Павлин и после минутного раздумья решительно объявил адмиралу, что представители Архангельска считают необходимым принять участие в расследовании.

Николлс почесал нос и снова посмотрел на Юнга.

«Следовало бы отказаться, но это, кажется, невозможно», — говорил взгляд адмирала.

«Совершенно невозможно», — по-прежнему одними глазами ответил Юнг.

— Конечно, поедemте вместе... Я согласен! — весело проговорил адмирал, поднимаясь. Он протянул Зеньковичу свою длинную руку с той особенной английской улыбкой, которая как бы говорит: «Смотрите, какой я простой, добродушный человек».

Оставшись наедине с Павлином, Зенькович облегченно вздохнул.

— Мне легче одному погрузить пароход, чем разговаривать с этими людьми.

Павлин рассмеялся.

— Да, плохие мы с тобой дипломаты. Но ехать надо. Непременно надо. Иначе этот костлявый черт обведет нас вокруг пальца.

4

На следующий день яхты «Горислава» и «Сальвадор» одновременно покинули архангельский рейд, взяв направление на Кемь. На «Сальвадоре» шел английский адмирал Николлс. На «Гориславе» находилась советская делегация, возглавляемая Павлином Виноградовым.

Вечером двенадцатого июля обе яхты вошли в Кемскую бухту.

На внешнем, открытом рейде Кемской губы виднелись стоявшие на якорях советские пароходы. Они были уже не под красным флагом, а под царским, трехцветным. На некоторых из них висел даже британский флаг. Крутая зыбь покачивала английский, с низкими бортами тральщик «Сарпедон». Он стоял, угрожающе выставив свои пушки в сторону бухты, в сторону Попова острова и по направлению к матерiku, где раскинулся избяной городок.

Вечернее розовое солнце, окутанное пеленой тумана, странно двоилось в мутных облаках. Полоска черных лесов змейкой вилась по берегу. Каменистые дюны были завалены баркасами, рыбацкими лодками, лежавшими либо на боку, либо вверх днищами. На побережье и на пароходах почти никого не было видно. Лишь на деревянном пирсе, выходившем в бухту, толпилось несколько десятков вооруженных английских солдат. Ни дыма на рейде, ни распущенных парусов, ни пароходных гудков, ни одного паровозного свистка с портовой ветки, идущей к вокзалу в Кемь... Порт безмолвствовал.

Два маяка с Попова острова подмигивали вдаль белыми огнями. Передний маяк работал с проблеском в полсекунды. Задний, восточный, — с проблеском в три десятых. Все было тихо, только чайки с криками носились над водой, выискивая добычу.

Через час после прибытия в Кемь советская делегация — Павлин Виноградов, Зенькович и переводчик, одновременно выполнявший обязанности секретаря, — была приглашена на борт «Сальвадора».

Николлс встретил делегацию дружески. Сегодня он был одет по-парадному — в длинном морском сюртуке, сидевшем на нем свободно, как пальто...

Стюард в накрахмаленной белой куртке принес в адмиральскую каюту графин бренди и тяжелые корабельные рюмки из литого стекла. В каюте приятно пахло смолой, морем, деревом и пряным табаком. Николлс сказал, что заседание комиссии придется отложить до завтра, так как английский комендант Кеми и его офицеры находятся в отъезде. Раньше он этого, к сожалению, не знал... Капитан Томсон, командир крейсера «Ат-тентив», ведающий реквизируемым морским транспортом, также прибудет только завтра. Сейчас он находится в Сорке, и за ним специально будет послан тральщик «Сарпедон». Собирать комиссию без Томсона и коменданта, заявил Николлс, не имеет никакого смысла.

— Подождем! Ждать лучше, чем догонять, — шутиливо сказал он, обращаясь к Павлину Виноградову. — Вы ведь, кажется, любите русские поговорки?..

Зная, что Виноградов возглавляет советскую делегацию, адмирал относился к нему с особой предупредительностью.

— Как видите, в Кеми полный порядок, — прибавил он, показав рукой на бухту.

Но Павлин как будто и не слышал этих слов.

— Мы сойдем на берег, — беспечным тоном сказал он. — Проедем пока в Кемь.

Адмирал покачал головой и дотронулся до рюмки с такой осторожностью, словно боялся, что раздавит ее одним прикосновением пальцев.

— Я прошу вас этого не делать.

— Это просьба или приказ? — невольно усмехнулся Павлин.

Адмирал сделал удивленные глаза.

— Разве я могу вам приказывать? Мурманский край-вой Совет телеграфно запретил... Обратитесь к председателю Совета господину Юрьеву. Кемь сейчас также в его ведении.

— Разговаривать с этим вашим лакеем я не намерен, — твердо сказал Павлин, глядя прямо в глаза адмиралу и с трудом сдерживая гнев.

Не медля больше ни секунды, он поднялся с кожаного дивана. Стюард подал ему макинтош и старую черную шляпу. Павлин не спеша, будто испытывая терпение стюарда, оделся, кивнул Николлсу и вышел из каюты. Зенькович и переводчик последовали за ним.

— А ну его к черту! — на ходу сказал Павлин Зеньковичу. — Пропади он пропадом! Лицемерная сволочь!..

Спустившись по трапу на вельбот и отчалив от яхты, он приказал гребцам, вопреки требованию Николлса, плыть прямо в порт, к Попову острову.

На палубе «Сальвадора» появился Николлс. Офицеры, окружавшие адмирала, что-то ему говорили и показывали пальцами на вельбот. Но адмирал только махнул рукой.

Павлин усмехнулся.

— Нервничают... — сказал он Зеньковичу, сидевшему рядом с ним на корме вельбота.

5

Через два часа делегация вернулась на «Гориславу». Яхта стояла, болтаясь, как поплавок, на мелкой зыби. Молочно-белое и густое, как парное молоко, небо на горизонте смыкалось с водой. Началась мучительная, бессонная ночь. Павлин и Зенькович молча ворочались на своих койках, снова и снова вспоминая все, что им пришлось услышать сегодня в Кемь.

Капитан порта Попова острова и сотрудники морского хозяйства с возмущением и негодованием рассказали Павлину и Зеньковичу о делах союзников в Кемь. Они называли фамилии расстрелянных советских людей и долго перечисляли все те бесчинства, которые начались после вступления в Кемь английских войск. Оказа-

лось, что дело зашло гораздо дальше, чем Павлин предполагал. Аресты и расстрелы продолжались. Советской власти в Кемь уже не было; вместо нее возник самочинный городской совет из меньшевиков и эсеров.

В каюте было жарко. Павлин беспрестанно пил воду. Он подошел к Зеньковичу, лежавшему на койке.

— Мы правильно сделали, что приехали сюда, — горячо заговорил Павлин. — Видеть все собственными глазами! Знать не по слухам, а точно... Это необходимо!.. Необходимо Москве, Ленину! Кроме того, — волнуясь, продолжал он, — я надеюсь освободить кое-кого из арестованных. Я решил категорически это требовать.

— Попробовать можно, — отозвался Зенькович, — только смотри, как бы нас самих не зацапали...

Зенькович встал. Они вышли на палубу. Свежий ночной ветерок шевелил полы шинели, которую военком, выходя, накинул на плечи.

— Что будет завтра? — спросил Зенькович, и в голосе его прозвучала тревога.

— Завтра? — переспросил Павлин. — На заседании предъявим свои требования. Мне, кажется, все ясно.

— Я не о заседании. Тут-то действительно все ясно. Я о будущем... О войне. Капитализм наступает на нас, как хищный зверь. Кровь уже капает с его окровавленной морды. Наша кровь... Ты видишь, что с каждым часом наша страна все больше превращается в поле битвы, в военный лагерь. Нынче каждый советский человек должен стать прежде всего бойцом... воином революции... Как мы будем отражать врага? Какими средствами? Вот это надо обдумать.

Две строгие, суровые линии обозначились у Зеньковича на лбу. Он взял Павлина под руку, и они долго шагали по палубе, разговаривая о предстоящих событиях.

Остаток ночи они решили провести на палубе. Здесь легче дышалось. Зенькович расстелил свою шинель, оба растянулись на ней и сразу уснули.

6

Заседание на «Сальвадоре» состоялось днем. Каюткомпания быстро заполнилась английскими офицерами. Все расселись за длинным овальным столом, покрытым

синей суконной скатертью. Адмирал Николлс открыл заседание и предоставил слово капитану Томсону.

Командир «Аттентива» давал объяснения с таким веселым лицом, как будто рассказывал смешные анекдоты. По его словам, пароходы «Соломбала», «Михаил Кази», «Север», «Новая Земля», «Михаил Архангел» понадобились английским властям только для перевозок.

— Военных, конечно? — жестко перебил его Зенькович.

— Разумеется.

— Но ведь вы захватили их вооруженной силой? Ваш крейсер стрелял по «Михаилу Кази». Это точно установлено... Есть свидетели.

— Я стрелял холостыми, — с улыбкой возразил Томсон.

— А если бы пароходы не подчинились? — спросил Павлин.

— Тогда я принудил бы их к повиновению боевым зарядом, — все еще улыбаясь, ответил Томсон. — Это закон войны!

— Закон войны? Значит, вы находитесь с нами в состоянии войны? Так следует понимать ваши слова?

Щеки Николлса побагровели.

— Капитан Томсон не знает, что говорит, — с раздражением взглянув на командира «Аттентива», сказал он. — Позвольте мне разъяснить. Мое правительство находится в дружбе с советским правительством. Что же касается до Мурманска, так ведь он просто отпал от вас, не состоит под эгидой Москвы и управляется сейчас по своей собственной воле. Так следует рассматривать данный инцидент. Но мы не вмешиваемся в ваши внутренние дела... Пароходы, о которых здесь шла речь, приписаны к Мурманскому порту. Мы в данном случае только поддерживали требования Мурманска.

— Требование кучки изменников! — с гневом воскликнул Павлин.

Адмирал снисходительно улыбнулся:

— Извините меня, в России сейчас такой хаос, что мы не знаем, какую власть считать законной. Нам приходится считаться только с фактами.

— Господин адмирал, — резко сказал Павлин, — следует считаться только с тем несомненным фактом, что

единственная законная власть в России — это советская власть.

Павлин готов был вскочить, крикнуть, обозвать адмирала лицемером и негодяем, но он сдержал себя и, заложив руки в карманы пиджака, сжав кулаки, обратился к секретарю советской делегации.

— Прошу вас точно фиксировать все, что здесь говорится... все до единого слова!

Он повернулся к Томсону:

— Почему вы переменили флаги на советских пароходах?

Адмирал многозначительно посмотрел на своего подчиненного. Но легкомысленный курносый офицер Томсон не обладал проницательностью консула Юнга — с ним нельзя было разговаривать взглядами.

— Красный флаг — символ советской власти, а население против большевиков, — не задумываясь, объявил капитан крейсера. — Кроме того, я желал обезопасить пароходы от германских подводных лодок.

— Население против большевиков? Неужели? — не скрывая своей насмешки над офицером, сказал Павлин. — А вы знаете, как реагирует на ваши действия население Архангельска? Оно возмущено, оно протестует. Впрочем, я напрасно говорю вам об этом. До населения Архангельска вам так же нет дела, как и до населения Мурманска или Кемь. Поговорим лучше о германских подводных лодках.

Он обернулся к адмиралу.

— Согласно гарантии, данной советскому правительству, германские подводные лодки не станут топить суда под красным флагом. Но эта гарантия не распространяется на суда под трехцветным флагом — флагом царской России, навсегда прекратившей свое существование. И уж конечно, она не распространяется на суда, идущие под английским флагом. Теперь скажите, может ли перемена флага обезопасить наши пароходы от германских подводных лодок?

Офицеры зашептались. Некоторые из них с интересом смотрели на Павлина.

— Вы правы, — бросив на Томсона злобный взгляд, сказал Николлс.

— Кроме того, — продолжал Павлин, — перемена флага означает перемену власти. Очевидно, командир

«Атентива» собирался свергнуть советскую власть. Не так ли?

Адмирал замялся.

— Это, конечно, не так... Капитан Томсон просто не обдумал своего поступка... Намерения у него были самые лучшие...

Павлин переглянулся с Зеньковичем.

— Нам все ясно, — сказал он. — Предлагаю перейти к следующим вопросам. Как вы объясняете расстрелы, учиненные вами?

— Какие расстрелы? — воскликнул английский коммандант Кеми, толстый и коротконогий полковник Грей. — Я протестую! Ваш большевик сам стрелял из револьвера, и поэтому...

— А вы не стреляли бы? — резко возразил Павлин. — Если бы ночью в вашу канцелярию ворвалась вооруженная банда, разве вы не стреляли бы? А за что тут же на месте вы убили секретаря Совета студента Малышева и гражданина Вицупа?

— Вицуп был с винтовкой...

— Но он же не стрелял! Ствол его винтовки чистый, без нагара. Обойма полная. Да если бы он и выстрелил, то в его поступке не было бы ничего предосудительного. «Мой дом — моя крепость». Так, кажется, любят говорить ваши соотечественники?

— Простите, господин Паулин Виноградов, — приподнимаясь с кресла и не глядя на Павлина, сказал адмирал. — Английское командование очень огорчено всем случившимся. Но позволительно думать, что эти безумцы чем-то вынудили солдат к пролитию крови. Очень печально!

— Господин Николлс, вы, по-видимому, старый моряк, пожилой человек, повидавший жизнь, — сказал Павлин. — Мне стыдно за вас! Прекратите эту скверную комедию.

Он сказал эти слова очень тихо, но все услышали их среди внезапно установившегося молчания.

— Не только всем нам, присутствующим здесь, — так же негромко продолжал Павлин, — но, я думаю, всему миру эта история станет ясной, если рассказать ее самыми простыми словами и даже без всяких комментариев. Даже ребенок поймет, что случилось в Кеми и какую роль сыграла Англия во всех этих кровавых событиях.

Павлин встал из-за стола.

— Пора кончать, — сказал он, и его слова особенно резко и отчетливо прозвучали в тишине. — Я предлагаю вам, адмирал, немедленно ехать с нами на станцию Кемь. Прикажите доставить туда арестованных членов Совета — Александрова и Веселова. Их надо освободить сейчас же.

Николлс забарабанил по столу тонкими пальцами. Полковник Грей с возмущением взглянул на Павлина; два густых пятна появились у него на щеках, будто их припечатала сургучом.

— Хорошо, — сказал адмирал. — Я попробую это сделать.

Они прибыли на станцию Кемь. Веселова и Александрова вскоре доставили к поезду и ввели в вагон. Но через несколько минут на платформе послышалась брань. Солдаты, одетые в английскую форму, угрожая оружием, ворвались в купе и потребовали, чтобы им выдали арестованных. Больше всех шумел полупьяный офицер с адъютантскими шнурами.

Один из солдат двинулся на Павлина Виноградова с пистолетом в руке. Спокойно оттолкнув его локтем, Павлин раздвинул дверь соседнего купе, в котором сидели Николлс и Грей.

— Сейчас же уберите ваших бандитов! — резко сказал Павлин. — Если хоть один из них осмелится зайти в мое купе, я буду стрелять. Слышите, господин адмирал?

Зенькович молча наблюдал эту сцену. Правая рука его была опущена в карман шинели и сжимала револьвер. Он твердо решил любой ценой добиться освобождения арестованных.

Но Николлс с раздражением махнул рукой, и офицер выпроводил своих солдат из вагона.

— Ну и бандиты!.. — говорил Павлин, вернувшись в купе, где сидели взволнованные Веселов и Александров. — И этот Николлс, по существу, — такой же бандит... Они, конечно, надеялись, что мы испугаемся.

Поезд тронулся.

Ночью, когда «Горислава» выходила в Белое море, начался шторм. Второй котел яхты еще в начале пути

вышел из строя. Но прочное судно, приспособленное даже к хождению во льдах, спорило с ветром.

В кают-компании расположились кемские большевики Веселов и Александров. Сегодня Павлин спас их от смерти. Англичане уже приговорили их к расстрелу за сопротивление так называемой законной власти. Если бы не Павлин, казнь состоялась бы этой ночью...

Павлин сидел в капитанской рубке возле штурманского стола, покрытого картами. Волны с остервенением подбрасывали судно. Огни фонарей, горевших на горизонте, как бы описывали зигзаги в белесой мгле июльской ночи. Рядом с Павлином стояли Зенькович и капитан яхты, не спускавший глаз с компасной стрелки.

Возбуждение, владевшее Павлином весь этот день, до сих пор не улеглось. Он почти не чувствовал качки, швырявшей яхту из стороны в сторону.

— Да, был денек, — сказал он Зеньковичу. — Честное слово, я с большим удовольствием ухлопал бы этих подлецов из Кеми!.. Какие мерзавцы, какие опустошенные, черные души!

7

Архангельск насторожился. Обо всем случившемся было немедленно сообщено в Москву Совету Народных Комиссаров.

В Архангельском исполкоме днем и ночью шли совещания с военными специалистами. Предполагалось создать береговую линию обороны, так как со стороны моря Архангельск был беззащитен: северная флотилия состояла из нескольких мелких судов и трех неповоротливых старых ледоколов. Усиливалась эвакуация военных грузов. Грузы направлялись в Вологду, которая стала штабным центром Северной армии. Армия пока что состояла из мелких гарнизонов и разрозненных отрядов, разбросанных по огромному, тысячекилометровому пространству нового фронга.

Еще продолжались белые ночи, еще проносились июльские грозы...

Павлин Виноградов редко бывал дома, почти не спал. Он либо работал в Совете, либо выступал на митингах, либо выезжал на «Гориславе» в море, где появились иностранные патрульные суда. С одним из таких судов он

даже вступил в бой и задержал высадившийся уже на берег небольшой разведывательный отряд английской морской пехоты.

Однажды вечером, вернувшись с очередного митинга в Соломбале, он застал у себя в кабинете моряков Северной флотилии.

Двое сидели в креслах. Треггий примостился сбоку на диване. Молодой, опрятно одетый морячок, черноволосый, с очень смуглым красивым лицом, беспокойно ерзал в кресле и теребил в руках бескозырку с ленточкой «Аскольд».

Крейсер «Аскольд» стоял на Мурманском рейде. Предательство Юрьева и измена офицеров привели к тому, что этот корабль оказался в руках англичан. Часть матросов еще месяц назад сумела скрыться из Мурманска и, добравшись до Архангельска, перешла на корабли Северной флотилии. К числу этих моряков принадлежал и молодой матрос Иван Черкизов.

Другой моряк, тонкий, худощавый, сидел, опустив голову. Его офицерский китель с серебряными пуговицами сильно выгорел. На плечах, где раньше были погоны, виднелись две широкие полосы.

Когда Павлин вошел, худощавый моряк встал и представился:

— Бронников.

Павлин понял, что это старший.

— Слушаю вас, товарищи! Прошу садиться! По какому делу?

— От имени всех военморов! Насчет угля и хлеба! — с задором отрапортовал молодой матрос.

— Погоди, Ванек... — остановил его Бронников.

— Хотите помочь ускорить отправку эшелонов?

— Нет, совсем не то... — Бронников опять встал и как будто приготовился к докладу. — Совсем наоборот! Хлеб отгружается. А что будет есть население? Отгружается уголь, а на чем пойдет наш Северный флот? Как поведем суда?

— Чего же вы хотите? — спросил Павлин.

— Чтобы ни хлеба, ни угля не отправлять! — запальчиво ответил вместо Бронникова Иван Черкизов.

Павлин внимательно посмотрел на него и обратился к Бронникову:

— Вы бывший офицер?

— Да. Я бывший прапорщик флота. Но прежде всего я большевик.

— Видите, в чем дело, товарищи... — тихо проговорил Павлин, закурывая и кладя на стол открытый портсигар. — Я вас отлично понимаю. Но... но ведь то же самое вопят меньшевики и эсеры. Вопят все, кто хотел бы задушить советскую власть...

Молодой матрос попробовал было вскочить, но Бронников остановил его.

Павлин поглядел на «аскольдовца».

— Ты, друг мой милый, сам не ведаешь, что творишь. Я верю в то, что ты парень честный. Но честностью твоей пользуются сволочи.

Бронников переглянулся с матросами.

— Я говорил, что объективно выходит так.

— Именно так!.. — подтвердил Павлин. — Такие заявления на руку нашим врагам. Уголь нужен питерским заводам. Эти заводы готовят сейчас вооружение. Для фронта!.. Ясно? В море вы не пойдете ни сегодня, ни завтра. Но запас для флота забронирован. Конечно, не для дальнего плавания... а для охраны берегов. Ясно? Надо суметь удерживать берег в своих руках. Уголь будем отправлять! Теперь о хлебе... Питер, рабочий Питер сидит без хлеба. Там голод. Самый настоящий голод. А мы разве голодаем? Вы голодаете? Зачем же этот крик? Кому он на руку?

Моряки притихли.

— Кроме того... — продолжал Павлин. — Вы — краса и гордость революции. Так вас называет Ильич. Разве вы не чувствуете, каково нынче положение города? Мы должны все держать на колесах... или на плаву, на воде. А как же иначе?

Бронников снова встал.

— Я вас прошу, товарищ Виноградов!.. Приезжайте сегодня к нам в экипаж... Побеседовать. Это необходимо.

Встал и Ванек Черкизов.

— Хоть на полчаса, товарищ Виноградов!.. Я, как организатор молодежи, прошу вас. У нас много хороших, настоящих ребят. Крепко, революционно настроенных. Ну и путаники есть. Помогите разобраться.

Павлин невольно улыбнулся.

— А ты, Черкизов, давно среди молодежи работаешь?

— Давно, — ответил тот. — Шестой месяц.

— Коммунист?

— Я еще молодой коммунист, — сказал Черкизов, зардевшись.

В разговор вмешался третий моряк, до этого молча сидевший на диване.

Это был уже немолодой человек, лет около сорока, чубатый, степенный. Круглая, коротко подстриженная борода окаймляла его лицо, медно-красное от загара. Глаза, черные и пытливые, в упор смотрели на Павлина. Говорил он неторопливо и спокойно, и только в жесте, которым он сопровождал свою речь, как бы разрубая воздух, чувствовалась сдерживаемая тревога.

— Эсеры и меньшевики крутят. Проще говоря, обдуривают массу. Экипаж волнуется, товарищ Виноградов. Нам одним не управиться. В казармах у нас чисто аврал, штормяга... Чи влево, чи вправо... Жуть! Будто нема компасу. Есть элемент, курса требует, крепкой руки. Сыны анархии, товарищ Виноградов... А когда всякая гидра за спиною подпевает, мутит воду — сами разумеете... качка получается! Авторитета текущий момент требует, так я скажу... Я знаю, как вы вправляете мозги...

Павлин улыбнулся.

— Та верно! А слова ваши — огонь и порох! — боцман протянул Павлину руку. — Приезжайте! Сперва до капитану, а там вызовите боцмана Жемчужного. То я!

Обещав приехать в экипаж, Павлин проводил моряков до двери своего кабинета. Бронников простился с ним последним.

— Решительней, смелей держитесь! — пожимая ему руку, сказал Павлин. — Вы большевик и командир! Не забываете об этом.

Отпустив моряков, Павлин Виноградов поехал в штаб Беломорского военного округа.

— Опять из Шенкурска неприятные известия, — сказал Зенькович, встречая Павлина внизу, на лестнице штаба.

— Значит, Попов ничего не сделал?

— Черт его душу знает! — с раздражением отозвался военком. — Не то растерялся, не то...

— ...Мерзавец! — договорил Павлин. — Лево-эсер... Этим все сказано! Напрасно его послали.

Несколько дней назад при проведении мобилизации в Шенкурске вспыхнул белогвардейский мятеж. Члены уездного исполкома заперлись в казарме и в течение четырех дней отстреливались от белогвардейцев. В Шенкурск срочно выехал представитель губисполкома Попов в качестве лица, представляющего местный центр. Вскоре он телеграфировал, что «все в порядке».

— Однако, по моим сведениям, там далеко не все в порядке, — волнуясь, вопреки своему обыкновению, рассказывал Зенькович. — Попов вступил в переговоры с врагом. Белогвардейцы будто бы обещали личную неприкосновенность тем, кто сдастся. Попов уговорил исполкомовцев сдаться, они вышли... И, конечно, тут же были арестованы и отведены в тюрьму.

— Это же провокация! — возмутился Павлин. — Такого «представителя» следует попросту расстрелять. Я возьму людей и сегодня же ночью сам выведу в Шенкурск. Я уверен, Андрей Георгиевич, — горячо продолжал Павлин, — что там орудуют не только эсеры... Нет! За их спиной прячется вся эта дипломатическая сволочь, которую мы терпим в Архангельске. Это же матерые шпионы! В особенности американский посол Френсис. Ты обрати внимание на его елейную улыбку. Это улыбка мерзавца. За ней кроется патентованный убийца. Ему ничего не стоит вонзить тебе нож в спину. Ему ненавистна советская власть! Да и британский посланник Линдлей не лучше... Такой же подлец... Это их работа... Нет, надо их гнать. Недаром они прибыли сюда из Вологды...

— Если бы они объявили войну, тогда разговор был бы проще.

— Как же! Держи карман! Нет, Зенькович. Они действуют из-за угла, как грабители. Завтра же надо связаться по прямому проводу с Москвой, получить санкции и гнать их отсюда. Довольно! К черту!

Павлин и Зенькович поднялись по лестнице на второй этаж и вошли в один из кабинетов штаба.

В просторной комнате собралось много народу. Здесь были военные власти города: начальник гарнизона Потапов, тяжеловесный круглый военный в длинном френче; командующий флотилией адмирал Викорст, су-

туловатый пожилой моряк с утомленным, бледным лицом и спокойными движениями уверенного в себе человека; военные специалисты; сотрудники штаба. Был здесь и начальник штаба Беломорского военного округа, подвижной, несмотря на свою грузность, нетерпеливый Самойло, бывший генерал; одет он был, как и в приемной у Семеновского, в парусиновую голстовку и бриджи. Оглушительный бас его гремел на всю комнату. Но еще больше было штатских. На совещание собрались почти все руководители партийных и советских организаций города. Они сидели вокруг длинного стола, покрытого зеленой скатертью, разместились на подоконниках, заняли стулья, расставленные вдоль стен.

На ходу здороваясь с собравшимися, некоторым крепко пожимая руку, другим издали кивая головой, Павлин увидел и своих друзей: маленького, коренастого Потылихина в коротком морском пиджаке; высокого, плотного Чеснокова с повязкой на глазу: живого, вечно озабоченного, шумного Базыкина в светлом летнем костюме и в синей косоворотке с раскрытым воротом, открывающим полную белую шею. Тут же он увидел и скромнейшего человека, доктора Маринкина, главного хирурга морского госпиталя, заведующего культурными делами города. Пощипывая пушистые усы, Маринкин что-то с ожесточением доказывал своему соседу — молодому военному, судя по выправке, бывшему офицеру, — который слушал его в пол-уха, оглядываясь по сторонам.

— Здравствуй, дружок, — сказал Павлин, дотронувшись до плеча Маринкина.

Доктор, оглянувшись, радостно ему улыбнулся. Павлин, садясь на председательское место, ответил ему улыбкой.

Началось заседание. Сперва были заслушаны доклады губвоенкома и начальника штаба Самойло. Затем стал докладывать Потапов.

Павлин слушал внимательно, иногда вскидывая на Потапова глаза и точно следя за его резкими и размашистыми жестами. Когда этот бывший царский полковник, присланный в Архангельск главкомом из Москвы, усиленно жестикулируя, стал говорить о том, что интервенты обязательно просчитаются, Павлин вдруг перебил его быстрым вопросом:

— Почему вы так уверены в этом?

Потапов покраснел.

— Нас не возьмешь голыми руками. Молодая Красная Армия — надежная защита. Войска, охраняющие Летний берег и побережье Солозского селения, отлично несут свою боевую службу. Да вот, к примеру, совсем недавно в узкой лощине у села Солозского мы поймали двух английских шпионов с картами. Все силы, товарищ Виноградов, расположены так, что Архангельск стоит сейчас как бы за колючей изгородью штыков. Я сделал все, что было возможно.

— Все это фразы, товарищ Потапов, — поморщившись, снова перебил его Павлин. — Вот в докладе товарища Самойло были конкретные предложения... Также и в докладе Зеньковича, а вы говорите общие слова. Дайте нам цифры... количество бойцов, дислокацию частей, боевой запас...

Потапов смутился.

— Я полагал, что этому мы посвятим специальный доклад на президиуме губисполкома.

— Специальный доклад? — переспросил Павлин. — Здесь находятся руководители городских партийных организаций, представители масс, представители советской власти. Они предъявляют к военным специалистам, находящимся на нашем совещании, ряд категорических требований. Сейчас, а не потом! Что вами предпринято для укрепления обороны Архангельска?

— Слушаю-с! — сказал Потапов. Он взял портфель, вынул из него бумаги и, поминутно заглядывая в них, стал докладывать о состоянии архангельского гарнизона.

Выслушав его сообщение, Павлин встал и обвел глазами собравшихся.

— Товарищи, — тихо начал он, но тотчас повысил голос и заговорил громко и горячо, с негодованием поглядывая на Потапова. — Сейчас, после кемских событий, о которых вы все знаете, странно было успокаивать себя. Самоуспокоение — не в духе большевиков. Я буду говорить резко и прямо: положение тревожное... Вспомните нашу поездку к товарищу Ленину!.. Вспомните разговор по прямому проводу из Москвы, когда был поднят вопрос о разгрузке Архангельского порта.

Вспомните, что товарищ Ленин неустанно следит за всеми событиями на Севере; он призывает нас укреплять оборону, чтобы дать надлежащий отпор чужезем-

ным войскам. Вспомните, сколько было указаний, распоряжений, приказов по всем вопросам обороны за последние месяцы... Еще с марта, товарищи! А ведь сейчас у нас июль. И что же? Выполнили мы все эти указания так, как следовало? Нет!.. А если и выполнили, так не с той быстротой, не с той энергией, какие от нас требовались.

— Я скажу больше, — с горячностью продолжал Павлин. — Даже после захвата англичанами Кемь некоторые наши товарищи еще недостаточно учитывали ту опасность, которая грозно надвигается на советский Север. Были среди нас такие беспечные люди? Были.

Вчера наша делегация, ездившая в Кемь, представила отчет исполкому о кемских событиях. Что творится в Кемь? Здесь, в Архангельске, сидят господа послы, представители Америки и Англии, господа френсисы, юнги, нулансы и линдлен... Эти господа выехали из Питера, там им было неудобно... Переехали в Вологду. И Вологда также им не понравилась. Они, видите ли, недоумевают, они улыбаются нам своими дипломатическими улыбками. Они говорят о нейтралитете, о добрососедских отношениях! А что на самом деле? Там, в Кемь, их солдаты ведут себя как завоеватели. Там льется кровь! Там попораны все человеческие и гражданские права. Там расстрелы, тюрьмы, произвол, насилие... Там гибнут советские люди!

— Положение очень тревожное, — повторил Павлин. Капельки пота выступили у него на лбу, губы твердо сжались. Он взмахнул рукой. — Сегодня мы должны сказать: «Коммунисты, рабочие, крестьяне, под ружье...»

Все находившиеся в кабинете насторожились.

Павлин подошел к карте, которая была разложена на столе.

— Ведь и Архангельск, и Северная Двина, и Мудьюгские укрепления каждую минуту могут стать боевыми участками, фронтом... Я согласен с тем, что говорил Зенькович. Мобилизация пяти возрастов, ведь об этом еще в июле было распоряжение товарища Ленина, осуществлена на местах без должной разъяснительной и организационной работы. Пример: шенкурский мятеж... Чьих рук это дело? Белогвардейцев, эсеров, английских и американских шпионов. С ними надо покончить. Надо действовать не разговорами, а железной метлой!.. Надо расстреливать предателей!

— Совершенно верно, — сказал Потапов, не подымая головы. — Надо усилить политконтроль и работу трибунала.

Павлин мельком посмотрел на стриженный затылок Потапова, оглядел лица товарищей, слушавших с неослабным вниманием.

— Промедление сейчас действительно смерти подобно, — резко сказал Павлин, и голос его отчетливо прозвучал в напряженной тишине. — По существу, у нас нет даже времени на разговоры. Все последние распоряжения товарища Ленина, касающиеся береговой охраны и береговой обороны, — минирование, устройство преград на фарватерах — должны быть выполнены в самый кратчайший срок.

Он сел.

— По этому вопросу прошу доложить адмирала Викорста, — хриплым от только что пережитого волнения голосом сказал Павлин.

Викорст провел рукой по едва прикрывавшим лысину прилизанным волосам, подошел к столу и остановился у карты. Взяв карандаш и проведя им линию от Архангельска до острова Мудьюга, адмирал неторопливо доложил о количестве боеспособных кораблей, о подготовленности экипажа, о количестве и качестве морской артиллерии.

— Но самое главное, — напыщенно провозгласил адмирал, — дух русского флота. Военное положение в тысячу раз повышает нашу ответственность. Нам трудно... Я скажу честно, очень трудно. Но если противник рискнет подойти к Архангельску, мы встретим его жестоким огнем. Здесь не Мурманск и не Кемь, товарищ Виноградов... — многозначительно подчеркнул адмирал.

Павлин из-под ладони смотрел на него и думал: «Черт возьми, кто ты? Как заглянуть тебе в душу? Можно ли тебе верить?»

Но голос адмирала звучал твердо и как будто искренне, лицо сохраняло холодное, энергичное выражение; серые склеротические с прожилками глаза уверенно смотрели на Павлина. Всем своим видом этот человек как бы говорил, что там, где действует он, опытный моряк, старый и честный служака, нет места никаким сомнениям и не может быть никакого просчета.

— Вот линия береговых укреплений, — докладывал Викорст, показывая на карту. — Она в полной готовности. Беломорская флотилия также готова к бою... Можете справиться у комиссара флотилии... Суда в отличном состоянии.

Он снова показал карандашом на охраняемый район.

— Вот линия обороны!.. Смотрите, как широко она раскинулась: на севере — от острова Мудьюга, на востоке — от озера Ижемского, на юге — до Исакогорки, на западе — до Кудьмозера и селения Солозского... Пожаруйста, убедитесь!

Потапов встал с места и заявил, что он своей головой отвечает за исправное состояние всех указанных Викорстом боевых участков.

— На суше... А с моря? — спросил Павлин.

Адмирал прямо взглянул ему в глаза.

— Я повторяю, товарищ Виноградов, что с моря Архангельск неуязвим. Как вам известно, город отстоит от устья в шестидесяти верстах. Это немалое расстояние. Фарватер чрезвычайно узкий. Пусть только кто-нибудь сунется! Мы их расщелкаем поодиночке на первых пяти милях, даже если они пройдут остров Мудьюг... А ведь там батареи, там прекрасные блиндажи. Да что вы, товарищи!.. — негодующим тоном воскликнул Викорст. — Прежде всего это невозможно... Мудьюг — надежная защита всей Двинской губы. Прошу не сомневаться, флотилия с честью выполнит свой долг!

После этого торжественного заявления у многих стало легче на душе.

— Но я все-таки предлагаю минировать устье Двины и взорвать маяк на Мудьюге, — сказал Виноградов. — Он будет служить противнику ориентиром...

— Я поддерживаю предложение товарища Виноградова, — заявил Зенькович. — Без маяка вход на Двину для неприятельских судов будет затруднен. А если мы перегородим фарватер минными полями, тогда прорваться на Двину будет еще сложнее. Эта мера самая действенная.

— Правильно! Так и надо сделать! — послышались голоса среди присутствующих.

— Есть! Будет сделано! Завтра же мы начнем минирование, — сказал адмирал, садясь на свое место. — Но маяк, товарищи, — это большая ценность... Я не уверен в

том, что его стоит взрывать. Иностранцы имеют, конечно, свои точные морские карты... Фарватер в Двинской губе известен даже капитанам частных коммерческих судов... При чем же тут ориентир?

Он снисходительно улыбнулся.

— Хорошо, — сказал Павлин, переглянувшись с губвоенкомом. — Я предлагаю усилить артиллерию как на Мудьюге, так и на судах флотилии.

— Есть, будет сделано! — повторил адмирал.

— Я предлагаю еще и другое!.. — вдруг раздался в тишине чей-то прокуренный окаяющий голос.

Маленький коренастый человек в черном морском бушлате поднялся из-за стола.

— Кто это? — шепнул Викорст на ухо своему комиссару, разглядывая поднявшегося — его небрежную, полуформенную одежду, седеющие редкие волосы на висках, которые курчавились к затылку, его иссеченное глубокими морщинами лицо, давно не бритые, заросшие щеки и прищуренные глаза, которыми пожилой морячок недоверчиво прошупывал адмирала. — Моряк?

— Потылихин, руководитель соломбальской организации большевиков, — ответил тот.

— Я старый речник и старый моряк, — заговорил Потылихин. — И то, что я скажу, не только мое мнение. Мы Белым морем солены да в Белом море крещены. Нам, старым поморам, каждый камешек в нем ведом сызмальства... Еще ребятенками зуйками обжили сие морюшко...

Он крепко сжал в руке свою потрепанную фуражку с белым полотняным верхом и черным муаровым околышем, на котором блестел якорек.

— Не от себя только, а от беломорских моряков вношу предложение взорвать три ледокола и уложить их на фарватере... В рядок! Вот это будет средство! Тогда никакому черту-дьяволу, никакой Антанте не пройти без подводных работ. А подводные работы под огнем не проведешь, — прибавил он. — Не дадим!

На сухом загорелом лице Потылихина ярко и быстро, что молния, сверкнули прищуренные ярко-голубые глаза.

— Ручаюсь, товарищ Виноградов... Ручаюсь! — сказал он, взмахнув рукой с зажатой в ней фуражкой.

Павлин обратился к Викорсту.

— Ваше мнение?

— Мое мнение? — медленно проговорил адмирал. — Жалко кораблей... Хотя имеется в ледокольном составе и старье, а жалко... «Уссури», «Святогор», «Микула»...

— А нам разве не жалко?! — воскликнул Потылихин. — Я в молодости плотником плавал на «Микуле»!.. Разве у меня не болит душа?! Кровью обливается!.. Но такого рода подводный железный барраж — верное дело...

— Конечно! — твердо сказал Павлин. — Так и сделаем.

— Да, вы правы. — Викорст снова встал. — Есты! Я с тяжестью в сердце соглашаюсь на это. Не скрою от вас, товарищи. Но если враг будет угрожать Архангельску, я потоплю ледоколы... Ваше приказание будет в точности исполнено.

После совещания Павлин отправился в Соломбалу на матросский митинг. Оттуда заехал проститься с женой, поцеловать сына и уже на рассвете, в третьем часу ночи, был на пристани...

Несмотря на усталость и тревожную обстановку, на разлуку с семьей, на тысячи беспокойных дум, которые одолевали его, Павлин держался, как всегда, уверенно и твердо.

Зенькович провожал Павлина. Собственно говоря, ночи не было. На востоке горела длинная золотистая полоса.

У пристани покачивался большой быстроходный буксирный пароход «Мурман». На нем тихо работали машины, уютно светились окна в палубной надстройке. Небольшой отряд был уже размещен на пароходе, в трюмном помещении.

Павлин уезжал в Шенкурск. Кроме Зеньковича, его провожали Потылихин, доктор Маринкин и Чесноков. Здесь же стоял Базыкин.

Разговор и на пристани шел только о военных делах. Маринкин говорил о том, что его морской госпиталь в случае надобности может быстро перестроиться на военный лад. Базыкин, один из руководителей архангельских профсоюзов, рассказывал о своей военно-агитационной работе на лесных заводах Маймаксы.

— Это хорошо, что вы вплотную взялись за организацию рабочих отрядов, — сказал Павлин, обращаясь к Базыкину. — Здорово откликнулись твои профсоюзы...

— Рабочая масса откликнулась, Павлин Федорович, так и надо было ожидать! — с гордостью ответил Базыкин. — На Маймаксе уже собрался отряд в четырехста штыков... И в Соломбале тоже... Зенькович знает!

— Да, я видел их... Боевые ребята! — подтвердил губвоенком.

— Военное обучение начато? — спросил Павлин.

— Да, уже обучаются.

— Но в первую очередь, — сказал Павлин Зеньковичу, — ты должен следить за комплектованием армии. Не спускай глаз с военспецов. Главное сейчас — следить за точным выполнением всего, что мы сегодня постановили. Это — самое главное!

Он обнял Зеньковича, простился с друзьями и быстрыми шагами прошел по трапу на пароход, поднялся по лесенке на капитанский мостик и скрылся в рубке.

— Счастливо, Павлин! — крикнул Маринкин и, сняв шляпу, помахал ею.

Павлин появился в окне рубки.

— Спасибо, Маринкин!.. — крикнул он. — Спасибо, товарищи! До скорой встречи, Андрей!

Буксир отвалил от пристани.

Павлин видел, как машут ему с пристани Зенькович и Базыкин. Машет и Чесноков, молчаливый, сильный человек... «Справится ли он? — спросил себя Павлин. На совещании Чеснокову была поручена эвакуация ряда учреждений в Вологду, в Тотьму, в Великий Устюг... — Справится!.. Плечи старого грузчика выдержат и не такое... Славный, смелый человек!»

«Мурман» набирал ход. Друзья Павлина еще стояли на пристани, но теперь были видны только их силуэты. Наконец и пристань скрылась за цепью пароходов и парусных шхун, стоявших у причалов правого берега.

Утренняя свежая волна покачивала плоскодонный буксир. Небо жемчужно-молочного цвета уже озарилось на востоке. В утренней дымке промелькнули рыбацьи хижины, сараи, избы и дома Исакогорки. Перед глазами Павлина раскинулся мощный, величественный простор реки.

Павлин любил природу. Но в последнее время ему некогда было наслаждаться ею. Тем острее он чувствовал сейчас всю неотразимую ее красоту. Его восхищали изумрудная зелень пологих берегов Двины, и веселые

волны, и полет чаек, и туго натянутый четырехугольный парус хлопотливо скользившего по воде рыбацкого баркаса. Молодые елочки выбегали на берег, словно девушки, встречающие пароход.

«Какая красота. Как хорошо, как замечательно было бы жить, — подумал Павлин, — если бы не эта свора кровавых псов, которая хочет закабалить все на свете: и труд, и жизнь, и свободу миллионов людей! Но мы во что бы то ни стало отвоюем наш прекрасный мир!.. Да, это будет так!..»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

После того как англичане оккупировали Мурманск, Кемь, Кандалакшу и Сороку, под угрозой оказался и район Архангельска. Еще в июне Владимир Ильич Ленин телеграфно предупреждал Архангельский Совет об опасности военной интервенции не только на Мурмане, но и в Архангельске. 18 июля в Москве под председательством Ленина состоялось заседание Совета Народных Комиссаров, на котором обсуждался вопрос об отпуске средств на приведение в боевую готовность района Архангельска и флотилии Северного Ледовитого океана.

Питерские рабочие отряды, в течение июля прибывшие в Вологду, получили приказ создать вокруг нее оборонительную линию.

Отряд Фролова был направлен в деревню Ческую, на реку Онегу. Из Вологды до станции Обозерской бойцы ехали по железной дороге. Фролову пришлось на некоторое время остаться в Вологде, отряд же во главе с Драницыным ушел в глубь Онежского края.

Первыми въехали в деревню Ческую Валерий Сергунько и Андрей Латкин. Навстречу им попались два деревенских жителя — старый, полуслепой дядя Карп и Сазонтов, мужик помоложе. Валерий и Андрей стали их расспрашивать, где можно разместить бойцов.

Неторопливо почесав клочковатую реденькую бородавку, Сазонтов предложил пойти к Тихону Нестерову.

— Этот вас расположит по порядку...
— Он председатель комбеда, что ли? — спросил Андрей.

— Нет, я председатель, — ответил Сазонтов. — Да Тихон — главный грамотей. Пойдем!

Сазонтов повел бойцов на берег Онеги. Там на голом откосе стояла деревянная церковка с островерхой колокольней.

— К попу ведешь? — с притворной строгостью спросил Валерий.

— Для чего? Нестеров — сторож, — не понимая шуток, серьезно ответил Сазонтов. — Вот и сторожка... Изба у него погорела весной. Ну, поп и пустил его. Ладно, говорит... Будешь сторожем у меня за квартиру. Вот Тихон и живет у попа, да все с ним лютует. Никак не столкнется.

Неподалеку от поповского дома, обшитого тесом, за кустами черемухи виднелась аккуратная избушка с новой крышей из дранки. Поближе к речному спуску стоял сарайчик с закопченными стенами. Около него валялись принадлежности кузнечного мастерства.

— Вот и кузня его, — объяснил Сазонтов, показывая на сарай.

— Что же, он двум богам молится? И церковный сторож и кузнец? Видать, шельма он у вас, — сказал Валерий, заранее проникаясь недоверием к незнакомому Тихону Нестерову.

Услыхав голоса, навстречу гостям вышел длиннородый рослый и сухой мужик, с веником в руках, со спутанными седыми волосами, в доходившей ему почти до колен грязной пестрой рубахе распояской. Он поразил Валерия своим пронзительным и недобрим взглядом. Густые брови старика лохматились над глазами.

— Главный... — пробормотал Сергунько.

— Бог главный, а мы людие... — степенно возразил старик. — Что угодно? Я член бедного комитета.

— А не врете? — строго спросил Сергунько. — Вот про вас рассказывают, что вы церковник.

Андрей решил вмешаться.

— Вы не смущайтесь, — улыбаясь, сказал он Нестерову. — Товарищ просто шутит. Он пошутить любит.

— Шутки всяки бывают... Поживи-ка здесь на кузне, не много накуешь монетов. Вам что надо?

Несколько смягчившись, Сергунько объяснил старику, в чем дело. Тихон внимательно выслушал его и, не трата лишнего слов, повел бойцов в деревню.

Из калитки выглянул священник в подряснике и с удочками на плече.

— Поп? — с озорной улыбкой спросил старика Валерий.

Тихон нахмурился.

— Фарисей! Враг моей души...

— А почему же враг? — спросил Андрей.

Не удостоив его ответом, Нестеров только махнул рукой.

— Может, вам квартиру побольше надо?.. Вот эта хороша? — Он ткнул пальцем туда, где виднелся двухэтажный дом с балкончиком и с красиво вырезанным железным корабликом. — Мелосеев там обитает. Кулак, по-вашему! Ходил когда-то в капитанах на Белое море... У них чисто. Справный дом.

Валерий отказался от кулацкого дома.

В деревню приехал Драницын. Увидев Андрея и Сергунько, он спешил с коня и подошел к ним.

— Ну как дела? Устроились? — спросил он.

Тихон поклонился Драницыну, внимательно оглядев его желтую кожаную куртку.

— Здравствуй, дед! — приветливо сказал Драницын, вытирая вспотевший лоб белым носовым платком и смахивая пыль с лакированного козырька фуражки. — Жарко сегодня...

— Да, нынче погоды, денек выпал редкий, — согласился Тихон, все еще не отводя глаз от Драницына и точно оценивая его.

— Вот не знаем, где квартиру устроить вам и товарищу Фролову, — нерешительно проговорил Андрей, обращаясь к Драницыну.

— Ко мне не пожелаете? — предложил Нестеров. — У меня ребят не имеется. Мы вдвоем: я да Любка. Помещения хватит...

— Чисто? — спросил Драницын.

Старик понимающе улыбнулся.

— Без млекопитающих. Два раза в неделю полы моем. Кому грязь наносить? Говорю, ребят нет... Тихо, две комнатки. Одна проще, кухня. А другая, по-вашему сказать, зальце. Не широка палата, да торовата... —

Старик взглянул на Драницына с прежней лукавой усмешкой.

— Ну, так что же? Показывай, — сказал Драницын.

Избушка Нестерова и в самом деле оказалась очень чистой. Вокруг стола, накрытого свежей скатертью из сурового полотна, стояли венские стулья, крашенный пол блестел, возле окна красовалась кадка с фикусом. Над столом висела керосиновая лампа под белым стеклянным абажуром.

Драницын, вынув портсигар, протянул его Нестерову.

— Курите, пожалуйста!

— Благодарствую, не пользуюсь.

— Может быть, у вас здесь не принято курить в комнатах? Ведь у вас, по старому обряду, не любят табачников.

— Заклюют, — усмехнулся старик. — Староверие... И явно и тайно. Всяка жита по лопате! Века идут, да мужик у нас своємудрый. Ну, я Никону продался. Не старовер. У меня можно. Однако Аввакума уважаю...

— За что же? — полюбопытствовал Андрей.

— Почитайте его житие. Это был поп! Дух огнепальный... — сказал он и покосился на дверь.

В комнату вошла молодая женщина, белокурая, тонкая, высокая, под стать Тихону. Голова ее была повязана белым платком. Она с бессознательной кокетливостью опраивляла на себе обшитый позументом сарафан, видимо только что надетый ради гостей.

— Чего надо? — недовольно спросил ее Тихон. — Карбас пригнали?

— Пригнали.

— Цел?

— Целехонек... Только корма пообтершись.

— Ну и ладно.

Женщина, взглянув на Андрея, потупила глаза и ушла в кухню. Сергунько незаметно толкнул локтем студента.

— Дочка ваша? — спросил Драницын.

Старик вздохнул.

— Кабы дочка... Сноха, вдовушка. Сынка-то моего, Николку, немцы убили. Ровно год тому назад... Помните наступление было? Успел пожениться, успел помереть! А я живу.

Они помолчали.

— Значит, устроимся у вас... — сказал Драницын. — Вы ничего не имеете против?

— Жалуйте! Не три дня и три ночи беседовать. Я людям рад.. Они тоже останутся с вами? — Тихон посмотрел на Андрея и Сергунько.

— Нет, — ответил Драницын. — Впрочем, не знаю.

Старик стал перебирать сети, кучей наваленные в углу.

— Вы и рыбак, что ли? — с интересом наблюдая за хозяином и усаживаясь, сказал Драницын.

— Умелец! Всем баловался. И рыбой и зверем. Молодой на медведя хаживал. Да что медведь?... Коровы.

Тихон быстро взглянул на Драницына.

— Скажите правду, товарищ: нынче плохие, видно, у большевиков дела?

— Откуда это видно? — в свою очередь, спросил Драницын и подумал, что со стариком надо держать ухо востро.

— Были бы хороши, вы сюда не пришли бы... — пробормотал старик.

— А про англичан ничего здесь не слыхали? — прищурившись, спросил его Валерий.

— Как не слыхать, слыхали... Да наши места пока бог миловал, вчерась я был за Порогами, тихо... И про Онегу не баяли. Может, и пронесет казнь египетскую.

— Не любите их? — спросил Драницын.

— А за что их любить? Нация... Еще дед мой у них работал. Сколько фабрик бывало ихних в Онеге! Известно — лес. Еще с Петра.

— С Грозного, — сказал Андрей.

— Нет, милый, с голландца... — поправил его Тихон. — Грозный царь не больно жаловал асеев¹.

Старик ушел на кухню.

— Не нравится он мне... — тихо сказал Валерий, проводив старика подозрительным взглядом. — И разговорчикам его я не верю. Все это нарочно, только чтобы к нам подладиться. Здорово подлезает...

— Зачем ему подлезать? — возразил Андрей.

— Значит, надо... Тип! Такие типы и встречают англичан колокольным звоном.

¹ Местное прозвище англичан.

— Врешь! — раздался за стенкой гневный голос, и длинная фигура старика показалась на пороге.

— Подслушивали? — язвительно спросил Валерий.

— Да, подслушивал. И за грех не считаю... — не смущаясь, ответил старик. — Не тебе людей судить! Погоди, придет час — хоть мы и темные, может, а рожу-то еретикам назад заворотим...

— Посмотрю.

— Посмотришь! Всею своя черед... — проворчал Тихон. — Как в писании: «В онъ же час и сын человеческий придет!»

— Не понимаю я вас, гражданин. А то, что кулачье у вас процветает, это мне ясно, — с жаром проговорил Валерий. — Вы мне голову не задурите. Вы с кулачем и с богом в мире. А я в войне! Я рабочий класс! Понятно?

— Понятно... — пробормотал Тихон. Щеки его побавровели. Насупившись, он повторил: — Понятно... Не вежа ты.

Бросив на Сергунько уничтожающий взгляд, Тихон вышел из избы.

— Нехорошо получилось! — зашептал Андрей. — Только что приехали...

— Зря вы, товарищ Сергунько, обидели старика, — сказал Драницын, вынимая вещи из дорожной сумки и складывая их на подоконнике.

Он распахнул окно. Свежий воздух ворвался в комнату, наполняя ее запахами сена, скота, болотных трав.

Из деревни доносились крики бойцов, слышалась команда взводных, ржали лошади, злобно лаяли собаки.

Отряд Фролова входил в Ческую.

В избе появился Жарнильский. Андрей подружился с ним в дороге. «Наш Иван-сирота не пролезет в ворота», — посмеивались над Жарнильским бойцы.

— Новоселье, значит? — сказал Иван, сияя улыбкой на запыленном, но, как всегда, веселом и добродушном лице. — Слышу, драка, а вина нет... За пустым столом? Чтобы же это вы, братцы?..

Он не брился с выезда из Питера и оброс густой колючей щетиной. Пот грязными каплями струился по широкому лицу, гимнастерка пропотела насквозь. Казенная часть его винтовки была бережно обмотана тряпочкой, через плечо висела пара покоробившихся солдатских ботинок, связанных шнурами.

Поймав взгляд Драницына, он тоже посмотрел на свои черные босые ноги и пристукнул пятками о порог.

— Колеса-то как раз мой номер! Не жгет, не жмет, товарищ! Ну, где мне прикажете устраиваться? А наш-то взводный, товарищ командир, мерина загнал... Вот уж у него что людям, то и лошадям! Ты скажи ему, Валька... А здорово мы сегодня отмахали! Так и кругом света обойдешь, не заметишь.

Он засмеялся.

— Явился, грохало, — восхищенно сказал Валерий. — Ну, бросай мешок, устраивайся пока здесь... Всем места хватит.

Драницын, достав полотенце и разыскав мыльницу, с удовольствием прислушался к басистому, громяющему голосу Жарнильского. «Вот это настоящий русский солдат», — подумал он.

2

Все деревни по нашим северным рекам похожи одна на другую. Люди здесь издавна жмутся к воде. Места у реки людные, а по сторонам глушь. Так и на Онеге-реке.

Онежский низменный берег с песчано-глинистыми холмами, с отдельными гранитными утесами, с обнаженными скалами на севере идет к югу, постепенно повышаясь и как будто с каждым шагом все больше и больше закрываясь лесом. Ели словно лезут друг на друга. Береза тоже растет здесь, но трудно ей выдержать студеную погоду. Лишь в июне она зеленеет, но в конце августа уже жабнет, роняя листья. А в сентябре крепкий морозец иногда накинёт на нее такой белый саван, что ей уж и не оправиться. Вот сосна, той все равно: болото, песок, камень — она всюду растет. Было бы свету немного. Корень цепкий, что у редьки... Избы, срубленные из кондовой сосны, выросшей на холмах в бору, на сухом месте, могут стоять столетиями.

Леса тут полны глухарей. Глухарь (на Онеге его называют чухарь) сидит в лесной чаще, дальних перелетов не делает, глухарка гнезд не строит, довольствуясь ямкой на земле, куда и кладет яички... Солнышко бедное!

В давние времена про эти места сложилась пословица: «Спереди — море, позади — горе, справа — ох, слева — мох» «Одна надежда — бог», — улыбаясь, прибавляли старики.

Эти леса вековые.

Когда тысячу лет назад русские люди потянулись на север, они натолкнулись на темную стену лесов высоты непомерной — от земли и до неба. Так показалось им... «Ни сбеглому проходу нет, ни удалу добру молодцу проезду нет».

Удалые молодцы, новгородцы, шли по рекам, рубили деревни и города, ставили их возле воды.

Почти половина населения Онежского уезда в прошлом столетии занималась лесом. Остальные брали морского зверя, ловили в реках миногу, на взморье — навагу, ладили «плавные» сети для улова семги, «рюжи» — для поимки той же рыбы в деревянных заборах, поставленных через реку Онегу. Осенью, в период ветров, семга шла сюда с моря в спокойные воды.

Белка, горностай, песец, лиса, куница и заяц были постоянной добычей охотника. Некоторые жители уходили в извоз или на постройку судов.

Все лесопильные предприятия расположились возле устья Онеги. На глубоком рейде часто стояли иностранные пароходы, приходившие сюда за лесом. Из Онежского порта, так же как из Архангельского, лес вывозился на английский рынок для разных стран, даже в Африку.

В девятнадцатом веке англичане поставили в устье Онеги свои фабрики и конторы, стараясь с каждым годом все тверже уцепиться за эти места. Они были нещадными губителями русского леса, варварски уничтожали его.

Помимо промыслов, крестьяне занимались земледелием и скотоводством. Сеяли рожь, ячмень, овес, коноплю, горох, сажали картофель. Плодородием онежская земля не может похвастаться. Хозяйство вели только для себя.

Люди Севера привыкли держаться свободно. Наряду с этой привычкой здесь до сих пор были сильны старые, даже древние понятия, связанные с религией и дошедшие до нового времени через столетия. В этом таежном крае еще жила память о пророке Аввакуме, и, несмотря

на то что повсюду были православные церкви, многие люди скрытно держались за старую веру и, проклиная патриарха Никона, уважали и чтили только старые церковные книги и старый церковный обряд.

Таежный лес, болотная ягода, кочковатые торфяные поля, угрюмые люди да извечно холодный ветерок, несмотря на летнее солнце, — вот чем встретила Онега отряд Фролова.

Бойцы помогали крестьянам. Сельские работы не мешали военным занятиям: рытью окопов, обучению винтовочной и пулеметной стрельбе, метанию гранат.

Фролов созвал крестьян и бойцов на митинг. Он рассказал им о планах империалистов. Валерий Сергунько произнес горячую речь об опасности, нависшей над таежным краем. Но эти слова многим крестьянам показались странными. Людям не верилось, что даже здесь, в тайге, могут появиться чужеземцы.

Андрей и Сергунько жили на дворе у Нестеровых. Вечерами, когда Драницына и Фролова не было дома, Андрей сидел в избушке, слушал рассказы старика. Тихон часто покрикивал на Любу, но Андрей понимал, что без нее хозяйство развалилось бы. Всем в доме управляла она.

Люба порой разговаривала со стариком свысока, и тогда Тихон огрызался — полусерьезно, полуснисходительно.

Однажды, укладываясь спать на сеновале, Андрей и Валерий разговорились о Тихоне и его снохе.

— Любка — полная хозяйка в доме, — заявил Валерий. — Старик от нее все терпит.

— Почему терпит? — спросил Андрей.

— Боятся, как бы не ушла от него. Не сладко старику одному оставаться.

Сквозь разметанную кое-где крышу сеновала виднелось небо. Тихая ночь как будто приглашала молодых людей позабыть о войне со всеми ее тяготами. В такие ночи хорошо поговорить по душам. Но сегодня Сергунько, видимо, не был расположен к разговорам. Он повернулся к приятелю спиной.

Андрей любил разговаривать с Валерием, хотя каждый их разговор непременно кончался спором. Сильная воля Валерия, резко выраженный характер, полное пренебрежение к тому, что не соответствовало его

взглядам, вызывали в Андрее острое чувство недовольства собой. Он пытался утешить себя тем, что если бы его жизнь сложилась так, как жизнь Валерия, то и у него был бы такой же резкий и сильный характер, которому он завидовал и который хотел бы выработать в себе...

Валерию Сергунько с одиннадцати лет пришлось работать в переплетной мастерской вместе с отцом. Работа была не из легких, но, несмотря на это, Валерий тайком от родителей посещал вечерние классы городского училища и читал революционные книги. Когда в Петербурге стали создавать Красную гвардию, Сергунько одним из первых записался в отряд Нарвского района. Он уже воевал с юнкерами, участвовал в облавах на буржуев, производил обыски, водил контрреволюционеров в Чека, на Гороховую, сражался с немцами возле станции Дно, был ранен... Он испытал многое из того, что было еще неизвестно Андрею, и в то же время мог поговорить обо всем: о политике, о стихах, о любви. Суждения его подчас были наивны, но Андрей, искренне полюбивший Валерию, завидовал его прямолинейности, и хотя часто с ним не соглашался, но всегда признавал его превосходство над собой.

— Ну, давай спать, — сказал Валерий своему новому приятелю.

В сарай вошла Люба. В просвете распахнувшихся дверей Андрей увидел ее силуэт. Неслышно набрав большую охапку сена, Люба вышла. Валерий приподнялся на локте и посмотрел ей вслед. То же самое сделал и Андрей. В бледном свете северной ночи фигура Любы казалась еще более тонкой, почти прозрачной. Когда она поднимала на плечо охапку сена, сарафан приподнялся, обнажив стройные белые ноги.

— Хороша... — вздохнув, сказал Валерий.

— Да... В ней есть что-то тургеневское.

Валерий усмехнулся:

— Опять завел свою интеллигентщину!

На этот раз Андрей разозлился.

— Ничего позорного в этом не вижу! — с неожиданным для самого себя раздражением сказал он. — Гораздо хуже быть полуинтеллигентом...

— Это я полуинтеллигент?

— Да, ты.

— А кто виноват?.. — насмешливо спросил Валерий. — Ваш мир, ваш строй.

— Мои родители не лавочники и не бароны! — взволнованно возразил Андрей. — Я учился на свои собственные трудовые гроши!..

— Скажите пожалуйста... Ах, как ужасно! Да ежели бы твой отец имел на руках восемь ртов, не видать бы тебе университета. Тебя поощряли! А я получал подзатыльники... На мои гроши хлеб покупали!

Чтобы окончательно уничтожить Андрея, Валерий прибавил:

— Тургенев? Ахи да охи? Нежная любовь? Вот вчера Сенька мне говорил, будто он с ней гуляет.

— Какой Сенька? — растерянно пробормотал Андрей.

— Парень из деревни. А в общем, ну тебя к черту!.. Завтра с шести часов стрельба... Это тебе не Тургенев!

Он снова повернулся спиной к Андрею и через минуту уже похрапывал. Андрей же долго не мог заснуть. «Нет! — думал он. — Этого не может быть! Врет Сенька... Этого не может быть!»

3

Покосы и уборка уже кончились. Клочки сена валялись повсюду. В этом году травы поднялись поздно, вторая половина июля была дождливой и холодной, с косью запоздали. Но и за Ческой, в полях, и на лесных опушках теперь уже стояли стога, точно длинные ржаные ковриги. Сарай были доверху набиты сеном. Деревня надежно запаслась кормами для скота.

По вечерам молодежь гуляла. Вперемежку с деревенскими парнями стайками ходили по улице и бойцы.

Женщины в праздничных сарафанах либо в сборчатых широких юбках и в пестрых кофтах с узкими рукавами сидели возле изб на завалинках и судачили.

Однажды вечером Андрей увидел на улице чернобровую полную девушку в кокошнике. Он уже знал, что это Калерия, дочь Мелосеева. После петровок ее просватали за Сеньку-плотовщика, самого отчаянного парня на деревне. Вскоре ожидалась их свадьба. Люди и вправду болтали, будто до Калерии Сенька бегал к Любе, но Андрей по-прежнему не верил этому.

Калерия шла с подругами. Вслед за ними плелся Пашка, приятель Семена, босиком и с гармонью. Возле церкви толпился народ. Через раскрытые двери церковного притвора виден был иконостас, озаренный немногими свечами. Из церкви доносился запах ладана, слышны были возгласы священника, пение стариков и визгливый голос Мелосеева, стоявшего на клиросе. Вечерняя уже кончалась.

Гармонист, проходивший мимо церкви, не стесняясь, пел свое:

По Москве Сенька гуляет,
Извозчика нанимает,
Извозчика не нашел,
Сам заплакал да пошел,
Ко товарищу зашел.
Ты, товарищ дорогой,
Сядь, подумаем со мной.
Уж я думал, передумал,
Кого к Любушке послать,
Кому Любушке сказать,
Что женюсь на другой,
На богатой, на чужой.

Калерия обернулась и погрозила гармонисту кулаком.

— Доехало, — засмеялись бабы на заваulinке. — Кошку бьют, невестке наметки дают.

С выгона показалось стадо. Впереди него неторопливо шел бык с железным кольцом, пропущенным сквозь ноздри. Позади стада брели пастухи в лаптях с батогами. Стога курились от сырости. Мычали коровы, позвякивали колокольчики.

За линией окопов, вырытых неподалеку от деревни, отряд выставлял дозоры. Они либо углублялись на две или на три версты в лес, либо подходили к грунтовой дороге, идущей сюда из города Онеги. В этих же местах лежали по канавам секреты. Каждый секрет состоял из двух человек.

Старшим одного из секретов сегодня был назначен Иван Жарнильский. Вместе с молодым бойцом Маркиным он подошел к логовинке пересохшего ручья, протекавшего неподалеку от берега реки Онеги. Обменявшись с товарищами паролем и отзывом, они залегли. Жарнильский выкопал в сене пещерку с таким расчетом, чтобы просматривалась дорога и кусок поля за ней.

Лежавший рядом с ним Маркин зевнул во весь рот и сладко потянулся.

— Раззевался, как лошадь! — с досадой сказал ему Иван. — Рановато! Нам до полночи тут барабанить. Ты на природу любуйся. Смотри, как хорошо!

— Вода да кочки... — вяло, со скукой в голосе отозвался Маркин.

— Ну и довольно, — сказал Иван. — Для красоты много не надо.

— Неправильно Драницын дежурство распределил, — сказал Маркин. — Отдежурим до полночи, а в четыре опять заступать. Дорога, то да се... Факт, не выспишься.

— Зато сразу отделаемся. И с колокольни долой. Живи как хочешь целные сутки... Пойдем, Маркин, завтра рыбку половим. Я вчера из проволоки крючки обточил. Славные вышли крючки!.. Ты удить любишь?

Но Маркин будто и не слышал его. Вынув кисет, он кое-как слепил сигарку и подаль табак Жарнильскому.

Над болотом поднимался густой туман.

— До костей проймет! — Маркин выругался.

— Не нравится?

— Чему тут нравится?

Иван засмеялся.

— Живи ты легче, Маркин. Солдату, брат, ко всему привычку надо иметь, а ты все ворчишь. Ведь молодой еще... Кончим войну, дома обсушимся. Скоро скопом подымется весь народ. Полегче будет. Войну кончим через годок...

Маркин усмехнулся.

— Не смейся, Петра. Факт... — Иван говорил с полной убежденностью. Глаза его, круглые, точно у птицы, добродушно глядели на Маркина.

— Вчера письмо получил от отца... — начал Маркин.

— Из Питера?

— Из Питера... Маму, пишет, похоронил...

Молодой боец вдруг стал совсем похож на мальчика. Глаза его заморгали. Иван расправил слежавшееся сено и сказал ему:

— Сюда ляг, бочком! Удобнее. Что поделаешь? Смерть — дело обыкновенное. Удивляться нечему. И пасть духом тоже не к чему. Слезы зря даны человеку, ей-богу. Я ими не пользуюсь. И тебе не советую, Маркин.

Стемнело. В далеких избах Ческой засветились огоньки. Бойцы замолчали, прислушиваясь к скрипу дергача на болоте. Вдруг Иван толкнул Маркина в плечо. Это было так неожиданно, что Петр вздрогнул.

По глинистой тропинке, ведущей к реке, шли два человека.

— Видишь? — шепнул Иван.

Маркин всмотрелся.

— Да, это они. Любка с Андреем, — ухмыльнулся он. — А я вот сейчас свистну! Спугну.

— Не надо. Зачем?

Люба держала Андрея за руку, как было принято здесь между девушками и парнями. Дойдя до Онеги, они присели на валунах.

Было тихо. Трясогузки, попискивая на лету, носились над водой и глинисто-песчаными берегами. Андрей молчал, не зная, о чем говорить. Люба тоже молчала, покусывая травинку белыми зубами и вытянув босые ноги. Ее лукавые глаза иногда сами скашивались в сторону Андрея и словно спрашивали у него: «Ну, что ж ты... Так и будем молчать?» Губы складывались в задорную улыбку, будто она видела Андрея насквозь. Ему казалось, что она подсмеивается над ним.

— А тебе долго учиться-то? — неожиданно спросила она.

— Долго, — невольно улыбнувшись, ответил Андрей. — Года три-четыре, не меньше. Но ведь сейчас вообще не до ученья.

— Чего же так?

— Ну как чего?.. Сама понимаешь, какое сейчас время. Все нарушилось, вся обычная жизнь.

— И голова не варит? — наморщив брови, серьезно спросила Люба.

Андрей рассмеялся:

— Нет, варит... Только я сейчас и думать не могу о своей науке.

— Ишь ты, — пробормотала Люба. — А ты рассказывай, о чем думаешь?

Не дождавись его ответа, она встала, положила руку ему на плечо и сказала:

— Пойдем. Скучно сидеть...

Они вошли в густой ольшаник и пошли по тропинке, точно по зеленому коридору. Пахло влагой.

— Скучно мне, — сказала она. — Неужели так и пройдет моя жизнь возле затона? Болота да избы. Страсть как хочется в Питере побывать. Громада, говорят, гранит да камни. И будто есть дворец, у самой реки, на балкон Ленин выходит...

— Это было в семнадцатом году, перед восстанием, — горячо заговорил Андрей. — Отовсюду, со всего города рабочие приходили к особняку Кшесинской. Ильич с ними говорил. Я тоже там бывал, тоже слушал Ленина.

— Значит, правда! — Лицо у Любы оживилось. — Николка мой баял, да я не особенно верила... будто сказке...

— А мужа ты все-таки вспоминаешь? — после небольшой паузы спросил Андрей. — Любила его?

— А как же? Только позабывать нынче стала... Прожили-то без году неделю. — Люба задумалась. — Мы с Николкой после войны собирались по рекам скитаться. У нас реки жемчужные. Было время, старики жемчугом промысляли. Вот и мы думали жемчуг искать... Только все это тоже сказки! Нет, в городе лучше жить, — неожиданно для Андрея прибавила она.

— А чем же здесь плохо? — спросил Андрей.

— Здесь?

Словно недовольная чем-то, Люба закусила бахрому на конце платка, потом выпустила ее из зубов.

— Здесь? — тихо повторила она. — Здесь плохо. Живешь, как на блюдецке. Что это за жизнь.

— А ты разве жила в городе?

— Конечно, жила... Я-то ведь вологодская сирота... — она фыркнула. — Я до Николки на кожевенном заводе работала. Видал в Вологде? Завод немаленький...

В глазах Любы, на тонких и красных, как земляника, губах опять появилась улыбка. Задрожали ресницы. Сдерживая внезапно охватившее его волнение, Андрей встал и посмотрел на часы.

— Не пора ли домой? — спросил он.

— Домой? Ишь ты... Сам звал на Онегу... Бесил, бесил, а теперь голову повесил? — Люба засмеялась. — Вот блажной!

Где-то вблизи зашлепали по воде весла. Из тумана послышались голоса.

— Кто там торбаует, рачий царь? — закричала она. — Эй, выходи!

Все на реке затихло. Люба посмотрела на небо и вдруг опомнилась.

— Господи, ведь скотина уж давно пришла... — быстро заговорила она. — Мне домой надо. Да не осерчал ли ты за смехи мои? Ты не сердчай, дружок. Я не в обиду, Андрюша... Ах ты, карандашник!

Она неожиданно обвила шею Андрея одной рукой, нагнулась и крепко поцеловала его прямо в губы.

— Вот так-то лучше... — сказала она улыбаясь.

— Люба, Люба моя... — повторял Андрей, обнимая ее за плечи.

— Люба? Ну?.. — словно удивившись и по-прежнему с усмешкой, протянула она. — Врешь!.. И батя... да все кличут Любкой! По Сеньке и шапка! Веселей так-то...

— Нет, ты моя люба...

— Бегти надо... Пусти-ка, дружок... Ну, пусти теперь, ясно солнышко! — прошептала Люба.

— Куда же ты, погоди немножко, — шептал Андрей, стараясь привлечь ее к себе.

— Пусти! — властно сказала Люба, вырываясь из его рук, и побежала к берегу.

— Люба! — воскликнул Андрей.

Она оглянулась и крикнула:

— Не ходи за мной!

Андрей остался один. Ему хотелось смеяться от радости, от необыкновенного, неизвестного ему до сих пор ощущения счастья. В эту минуту до него опять донесся звук шлепающих по воде весел. Из-за кустов ольхи выскользнула лодка. Прошуршав днищем о глину, она воизилась в берег. Из лодки вышли Сергунько и Сенька-плотовщик. Они прошли мимо, не заметив Андрея.

«Неужели Валерий прав?.. — думал Андрей. — Неужели так бывает в жизни? Нет, не верю! Все равно... Да, все равно, я люблю ее...»

4

Фролов приехал в Ческую ночью. Три дня он провел в Обозерской в связи с переездом туда штаба обороны. Вернувшись в отряд, комиссар узнал, что телеграф из города Онеги уже не отвечает двое суток.

— Раньше тоже перерывы бывали, Павел Игнатьевич... Линия частенько портится, — успокаивал его Драницын.

Фролов только что разбудил его, и тому до смерти не хотелось расставаться с постелью. Под черной сеткой, туго завязанной у Драницына на голове, виднелся неизменный прямой пробор.

— Сколько раз это уже случилось, — зевая, повторил он.

— Мало ли что когда случается, — недовольно возразил Фролов. — Обстановка напряженная. Вы знаете, что было на архангельском берегу?

И комиссар рассказал, как две недели назад яхта «Горислава» шла по Белому морю и за несколько десятков верст от Архангельска, у пустынного берега, обнаружила морской буксирный пароход. После того как буксир не ответил на позывные, вооруженная группа советских моряков высадилась на берег. В результате за выступами берега был обнаружен и задержан небольшой английский отряд, человек пятнадцать, состоявший из солдат морской пехоты. Люди этого отряда принадлежали к экипажу английского крейсера «Аттентив».

— Мне говорили в штабе, — прибавил Фролов, — будто в этой схватке здорово показал себя Павлин Виноградов.

Наступило молчание.

— Щупают нас полегонечку, Павел Игнатьевич... Вот и все! Обычная история...

Пыльный и грязный, все еще не раздевшись с дороги, комиссар угрюмо сидел за столом. Его черная морская фуражка была сдвинута на висок. Он непрерывно курил. В кадке с фикусом уже торчало несколько окурков.

— Вот что, — сказал Фролов. — Вызовите Сергунько с несколькими разведчиками и приготовьте лошадей... Я сам поеду в Онегу. Все-таки надо узнать, в чем дело.

Комиссар вызвал к себе и старика Нестерова.

— Вы человек здешний, Тихон Васильевич, — сказал он ему. — Места знаете... Народ знаете. У вас, наверное, много знакомых?

— Целая волость! И в придачу уезд... — старик усмехнулся.

— Поможете нам?.. Надо срочно узнать: что за Порогами?

Старик прищурился, затем внимательно оглядел Фролова и Драницына.

— Эка диковина! Я так понимаю, на фронте какое-нибудь происшествие...

— Да, — коротко ответил комиссар. — Онега не отвечает двое суток.

— Ладно, — спокойно проговорил Тихон после некоторого раздумья. — Конечно, проверка требуется... Поеду!.. Спасибо тебе, Павел Игнатьич, что в кошки-мышки со мной не играл! Я тебе тоже прямо все объявляю. Ты по чести, по совести. И я тоже. Едем! Только уговор! Больше двух парней не бери. А так в форменном виде обделаем. На лодке отправимся?

— Нет, верхами. Только, Тихон Васильевич, молчок. На деревне никому ни слова. Нечего волновать народ прежде времени.

— И правда, ни к чему, — согласился старик. — Когда ехать-то?

— А чего ждать? Сейчас и поедem. Чувствуешь, Тихон Васильевич, как я тебе доверяю?

— Чую, Игнатьич.

— Не подведешь?

— Спаси бог.

5

— Эка носит тебя нечистая сила! Куда уходишь? — сказала Люба Тихону, когда он поднял ее с полатей.

— Не твое дело. Запали огонь. В лес по делу едем. Поняла? Где одежда? Давай пошевеливайся. Чего глаза лупишь? С парнями еду.

Люба вынесла охапку платья и кинула старику, все еще с недоумением глядя на него.

— Вот кафтан. Годится?

Драницын послал связного за Андреем.

— И Андрей едет? — спросила Люба у Сергунько, который уже сидел возле печи, ожидая распоряжений. — Вот дела чудны! Что же вы раньше не упредили? Я бы вам шанежек в дорогу напекла.

— И без шанежек ладно, — проворчал старик. — Некогда.

— А чего случилось-то? — уже с беспокойством допрашивала его Люба.

— Да ничего... Дела да случаи... — как бы про себя ответил ей старик. — Поди-ка лучше на двор да коня заседлай.

Люба сердито поджала губы и мгновенно выскочила из избы, хлопнув дверью изо всей силы.

— Ишь бесовка... — проводив ее укоризненным взглядом, забормотал старик. — Ах ты! кровь...

Все собрались у стола.

В деревне не было заметно ни огонька, ни человека. Песни давно затихли, все будто вымерло. С реки ползли хлопья тумана. Ночь была яркая, голубая.

За окнами уже слышались голоса бойцов, всхрапывание коней, звяканье поправляемых стремян.

В избу вошел Андрей.

— Гранаты брать? — шепотом спросил он у комиссара.

Фролов утвердительно качнул головой.

Голоса возле избы зазвучали громче.

— Нельзя. Говорят тебе, сейчас уезжают, — слышался чей-то упрямый голос. — Не было приказа допускать.

— Остолоп ты, больше ничего! — с возмущением крикнул кто-то.

Фролов узнал голос взводного командира Степанова.

Тотчас в избе появился и сам Степанов, человек лет тридцати, кузнец с Путиловского завода. Он не знал как следует ни строя, ни уставного обращения и одинаково держался и с бойцами и с начальниками. Вразвалку подойдя к комиссару, Степанов передал ему телеграфный бланк.

— Сейчас принято, Игнатьич. Из Обозерской, — сильным голосом сказал он. — Я полагаю, срочно.

— «Город Онега занят англичанами, — прочитал Фролов. — Наши отступили на Ческую». — Дальше шло распоряжение Семенковского о принятии мер.

— Я словно чувствовал! — сказал Фролов, передавая бланк Драницыну.

— Но где же красноармейцы онежского гарнизона? — прочитав телеграмму, сказал Драницын. — Что за

штатская неточность? Вот теперь нам действительно надо высылать разведку. Но уже без вас, товарищ комиссар. Сейчас я покорнейше прошу вас не оставлять отряд.

— Разведку надо выслать немедленно, — сказал Фролов.

Валерий получил от Драницына последние инструкции и карту.

Комиссар и Драницын вышли на крыльцо, чтобы проводить разведчиков. Побледневшая Люба выбежала вслед за ними.

— Ангелы с тобой, — шепнула Люба Андрею, стоя возле лошади, на которую он с трудом вскарабкался.

Валерий засмеялся. Тихон сердито посмотрел на него.

— Ну, помолясь? — сказал он, вскакивая на серого костистого мерина. Мерин запрыгал под ним, но старик умеючи успокоил его и, подъехав к Фролову, деловито проговорил:

— Не по тракту поедem, а правым берегом, для скрытности. Места мне известные. Там бакенщик живет, Елкин, старый приятель. Такого мужика и в апостолах не было. Дошлый, все знает.

— Осторожнее, Тихон Васильевич! Не забирайтесь далеко. Мне нужны только сведения

— Ничего. Дьявол лих, да мы смелы! — крикнул Нестеров и, ударив лошадь каблуком в брюхо, погнал ее первой.

Вслед за ним поскакали по глинистому спуску к переправе Андрей и Валерий. Стук копыт гулко раздавался в ночной тишине.

— А ведь лихой мужик, — сказал военспецу Фролов, вернувшись в избу.

— Да, старая служба!.. Спать будете, Павел Игнатьевич? Надо все-таки спать!

«Да, конечно, надо спать», — подумал комиссар.

6

Разведчики продрогли до костей. Смена действительно оказалась очень тяжелой. Серый густой туман по-прежнему поднимался над болотом. Тучи шли так низко, как будто задевали верхушки деревьев.

«Ничего, — утешал себя Жарнильский. — Через три часа задам храповицкого».

Ему хотелось говорить, чтобы отвлечься, рассеяться. Однако он молчал, чутко прислушиваясь к каждому шороху.

Вдруг лицо его застыло. Ему показалось, что кусты лозняка, темневшего шагах в двадцати от дороги, вздрогнули.

Тотчас вслед за этим из кустов появились какие-то темные фигуры. До Жарнильского донеслась чужая речь. Первым его движением было — не медля ни секунды, открыть огонь. Но темные фигуры быстро спрятались в кустах, стрелять же впустую, по мнению Жарнильского, не стоило даже для сигнала тревоги.

— Видел? — шепотом спросил он Маркина.

Тот молча кивнул.

— Ползи скорей, сообщи нашим, — приказал Жарнильский.

Маркин, плотно прижимаясь всем телом к земле, пополз к берегу Онеги. Там находился секрет второго поста.

«Лишь бы Маркин скорей добрался», — лихорадочно думал Жарнильский и в ту же минуту опять увидел появившуюся из кустов темную фигуру. Вспыхнувший на мгновение электрический фонарик осветил погоны, военную куртку, круглые, точно сосиски, усы. Затем чужеземный солдат, стоявший на дороге, громко позвал своих товарищей, которые еще прятались в кустарнике. «Как нахальничают! — с ненавистью подумал Иван. — Будто к себе приехали!»

Ни о чем больше не размышляя, он прицелился и выстрелил. Чужеземный солдат с криком упал. Над болотом раскатилась пулеметная дробь. Так начался этот бой.

7

— Выстрелы, слышите, выстрелы! — закричал комиссар, внезапно проснувшись.

Он вскочил и торопливо оделся. Вслед за ним сорвался с койки Драницын, натянул брюки и подбежал к окну.

Небо посветлело, приближался рассвет.

«Стреляют!» — разнеслось по деревне. Заспанные люди, накинув на себя кое-какую одежду, выскакивали из домов. По улице, перекликаясь, бежали бойцы с оружием. Ревел скот, в неурочный час выгнанный из хлебов. Бабы препирались с мужиками: в каком лесу его прятать?

Комиссар и командир выбежали на улицу. Перед Фроловым мелькнуло испуганное лицо Любы. Затем, точно из-под земли, появился Сергунько, ведя на поводу взмыленную лошадь. Тихон в мокром кафтане, без шапки, понунив голову, стоял посередине двора. Рядом с ним стоял мокрый с ног до головы Андрей.

— Вы как здесь очутились? — закричал на них комиссар.

Андрей сбивчиво рассказал, что на шестой или седьмой версте от Ческой из лесу вышел охотник и сообщил, что по левому берегу движется какой-то иностранный отряд.

— Мы, конечно, переправились туда. Жители подтвердили.

— Я решил ворочаться, — сказал Сергунько глядя то на комиссара, то на военспеца. — Мы поскакали...

— На онежской дороге вы не были? — перебил его Драницын.

— Нет. Мы ворочались берегом.

— И проехали свободно?

— Как всегда!

Драницын закурил, и его лицо сделалось совершенно спокойным.

— Я так и думал, — сказал он. — Очевидно, их передовая группа наткнулась на один из наших дорожных постов. Либо в лесу, либо... Эй, связной! — крикнул он. — Что уши развесил? Давай скорей лошадей!

Через несколько минут комиссар и Драницын, оба на лошадях, выехали из деревни. Драницын ехал, как на прогулке, мерной рысью, слегка подстегивая лошадку стеком. Следом за ним, неловко приподнимаясь в седле, трусил Фролов. Он не умел ездить верхом. Валерий, Андрей и старик ехали позади. Последним на норовистой, упрямой лошади, бросаясь со стороны на сторону, скакал связной.

Стрельба продолжалась.

Бойцы со всех сторон деревни сбегались к каменистому оврагу, заросшему лопухом. Здесь по распоряжению Драницына должен был находиться резерв отряда.

Когда Фролов подъехал к оврагу, Драницын уже слез с лошади и выслушивал взводного командира Степанова, подошедшего к нему из окопов.

— Стыдно! — резко и раздраженно говорил Драницын. — Ну, чего палят в божий свет, раз противника не видно? Сейчас же прекрати.

Степанов побежал к линии окопов. По крутому и обрывистому скату ему пришлось ползти, цепляясь за траву и кустарник.

Подбежал Валерий и вытянулся перед Драницыным.

— Проверить секреты, — отрывисто приказал ему командир отряда.

Комиссар лежал на бруствере. Вытащив из футляра бинокль, он стал наводить его сначала на стога, смутно видневшиеся вдаль, потом на верхушки двух сосен, которые покачивались, выступая из белых волн тумана, словно буйки на воде.

В сплошной пелене тумана, похожей на груды облаков, упавших с неба, прятался враг. Там непрерывно трещали пулеметы. Но жертв не было, ни одна пуля еще не залетела в окопы.

Так прошло минут двадцать, пока не вернулись разведчики. Сергунько доложил комиссару, что три поста не обнаружили противника, там все спокойно. Но пройти на четвертый пост, к Жарнильскому и Маркину, ему не удалось.

— Никак! Ни перебежками, ни ползком. Стальной град. Сильный заградительный огонь. Никакой возможности, — докладывал Сергунько.

— Надо дойти, — сказал Фролов.

— Слушаюсь, — ответил Валерий.

Фролов поднял голову, но Валерия уже не было. Он уполз один. Разведчики зашевелились, поняв, что их командир весь риск взял на себя. Андрей молча выпрыгнул из окопа и побежал по полю, догоняя Сергунько. «Латкин! Ложись!» — кричали ему вслед. Андрей обернулся и упал. «Подбили? Эх, Андрюшка! Нет, слава богу. Ползет, ползет! Махнул за кочку! Ах, сукин сын!» — говорили бойцы.

Пули уже достигали окопов. Появились раненные.

— Мы должны выручить пост, — сказал Фролов.

Драницын покачал головой и раскурил погасшую папиросу.

— Надо подождать, что даст разведка. Быть может, в этом направлении противник поведет атаку, тогда нам будет не до выручки. Но в их стрельбе есть что-то паническое. Так не наступают! Хотя, кажется, никогда еще погода столь не благоприятствовала атаке, как сейчас.

Он похлопал стеком по голенищу, уже заляпанному глиной.

— Кому — им или нам? — переспросил Фролов.

— Пока им. Но если будем атаковать мы, то будет благоприятна для нас, — спокойно ответил Драницын. — Подождем возвращения разведки. Я почему-то думаю, что враг не собирается атаковать.

Фролов был не из трусливых. Он не страшился казни, ожидая приговора царского военного суда, не боялся смерти и при побеге из царской тюрьмы. Попав в Питер незадолго до Октябрьского переворота, он был одним из участников штурма Зимнего дворца. Но тогда он ни за кого не отвечал, никем не руководил. Теперь он особенно остро испытывал все те чувства, которые испытывает каждый, даже самый маленький военачальник. Больше всего волнуясь за исход всего боя в целом, комиссар в то же время ощущал ответственность за людей, доверивших ему свои судьбы и следивших сейчас за каждым его движением.

Временами ему даже хотелось, чтобы противник поскорее показался.

— Как себя чувствуете? Ничего? — услышал он шепот над своим ухом. К нему наклонился Драницын.

— Занимайтесь своим делом, — грубо ответил Фролов.

Бестактность военспеца помогла ему обрести полное спокойствие, точнее говоря, то равнодушие к себе, которое только и позволяет людям овладевать своими нервами в бою.

Стрельба стихала, переходя от пулеметных очередей в одиночные выстрелы. Кроме того, свист пуль слышался теперь раньше выстрела. Значит, стреляющие находились отсюда не ближе как за две тысячи шагов. Драницын сообщил об этом бойцам.

— По-видимому, они отходят, — добавил он. — Совершенно ясно, что они случайно наткнулись на четвертый пост.

Бойцы разом заговорили, стали подниматься. Некоторые даже вылезли на бруствер, хотя это было еще опасно.

Вернулась разведка. Валерий рассказал Драницыну, что на дороге и в лесу обнаружено много следов.

— Отряд, надо думать, большой, сейчас он движется краем леса, в сторону железнодорожной линии, — докладывал Валерий. — Четвертого поста нет. Маркин убит. Ивана зарезали. Вот так, ножом! — Сергунько провел ребром ладони по горлу, и рука у него задрожала. — Я осматривал подсумок Ивана, винтовку — патронов нет. Пулеметная лента тоже пустая. Только гильзы на сене. Видимо, парень оборонялся до последнего патрона.

Возле Валерия стоял Андрей с искаженным от волнения, мокрым и грязным лицом. Он сунул руку в карман штанов и вытащил оттуда петличку от военной куртки, найденную им возле стога, где был зарезан Жарнильский. Подавая ее комиссару, Андрей тихо сказал:

— Английская...

— Нет, это не английская, — возразил Драницын, взглянув через плечо Фролова. — Это американская. Видите герб: орел, сжимающий в когтях пучок стрел.

Бойцы, будто им кто-то скомандовал, придвинулись ближе к военкому, глядя на аккуратно окантованную матерчатую полоску рыжего цвета. Помяв петличку между пальцами, комиссар швырнул ее в грязь.

Молча стояли бойцы. Они угрюмо глядели на валявшуюся в грязи петличку от чужеземной военной куртки.

— Что же это такое, товарищи? — вдруг закричал Валерий. — Нам про эту страну говорили, что она самая свободная в мире! Какая же это к черту свобода?! Товарищи, да как они смели? Товарищ комиссар, товарищ комиссар, — прерывающимся от волнения голосом повторял он. — Это Америка? Значит, это какой-то американец очутился вдруг здесь, в глуши, и зарезал нашего Ваню Жарнильского? И мы это допустили?

Фролов отлично понимал состояние Валерия. У него и у самого все бушевало в груди, но когда стоявшие вокруг красноармейцы стали так же, как и Валерий,

кричать и размахивать винтовками, он понял, что должен сдержаться.

— Вы что, малые дети? — сказал Фролов. — Что вы кричите? Не кричать надо, а действовать, как подобает солдатам революции. Как вы думаете: американцев здесь много? — спросил он у Драницына.

Бледный от гнева и волнения, военспец пожал плечами.

— Судя по тому, какую возню подняли эти мерзавцы, по-видимому, много. Во всяком случае, гораздо больше, чем нас. И вооружены они неизмеримо лучше нашего. Хотя и уклоняются от боя.

— Что вы предлагаете?

— Завязать бой.

— Правильно, — сказал Фролов. — Нас мало. Но мы на своей земле. Значит, нас больше. Готовьтесь. Будем драться.

Драницын заявил, что для боя в этих местах необходимы опытные проводники, хорошо знающие лес. Несколько бойцов побежали в Ческую, и через полчаса к Фролову подошел отряд человек в пятнадцать во главе с Тихоном. Это были местные звероловы-охотники, лесорубы, корьевщики. Некоторые из них были вооружены дробовиками.

Фролову нужно было не больше двух-трех проводников, и он заявил об этом крестьянам.

— Нет, Игнатич, уж коли мужик замахнулся, так бьет, — сказал Тихон. — Пули у нас — жаканки, как раз по зверю. Кто проводником, а кто и бойцом пойдет, всех бери. Общество просит. Пойдем бить наших врагов.

— Ну, спасибо, товарищи, — сказал комиссар. — Для всех найдется место в бою, это верно.

Затем он обернулся к Валерию и приказал ему как можно скорее распределить добровольцев по взводам.

8

Сводный англо-американский батальон находился в трех верстах от Ческой. Случилось это следующим образом.

Тридцатого июля эскадра интервентов вышла из Мурманска. Тридцать первого часть ее, зайдя в Онеж-

скую губу, высадила в порту города Онеги первый десант. Горсточка красноармейцев в несколько десятков человек, составившая здесь городской гарнизон, пыталась оказать сопротивление. Но эта попытка была быстро подавлена огнем с неприятельских судов.

В то время как эскадра направилась дальше к Архангельску, десантный батальон поднялся по реке Онеге к деревне Подпорожье, а затем и к Ческой, стремясь обогнуть ее и добраться лесами до Вологодской железной дороги. Здесь он и столкнулся с дозорами Фролова.

Американцев в батальоне было больше, чем англичан. Их общий начальник, полковник Роулинсон, воображал, что ему удастся пройти по тайге, словно по паркету. Стычки с каким-то большевистским патрулем не смутили его. Гораздо больше беспокоила Роулинсона судьба огромного обоза, где было все, начиная от шоколада и виски и кончая шерстяными свитерами. Обоз связывал маневренность: бросив его, Роулинсон успел бы дойти до дороги Ческая — Обозерская и перерезать ее. Но полковнику было жалко бросать обоз.

Когда раздался первый выстрел, американцы поняли, что бой неизбежен, однако за его исход никто из них не беспокоился. Разведка донесла, что силы большевистского отряда крайне незначительны.

Полковник Роулинсон, младший сын известной в Чикаго семьи Роулинсонов, попал на русский Север неожиданно для себя. Он из-за женщины впутался в скверную историю: растратил штабные деньги и, чтобы как-нибудь выпутаться из положения, продал без ведома своей любовницы ее драгоценности. Все это было так грязно и скандально, что даже высшее американское командование не смогло замаять дела. Роулинсону предложили немедленно покинуть Париж и отправиться в экспедиционные войска. Уезжая, он цинично заявил: «Война — это грабеж, грабеж — это деньги, уж там-то, в этой богатейшей стране, я сделаю свой первый миллион».

«Вдруг меня еще ухлопают на этом болоте», — подумал Роулинсон, наблюдая начавшийся бой.

Фигурки, которые он видел в бинокль, приседали на бегу под минометным огнем американцев, прижимались к земле, вскакивали, падали, ползли. Полковник повторял свои приказы. Сейчас работали уже два миномета.

Однако крики «ура» и винтовочные выстрелы красных не прекращались. Это начинало беспокоить Роулинсона. «Надо отъехать подальше отсюда. Ну их к черту!»

Полковник изобразил на лице беспечную улыбку и обратился к длинноногому офицеру-артиллеристу, стоявшему сейчас рядом с ним возле молодых елочек:

— Ну, Хэнки... Я поеду к резерву. Когда вы здесь, мне нечего делать.

— Конечно, поезжайте в лес! — Хэнки ухмыльнулся. — Справимся. Очистим дорогу, и все будет замечательно.

Становилось жарко. Хэнки скинул с себя брезентовое военное пальто, широкое, точно капот.

Пожав Хэнки руку и неторопливо усевшись на раскормленного гунтера, полковник поскакал в чашу.

9

Фролов и Драницын пристроились в большой яме, где когда-то был фундамент и подполье каменного строения. Сейчас от всего этого остались только груды кирпичей и несколько валунов, осевших вместе с почвой. Здесь же находились бойцы из разведки вместе с Валерием, Андреем и стариком Нестеровым.

Разведка сообщила, что на левый берег реки у Ческой переправились лишь неприятельские пикеты, а основные силы англичан и американцев движутся по правому берегу Онеги к тракту Ческая — Обозерская. Минометы противника работали с прежним ожесточением, и невольно возникал вопрос: следует ли продолжать бой и понапрасну губить силы?

— Они хотят занять станцию Обозерскую, — сказал Драницын, подавая комиссару чертеж участка, набросанный им на листке из блокнота. — Вот как все это выглядит! По-видимому, они намерены перерезать железнодорожную линию. Посмотрите!

Фролов взял листок.

— Перерезать железнодорожную линию? — переспросил Фролов, разглядывая чертеж. — А что ж, Архангельск, по-вашему, будет смотреть на это сложа руки?

Драницын отвернулся и не то свисало, как показало Фролову, не то с горечью проговорил:

— Я боюсь, что судьба Архангельска предрешена. Если он еще не занят интервентами, так не сегодня-завтра они его займут.

— Вы с ума сошли! — вскричал Фролов.

— Увы, нет, — продолжал Драницын тем же тоном. — Для иных целей интервентам незачем было бы забираться в такую глушь.

Он показал карандашом на то место чертежа, где была обозначена станция Обозерская.

— Вот! Здесь пересечь дорогу, захватить ее. Может быть, взорвать пути. И тем самым сделать невозможной эвакуацию Архангельска. Он будет отрезан от Вологды. Вот их план.

Не только комиссар, но и Валерий, и Андрей, и даже старик Тихон склонились над чертежом.

— Ах, ироды! — пробормотал старик.

Валерий и Андрей переглянулись.

Фролов задумался. Холодный ветер трепал березы. В полуверсте от ямы слышались взрывы мин.

— Тогда мы ляжем здесь костями, — сказал наконец комиссар.

— Смелый идет навстречу смерти со шпагой в руках! Вы правы, товарищ комиссар.

— Да что ты, милый, — заговорил старик. — Ничего не будет! Дьявол лих, зато ангелы добры. Ничего нам не будет.

От слов старика веяло несокрушимой уверенностью.

Комиссар встал и спокойно сказал Драницыну:

— Мы должны не умереть, а победить. Во что бы то ни стало! Понятно?

Отряд разделился на две группы. Первая, которой теперь командовал Драницын, оставалась на месте. Фролов со второй группой ушел в лес, с тем чтобы напасть на интервентов с тыла. Услышав взрывы гранат, Драницын должен был сейчас же поднять своих людей в атаку.

Фролов сбросил шинель и положил по две гранаты в оба кармана штанов.

— Как только раздадутся взрывы, начинайте, — сказал он военспецу.

— Слушаюсь, — коротко ответил Драницын.

— Ну, а ты что? Бери! — весело крикнул Валерий, показывая Андрею на ящик с гранатами. Разведчики были включены в группу Фролова.

— Все взяли? — обернулся он к бойцам.
— Все, — слышалось в ответ.
— Ну что ж, товарищ Драницын, — по-прежнему весело сказал Сергунько. — Не поминайте лихом...
— Пошли! — приказал Фролов.

Выбравшись вслед за ним из ямы, люди побежали к ручейку, вытекавшему из леса. Ручей был мелкий, с вязким дном. Ложбинка, в которой он протекал, заросла лозняком. Скрытно двигаясь по течению ручья, люди добрались до леса.

— Туда-от, на горелое пойдем, Павел Игнатьич, — сказал Нестеров. — Сгоревшие елки, — он махнул рукой. — Там ихние посты. Там природы!

10

Полковнику Роулинсону доложили, что к роте, размещенной у лесной тропы А (так американцы называли в своих донесениях одну из таежных просек), направляются бойцы советского отряда. Эта рота имела сто с лишком штыков и растянулась приблизительно на полкилометра. Боевое охранение состояло из постов и нескольких парных патрулей, обходивших просеку, которая таким образом все время контролировалась. Почувствовав, что противник намеревается охватить его с тыла, полковник Роулинсон послал из резерва новую роту. Она уже направилась к тропе, но Фролов сумел предупредить события. Его группа вплотную подобралась к американским передовым постам. Комиссар лежал в пятнадцати шагах от одного поста и на таком же расстоянии от другого. Дальше ни ползти, ни прятаться было уже невозможно. Он увидел избушку с разметанной крышей и понял, что там находится минометный окоп. Кругом слышались голоса американцев. Фролов вскочил на ноги, оглянулся и крикнул:

— Вперед, товарищи!

Во главе своих бойцов он очутился на поляне неподалеку от избушки и швырнул через разметанную крышу связку гранат. Раздался взрыв. Слышались крики, стоны. Американские солдаты бросились бежать. Офицеры, сами не ожидавшие столь внезапного нападения,

пытались удержать своих людей, но солдаты не слушались их. Началась паника.

Тем временем Драницын поднял бойцов в атаку...

В донесении полковника Роулинсона, которое впоследствии было найдено в Архангельске, весь этот эпизод излагался так:

«Внезапно у нас в тылу появились совершенно пьяные латыши. С дикими возгласами они стали кидать гранаты. Мы огнем винтовок и пистолетов встретили одуревшую от алкоголя банду. Мой лейтенант Хэнки ликвидировал нескольких. Но, к несчастью, наши минометы бездействовали. Они были повреждены взрывом гранат. Неожиданно появилась новая цепь красных с ручными пулеметами, засыпавшая пулями наших храбрецов. Возникла угроза окружения. Мы вынуждены были отступить. Впредь до получения от разведки точных сведений о силах противника я изменил направление и приказал всему отряду собраться в кулак и уходить в глубь леса..»

11

Ветер шумел, взметывая ветви ольхи. Невдалеке от жарко пылавшего костра маячила в темноте фигура с винтовкой. Тут же лежали накрытые брезентом тела погибших бойцов. Завтра утром их должны были похоронить.

Сидя у костра и задумчиво глядя на раздуваемый ветром огонь, Андрей думал, что и он и Валерий Сергунько могли бы теперь так же лежать под брезентом, как лежат Иван Жарнильский и Петр Маркин. Почему этот мир, существующий десятки тысяч лет, не сумел обеспечить человеку справедливой жизни? Сколько жертв еще понадобится для того, чтобы переделать всю эту бесчестную, бессовестную старую жизнь?

— Что молчишь? Психология? — насмешливо спросил подошедший Валерий.

— Нет, я просто думаю... — ответил Андрей и рассказал о своих мыслях.

Валерий рассмеялся.

— А я полагаю так... Если бы мне сказали: получай сто жизней, — все до одной я истратил бы на революцию. Ей-богу, только силой оружия народ добьется новой,

счастливой жизни. Что тут думать, — уже добродушно закончил Валерий.

Они зашли в ярко освещенную избу Нестеровых. Петухи пропели полночь, но деревня еще бодрствовала. По улицам сновал народ.

Мелосеев с кнутом в руке стоял возле своего дома, мрачно поглядывая на освещенные окна. Калерия распрягла лошадей и завела их во двор, к конюшне.

Как только первые выстрелы донеслись до деревни, Мелосеев погрузил на телегу два больших сундука, разместил на ней семью, запер свой дом и отправился в лес. Когда бой кончился и все стихло, Мелосеев вернулся. Но дом его был уже занят бойцами.

Сейчас они перетаскивали с повозок в пустой мелосеевский амбар добытые в бою трофеи: ящики с патронами, мешки с продовольствием. Взводный командир Степанов, исполняя обязанности каптенармуса, наблюдал за приемкой и, стоя у распахнутых настежь ворот амбара, что-то записывал себе в книжечку. Боец светил ему фонарем.

Мелосеев подошел к Степанову.

— Как же это прикажете понимать, товарищи военные? — глядя себе под ноги, спросил он. — Я теперь не хозяин, что ли? Замок сорвали...

— Ты будешь бегать взад-вперед, а мы тебя дожидаться! — сильным голосом ответил взводный. Голова его была забинтована, лицо выглядело от этого еще более суровым. — Потеснись! Дом большой... Или тебе места мало? Хочешь, чтобы раненые наши валялись на земле, как собаки, а ты блаженствовал?.. Да? Ты этого хочешь, кулацкая душа?

— Батя, — испуганно зашептала Калерия, дергая отца за рукав.

— Отстань! — злобно закричал на нее старик.

Он прогнал дочь и уселся на бревнышке, поджидая комиссара. Но когда Фролов появился, у Мелосеева не хватило духу к нему подойти.

В ночном воздухе разносились перекликающиеся голоса бойцов и деревенских жителей. Вся Ческая от мала до велика была взволнована боем. Никто в деревне не спал... И по дороге, залитой дрожащим лунным светом, всю ночь из дома в дом ходили люди.

В ночь на первое августа губвоенком Зенькович звонил по телефону в штаб Северной флотилии и спрашивал Викорста: закончено ли минирование и приняты ли все другие меры на случай появления вражеских судов? Адмирал заявил, что все решения особого совещания выполнены. Зенькович послал людей для проверки. Ему доложили, что мины расставлены, ледоколы находятся на фарватере и в случае надобности в любой момент могут быть взорваны. Было доложено и о том, что мудьюгские батареи получили дополнительный артиллерийский боезапас и способны выдержать продолжительный бой.

А через несколько часов Зеньковичу подали рапорт, присланный комиссаром флотилии:

«Сегодня в шесть часов утра противник показался вблизи острова Мудьюг, в шестидесяти верстах от Архангельска. К плавучему Северодвинскому маяку подошли крейсеры «Кокрен» и «Аттентив», авианосец «Найрана» и транспорт с солдатами морской пехоты. Англичане захватили плавучий маяк и два дозорных тральщика. Советским батареям, находившимся на Мудьюге, было предложено сдаться. Председатель батарейного комитета приказал противнику уйти из русских вод, заявив, что в случае отказа батареи откроют огонь. В ответ на это с английского авианосца были тотчас же спущены четыре гидроплана. Первый из них полетел в сторону Архангельска, остальные три закружились над батареями. Крейсер «Аттентив» малым ходом двинулся вперед.

Когда крейсер приблизился к Мудьюгу, на береговой сигнальной мачте острова был поднят сигнал: приказываю остановиться. Английские гидропланы стали бросать бомбы. Батарейная команда, обстреляв их из пулеметов и винтовок, отогнала к северу. Крейсер направился вслед за гидропланами и отдал якоря в трех-четырёх кабельтовых от острова, заняв позицию, позволявшую ему стрелять по Мудьюгу. В девятом часу утра он открыл огонь. Батарея могла отвечать лишь двумя орудиями, другие были кем-то в последнюю минуту

выведены из строя. Гидропланы снова начали яростную бомбежку. В то же время к северной оконечности острова приблизился на лодках английский десант. Солдаты, высадившись в числе двух рот с пулеметами и минометами, также открыли огонь.

Три метких попадания советских артиллеристов в крейсер не спасли Мудьюга. Защитники его были обречены. Тогда тридцать пять батарейцев, еще уцелевших, несмотря на огонь с неба, с земли и моря, подорвали орудия, а также и пороховые погреба. Столбы дыма взвились над лесными болотами. Батарейцы побежали к югу, где стояли на причалах лодка и небольшой баркас. Моряки и красноармейцы покинули Мудьюг, стараясь попасть в полосу утреннего тумана, стелившегося над волнами Сухого моря...»

Так в рапорте штаба Северной флотилии описывалась мудьюгская трагедия. Сквозь строчки рапорта, лежавшего перед ним на столе, Зенькович видел героев этого неравного боя. Это были люди в бинтах, с воспаленными глазами, измученные, их форменки и бушлаты были разорваны и пропитаны кровью. Их глаза горели негодованием. Люди кричали: «Измена! Нас предало царское офицерьё! Где Викорст? Где Потапов?.. Надо задавить этих гадюк! Надо истребить змеиное гнездо!»

Тогда же выяснилось, что минные поля, поставленные Викорстом, не взрываются, что ледоколы действительно затоплены, однако не на фарватере, и что они не взорваны, а посредством открытия кингстонов просто погружены на дно.

Человек, посланный Зеньковичем, так докладывал ему об этом происшествии:

— Когда я подошел на своем буксире к месту взрыва, вижу, на ледоколах аврал... Подошли лодки и с Мудьюга... Нам кричат: «Уходите, сейчас взрываем!» Тут раздаются отчаянные голоса мудьюжан: «Скорее, товарищи!.. Первый крейсер уже вошел в устье». Я к инженеру-подрывнику, а он тоже кричит: «Уходите, сейчас взрываем!» Мы завели буксир в речную петлю, долго ждали, но взрывов так и не дождались. А когда мы вернулись, нам сказали, что пироксилин оказался испорченным... Ледоколы на моих глазах медленно погружались в воду. Я говорю: «Но вы сдвинулись с места, не там топите». Старший офицер показывает мне при-

каз командующего, обозначающий место затопления. Я арестовал этого офицера...

Зенькович позвонил Викорсту. Однако в штабе флотилии никто не отвечал, кроме дежурного. Он позвонил Потапову, но и того не оказалось на месте.

Ни Викорста, ни всех его сотрудников, ни начальника гарнизона Потапова уже нельзя было найти. Они скрылись.

Слухи о мудьюгской трагедии проникли в город. Были получены и другие сообщения. Выяснилось, что день тому назад англо-американским десантом занят город Онега, что на Онежский рейд по пути в Архангельск заходила сводная эскадра Антанты и маленький северный городок запылал от ее снарядов. Из Вологды сообщили, что на реке Онеге, в районе Ческой, противник завязал бой с передовыми отрядами Красной Армии и что какой-то иностранный вражеский батальон пытается прорваться к Вологодской железной дороге, очевидно стремясь перерезать ее возле станции Обозерской.

Архангельским властям стало ясно, что из города необходимо как можно скорее эвакуировать все имеющее боевую ценность... Надо беречь силы для будущих боев.

Началась спешная эвакуация.

Зеньковичу, как члену президиума исполкома, вместе с Чесноковым, Базыкиным и другими товарищами пришлось спешно заняться эвакуацией города. Составлялись списки на грузы, на людей, которых необходимо было эвакуировать. Решения приходилось принимать буквально на ходу. В этом не прекращающемся ни на одну минуту круговороте дел хоть немного притуплялась та ноющая сердечная боль, которая с утра томила Зеньковича. Каждые четверть часа губвоенком осведомлялся у Чека, как идет розыск Викорста и Потапова. Но все усилия были напрасны. Изменники точно в воду канули.

В середине дня из Шенкурска пришла телеграмма за подписью Павлина Виноградова. В ней Павлин сообщал, что с белогвардейцами покончено и что в Шенкурске восстановлен полный порядок. Зенькович тут же отправил Павлину телеграмму с кратким изложением архангельских событий. После этого он поехал к себе

в военкомат, куда должны были явиться остающиеся в городе большевики.

На улицах суетливо гудели машины, тревожно звонил трамвай, кричали, обгоняя друг друга, извозчики. По тротуарам спешили озабоченные, хмурые люди. Не видно было ни одного улыбающегося лица, не слышно было ни смеха, ни громких разговоров. Выжидавшая дальнейших событий буржуазия притаилась по своим квартирам и домам.

У Соборной пристани стояло несколько двухпалубных больших пароходов. К ней непрерывно подъезжали пролетки, автомобили и ломовые телеги, наполненные вещами и грузами. Красноармейцы, цепью рассыпавшиеся возле пристани, проверяли пропуска.

Напряженная тишина прерывалась только криками возчиков и матросов, переносивших на пароходы ящики с казенным грузом. Пароходы уходили без гудков...

2

В Архангельском военкомате было непривычно тихо. Внизу, в комендантской, у дежурных писарей горел свет. У ворот и в подъезде, как всегда, стояли часовые.

Кабинет был полон народу. Со многими из находившихся тут Зенькович сегодня уже разговаривал. Других видел впервые. Все были сосредоточены, угрюмы.

Адъютант Зеньковича и телеграфист военкомата Оленин сидели на корточках возле круглой печки и сжигали секретные документы.

За письменным столом, пристроившись возле настольной лампы, сидел Потылихин. Ворот его ситцевой рубашки был распахнут. Фуражка сползла на затылок. Покрасневшими от усталости глазами он просматривал только что составленное им воззвание Архангельского комитета партии. Утром оно должно было появиться в газете.

«Мировая гидра контрреволюции в лице Антанты, в лице английского и американского империализма, — говорилось в этом воззвании, — наносит Архангельской организации тяжелый удар. Комитет партии вынужден уйти в подполье, дабы не быть распытым мировыми раз-

бойниками. Товарищи!.. Революция в опасности! Наш долг — всеми силами и средствами спасти ее».

— Успеют ли дать в газету воззвание? — спросил Зенькович, подходя к письменному столу.

— Должны успеть, — отозвался Потылихин и, помолчав, добавил: — Я уже обо всем условился с наборщиками.

Стоявший рядом с Потылихиным Базыкин просмотрел листовку через его плечо и сказал:

— Вот здесь надо добавить, Максим Максимыч. — Он указал пальцем на место в листовке. — Тут надо сказать о стойкости... Никакой паники!

Потылихин подумал, качнул головой и быстро диктовал несколько фраз.

Зенькович, прочитав листовку, молча вернул ее Потылихину.

Оглядев собравшихся, он спокойно и отчетливо проговорил:

— Товарищи, по решению партийной организации мы остаемся здесь для подпольной работы...

— Явок нет, — раздался голос из группы людей, сидевших возле длинного стола.

— Будут... И явка, и техника, и документы... Все будет! — так же спокойно, только немного повысив голос, сказал Зенькович. — Воля, отвага, расчет, поддержка рабочего класса — вот что главное. Первая явка будет у Грекова, рабочего ремонтных мастерских. Потылихин его знает. Все мы должны разойтись по рабочим отрядам. Распределим силы. Я сегодня же ночью иду на левый берег. Надо прогнать к Вологде еще несколько оставшихся эшелонов. Это раз. Надо подготовить к бою левобережные красноармейские части и моряков, которые должны туда прийти. Это два. Тебе, Базыкин, поручается агитация на заводах и организация явок. Займись этим сейчас же. Ты пойдешь на Маймаксу, — сказал он, обращаясь к Чеснокову. — А мы с Потылихиным съездим сейчас в Соломбалу. В Соломбале рабочие вооружились?

— Вооружились, — ответил Потылихин.

— Вооружайтесь и вы, товарищи, — сказал Зенькович и, раскрыв сейф, выложил на стол два десятка револьверов. — Винтовки внизу, на складе. Все ясно?

— Все, — отвечали коммунисты.

К Зеньковичу подошли директор одного завода, двое слесарей и старичок, председатель фабричного комитета. Военком помнил их по собраниям городского партийного актива, особенно старичка, члена партии с 1903 года. Тут же возле стола стояло несколько человек с Маймаксы. Они были вооружены.

Пришли работники порта. Чесноков заговорил с ними, отдавая последние распоряжения. Все делалось без лишних слов, в напряженной, строгой тишине.

— Очевидно, завтра утром будет высажен десант, а сегодня ночью может вспыхнуть контрреволюционный мятеж, — сказал военком. — Надо показать врагу, что мы его не боимся и что на каждом клочке нашей северной земли его ожидает смерть. Завтра буржуазия выйдет навстречу интервентам с хлебом-солью, а мы встретим их пулями.

Говоря это, Зенькович взял из письменного стола две пачки патронов для нагана, аккуратно перевязанных веревочкой, и спрятал их в карман шинели, потом поднял лежавшую на полу винтовку. Он собирался спокойно, не торопясь, точно на время уезжал куда-то.

Потылихин с невольным восхищением следил за ним. Каждое движение военкома, выражение его глаз, тон, которым он разговаривал, — все было проникнуто непоколебимым спокойствием. Зенькович всегда выглядел аккуратно, подтянутым, решительным солдатом. Сейчас же лицо его казалось одухотворенным особой, внутренней силой. Оно приобрело ту суровую значительность, которая отличает человека твердо решившего исполнить свой долг до конца.

Внимательно оглядев кабинет и всех товарищей, находившихся в нем, Зенькович все так же неторопливо надел шинель, фуражку и крикнул адъютанту в соседнюю комнату, чтобы тот вызвал пролетку.

— Ну, по отрядам!.. — на ходу сказал он Потылихину. — До свиданья, товарищи! Забудьте обо всем, кроме вашего революционного долга. Смело в бой!.. Скоро увидимся.

Спокойным солдатским шагом он вышел из кабинета. Потылихин последовал за ним.

Пролетка стояла у ворот. Накрапывал дождь. Кругом не было видно ни одного огонька. Только из полу-

подвального помещения, где все еще находились дежурные, проникал слабый свет и падал на землю двумя расплывчатыми прямоугольниками.

Неожиданно и бесшумно, почти рядом с Зеньковичем, возникла черная фигура. Потылихин сунул руку в карман за револьвером. Но Зенькович узнал в подошедшем боцмана Жемчужного.

— Я с «Гориславы». Добре, шо застал... — с трудом переводя дыхание, сказал Жемчужный. — Братва решила бить гидру, откуда б ни взялась: чи с воды, чи с неба...

Зенькович молча пожал руку бородатому моряку, крепко встряхнув ее по своему обыкновению.

— На исходе ночи я побываю и у вас, товарищ Жемчужный, — сказал он, садясь в пролетку. — Передай своим, что сражаться придется.

Пролетка тронулась.

— В Соломбалу, — приказал кучеру военком.

3

Миновав грязный и скользкий глинистый спуск, Потылихин и Зенькович добрались до широко разлившейся Кузнечихи. Колеса пролетки и копыта лошади застучали по деревянному мосту.

Пахло болотом. Берега Кузнечихи были забиты лодками.

Проехав мост, пролетка поднялась на замощенную булыжником площадь. Сквозь листву белели купола большой церкви, обнесенной железной оградой.

Кучер-боец обернулся и, наклонившись к Зеньковичу, проговорил шепотом, будто боясь, что его услышат:

— Вытягнем ли?

— Вытянем... — спокойно ответил Зенькович. — Не сразу, конечно, но вытянем. Ни Москва, ни Ленин без помощи нас не оставят. Никогда русские люди в кабале не жили, а теперь и подавно не будут!..

Пролетка закачалась по ухабам раскисшей от дождя дороги. Зенькович сидел, привалившись к спинке пролетки. Глаза его были полузакрыты. «Спит», — подумал Потылихин, но в ту же минуту Зенькович открыл глаза и заговорил с ним. Они стали вспоминать фамилии

коммунистов, оставшихся на лесопильных заводах Маймаксы.

— Хороший народ, — повторял Зенькович, — очень хороший, крепкий народ.

Видно было, что он старается представить себе будущее, намечает план сопротивления, подсчитывает силы, на которые можно будет опереться в тяжелой подпольной борьбе.

У домика с двумя окошками и несколькими вытянувшимися вдоль фасада чахлыми подсолнухами Потылихин остановил кучера.

— Кто там? — тревожным голосом спросил он.

— Это я с военкомом, — ответил ему Потылихин. — Ты один?

— Нет, у меня ребята с завода и еще доктор Маринкин. Обсуждаем, где завтра выставить наш отряд.

— Вот и хорошо. Мы, Греков, к тебе как раз по этому поводу.

Этого пожилого рабочего из судоремонтных мастерских, коренного соломбальца, лично знали некоторые местные большевики. С Базыкиным и Потылихиным, кроме того, его связывала старая дружба. В партию он был принят буквально за день до всех этих страшных событий, так что ни большинству рабочих, ни тем более инженерному составу из царских офицеров не было известно о его партийной принадлежности.

Зенькович надеялся воспользоваться этим обстоятельством, то есть возможностью даже при интервентах через Грекова, степенного и уважаемого человека осуществлять всякого рода связи с подпольем, которое ему еще надо было организовать.

Потылихин и военком зашли в сени вслед за хозяином. В темноте завозились и закудахтали куры.

В кухне сидели на лавке двое рабочих. Третий гость, доктор Маринкин, заслоняя широкой спиной маленькое окошечко, сидел на табурете.

— А ты зачем здесь? — спросил его Зенькович.

Доктор Маринкин выпрямился и, разгладив пальцами пышные усы, спокойно проговорил:

— Зачем я, товарищ комиссар?.. Завтра сочту своим долгом явиться в рабочий отряд. Как же иначе?

Зенькович кивнул головой, как бы подтверждая, что другого ответа он от Маринкина и не ожидал. Затем

военком взглянул на двух молодых рабочих, сидевших на лавке. Один из них, узкоплечий, с решительными и горящими глазами, заговорил первым:

— Лучше умереть, товарищ Зенькович, но не сдаваться...

— Надо не умирать, а побеждать! — остановил его военком. — Умереть легко, победить трудней. Твоя жизнь нужна родине...

4

В одном из двухэтажных особняков старинного архангельского квартала, в бывшей Немецкой слободе, собрался штаб готовящегося контрреволюционного восстания. Окна особняка были затянуты плотными шторами. Внизу, на первом этаже, толпились молодые люди, в которых, несмотря на их разношерстную одежду, нетрудно было узнать бывших офицеров царской армии. Они держались с гвардейским шиком, кстати и некстати вставляя в разговор французские слова. Многие из этих людей были завербованы в Петрограде тайной контрреволюционной организацией и прибыли сюда на деньги, выданные из американского и английского посольств. Одним из главных вербовщиков был русский капитан Чаплин, несколько месяцев назад превратившийся в англичанина Томпсона. Чаплин проживал по английскому паспорту и работал в английском посольстве. В Архангельске Чаплин-Томпсон появился весной и по поручению британской контрразведки в течение всего лета тайно собирал контрреволюционные элементы.

Посольства Америки, Англии и Франции, покинувшие Питер, переселились в Вологду; дальнейшие планы интервенции на Севере были уже хорошо известны высшим чинам дипломатического корпуса — американскому послу Френсису и поверенному в делах Англии Линдлею. Затем, переехав из Вологды в Архангельск, Френсис и Линдлей укрепили свои старые связи с партией эсеров, кадетами и Чайковским, старым эсером, который был направлен в Архангельск белогвардейским «Союзом возрождения». Все было подготовлено для контрреволюционного переворота. Однако за день до него Френсису и многим другим представителям дипломатического корпуса пришлось по требованию советского

правительства покинуть Архангельск. Они уехали в Канадалакшу. Чаплин же все-таки сумел остаться в городе. Он выполнил все инструкции Френсиса и Линдлея.

...В комнатах было шумно, накурено. Каждого входившего поражал богато убранный стол, накрытый для ужина. Возле массивного дубового буфета на чайном столике кипел блестящий самовар. Около него на расписанном яркими цветами огромном подносе стояли стаканы и тарелка с ломтиками лимона. И никто не мог понять — откуда вдруг в Архангельске появились лимоны. Их прислали со склада английского посольства.

Все говорили свободно, громко, без всякой конспирации. Большинство собравшихся было уверено в успехе затейного дела.

Особенно горячился молодой, очень странно одетый человек, бывший офицер царской армии Ларский. Он скрывался в Архангельске и под чужой фамилией работал конторщиком на станции Исакогорка. Вместо обычной гимнастерки на Ларском был клетчатый длиннополый пиджак, небрежно повязанный галстук и старые казацки штаны с лампасами, заправленные в латаные сапоги.

— Прежде всего, господа, надо очистить тюрьму! — кричал он. — Набьем ее большевиками!

— Ты идеалист, Ларский, — отвечал ему высокий, мрачного вида офицер. — Большевиков надо просто стрелять! Или топить в Двине!

В кабинете с оттоманкой, письменным столом и двумя книжными шкапами было тише, чем в других комнатах. У стола, развалившись в кресле, сидел Чаплин, бритый, с седыми висками, в морской английской форме капитана второго ранга. Перед ним стоял начальник Беломорского конного отряда Берс, бывший ротмистр, некогда служивший в Дикой дивизии.

— Правительство уже создано, — говорил Чаплин. — Во главе его станет народный социалист Чайковский. Министрами будут Маслов, Гуковский. Все эсеры. И кадеты есть... — Он стал называть имена. — Все это будет называться Верховным управлением Северной области.

— Георгий Ермолаич, — сказал Берс, — этих недоносков я выгнал бы отсюда!

— Но ты их не выгонишь, — улыбнулся Чаплин. — Ты будешь им подчиняться.

Заметив злобу в глазах кавалериста, он быстро добавил:

— Это же просто ширма... Англичане высадутся завтра днем. Местное правительство создается по инициативе американцев. Им это нужно для формы: они не сами приходят, а их зовут на помощь. Понял?

Чаплин отчеканивал каждую фразу, отделяя одну от другой короткими паузами.

— В четыре утра выступать! У тебя все готово?

— Все.

— Прапорщика Ларского с отрядом поручика Кипарисова ты вышлешь на левый берег Двины!.. Они займут пристань и станцию Исакогорку. Понял? В средствах не стесняйся! Зеньковича поймай во что бы то ни стало, где хочешь, и кончи на месте. Из оставшихся это, моему, самый опасный большевик.

— О, я без церемоний!

Берс громко рассмеялся и вышел. Чаплин разложил на столе план Архангельска.

— Прошу вас, господа... — обратился он к находившимся в комнате морским офицерам. — Переворот мы начнем с занятия штаба... Потом телеграф, банк, железная дорога, флотские казармы... События развернутся с необыкновенной быстротой и в той последовательности, которая уже намечена англо-американским штабом.

— Но мне известно, что большевики хотят сопротивляться, — сказал Чаплину офицер средних лет в матросском бушлате. Это был флаг-секретарь адмирала Викорста. — Я выполняю распоряжение своего непосредственного начальника. Адмирал не желает действовать вслепую. Имеются сведения, что Зенькович сколачивает какие-то рабочие отряды...

— Передайте адмиралу, что они будут уничтожены! — раздраженно закричал Чаплин. — И поменьше разговаривайте вместе с вашим адмиралом.

5

Посольская яхта стояла на двух якорях в заливе Канадалакшской губы. В горле ее, вытянувшись цепочкой по направлению к заросшим лесочками островам, слегка

покачивались от утренней зыби военные суда интервентов.

Генерал Пуль, командующий экспедиционным корпусом, приехавший сюда из Мурманска на свидание с послами, отбыл ночью в Архангельск. Послы Антанты пока еще задерживались здесь, ожидая дальнейшего развития событий.

Был ранний час. На баке, неподалеку от носового флагштока, возле машины с накатанным на вал тросом для спуска якорей, в двух расставленных друг перед другом шезлонгах сидели в ожидании первого утреннего завтрака Дэвид Роланд Френсис, американский посол, и мистер Линдлей, британский поверенный.

По настоянию Френсиса эти утренние полчаса неизменно посвящались обсуждению тех вопросов, которые предстояло решить днем. Семидесятилетний Френсис, старейшина дипломатического корпуса, находившегося в России, требовал пунктуальности не только от вечно рассеянного французского посла, но и от своего английского коллеги.

Конечно, прямого повиновения Френсис требовать не мог, однако оно создавалось само собой. Как ни кичился Линдлей самостоятельностью державы, которую он представлял, но Британия уже давно была с ног до головы опутана американскими займами. Начиная с того самого часа, когда завязалась первая мировая война, американский капитал и американская промышленность работали на войну, даже еще не числясь воюющей державой. В конце войны, после своего вступления в нее, богатая и уже нажившаяся на войне Америка хотела распоряжаться всем, настойчиво вмешиваясь в дела различных стран, и больших и малых.

Зимой 1918 года американский президент Вудро Вильсон выпустил в свет свои четырнадцать пунктов об условиях будущего мира. Он был вынужден это сделать. Четырнадцать пунктов Вильсона являлись своего рода косвенным ответом на целый ряд дипломатических актов советского правительства, разоблачавших империалистическую политику Антанты. Пункт шестой о России был составлен Вильсоном так туманно, что совершенно обходил вопрос об отношении американского правительства к советской власти.

«Отношение к России, — писал Вильсон, — в грядущие месяцы со стороны сестер-наций послужит лучшей проверкой их доброй воли и понимания ими ее нужд, которые отличаются от собственных интересов этих наций, — проверкой их разумной и бескорыстной симпатии».

О какой России говорилось в этой лицемерной и лживой фразе: о старой ли, царской России, или о новой, советской, — никто не мог понять. В то же время Вильсон требовал вывода иностранных войск со всех русских территорий. Это было сделано преднамеренно, чтобы обмануть общественное мнение. На самом же деле Америка стояла во главе Антанты, добивавшейся оккупации России и свержения советской власти.

Френсис, ставленник Вильсона, был в центре почти всех заговоров против Советов, тщательно и умело маскируя это. Когда другие говорили, он предпочитал слушать и молча улыбаться.

— Эта старая акула улыбается, как застенчивая девочка, — однажды сострил секретарь французского посла Нуланса, намекая на то, что американский посол провел свою юность с девушками, обучаясь в женском колледже.

Френсис и сейчас улыбался, развалившись в шезлонге и жадно вдыхая теплый воздух залива.

— Что ж?.. Мы правы... — говорил Линдлей, поглаживая руками сухие, костлявые колени. — Предоставить России ее собственной участи? Нет, этого делать нельзя. Тогда Германия в один прекрасный день воспользуется ее неслыханными богатствами. Позволить большевикам упрочить свое положение? Нельзя! Их разрушительная доктрина проникнет в Европу. Нет больше России. Без императора и религии она рухнет, как глиняный идол.

— Кто их знает... этих боло¹... — промолвил Френсис, вставая.

Узкий лоб Линдлея, изнеженные руки с длинными выхоленными ногтями, короткие усики, большие, словно настороженные уши, мягкие движения, заученные слова — все это Френсис воспринимал как тот необходимый шаблон, по которому Англия фабриковала своих

¹ Боло — большевики (американское выражение времени гражданской войны).

дипломатов, чтобы затем разбросать их пачками по всему земному шару. Он считался с Линдлеем не больше, чем с любым из служащих своей фирмы в Америке. Утренние беседы с ним были для него лишь тем ритуалом, который был заведен им самим и от которого он не находил нужным отступать.

— Сегодня мы можем тронуться в Архангельск, — сказал Линдлей.

— Сегодня?

— Да, конечно! Что вас удивляет? В Архангельске все будет кончено к третьему числу.

— Вот как?

— А вы разве думаете иначе? — спросил Линдлей. Френсис молча улыбнулся. Он знал о событиях в Архангельске несколько больше, чем английский поверенный, но не видел необходимости говорить с ним об этом. Он не только не считался с Линдлеем, — он искренне презирал этого английского денди. В жилах Френсиса, по его собственному признанию, смешалась кровь Уэльса и Шотландии. Но он не любил ни Уэльс, ни Шотландию. Он вообще не любил никого и ничего, кроме себя и своего дела. Даже Америку он не любил. Он был связан с ней только деловыми узами, она всегда представлялась ему чем-то вроде большой коммерческой конторы.

Особенно возмущала Френсиса очевидная убежденность Линдлея в том, что Британия — соль земли, что американцы — отбросы всех стран, а их материк — не более чем помойка старой, благовоспитанной Европы. Но в силу обстоятельств Линдлей принужден был тщательно скрывать свои взгляды, и это веселило американца. Как-никак, а сила не на стороне Линдлея! Френсис милостиво позволял английскому поверенному воображать, что Англия играет первую скрипку в делах интервенции. Он отлично понимал, что, если их интересы когда-нибудь столкнутся, в его распоряжении всегда найдется достаточно средств соблюсти свою выгоду.

— Еще вопрос, — говорил между тем Линдлей, — справится ли этот Чайковский с государственными задачами? И как поведут себя господа Гуковские и Масловы?

Старческие глаза Френсиса блеснули.

— Это правда, будто капитан Чаплин работал у вас? В штабе Пуля? — насмешливо спросил он, хотя давно знал об этом, так как американская разведка также была связана с Чаплином.

— Да, это не секрет, — невозмутимо произнес Линдлей.

Френсис рассмеялся:

— Генерал Пуль и будет тем Александром Македонским, о котором вы мечтаете...

— Конечно... И все-таки нам нужно завтра же точнее определить наши взаимоотношения с правительством русского Севера!

— Зачем? Генералы пишут приказы, а не дипломатические меморандумы. Предоставим все права британскому генералу.

— Вы все шутите, — с трудом скрывая раздражение, но стараясь казаться любезным, сказал Линдлей.

— Невмешательство — быть может, самое лучшее, самое демократическое, что мы можем изобрести... — с лицемерной улыбкой продолжал Френсис. — Будем действовать, как действовали до сих пор... Талейран сказал, что язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли. — Он двинулся вдоль борта, провожая взглядом кружившихся над яхтой чаек. — Но я купец... Я, к сожалению, не дипломат. И тем более не политик. Я не умею болтать. Не умею предсказывать, — закончил он с невинным видом. — Так пусть же все идет, как идет.

На палубе появился Ватсон, один из секретарей Линдлея. Он курил у дверей салона и низко поклонился, когда Френсис прошел мимо него. Однако американский посол этого не заметил.

Несмотря на разницу в положении, Линдлей дружески относился к своему секретарю, считая его знатоком России.

— Ох, эта кобра!.. Как мне надоели его змеиные речи! — пожаловался он Ватсону, когда Френсис скрылся в каюте. — Я понимаю, что по отношению к Чайковскому и прочим мы должны держаться своеобразного нейтралитета. Умалчивая о своем отношении к правительству Севера, мы тем самым отведем подозрение, будто мы его создали. Но между собой мы должны же хоть иногда раскрывать карты.

Линдлей поднял руку и сжал пальцы в кулак.

— А Френсис держит их вот так... О, я вижу его насквозь! Переворот будет связан с репрессиями!.. Очевидно, массовыми. Френсис хочет свалить их на голову нашего Пуля. А потом для вида еще будет протестовать. Ох, эта демократическая Америка!

Линдлей с досадой махнул рукой.

Раздались звуки гонга. Дипломатов приглашали к утреннему завтраку.

6

Едва забрезжило солнце, как телеграф, городская тюрьма и Беломорский штаб были заняты Берсом. По его приказу из тюрьмы немедленно выпустили всех уголовников. В штабе Берс прежде всего взломал денежный ящик.

Ровно в полдень английские гидропланы загудели над просторами северного города, забрасывая улицы сотнями листовок. В них писалось: «Русские люди! Немцы и большевики говорят вам, что мы — англичане, французы и американцы — вступили на русскую землю, чтобы отнять у вас землю и отобрать ваш хлеб. Это ложь. Мы идем, чтобы спасти русский хлеб и русскую землю. Мы пришли к вам на помощь. По примеру Мурманского края поднимайтесь все дружно». Далее следовала подпись: «Ф. С. Пуль, генерал-майор, главнокомандующий военными силами союзников в России».

На заборах и стенах домов по приказанию Чайковского расклеивались бюллетени о том, что сформировано Верховное управление Северной области. Одновременно с этим население извещалось, что «во имя спасения губернской, уездные и волостные совдепы с их исполкомами и комиссарами упраздняются», «во имя спасения члены губернских, уездных и волостных исполкомов и их комиссары арестуются».

Около трех часов дня на Двине показался крейсер «Аттентив» и остановился на виду у всего города.

На набережной толпились купеческие дочери, дочери царских чиновников, одетые по-праздничному. Их папаши, бывшие купцы, торговцы и промышленники, белые офицеры, притаившиеся монархисты — все выползли сейчас на улицу.

От иностранных судов отваливали катера и шлюпки.

На набережной, так же как и на Троицком проспекте, разгуливали только буржуазия. Рабочих совсем не было видно, точно все они исчезли из города.

Войска интервентов маршировали по Соборной площади. Последними шли батальоны шотландцев в клетчатых юбочках выше колен. Представители новой власти в сюртуках и визитках вышли навстречу с приветствиями и вынесли хлеб-соль. Простые люди — ремесленники, женщины в платках, стоявшие на тротуарах, — глядя на эту процессию, угрюмо молчали.

Проезжая в коляске по городу, генерал Пуль заметил, что на некоторых домах среди царских трехцветных флагов виднеются и красные. Он вздернул брови.

— Что это?

— Это распоряжение господина Чайковского, — улыбаясь, ответил адъютант. — Я уже узнавал... Он хочет показать рабочим, что новая власть имеет социалистические тенденции.

— Пусть немедленно уберет эти красные тряпки! Дурак! — сердито сказал генерал.

Таков был его первый приказ.

На окраине города гремели револьверные выстрелы. Стоило только интервентам вступить на берег, тотчас возникали расправы. Вскоре по городу уже ходили иностранные патрули: французские офицеры в круглых кепи и солдаты в пилотках, американцы и англичане в фуражках с большими гербами, шотландцы в плоских беретах с помпонами.

Когда один из иностранных патрулей добрался до Маймаксы, он попал под огонь рабочего отряда. Английские гидропланы тотчас же стали сбрасывать на Маймаксу бомбы. Крейсер «Аттентив» переменил позицию и, почти вплотную подойдя к левому берегу Двины, открыл огонь по станционным постройкам и железнодорожному полотну. Обстрелу подвергся район около десяти верст, от пристани и станции Архангельск до станции Исакогорка. Часть снарядов ложилась на железнодорожный поселок. Там погибали люди и вспыхивали пожары.

Потылихин был ранен при столкновении с англичанами у Маймаксы.

Доктор Маринкин с трудом достал извозчика и почти через весь город привез своего приятеля к себе. По счастливой случайности ни один патруль не остановил их экипажа. Дома он сделал Максиму Максимовичу операцию. Рана была не опасная: осколок попал в мякоть плеча.

Бинты уже крепко стягивали руку Потылихина, обильные капли пота выступили у него на висках.

— Дня через два зайдете ко мне... — Доктор из конспиративных соображений не советовал Потылихину обращаться в больницу. — Не очень больно?

— Не страшнее, чем вырвать зуб, — ответил Потылихин.

Кончив перевязку, Маринкин снял халат, вымыл руки и, расправив усы, сел в кресло.

— Ну, до свадьбы заживет... Да, дела! — пробормотал он, усмехаясь. — С военной точки зрения, наша стрельба по крейсеру была ни к чему. Будто мальчишки из рогатки... Но в этом есть большой нравственный смысл. Пусть чувствуют, как мы их встречаем. Это действительно не хлеб-соль, а пули... Я рад, что участвовал в этом деле. И вы молодец, Максим Максимович! Благодаря вам люди держались хорошо.

— Благодаря мне? — Потылихин покачал головой. — Нет... Люди держались хорошо, потому что сердце у них горит против классового врага. Именно так, а не иначе. Он встал и, уже направляясь к двери, спросил:

— Значит, вы остаетесь? Не предпринимаете никаких мер?

— Да я...

— Что я? Ах, доктор!.. Когда буря идет, рифь паруса, не зевай. Надо идти на нелегальное.

— Ну, как... куда, Максимыч? Вы, ей-богу, точно не верите. А я не в шутку болен. Еле топаю, как наши морячки говорят. Только и держусь тем, что дома... Стены помогают, ей-богу! Привычная обстановка... А выкинь меня из нее... Нет уж! Надо положиться на судьбу.

— Опасная вещь — судьба человеческая... Нет, доктор... Вот судьба: в мозолях... своими руками надо дёлать ее. А выпускать из рук штурвал...

— Нет силы, Максимыч!

— Ну, дружище...

Доктор беспечно махнул рукой.

— Коллеги по госпиталю категорически обещают отстоять меня. Никакой политической деятельностью я не занимался. Уверен, что все кончится благополучно. И мое легальное положение будет весьма полезно.

На этом они расстались.

Потылихин вышел за ворота.

Из переулка слышались голоса. Впереди группы пленных красноармейцев шагал кривоногий белогвардейский поручик в кубанке с белой повязкой. Он нес под мышкой что-то красное, очевидно кусок знамени. За ним, со всех сторон окружив пленных, шагали американские и английские солдаты с сигаретками в зубах. Они переговаривались и громко хохотали.

«Каждому из вас я всадил бы пулю! Особенно поручику!» — с ненавистью подумал Потылихин.

Опустив голову, он пошел к лесопильным заводам, расположенным вдоль правобережья. Здесь, вдалеке от своей квартиры на Маймаксе, Потылихин надеялся временно поселиться у брата, который работал конторщиком на одном из заводов.

Теперь, когда возбуждение первых часов прошло, Потылихин едва двигался, чувствуя слабость и жар во всем теле. От сырого, влажного леса, наваленного на биржах как попало, от сушил, под крышами которых штабелями были сложены недавно нарезанные доски, веяло терпким и кружившим голову запахом.

Левый двинский берег пылал. Горели станционные здания, зажженные снарядами с английского крейсера. Время от времени оттуда доносились глухие взрывы и винтовочные выстрелы. Там еще дрался Зенькович. С двумя отрядами, красноармейским и морским, он отражал нападение на Исакогорку.

7

Зенькович вернулся из окопов.

— Вологда? — будто в телефонную трубку, кричал он над мерно постукивающим телеграфным аппаратом. — Я еще дерусь. Буду драться до тех пор, пока хватит сил. Я Зенькович... Я Зенькович... Вологда! Вологда! Вы слышите меня? Эвакуацию военных грузов успел закончить... Отвечайте! Вологда!

Тоненькая ленточка телеграфа остановилась. Молодой боец-телеграфист наклонился к аппарату, постучал по передатчику и с отчаянием посмотрел на Зеньковича.

— В чем дело, Оленин? — нетерпеливо спросил Зенькович.

— Приема нет. Линия прервана, товарищ военком... Перерезал кто-нибудь... — хриплым от бессонницы и усталости голосом ответил телеграфист.

В помещение телеграфа вошел человек в клетчатом пиджаке и в шароварах с лампасами. Он остановился на пороге, как бы осматриваясь. В распахнувшуюся дверь неожиданно ворвалось татаканье ручных пулеметов. «Откуда они взялись? — с недоумением подумал комиссар. — Неужели кто-нибудь прорвался?» Стреляли невдалеке от конторы. Дверь тут же захлопнулась. Незнакомый скрылся.

— Кто это? — спросил военком телеграфиста.

— Здешний конторщик, — ответил Оленин, подымаясь и с трудом разгибая спину.

Пулеметная стрельба усилилась.

— Пойдем на улицу, что-то неладно, — сказал Зенькович, снимая с плеча винтовку. За окном раздался крик. Зенькович выглянул. «Конторщик» бил рукояткой револьвера молодого стрелочника, окруженного людьми, одетыми в красноармейскую форму.

— Что там такое?! — крикнул Зенькович, выбегая из помещения телеграфа.

— Назад! — скомандовал ему неведомый откуда появившийся тонкий, хлыстообразный офицер. — Руки вверх!

Несколько офицеров, переодетых в красноармейскую форму, протолкались в помещение станции. По их взглядам Зенькович сразу же понял все. «Ах, мерзавцы!» — подумал он, выхватывая из кобуры пистолет. Но человек в клетчатом пиджаке и с лампасами на штанах, стоявший за спиной у Зеньковича, выстрелил ему в затылок.

— Оленин... — успел прохрипеть комиссар, точно призывая на помощь.

В следующее мгновение белые офицеры выволокли тело комиссара на низкую деревянную платформу.

— Топить его!.. — кричал один из офицеров. — В Двину!

Они с яростью топтали сапогами мертвого Зеньковича, били его каблуками по лицу. Потом тело его потащили к реке...

Не помня себя, Оленин выхватил у кого-то винтовку и, размахивая ею, точно дубиной, кинулся на одного из офицеров. Сбив его с ног ударом приклада, он бросился на Ларского. Тот отскочил и побежал по путям. Несколько раз он стрелял в телеграфиста из револьвера, но не попадал. Оленин догонял его. Остальные офицеры не стреляли, опасаясь убить вместе с Олениным и Ларского. Кто-то распорядился перерезать Оленину дорогу. Оленин уже догнал Ларского, замахнулся прикладом, но споткнулся и упал. Несколько дюжих молодцов тотчас навалились на него. Он рвался у них из рук и кричал:

— Сволочи! Не прошу я вам комиссара!.. Убивайте, не прошу!

Глаза его налились кровью, волосы растрепались, гимнастерка превратилась в лохмотья. Ему заломили руки за спину и сволокли в дежурку.

Группа белых, прорвавшаяся в тыл красноармейского отряда, причинила много бедствий. Белым оказали помощь пушки с крейсера «Атентив» и английские солдаты, вооруженные гранатами и пулеметами. Затем англичане и американцы выбросили на левый берег Двины десант и сразу направили его к станции Исакогорка. Красноармейцы и матросы Зеньковича были окружены со всех сторон. Силы оказались слишком неравными. Только часть бойцов, героически сражаясь, сумела прорваться. Остальных смяли, и через полчаса после гибели военкома бой на Исакогорке затих.

Пленные красноармейцы и матросы стояли теперь под охраной конников Берса между глухой стеной из ящиков и двумя приземистыми пакгаузами, крытыми гофрированным синеватым железом.

Приехал и сам Берс, сопровождаемый ординарцем в черкеске и мохнатой шапке. Вместе с Берсом прискакали несколько английских и американских офицеров. Среди них выделялся высокий, поджарый, уже немолодой офицер в фуражке с красным околышем, обозначавшим его принадлежность к штабу. На груди его пестрели

орденские ленточки. Он исподлобья смотрел на все происходящее. Левая его рука в замшевой желтой перчатке нервно перебирала поводья лошади, правой, вытянутой вдоль бедра, он держал стек с кожаной ручкой и тонким, гибким стальным хлыстом.

Это был подполковник Ларри, прикомандированный американским штабом к союзной контрразведке.

За углом пакгауза, позвякивая оружием, строились солдаты.

Заметив среди пленных Оленина, Берс подскочил к полковнику Ларри и что-то доложил. Американец распорядился, чтобы телеграфиста подвели к нему. Когда это распоряжение было исполнено, Ларри ударил Оленина стеком.

Плечи телеграфиста вздрогнули. Он кинулся к лошади, на которой сидел офицер. Лошадь рванулась. Ларри побагровел и нанес Оленину еще несколько сильных ударов. Кровь показалась на голове у Оленина, он упал. Среди пленных возникло движение. Но солдаты мгновенно окружили их, загоня прикладами в раскрытые двери пакгауза. Туда же бросили и Оленина. Иностранные офицеры вместе с Берсом, прищипывая коней, поскакали прочь.

Было душно. Над ржавым, болотистым полем с желтеющими сочными кустиками куриной слепоты тучами реяла мошкара. Дома, зажженные в Исакогорке снарядами с крейсера «Аттентив», давно сгорели, но пепелища еще дымились.

8

В одном из домов Немецкой слободы, отведенном для американской миссии, собрались на совещание возвратившиеся в Архангельск Френсис, Нуланс и Линдлей.

— Мой дорогой... — тихо говорил Френсис британскому поверенному. — Я слышал, что камеры в здешней тюрьме уже переполнены. Неужели большевиков так много?

— Много, — с гримасой ответил Линдлей. — Расплодился.

— Надо навести порядок.

— Надо организовать каторжные тюрьмы на морских островах, — настойчиво сказал Нуланс, француз-

ский посол. — Мудьюг — самое подходящее место для большевиков.

— Что такое Мудьюг? — спросил Френсис, сняв пенсне и шурясь.

— Почти голый остров. В Двинской губе, на выходе в Белое море... Кажется, тридцать морских миль от Архангельска. Постоянные ветры... Зимой метели... Хорошая могила для большевиков!

— Займитесь этим, мой друг, и как можно скорее. Вы согласны, Линдлей?

Тот молча кивнул.

Затем были обсуждены другие вопросы: об участии американцев в администрации, о прикомандировании американских офицеров к английскому штабу, о предстоящем экспорте... Френсис заявил, что скоро наступит момент, когда нужно будет обратить внимание на финансовые дела. Видимо, придется выпустить местные банкноты. Каково будет соотношение между долларами, фунтами стерлингов и местными банкнотами, еще неизвестно. Кто возьмет на себя денежную эмиссию? Думали ли об этом его коллеги?

Нуланс и Линдлей высказали свои соображения, Френсис покачал головой, как бы подчеркивая их неосновательность, и перевел разговор на другую тему.

— Пока что, — сказал он, — я требую лучших казарм для американских солдат и лучших пароходов для тех американских батальонов, которые мы отправляем сейчас на Северную Двину.

Когда совещание окончилось, Линдлей и Нуланс выехали вместе, в одной машине.

— Френсис удивительно напоминает мне мистера Домби¹, — лукаво смеясь, острил француз. — По его мнению, земля создана только для того, чтобы он мог вести на ней свои дела... А солнце и луна — чтобы освещать его персону. Мы с вами, дорогой Линдлей, тоже только детали этого механизма, заведенного господом богом для нашего друга Френсиса. Не так ли?

Линдлей слушал не без удовольствия, но молчал. За годы своей дипломатической карьеры он приучился к осторожности.

¹ Персонаж из романа Диккенса «Домби и сын».

— Он туп, — продолжал француз. — Он помалкивает потому, что не хочет показаться дураком. Это кукла, выполняющая инструкции Вашингтона и консультантов вроде полковника Хауза. Честное слово! Не будь их — он пропал бы... Это — улыбающееся привидение.

Линдлей не выдержал и рассмеялся.

Машина выехала на берег реки. Потянуло теплым, влажным воздухом и гнилостным запахом прибрежной тины. На аллее бульвара толпились английские и американские солдаты и матросы. Горожан не было видно. Вдали, за старинным, петровским зданием таможни, горели фонари, красный и белый. Северная Двина также была расцвечена огнями. Сейчас на ней уже стояла эскадра интервентов из четырнадцати судов.

После ухода своих коллег Френсис остался один в кабинете. Несмотря на теплую погоду, он вечно зяб, и ему растопили белую изразцовую печь. Яркое, с треском пылали разгоревшиеся поленья, бросая блики трепещущего света на ковер и наполняя комнату уютным теплом.

Френсис рассматривал карту России. Его интересовали реки: Пинега, Северная Двина и Онега. Морщинистая рука Френсиса двинулась за пределы Архангельской губернии, к хребту Урала. Пальцы миновали Сибирь и остановились на Приморье. Леса, руды, все несметные богатства русской земли неудержимо влекли к себе Френсиса. Те миллионы акров американских лесов, об эксплуатации которых он думал тридцать лет назад, сейчас показались ему мелочью. Теперь все это можно было взять здесь, в России... Сколько денег!

— Вы, наверное, устали, сэр? — неслышно входя в кабинет, спросил слуга. — Постель готова.

Раздеваясь при его помощи, Френсис почувствовал себя действительно разбитым. Болело дряхлое, старческое тело, ныла поясница.

Отпустив слугу и удобно улегшись в постели, Френсис вдруг вспомнил, что третьего дня советское правительство обратилось к народам Англии, Франции, Италии, Америки и Японии с призывом выступить против интервенции. Сегодня ему доложили, что большевики готовят еще какой-то протест и завтра или послезавтра предъявят его американскому консулу в Москве.

«Как это наивно! — усмехнулся Френсис. — Как будто у Европы и без них не хватает собственных забот! Там еще идет война».

Конечно, теперь она недолго протянется. Германию не спасет вывезенный ею украинский хлеб, в результате войны она выдохнется. Пока будут длиться дипломатические переговоры с этой страной, промышленность которой еще так недавно осмеливалась конкурировать с американской, здесь, в России, час от часу будет разгораться другая война. Солдаты-кондотьеры всегда найдутся. Арсеналы ломятся от оружия... Не бросать же его! Оно непременно будет пущено в дело. Война — весьма доходное предприятие. Даже ее последствия выгодны: разоренные страны легче поддаются эксплуатации. И совсем не идеи, а деньги управляют миром. Деньги! Ценности! Каин, несомненно, убил Авеля из-за какого-нибудь жалкого барана!

«Каин был деловой человек, — опять усмехнулся Френсис. — Но главное не это... Главное, задушить советскую власть... Я поступил мудро, своими руками создав этот северный мятеж. Теперь интервенция должна развернуться шире. Мы вошли с черного хода... С Владивостока и с юга войдут другие силы. Там будет парадный ход...»

Он улыбнулся.

«Когда будет свергнута советская власть, Россию следует расчленить. Конечно, не Британская империя, уже запутавшаяся в долгах, с разбросанными по всему миру владениями, а Россия, с ее огромным и монолитным жизненным пространством, является конкурентом Америки. Но ее не будет, этой России...»

На Украине, в Финляндии, в Прибалтике могут остаться правительства, уже учрежденные немцами. Но эти правительства, конечно, необходимо будет прибрать к рукам... Добиться этого будет нетрудно. Первые шаги уже сделаны. Кавказ? Здесь дело не обойдется без Турции. Средняя Азия? Возможно, что Англии придется выдать на нее ограниченный мандат. Однако Великобритания и Сибирь должны принадлежать всецело Америке: великолепный рынок, сырье и дешевый труд».

«А Польша? Форпост... — уже сквозь сон спросил себя Френсис. — Да я еще забыл о Крыме. Как велика Россия!...»

Генерал Пуль купил всех, кого мог, все предусмотрел и считал, что теперь дело должно идти как по маслу. Поэтому его раздражали даже те мелкие недоразумения, с которыми ему все-таки приходилось сталкиваться.

Он вызвал адъютанта и накричал на него:

— Черт знает что!.. Мне доложили, что на одном из зданий еще висит красная тряпка. До сих пор! Почему вы не следите за этим? Немедленно распорядитесь!

Адъютант учтиво склонил голову. Генерал Пуль, позванивая маленькими шпорами, направился к выходу. На крыльце штаба его ожидали второй адъютант и офицер-переводчик. В три часа генерал должен был посетить некоторых членов «правительства» северной России.

В связи с назначением начальника французской военной миссии полковника Донопа военным губернатором Архангельска «председатель правительства» Чайковский обратился к Пулю с письмом. В этом письме он возражал против назначения Донопа, утверждая, что по русским законам военного времени в компетенцию губернатора входят не только задачи охраны порядка в городе, но и чисто гражданские функции. Поэтому нужен русский администратор. Пуль настаивал на своем и, чтобы разом кончить переговоры, решил лично заехать к Чайковскому.

«Этот старый идиот действительно воображает себя министром, — думал Пуль по дороге. — Во всяком случае, я буду действовать так же, как в Мурманске. Какие-то эсеры, меньшевики... Не понимаю: что это такое? Сам черт не разберет!»

Его привезли к большому белому дому с колоннами. В приемном зале он увидел кучку людей в черных и серых пиджаках.

«Довольно невзрачное правительство, — ухмыляясь, подумал Пуль. — Кажется, эти люди были и на пристани при встрече». Сейчас они вертелись возле рослого старика с длинной белой бородой и сердитым выражением глаз. Пуль понял, что это и есть Чайковский.

«Нужно поздороваться», — сказал себе генерал. Его красные отвислые щеки тряслись, когда он здоровался с ожидавшими его лицами, точно дергая каждого за руку.

— Надеюсь, вы простите меня: я объясняюсь только по-английски. Ни одного слова по-русски не знаю, — сказал Пуль громким, командным голосом. — Я очень рад познакомиться с вами, господа! Надеюсь, мы будем друзьями. Я солдат. Говорю от души.

Офицер-переводчик, сопровождавший командующего, сразу же переводил его слова.

— Мы, союзники, имеем здесь достаточно сил, — внушительно продолжал Пуль, — и готовы использовать их, если это потребует. Но мы, конечно, не хотели бы применять никаких крайних мер. С этой целью полковник Доноп и назначен военным губернатором. Россия — наша старая союзница. И я желал бы, чтобы вы, господа, содействовали нам. Я буду приветствовать каждого, кто вступит в славяно-британский легион. Этот отряд будет нами обмундирован, снаряжен и обучен и будет работать под начальством британских офицеров. С британской дисциплиной. Я верю, что вы истинные друзья Англии, так же как и я истинный друг России.

Пуль замолчал. «Что еще надо им сказать?» Мотнув головой и переступив ногами, как лошадь, он добавил, что, если кто-нибудь станет мешать союзникам, командование вынуждено будет принять соответствующие меры. Затем он протянул Чайковскому руку, криво улыбнулся остальным и вышел из зала. Чайковский стоял, как манекен, низко склонив голову.

Садясь в экипаж, Пуль вспомнил о большевистской листовке, доставленной ему сегодня. Большевики называли этих людей кучкой лакеев. «Они правы, — подумал Пуль. — Но, к сожалению, это глупые, невоспитанные и нерадивые лакеи, которые за спиной своих господ только и занимаются тем, что обсуждают их поступки».

Ошеломленный посещением генерала Пуля, Чайковский решил пожаловаться американскому послу. Однако в личном приеме «председателю правительства» было отказано. Ему предложили письменно изложить свои претензии, что он и выполнил.

Френсис ответил: «При назначении военного губернатора генерал Пуль, несомненно, пользовался правом, присвоенным ему по должности начальника экспедиционного корпуса. Нам точно неизвестно, каковы полномочия русского губернатора. Мы знаем только, что полномочия полковника Донопа имеют единственную цель — обеспечить в городе надлежащий порядок и общественную безопасность. Таким образом, они отнюдь не противоречат политическим и административным атрибутам гражданских властей».

Пуль торжествовал. Руки у него теперь были развязаны.

10

В тюрьме заседал военно-полевой суд. Негласным, но постоянным и постоянным членом его являлся подполковник Ларри. Он считал своим долгом лично присутствовать и при расстрелах и даже специально надевал в этих случаях парадный мундир.

Тюрьма стояла в центре города. Утром возле нее толпились женщины, нередко с детьми... Одни добивались получения какой-нибудь справки, другие надеялись передать еду своим близким, брошенным в тюрьму. Тюремные стражники разгоняли толпу прикладами, но женщины были упорны: они собирались на соседних улицах либо опять появлялись у тюремных ворот. Их терпение казалось неистощимым.

Тюрьма была переполнена военнопленными, большевиками, а также лицами, заподозренными в сочувствии к большевизму. Каждый день сюда приводили все новых и новых арестованных.

Доктор Маринкин был арестован на службе, в морском госпитале. Он готовился к очередной операции и тщательно тер пальцы мыльной щеткой. Дежурная сестра вызвала его в коридор. Он вышел. Перед ним, у самых дверей в операционную, стоял щеголеватый офицер в английской форме.

В тюрьму доктор Маринкин был доставлен под конвоем двух английских солдат. Его втолкнули в общую камеру, и без того переполненную людьми.

Лежа на нарах, Маринкин прислушивался к нескончаемым беседам, которые велись вокруг него.

Особенно горячился Базыкин, секретарь губернского совета профсоюзов, сильный, широкоплечий мужчина с черными усами на крупном красивом лице.

— Не сумели организовать подполья! — говорил он. — Не выполнили указаний партии. В первую очередь я виню самого себя. В первую очередь. Башку бы мне оторвать...

— Не спешите. Пригодится, — раздался откуда-то из потемок усталый, злой голос.

Маринкин пригляделся. Человек, сказавший это, лежал под ним, на нижних нарах, вытянувшись, точно стрела. Голова у него была забинтована тряпкой. На посеревшем лице выделялись тонкие, упрямо сжатые губы и воспаленные глаза.

— Где это вас так изувечили? — спросил Маринкин.

— Еще в первый день хлыстом исполосовали. А потом на допросе... — Лежавший приподнялся на локтях и, задыхаясь, продолжал: — Все секретов от меня добиваются. Только поэтому еще и жив. А то давно бы хлопнули. Из-за шифра канителият.

— Из-за какого шифра?

— Ну, нашего... советского... Они, конечно, понимают, что я должен знать шифр. У губвоенкома телеграфистом был. Оленин моя фамилия.

— И вы сказали? — быстро спросил Маринкин, вглядываясь в лицо телеграфиста.

— Да ты что? — удивленно прошептал Оленин. — Умру — не выдам.

Он глубоко, со стоном вздохнул.

— Трижды уже тягали меня... Американец один, Ларри по фамилии, сказывал английскому полковнику, будто меня расстрелять следует... Переводчик мне сообщал. Все возможно. А может, и пугают. На пушку берут. Ну, да я не дамся. У меня характер крепкий... — Боец ударил ладонью по голым доскам.

Он с трудом встал, шатаясь подошел к Маринкину и потянулся к окну. За окном мутно белела северная ночь.

Камера спала. Сон одолел людей, тесно разместившихся на нарах, в проходах между нарами и прямо на грязном полу.

— Пожалуй, и нам пора спать, — сказал телеграфист. — Утро вечера мудренее... А вы, я слышал, доктор. Как же сюда-то угодили?..

— Сам не знаю... — ответил Маринкин. — Должно быть, за то, что перевязывал раненых из рабочего отряда на Маймаксе. Английская контрразведка хватает нас только за то, что мы советские граждане... На советской платформе стоим.

— Верно, вот за это самое, — согласился телеграфист.

Ставив с ног пыльные, тяжелые сапоги и пристроив их в изголовье вместо подушки, он улегся на нары и замолчал. Маринкин думал, что боец уже уснул, но вскоре в тишине камеры снова раздался его негромкий, взволнованный голос:

— Эти зверства, как они вчера меня били, наша партия им не простит. Нет, не простит... Хотя Архангельск нынче сплошь застенок, партия и рабочий класс вступят в это дело. Эх, дожить бы!..

Вдруг среди ночной тишины раздался пронзительный тягучий звонок. По коридору, стуча сапогами, пробежал надзиратель. Камера проснулась. Люди бросились к окнам, стараясь рассмотреть, что делается на дворе. Все знали, что это звонок у тюремных ворот.

Один из надзирателей выбежал во двор. Ворота раскрылись, пропустив офицеров с портфелями в руках. По улице протарахтел грузовик. Вслед за этим во дворе появился небольшой отряд солдат с винтовками.

— Опять всю ночь судить будут, — услышал Маринкин за своей спиной чей-то голос.

Навстречу контрразведчикам, покачиваясь, спешил помощник начальника тюрьмы Шестерка.

— Ишь, мотает его! Пьян, сукин сын... Значит, опять расстрелы будут, — сказал кто-то возле окна.

Во дворе раздалось слова команды, стукнули о перекошенную землю приклады винтовок. Маринкин почувствовал, что ему почти до боли сжали руку. Он обернулся. Рядом с ним стоял телеграфист. Глаза его лихорадочно блестели.

— Видишь? — задыхаясь, сказал он. — Видишь него-дзя?

— Который? — с невольной дрожью спросил Маринкин.

— Подполковник Ларри... Ну, что избил меня...

Доктор протолкнулся ближе к окну. Посредине тюремного двора стояло несколько офицеров в желтых шинелях и таких же фуражках с гербами. Среди них выделялся высокий, поджарый, уже немолодой офицер. Как и тогда, в Исакогорке, на нем была фуражка с красным штабным околышем. В руке он держал стек с кожаной ручкой.

Подкованные железом, грубые солдатские ботинки загремели по ступенькам лестниц и на площадках тюрьмы. Лязганье винтовок смешалось со звоном ключей в руках надзирателей и со скрипом открываемых дверей.

— Я же ни в чем не виноват! — кричал чей-то возмущенный и гневный голос. — Это бесчеловечно!.. Это произвол!..

Вслед за этим раздался визгливый крик Шестерки:

— Мал-чать! Выходи!

— Боже мой, — с негодованием зашептал доктор, наклонясь к Ленину. — Вы слышите?

Но скрежет ключа в дверном замке камеры заставил его вздрогнуть.

— Оленин! — выкрикнул надзиратель.

— Меня... — спокойно и твердо сказал телеграфист Маринкину. — Прощай, товарищ доктор!.. Прощайте, товарищи!

— Прощай... До свидания, — послышалось в ответ.

— Нет уж, что себя обманывать, — все с тем же спокойствием проговорил телеграфист, проходя между нарами и на ходу пожимая протянутые к нему руки. — Правда за нами! Передайте на волю, что Оленин умер честно.

В камеру ворвался пьяный Шестерка.

— Ах, шкура, еще митинг затеял! — закричал он, хватая Оленина за плечо.

— Не касайся ко мне, иуда, я еще жив! — крикнул Оленин, с неожиданной силой отталкивая Шестерку. — Прощайте, товарищи! — повторил он уже с порога.

— Прощай, Оленин!.. Прощай, дружок...

Голоса звучали отовсюду, и не было в камере ни одного человека, который не послал бы телеграфисту прощального привета.

Телеграмма обо всем случившемся в Архангельске пришла в Шенкурск поздним вечером 2 августа. В ней сообщалось, что исполком эвакуирован и направляется по Двине в Котлас. Павлину Виноградову предлагалось следовать в том же направлении.

Павлин тотчас поднял отряд. Вага обмелела, и от Шенкурска до села Усть-Важского людям пришлось идти пешком. Только отсюда река становилась судоходной. Утомительный, длинный переход вконец измотал людей. Устроившись к ночи на взятом с пристани большом буксирном пароходе «Мурман», бойцы разбрелись по каютам и уснули как убитые.

Но Павлин чувствовал, что не способен даже вздремнуть. Он сидел на носу «Мурмана». Журчала вода, забираемая плечами паровых колес. Мерно работала сильная машина. «Мурман», очень плоский, широкий, низко сидящий речной буксир, напоминал гигантскую черепаху. Шли к устью Ваги, гладкой, спокойной реки, медленно катившей свои желтые воды.

«В сущности, — думал Павлин, — свершилось то, чего я ждал, чего боялся, но к чему был готов. Теперь надо драться, не щадя ни сил, ни крови, ни самой жизни».

Ему думалось обо всем сразу — об Архангельске, об исполкомовском доме, где уже нет исполкома, о Бакарице, Исакогорке, о рабочих поселках, о Соломбале, где он еще так недавно выступал, о матросских казармах, о друзьях и товарищах, о белом маленьком флигеле во дворе одного из домов Петроградского проспекта...

«Неужели Ольга осталась там? Что с ней? Где ей выбраться с двухмесячным ребенком на руках! Не успела... Неужели никого нет? Нет Ольги, нет сына. Живы ли они? Увижу ли их когда-нибудь?»

Чтобы хоть немного отвлечься от тяжелых мыслей, Павлин вставал, ходил взад-вперед по палубе, заглядывая в каюты, где на скамейках, на полу, уткнувшись головами в мешки и в свернутые шинели, спали бойцы. В одной из кают Ванек Черкизов, молодой матрос с «Аскольда», читал истрепанный томик «Войны и мира». Ванек еще в Архангельске попросился в отряд к Павлину,

и теперь оба они чувствовали, что судьба связала их надолго.

Молча постояв и оглядев людей, Павлин опять вышел на палубу.

Пока еще шли по Ваге. Чирки, завидев приближающийся буксир, один за другим стремительно взвивались в воздух. На берегах не было видно ни одного человека. Тишина. До Северной Двины оставалось всего шесть верст. Для того чтобы взять направление на Котлас, нужно было выйти на Двину и свернуть направо, к югу.

На палубе появился Ванек Черкизов с книжкой в руках. Увидев стоявшего на корме Павлина, он подошел к нему.

— Вверх сейчас пойдем? — спросил Ванек. — В Котлас?

— Нет, сначала спустимся вниз, до Березника. Все, что там есть — пароходы, баржи, надо в Котлас прогнать.

Двинский Березник, торговый посад, расположившийся в десяти верстах от устья Ваги, в сторону Архангельска, имел большую пристань, мастерские, порт, склады топлива.

По обоим берегам реки тянулись синие леса. Синели прибрежные заросли ольхи и лозняка. Синел песок, синела глина по берегам, кое-где обнажившимся. Небо с разбросанными по нему молочно-синими тучками будто треснуло на северо-востоке, и сквозь эту трещину сочился рассвет. Золотились верхушки елок и берез.

Из-за леса выглянули безмолвные серые избы. Уютная тропка вилась от реки к бревенчатой часовенке, одиноко торчавшей на бугре.

— Шидровка, — негромко сказал Черкизов.

Неподалеку от Шидровки рулевой Микешин не заметил переката, и буксир застрял на мели. Сползли с нее только к семи часам. А в шесть утра, минуя устье Ваги, прошел по Двине пассажирский пароход «Гоголь», на котором ехали в Котлас большинство эвакуированных из Архангельска членов исполкома. Павлин узнал об этом, лишь добравшись до Березника. В Березнике «Гоголь» брал топливо и стоял больше получаса. Но никто не мог сказать Павлину, проехала ли на этом пароходе Ольга с сыном.

На третий день Павлин с караваном судов прибыл в Котлас.

В течение суток он сколотил свой первый речной отряд, по существу еще партизанский, в который вошли речники и служащие Котласа, архангельцы и несколько десятков красноармейцев.

Ольгу с ребенком Павлин встретил в Котласе. Вместе с эвакуированными она прибыла на пароходе «Гоголь». Виноградов нашел ее на пристани. Выглядела Ольга растерянной среди суеты, крика, чемоданов и корзин. Надо было позаботиться о квартире, достать продукты, запастись семье хоть самое необходимое. Эти заботы переплелись с большой и еще более хлопотливой, сложной работой по организации отряда, когда вдруг обнаруживалось, что не хватает то того, то другого. И когда через трое суток Павлин очутился опять на борту буксирного парохода «Мурман», он даже с облегчением подумал: «Теперь будто всё... Успел. Теперь только бой».

Враг наступал, стремясь как можно скорее овладеть средним течением Двины. Американцы и англичане уже появились возле устья реки Ваги. Ходивший у Березника буксир «Могучий» принял бой, но вынужден был отступить к Котласу. Павлин решил вернуться на среднюю Двину, чтобы встретить там отступающих.

Вечером 8 августа из Котласского порта вышел буксир «Мурман», вооруженный пушками. Вслед за ним двинулся буксир «Любимец». В нескольких верстах позади следовал «Учредитель», превращенный в госпитальное судно.

Днем неподалеку от села Троицы «Мурман» встретился с «Могучим». Суда пришвартовались одно к другому посредине реки. На «Могучем» вместо старых, вышедших из строя пушек были установлены новые. Через три часа все буксиры двинулись вместе. «Мурман» шел в качестве флагмана. На его палубе стояли три полевых трехдюймовых орудия в деревянных станках. Два разместились по бортам, а одно находилось на носу. Кроме того, буксир был вооружен четырьмя пулеметами.

Госпитальному судну Павлин приказал встать за островами, в большой заводи у Топсы. Буксиры уже входили в тот район реки, где следовало ждать встречи с неприятелем.

Действительно, на подходе к Конецгорью, в тридцати верстах от Березника, буксиры наткнулись на вражеский пароход «Заря». Он встретил их огнем. Схватка длилась около часа, и «Заря», не выдержав оружейных залпов с двух буксиров, выбросилась на берег. Когда бойцы с «Могучего» на лодках подошли к «Заре», там уже ничего не было. Бойцы нашли только трофеи: пулеметы, большой запас патронов и ящики с продовольствием. Забрав трофеи, флотилия Павлина пошла дальше.

Первый успех ободрил людей. Раненые были отправлены на катере в тыл, к «Учредителю». Бойцам и матросам выдали сытный обед, нашлось по чарке водки.

К вечеру Павлин пригласил на «Мурман» командиров своего отряда и речных капитанов. Совещание проходило в нижней общей каюте. В ней было уже темно. На столе тускло горела маленькая керосиновая лампочка.

— Что же, по вашему мнению, нам следует делать? — спросил Павлин.

Большинство предлагало пришвартоваться к одному из берегов и провести ночь в дозоре.

— У меня есть другой план, — возразил Павлин. — Я предлагаю продолжить рейс, пока беглецы с «Зари» не успели сообщить о нас в Березник.

— Туман, Павлин Федорович, — предостерегающе сказал капитан «Мурмана».

— Я и надеюсь на туман... — упрямо возразил Павлин. — Я пойду первым. А «Любимцу» и «Могучему» предлагаю поддержать меня во время боя. Ясно?

Люди молчали. Стоявшие у стола капитан «Мурмана», командиры десантных отрядов Воробьева и Ванек Черкизов разглядывали карту Двины.

— Здесь узкость... — сказал капитан «Мурмана». — Здесь фарватер — боже упаси! Тут сплошная узкость, перекаты.

— Нельзя ли обойтись без митинга? — перебил его Павлин.

— Чего думать-то? — вдруг сказал своим звонким голосом Ванек Черкизов. — Все равно лучше Павлина Федоровича не придумаем.

Павлин почти с нежностью посмотрел на молодого матроса. После Шенкурска он полюбил этого юношу, почувствовав в нем ту внутреннюю душевную чистоту, которую привык искать и ценить в людях. Все нравилось ему в Иване Черкизове: и живость характера, и честная прямота взглядов, и юношеская грубоватая откровенность, и горящие, с длинными ресницами, черные глаза, и пышные вьющиеся волосы, и даже маленькая, будто проведенная углем полоска усов.

— Верно, Ванек, — поддержал Черкизова командир десанта Воробьев. — Двум смертям не бывать... По всем фронтам нынче коммуна грудью идет. Не мы одни!

— Правильно, друже! — с облегчением сказал Павлин. — Конец запорожскому вечю!...

Он вздохнул и, поискав глазами своего вестового, поздравил его:

— Соколов, есть ли что-нибудь, чем слаб человек? Угощай командиров...

Выпивка и закуска заняли не больше пяти минут. Черкизов обычно не пил. Водка немедленно вгоняла его в сон, голова тупела, язык ворочался с трудом. Сегодня же он выпил наравне со всеми. Нервы его были так натянуты, что, опрокинув одну за другой две рюмки, он ничего не почувствовал.

Получив от Воробьева последнюю инструкцию, Черкизов отправился на буксир «Любимец», куда был погружен десант. Воробьев остался на «Мурмане» с артиллеристами.

— Ни пуха ни пера! — крикнул Павлин вдогонку отъезжавшим.

— Есть, ни пуха ни пера! — звонко ответил Черкизов, редко и сильно взмахивая веслами. Вынимая весла из воды, он почти не подымал их, а ловко переворачивал на ходу, и тыльной стороной лопасти они скользили по воде, как по шелку.

— Ну и гребет... — наблюдая за Черкизовым и любуясь им, сказал Павлин стоявшему рядом с ним капитану «Мурмана». — Ничему я так не завидую, как здоровью, силе и молодости. Красота!

Они помолчали.

— Ты, я вижу, не в восторге от моего плана? — проговорил Павлин.

— Почему? — капитан пожал плечами.

— Мы не делаем ничего необыкновенного. Воробьев абсолютно прав. Иначе поступать невозможно.

— Пожалуй, — задумчиво сказал капитан.

— Не пожалуй, а точно, — уже начиная горячиться, возразил Павлин. — Прошло лишь несколько дней, а эти проклятые интервенты уже здесь... На среднем течении Двины... Отступи мы сейчас — через двое суток они появятся под Котласом! Ты представляешь себе, что тогда будет?

— Прочитать, конечно, их следует, — все с той же задумчивостью произнес капитан.

— Да не прочитать!.. Этого мало! Вцепиться им в горло зубами! И бить их, не щадя живота. А там будь что будет... Не стану скрывать, драка предстоит серьезная. Приготовься, друг, ко всему.

Они поднялись на капитанский мостик.

— Как механизмы? — спросил Павлин. Капитан уверил его, что механизмы исправны. Павлин посмотрел на часы.

— Давай отправку! — приказал он.

Капитан передал его приказание в машинное отделение.

3

Буксиры двигались во мгле будто ощупью. Даже берега угадывались с трудом. Огни были потушены, и на искру, вдруг вылетающую из трубы, смотрели с опаской. Шли самым тихим ходом, чтобы противник не услышал шума работающих машин.

Павлин стоял на палубе «Мурмана» рядом с капитаном.

— Тише нельзя? — спросил он.

Капитан только отмахнулся.

— И так идем святым духом, Павлин Федорович.

Возле орудий прилегли артиллеристы. Курить не разрешалось, и это, пожалуй, было мучительнее всего.

«Мурман», «Могучий» и «Любимец», шедшие кильватерной колонной, не видели друг друга. Чуть слышно шлепали по воде колесные лопасти. Буксиры уже

миновали устье Ваги. Все просторнее развertyвался самый широкий плес среднего течения Двины.

Неожиданно впереди показались огоньки. Люди на палубе зашевелились.

— Никак Березник? — спросил Павлин у капитана.

— Он самый, — тревожно покашливая, ответил капитан.

— О «Заре», очевидно, ничего не знают...

— Должно быть... Думают, что мы уже разбиты. Сказать по совести, Павлин Федорович, даже не верится, что мы сюда пришли. Все это уж очень предеpзостно.

Они поднялись на капитанский мостик. По палубе, готовясь к бою, забегали артиллеристы. Теперь уже можно было разобpать, что огни в Березнике горят не на берегу, а на стоящих у пристани судах. Павлин насчитал пять неприятельских пароходов.

— Вот к этому направляй! К большому, пассажирскому... — приказал Павлин. — Полный вперед!

Белая масса пассажирского парохода приближалась. Теперь можно было не таиться.

Над рекой пронесся условный гудок. «Мурман» подзывал к себе «Могучего» и «Любимца». Перегнувшись через поручни, Павлин громко крикнул:

— Огонь, ребята, по интервентам и белякам!

Грянул залп из двух орудий. Первые снаряды разорвались в Березниковском порту. На одном из пароходов взметнулось пламя.

— Не замирай, ребята, не замирай! — кричал Павлин. — Не жалея снарядов!

На подравнявшемся к борту «Мурмана» пароходе «Любимец» он увидел силуэт Черкизова.

— Эй, Черкизов! — крикнул он, приставляя к губам рупор. — Помогай нам, разворачивайся... И ходу! Жарь по пристани!

На быстром ходу, непрерывно стреляя из орудий, пулеметов и винтовок, суда прошли Березник. Затем «Мурман» повернул назад, приблизился к берегу и пошел вдоль него, стреляя правым бортом. Буксир «Могучий» повторял все маневры «Мурмана». Противник сначала огрызался пулеметным огнем, потом тоже перешел на артиллерию. Вражеские снаряды рвались на плесе. Огни выстрелов непрерывно озаряли его.

— Вы только вообразите, ребята, какой там теперь тарарам... — говорил Павлин, спустившись с мостика и указывая бойцам на огненные столбы пожара. На берегу, у самой пристани, горел дом. Тень от него, точно огромное черное крыло, колыхалась по обрывистому, крутому склону.

Пароходы противника, скопившиеся у пристани и причалов, стояли неподвижно. Внезапный набег словно сковал их. До сих пор они чувствовали себя здесь в полной безопасности и не могли сразу поднять давление в котлах. Один из пароходов горел. При свете пожара были ясно видны мечущиеся по палубе фигуры. Но вражеская артиллерия действовала все сильнее. Спрятанная где-то за домами, она осыпала плес шрапнелью. На «Мурмане» появились раненые.

— Еще восьмерку? — спросил капитан, когда Павлин снова поднялся на мостик.

— Давай еще, — ответил Павлин.

Буксиры уже сделали несколько заходов. Вражеские пулеметы не умолкали. «Мурман» находился теперь в трехстах саженях от берега. Левая его пушка вышла из строя, и буксиру пришлось описывать круги, чтобы как можно чаще стрелять из орудия правого борта.

Над буксиром раздался взрыв. Когда унесли раненых, к Павлину подбежал артиллерист. Размахивая окровавленными руками, он доложил, что шрапнельный снаряд разворотил правый борт «Мурмана» и повредил вторую пушку.

— Подойдем поближе, дай из носового! — приказал Павлин. — По буксиру! Видишь, который крутится...

Один из неприятельских буксиров отвалил от берега и открыл яростный пулеметный огонь по «Мурману».

— Подойдем ли? — с сомнением сказал капитан. — Больно жарит.

— Надо отходить, Павлин Федорович. Сделали все, что возможно, — сказал Воробьев, появляясь на мостике.

«Мурман» пересекал быстрину реки, носовая пушка выстрелила несколько раз, но безрезультатно. Пули с неприятельского буксира свистели по-прежнему.

«Любимец», стоявший неподалеку от «Могучего», отстреливался из всех своих пулеметов. Огонь велся вслепую, так как котел на «Могучем», по всей вероятности поврежденный, пускал пары. Большие клубы их

образовали вокруг «Могучего» и «Любимца» своего рода дымовую завесу, которая мешала противнику вести прицельный огонь.

— Назад! — приказал Павлин капитану. — Надо выручать.

Капитан приказал повернуть буксир, но рулевой не выполнил его приказания.

— Ты что, не слышишь, Микешин? — строго спросил Павлин.

— Кому охота на верную смерть идти? Самим спасаться надо!

Над буксиром с треском разорвалась шрапнель. Капитан всем телом повалился на столик, стоявший возле рубки.

— Павлин Федорович, живы? — раздался встревоженный голос Воробьева. — Трубу свалило...

Павлин не ответил. Он следил за рулевым. «Мурман» шел прежним курсом, в сторону от своих. Тогда, не помня себя от ярости, Павлин ударил Микешина.

— Ах ты шкурник! — закричал Павлин. — Себя спасай! А товарищи погибай... Назад! Или застрелю на месте!

Микешин съезжился и стал к штурвалу. Рулевое колесо завертелось. Сделав поворот, «Мурман» снова направился к Березнику.

Тут только Павлин заметил привалившегося к столу капитана.

— Жив, друг? — крикнул он, встряхивая капитана за плечо.

Капитан молчал.

— Без сознания... Эй, ребята!

Павлин вызвал бойцов, и они унесли капитана вниз. На мостик выбежал его помощник.

— Скорее к «Могучему»! — приказал Павлин. — Гибнут ребята...

Когда «Мурман» прошел сквозь завесу пара, люди увидели, что из-за тяжелой баржи, служившей противнику заслоном, вынырнул катер с мелкокалиберной скорострельной пушкой и ринулся на «Могучего». Павлин стремительно повел свой буксир наперерез катеру. Проходя мимо «Любимца», Павлин много раз вызывал в рупор Черкизова, ему что-то кричали в ответ, но слов нельзя было разобрать.

— Механизмы у них, по-моему, сдают, — подсказал ему помощник капитана. — Скапутились!

— Отходите! — приказал «Любимцу» Павлин. — Отхо-ди-те!.. Вы слышите меня? Немедленно отхо-ди-те! Понял? Ванек!

С «Любимца» замахали фонарем. Приказ был принят. Затем и «Могучий» световым сигналом ответил то же самое.

Понимая, что оба буксира не справятся без его поддержки, и решив прикрыть их отход своим огнем, Павлин все внимание неприятеля привлек к себе. Он пошел в новую атаку, приказав помощнику капитана держаться как можно ближе к берегу.

Опять заработало носовое орудие.

После нескольких выстрелов неприятельский катер, клюнув носом, как утка, и, вздыбив корму, стал тонуть. Загорелась баржа, груженная сеном. Солдаты прыгали с нее в воду. Стоявший у пристани большой пассажирский пароход был охвачен пламенем.

Павлину доложили, что кончаются снаряды.

— Уходим, — ответил Павлин.

На плес выскочила неприятельская канонерка. Осыпаемый осколками «Мурман» стал отступать задним ходом, отстреливаясь из носового орудия. Его огонь прикрывал медленно отходивших «Любимца» и «Могучего». На середине реки из-за сильного течения «Мурману» пришлось повернуться. Теперь он отбивался только винтовками и пулеметами. Канонерка отвечала тем же. У нее, по-видимому, тоже иссяк запас снарядов. Не доходя нескольких верст до Ваги, она повернулась и, к счастью, пошла обратно в Березник. К счастью, потому что на «Мурмане» оставалась только одна пулеметная лента.

4

Рано утром буксиры вернулись к «Учредителю». В первую очередь пришлось заняться переноской тяжело-раненых.

Оказалось, что среди раненых был и Черкизов. Когда его несли на госпитальное судно, Павлин стоял у сходен.

— Ну, как ты, родной мой? Как, Ванек? — спросил он, дотронувшись до одеяла, которым Черкизов был закутан с ног до головы.

— Знобит... — прошептал Черкизов. — А в общем и целом ничего. Крепко мы им дали. Не сунутся больше! Правда?

— Правда, правда... Дружок мой... — Павлин крепко поцеловал юношу в лоб. — Милый ты мой!..

Санитары тронулись.

— Я зайду к тебе, Ванек! — крикнул Павлин.

Салон на «Учредителе» был превращен в операционную. Разговоры с ранеными, искаженные болью бледные лица, крики и стоны, брань, куча окровавленных бинтов — все это подействовало на Павлина сильнее, чем минувшая ночь.

Работа несколько успокоила его. Нужно было срочно написать рапорт обо всем случившемся. Павлин знал, что копия будет послана в Москву. Составляя рапорт, он обдумывал каждое слово.

Окно в каюте было раскрыто. Ветерок трепал зеленую занавеску. И все равно в каюте было жарко. Павлин сидел в одном белье у столика; время от времени он нагибался и, подымая с пола жестяной чайник, прямо из носика пил теплый морковный чай.

«За время боя, — писал он в своем рапорте, — военная команда вела себя образцово. Повиновение боевым приказам было полнейшее. (Он вспомнил Микешина: «Ну, об этом не стоит, это мелочь...») В заключение укажу, что свою задачу — произвести глубокую разведку в архангельском направлении — считаю выполненной. Несмотря на отход, сражение у Березника не проиграно. Главный выигрыш в том, что достигнут моральный эффект. Враг убедился, что силы у нас есть, что мы не боимся нападать и в тех случаях, когда нас меньше. Опыт настоящего сражения лично для меня очень ценен. Для того чтобы повторить такое нападение, надо...» Дальше Павлин перечислял то, что ему было необходимо из вооружения.

Дверь в каюту открылась, и на пороге появился доктор Ермолин в длинном, залитом йодом и кровью халате.

— Черкизов умирает, — сказал он.

У Павлина упало сердце.

— После операции?

— Какая там операция! Она все равно была бы бесполезна.

Расстроенный врач старался объяснить Павлину, почему никакая операция не спасла бы Черкизова. Он доказывал, что даже самый опытный хирург ничего не добился бы на его месте.

— Уже агония... Медицина бессильна. Надо было облегчить ему страдания, что я и сделал.

— Но ведь только час тому назад он говорил со мной, — с сомнением покачал головой Павлин.

— Даже пил кофе! — сказал Ермолин. — Это часто так бывает.

Наспех одевшись, Павлин вместе с врачом прошел в отдельную каюту, где умирал Ванек Черкизов. Глаза его, подернутые влагой, были широко раскрыты. Грудь часто подымалась. Он хрипел.

Павлин присел на стул и взял теплую влажную руку умирающего.

— Он уже в бессознательном состоянии, — сказал Ермолин. — Ничего не видит, не понимает, не слышит. Вы побудьте здесь, мне надо уйти.

Агония длилась полтора часа, и Павлин никак не мог отвести взгляда от прекрасного лица юноши. Черкизов все время смотрел в одну точку. Глаза его то суживались, то расширялись; выражение их было настолько осмысленным и живым, что Павлин никак не мог поверить словам доктора. «Нет, он видит... Но что же он видит?» — думал Павлин, наклоняясь к бледному лицу Черкизова.

Черкизов молчал. Павлину казалось, что умирающий смотрит на него так, словно хочет что-то сказать. Потом взгляд Черкизова стал тускнеть, как ослабевающий огонь. Тело его напряглось и вздрогнуло. Хрипение прекратилось, сразу стало невероятно тихо.

Павлин тяжело вздохнул, стремительно поднялся и вышел из каюты.

5

Комиссар Фролов приехал из Вологды с такими новостями, которые взволновали не только бойцов, но и крестьян, за эти три недели успевших привыкнуть к отряду. Согласно указанию штаба армии отряд должен

был покинуть Ческую и перебраться на Двину. Эта передислокация была одним из мероприятий, вызванных телеграммой Владимира Ильича Ленина. Ленин требовал усиления обороны Северодвинского участка, одновременно с этим приказывал организовать защиту Котласа. Он лично распорядился о дополнительной отправке туда артиллерийского оружия.

В распоряжение Фролова был передан винтовой буксирный пароход «Марат». Отряд предполагалось переправить на Двину в два приема. В первую очередь должны были ехать бойцы, знающие ремесло, — плотники и слесари, необходимые для срочного ремонта «Марата». Андрей Латкин уезжал вместе с ними и с комиссаром. Сергунько временно оставался при отряде. Ему поручалось принять новое пополнение из Каргопольского уезда, после чего весь отряд должен был перебраться на Двину.

Молва о лихом набеге северодвинских буксиров дошла уже и до Онеги. Комиссар Фролов и все бойцы гордились тем, что отправляются на помощь Павлину Виноградову.

День прошел в предотъездной суете. Составлялись всевозможные ведомости и списки. Для отъезжающих подбиралось новое обмундирование. Отпускалось продовольствие. Дверь в избе у Нестеровых хлопала до позднего вечера. Как водится, поминутно возникали новые, неотложные дела, просьбы, разговоры. Уезжать решили ночью. До отъезда первой партии оставалось несколько часов.

Фролов прилег на койку. Ночь он провел в дороге, а день выдался такой, что тоже было не до отдыха. Все хлопоты, связанные с передислокацией отряда, пали на комиссара, ибо Драницын временно оставался в Вологде при штабе, помогая в разработке плана северодвинских операций.

Просмотрев газеты, Фролов повернулся к стене и уже собрался было задремать, как в комнату кто-то вошел и, нерешительно переминаясь, остановился на пороге.

Фролов поднял голову от подушки и увидел Тихона.

— Входи, Васильич... Чего ты? — сказал комиссар, приподымаясь с койки.

Тихон боком, осторожно подошел к столу.

— Садись, Тихон Васильевич, гостем будешь! — Фролов улыбнулся. — Садись, говорю... В ногах правды нет.

Тихон присел на краешек стула и смущенно откашлялся. Причины этого смущения были уже известны Фролову.

Вчера старик Нестеров поругался с попом, бросил тому на паперть ключи, достал где-то самогону и, повстречав Сеньку, пьянствовал с ним до утра. На рассвете, возвращаясь домой, он кинулся в Онегу и спьяну едва не утонул. Его вытащили бойцы, проходившие дозором по берегу реки.

Андрей рассказал Фролову, что Люба никак не могла уложить старика спать. Тихон не скандалил, никого не обижал, но все время порывался петь какую-то длинную песню, начинавшуюся словами: «Пустившись в море от нужды...»

— Часа два заливался, точно соловей! — рассказывал Латкин.

— С чего же все это пошло? — спросил у него комиссар.

— Право, не знаю... Сперва ужинали. Вдруг Тихон брякнул ложкой и вскочил.

— Может быть, с Любой поссорился?

— Не знаю... Я ее спрашивал. Ничего не говорит.

Сейчас Нестеров сидел перед комиссаром, опустив глаза, и молчал. Фролов решил подбодрить его, потрепал по колену и добродушно сказал:

— Быль молодцу не в укор. Кайся, Васильич! Кайся: в чем грешен? Что же ты в Онегу бросался? Жизнь тебе, что ли, надоела?

— Нет, — серьезно ответил старик. — Русалка манила. Фролов рассмеялся.

— Ты не смейся, Павел Игнатьич... Верно говорю. Тяжко мне. Очень тяжело! — Старик вздохнул. — Ни богу свечка, ни черту кочерга. Задумался я...

— О чем же ты задумался, Тихон Васильевич? Без места остался? Так, что ли? Боишься, что поп с квартиры тебя сгонит?

Старик махнул рукой.

— Какое там... Ничего я не боюсь. Я еще его сгоню. И работу найдем. Пока руки-ноги не отвалятся, разве мы заплачем? Голодный николи я не бывал и не буду. Нет, тут другая статья.

Старик помолчал, пожевал усы, затем опять вздохнул и наклонился почти к самому лицу комиссара.

— Особое у меня дело, Игнатьич! Видишь ли... — тихо, будто по секрету, сказал он. — Я ведь, как ладья, всю жизнь скитался. Служил в пароходстве, на лесных работах был, баржи водил по Двине. Какие песни пел! Каким пахарем был!.. Охотником!.. Люди завидовали. В отрочестве у меня дишкант был звонкий. Три года прожил в Вологде в архиерейском хоре. Образования достиг. Как я пел в трио «Приидите, ублажим...» Или тоже: «Днесь неприкосновенный существом». Купцы рыдали! А уж про женское сословие и говорить не приходится. Особенно когда драгуном в Гатчине служил. Многие от меня плакали. Все в моей жизни было. Чего мне скучать? Я не поп, у которого только красы, что волосы. Нет, я прямо скажу тебе, Павел Игнатьич: женок менял, не любил в своей постели ночевать... И занятия свои менял. Все кругом менял. Всю жизнь меня кидал характер! А что нажил? — сказал он теперь уже громко и помолчал, точно ожидая ответа. — Что я нажил? С чем приду в грядущее? Стыдно! Стыдно, прямо скажу. Помирать? А вон уж она, проклятая, с косой! — Тихон оглянулся, как будто за его спиной действительно стояла смерть. — Не сумел толком жить, так помереть надобно не зря. Что я сделал людям доброго? Ничего... Для себя маялся. Скучно. Приехали вы, разбередили меня, мою душеньку. Я уж думал, кончилось мое беспокойство. Ан нет... Опять манит. Манит и манит. Возьми меня в отряд. Христа ради... — закончил он неожиданно.

— Ты что? Неужели вправду решил? — спросил его Фролов.

— Вправду, Игнатьич! Слышал я от бойцов, что вы на Двину будто перекидываетесь. Это верно?

— Верно.

— Возьми. Даром есть хлеб не стану.

— Ну, а как же твое хозяйство?

— Что хозяйство? Безделица века сего... Любка похозяйствует. Не такое имели, да брасывали... Не с хозяйством уходить перед очи всевышнего.

— Да ведь с нами в рай не попадешь! Мы безбожники, ты это учитываешь? — пошутил комиссар.

— А я, душа, тоже безбожник! — сказал старик и засмеялся, прикрывая рот ладонью. — Эх, Игнатьич,

молвить правду: закаленный я грешник. Придется мне на том свете с чертями пожить. Да уж ладно! Чем они хуже нас? Такие ж существа...

— Значит, у тебя вчера была отвальная?

Старик улыбнулся.

— Прости бедокура. Накатило чего-то...

Он снова сделался серьезным.

— Ну, а что касается того, поведение мое видел... Пригожусь! Я вчера в газете читал: «Унтер, стой! Не время пахать!» А ведь я когда-то унтером был. Ну, сердце так и екнуло. И кузнечить могу. Слышал я, мастеровых набираете?

— Набираю... Ты с Любой-то по этому делу говорил? Она знает?

— Знает, — старик усмехнулся. — Ей, бесовке, все ведомо.

— Ладно, — сказал Фролов. — Кузнеца мне как раз не хватает. Поедем.

— От и ладно! — обрадовался старик. — Теперь выпить хорошо бы... Да шучу я, Игнатьич, какая там бражка!.. — Старик замахал руками. — Будет уж, потешил лукавого. Ты вот что пойми: Николка мой все счастье искал и нынче, пожалуй, с вами водился бы. Пускай будет так: я вместо него послужу.

Тихон выпрямился. Глаза его смотрели вдаль, за окна избы. Взгляд был суровый, сосредоточенный. Он сделал привычное движение пальцами, точно желая переkreститься, потом дерзко ухмыльнулся и, махнув рукой, вышел из комнаты.

6

«Марат» стоял на левом берегу Вологды ниже пристани. Здесь пароходы по старинке ремонтировались на плаву, возле берега, застроенного сараями, мастерскими и заваленного горами железного лома. К «Марату» то и дело приставали лодки. По сходням с берега на пароход поднимались сотрудники штаба, инженеры, рабочие. Ремонт шел непрерывно, круглые сутки. С прочисткой котлов справились гораздо раньше, чем предполагали. «Марат» был готов к погрузке и отплытию. Валерию Сергунько в Ческую Фролов отправил телеграмму.

Настроение у всех было отличное. Тем более поразился Андрей Латкин, когда, войдя в каюту комиссара, увидел, что Фролов сидит с пожелтевшим лицом и угрюмо курит одну папиросу за другой.

За последние дни Андрей привык видеть Фролова особенно бодрым и веселым. Что же произошло сейчас?

— Вы не заболели? — с тревогой спросил Андрей.

— Я здоров

— Идемте обедать, я за вами.

— Не могу... — Фролов посмотрел на часы. — Да, по правде говоря, и не хочется. Семенковский зачем-то опять вызывает.

Комиссар встал.

— Не люблю этих срочных вызовов. Ума не приложу, зачем я понадобился...

Он надел шинель и вышел из каюты.

Только что приехавший на «Марат» начальник оперативного штаба рассказал комиссару о том, что события на Двине складываются все более неблагоприятно.

Он сообщил, что Фролову поручается довести до Павлина Виноградова караван из барж и судов, часть которых предназначена для затопления речного фарватера в узких проходах Двины среди островов. Штаб опасался, что Павлин Виноградов не сможет сдерживать противника и что неприятельские отряды подойдут к последнему рубежу, к селению Красноборск. В этом районе по рекам Любле, Едве и Уфтьюгу были уже приготовлены оборонительные позиции. Красноборская линия находилась в пятидесяти верстах от Котласа.

На днях к Виноградову прибыли два отряда, состоявшие из московских рабочих и балтийских моряков. Вначале бои протекали успешно. Павлин опять приблизился к Березнику. Но его атаковала подошедшая из Архангельска английская военная флотилия.

— Не на радость вы едете, Павел Игнатьевич! — сокрушенно сказал Фролову начальник оперативного отдела. — Виноградов так откатился, что дальше уже некуда. Нелегко вам придется.

Дело, по которому Семенковский вызывал Фролова, было непосредственно связано с Павлином Виноградовым.

В штаб армии поступила жалоба на Павлина. В ней рассказывалось о том, как он во время боя ударил штурвального Микешина, и делались далеко идущие выводы

о недопустимости подобных методов обращения с людьми.

Семенковский, к которому попала эта анонимка, тотчас же потребовал от Виноградова объяснений и предложил ему пойти в отпуск, мотивируя это его крайним переутомлением, расшатанностью нервной системы и т. д. Случаем со штурвальным Микешиним Семенковский решил воспользоваться в своих собственных целях. Ему давно хотелось убрать Виноградова с Двины. «Вы переработались, нервы сдают, — телеграфировал он Павлину. — Поезжайте в отпуск, отдохните».

В ответ на требование и предложение Семенковского Виноградов послал письмо одному из руководящих партийных работников штаба, члену Реввоенсовета армии Анне Николаевне Гриневой.

«Я чувствую себя хорошо! — писал Павлин. — Думать о себе некогда. Почти не сплю. Вся моя жизнь — непрерывное действие. Положение невероятно грозное. Я не могу позволить себе даже кратковременного отдыха, который предлагает мне Семенковский. Кстати, в июне я был в отпуску, ездил в Питер. Хочешь меня сместить, смещай... Но поступай открыто, по-товарищески. А это жонглерство я считаю неправильным и несправедливым. По поводу жалобы на меня докладываю следующее: я действительно ударил штурвального Микешина, трусливого, глупого и нерасторопного парня, который...»

Дело, вероятно, на том бы и закончилось, если б Семенковский не вмешался снова. Этому заядлому тропикисту хотелось избавиться от Виноградова. Семенковский требовал, чтобы все его подчиненные действовали «осторожно», «не рисковали последними ресурсами», «берегли технику и людей».

«Мы не имеем права, — писал Семенковский Виноградову, — безрассудно транжирить силы и средства на случайные бои».

Павлин отвечал со свойственной ему резкостью и прямолинейностью: «Враг накинул нам петлю на шею и душит нас. Мы рвем эту петлю, а вы называете это случайными боями. Странно! Мы жертвуем всем, чтобы по приказу Ленина задержать врага, а вы называете это безрассудством? Очень странно. Вы стоите на

подозрительной половинчатой позиции, которая напоминает мне наш петроградский разговор по поводу предсловутого предателя Юрьева. Все это дает мне право не подчиниться вашему предложению или распоряжению. Я обращусь к партийной комиссии».

Получив это письмо, Семеновский изменил план действий. Он решил во что бы то ни стало добиться своего и убрать Виноградова с Двины, но несколькими иным способом. Тут-то ему и понадобился Фролов.

Считая Фролова человеком примитивным и неспособным разгадать сложные тактические замыслы, Семеновский вздумал назначить его комиссаром Северодвинского участка. Это нужно было для того, чтобы заменить Виноградова Драницыным. «Раз переводится Фролов, значит, переводится и его военспец Драницын». А этого бывшего царского офицера Семеновский рассчитывал быстро прибрать к рукам: «Я буду ему покровительствовать, а в случае надобности и припугну. Что же касается Фролова, то этот простак будет, разумеется, польщен новым назначением и обрадуется, что вместе с ним на Двину поедет военспец его отряда».

Как искусный и опытный интриган, Семеновский никого не посвятил в свои планы. Он считал, что ни с кем, даже с теми людьми, которым помогаешь, нельзя быть откровенным до конца. Ведь впоследствии эти люди могут оказаться врагами. Лучше всего никого не подпускать к себе близко и со всеми держаться на определенной дистанции. Таково было отношение Семеновского к людям. Он верил только себе и поэтому действовал втихомолку.

Семеновский жил в маленьком салон-вагоне, стоявшем на запасных путях. Войдя в салон, Фролов услышал хрипкое шипение граммофона (пела Вяльцева: «Захочу — полюблю»). На столе горела свеча вставленная в горлышко бутылки, рядом лежали на газете хлеб, лук, несколько кусочков копченой колбасы. Тут же стояли стаканы...

Начальник сидел за столом. Его черная кожаная куртка распахнулась, ворот гимнастерки был расстегнут. Напротив сидел какой-то военный, тоже в куртке и в кожаных рейтузах, внизу затянутых крагами. Увидев Фролова, он сразу поднялся и вышел.

Семеновский был небрит, непрерывно шурил красные опухшие глаза и поглаживал щеку, будто у него бо-лели зубы.

— Ну, военком... — сказал он Фролову. — Завтра поедешь один! Я считаю...

— То есть как это один? — недоумевая, перебил его Фролов. — Почему один? Завтра утром прибывает сюда весь мой отряд.

— Мы приостановим отправку! — Семеновский зевнул. — Прости, пожалуйста, всю ночь не спал. Перебродски запрещены, так же как и отпуска... Ситуация на фронте сильно изменилась. Не на Двине только, а вообще (он повысил голос). Товарищ Сергунько пусть останется в Ческой, поскольку он там... Не возражаешь? А Драницын пусть едет с тобой.

— Но со мной здесь бойцы...

— Это мелочь, пусть едут!.. Поскольку все равно уже откомандированы. Главное, чтобы после приказа не перебрасывали народ, понимаешь...

— Ничего не понимаю, — признался Фролов.

— Что тут понимать? Усложнилась обстановка. Острое положенье! И еще вот какое дело... — снова протянул он, точно не решаясь сказать все сразу. — Тут один товарищ из Котласа отказался... Говорит: я кавалерист! А мы предлагали ему выехать на Двину вместо Виноградова.

— Вместо Павлина? — переспросил комиссар, чувствуя, что кровь бросилась ему в лицо.

— А что? Виноградов, по-твоему, незаменим? Гордость фронта? — Семеновский иронически усмехнулся. Он решил рассказать о жалобе на Павлина, но тут же раздумал. — Штаб выдвигает твою кандидатуру на пост комиссара всего Северодвинского участка в целом и бригады в частности. Твоя кандидатура расценивается очень высоко... Видишь, какая ситуация... Тебе поручается навести порядок на Двине. Я вспомнил, что в Питере ты просился на воду. Изволь! Комиссарствуй по-флотски. Но тебе нужен другой командир бригады. Оставлять Виноградова на посту командира бригады нецелесообразно. Да ведь он и числился временно исполняющим обязанности... Опрометчив! Бросается куда попало... А мы ограничены в средствах.

— Значит, надо их найти, — попробовал возразить Фролов, инстинктивно чувствуя, что за всем этим кроется нечто совсем иное.

— Ну, а что же ты думаешь, мы их не ищем?

— Но ведь есть директива Ленина... Там говорится о полной отдаче сил! — снова возразил Фролов.

— Ты что? — прервал его Семенковский. — За детей нас принимаешь? Мы, брат, все учли.

Комиссар замолчал.

Семенковский достал из портфеля бумагу и подал ее Фролову. Это было предписание, в котором Павлин Виноградов извещался, что «просьба его о кратковременном отпуске уважена».

— Но ведь отпуска сейчас запрещены, — сказал Фролов, прочитав бумагу и еще недоумевая.

— Для Виноградова мы сделаем исключение. Ольхин согласен... — многозначительно проговорил Семенковский.

Ольхин, уполномоченный Совета Народных Комиссаров, был одним из руководящих работников Вологды. Военные дела этого фронта также находились в его ведении.

Фролов пристально посмотрел на Семенковского. «А не врешь ли ты? — подумал он. — Если Ольхин и согласен, так только потому, что ты его обманул... Неужели обманул? Неужели ты не хочешь, чтобы Виноградов был на Двине?»

— Все? — спросил он Семенковского.

— Все! — ответил тот. — Командиром бригады пока назначим Драницына. Это тебя устраивает?

— Драницына? После Виноградова?.. Нет!

— Даже временно?

— Никак! Категорически возражаю, — объявил Фролов, уже разгорячившись. — Разрешите мне лично доложить об этом товарищу Ольхину.

— Ну, голубь... — Семенковский опять усмехнулся. — Докладываю я, а не ты... И вот что, изволь-ка подчиняться моим приказаниям.

— Извольте и вы доложить Реввоенсовету армии и товарищу Ольхину! — запальчиво крикнул Фролов. — Я считаю, что Драницын не может быть командиром бригады. Это раз. А Виноградова увольнять в отпуск сейчас нельзя. Это два.

Семенковский метнул взгляд на Фролова, и на этот

раз комиссар прочитал в его глазах не только досаду, но злость и даже бешенство.

— Хорошо... будет доложено, — сухо сказал он. — Временно возьмешь командование на себя. Обо всем остальном дополнительно получишь телеграфное приказание. Драницын назначается начальником штаба.

Они распрощались. Фролов покинул салон-вагон с чувством не только душевной, но и физической антипатии, которую он и раньше испытывал к Семенковскому. «Так и знал, что случится неприятность», — думал комиссар, на все лады ругая Семенковского.

По пути он решил заехать в штаб, задержался там, разговаривая с дежурным адъютантом о предстоящем рейде, и только в середине ночи прибыл на пристань. На пароходе все, кроме караульных, спали. Комиссар не стал будить сладко храпевшего Андрея, лег на соседнюю койку, но никак не мог заснуть. Мысли его невольно возвращались к разговору с Семенковским.

«Как же это так? Приехать к товарищу и сказать: катись, я тебя сменяю! А за что? Наверняка Семенковский крутит. А если правда? Если Виноградов в самом деле поступает не так, как нужно? Может быть, он действительно не справляется?»

Фролов знал Павлина только понаслышке. Большинство штабных работников высоко оценивали результаты первых боев Павлина на Двине. Фролов верил этому, единодушному мнению своих товарищей и руководствовался только им.

Но смутное беспокойство, охватившее его, все-таки не проходило. С этим чувством он и уснул.

Утром на палубе «Марата» состоялся митинг. Его открыл Фролов. Затем выступали представители штаба, бойцы, речники, матросы, рабочие вологодских заводов и железнодорожники. Ненависть к интервентам сквозила в каждом их слове. «Просчитались господа вильсоны, — подумал Фролов. — Поддержки в нашем народе они никогда не найдут».

Оркестр, приглашенный из гарнизона, играл «Интернационал». Речи на митинге, возбужденные лица людей, мощные звуки «Интернационала» — все говорило о предстоящих боях, призывало к борьбе и подвигам. Многие ораторы упоминали имя Павлина Виноградова. Чувствовалось, что оно притягивает к себе людей, как

магнит. Даже в резолюции было сказано: «Мы идем на помощь Павлину Виноградову». Семеновский, который тоже присутствовал на митинге, услышав эту фразу, поморщился, но смолчал. «Эге, брат, — заметив недовольную гримасу Семеновского, подумал про себя Фролов, — да у тебя личные счеты... Ну, с этим я справлюсь!» Смутное чувство тревоги, которое так мучило его вчера, стало понемногу затихать. «Приеду на место, познакомлюсь с Виноградовым и тогда разберусь в обстановке».

В Котлас была отправлена телеграмма: «Двадцать восьмого буду в порту, караван должен быть готов, возьму его с ходу, не задерживаясь. Примите меры. В случае неисполнения виновных передам трибуналу. Комиссар Фролов».

В тот самый день, когда «Марат» отчаливал, в Вологде пришел очередной номер «Правды» с ленинским «Письмом к американским рабочим».

Перед отъездом Фролову с трудом удалось, как большую редкость, достать один экземпляр газеты. Статья Ленина оформила, отлила, как отливают в форму металл, все мысли и чувства комиссара. Взволнованный этой статьей, он сидел у себя в каюте и не замечал берега, плывущего перед раскрытым окном.

Ленин писал о том, что все мировые события связаны сейчас с политикой американских миллиардеров. Они в центре всего. Они делают все возможное, чтобы погубить ненавистную им рабочую республику.

«Да, — с волнением думал Фролов, поднимаясь с койки и подходя к окну. — Это письмо необходимо нам, как воздух... Для жизни необходимо... и не только нам... всему человечеству».

В каюту вошел Драницын.

— Довольны, что в новый поход? — спросил Фролов, закуривая предложенную ему папиросу.

— Очень, — затягиваясь табачным дымом, ответил Драницын. — Только теперь я буду воевать как настоящий офицер.

— То есть?

— Ну, как мозг армии, а не как толковый фельдфебель... В плане двинских операций, который разрабатывался в Вологде, есть кое-что и мое. Господа из генерального штаба приняли одно мое предложение.

— А вы, оказывается, честолюбец! — Фролов улыбнулся.

— Да, я честолюбив, — признался Драницын. Ни одна черточка в его лице не дрогнула. — Я ничего не хочу скрывать. Не люблю лжи. Это не в моих правилах. Принимайте меня таким, каков я есть... Но я не считаю честолюбие пороком и не стыжусь его... Используйте его, если хотите.

Драницын тоже улыбнулся, показав неровные, но очень белые зубы.

— Я ведь тоже задыхался в царской армии и часто дивился долготерпению солдат... Осенью семнадцатого года, когда солдаты стали бросать фронт, многие офицеры вопили: «Где у них честь родины?» А я удивлялся тому, как наш солдат держал фронт почти три с половиной года, проливая кровь неизвестно из-за чего. Ведь вся эта царская камарилья, все эти немчики, немка-царица, все эти полковники Мясоедовы, Вырубовы, министры Сухомлиновы продавали русскую армию оптом и в розницу. Разве не бесчестьем и позором для родины был дурак царь?.. А теперь опять ползет на нас вся эта заграничная рвань... Кто спас их под Верденом? Русский солдат. Забыть об этом — подлость! Теперь господа Краснов, Деникин и прочие зовут спасать Россию... Какую? Для кого? Опять быть холуем у этих торгашей? Нет, благодарю. Не желаю!

Фролов пытливо посмотрел на Драницына.

— Я чувствую, вы смотрите на меня недоверчиво. Да мне русский солдат, русский крестьянин гораздо ближе, родней, чем какой-нибудь отъездивший купчина. Возьмите хотя бы Тихона, вот народ как относится к варягам. Как он предан своей родине!.. И я такой же простой русский человек...

Наступило молчание. Драницын шагнул по каюте. Закурив новую папиросу, он присел на койку к Фролову, дотронулся до его плеча и тихо сказал:

— Не поймите меня превратно... Ну вроде того, что я, как прислуга, перешел к новому хозяину и подлизываюсь. Хотите, товарищ комиссар, я вам не по анкете свою жизнь расскажу? Может быть, ухлопают меня... По крайней мере, будете знать, с кем имели дело...

И, не дожидаясь ответа, Драницын начал рассказывать.

— Отец мой был мелким чиновником артиллерийского ведомства. Служил он на арсенальном заводе. Носил даже серую, вроде офицерской, шинель с узкими серебряными погончиками. Кто он был по всей своей сути? Да никто... Бедняк, чиновник, каких тысячи. И возмечтал он сделать своего сына офицером-артиллеристом. Всем кланялся, у какого-то начальства ползал в ногах, чтоб меня приняли в кадетский корпус. И выплакал. Я был принят. Наступил тысяча девятьсот пятый год. Не знаю, что за хмель вскружил тогда голову отцу? Вместе с рабочими он участвовал в демонстрации и даже нес красное знамя. Это было невероятно! Это был скандал!.. Администрация завода всячески издевалась над ним и прозвала его «декабристом». В тысяча девятьсот седьмом году отца прогнали со службы. Получив волчий билет, он кое-как устроился приемщиком на почту. Меня тоже исключили из корпуса. Но отец хотел, чтоб я учился в гимназии. И даже каким-то образом добился бесплатного обучения.

Жили мы нищенски. Но отец продолжал твердить мне: «Леонид, ты будешь офицером». Еще мальчишкой я уже вырабатывал в себе эти замашки... Гимнаст! Отлично фехтовал! В конце концов мне и самому захотелось стать офицером, только не в пехоте-матушке. Я мечтал стать ученым офицером. Артиллеристом!

Затем юнкерские годы... Я поступил в Константиновское артиллерийское училище. Больше всего я боялся, чтобы кто-нибудь из моих товарищей-юнкеров не проследил, где я живу, не заглянул бы ненароком в нашу жалкую берлогу на Песках... Держался я особняком. «Рак-отшельник» — так меня прозвали. А дома пьяный отец твердил всегда одно и то же: «Леонид, ты забьешь всех этих щелкунчиков».

Квартирка наша достойна особого описания. На заднем дворе... Грязная лестница, где вечно пахнет кошками. Одну из наших комнатенок мать сдавала. Жильцы наши были такие же нищие, как и мы: то ремесленник, то бедная курсистка, то актриса, потерявшая место, то продавщица из колбасной. Это был ноев ковчег с перемешанным составом.

Но учился я отлично. Вскоре грянула война, и все смешалось. Нас выпустили досрочно. Я как портупей-юнкер, первый по успехам в училище, имел право сам себе выбрать полк, имел даже право на гвардию. Наш генерал, начальник училища, вытаращил глаза, когда я стал отстаивать это свое право.

— Позвольте... Но ведь вы же дворянин? — спросил Фролов.

— Мой отец любил кричать о том, что он дворянин, но... грошовое это было дворянство. Генерал, конечно, знал, что я за птица. Мои слова показались ему святотатством. Но я решил хоть на час добиться своего. Калиф на час! Я все-таки получил хорошее назначение. Правда, это было уже не то... Просто запасной дивизион. Но и в нем меня не продержали лишнего дня. Быстро сълавили из Петербурга на фронт. Я был счастлив. На фронте все равны. И я хотел быть подальше от своих бывших товарищей. Они еще гранили сапогами Невский и пьянствовали по шантанам... а я уже воевал.

Кто же я? Барин? Вот я вам все рассказал... Никогда так не рассказывал. Раньше стыдно было. Нет, молодости я не видел. Настоящей, живой, вот хоть такой, как у Валерия Сергунько. Что-то проклятое, загубленное, двойственное... Никому не пожелаю такой молодости.

Драницын замолчал. В каюте стало тихо. Фролов поднялся с койки.

— А знаешь что, Леонид Константинович? — сказал он. Драницын отметил, что комиссар впервые обращался к нему на «ты». — Возможно, батька твой был и неплохой мужик, да жизнь-то исковеркала... Быть может, та минута, когда он шел с красным флагом, была единственной настоящей минутой в его жизни.

Некоторое время они сидели молча. Фролов будто обдумывал то, что ему пришлось услышать. Затем, вынимая из портсигара папиросу, он сказал:

— Вот что, Леонид... Воюй честно, и все будет в порядке.

— Слушаюсь, Павел Игнатьевич.

— А ты не смейся, тебе серьезно говорю.

Мерно работали машины «Марата». И под их журчащий шум Драницын яснее обычного почувствовал, что

с прошлым покончено, что теперь есть только тот путь, который он уже выбрал окончательно и навсегда. «Да, только так! — думал Драницын. — Сегодня комиссар еще слушает меня с недоверием, но настанет час, когда он мне поверит. И это будет скоро, очень скоро...»

А Фролов, искоса поглядывая на взволнованное лицо Драницына, думал: «Парень ты, видать, честный, но все-таки я был прав, когда отвел твою кандидатуру... Куда тебе до Павлина Виноградова!...»

8

«Марат» шел узким фарватером среди подводных камней. Андрей стоял у борта и задумчиво смотрел в воду. Рядом, на скамейке, сидел Тихон. Мимо них молча прошел погруженный в свои думы Драницын. Высокий, подтянутый, прямой, со шпорами и стеклом, он казался Андрею существом из какого-то другого мира.

— Все бродит, — сказал Андрей, проводив Драницына взглядом.

— Долю ищет, — отозвался Тихон.

— Я часто задаю себе вопрос, о чем он думает?

— А зачем тебе это знать?

— Хочется понять, что он за человек.

— Себя, милый, и то разве поймешь?

Старик вдруг поднялся со скамейки и зашептал на ухо Андрею:

— А скажи мне, душа... Не со зла хочу знать... Батловства у тебя с Любкой не было? — Он поглядел Андрею в глаза и улыбнулся. — Что насупился? Я по-отцовски. Ну, у вас это дело еще десять раз обернется и вывернется! — Тихон ласково ударил Андрея по плечу. — Ты, видать, еще не рыбак. Не знаешь солену водичу. Не сердись, что я о такой тайности спрашиваю... Люблю я Любашу, как прирожденную мою дочку. Богданную. Боюсь я за нее.

Старик опустил голову.

Где-то внизу ровно дышала машина. Из раскрытого люка пахло паром и машинным маслом. В ночных сумерках мерцал зеленый бортовой огонек.

— Эх, Любка... — вдруг пробормотал Тихон и крикнул.

— Тихон Васильевич... — сказал Андрей. — А что у вас произошло с Любой перед отъездом? Отчего она сердилась?

— Ах, милый... Обидел я ее жестоко. Как с бабой глупой говорил... А ты знаешь ее характерность. И не баба она, а женщина... Силы в ней много... Большой силы она человек.

На левом берегу засветились окна большого села. Запахло дымом, жильем, донесся приглушенный расстоянием лай собак.

— Что вышло? А вот что! — продолжал Тихон, и в голосе его послышалось горестное волнение. — Сучила Любка пряжу... Перед обедом дело было, коли ты помнишь. Вы ушли все. Я и говорю ей: «Любка, так и сляк, с ребятами надумал я уйти на Двину. Отпусти меня, старого». Смотрю: бледнеет. «Так, говорит, а я что же?» — «Ты?» — «Я!» — «Хозяйство». — «Хозяйство? У кур да у коровы? Вся жизнь... Или дома, на бабьем углу, у воронца, бока пролеживать за печкой?» Глаза горят. Злая. «Что я тут, прости господи, навечно привязана? Нет, папаша! Вы уходите... Дело доброе! Да и мне, видать, пора пришла. Прощайте! Спасибо вам, дорогу показываете». — «Ты что? Очумела? Куда же ты пойдешь?» — «Куда все. Не хуже вашего с винтовкой управлюсь. Мне не ребят качать. Раз уж так... Тоже воли дождалась». — «Какая, говорю, воля? Дуреха! Ты что, очумела?! Виданное ли дело?» — «Нынче все видано!» Ног под собой не чувствует... Не то рада, не то в обиде. Нельзя понять. А знаешь, наша баба онежская — крепкая, самостоятельная, на все дюжа.

Стащив с головы заячью шапку, Тихон хлопнул ею о скамейку.

— Уйдет, — не то с осуждением, не то с гордостью сказал он. — Как пить дать уйдет.

— Я тоже так думаю, Тихон Васильевич.

— Собиралась, что ли? Говорила тебе?

— Нет... А чувствовалось, что тянет ее куда-то...

— И ладно... Была бы счастлива только! Да ведь все-таки баба, вот жалость! Где ладья ни рыщет, у якоря будет. А знаешь нашу публику, мужики!.. Мне

хотелось ее счастье своими руками наладить. Не судьба, значит. Эх, Андрюха! Хоть и озорная она, а душа в ней чистая... Лебеды!

Андрей молчал.

— Лед тронулся... — сказал старик без всякой видимой связи с предыдущим. — Теперь много народу партизанить пойдет. Вот только кончат работу. Ну дай бог... Пойду-ка я спать. Что-то воздух натягивает. К погоде.

— Ты иди, Тихон Васильевич, — сказал Андрей, — а я посижу. Мне не хочется спать.

Старик ушел, Андрей прилег на скамейку, подложив под голову куртку. Спать действительно не хотелось. Никак не шли из головы слова старика.

Налетел порыв ветра, и до парохода с ближнего берега Малой Двины донесся словно негодующий ропот беззвучно.

«Что бы там ни было, а я люблю ее, — думал Андрей. — Люблю и буду любить».

«Марат» замедлил ход. Мимо Андрея прошел капитан.

— Где мы? Неужели Котлас? — спросил Андрей.

— Котлас, — ответил капитан.

Андрей вскочил. «Марат» подходил к высокому и мрачному берегу. Виднелись пакгаузы, колокольня и купола большой церкви. Слышны были свистки паровозов. У пристани и вокруг нее стояли пароходы и железные шаланды.

«Марат» двигался к шаланде, на палубе которой стояли дальнобойные орудия. Военный моряк в бушлате и матросской бескозырке, стоявший на палубе этой шаланды, окликнул людей с парохода, затем прокричал куда-то вниз:

— Жилин! Фроловцы прибыли!

Из люка показался чернобородый моряк с фонарем в руках.

— Да они ли? — сказал он хрипло. — «Марат»?

— «Марат», — ответил первый. — Живо добрались.

— Эй, на «Марате»! — крикнул чернобородый. — К нам швартуйся!

Бросив концы на шаланду, «Марат» пошел правым бортом по ее стенке. Заскрежетало бортовое железо,

раздались звонки паровозного телеграфа, и «Марат», став на место, бурно заработал винтами. Затем все стихло. На барже показалось еще несколько моряков. Фролов вышел на палубу.

Перейдя по уже перекинутому трапу на баржу, он вслед за Жилиным скрылся в люке.

Проснувшиеся бойцы столпились возле трапа.

— Давно стоите? — спрашивали они.

— Недавно, — отвечали моряки.

— Откуда пушки-то? Моряцкие?

— Морские. С Кронштадта.

— Так и везли их баржей?

— Нет, по железной дороге. Через Вятку. Здесь только ставили. Инженеров звали помогать. Да те сконфузились. Техника, говорят, им не позволяет. Соорудили самолично.

— Значит, позволила? — послышался смех.

На палубе снова показался Фролов. Шагая рядом с Жилиным, он перебрасывался с ним короткими фразами.

— Что Виноградов? — спросил он как бы между прочим, внешне спокойно, но в душе волнуясь.

— Дерется как черт!

И по ответу чернобородого артиллериста Фролов понял, что «морячки» в Котласе уже наслышаны о Виноградове и что мнение о нем хорошее.

Караван был готов к отправке.

Через несколько часов портовый буксир подал сигнал и первым двинулся на простор Большой Двины. За ним, перекликаясь гудками, вышли из порта и другие пароходы.

Светало. Перед глазами Андрея раскинулась необъятная речная долина с заливными поймами, курьями и островами. Сигнальщик, стоявший на капитанском мостике «Марата» рядом с Фроловым, передавал приказания. Буксиры тянули две плавучие батареи с морскими орудиями.

«Марат», набирая ход, догонял пароходы «Некрасов» и «Зосима». Их палубы чернели от бушлатов. Это были десантные отряды, составленные из балтийских моряков с крейсера «Рюрик». Они ехали со своим оркестром. Музыканты играли, стоя на верхней палубе «Зосимы».

Когда «Марат» поравнялся с «Зосимой», Фролов взял рупор и, подойдя к борту, крикнул:

— Поздравляю товарищей балтийцев с боевым походом! Смерть интервентам! Да здравствует Ленин! Ур-ра!

Могучее ответное «ура» далеко разнеслось по реке.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Длинный караван, состоящий из пароходов, шаланд и барж, растянулся по широкому плесу Северной Двины. Впереди каравана шел штабной пароход «Марат».

На «Марате» готовились к высадке. С мостика слышалась громкая команда капитана. Пароход стал сворачивать с фарватера и, пересекая быстрину реки, резал форштевнем ее бурные могучие волны.

Фролов и Драницын подошли к борту.

Моросило. Было раннее холодное утро. В воздухе, насквозь пропитанном сыростью, все казалось расплывчатым и туманным. На правом берегу реки, высоком и крутом, в серой ползучей дымке виднелось широко раскинувшееся селение Нижняя Тойма. Среди беспорядочного скопища изб стояла белая каменная церквушка с золотыми луковками куполов. Неподалеку от пристани,

по глинистым, поросшим чахлой травой увалам тянулись старые складские амбары. Внизу, у самой воды, краснели двинские пески. Весь берег был завален вытасканными из воды лодками и челноками.

В этом большом селении размещались сейчас отряды Павлина Виноградова. Число их увеличилось, несмотря на бои. Сведенные воедино, они образовали теперь бригаду, ею командовал Павлин Виноградов, хотя официально он числится только исполняющим обязанности комбрига.

Виноградов стоял на свайной пристани, переговариваясь с командирами своего штаба.

Летние армейские шаровары Павлина были заправлены в простые крестьянские сапоги, густо измазанные глиной. Кожаная фуражка, сдвинутая на затылок, обнажала большой лоб и коротко стриженные волосы.

Один из командиров, моряк в фуражке офицера флота, махал рукой кому-то из стоявших на палубе «Марата». Это был Бронников, отряд которого три недели назад вошел в состав виноградовской бригады. Рядом с ним стоял Воробьев. Его называли сейчас начальником политконтроля. Он ведал политической работой, разведкой, делами перебежчиков и пленных.

Павлин был простужен, у него болело горло, он кашлял, но не обращал на это никакого внимания.

Протирая обшлагом шерстяной фуфайки стекла очков в никелевой оправе и щурясь, он старался разглядеть людей на палубе приближавшегося к пристани парохода.

Фролов, в свою очередь, разглядывал людей, находившихся на берегу. В свете мглистого утра их лица показались ему сосредоточенными, угрюмыми.

«Ну конечно... — думал он. — Очевидно, Виноградов уже получил телеграфное предписание о сдаче должности».

Когда «Марат» пришвартовался к пристани, Фролов с тяжелым чувством сошел на берег, словно только сейчас осознав, какая тягостная миссия ему предстоит. Навстречу шел человек в очках; лицо его с небольшими черными усиками показалось Фролову знакомым. «Где я его видел? — мысленно спросил он себя и вдруг вспомнил Петроград, главный штаб, приемную Семеновского,

двух товарищей из Архангельска. «Значит, это и был Павлин! — обрадованно подумал Фролов, и мучительная неловкость, которую он только что испытывал, сразу куда-то пропала. — Но как он переменялся! На нем лица нет! Что с ним такое?»

— Это вы Фролов? Павел Игнатьевич? — быстро спросил Павлин, схватив комиссара за руку, почти вцепившись в нее. — Как Ленин?

— Ленин?

— Что сообщает Москва? Ведь Владимир Ильич ранен, разве вы не знаете? На него было покушение...

— На Ильича? — испуганно переспросил Фролов.

— Ночью мы получили телеграмму, воззвание ВЦИК, — нетерпеливо объяснил Павлин. — Разве в Красноборске не знают?

— Мы не заходили в Красноборск, — почти не слыша своих слов, ответил комиссар. Он оглянулся. Люди, вышедшие вместе с ним на берег, словно онемели.

— Идемте скорей, — заторопил Фролова Павлин.

В Нижней Тойме не было дома, где не стояли бы бойцы. Сейчас, встречая караван, они высыпали на берег. На многих из них чернели бушлаты и морские шинели. Чувствовалось, что все они, от мала до велика, встревожены одной и той же беспокойной мыслью: «Что в Москве? Как Ленин?»

До избы, в которой жил Павлин, дошли быстро. Фролов едва успел снять шинель, как Павлин подал ему несколько серых телеграфных бланков: воззвание Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, адресованное всем Советам рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, всем рабочим, крестьянам, солдатам, всем, всем, всем.

«Несколько часов тому назад совершено злодейское покушение на тов. Ленина. Роль тов. Ленина, его значение для рабочего движения России, рабочего движения всего мира известны самым широким кругам рабочих всех стран. Истинный вождь рабочего класса не терял тесного общения с классом, интересы, нужды которого он отстаивал десятки лет. Товарищ Ленин, выступавший все время на рабочих митингах, в пятницу выступал перед рабочими завода Михельсона в Замоскворецком районе гор. Москвы. По выходе с митинга тов. Ленин

был ранен. Задержано несколько человек, их личность выясняется. Мы не сомневаемся, что и здесь будут найдены следы правых эсеров, следы наймитов англичан и французов.

Призываем всех товарищей к полнейшему спокойствию, к усилению своей работы по борьбе с контрреволюционными элементами.

На покушения, направленные против его вождей, рабочий класс ответит большим сплочением своих сил, ответит беспощадным массовым террором против всех врагов революции.

Товарищи! Помните, что охрана наших вождей в ваших собственных руках. Теснее смыкайте свои ряды, и господству буржуазии вы нанесете решительный, смертельный удар. Победа над буржуазией — лучшая гарантия, лучшее укрепление всех завоеваний Октябрьской революции, лучшая гарантия безопасности вождей рабочего класса.

Спокойствие и организация! Все должны стойко оставаться на своих местах. Теснее ряды!

*Председатель ВЦИК Я. Свердлов.
30 августа 1918 г.
10 час. 40 мин. вечера.*

Телеграфные бланки переходили из рук в руки.

В избе царило молчание. Вдруг на пороге появился матрос.

— Ну что, Соколов? — спросил его Павлин.

Матрос развел руками.

— Котлас не отвечает... Только газеты привез. Сейчас получили...

— Как так не отвечает? — гневно крикнул Павлин. — Требуешь провод! Как это может не отвечать? — Он побледнел. — Марш обратно на левый берег!

Матрос, положив на стол газеты, попятился и вышел из избы...

Фролов подошел к окну. У берега качался на волнах маленький челнок. Матрос быстро спустился по крутой глинистой тропке и побежал к своему челноку, чтобы снова переправиться на левый берег, где проходила телеграфная линия.

Подойдя к столу, Фролов взял одну из газет и развернул ее. Газетные листы тревожно зашуршали в его руках.

— Товарищи, — негромко сказал он, — послушайте, как это случилось... «30-го августа на пятничном митинге в гранатном цехе было очень много народу, особенно много...» — так начиналась статья, которую читал Фролов. Голос у него задрожал, он сделал над собой усилие и продолжал чтение:

— «Когда на деревянных подмостках показалась высокая крепкая фигура Ленина, тысячи людей его приветствовали... Улыбаясь, он поднялся на трибуну, махнул рукой, чтобы остановить рукоплескания, и сразу начал говорить. Он говорил о пресловутой свободе Америки: «Там демократическая республика. И что же? Нагло господствует кучка не миллионеров, а миллиардеров, а весь народ в рабстве, в неволе... Мы знаем истинную природу так называемых демократий...» Он призывал к беспощадной борьбе с бандой наглых хищников и грабителей, вторгшихся в пределы русской земли и сотнями, тысячами расстреливающих рабочих и крестьян Советской России.

Все затихло. Люди дышали его дыханием. Чувствовалось, что ни огнем, ни железом не порвать связь между ним и слушающими его людьми. Свою получасовую речь он закончил словами: «У нас один выход: победа или смерть!» Разразилась новая несмолкаемая буря. Толпа запела «Интернационал». Ленин направился к выходу в сопровождении большой группы людей, состоявшей из рабочих, моряков, красноармейцев, женщин и даже детей. В цеху и на заводском дворе за его спиной еще раздавалось пение «Интернационала». Пели все. Вечер был жаркий. Ленин вышел к автомобилю в распахнутом пальто, с черной кепкой в руке. Какая-то женщина с восторженными волосами, стиснув в зубах папироску, настойчиво проталкивалась к нему...

— Нет! — вдруг сказал Павлин, сжимая пальцами виски. — Не верю!.. Не может Ильич умереть в этот грозный час...

— Не может, — убежденно сказал Фролов, откладывая газету. Он взглянул на Павлина. — Однако ты прежде всего возьми себя в руки.

Павлин пожал плечами.

— Ты совсем как мой покойный друг Андрей Зенькович... Нет, Фролов! Сейчас нельзя не волноваться.

Фролов понимал состояние Павлина, сам волновался не меньше его и только усилием воли сдерживал себя.

— Не распускай себя, Павлин Федорович... Сегодня тысячи людей на нас смотрят. Мы должны работать, действовать, принимать решения... — говорил он. — Все это мы должны делать во имя Ленина. Никто из нас не имеет права сложить руки и предаться горю. Наши враги только этого и жаждут... Я, наоборот, от горя зверею...

Суровое лицо Фролова выражало твердую волю. Это отразилось в необыкновенном, точно застывшем выражении его глаз; обычно спокойные, серые, они приобрели сейчас жесткий, металлический оттенок. И чувствовалось, что этот человек ничего не пожалеет, и прежде всего самого себя, для успеха того дела, которому он беззаветно предан. Глядя на него, все находившиеся в избе, не исключая и самого Павлина, поняли, что среди них появился крепкий, действительно большевистский комиссар, человек, не знающий сомнения в борьбе и бесстрашно идущий навстречу любым трудностям, для которого любая опасность только временное препятствие, не больше...

— Сегодня вечером проведем совещание... Надо выяснить обстановку! — строго, тоном приказания сказал Фролов и обернулся к Павлину. — Но до совещания я хочу познакомиться с твоими людьми. С каждым отдельно...

— Сейчас мы это устроим, — ответил Павлин.

Он подозвал штабных командиров, чтобы отдать им соответствующие распоряжения.

2

День подходил к концу, в избе все время шумел и толкался народ, и Фролову никак не удавалось остаться с Павлином наедине, чтобы поговорить с ним по вопросу, касавшемуся самого комбрига. Однако необходимо было наконец выбрать подходящий момент и рассказать обо всем Виноградову.

Уже первые часы пребывания в бригаде, разговоры с бойцами, командирами и комиссарами показали Фролову, что люди беспредельно верят Павлину и думают только о том, чтобы выгнать с Двины интервентов. В то же время Фролов понял, что положение бригады чрезвычайно трудное. Начальник оперативного отдела, предупреждая его, не соврал.

Вечером, перед совещанием, Фролов сказал Виноградову, что ему необходимо поговорить с ним наедине.

— Наедине? — быстро отозвался Павлин, и по выражению его глаз Фролову стало ясно, что тот уже отчасти в курсе дела. — Пойдем на берег. Там никто нам не помешает.

Они спустились к реке. Комиссар рассказал Павлину о предписании, полученном им от Семенковского. Передавая свой разговор с Семенковским, он не скрыл от Павлина и своего личного отношения к этому делу.

— Хочешь, я передам тебе предписание, не хочешь — не надо.

— А ты о себе подумал? — усмехнувшись, спросил Павлин. — Не подчиниться — значит не выполнить военный приказ.

Фролов поморщился.

— Мне сейчас думать об этом нечего, — ответил он, поднимая воротник шинели и упрятывая руки поглубже в карманы: на берегу задувал сильный, пронизывающий ветер.

— Странно, — проговорил Павлин. — Почему он не послал мне телеграммы: сдать команду — и все?

— Значит, были свои соображения. А ты просил отпуск?

— Да что ты!.. Люди бы мне этого никогда не простили. Наоборот, я протестовал самым категорическим образом. — Павлин развел руками. — Что за человек Семенковский? Я совершенно его не знаю. Один раз повздорил с ним в Питере по поводу Юрьева. Вот и все...

— Достаточно. Он почувствовал в тебе ленинца, а вся эта бражка не с Лениным.

— Ты говоришь... Ты считаешь, что Семенковский...

— Точно я ничего не знаю. — С резким жестом еле сдерживаемого возмущения комиссар перебил Павлина. — Но я чувствую... Я вижу, что это за типы! И вообще после Бреста, когда вся эта бражка выступала

против Ленина, у меня нет к ней доверия. Понял? Вот и все. А бумажка? Ну, я взял ее, думая, может быть, ты действительно хочешь в отпуск. В конце концов я политический комиссар. Я уполномочен партией делать то, что нужно для блага армии. И я делаю это... И всю ответственность беру на себя.

Вынув из полевой сумки предписание Семенковского, он разорвал его на мелкие клочки и пустил их по ветру.

— Ты остаешься командиром бригады, — сказал он Павлину с ноткой торжественности в голосе. — И мы с тобой выполним не этот, а ленинский приказ.

— Клянусь! — взволнованно сказал Павлин. — Жизнь отдам, а выполню!

Они стояли у самой воды. Тяжелые волны разбушавшейся огромной реки подкатывались к их ногам. Низко нависло злое серое небо.

Молодые березки разбежались по береговому склону, их из стороны в сторону качало ветром, и казалось, что они машут буксирному пароходу, медленно тащившему тяжелые баржи с орудиями и боеприпасами. Чернели сваи разбитой снарядами пристани. Над шумевшей рекой с криками носились чайки. Все было сурово в этой картине, развернувшейся перед глазами комиссара и командира. Они стояли рядом, плечом к плечу, словно обретая силу в этой близости.

— Ну, пошли, — сказал Фролов.

— Спасибо тебе, — Павлин провел рукой по лбу. — Искренне благодарю тебя за доверие, товарищ комиссар, — сказал он и протянул Фролову руку.

В деревне на высоком берегу уже засветились огоньки.

Павлин и Фролов шли домой огородами. Вдруг до них донеслись звуки гармошки. Они остановились. Около избы, в которой жил Павлин, собрались бойцы. Вестовой Павлина Соколов пел, подыгрывая себе на гармошке:

Вот с фронта приходят известия,
И есть в них военный приказ
О сыне, героически погибшем
За нашу советскую власть...

Убит он английским снарядом,
Засыпан холодной землей,
Но эта могила священна:
В ней похоронен герой.

Песня эта, сложенная одним из красноармейцев, кончилась, но Соколов еще играл. Слушатели притихли. Сидевший среди бойцов старик Нестеров задумчиво следил за пальцами матроса, быстро перебиравшими клавиатуру. Наконец раздался последний перебор, мехи вздохнули беззвучно, и гармонь замолкла.

— Соколов! — крикнул Павлин. — Почему ты здесь? Вестовой вскочил:

— Только что прибыл... Повреждение линии! Ветром, что ли, провода сорвало...

— Марш к телеграфу! И не возвращайся до тех пор, пока не получишь известий!

— Есть не возвращаться! — Соколов вытянулся.

3

Подоконники в комнате Павлина были тесно заставлены горшочками с геранью. На столе горел круглый пароходный фонарь. За окнами шумел дождь. Настроение людей, сидевших в комнате, было под стать ненастной погоде. Всех мучило отсутствие известий из Москвы. Павлин то и дело посматривал на часы. «Если Соколов через полчаса не вернется, сам поеду на тот берег», — решил он.

Совещание длилось уже второй час. Обсуждение главного вопроса не вызвало никаких разногласий. Не задерживаться на красноборских рубежах, а смело идти дальше — таково было общее мнение.

Кроме Павлина и Фролова, в комнате находились Драницын, Бронников, командир морской артиллерии Жилин, артиллеристы из дивизиона, командиры и комиссары отрядов, прибывших с Балтики. Протокол совещания поручили вести Андрею. Он уселся за столом рядом с Павлином.

Фролов еще не выступал. Он только задавал вопросы тем комиссарам или командирам, которые докладывали о своих отрядах, об их готовности к бою. Одна и та же мысль ни на минуту не покидала его: «А что делается сейчас в Москве?»

Когда почти все присутствующие высказались, Фролов попросил слова.

Свою речь он начал с одобрения действий, предпринятых штабом бригады.

— С товарищем Виноградовым я уже обо всем договорился. Теперь надо договориться с вами. С коммунистами бригады. С ее командирами. Вы здесь дрались. Имеете опыт... Правильно! Но как добиться наибольших успехов? Вот что нужно сообразить! Дело касается не только техники десанта. Многие придется изменить.

Бронников и Жилин переглянулись. Фролов заметил это.

— Вы, может быть, думаете: «Новая метла чисто метет»? Нет, товарищи, разработанный вами план хорош, но требуется еще больше напора, еще больше стремительности. А ведь это как раз в духе нашего командира... — Он покосился на Павлина.

Но Павлин, облокотившись на руки и прижимая пальцы ко лбу, опустил глаза и словно ничего не слышал.

Комиссар рассказал собранию о том, что говорилось на Военном совете в Вологде по поводу предстоящих операций на Северодвинском участке фронта.

Павлин посмотрел на часы.

— Я слишком подробно? — обернувшись к нему, сказал Фролов.

— Что ты? — возразил Павлин. — Дело серьезное. Я тебя не тороплю. Соколов что-то запаздывает...

— Немыслимо действовать по-старому, — сказал комиссар, помолчав. — Нас губит бездорожье. Таскать отряды пешком по непролазной грязи!.. Куда это годится? Даже тракт, который тянется по берегу, и тот в отвратительном состоянии!.. А как быть с артиллерией?

Он умолк и обвел взглядом сидевших в комнате людей. Внимательно слушая его речь, все они в то же время с тревогой поглядывали на дверь избы. Но Соколова все не было.

Фролов вздохнул: надо продолжать.

— Скажу прямо, товарищи... Дрались вы геройски, но это не значит, что у нас в бригаде нет недостатков. Они есть, и мы должны их устранить. Возьмем, к примеру, ту же артиллерию. Каждый отряд имеет свои орудия. И — надо ему или не надо — все равно тащит их за собой. А там, где они действительно нужны до зарезу, — там их нет. Завязли в болоте или в грязи. И тут один

командир просит другого: «Дай мне твои пушки — тебе они сейчас не нужны...» На что это похоже? Торговля какая-то! Нет, товарищи, с этими порядками пора кончить. Пушек мало... Поэтому нужно организовать артиллерийскую группу самостоятельно. И довольно вооружить пушки по берегу. Надо перебрасывать их главным образом водой...

— Для дальнобойных это годится, — сказал кто-то из командиров.

— Не только для дальнобойных, — резко возразил Фролов, — но и для легкой артиллерии. Распутица! Нельзя губить орудия. Надо научиться маневрировать. Надо учитывать все особенности данной местности и действовать не с кондачка. Главное — учитывать обстановку. Жизнь, товарищи, с каждым днем предъявляет все новые требования. Мы создаем Красную Армию. С железной дисциплиной. Это будет грозная сила. Пора бросить старые привычки! «Эти пушечки мои, я их тебе не дам» — такие разговорчики придется отставить. Конечно! Мало ли что было на первых порах... Повторяю, мы создаем армию. Армию!.. Не отдельные отряды, что действовали до сих пор каждый на свой страх и риск... кто в лес, кто по дрова. Это относится, — прибавил он, — не только к артиллерии. Вся наша бригада сверху до низу должна быть проникнута железной армейской дисциплиной. Ясно? Я буду этого требовать, товарищи. И не постесняюсь крепко взыскивать с тех, кто будет мне мешать.

Большинству командиров понравилось и то, как говорил комиссар, и само содержание его речи. Многие на собственном опыте ощущали, что пришло время навести в бригаде настоящий армейский порядок. От этого зависели дальнейшие успехи в борьбе с врагом.

Почувствовав общее настроение, Фролов хлопнул рукой по столу и сказал:

— Значит, условились! Будем проводить в жизнь... Теперь дальше... По вопросу о десанте.

Он обернулся, отыскивая взглядом Драницына, сидевшего за его спиной на лавке.

— План десантных операций будет доложен бывшим вместе со мной военспецом товарищем Драницыным. Я предлагаю предоставить ему слово.

— Прошу, — коротко сказал Павлин.

Драницын встал.

— Успех десантных операций главным образом зависит от моряков и артиллеристов, — по своему обыкновению, неторопливо начал он. — Поэтому целый ряд деталей нам необходимо сейчас же обсудить с моряками и артиллеристами. План Вологодского штаба представляется мне очень простым... — Драницын улыбнулся. — Не сложнее таблицы умножения!.. Мы должны разделить наши отряды на штурмовые группы и основные силы. Штурмовые группы мы будем перебрасывать водой, иногда даже в тыл противнику, и только вслед за ними будут двигаться основные силы, поэтому...

Драницын продолжал доклад. Стараясь не помещать докладчику, Фролов на цыпочках подошел к Павлину.

— Что-то нет твоего вестового, — сказал он. — Это далеко? Телеграф-то?

— Нет, близко. — Павлин снова посмотрел на часы.

Драницын еще отвечал на вопросы, как вдруг Павлин поднял голову, прислушиваясь, и остановил его рукой.

— Соколов! — громко, с тревогой в голосе крикнул он.

Дверь распахнулась. На пороге избы появился вестовой, мокрый с головы до ног. Вода стекала с бушлата и бескозырки.

— Ну как? — шепотом, будто осекшись, спросил его Павлин.

Тут же по лицу матроса и даже по спокойному движению руки, с каким Соколов полез за пазуху и вытащил из внутреннего кармана бушлата завернутую в платок пачку телеграмм, Павлин почувствовал, что вестовой приехал с хорошими вестями.

— Жив?

— Жив, товарищ Виноградов.

Павлин с облегчением вздохнул и выхватил из рук вестового телеграфные бланки.

Через раскрытую дверь комнаты, которую хозяин называл «боковушей», видны были кухня и другая дверь, распахнутая в сени. Здесь толпились бойцы, матросы, речники. Непонятно было, когда они успели узнать о том,

что Соколов вернулся. Люди сдерживали дыхание, чтобы не пропустить ни одного слова.

Москва передала пять бюллетеней о состоянии Владимира Ильича. Огласить бюллетени было поручено Андрею.

— «Пульс 102. Наполнение хорошее. Температура 36,9. Дыхание 22. Общее состояние и самочувствие удовлетворительные. Непосредственная опасность миновала», — прочитал Андрей и четвертый бюллетень и взял последний бланк. — «Бюллетень № 5. 12 часов ночи. Спит спокойно, с короткими перерывами. Пульс 104. Дыхание 22. Температура 36,7».

Сквозь затуманившиеся стекла очков Павлин увидел людей, чудом разместившихся в кухне, увидел тонкие дрожащие пальцы Андрея, напряженный взгляд Фролова, покрывшиеся румянцем скулы Бронникова. Жилин что-то шептал своему соседу. Воробьев стоял лицом к стене и вытаскивал из кармана платок. Драницын взволнованно закуривал новую папиросу.

— «Товарищ Ленин шутит, — продолжал чтение Андрей. — На требование врача совершенно забыть о делах отвечает, что теперь не такое время...»

«Спасен... Спит спокойно... — радостно твердил про себя Павлин. — Теперь нам надо отомстить за него, как можно скорее идти в бой. Скорей, не медлить...»

О том же самом думали сейчас и комиссар, и командиры, и бойцы, и крестьяне. Деревня не спала. В избах загорались огни. Люди еще не знали подробностей, но слух о том, что Ленину стало лучше, уже обошел всю деревню.

Павлин распахнул окно. Мелкий дождь, еще недавно наводивший уныние, теперь показался ему весенним. Даже земля пахла по-весеннему.

Прямо из штаба люди направились к своим отрядам на пароходы и баржи, на катера и буксиры, в соседние деревни, чтобы передать бойцам полученное известие. Только Бронников и Драницын пошли на «Желябова»: надо было до мелочей разработать техническую сторону десантной операции. Туда же несколько позже пришли Фролов и Виноградов. Было решено завтра же с утра начать наступление, штурмовать противника и не только

не давать ему закрепляться на занятых позициях, а гнать его по крайней мере до Двинского Березника. Драницына назначили начальником штаба.

Все вышли на палубу, освещенную дрожащим светом горевших в каютах электрических ламп. Темные ночные тучи ползли с запада, застилая небо.

На лице у Павлина появилась его обычная добрая улыбка.

— «Но он решил: завтра бой...» Отлично сказано в «Полтаве».

Все рассмеялись этой шутке и разошлись по каютам, чтобы хоть немного отдохнуть и набраться сил перед завтрашним боем.

Этой же ночью в деревне собрались коммунисты из всех частей, находившихся в районе Нижней Тоймы. А вестовой Соколов, нахлобучив до бровей мокрую бескозырку, снова пробирался к левому берегу на своем маленьком челноке. Во внутреннем кармане еще не просохшего бушлата он вез текст заявления воинов Северодвинского участка, составленный Андреем Латкиным. Через полчаса телеграфисты левобережья уже отстукивали его на аппаратах Морзе.

Вот что пошло по проводам:

«Заслушав доклад о покушении на товарища Ленина и крепко сжав в руках винтовку, единогласно заявляем всему миру подлых контрреволюционеров и всем агентам мирового капитала: горе вам, поднявшим свою подлую руку на защитников трудового, рабочего класса. На ваш белый террор мы ответим красным террором. Кровь за кровь!»

Будем мстить и мстить до конца, пока не уничтожим всех врагов народа. За каждого убитого нашего борца мы уничтожим сотню представителей буржуазии и их приспешников.

Призываем всех товарищей красноармейцев тесней сомкнуть свои ряды вокруг красного знамени коммунизма, крепче сжать в руках винтовку и на вызов хищников ответить новым мощным ударом. Мы идем в наступление. Да здравствует наш дорогой и любимый Ильич! Да здравствует власть Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов! Да здравствует Красная Армия! Все в ее ряды! Все в бой!»

Погода выдалась на редкость теплая. Небо по-прежнему оставалось серым, но дождя не было, и сквозь плотную пелену туч виднелось солнце, маленькое, как гривенник.

Позавтракав, Павлин и Фролов вышли на кухню. В кухне, в сенях и на улице группами толпились командиры. Моряки на лужайке возле дома окружили Драницына, который им что-то объяснял. Они слушали и следили за его рукой, которая вычерчивала в воздухе параболу.

— При стрельбе сверху вниз пуля ложится круче и вероятность попадания снижается... Это учитель! — говорил Драницын.

Увидев командира бригады и военкома, Драницын вытянулся, щелкнул каблуками и приложил руку к бескозырке фуражки.

Он резко отличался от других командиров не только внешним видом, но и манерами.

Ответив на приветствие, Павлин с невольным любопытством оглядел его щеголеватую фигуру. Драницын был тщательно выбрит, от него даже пахло одеколоном, словно он только что побывал у парикмахера.

— С нами идете? — спросил его Павлин.

— Никак нет! С Бронниковым! — четко ответил Драницын, улыбаясь своей обычной холодно-любезной улыбкой.

— Как служит? — спросил Павлин у комиссара, когда Драницын отошел от них.

— Парень толковый... А ты что скажешь?

— Вчера он отлично выступал! Чувствуется в нем настоящая военная жилка. Но в душу к нему не влезешь.

— Посмотрим, — уклончиво сказал Фролов. — Пока что он нам полезен.

Спускаясь по дорожке к причалам, Павлин заметил в толпе матросов и пехоты моряка в одной тельняшке с желтым, как пакля, клоком волос, выбившимся из-под бескозырки. Будто почувствовав на себе взгляд Павлина, морячок вышел на дорожку и как бы нарочно загордил ее. Клеши моряка были у щиколоток перетянуты бечевкой.

— По-флотски будешь драться? — спросил морячка Павлин, останавливаясь и кладя руку ему на плечо.

— Есть, товарищ комбриг, драться по-флотски! — ответил моряк. — Товарищ комбриг... Я, извиняюсь, с протестом... Прочих с нашего батальона пускают в первую волну, а нас, обстрелянных, откатили в резерв. За что? Мы брали Борецкую...

— Да не взяли...

— Товарищ комбриг, от газов ослабевши были, сами знаете... Не будь газов...

— Э-э, дружок! А вдруг сегодня еще страшнее будет? Моряк опустил голову.

— При штурме Зимнего дворца был?

— Не пришлось, — ответил моряк. — С нашего экипажа не были вызваны.

— Аврорцев знаешь? (Морячок сделал такое движение плечами, как будто хотел сказать: «Кто же не знает «Аврору»!») Помни, что сейчас на Севере мы штурмуем капитал так же, как год тому назад в Питере.

— Так что: северная, выходит, Аврора... — Морячок взволновался. — Значится... все военморы обязаны... в первой волне... — Помолчав, он тихо прибавил: — Товарищ Виноградов, ведь мы поклялись вчера. Я обещался.

— Хорошо... Присоединяйтесь к десанту.

— Есть, товарищ комбриг!

— Как твоя фамилия, орел?

— Ротный политбоек Дерябин! — отпартовал моряк, потряхнув ленточками.

— Желаю успеха, товарищ Дерябин, — серьезно сказал Павлин, протягивая руку молодому моряку. — Сегодня взять Борецкую!

— Есть, взять Борецкую! — сказал моряк и, круто повернувшись, побежал к барже, где товарищи ждали его, переговариваясь и волнуясь.

С баржи донеслись восторженные крики.

«Даешь Двину! — услышал Павлин. — Смерть интервентам! Смерть предателям белякам!»

Как только комбриг ступил на палубу «Марата», матросы убрали сходни, отдали концы, машина заработала, и пароход медленно двинулся, уходя к фарватеру.

Отвечая на сигналы, «Марат» пошел к месту расположения плавучих батарей. Быстро взобравшись на ка-

питанский мостик, Павлин увидел стоявших рядом с командиром «Марата» Фролова и Андрея.

Серый, туманный горизонт озарила яркая вспышка. Ударил первая батарея stodвaдцaтимиллиметровых.

— Ну, ни пуха ни пера, — сказал Павлин, улыбаясь.

Через минуту небо за мысом опять сверкнуло. Новый залп, как показалось Андрею, встряхнул Двину вместе с «Маратом», другими буксирами и баржами. В шести-семи верстах отсюда уже завязался бой. Дальнобойная артиллерия поддерживала своим огнем наступающую пехоту.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Кровопролитное сражение длилось несколько дней.

За это время бригада прошла около семидесяти верст под непрерывным артиллерийским и пулеметным огнем, то и дело отражая яростные вражеские контратаки.

5 сентября передовые части бригады достигли района Чамовской. Дорога, ведущая к переправе через Вагу, соединяла Чамовскую с большим селом Усть-Важским, лежавшим на другом берегу реки. Еще до получения точных разведывательных данных Павлин понимал, что Усть-Важское представляет собой базу противника, его опорный пункт, которым необходимо овладеть.

Но люди изнемогали от усталости и нуждались хотя бы в коротком отдыхе. Бригада понесла значительные потери. Надо было принять пришедшее из Вологды пополнение, подвезти артиллерию и боеприпасы, дать людям хоть небольшую передышку. Командование приняло решение остановить бригаду на двое суток.

Весь день 6 сентября Виноградов и Фролов, пользуясь то катером, то лошадьми, объезжали отряды, стоявшие на отдыхе по берегам Двины, в районе Чамовской, Конецгорья и Кургомени. Командир и комиссар бригады считали необходимым проверить состояние войск перед штурмом Усть-Важского. Предстоял решающий бой.

Виноградов говорить не мог: у него болело горло, и Фролову пришлось выступать за двоих. Как только

командир и комиссар появлялись в том или ином отряде, тотчас сам собой возникал митинг.

Бойцы просили Фролова выступить и с напряженным вниманием вслушивались в каждое его слово.

Фролов говорил о том, что Советская Россия подобна сейчас осажденной крепости и что как бы мировой империализм ни стремился расправиться с ней, все-таки она непобедима. Непобедима потому, что каждый новый удар против нее рождает новые силы, новых героев, подымает новые слои рабочих и крестьян, готовых отдать свою жизнь за Советы.

Фролов говорил о четырех годах минувшей войны, которые показали всеми миру грабительскую политику империализма. Ссылаясь при этом на ленинское «Письмо к американским рабочим», он рассказывал о мыслях Ленина по поводу американских миллиардеров, которые нажились на войне больше всех и сделали своими данниками даже самые богатые страны. Он рассказывал и о том, как американские миллиардеры награбили сотни миллиардов долларов и что на каждом долларе видны следы грязи, тайных договоров между «союзниками».

— Товарищ Ленин называет американских миллиардеров современными рабовладельцами. И это правильно, товарищи! Они и есть рабовладельцы. Они и хотят нас сделать рабами. За этим они и вторглись на Мурман, в Архангельск и на Дальний Восток. Заодно с ними действуют и англичане, и французы, и японцы. Хищное зверье хочет превратить Советскую Россию в свою колонию.

А вы знаете, что такое американская колония? Это царство бесправия, полный произвол. В Архангельске идут сейчас массовые аресты. «Служил в советском учреждении — иди в тюрьму». На тюремном дворе — ежедневные расстрелы. К покорности хотят склонить людей смертью. Недавно был такой случай на Двине. Отряду маймаксинских рабочих удалось вырваться из Архангельска. Их барку настигли, потопили в Двине, всех потопили.

В Архангельске идут облавы, ловят на улицах матросов и без разбора, без суда, без следствия набивают ими камеры архангельской тюрьмы. Сейчас матросами наполнены подвалы Петровской таможни и Кегострова. Часть из них отправлена на Мудьюг — это каторжная

тюрьма или, вернее говоря, могила. Многих большевиков расстреляли тут же на месте. Вот что такое интервенты, их режим, товарищи. Это смерть советскому человеку. Но не бывает этому режиму на нашей земле!

Фролов говорил негромко, слабым от усталости голосом, но его спокойная, уверенная, лишенная всякой аффектации манера придавала словам какую-то особую убедительность. Когда он приводил высказывания Ленина, бойцы слушали его затаив дыхание, сдерживая кашель и стараясь не шевелиться.

— Некоторые думают, что в Америке и в Англии, мол, свобода, демократия... — продолжал Фролов. — На бумаге — да! На деле — нет! Не может быть истинной свободы там, где царствует капитал. Хороша свобода, которая заставляет своих солдат убивать свободных крестьян, свободных рабочих России! Зачем Америка и Англия пришли на берега Двины? Что они здесь забыли? Недорубленный лес, который они расхищали свыше ста лет?.. Они пришли сюда, чтобы помочь нашим буржуям и помещикам опять захватить заводы, фабрики, землю, чтобы вместе с русской буржуазией грабить рабочих и крестьян.

Когда Фролов кончил говорить, бойцы стали задавать ему вопросы. Завязывалась оживленная беседа. Тем временем Виноградов беседовал с командирами, знакомился с тем, как организован отдых бойцов, разъяснял обстановку и боевые задачи бригады.

Затем после очередного митинга они отправлялись дальше, в следующий отряд, либо на лошадях, либо ка-тером.

— Золотой у нас народ! — говорил Фролов Павлину. — Люди устали, измучились, только что вышли из боя, но меньше всего думают о себе...

В его устах это было лучшей похвалой.

До позднего вечера комбриг и военком разъезжали по отрядам.

2

Чамовская была набита пехотинцами и моряками. Бойцы отсыпались по избам и сеновалам, грелись у костров, варили в котелках картошку. Между кострами

похаживали крестьяне. Многие из них были одеты уже по-зимнему — в теплые армяки и даже полушубки.

Тихон Нестеров, румяный от холода, в драном черном зипуне, перетянута красным кушаком, стоял под окном школы среди партизан и своих старых знакомых. В школе разместились разведчики. Драницын и начальник разведки Воробьев, сидевшие за одним столом в просторном школьном помещении, слышали все, что говорилось на улице.

— Отобрали у Фролкина имущество, вот он и стал белячком, — наскакивая на Тихона, кричал старичонка в размахе с заплатами из рядна. Спереди размахай был почему-то обрезан, а сзади топырился, точно хвост, и старичок очень походил на прыгающую галку. — Зачем отобрали имущество? Не надо было брать!

— Да я бы своими руками твоего Фролкина обчистил, как липку! — кричал ему в ответ Нестеров. — Три кабака! Амбары!.. Кровососа жалеешь, Силыч. Не жалеть их, а бить надобно.

— Бороны с тремя зубьями жалко, а ведь тут три кабака... Винища-то сколько! Понять надо!

— Ты лучше слушай меня, старый пьяница, — сказал Тихон. — Я тоже пью. А еще ума не лишился.

В толпе засмеялись.

— Да нет... правда ведь! — продолжал старик. — Купечеству да кулакам не привыкать стать, они всегда американцам да англичанам в пояс кланялись. Оттого и теперь ворота раскрыли: «Пожалуйте». Дескать, вместе грабить будем... Ах, мать честная, обдерут нас, простых мужиков! По миру пустят да еще и насмеются над нами, ребята! Надругаются над отчизной нашей. Что им, жалко русского человека? Когда жалели? Продажная, бесовская у них душа! И плохо будет, коли мы не ополчимся против них всем нашим обществом...

— Верно, дедушка! — сказал молодой партизан с двухстволкой, стоявший возле Тихона Нестерова.

— Фролкин! — повторил Тихон, передразнивая старика в размахе и все еще негодуя на него, хотя тот давно молчал. — Пускай я буду сирый и нищий, пускай буду белку жрать! Все возьми от меня... А не пойду под чужое ярмо, не склонюся. Нет! Потому что я русский...

— Верно, батя, верно! — слышались голоса.

— Ах, горластый мужик! — с восхищением проговорил Воробьев, отрываясь от бумаг. — Вчера Фролов требовал от меня агитаторов... Телеграмму в Смольный послали. Вот агитатор! Чего еще?

Драницын поднял голову, но ничего не сказал и снова погрузился в чтение бумаг.

Перед ним лежали донесения разведчиков. Разведчики побывали в деревне Шидровке и говорили с ее жителем Флегонтовым. Флегонтов часто ездил в Усть-Важское.

По его рассказу Андрей Латкин писал в своем донесении: «По Усть-Важскому району орудует контрразведка союзников, прибыла она три дня тому назад, на особом пароходе. Каждую ночь расстрелы, расстреливают прямо на корме парохода. Трупы бросают в Вагу. На днях арестовали рабочего мельницы лишь за то, что нашли у него на комодке пачку старых советских газет. Арестован и расстрелян столяр Пряничников: на стене в его чулане был наклеен портрет Ленина, вырезанный из газеты. Люди исчезают среди бела дня. Пароход этот наводит страх на все местное население. Жители боятся даже подходить к берегу».

Со слов Флегонтова, разведчики также сообщали, что в Усть-Ваге ждут прихода военных судов, очевидно больших, потому что строятся особые причалы. Прочитав это, Драницын тут же на полях донесения написал: «Проверить, что за суда, разведать дополнительно, сколько пушек, каков калибр...»

Дверь отворилась, и в помещение вошли партизаны. Их привел Нестеров. Среди партизан был и Силыч, старик в размахе, с которым Тихон только что ругался на улице. Одеты они были по-разному и вооружены чем попало. Драницыну сразу бросился в глаза молодой худощавый крестьянин, который не спеша оглядывал стены школы, ее оклеенный белой бумагой потолок, затем так же медленно перевел свой взгляд на людей, сидевших у стола. За плечом у него ловко и привычно висела охотничья двухстволка.

— Откуда, товарищи? — спросил Драницын.

— С Прилук... С Борецкого общества... — слышались голоса.

Только худощавый парень с двухстволкой молчал и все еще как бы осматривался. Взгляд у него был

колючий, быстрый и жесткий. В его невысокой, поджарой фигуре чувствовалась сила. Рядом с ним стоял крестьянин лет сорока, богатырь, красавец, с большой окладистой рыжей бородой и такими же волосами, подстриженными в скобку.

— Знакомьтесь, — сказал Нестеров, легонько подталкивая рыжего бородача и молодого крестьянина к столу, будто выделяя их от прочих партизан. — Шишигин. Приятель мой. Он пушку привез!.. А этот... — Старик обернулся к пареньку. Но Драницын перебил его.

— Пушку? — удивленно спросил военспец.

— Да, — глухим басом ответил рыжебородый крестьянин, кашлянув в кулак и несмело подходя к столу... — У англичан украл... Трехдюймовая, заграничной работы. Я ее как украл, так сразу в землю зарыл.

— У меня в огороде, — сказал Силыч.

— У тебя? — усмехнулся Воробьев. — Да ты же против советской власти?

Силыч даже отступил на шаг.

— Что ты, дружок? — обиженно протянул он. — Я не против. А то, что имущество не тронь, — это справедливо. Вот у моей старухи две шубы...

Партизаны засмеялись. Покосившись на старика, застенчиво улыбнулся Шишигин. Улыбнулся и молодой крестьянин. Но взгляд, который он метнул на Силыча, ясно говорил, что он относится к этому старику с пренебрежением и не считает нужным скрывать своего чувства.

— Ну что ж, товарищи, — сказал Воробьев. — Размещайтесь пока в Чамовской. Вы к нам в разведку? — обратился он к молодому крестьянину.

Тот немного помялся, потом оглянулся и тихо сказал:

— Не совсем так... — Наклонившись к уху Воробьева, он шепнул: — Секрет имею...

— Верно, дело потайное, — добавил и Нестеров, тоже нагибаясь к начальнику разведки. Глаза Нестерова при этом добродушно и лукаво блеснули из-под нависших мохнатых бровей. — Ручаюсь за парня! Хорош ястребок... Из почтенной семьи. Дед его был мне друг закадычный. Ну и шепчись... — сказал он Воробьеву. — А я поведу мужиков на постой... солдатскими щами кормить.

...Когда партизаны, предводительствуемые стариком Нестеровым, вышли из помещения, парень живо уселся

к столу, за которым уже сидели Драницын и Воробьев. Пристально взглядевшись в каждого из них, блеснув своими острыми, как иглы, глазками, он горячо и таинственно заговорил:

— Я ведь оттуда... Через фронт перемахнул!.. Из-под Шенкурска я, житель деревни Коскары. Короче говоря, с Наум-болота, где нынче англичане и контрреволюция!.. Фамилия моя — Макин. Яков Макин.

— Крестьянин? — спросил Драницын.

— Да, — ответил парень. — Крестьянин... Старый род... С Летнего берега поморы. В эту волость перекочевали годов пять, не более... Видите, товарищи, какое дело, — продолжал он, — у нас нынче царские времена вернулись! Вам, может, это и непонятно... А мужик уже чует, к чему клонится. Вилы подымает! Ненавистно нам, молодежи, это нашествие. И пожилые к нашему мнению пристают. У меня старик отец, он мне сказал: «Благословляю тебя, Яшка. Иди с богом, не бойся. Постой, чем можешь, хотя б и жизнью, за народ. Пришли студеные, лихие времена...» Вот как мой тятя думает. И даже иконой окрестил... — Макин ухмыльнулся.

Затем он стал рассказывать, что в Шенкурск и в деревни по всей Шенкурской волости вернулись старые арендаторы, купцы, лесопромышленники, царские чиновники и полицейские, что снова подняли голову кулаки и богатеи, в руки которых опять перешли все угодья и леса.

— С цепи сорвались, паразиты бешеные, — говорил он. — Злобу вымещают!.. А я ведь немножко просвещенный человек — три класса имею, статьи читал. Меня один ссыльный еще в царское время азбуке учил... Так надо понять, что гроза пришла... — тяжело вздохнул он. — Биться надобно. А то позорно в кабалу попадем, как египетские рабы. Это факт.

Воробьев и Драницын слушали не перебивая. А Макин, будто изголодавшись по откровенному разговору, с жаром, без конца рассказывал о введенных чужеземцами порядках:

— Они еще покамест мажут медом... понятно, только богатеям по губам! А уж плеть-то над нами, над бедняками, работает... Вот намеренны у нас же в деревушке заходят в одну избу здоровые парни, с гербами

на фуражках, спрашивают: «Большак здесь есть?» А старушка отвечает: «Как же, есть». У нас большаком стариков называют. Ну, слезает этот старичок с печи, и тут же в избе солдаты его пристрелили на месте. Вот какие случаи бывают. А уж про грабежи и не говорю — обыкновенное дело. Так вот, мы не желаем, чтобы это иноплеменное нашествие укоренилось. Восстает народ, товарищи. Нет оружия!.. Что солдаты принесли с войны, зарыто было; мы теперь все собираем понемножку. Создаем партизанский отряд. И пришел я к вам, товарищи, узнать, что думает советская власть. Мы, кроме белых газеток, ничего не видим. Фальшь... Кругом лжа да фальшь нынче в наших местах. Правду хочется узнать... Что решила советская власть?

— Советская власть решила изгнать интервентов во что бы то ни стало!..

— Вот, вот! — с радостью воскликнул Макин и даже схватил начальника разведки за руки. — И я то же говорил... Да ведь сами посудите, каково нам. Что делается на свете? Ничего не знаем. Ведь мы живем как в закупоренной бутылке. Теперь вернусь, расскажу ребятам все, что здесь видел.

— Домой отсюда пойдешь? — спросил его Драницын.

— А как же? Товарищи ждут. Я не за этим пробираюсь, чтобы здесь оставаться.

— И много вас?

— Пока еще немного.

Драницын и Воробьев переглянулись.

— Знаешь что, парень, — сказал Макину Воробьев, — подожди-ка ты приезда комиссара. Тебе необходимо с ним поговорить.

Макин с охотой согласился. Отойдя в сторону, он осторожно прислонил свою двустволку к стене, сел за парту и долго сидел так, не двигаясь и опустив глаза.

Воробьев и Драницын продолжали работу. Вдруг Яков Макин поднял глаза и улыбнулся почти детской, простодушной улыбкой.

— Эх, товарищи, — сказал он, — сижу и дышу. Прямо не верится. Там ведь у нас никакого дыхания не стало.

В тот самый день, когда Виноградов и Фролов объезжали части бригады, а Драницын и Воробьев разговаривали с Макиным, к Чамовской приближался буксир. На нем ехал красный командир Валерий Сергунько.

После ухода «Марата» на Двину Сергунько затосковал. Новый начальник отряда, некто Козелков, не понравился Валерию с первого взгляда. Он стал дерзить ему. Козелков, в свою очередь, невзлюбил Сергунько, и жизнь в отряде сразу показалась юноше невыносимой. Больше всего он жаловался на то, что его «вынули из строя» и заставили обучать молодых бойцов, пришедших с пополнением. Это настолько возмутило Валерия, что он твердо решил «бежать» на Двину. Просить о переводе было бесполезно: ему, конечно, отказали бы, и он все более и более утверждался в своем дерзком замысле.

В это время на Онегу приехала Гринева, секретарь партийной организации штаба армии, находившегося в Вологде. Она совершала агитационную поездку по воинским частям. В качестве сопровождающего к ней представили Валерия.

Гриневой не было еще сорока лет, но в ее гладко зачесанных темно-каштановых волосах кое-где уже пробивались седины.

Валерий очень уважал Гриневу. В дни Октябрьского восстания она была членом большевистского комитета в Петрограде и работала с Лениным. Вначале Сергунько даже побаивался ее. В то же время ему казались удивительными ее молодая улыбка, голос, звучавший мягко и женственно, изгиб красивых бровей над сероголубыми глазами. В конце концов он решил, что эта суровая на первый взгляд женщина сможет понять обуравшие его чувства и поможет ему.

Надо было только уловить момент, не приставать с просьбами, а сделать так, чтобы его желание исполнилось как бы само собой.

Сергунько провел в разъездах вместе с Гриневой двое суток. Ей нравились вспыльчивый и смелый характер молодого питерского рабочего, юношески-непосредственная прямота его суждений.

Как-то в разговоре с Валерием Гринева упомянула о Фролове, назначенном комиссаром виноградовской

бригады, и с большой похвалой отозвалась и о комиссаре и о командире. Валерий и тут ничем не выдал себя, словно все это ни капли его не касалось, словно он ни сколько не стремился к Фролову, на Двину. Он знал, что стоит ему попроситься туда, как Гринева скажет: «Блажь... Сражаться надо там, где тебя поставили». И тогда все будет кончено.

Наступил день отъезда. Прощаясь, Гринева сказала:

— Ну, Валерий, будь счастлив. Желаю тебе боевых удач.

— Спасибо, товарищ Гринева. Только насчет счастья это вы зря. Как бы мне в трибунал не угодить...

— Почему в трибунал? — спросила она с удивлением и даже с беспокойством, потому что уже привыкла к Сергунько и считала его безупречным командиром.

Махнув рукой на всю свою дипломатию, Валерий чистосердечно рассказал ей, в чем дело.

— Сбегу я отсюда. Сами посудите: я разведчик. А меня, точно тыловую крысу, заставили обучать новобранцев. Или вот вы приехали — вас сопровождать. Тоже нашли адъютанта!

Гринева улыбнулась.

— Козелков зовет меня «фроловец». А все почему? Иногда не удержишься, скажешь: «При Павле Игнатьевиче так было или этак». Ну, а начальству это не по душе. Конечно, каждый должен воевать там, куда он направлен, — поспешно сказал Валерий. — Но могут же быть исключения. Мы же люди, а не камни... — Он опустил голову. — Сбегу я отсюда, ей-богу, сбегу!

— Ладно, — невольно улыбнувшись, сказала Гринева. — Я поговорю с Козелковым.

— Нет, нет! — испуганно возразил Валерий. — Козелков сразу поймет, что я вам пожаловался. Как бы еще хуже не было. А впрочем, — с нарочитым отчаянием в голосе сказал он, — мне все равно! Куда ни кинь, везде клин... Чувствую, что трибунала мне не миновать...

— А не хитришь, краском? — похлопав Валерия по плечу, сказала, усмехаясь, Гринева. — А что прельщает тебя на Двине? — спросила она.

— Там? Всё... Двина... Бои, а не глушь... Командиры... Виноградов, Фролов... — взволнованно ответил Валерий.

Гринева уехала, а через день в отряд пришла телеграмма: Сергунько вызывали в Вологду. Когда он явился в штаб, ему вручили направление на Двину и письмо, которое он должен был лично передать Фролову.

Все устроилось так быстро, что Валерий не смог даже повидать Гриневу и поблагодарить ее.

Вместе с ним выехала и Люба.

Это случилось неожиданно для нее самой. Получив телеграмму, Валерий начал собираться. Люба помогала ему, пекла хлеб на дорогу.

— Что пригорюнилась? Хочешь, махнем вместе? — шутил предложил ей Валерий.

Услыхав это, Люба переменялась в лице.

— А кто бумажку выправит? Ни на железку, ни на пароход с пустыми руками не сунешься.

— Эка важность! — хвастливым тоном сказал Валерий. — Со мной-то! Какие тебе бумажки?

— Господи... — прошептала Люба, от радости у нее перехватило дыхание. — Ну, бес!.. Смотри, коли обманешь, плохо тебе будет. А Козелков отпустит?

Валерий свистнул:

— На что ты ему сдалась? Да и чихать нам на него.

Не теряя ни минуты, Люба вынула из сундука свою самую дорогую вещь — пальто с круглыми буфами на плечах, которое она почему-то называла казакином, — выстирала смену белья, уложила его в торбу с хлебом, а через несколько часов уже ехала теплушкой в Вологду вместе с Валерием. Сначала она сидела на своей туго набитой торбе, точно изваяние, широко раскрыв глаза и будто не понимая, куда ее везут и что с ней будет. А потом развеселилась и к вечеру даже запела «Василечки».

Валерий теперь ругал себя за легкомыслие, но отступать было поздно. Он успокоился только тогда, когда знакомые писари из Вологодского штаба по его просьбе состряпали для Любы что-то похожее на документ. Из Вологды они приехали в Котлас, затем с грехом пополам добрались водой до Красноборска, но в Нижней Тойме Любу ссадили, так как пропуск у нее был только до Котласа. Люба долго ругалась с начальником морского патруля.

С карабином за плечом, она стояла перед неуступчивым рябым военмором и смотрела на него так, словно

готова была оттолкнуть его прочь и силой взойти на сходни. Кругом чернели бушлаты.

— Там уже бои.. — говорил Любе начальник патруля.

— А я что, гулять еду? — огрызнулась она.

— Ну, отваливай! Некогда мне! — отмахивался от нее начальник. — Документы твои до Котласа... А ты вона где! Уж в Тойме!.. Как ты к нам попала, ума не приложу!

— Духом святым!

Матросы загоготали. Валерий стоял, покусывая губы, чтобы тоже не рассмеяться. Люба посмотрела на него, он пожал плечами.

— Вот идолы! — сказала она. — Все заодно! Ну, ладно...

Началась посадка. На попутный буксирный пароход, идущий из Нижней Тоймы в Чамовскую, Любу не пустили.

Валерий уже бежал по трапу, как вдруг Люба догнала его и сунула ему в карман какую-то записку.

— Андрюшке передай, — сказала она вдогонку Валерию.

Когда пароход отчалил, Люба крикнула с берега:

— Пускай Андрюшка...

— Что? — приставляя ладонь к уху, переспросил Валерий.

Люба ответила, но пароходные гудки заглушили ее.

— Жинка твоя, краском? — спросил Валерия один из стоявших рядом с ним матросов.

— Кабы так, — ответил Валерий и загадочно улыбнулся.

— А кто же?

— Сама по себе... Попутчица.

— Попутчица... — с недоверием протянул матрос. — А у тебя губа не дура... Умеешь попутчиц выбирать!

Матросы засмеялись. Сергунько тоже посмеивался вместе с ними. Он не особенно жалел о том, что Люба отстала. Ему легче было добираться без нее. Он уже начал опасаться, как бы и его, чего доброго, не задержали в пути. Только добравшись до Чамовской, Валерий окончательно успокоился.

Но ни в самой Чамовской, ни на пароходе «Желябов» не оказалось никого из тех, кто был ему нужен. Фролов еще не вернулся. Старик Нестеров куда-то ушел с партизанами. Андрей Латкин, по словам вахтенного

матроса, должен был появиться здесь к вечеру. Валерий решил остаться на «Желябове» и дожждаться хотя бы Андрея.

«Стоило похлопотать и помучиться», — думал Валерий, оглядываясь по сторонам. Все нравилось ему здесь, на реке: и пароходные гудки, и лодки, бороздящие воду, и свежий ветер, и широкий простор.

Привольно раскинулась Двина. Багряная мгла стояла над ее широкой поймой. С парохода, подошедшего вслед за буксиром, высаживались матросы. Часовые с винтовками дежурили возле боевых грузов. Берег кишел бойцами. Слышались крики, смех. Катер, хлопотливо треща, нырял по волнам. Все было полно жизни. И Валерий думал, что недаром его так тянуло сюда, на Двину...

За эти несколько дней поездки он полюбил и скромную прелесть ее прозрачных закатов, и суровую красоту пустынных, однообразных берегов, и ширь, и протяженность, как в русской северной песне, и величавую плавность течения, и бешеную волну, когда ветер словно взбунтует могучие, тяжелые воды Двины. В эти минуты Валерию казалось, что воздух начинает пахнуть морем.

Да, ветер!.. Вот что особенно нравилось Валерию здесь... Ветер, как на Неве.

Еще мальчишкой он бегал купаться на побережье Финского залива, на отмели за Путиловским заводом и на Петровский остров. Сейчас все эти детские и юношеские воспоминания переплетались с тем волнением, которое охватывало его при мысли, что он скоро увидит Фролова и Андрея.

Вахтенный матрос рассказал Валерию, что в ближайшее время ожидается штурм Ваги.

«Хорошо, что я поспел к самому делу», — с радостью думал Валерий.

На «Желябове» у большого медного бака, к которому матросы ходили за кипятком, Валерий почти нос к носу столкнулся с Андреем. В темном коридорчике между стенкой камбуза и железным кожухом машины стоял боец. Он старательно ополаскивал чайник, выливая горячую воду на железную палубу. В темноте Валерию была видна только спина этого бойца.

— Ну, скоро ты, рохля? — нетерпеливо сказал ему Валерий.

Боец обернулся и вскрикнул:

— Господи, Валька!

— Да кран закрой, черт! — крикнул Валерий, сразу узнав Андрея.

Андрей быстро завернул кран. Друзья расцеловались.

— А теперь пойдем, — сказал Валерий. — Тебя ждет еще один сюрприз...

— Сюрприз? Какой сюрприз?..

— Увидишь! — ухмыльнулся Сергунько.

Он передал Андрею письмо от Любы.

«Андрюшка свет ясно солнышко, — не признавая ни точек, ни запятых, писала Люба, — поклон низкий как ты поживаешь и твое здоровье я добравшись слава богу только идола мешают вспоминая часто я за родину иду не взыщи что сюда Козелков баб не берет говорит приказ есть на Онеге не зачислять хотя какое зачисление корку хлеба да винтовку. Что надобно мне я свет мой в Ческом отряде была но винтовку уходя отобрала в Котласе у матроса карабин выгодно сменяла на масла большой катыш но его надобно чинить теперь имею оружие. Поди батя будет ругаться корову продала ты скажи. Целую золотого скоро увидимся накорябала не разберешь Любовь Ивановна Нестерова...»

Андрей прочел письмо, и румянец выступил у него на щеках. Он понял все: и то, что Люба помнит его и по-прежнему любит, и то, что она хочет сражаться бок о бок с ним, и то, что непременно доберется до него, чего бы это ей ни стоило... Он чувствовал на себе лукавый взгляд Валерия и краснел все больше и больше.

— Ну, «Исайя ликуй...» Разобрался? — наконец спросил его Валерий.

— Как же Люба в отряд попала? — в свою очередь, спросил Андрей.

— Лиха беда — начало, — ответил Сергунько, — притащила бойцам в окопы ведро молока... Под пулями шла. Ну, тут Бабакина стукнуло, помнишь такого? Она живо пристроилась к его винтовочке. Стреляет как черт... А Козелков зачислять ее не захотел... Вот она и увязалась за мной... Характер-то чумовой!

Валерий, смеясь, стал рассказывать про свою поездку, но Андрей думал о Любе. Он видел ее дерзкие глаза, ее усмешку... Ему хотелось, чтобы она сейчас же, сию минуту оказалась здесь, но в то же время чувство какой-то неловкости овладевало им. Как бы люди не подумали, что Любка едет сюда только из любви к нему...

Спрятав письмо, Андрей перевел разговор на другие темы. Валерий с интересом слушал его о Фролове, о жестоких боях на реке, о решительных мерах комиссара, о комбриге Виноградове, который всегда появляется на самых опасных участках, о том, как любят его бойцы и как называют просто Павлином или «нашим Павлином».

— Вообще атмосфера у нас хорошая, — сказал он. — Боевая, дружная.

Увлеченные разговором, Андрей и Валерий не заметили, как к ним подошел старик Нестеров. От дождей у него «разыгралась ревматизма». Поэтому он ходил в мягких бахилах. Ветер взвивал его седые кудри. Сухой, высокий, еще более похудевший за этот месяц, он стоял, молча глядя на Валерия.

— Здорово, бес! — сказал старик, когда Валерий оглянулся.

— Тихон Васильевич!

— Погоди-ка...

Старик быстро спустился в камбуз и вернулся с чашкой браги и селедкой. Угостив Валерия, как полагалось по обычаю, он вежливо осведомился, какова была дорога.

Валерию пришлось повторить свой длинный рассказ.

Тихон терпеливо ждал, когда наконец Валерий говорит о Любе. Узнав о том, что Люба покинула родной дом, старик ничем не выдал своего волнения, только мохнатые брови его шевелились. Дослушав рассказ Валерия до конца, он перекрестился и пробормотал:

— Да будет воля твоя... Разве судьбу уделаешь! Ах, чертовка!

Лицо его осветила широкая улыбка.

— Вызвольте ее, ребята, надобно...

— Не таковская, Тихон Васильевич... Сама доберется! — ответил ему Валерий.

Фролов и Павлин приехали в Чамовскую вечером. Павлин ушел в свою каюту, а комиссар направился в салон, стены которого почти сплошь были заклеены плакатами и воззваниями.

По дороге его остановил вахтенный:

— Вас, товарищ комиссар, какой-то краском ищет...

— Какой краском?

— Не знаю. Из Вологды, что ли...

— Ладно. Пусть подождет.

В салоне за длинным овальным столом сидела машинистка. Перед ней стояли две машинки: одна с русским, другая с латинским шрифтом.

Листовки, предназначенные для белых солдат, были готовы. Они лежали стопкой на краешке стола. Предлагая белым солдатам сдаваться, командование бригады обещало им жизнь и свободу.

С листовками, предназначенными для англичан и американцев, дело обстояло сложнее. Трудно было говорить о пролетарской солидарности и сознательности, обращаясь к солдатам экспедиционного корпуса.

Фролов, конечно, понимал, что среди английских и американских солдат имеются самые различные люди. Наряду с авантюристами, проходимцами и прямыми врагами революции в экспедиционном корпусе есть и такие, которые попали в Россию поневоле, в силу тех или иных обстоятельств. Именно к ним комиссар и обращался. Он твердо помнил письмо Ленина к американским рабочим.

Фролов едва успел войти в салон, как машинистка торопливо сказала ему:

— Последняя фраза была: «Долой эту бойню, затеянную империалистами...»

— Да, да, — пробормотал Фролов. Он прошелся по салону и остановился возле стола. — Пишите так: «Солдаты Америки и Британии... — Комиссар диктовал по-английски. — Вас прислали сюда для расправы, как некогда царь посылал казаков против революции и против народа. Разве вы хотите стать жандармами свободы?..»

Дверь приоткрылась, и в салон вошел вахтенный матрос.

— К вам, товарищ комиссар, — доложил он. — Опять тот самый краском.

— Ну, что делать... Давай его сюда, — раздосадованно сказал Фролов.

Матрос вышел. Машинистка, посмотрев на дверь, увидела командира в потертой кожанке и с маузером на боку.

В ту же сторону взглянул и комиссар.

— Ты?! — удивленно воскликнул он.

— Так точно, товарищ комиссар, собственной персоной! — громко, на весь салон отрапортовал Валерий.

Фролов подошел к Валерию. Кубанка, которую он сейчас носил вместо морской фуражки, изменила его лицо, и оно показалось Валерию каким-то незнакомым. Они обнялись.

Усадив Валерия на кожаный диванчик, Фролов попросил его подождать.

Когда листовка была составлена и машинистка ушла, комиссар сказал Валерию:

— Ну, теперь рассказывай свою историю...

Фролов слушал внимательно, улыбался, а иногда и хохотал. Сергунько все рассказывал в лицах, забавно изображая и себя и Козелкова. Особенно смешно представил он, как Козелков удивился, получив из штаба телеграмму о переводе Сергунько на Двину. Порадовало Фролова, что, по словам Валерия, его помнили в отряде. Но жизнь в Ческой теперь казалась комиссару очень далекой. А ведь прошел всего только месяц.

— Я рад, Валерий, что ты приехал, — дружески сказал комиссар. — Наладишь у нас полевую разведку. А в штабе армии был? Гринеvu видел?

Валерий хлопнул себя по лбу.

— Да ведь вам письмо...

И подал комиссару толстый пакет.

Фролов изменился в лице:

— От Гриневой?

Он нетерпеливо разорвал простую газетную бумагу, в которую было запечатано письмо. Некоторое время он читал молча. Глаза его успокоились и повеселели.

— Поди к Андрею! — сказал он Сергунько. — Мне сейчас некогда... Я должен показать письмо комбригу. — Он быстро вышел из салона.

Валерий с недоумением поглядел ему вслед.

Письмо члена Военного совета армии Гриневой начиналось сообщением о здоровье Ленина.

«Спешу вас порадовать, — писала она, — теперь уже можно сказать определенно, что всякая опасность миновала. Скоро Ильич приступит к работе. Скоро мы услышим его голос. Какое это счастье не только для нас, но и для всего пролетарского, рабочего мира!»

В конце письма Гринева писала, что собирается приехать на Северную Двину:

«Не думайте, товарищ Фролов, что для ревизии или чего-нибудь в этом роде. Я верю в пролетарский дух виноградовских отрядов, а также в Ваше упорство, которое вызывает во мне только доверие. Вашу докладную записку я получила и поняла, как было бы плохо, если бы Виноградова не оказалось на Двине. Виноградов сделал огромное дело — остановил интервентов на подступах к Котласу в самый опасный момент, когда мы были слабы и почти беззащитны... Снимать его было бы преступлением... С Семенковским увидеться я не смогла, так как он отбыл на позиции. С Ольхиным говорила. В ближайшие дни все будет исправлено. Я прошу Вас передать это товарищу Виноградову... Он остается командиром бригады».

5

— Совещаться-то когда будем? — спросил Павлина вестовой Соколов, убирая пустой бачок из-под щей и тарелку с остатками пшенной каши. Павлин только что пообедал.

— Скоро начнут собираться, — ответил комбриг.

В кают-компании должно было состояться совещание, посвященное штурму Усть-Важского.

Павлин рассматривал чертеж, изображающий тот участок Северной Двины и реки Ваги, на котором должно было разыгаться сражение. Драницын, подготовивший этот чертеж, показал на нем секторы артиллерийского обстрела, точки сопротивления противника, направления всех основных ударов. Это был как бы прообраз будущего боя, воплощенный на небольшом листе голубоватой кальки.

Павлин смотрел на чертеж, и вместо секторов обстрела перед ним возникали действующие батареи, вме-

сто красных стрелок — войсковые группы, вместо заштрихованных квадратиков — селения и погосты, вместо точек и крестиков — мельницы, кирпичные здания, церкви, колокольни. Он видел живую картину предстоящего боя... Широкий плес реки, ее острова, глубины, мели, ее осенние волны, ветер, маневры канонерок-буксиров, скопление людей, бегущих или стоящих под огнем, разрывы снарядов, дым, скользкие или осыпающиеся берега, пылающие деревни, сожженный лес, разбитые избы и повсюду грязь после дождя, грязь и вода под ногами идущей в атаку пехоты.

Диваны кают-компаний были завалены пулеметными лентами. В углу, на охапке соломы, прижавшись к стене, дремал вестовой Соколов. Его карабин лежал под боком. Все эти дни Соколов, точно тень, следовал за Павлином, не покидая его ни на минуту. Он был вместе с ним и днем и ночью, на суше и на воде.

Иногда Павлин говорил ему:

— Дружок, пойдика отдохни.

Соколов смотрел на Павлина преданными глазами и молча исчезал. Но стоило Павлину оглянуться, как он замечал вестового, который стоял где-нибудь неподалеку от него.

Дверь распахнулась и в кают-компанию, точно мальчик, стремительно вошел Фролов.

Это было так неожиданно и так непохоже на комиссара, что Соколов, почуввав что-то необычайное, сразу вскочил и по привычке к тревогам схватился за оружие.

— На, читай! — крикнул Фролов, протягивая Павлину письмо Гриневой.

Хотя Виноградов в разговорах с комиссаром никогда не возвращался к пресловутой истории со штурвальным Микешинным, однако Фролов чувствовал, что командир бригады помнит о ней и временами нервничает.

Из Вологды до сих пор не было ни слуху ни духу. Кто же Павлин: комбриг или не комбриг?

Теперь комиссар был счастлив, что в конце концов недоразумение выяснилось.

— Ленин скоро приступит к работе! — восторженно сказал Павлин, отрываясь от письма.

— Сведения о здоровье Ильича надо сегодня же распространить по всей бригаде, — отозвался Фролов. —

А также и все то, что Гринева пишет о Царицынском фронте.

— Да, непременно.

Дочитав письмо до конца, Павлин опустился в кресло и задумался.

Его молчание удивило Фролова.

— О чем ты думаешь? — спросил комиссар.

— Я должен радоваться... И я, конечно, рад... Искренне рад! Ведь это — мнение партии! Но господин Семеновский...

— Предоставь это партии, — прервал его Фролов. — Она решит вопрос о господине Семеновском. Помани мое слово!

— А народ-то звать? — вдруг услышали они оба голос вестового.

Павлин рассмеялся:

— Давай скорее... Спасибо, что напомнил!

Комиссар начал совещание с письма Гриневой. Все собравшиеся внимательно выслушали его, и, когда комиссар сообщил, что выдержки из этого письма, относящиеся к Ленину, будут доведены до сведения всей бригады, Воробьев сказал:

— Правильно... Это вдохновит народ перед боем!

Затем слово для сообщения о предстоящем штурме Усть-Важского было предоставлено Павлину Виноградову. План штурма был уже разработан, и его знали все командиры.

По оперативной линии также почти все подготовили, поэтому совещание оказалось коротким.

Было решено дать еще сутки на дополнительный сбор разведывательных данных, а штурм начать в воскресенье, 8 сентября. Разведку решили отправить сегодня ночью. Час штурма точно еще не был намечен. Это зависело от погоды. Так или иначе, штурм предполагалось начать после полудня.

Всю ответственность за артиллерию возложили на Драницына и Жилина. Бронникову было поручено поддерживать действия пехоты по берегам Двины. С десантом на левый берег шел Воробьев. Действиями на правом берегу взялся руководить комиссар. Павлин брал

на себя форсирование Ваги и занятие селения Усть-Важского. Штурм предполагали начать из деревни Шидровки.

Когда все вопросы были решены, Драницын вдруг встал и вытянулся.

— В чем дело? — спросил его Павлин.

— Разрешите мне ехать на Вагу! Вместе с вами...

— Тебе? Начальнику штаба?

— Да... это вопреки положению. Но я могу быть там полезным... на первом этапе боя...

— Опасном, ты хочешь сказать? Тем более... Нет, друг... Невозможно! — улыбаясь, проговорил Павлин.

Комиссар поднялся из-за стола.

— Соколов! — крикнул Павлин. — Пора червячка заморить. Что-то у меня аппетит разыгрался...

После получения письма от Гриневой на душе у Павлина стало спокойно и светло. Настроение командира бригады невольно передавалось всем окружающим.

— Слушай, — будто вспомнив что-то, обратился Павлин к Фролову. — Мне хотелось бы познакомиться с твоей молодежью... Этот краском, который сегодня приехал! И твой адъютант, Латкин, кажется?

— Они скоро уходят в разведку.

— Ну и прекрасно! А сейчас пусть поужинают с нами...

Комиссар позвонил связного:

— Разыщи краскома Сергунько и разведчика Латкина. Чтобы немедленно явились.

6

Вестовой Соколов принес большую дымящуюся сковородку с мясными консервами, поставил на стол кувшин деревенской браги. Под общее громкое «ура» Фролов провозгласил тост за здоровье Ленина. Потом пили чай из брусничного листа с таблетками сахара.

— Брусничку-то собственноручно собрал, — доложил Соколов.

Тут же, не вставая из-за стола, стали петь песни «Из страны, страны далекой», «Варшавянку»...

Павлина заставили спеть одного. Он любил песни и запел старинное гдовское величание:

Не конь ходил по берегу,
Не вороненький по крутому,
Конь головушкой помахивал,
Золотой уздой потряхивал.
Все колечки бряк-бряк,
Все серебряны бряк-бряк!

Подбежала тут и девица,
Девица красная, Ольга Владимировна...

Павлин пел и смеялся. В эту минуту ему казалось, что он не в каюте, не на «Желябове», а в родном селе, в избе у бабки и деда. Изба теплая, воздух в ней пахнет хлебом. Он, еще совсем молодой парень, приехал с питецкого завода на побывку. Ночь под праздник. Рождество, что ли... Шумит большое торговое село Заянье с тремя церквами, лавками и ярко освещенными кабаками. Улицы покрыты чистым, голубоватым снегом. Постреливают от мороза кружевные заиндевелые деревья. Он сидит в избе, девушки поют величание. Тут же будущая его невеста, тогда еще совсем маленькая девочка Олюшка.

Появление Валерия и Андрея отвлекло Павлина от воспоминаний.

— В разведку, друзья, идете? — обратился он к ним. — Хорошее дело! Ну, садитесь. Налей-ка им по стаканчику.

Он усадил молодых людей рядом с собой.

В каюте было дымно от махорки и очень шумно.

Бронников и Жилин сидели рядом на койке. Бронников, обычно замкнутый, малообщительный и молчаливый, сегодня разговорился и всех горячо убеждал в том, что русский флот должен быть самым сильным в мире.

— Это не мечта, а необходимость. — Мы морское государство... Обилие морских границ: нам надо быть морской страной... И это будет, товарищи! Мы будем строить, строить, строить... Базы, корабли! Порты, крепости!

Чернобородый Жилин глядел на него сияющими глазами.

Валерий, не спуская глаз, смотрел на командира бригады. Оттого что он сидел рядом с Виноградовым, к которому так мечтал попасть, им внезапно овладело смущение. Он не мог выдать из себя ни слова. Это

было так непривычно ему самому, что он с каждой минутой смущался все больше. Попытавшись что-то сказать, Валерий запутался и мучительно покраснел. Павлин улыбнулся и дружески похлопал его по плечу. Тогда, обозлившись на себя, Валерий отошел в сторону.

Павлин обратился к Андрею:

— Я слышал, что ты математик... Мне Павел Игнатьевич говорил! Только что-то непохоже! Я скорей бы подумал, что ты изучаешь словесные или исторические науки! Или пишешь стихи. Да, именно стихи!

— Высшая математика, товарищ Виноградов, это и поэзия... Да еще какая!

— Вот как! А мне математика всегда казалась сухой наукой.

— Это неверно! — пылко воскликнул Андрей. — Чтобы стать подлинным математиком, необходимо быть поэтом... Вот академик Чебышев... Какой страстный, поэтический характер! А Софья Ковалевская? Ее даже называют «принцессой науки». Настоящему математику необходимы и темперамент и фантазия. Математика и поэзия — родные сестры.

В каждой интонации Андрея Павлин чувствовал ту же пылкую юность, которую он так любил в недавно погибшем Иване Черкизове.

Увлечшись разговором, они не заметили, что остались одни. В кают-компании не было никого, кроме Андрея и Павлина.

— Скажи, Андрей, — спросил Павлин, — зачем ты пошел в Красную Армию?

— Я не в армию пошел, а в революцию.

— Понятно... Но объясни, почему?

— Долго говорить. Вкратце?.. — Андрей задумался. — Ну, вкратце: была та война. Меня не взяли: забракован был. Товарищи ушли. Народу все-таки пришлось воевать. Воевал народ. Большевики тогда за поражение были. А мне хотелось на войну... Я честно говорю...

— Конечно... Иначе и не стоит.

— Мне хотелось идти не для победы царского режима. Не за царя! Нет! Мне просто думалось: если народ страдает, почему я хожу по Невскому проспекту? Я хотел идти на фронт. Это было тогда. А теперь было бы просто дико не пойти. Наступила самая грандиозная

в мире, действительно великая революция... Я не мог быть от нее в стороне. Не мог! И не хотел!

— Наука для революции тоже необходима, — задумчиво сказал Павлин. — Ты занимался в университете прошлой зимой?

— Занимался.

— Чем?

— Некоторыми работами по математике в связи с баллистикой... Ну и, конечно, моими любимыми дифференциальными уравнениями. Но чувствовал я себя ужасно. Места не находил. Не из-за голода, конечно...

— Из-за чего же?

— Человек не может быть счастлив в одиночку. А я был одинок. Как бесконечно малая величина среди миллионов. Да еще такая бесконечно малая, которая никак не связана с бесконечно большими событиями...

— Так... Понятно... — Павлин взглянул на Латкина. — А ты не думал о том, что надо строить новый университет, советский? Кто будет его строить?

— Да, строить надо, — тихо сказал Андрей. — Но это уже будет потом. А сейчас... — Андрей встал и посмотрел на часы. — А сейчас мне пора идти... Скоро в разведку. Сейчас надо драться, чтобы потом строить новый, советский университет. Разрешите идти?

Павлин подошел к Андрею и, притянув к себе, крепко сжал его узкие плечи.

— Иди. Только будь осторожен, — сказал он совсем по-отечески.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Андрея и Валерия провожали в разведку темной ночью. Вместе с ними в качестве проводника отправлялся Тихон Нестеров. Старик запряг лошадей и ждал разведчиков возле школы.

Впереди всех шагал Андрей. За ним шли Виноградов с Валерием и Фролов с начальником разведки Воробьевым. Воробьев нес фонарь.

— Все надо предусмотреть... Понимаешь, Валерий? — говорил комбриг. — Я затем тебя и посылаю, чтобы ты

предварительно ознакомился с местностью. Завтра уже будет некогда. Чтобы все было обеспечено, понял? Чтобы потом на ходу ничего не решать.

Догнав Латкина, Фролов спросил его о листовках.

— Здесь, в сапогах, — сказал Андрей, похлопав себя по голенищам.

— Передай Флегонтову, чтобы не мариновал... Чтоб сегодня же ночью распространил. Через надежных людей... Понятно?

— Понятно.

— Без точных сведений об артиллерии противника не возвращайтесь. Если надо будет, задержитесь, но сведения достаньте.

— Ясно, товарищ комиссар.

Они подошли к школе, возле которой стояла телега. Тут же маячили фигуры трех стрелков, которые должны были сопровождать разведчиков.

— Товарищ Нестеров? — сказал Павлин, увидев Тихона и протягивая ему руку. — Ну, как вам, не тяжело с нами?

— Да чего там... — пробормотал старик. — Работать, товарищ Виноградов, потруднее. Что я? Гуляю, слава богу.

— Воробьев с тобой говорил? — спросил Тихона Фролов. — Знаешь, как держаться в случае чего?

— Знаю, Игнатъич, знаю... Да кто меня, старика, тронет?

— Как там, на нашем берегу Ваги? — спросил разведчиков Павлин. — Англичане, судя по всему, еще не показывались?

— Нет, берег чистый, — ответил Андрей. — Даже белые не заходят. Ну, местные, конечно, шляются взад-вперед.

— Шастают! — прибавил старик

— Можете отправляться, — сказал Фролов. — Ждем вас к утру.

— Раньше будем! — отозвался Андрей.

— Тыфу, тыфу, тыфу!.. — трижды отплюнул старик. — Неизвестно, когда будем...

Разведчики засмеялись. Хотя они и не верили в приметы, но прощаться все-таки не стали. Они как бы не придавали своей поездке особого значения.

— Не прощайся и ничего не говори, дабы бес не узнал, — еще с вечера поучал их Тихон. — Бес стоит у левого плеча. Все подслушивает, язык понимает и все коверкает наоборот... Так что, ребята, говорить надобно туманно.

Разведчики и стрелки посмеялись над его словами, но сейчас вели себя именно так, как он требовал. Не прощаясь с Павлином и Фроловым, они уселись на телегу. Возница махнул кнутом, и лошади тронулись.

В деревне было тихо. Чернели заборы, избы, плетни, березы, силуэты часовых. Едва курились костры на берегу. У костров, прикорнув один к другому, спали бойцы.

Сидя на ободке телеги, Валерий рассказывал своим спутникам онежские новости. Тут были и жаркие схватки с неприятельскими патрулями, и бегство кулака Мелосеева, и многое другое. Но Тихона больше всего интересовало, как Люба вступила в отряд. Валерий уже давно рассказал все, что знал, но старику хотелось все новых и новых подробностей.

— Ты понимаешь, она какая! — сказал Тихон Валерию. — Любка все может... Пулю может заговорить... Не веришь? Ей-богу.

Андрей рассеянно прислушивался к болтовне старика и думал о своем. В том, что произошло с Любой, он не видел ничего неожиданного. Это было очень похоже на нее и теперь казалось Андрею совершенно естественным. «Неужели я никогда больше не увижу ее? Неужели ее не пропустят сюда?» — думал Андрей.

Валерий принялся рассказывать анекдоты. Бойцы дружно хохотали, а вместе с ними невольно улыбался и Андрей.

Время пролетело незаметно. Часа через два разведчики были уже недалеко от реки Ваги и деревни Шидровки.

Тихон остановил телегу на перекрестке двух троп под большой елкой. В конце одной из них виднелась маленькая черная избушка. Андрей показал ее Валерию.

— Видишь?

— Вижу.

— Вот и приходи туда! Там нас ждет Флегонтов. А этим осинником, — Андрей обернулся, — выйдешь пря-

мо на Вагу. Воробьев считает эти места самыми подходящими для переправы. Посмотри.

— Сколько отсюда до Ваги?

— Несколько минут ходу. Особенно не задерживайся. Мы тебя будем ждать!

— Почему винтовку не берешь?

— Зачем? Мы люди мирные, — с усмешкой проговорил Андрей.

— А где Шидровка?

— Там... — Андрей махнул рукой в сторону избушки. — Полверсты отсюда, не больше... Как раз за избушкой.

— Ну, всего! — сказал Валерий.

— Всего... — ответил Андрей.

Сергунько вместе с двумя бойцами скрылся в кустарнике. Возница, оставшийся с третьим бойцом, спрятал телегу за елками.

Старик и Андрей зашагали к избушке. Веточки брусники похрустывали у них под ногами.

2

Когда Андрей и Нестеров подошли к избушке, за черным квадратом ее окна трудно было что-нибудь различить. Они постояли, постучали по наличнику оконной рамы, переглянулись. В избушке все было тихо.

— Зайдем? — сказал Тихон. — Никого не видеть.

Так они попали в засаду.

В избушке сидели трое иностранных солдат и двое офицеров.

Вся эта банда ввалилась к Флегонтову только полчаса назад. Особенно свирепствовал пожилой офицер в желтом кожаном пальто, такой же фуражке и крагах. Он с кулаками насакивал на Флегонтова, но тот упорно отрицал все, в чем его обвиняли.

— Что ты врешь?! — угрожал человек в крагах. — Все равно тебе не удастся вывернуться. Нам все известно! Ты путаешься с красными.

— Если известно, так чего же вы, господин, шипите? Ни с кем я не путаюсь, разве с бабами, — спокойно проговорил Флегонтов. — А если вам известно, что я лесным приказчиком работаю у Истомина, так вы должны

соображать, что мне приходится встречаться с разной публикой. И с красными и с белыми... Вы о ком думаете? Скажите. Я вам отвечу. Какой мне расчет скрывать?

— Ну, ладно... Молчи, сволочь! Но уж только молчи!.. — с яростью шептал человек в крагах. — Не вздумай предупреждать, если кто-нибудь к избе подойдет. Убью на месте. Понял?

— Понял, — все так же спокойно ответил Флегонтов. — Извольте, ваша воля... Буду молчать. Сесть-то можно на лавочку?

— Садись... Только не к окну. Не к окну, сволочь! — опять закричал человек в крагах и что-то сказал солдату по-английски. Тот взял Флегонтова за плечи и отвел к печке. Оба они уселись на лавку.

Когда на улице послышались шаги, все в избе притаились. Два солдата на цыпочках вышли в сени. Третий солдат, сидевший рядом с Флегонтовым, схватил его за руку. Скрипнула половица. Из сеней донесся крик, затем послышалась глухая борьба. В руках офицера вспыхнул электрический фонарик. Дверь распахнулась — и солдаты втокнули в избу Андрея, а за ним Тихона. Человек в крагах сразу накинулся на них с вопросами: кто такие, как зовут, зачем сюда пришли?

Андрей понимал, что необходимо протянуть какие-нибудь четверть часа до прихода Валерия. Он молча посмотрел на Флегонтова. Тот сидел, вытянувшись, и тоже смотрел на Андрея, и Андрею показалось, что обычно тусклые глаза этого высокого худого мужика странно сверкают. «Неужели выдал? Не может быть! Ведь мы с ним так точно обо всем условились! Все равно, я буду держаться, пока возможно...»

— Вас интересует, кто я такой? — беспечным тоном сказал Андрей. — Пожалуйста. Я петроградский студент, бежавший от большевиков. Вот мои документы! Видите, студенческий билет... (Человек в крагах увидел фотографию на билете, потом перевел взгляд на Андрея). Вот советское удостоверение, — Андрей подал бумажку.

— Здесь написано, — сказал человек в крагах, — что вы направляетесь на «Марат». Это бумажка из Котласа?

— Да... Видите, печать порта. «Марат» — обслуживающее судно, — объяснил Андрей. — Чтобы проехать,

я решил временно поступить на службу к большевикам. Ведь пассажиров не берут. А из Чамовской я решил перейти фронт, да не знал, где... Леса не знал. Вот и решил с ним пойти, — Андрей кивнул на Тихона.

— Ты откуда? Местный? — спросил старика человек в крагах.

— Онежский я, — смело ответил Тихон.

— Откуда же ты знаешь здешние места?

— Слава богу, поработали на Ваге. Меня и здесь знают. Назовите кому Нестерова... Давайте на очную ставку, не отказываюсь. В Усть-Важском были знакомые. Назвать, кто?

— Ладно, потом... Из какого же расчета ты повел его?

— А я без корысти! Для бога. Задумал парень бежать в Архангельск, и у меня было такое намерение. Вдвоем, от и ладно. Я бобыль. Мне с коммунистами не ребят крестить. Ушел. Ну их к бесу!

— Документы?

— А нет ничего. — Тихон развел руками. — Я у большевиков грузчиком работал. Без бумаг... Ничего мне не давали.

— Старые документы есть?

— Какие старые? Не было у нас такой моды. Выбирал пачпорт еще до революции, когда на заработок в Питер ходил. Да потерял. Вы, господин, не сомневайтесь, я правду говорю. В Усть-Важском можете старика Фролкина спросить, знает ли он Тихона Нестерова. Молодой-то меня не знает. А старик помнит... Говорю, хоть на очную ставку!

— Если врешь, старая скотина, плохо будет! — угрожающе сказал человек в крагах.

— Истинная правда, как перед богом... — ответил старик.

Он говорил таким простым, искренним тоном, что трудно было ему не поверить.

— Где жительствовавал?

— На Онеге... В Ческой... все правда, крест готов целовать.

— А ты знаешь их? — обратился человек в крагах к Флегонтову, указывая на Андрея и Тихона.

— Первый раз вижу.

Флегонтов отвечал так же смело, как Тихон, глаза у него дерзко поблескивали.

Андрей подумал о том, что скоро сюда явится Валерий с бойцами. Свалки не миновать. Но страха не было. «Если нас уведут до того, как налетит Валек, значит, прости-прощай, — думал Андрей. — Увезут в Усть-Важское, потом сплавят в Архангельск. Посадят в тюрьму. А может, выкрутимся? Ничего компрометирующего нет. Хорошо, что оружия с собой не взяли... А листовки? — вдруг вспомнил он и сразу почувствовал, как по спине пробежал озноб. — Когда будут обыскивать, непременно найдут. Но я ничего не скажу. Пусть мучают, как хотят».

— Так, так... — ухмыляясь, проговорил человек в крагах и взглянул на Тихона. — А и хитрый же ты, старый черт! Почему же вы оба зашли именно сюда, в эту избушку?

— Открыто идем, господин. Чего нам бояться, когда совесть чиста, — ответил Нестеров. — Заночевать хотели. Страннику везде дом, где крыша. От все. Не думали, не гадали, что из одной геенны огненной в другую попадем. Своя своих не познаша. Правду говорю, не в обиду. Побожиться могу.

— Свяжите им руки! — приказал офицер.

Андрею и Тихону скрутили руки за спину и крепко связали. К Андрею подошел солдат. Человек в крагах сказал ему:

— Мы на челноке перевезем сейчас старика. А вы поезжайте на лодке.

Он сделал знак в сторону Андрея и Флегонтова. Солдат, сидевший на лавке рядом с Флегонтовым, тотчас скрутил ему руки.

Было еще совсем темно. Офицер шел последним. Оглянувшись, Андрей увидел, что Тихона нет. Он старался сообразить, в какой стороне находится сейчас Сергунько. Мрак мешал ему ориентироваться. «Надо бежать! — решил он. — Будь что будет». Не думая больше ни о чем, Андрей крикнул Флегонтову: «Бежим!» — и бросился в кусты.

Тотчас раздались револьверные выстрелы. Мгновенно спустя захлопали винтовки. Андрей бежал зигза-

гами. За ним гнались. Слышался хруст ломающихся кустов. Андрей бежал, не думая ни о чем. Стрельба продолжалась около четверти часа. Затем неожиданно стихла.

Миновав кустарник и углубившись в лес, Андрей остановился, чтобы хоть немного отдышаться. Только теперь он понял, что, кроме выстрелов, доносившихся с тропы, по которой вели его и Флегонтова, была слышна винтовочная пальба и с другой стороны, по всей вероятности с берега Ваги.

Он блуждал по лесу, прислушиваясь к каждому шороху. Но все кругом было тихо. Несколько раз он негромко позвал Флегонтова. Никто ему не ответил. «Что же делать? — напряженно думал Андрей. — Искать Валерия или пробираться в сторону частей, стоящих за лесной дорогой?» Еще ничего не успев решить, он вдруг услышал голос Сергунько.

— Валерий! — крикнул он.

Сергунько откликнулся, и Андрей, не разбирая дороги, бросился бежать на голос.

Они встретились на лесной дороге, Валерий освободил его от веревок.

Андрей рассказал Валерию обо всем, что произошло с ним и Тихоном, и, в свою очередь, узнал от Валерия, каким образом тот нашел труп Флегонтова и поймал офицера.

Связанный офицер неподвижно, точно тюк, лежал рядом с мертвым Флегонтовым.

— И этот тоже убит? — шепнул Андрей, кивая на офицера.

— Говорю тебе: живого схлопотал. Здоровый! Задал работку! Погонялись мы за ним в кустарнике... Он, видимо, за тобой бежал.

— Видимо, — прошептал Андрей.

Его трясло, он стыдился этого, мысли путались в голове. Больше всего ему хотелось поскорее добраться до Чамовской.

— Кто же еще там был? — спросил его Валерий.

— Трое солдат... Какой-то тип в крагах, главная сволочь...

— Теперь понятно. Они, как зайцы, стрелкача дали. Мы стреляли им вслед.

— Пойдем поищем Тихона, — предложил Андрей.

Сергунько сдвинул фуражку набок и почесал висок.
— Нет, мы сейчас его не найдем! Флегонтов мне попался потому, что я видел, как он бежал... Я как раз выскочил из лесу, прямо на выстрелы. Тебя-то я не видел, а его видел.

Они помолчали. Андрей вздохнул.

— Эх, батька...

— Старик выкрутится, — уверенно сказал Валерий. — Не тронут его. При нем ведь ничего не было?

— Ничего. Все листовки у меня.

Валерий прислушался. На тропе раздался стук копыт и скрип телеги, перекатывающейся по ухабам.

— Наши? — шепотом спросил Андрей.

— Наши, — ответил стрелок, стоявший посередине дороги.

— Как же все-таки быть со стариком? — настаивал на своем Андрей.

— Сейчас искать его бессмысленно, — сказал Валерий. — Прошло уже около часа. Ясно, что его увезли на тот берег, в Усть-Важское.

Лежавший на земле офицер закричал. Андрей и Валерий подбежали к нему. Валерий чиркнул спичкой, осветив искаженное страхом лицо пленного. Красные веки офицера вспухли, пшеничные усы казались приклеенными на посиневшем от натуги лице. Он плакал и что-то умоляюще бормотал, видимо боясь, что его сейчас расстреляют. Но ни Андрей, ни Валерий не понимали его.

— Смотри у меня! — прикрикнул на пленного Сергунько. — Я тебе мигом рот заткну! — Он ударил по кобуре. Офицер затих.

Подъехала телега с бойцами и возницей. Пленного положили посередине, сами сели по бокам, и телега тронулась.

3

Офицер оказался американцем. Он назвался лейтенантом Питмэном. Комната, где его допрашивали, принадлежала учителю. В ней стояли старенький диван, письменный столик и фикус в деревянной кадке.

За столиком, спиной к свету, сидел Фролов. Он допрашивал пленного лейтенанта, сидевшего напротив

него на самом краешке табуретки. Справа, на другой табуретке, не спуская глаз с офицера, застыл Воробьев. На протяжении всего допроса он ни разу не шевельнулся. Павлин пристроился в углу дивана. Боец с винтовкой, стоявший около школьной карты России, холодными серыми глазами следил за офицером.

Лейтенант Питмэн был бледен.

Рассказывая о себе, он туно глядел на свои грязные башмаки из красной кожи с утиными плоскими носами, на забрызганные грязью обмотки, на поцарапанные во время бега руки. Ему все время вспоминались слова его непосредственного начальника, уверявшего, что большевики расстреливают всех пленных англичан и американцев. Ни о чем другом лейтенант Питмэн сейчас думать не мог.

— Вы утверждаете, что были в Мурманске и Архангельске, — говорил Фролов, перебирая отобранные у пленного документы. — Так! И что только вчера прибыли в Усть-Важское?

— Да, все это так, — отвечал Питмэн. — Я прибыл только вчера и ничего не знаю... Клянусь вам!

— Кто этот человек в крагах, что был с вами?

— Не знаю.

— Позвольте, но вы же не на прогулку отправлялись? — сказал комиссар. — Это было бы слишком глупо — брать с собой людей и не знать, кто они.

— Я знаю только, что он из контрразведки.

— Но его фамилия?.. Фамилия человека в крагах?

— Я не знаю... Клянусь вам... — пробормотал американец. — Это русский.

— Это не русский, а один из купленных вами (Фролов все время сдерживался, однако сейчас невольно повысил голос). Говорите фамилию! Вы обязаны были ее знать.

Офицер подался назад и обхватил руками голову.

— Я не помню! Голаhti... Что-то вроде этого... Его фамилию мне не называли.

— Кто начальник контрразведки? Английский или американский офицер?

— Американский... Но я его не знаю... Я только вчера прибыл. Я простой офицер полевой разведки и никогда не участвовал в таких делах. — Голос лейтенанта сорвался.

— Послушайте, вы же не ребенок... Как фамилия начальника контрразведки?

— Может быть, это выглядит глупо, но я действительно не знаю, — пролепетал Питмэн. — Это ужасно... Но я не знаю! Как только я прибыл, меня сразу послали... — У него вырвался стон. — Простите меня, умоляю вас... Я лично не имею никакого отношения к контрразведке, клянусь богом!

— Чем вы это докажете?

— Я вам все расскажу... Все, что нужно... Все, все! Но о контрразведке я ничего не знаю. Я только офицер полевой разведки! Я простой офицер полевой разведки, — чуть не плача, повторял он.

Даже не зная английского языка, нетрудно было понять смысл этой сцены.

— Все ясно, Павел, — усмехнулся Павлин, поднимаясь с дивана. — Показала себя Америка!

Не глядя на Питмэна, комбриг вышел из комнаты. Допрос продолжался.

Питмэн сообщил, что в устье Ваги на днях был перевооружен большой пассажирский пароход «Опыт».

— По существу, это наша главная батарея, — рассказывал он. — Она состоит из шести орудий! Калибр — семь три четверти дюйма и восемь дюймов.

— Какие суда входят в англо-американскую флотилию? — спросил Фролов.

— В состав Северодвинской флотилии входят: броненосная лодка «Хумблер», четыре монитора, речные канонерские лодки «Кокхедер», «Глоувворн», «Крикет», «Сигала» и несколько тральщиков... — ответил Питмэн. — В операции на Ваге будут участвовать плоскодонные мониторы... Вооружение их следующее... — Он назвал количество орудий и перечислил калибр.

— Какие отряды находятся в районе Усть-Ваги?

— Всекие... Есть и канадцы... Наши такие...

Он назвал номера батальонов и подтвердил данные предыдущей разведки, рассказав, что на правом берегу Двины, у селения Ростовского, кроме белых частей, находятся еще и шотландцы.

— Очень сильный отряд... С полевыми орудиями!

Когда допрос кончился, пленного увели на комендантский пароход. Ночью его отвезли в Котлас. А из

Котласа всех пленных иностранцев отправляли в Москву.

И комиссар и Воробьев были довольны результатами разведки. Воробьев даже сказал комиссару:

— У этого твоего Сергунько, Павел Игнатьевич, прямо собачий нюх... Ей-богу! Взял кого надо.

4

В каюту к Виноградову зашел Фролов. Павлин только что умылся, лицо у него было еще мокрое, он вытирал его полотенцем.

— Увезли пленного? — спросил Павлин у военкома. Фролов усмехнулся.

— Увезли... Под конец снова чуть не расплакался... Боялся, что его расстреляют на месте.

— А я бы и расстрелял, если бы не приказ из Москвы, — с усмешкой сказал Павлин. — Патентованная гадина! И жалкий трус.

Наступила пауза.

— А как Тихон? — спросил Павлин. — Так и не нашелся?

— Пока нет, — ответил Фролов. — Латкин с разведчиками пошел к Шидровке. Может быть, что-нибудь узнают.

Павлин бросил полотенце на койку.

— Что это ты всюду Латкина суешь? Кто его знает, вдруг из него в самом деле ученый выйдет? Неужели нельзя держать его при штабе?

— Нельзя... Он категорически отказался.

— А Сергунько тоже с ними?

— Нет. Сергунько принимает роту.

В дверь постучали.

— Войдите! — крикнул Павлин.

В каюту вошел вестовой Соколов. Он привез с левого берега телеграммы и местные газеты, в сокращенном виде излагавшие сообщение о заговоре представителя английского правительства Локкарта. В центральных газетах это сообщение появилось 3 сентября. В нем говорилось:

«ВЧК по борьбе с контрреволюцией уже некоторое время тому назад установила попытки английского

дипломатического представителя в России войти в связь с некоторыми частями войск Советской Республики для организации мятежа и захвата Совета Народных Комиссаров. Установленным наблюдением выяснено, что при бывшему в начале августа из Петрограда в Москву с рекомендацией к начальнику британской миссии в Москве Локкарту агенту Шнедхену удалось устроить свидание Локкарта с командиром одной из войсковых частей, на которую английские власти возлагали свои надежды. Первое свидание состоялось с Локкартом на частной квартире на Басманной улице. Второе, с его агентом Сиднеем Рейли, — на Цветном бульваре. *(Даты и адреса указывались точно.)* На этих свиданиях были обсуждены вопросы о возможности в десятых числах сентября организовать в Москве восстание против Советской власти в связи с присутствием англичан на Севере. Говорилось о направлении в Вологду войсковых частей, которые могли бы изменническим путем передать Вологду англичанам. Предполагалось занять Государственный банк, центральную телефонную станцию и телеграф и ввести военную диктатуру с запрещением под страхом смертной казни каких бы то ни было собраний впредь до прибытия английских военных властей. Руки шпионов дотягивались и до Петрограда для установления связи с находящейся там английской руководящей военной группой и с группирующимися вокруг нее русскими белогвардейцами. На петроградском совещании обсуждался вопрос о связи с Нижним Новгородом и Тамбовом. Одновременно с этим происходили совещания у дипломатических представителей различных «союзных» держав относительно мероприятий, которые могли бы обострить внутреннее положение России и ослабить тем самым борьбу Советской власти с ее противниками, и в частности с англо-французами. Руководители заговора намеревались обострить продовольственные затруднения, вызвать голод в Петрограде и в Москве. Разрабатывались планы взрыва мостов и полотна железных дорог, в целях задержания подвоза продовольствия, а также поджогов и взрывов продовольственных складов. Заговорщики действовали всевозможными методами, создав широко разбросанную конспиративную сеть по всей России, пользуясь подложны-

ми документами и тратя на подкупы громадные суммы денег. Вся эта работа проходила под защитой и руководством английских дипломатических представителей. Были подробно разработаны планы организации власти на другой день после переворота. Начальник английской миссии г. Локкарт пытался отрицать указанные выше факты, но у ВЧК имеются неопровержимые доказательства, которые указывают, что нити всего этого заговора сходятся именно в руках британской миссии. Расследование продолжается».

Прочитав газету, Павлин молча положил ее на стол. Фролов тоже молчал. Лицо его было бледно, лоб наморщился.

— Убийца пойман с поличным, — сказал Фролов. — Теперь ясно, что покушение на Ильича — тоже их дело.

— Народ собрать? — спросил Соколов. Он стоял возле двери, не снимая с головы бескозырки.

— Собирай, — приказал комиссар, выходя из каюты. Только что полученные известия сразу распространились по Чамовской.

Бойцы, командиры, комиссары, матросы, речники заполнили верхнюю палубу. Возле рубки появились командиры бригады и военком. Фролов начал читать сообщение. Люди стояли, плотно придвинувшись друг к другу. Царила такая тишина, что слышно было, как шуршит газета в руках комиссара.

Кончив чтение, Фролов сказал:

— Товарищи!.. События, происходящие у нас на Северной Двине, сплетаются с тем, что делается сейчас на Волге, в Москве, в Сибири — всюду... Всюду, где против нас идет капитал. Сегодняшнее сообщение является могучим ударом по врагу. Это победа, товарищи! Победа ВЧК! Победа народа. Завтра мы должны нанести врагу еще один сокрушительный удар. Всем командирам, присутствующим здесь, предлагаю немедленно разойтись по своим частям и подробно рассказать бойцам о случившемся. Завтра враг должен быть уничтожен. Это будет наш ответ на происки международного капитала. Все. В части, товарищи!

После митинга Павлин отослал неотлучно находившегося при нем Соколова и решил пройтись по берегу. Ему хотелось послушать, о чем люди говорят перед завтрашним боем, и самому побеседовать с ними.

Над Двиной стлался туман. Павлин вышел на размокший после дождя, покрытый грязью тракт. Лошади еле тащили повозки по наполненным водой ухабам и выбоинам. По обочинам, с трудом вытаскивая ноги из грязи, шли бойцы. Узнавая командира бригады, они давали ему дорогу.

На болотистой лужайке стояла группа бойцов. Одни из них прятались за деревьями от ветра, другие разжигали в ельнике костер.

Павлин направился к этим бойцам.

— Греетесь, ребята? — спросил он.

— Греемся, — ответили бойцы. — Пожалуйте к нам, товарищ Виноградов, к огоньку поближе...

Разбросав немного хворост, один из бойцов сунул в него зажженную бересту. Ее мгновенно скрутило, огненные язычки побежали по ней, костер затрещал, отовсюду поползло пламя, и охваченная им сырая хвоя густо задымила.

Вблизи, в ельнике, слышались чьи-то шаги.

Люди насторожились. Из-за елок вышел и шагнул к огню командир роты Бородин с забинтованной головой. В подоле рубахи он притащил печеной картошки и вывалил ее на колени одному из бойцов.

— Кушайте, ребята, — громко сказал он. — Тепленькая. Подкрепляйтесь. Завтра в бой идти.

Осмотревшись, он увидел командира бригады и поздоровался с ним.

— Что с тобой, друг? — спросил Павлин, показывая на его забинтованную голову.

Бородин улыбнулся.

— Сегодня ночью ящики с патронами выгружали. Неаккуратность произошла... Ящик скатился.

— Что ж ты на госпитальное не пошел?

— Успеется, товарищ комбриг. Сейчас не до госпитального. Гнать надо эту сволочь, сами знаете. Уму непостижимо, что делают. Я сейчас на такую картину нарвался, вспомнить страшно.

И Бородин рассказал Павлину, что за перелеском он повстречал разведчиков, которые тащили на носилках старика с выколотыми глазами. Старик попал в неприятельскую контрразведку... Там его и обработали...

— Да так обработали, товарищ комбриг, — Бородин невольно поежился, — вчуже страшно...

— Насмерть, что ли? — спросил Павлин, сразу подумав о Нестерове.

— Жив пока что, — ответил ротный. — Старик! А кто такой, не знаю...

Но Павлин, уже не слушая Бородина, побежал по болоту.

5

Госпитальное судно стояло у крутого берега, поросшего густой травой. Желтые огоньки от иллюминаторов были видны издалека.

Павлин быстро поднялся по трапу. В нос ему ударил резкий запах лекарств.

— Где у вас операционная? — нетерпеливо спросил Павлин у дежурного санитаря. Тот подвел его к затянутым марлей стеклянным дверям салона. Павлин уже взялся за ручку, но дверь раскрылась, из салона вышел доктор Ермолин в испачканном кровью халате под руку с бледным как полотно Андреем. Увидев командира бригады, Андрей бросился к нему.

— Как хорошо, что вы пришли, Павлин Федорович. Пойдемте куда-нибудь, я вам все расскажу...

— Мы ведь в самой Шидровке были. Я все ждал, не покажется ли кто-нибудь с того берега.. Из Усть-Важского. Час обождал, два, три. Четыре часа прошло. Никого нет! Я уж решил сам махнуть туда. Есть у меня один адрес. Флегонтов покойный дал. Была не была, думаю, если не выручу старика, хоть узнаю, что с ним. Вдруг является ко мне Сахаров, шидровский крестьянин... Лодку, говорит, прибило к берегу. В ней кто-то кричит. Мы побежали... Тихон! Весь в крови.

— Долго его держали в контрразведке?

— Почти сутки. Пытали, мучили. Потом выкололи глаза и бросили в лодку. С запиской: «Другим наука». Павлин Федорович, это же — зверство сплошное! Я двух жителей привез из Шидровки, они видели все. То есть не все, а как вчера старика волочили. Пойдемте к ним.

Они спустились на нижнюю палубу.

Сахаров, бородатый крестьянин в брезентовом плаще, сидел на нарах. Правая рука его была забинтована до плеча. Он держал ее поднятой, видимо для того, чтобы кровь отекала от кисти.

Возле нар стояла пожилая крестьянка в теплом платке; к ней прижималась девочка лет семи.

— А его кто? — спросил Андрея Павлин.

— Они же.

Измученное лицо Сахарова было похоже на серую бумагу.

— Исполосовали ножом, — медленно говорил он. — Когда вчера тащили старика, я заступился. И сказал одному: «Чего вы лютуете, черти?» Только всего и сказано было. Вот и получил на орехи. Онисим, брательник, стал меня защищать. Избили его до бесчувствия и увезли с собой на пароход. Погибнет парень.

— К нам в Шидровку белые вчера прибежали, — заговорила женщина.

— Ты не путай, — сказал ей Андрей. — Старика вели англичане?

— Ну да, англичане. А потом прибежал белый, что по-всякому говорил, — по-нашему и не по-нашему, как хочешь... Вот натерпелись страху-то...

Женщина вытерла пальцами губы и одернула платок, который был завязан по-татарски — в два конца.

— Это прибежал Голанд-сын... Сынок купецкий с Онеги, — объяснил Сахаров. — Англичане тоже, обруселые только.

Потрясенный рассказом Сахарова, Павлин опять поднялся на верхнюю палубу.

В докторской каюте сидел за столом Ермолин и писал медицинский акт.

— Где старик? — спросил Павлин прерывающимся от волнения голосом. — Я хочу повидать его... Можно? — Он взглянул на хирурга.

— Можно... — ответил Ермолин. — После перевязки старик успокоился. Я дал ему наркотик. Зайдите ненадолго. Это даже подымет его жизненный тонус...

— А как его общее состояние?

— Сильный старик... Думаю, что выживет. В здешних лесах есть такие старые сосны. Растут в самой чаще, на горках... Вцепятся всеми своими корнями в почву, попробуй оторви...

...Павлин слушал неторопливый и спокойный рассказ Тихона и Нестерова.

Старик полулежал на койке, глаза у него были забинтованы, лицо представляло сплошной сине-багровый кровоподтек.

— Я что толкую... — шептал старик. — Еще не целиком дошел народ... Да и в темноте нас держали. Что мы видели: лес да болото! Ну, чертей иногда, когда выпьешь, — старик усмехнулся. — Лесной народ... А все-таки в нем есть душа! Знает, что нельзя ему терять советскую власть... Вы это принимайте во внимание, Павлин Федорович. Вы увидите, у Яшки Макина много будет народу. Ружья только партизанам дайте...

— Обязательно, — сказал Павлин. — За советы спасибо.

— Нет, Павлин Федорович, какой я советник? Сам я не то чтобы мужик путный. Да и счастья мне не было. А сколько я повидал, боже мой... Кулаку-богатею дальше своего двора и глядеть не хочется. А для меня мир — вольная волюшка.

Старик улыбнулся, и странно было видеть улыбку на его израненном багровом лице.

— Ей-богу, сквозь горе, как в очки, все видишь. Счастливые да сытые жизни не видят.

— Да, да, да! — говорил Павлин. — Понимаю! Так бы и сидел у тебя, да пора идти... Ну, дедушка, поправляйся! — Павлин крепко пожал руку Тихону. — Поправись, я напишу в Вологду, чтобы тебя как следует лечили и чтобы о тебе была полная забота.

— Любка придет... Она сюда рвется.

— Что Любка? Мы должны позаботиться, — сказал Павлин. — Обо всем напишу. Ты за свою судьбу не тревожься.

— Спаси бог! — ответил старик. — Не надо. Не люблю никого отягощать. Я еще что-нибудь сам промыслю, Павлин Федорович. Мы, простые люди, жить умеем. Спасибо вам, что пришли. Премного благодарен.

— Ну, встретимся. Буду в Вологде, в штабе, разыщу тебя. Прощай, Тихон Васильевич.

— Прощай, Павлин Федорович. Всего хорошего вам во всех ваших делах.

Старик, несмотря на страшную слабость, приподнялся немного и лег, опираясь на локти.

— Да, знаешь, что я надумал? Как ты прикажешь, Павлин Федорович, так и сделаю, коли бог смерти не даст... — слабым голосом сказал он. — Ох, воры, дети собачьи! — Тихон схватился за грудь. — Мутит. Слушай, Федорыч! Есть еще люди, не знают, какво оно, заморское вино. Выживу — побреду я по избам, по людям. Научу людей, что сам испробовал. Ну, что скажешь?

— мудро решил, дедушка. Ну, прощай, родной.

— Вот утешил.

— Лежи, лежи, Тихон Васильевич!

В это время дверь скрипнула, и в каюту заглянул Фролов; позади него стоял Андрей.

— Кто там? — вдруг сказал старик.

— Это Павел Игнатьевич и Андрей, — ответил Павлин. — Они только на минутку... Издали поглядеть на тебя.

— Нет, нет, господа, — обеспокоился и обрадовался Тихон. — Заходи, Игнатьич! А я слышу дыхание, да не могу признать чье. Жив я. Давайте руку. Копошусь еще. Андрей, ты здесь? Голубь, садись сюда... — Старик хлопал рукой по одеялу.

Комиссар и Андрей сели на койку, поближе к старику.

— Ох, били меня, товарищ комиссар! До утра! — сказал старик. — Один все кулаком дубасил по столу. «Доказывай!» — кричит. Я говорю: «Не бей стола... Что мне доказывать? Нечего». Опять стали трепать. Я им говорю: «Христос с вами, граждане... Я мужик, чего знаю? Ну, сади меня на рожон, темного человека, все равно ничего не знаю и не ведаю...» — «Ах, говорят, темный... Ну, будешь светлый!» Да как дали раза! После того ничего уж не помню. Очнулся. Щупаю: вода... На том свете я, что ли? Почему же так мокро?

Старик крепко прижал к груди голову Андрея.

— Рад я, господа, — прошептал он. — Выскочил ты из пекла.

— Ты будешь жить, дедушка... — сказал комиссар.

— Не знаю. Справлюсь ли? Ох, били, Игнатьич! — опять зашептал Тихон. — Бороду драли. Печень бы мою поели, да не сладкая, видать... — Он усмехнулся и вздохнул. — Спасибо, повидал иностранного обычая. Коли помру, любо мне. Не за грех, а за святое дело. Ну, прощайте. Что-то клонит...

Старик откинулся на подушки и застонал:

— Ох-ти!.. Игнатьич?..

— Здесь я, Тихон Васильевич... Что? Плохо тебе?

— Вспомнил я. В клоповнике у них слышал, один мужчина говорил, будто нехристи до заморозков рассчитывают забрать Котлас. Не пушайте, смотрите...

— Просчитаются, — сказал Павлин и переглянулся с Фроловым.

— Смотри, ребята! — строго пробормотал старик. Лицо его вдруг перекосила мучительная гримаса, он вытянулся всем телом и потерял сознание.

Прибежал доктор, санитарка принесла в стаканчике желтое питье. Его влили в рот Тихону. Он опять застонал. Все, кроме доктора и санитарки, вышли из каюты.

— Мне вспоминается прошлая война, — говорил Павлин, когда они с Фроловым спустились по трапу на берег и пешком направились в Чамовскую. — Хотя сам и не был, да люди передавали. Пессимизм был страшный. А ведь мы сейчас в военном отношении не только не сильнее царской России, а неизмеримо слабее. Однако народ настроен совсем иначе. В чем же дело? Вера? Нет, этого мало! Власть в руках народа — вот что... А пройдет десяток или, скажем, два десятка лет. Вырастет наша советская молодежь... И действительно, мы наш, мы новый мир построим, как в «Интернационале» поется. Могучей станет наша страна...

— Далеко задумал.

— А как же иначе?

— Иначе нельзя, — сказал Фролов, утвердительно кивнув головой. — Думать всегда надо вперед!.. Особо нынче. Нынче и час — целая жизнь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Перед тем как выехать в Шидровку, Павлин написал письмо Гриневой. Подробно рассказав о делах Двинского участка, он не забыл попросить, чтобы позаботились о судьбе Тихона Нестерова. Затем Павлин решил написать жене.

За его спиной сидел на табуретке уже собравшийся в дорогу Соколов. Он был в бушлате и в низко надвинутой на лоб бескозырке. За плечом у него висело два карабина: свой и командира. В руках он держал вещевой мешок.

Андрей, устроившись на школьной парте, проверял затвор винтовки. За последние дни Андрей сильно осунулся.

«Я жив, здоров, — писал Павлин. — Как ты? Сейчас, Олюшка, пользуюсь оказией. В Котлас на пароходе отправляются раненые. Между прочим, на нем везут старика партизана, Тихона Нестерова. Обязательно навести его и принеси ему чего-нибудь вкусного, домашнего. Американцы выкололи ему глаза. Ты знаешь, Оля, не подберешь слов для возмущения. Это не солдаты, а негодяи и мерзавцы. Гораздо хуже самых закоренелых бандитов. Писать подробно не могу, очень тороплюсь. Помню о тебе каждую минуту и люблю по-прежнему. Как сыночек? Береги его. Подателю сего выдай патроны от моего французского нагана. Они лежат в ящике вместе с винтовочными...»

Кончив письмо и запечатав его в склеенный Соколовым конверт, Павлин вышел на крыльцо и остановился, пораженный развернувшейся перед ним картиной.

Все, что его окружало: солнце, небо, избы деревни Чамовской, дорога, неподвижный, как зеркало, речной плес, представлялось сейчас розовым. На противоположном берегу Северной Двины нежно розовела ровная каемка леса. Даже белые сытые утки, которые, переливаясь с боку на бок и крякая, переходили дорогу, показались Павлину розовыми. Душистый воздух сам проникал в грудь, щекоча ноздри и словно опьяняя. «Ну и денек!» — подумал Павлин.

Соколов подвел лошадей и передал командиру бригады карабин. Нашупав носком сапога стремя, Павлин взялся левой рукой за луку седла и разом вскочил на лошадь.

Попрощавшись с бойцами, остававшимися в Чамовской, Павлин пустил рысью своего вычищенного до блеска тонконового мерина.

Андрей и Соколов тронулись следом за командиром бригады.

Несмотря на то, что за последнюю неделю Павлин почти не спал, он не испытывал сейчас никакой усталости. Наоборот, ощущение физической легкости, здоровья, молодости безраздельно владело им. Он с радостью думал о том, что наступил желанный день боя, что пока все идет так, как намечалось, и что интервенты наверняка будут разбиты...

— А ну, догоняй! — крикнул Павлин поравнявшемуся с ним Андрею и перевел свою лошадь на галоп.

2

За Шидровкой, в стоящем на луговине сарае, разместился штабной пункт. Возле него топтались верховые лошади. Одни из них были стреножены, другие привязаны к проходившей рядом с сараем изгороди. Неподалеку, возле нескольких телег, раскинулся перевязочный пункт. На луговине, разбросав охапками сено, лежали, весело переговариваясь, младшие командиры и бойцы.

Когда показался комбриг, все вскочили. Молоденький командир в потертой кожанке подбежал к Павлину с докладом. Павлин сразу узнал в нем Валерия Сергунько.

— Сидите, сидите, ребята, — сказал Павлин, подходя к бойцам. — Задача всем известна?

— Известна, товарищ комбриг, — ответил за всех боец с задорными светлыми глазами, очевидно игравший среди своих роль жожака. — Вперед, на Усть-Важское!

— Молодец! — похвалил его Павлин. — Взять Усть-Важское мы должны во что бы то ни стало. Пусть каждый только об этом и думает. Пора гнать интервентов с нашей земли! Давно пора, товарищи.

— Понятно, товарищ комбриг, — отовсюду послышались голоса.

Павлин подозвал к себе батарейного командира — стройного юношу в щеголеватых сапогах.

— Где твоя батарея, Саклин? Пойдем. Покажи мне своих пушкарей.

За избами лежала пехота, дожидавшаяся артиллерийской подготовки. Туда проезжали тележки со снарядами и винтовочными патронами. Деревня была пуста.

Жители еще с утра ушли в лес, а бойцы, разбитые на мелкие группы, укрылись либо за сараями, либо в курстарнике, поближе к берегу.

Поговорив с артиллеристами, Павлин вместе с Андреем вышел к Ваге. На фоне золотисто-розового горизонта виднелся занятый противником левый берег реки.

Павлин взял у Андрея бинокль и долго всматривался в неприятельские позиции. Там все было спокойно. По донесению разведчиков спокойно было и в селении Усть-Важском, расположенном в трех верстах отсюда.

Вдоль берега бойцы расставляли легкие орудия. Позиции для них были подготовлены еще ночью. По данным разведки здесь могли появиться вражеские суда.

Сопровождаемый Андреем, Павлин подошел к одному из орудий. Невдалеке от орудия повозочные склады-вали ящики со снарядами.

Вдруг над рекой разнесся гул орудийного выстрела. Это поразило людей, как гром среди ясного неба. В первое мгновение никто из стоящих рядом с Павлином не мог сообразить, в чем дело, кто стреляет: мы или противник? Ни вспышки, ни разрыва не было видно.

От кучки притихших бойцов отделился немолодой уже, щуплый красноармеец в измятом грязном ватнике; он подбежал впритруску к Виноградову. Всеми своими движениями, беспокойством лица боец как бы выражал ту опасность, о которой сейчас подумали многие, но сдерживались, и только у него не хватило выдержки.

— Стреляют! — крикнул он. — Что делать, товарищ Виноградов?

— Стоять на своем месте у орудия! — спокойно ответил Павлин. — Ты что бегаешь? — Вынув жестянку с табаком, он стал медленно скручивать сигарку.

— Нашцупали нас, подлецы, а мы и не знаем, где они, — опустив глаза, сказал усатый матрос-наводчик.

— Скоро узнаем, — все так же спокойно проговорил Павлин. — Наши наблюдатели засекут и доложат.

Ударил второй неприятельский снаряд. За ним — третий. Черные земляные фонтаны поднялись на берегу. Наводчики завозились у своих орудий.

— Огня не открывать! — строго прикрикнул на них Павлин. — Противнику только и надо, чтобы мы без толку обнаружили себя. Не открывать огня без приказа!

В эту минуту возле орудий показался батарейный командир Саклин. Он был весь в глине.

— Засекли! — крикнул он счастливым голосом.

— Давай огонь! Беглый. И поскорей! — приказал комбриг.

— Огонь! — раздалась команда у одного орудия, у второго, у третьего.

«Он-онь», — отвечало эхо. Мелькали вспышки, гремели выстрелы.

Бой завязывался.

— Ну ладно, мерзавцы, — сказал Павлин и даже потряхнул кулаком в сторону Ваги. — Вы у нас сегодня получите!

— Я пойду вперед, товарищ комбриг, к морьякам, — сказал Андрей. — Надо проверить переправу. Есть ли вешки? Как бы течением их не унесло...

Перед орудиями тянулись по берегу окопчики, вырытые сегодня ночью. В них разместились матросы. Они должны были защищать батарею в том случае, если бы противник выбросил десант. От окопов к прибрежному лозняку шла тропинка, по которой можно было добраться до артиллерийских наблюдателей и до переправы.

— Стой, — беспокойно сказал Павлин. — Что это? Слышишь?

За Шидровкой по берегу прокатились винтовочные залпы. Затем началась трескотня пулеметов.

— Узнай, что такое, — уж не высадился ли противник?

Андрей побежал к Шидровке. У крайней избы, возле штабного пункта, стоял незнакомый ему боец с лошадыю.

— Что там такое? — крикнул Андрей. — Комбриг спрашивает...

— Атака! — ответил боец. — Бандиты высаживаются.

Перехватив у него лошадь, Андрей вскочил в седло и поскакал по деревне.

Увидев фигуры людей, мелькающие на противоположном берегу, Павлин приказал обстрелять их картечью. Противник открыл пулеметный огонь. Новый неприятельский снаряд разорвался в окопах у моряков. Оттуда донеслись крики и стоны раненых. Моряки уже обстреливали вражеский берег из пулеметов.

Павлин отбежал от пушки на самую кромку берега и приложил к глазам бинокль. Ему стали отчетливо видны фигуры перебежавших от дерева к дереву. «Да... разумеется, десант!» Враги продолжали пулеметный огонь.

На батарее появились убитые и раненые. Усатый наводчик лежал неподалеку от своего орудия и зажимал руками пробитое осколком горло. Он хрипел, кровь текла у него по пальцам. Два бойца подбежали к раненому и, положив его на шинель, быстро понесли в Шидровку, где находился перевязочный пункт. Бойцы готовились встретить десант. Присутствие командира бригады воодушевляло даже самых робких.

Павлин поставил к орудью второго наводчика — голубоглазого, белокурого парня.

— Давай прямо на берег, — приказал он. — Славно! Молодец! — крикнул Павлин, когда тот отстрелялся. — Будто слизало чертей. И лодки разбило...

В ту же минуту он увидел появившийся из устья Ваги белый пассажирский пароход с несколькими тяжелыми орудиями, стоявшими на палубе. Пароход стал стрелять по Шидровке беглым огнем.

— Фугасным! — скомандовал Павлин. «Да не «Опыт» ли это? — подумал он. — Не о нем ли говорил американец? Наверное, тот самый!»

Пароход с каждым мгновением приближался к Шидровке.

Снаряды его ложились теперь на батарею. Один из них разорвался шагах в двадцати от Павлина.

С батареи опять понесли раненых.

Был ранен и белокурый, голубоглазый боец, которого Павлин только что похвалил за меткую стрельбу.

Орудие осталось без прислуги, искать другого наводчика не было времени, и Павлин сам заменил раненого.

Броневой щит орудия немного прикрывал Павлина. Стоя возле прицела, наклонившись и высматривая противника через продолговатое прицельное отверстие в щите, Павлин вдруг почувствовал за своей спиной человека. Он оглянулся. Это был Соколов.

— Товарищ комбриг, вас на штабной пункт зовут, — сказал вестовой.

— Не мешай! — крикнул Павлин и выстрелил,

Первый снаряд врезался в среднюю часть парохода, возле колеса, почти у самой ватерлинии. Снарядом разбилось палубу. «Отлично! — сказал себе Павлин и, не меняя прицела, выстрелил еще раз. Второй снаряд ударил в корму. Раздался новый оглушительный взрыв. Фонтаны воды, пар и дым взметнулись над рекой.

— Тонет! — восторженно закричал кто-то. — Ей-богу, тонет!..

Снизу, с береговой тропки, прибежал запыхавшийся и красный от напряжения моряк.

— Товарищ комбриг, это «Опыт»... На корме написано!

— Снаряды! — коротко приказал Павлин своему запрягающему, юноше лет семнадцати. — Скорей давай!

Соседнее орудие тоже ударило по «Опыту» и снесло часть надстройки с кормы. Кормовые пушки на «Опыте» замолчали.

В это время неподалеку от батарей показалось еще какое-то судно, Павлин приложил бинокль к глазам.

— Английская канонерка! — крикнул он и искал глазами Саклина. Тот стоял у одного из орудий, показывая бойцам на реку.

Павлин решил продолжать стрельбу прямой наводкой. «Подпущу поближе», — подумал он, снова приставляя к глазам бинокль. Вдруг в стеклах блеснула какая-то вспышка. Вдалеке будто чиркнули спичкой, и огонек сразу же задуло ветром. Почти одновременно где-то рядом раздался взрыв. Павлин обернулся и упал. Падая, он успел подумать: «Что такое? Меня ранило? А как же бой?..»

Вражеский снаряд ударил в лежавшие на берегу бревна. Некоторые из них взлетели в воздух, другие были расколоты в щепы. Осколки снаряда разбились колесо пушки, из которой минуту тому назад стрелял командир бригады. Одним из этих осколков был сражен и Павлин.

Но он еще жил и не чувствовал смерти. Тревожная мысль о том, как будет дальше развиваться бой, придавала ему силы. Он уперся локтем в землю, чтобы подняться, и увидел Соколова, склонившегося над ним и тряпкой вытиравшего ему кровь с лица.

— Ничего, дружок, — прошептал Павлин. — Ерунда... Слегка задело... Ну, помоги мне...

Он обнял правой рукой шею вестового и заставил себя встать. Как в тумане, возникло перед ним испуганное лицо Саклина. Он потянулся к нему, но рука, обнимавшая шею Соколова, вдруг ослабла и разжалась. Он рухнул бы на землю, если бы вестовой не подхватил его.

— Огонь, товарищи... Беспощадный огонь, — сказал он, сердясь, что они отошли от орудий. — Что же вы стоите? Огонь! — уже закричал Павлин и попытался топнуть ногой.

Его положили на шинель и понесли в деревню. Боли он не ощущал, только глаза почему-то горели. Он прошептал:

— Вперед, друзья... Вперед!

И ему показалось, что все слышат его сильный, звонкий голос, что он идет вместе со всеми в атаку и рядом с ним быстро шагает Фролов. «Как? Разве и ты здесь? — мелькнула у него мысль. — Ну конечно...» Он сделал движение, как для рывка, чтобы броситься в бой, и даже смог приподняться, но тут же откинулся назад и, вытянувшись на шинели, закрыл глаза. Черты лица стали у него еще решительнее и строже. Он умер, так и не почувствовав смерти.

На берегу трещали выстрелы, рвались снаряды. С каждой минутой бой на Ваге разгорался все сильнее.

3

Взволнованный боем, с взвихренными ветром волосами Валерий Сергунько стоял на большом валуне и кричал:

— Вперед, ребята!.. Выходи все! На их плечах пойдем!

Его рота только что отбила неприятеля. Интервенты скатились к реке: кто, побросав оружие, спасался вплавь, кто удирал на лодках.

Воодушевленный удачей, с яростью думая о том, что малейшее промедление может сорвать контратаку, Валерий разослал во все стороны взводных, чтобы они сразу же поднимали людей и преследовали врага.

Противник все время держал реку под огнем. Но сейчас обстрел утих. Валерий решил воспользоваться этой паузой. Переправившись на левый берег, он надеялся за-

крепиться там хотя бы с одним взводом. Дорога была каждая секунда.

Забрав стоявшие в кустах лодки, Валерий погрузил на них два десятка бойцов и отвалил от берега.

Андрей уже не застал Валерия на правом берегу. Он направил свою лошадь к окопам и вдруг увидел, как из лесу показались солдаты противника. Они бежали, рассыпавшись по полю.

— Ребята, смотрите, вас с тыла обходят! — крикнул Андрей, но бойцы сами заметили это. Началась перестрелка.

Неподалеку от Андрея разорвался снаряд, лошадь подпрыгнула, Андрей упал и потерял сознание.

Очнувшись ночью, на соломе, связанный по рукам и ногам. Неподалеку от него ярко горел большой ацетиленовый фонарь. Чужеземные солдаты в желтых расстегнутых мундирах ели консервы. Тут же стояла кадка с молоком, солдаты черпали его кружкой.

Заметив, что Андрей открыл глаза, высокий мордастый сержант отделился от группы солдат и подошел к пленному. Ткнув его в бедро тупым носком тяжелого ботинка, он насмешливо сказал:

— Алло, боло!.. Еще дышишь?

Андрей дернулся всем телом, пытаясь вскочить, но ему удалось лишь сесть, и это рассмешило окружающих его солдат.

Он застонал и стиснул зубы.

«Где я? — с ужасом подумал Андрей. — На каком берегу? Обошли нас? Разбили? Что будет дальше? Как кончился бой? Что же теперь будет?»

От боли, пронзившей вдруг все тело, у него закружилась голова, он повалился на спину. Мордастый сержант снова пихнул его ботинком в бок.

— Попался, боло...

Молодой черноволосый парень без мундира, в пестрых подтяжках, игравший на губной гармошке, поднял голову и, с неприязнью посмотрев на сержанта, резко сказал ему что-то. Сержант зло ответил. Они стали переругиваться. Сержант вдруг нагнулся к Андрею, коротким, боксерским ударом ткнул его в подбородок

и отскочил на полшага, точно любясь судорогой, которая пробежала по лицу пленного.

Солдат в пестрых подтяжках вскочил и закричал на сержанта, размахивая своей маленькой блестящей гармоникой.

Но Андрей уже не слышал этого: он опять потерял сознание.

Окончательно пришел в себя он только через несколько часов. Теперь Латкин находился в темном трюме баржи, среди нескольких десятков таких же пленных красноармейцев, как и он. Некоторые из них были ранены. Никто не оказывал им никакой медицинской помощи, и они разрывали на бинты свои рубашки.

День сменялся ночью, на смену ночи опять приходил день. Вот все, что запомнилось Андрею в этом страшном путешествии. От товарищей, попавших в плен позже, он узнал, что интервенты в конце концов были выбиты с нашего берега. Тут же ему рассказали о смерти Павлина Виноградова. Валерий был жив. Все эти известия, радостные и горькие, Андрей воспринимал сейчас с тупым безразличием. Мысли мешались у него в голове. Красноармейцев почти не кормили.

Когда на пятый день пленных выгрузили в Архангельске и отвели в тюрьму, Андрей еле держался на ногах.

Первым в тюремную канцелярию вызвали почему-то именно его.

В канцелярии за письменным столом сидело несколько офицеров. Один из них, белогвардеец, вел допрос. Двое иностранных офицеров молча слушали. В стороне от них на деревянном диване, дымя сигаретой, сидел американский офицер.

Давать какие бы то ни было военные сведения Андрей наотрез отказался.

— Вы комиссар? — через переводчика спросил американец, которого все называли господином Ларри.

— Нет, — ответил Андрей.

— Лжете... В Усть-Важском в контрразведке имеются ваши документы: штабное удостоверение, студенческий билет. Шестого сентября вы случайно спаслись из рук

наших разведчиков. Но уже через два дня вы опять попали в плен. Не скрывайте правды! Нам все известно.

Вид Ларри, его голос, его плотно сжатые злые губы — все внушало Андрею отвращение. От усталости у него мутилось в глазах. Затем он почувствовал капли холодного пота на лбу.

— Итак, вы не комиссар? — иронически переспросил его Ларри. — Разве у большевиков так много образованных людей?

— Образование не имеет значения. Звание комиссара надо заслужить.

Выслушав Андрея, Ларри переглянулся с офицером, сидевшим рядом с ним. Потом, уставившись прямо в глаза Андрею и точно пытаясь заглянуть ему в душу, он быстро спросил:

— Большевик?

Андрей подумал и утвердительно кивнул головой. Офицеры быстро заговорили между собой, после чего Ларри что-то записал себе в книжку. Допрос окончился. Андрея повели сперва по тюремному коридору первого этажа, затем наверх по каменной лестнице.

4

На берегу, возле деревни Чамовской, в полном молчании стояла толпа деревенских жителей, моряков, красноармейцев. К пристани подошел большой пассажирский пароход «Гоголь». На него перенесли тело Павлина Виноградова и тела девяти моряков, погибших при штурме Ваги. Их отправляли в Котлас, а оттуда по железной дороге в Петроград. Пришло указание похоронить павших героев в Петрограде.

Река бушевала. Дождь лил как из ведра. Все вокруг затянулось пеленой тумана. Вдалеке гроыхали пушки. Шел бой.

Фролов вернулся в Чамовскую на второй день после смерти Павлина. Противник только что был выбит из селения Ростовского. Комиссар еле волочил ноги от усталости. Мокрая шинель давила ему плечи. Он приехал проводить погибшего Павлина, и, несмотря на это, перед его глазами все время стоял живой Павлин.

Сойдя с катера, комиссар выслушал торопливый доклад Драницына.

Военспец доложил о подробностях боя, еще продолжавшегося на Ваге, но в тоне его не было обычной деловитости, словно теперь, после смерти комбрига, боевые заслуги Важской группы, громившей врага, потеряли прежнее значение.

Когда Драницын коснулся обстоятельств, при которых погиб командир бригады, Фролов замедлил шаг, остановился, постоял некоторое время задумавшись, затем тряхнул головой и, преодолевая себя, пошел дальше.

Тут же Драницын сообщил комиссару об исчезновении Латкина. Он высказал предположение, что студент либо убит на вражеском берегу, либо потонул во время штурма Ваги. Фролов молча кивнул головой.

В штабе он сел за стол и с тоской подумал о том, что нужно работать. Сделав над собой мучительное усилие, он выслушал сводки о новом штурме Усть-Важского, который возглавлялся теперь Воробьевым и Сергунько, о потоплении еще двух пароходов противника. Затем он подписал бумаги об эвакуации раненых, о выдаче бойцам белья, о назначении новых взводных командиров взамен выбывших из строя. Но все это он делал механически, дожидаясь той минуты, когда все бумаги будут подписаны и он сможет, наконец, пойти на пристань.

В Чамовской стояла необычайная тишина.

Когда комиссар поднялся по трапу на борт «Гоголя», заполнившие верхнюю палубу бойцы, матросы, командиры молча расступились перед ним. Он шел, словно не видя их.

Павлин лежал в салоне на длинном овальном столе, осененном красными знаменами. На Павлине была выстиранная, выглаженная гимнастерка с начищенными пуговицами. На левом виске командира виднелся едва заметный синий шрам. Фролов наклонился к лицу покойного, и несколько крупных слез вдруг скатилось по его багровым, обветренным щекам. Он, словно живого, крепко поцеловал Павлина в лоб и долго не отходил от него.

Кончился траурный митинг. Пароход уже отчалил, а люди все еще стояли под дождем. Из туманной мглы

донеслись до них три протяжных гудка. И все суда, которые встречали Павлина Виноградова, совершавшего свой последний путь, также давали три протяжных прощальных гудка.

Наконец люди стали расходиться. В деревне, прорезая сумерки, засветились огоньки. Берег опустел. Только на груде валунов все еще чернела неподвижная фигура матроса.

Он сидел на камнях, будто не чувствуя ни дождя, ни холода, ни ветра. На «Желябове», стоявшем неподалеку от пристани, несколько раз пробили склянки.

— Соколов! — крикнули с парохода, но матрос даже не пошевелился. Он сидел точно каменный, сгорбившись и подперев голову кулаками.

Наступила глубокая осень. Дожди сменились снегопадами. Утром у речных берегов уже показывалась ледяная кромка, и в такие дни все белело: лес, поля, болота, деревни. Однако стоило выглянуть солнцу, как зима отступала и перед глазами людей снова расстилались обнаженные мокрые поляны, голые, исхлестанные ветром и дождем кривые березки. Медленная северная река частью освобождалась ото льда. Он был еще тонким.

Сумерки наступали рано. В избах с пяти часов зажигали лучину.

Так прошел месяц. Наступила зима... И в один из ноябрьских дней Фролов при дрожащем свете лучины диктовал бойцу-связисту телеграмму, отправляемую в штаб Шестой армии, в Вологду:

— Копия в Москву, Кремль, Ленину.

Фролов стоял посередине избы в накинутой на плечи мокрой шинели.

— ...После трудных, многодневных боев, — диктовал он, — операцию Павлина Виноградова можно считать законченной. Путь к Котласу империалистам отрезан. Нами занято селение Усть-Важское. Подвиг горячо любимого комбрига вдохновлял нас в боях. Мы никогда не забудем этого истинного ленинца, человека с чистым, мужественным сердцем...

На столике тихо постукивал аппарат Морзе, потрескивала лучина на светце, роняя угольки в корыто с водой.

Грубоватый, хриплый голос Фролова звучал с необычной торжественностью. И молчание, в котором слушали Фролова стоявшие командиры и комиссары бригады, тоже было торжественным.



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Партия заключенных, арестованных в Архангельске, в которой оказался Андрей, состояла из тридцати человек. Кончился поголовный обыск, распахнулись тюремные ворота, и люди вышли на размытую дождями глинистую Финляндскую улицу. Сразу по выходе из тюрьмы заключенных окружил сводный англо-американский конвой.

Зелень в канавах, тянувшихся по обеим сторонам улицы, поблекла; только какие-то желтые цветы, издали похожие на круглые пуговицы, одуряюще пахли. И странное дело — хотя будущее казалось Андрею беспросветно мрачным, запах этих упрямых осенних цветов пробуждал в его душе смутную надежду.

Андрей, чем мог, помогал товарищам, поддерживал доктора Маринкина, с которым познакомился в камере.

Маринкин был болен и так слаб, что его приходилось вести под руки.

Ларри отлично знал о болезни Маринкина и тем не менее назначил его к отправке. Заключенные пытались протестовать, но ничего не добились.

День был холодный, с ветром.

Дым из кирпичных труб, бревенчатые дома, почерневшие от дождя, глухое мычание коров, струя дождевой воды, стекающая с крыши в подставленное ведро, забытое на чстоколе вымокшее белье и запахи влажной земли, сырого дерева, жилья — таковы были первые впечатления заключенных, только что перешагнувших тюремный порог.

Толкаясь и переговариваясь, со связками лопат в руках, люди остановились посреди дороги.

Куда их поведут? Может быть, на расстрел? Нет, на это не похоже. Видимо, их решили перевести в какой-то лагерь. Но куда?

У белого кирпичного забора стояли жены и матери, братья и сестры заключенных. Они уже знали, что их мужья и сыновья по распоряжению американского посла Френсиса и правительства Чайковского переводятся на остров Мудьюг. Стремясь хоть чем-нибудь облегчить страшную участь высылаемых, они собрали кой-какую еду, принесли теплые вещи. Но все узелки, сумки, свертки остались у них в руках.

— В сторону! Без разговоров! Молчать! — то и дело раздавалась отрывистая команда на английском языке.

Толкая заключенных прикладами и грубо бранясь, конвоиры быстро построили их в колонну и погнали по знакомой Андрею дороге к Соборной площади.

Они сопровождали колонну до самой пристани. Однако, несмотря на этот бдительный эскорт, заключенным все-таки удавалось увидеть своих близких и перебраться на ходу двумя-тремя словами. Теперь заключенные по крайней мере знали, что их ждет Мудьюг. Близкие уже успели сообщить им об этом.

Колонна шла медленно, несмотря на окрики конвоиров. Люди наслаждались даже этой призрачной волей. Хоть под конвоем, но все-таки не за тюремной стеной!

В окне маленькой, будто выросшей в землю хибарки показалась фигурка девушки, чем-то похожей на Любу. Андрею почудилось, что девушка махнула ему рукой.

На сердце у него потеплело: «Наша!» Он сказал об этом своему соседу Базыкину.

Среди женщин, бежавших сбоку по мосткам, Базыкин разыскивал свою жену Шурочку. Но ее что-то не было видно. Значит, ей ничего не известно. Неужели они даже не прощаются?

В конце длинной улицы, пересекавшей Петроградский и Троицкий проспекты, открылся горизонт. Показалась Двина. Небо вдруг потемнело. С реки подул резкий ветер. Опять хлестал дождь. Но когда колонна вышла на набережную, блеснуло солнце и в разрывах туч появился клочок неба, ясно-зеленого и прозрачного.

2

Всю ночь Шура Базыкина не спала. Не раз она подходила к тахте, на которой спали ее девочки, склонялась к изголовью, с тревогой думала: «Что же теперь будет с детьми?» Не раз она принималась плакать... Заснула Шура только под утро. Вчера она просила тюремное начальство разрешить передачу. Ей отказали. «Расстрелян? Заболел? Умирает в больнице?»

Муж ее, Николай Платонович Базыкин, работник губернского совета профсоюзов, числился за «союзной» контрразведкой, поэтому весь вчерашний день Шура потратила на то, чтобы добиться приема у начальника контрразведки полковника Торнхилла.

В конце концов англичанин принял ее. Это был высокий старик с прилизанной седой головой, крошечными усиками, с вытянутым пожелтевшим лицом. На левом рукаве его желтого френча блестело несколько сшитых углами золотых полосок. Прекрасно понимая русский язык и даже свободно на нем изъясняясь, он никогда им не пользовался. Так и сейчас, он выслушал Шуру, безукоризненно говорившую по-английски, затем, не ответив ей ни слова, вызвал своего адъютанта, молодого офицера в русских сапогах со шпорами и с аксельбантами на плече. Адъютант выпроводил Шуру из кабинета. В приемной он заявил, что на днях ей будет разрешено свидание с мужем. Но, несмотря на это, сердце Базыкиной тревожно ныло: она уже не верила в эту возможность.

...Наступило утро.

Старшая дочь, восьмилетняя Людмила, сидела за столом и пила кипяток с черным хлебом, ей надо было идти в школу. Для младшей девочки грелась манная каша.

В комнате запахло горелым. Шура бросилась к керосинке. В эту минуту в сенях кто-то постучал, дверь распахнулась, и в комнату вошла запыхавшаяся соседка.

Она взволнованно и сбивчиво рассказала Шуре о том, что партию заключенных, среди которых находится и Базыкин, отправляют сейчас на Мудьюг.

— Если хочешь повидаться, торопись... Их уже перевезли на левый берег. Заставили что-то выгружать из вагонов. Конечно, их стерегут. Но хоть издали посмотришь.

— Как же так?! — ужаснулась Шура. — Я ведь вчера была у Торхилла... Почему же он мне ничего не сказал?

— Эх, молодка, чего захотела?.. У пристани стоит транспорт «Обь». На этом транспорте их и повезут. Ну скорей, скорей, Шура! — торопила ее соседка. — А то опоздаешь... Иди, а я за ребятами пригляжу.

Шура достала зимнее пальто мужа, его барашковую шапку, валенки и связала все это в узел.

— Не надо! Ничего не надо... — сказала соседка, махнув рукой. — Тебя же все равно к нему не пропустят!

Но Шура ничего не ответила. Упрямо мотнув головой, она взвалила узел на плечи, взяла корзинку с приготовленной еще вчера едой и выбежала из дому.

Точно во сне, добежала она до пристани.

На левом берегу находились вокзал, товарная станция, склады, стояли возле причалов суда, ожидавшие погрузки. Свистели паровозы. На большом морском пароходе завывала сирена.

Чтобы попасть на левый берег даже в тихую погоду, требовалось не менее четверти часа. Сегодня же Двина будто нарочно расшумелась и тяжело катила свои побуревшие воды.

Когда Шура подбежала к перевозу, пароходик уже отходил, сходни с пристани были убраны. Причальный матрос пытался удержать Шуру, однако она вырвалась из его рук и, чуть не уронив вещи в воду, перемахнула прямо с пристани на палубу.

Пароходик был переполнен. Люди толпились на скользкой палубе и сидели на деревянных скамьях. Но Шура никого не замечала и ничего не слышала. Поста-

вив около себя корзинку и узел, крепко сжимая холодные, мокрые поручни, она стояла на корме, не чувствуя ни холода, ни осеннего ветра, пронизывающего ее до костей.

Сейчас она должна была бы давать урок английского языка в квартире адвоката Абросимова. С начала оккупации все отказались от ее уроков. Чем руководствовался Абросимов, приглашая к своим детям жену арестованного коммуниста, она не знала... Дешевой платой? Пусть эксплуатирует. Что делать, когда девочки голодают? «Ни одного дня без английского», — таково было требование. Сегодня она забыла об уроке.

Лишь одного Шура никак не могла забыть: последнего дня, проведенного вместе с мужем. Это было больше двух месяцев тому назад, но память до сих пор сохраняла каждую мелочь.

Николай пил чай. Несмотря на все, что произошло за последнее время, он не казался удрученным.

— Я не могу покинуть Архангельска... — решительно говорил он. — Я не имею права бросить рабочих. Ты, Шурик, не беспокойся. Недельки на две, на три придется куда-нибудь спрятаться. Но подполье будет организовано. Мы будем бороться.

В первый же день оккупации, второго августа, рано утром пришли с обыском. Однако Николая не арестовали. Английский офицер не знал, с кем имеет дело... Обыск делали впопыхах. Две винтовки Шура успела перенести к Потылихину, и он спрятал их в дровяном сарае. Через полчаса после ухода этого случайного патруля Николай простился с женой, побыллся, переоделся и ушел из дому. Его поймали верстах в семи от города. Вот и все, что она знала о муже. Неужели она больше не увидит его? Неужели это конец?

Вместе с толпой Шура покинула пароходик. На путях товарной станции ее нагнал какой-то железнодорожник. Молодой, даже юный вид Шуры смутил его.

— Вы жена Николая Платоновича? — спросил он.

— Да, — ответила Шура.

— Идемте! Я знаю, у какого причала стоит транспорт «Обь».

Они пролезли под вагонами, стоявшими на путях подъездной ветки. Потом железнодорожник распрощался с ней. Шура подошла к конвоирам и заговорила с ними.

Шагах в тридцати от солдат стояли заключенные. Базыкин, только что вернувшийся с погрузки, снял кепку и отирал ладонью высокий белый лоб. Он что-то оживленно говорил окружившим его заключенным. Вдруг один из них, бородатый боцман в бушлате, увидел возле солдат молодую женщину с узлом и корзинкой в руках. Вглядевшись в нее, он сказал Базыкину:

— Николай! Нияк твоя жинка?

Базыкин поднял голову.

— Шурочка! — дрогнувшим голосом крикнул он.

Услыхав голос мужа, Шура встрепенулась и, не обращая внимания на крики конвоиров, побежала к толпе заключенных.

— Коля! Милый! Родной Коля! — повторяла она, бросая вещи и обнимая мужа.

Он нежно целовал ее осунувшееся за эти два месяца лицо. Но счастье длилось не больше минуты. Подбежал подполковник Ларри, подоспели солдаты.

Они стали бить Шуру прикладами.

— Что вы делаете, негодяи?! — закричал Николай, хватая солдат за руки.

Толпа ссыльных зашумела. Некоторые из них побежали на помощь к Базыкину. Но Ларри открыл стрельбу из револьвера.

Шура крикнула: «Коленька, не надо, убьют тебя! Не надо. Прощай, Коленька!»

И уже не оглядываясь, она кинулась к железнодорожной ветке. Там Шура остановилась и увидела, как заключенных погнали к причалам. И в эту минуту Шурочка только об одном молила судьбу, чтобы Николай остался жив, чтобы его не убили.

«Какой ужас!» — думала она, глотая слезы и едва сдерживая рыдания.

Узел и корзинку, смеясь, подобрал один из солдат, и Шура поняла, что ни этой корзинки, ни теплых вещей Николай уже не увидит.

3

По распоряжению контрразведчика Ларри с пристани были удалены не только посторонние люди, но даже и грузчики. Часть заключенных по его приказу была

послана к товарным вагонам: они должны были выгрузить колючую проволоку и перетащить ее на транспорт. Теперь вся палуба транспорта была завалена бунтами колючей проволоки. Матросы на стрелах спускали их в трюм.

— Не жалеют колючки! — сказал один из заключенных и выругался.

— Видать, лагерь будет большой, — задумчиво отозвался тот самый бородатый моряк в кепке и бушлате. Это был Жемчужный. Его недавно арестовал на улице американский патруль, производивший облаву.

— Слышь, братишка... — оглядываясь на конвойных, шепнул Жемчужному матрос с «Оби». — Забери-ка мешочек... Это мы для вас приготовили. И знайте, товарищи, мы за советскую власть!

Взяв мешок в руки, Жемчужный почувствовал на ощупь, что в нем лежат несколько буханок хлеба и еще какой-то сверток.

— Спасибо, браток, — тихо проговорил он, не поднимая глаз на матроса, и обратился к заключенным: — Режь на куски, ребята, да по карманам... Дележка потом.

— Эх, ну и река, матушка-кормилица! — воскликнул, глядя на Двину, молодой заключенный матрос с белокурыми лохматыми волосами, кочегар с ледокола «Святогор». — Долго ли ты будешь томиться в неволе?.. Долго ли будешь носить на своей груди чужие, вражеские корабли?

— Не пой Лазаря, Прохвятилов, — прервал его Жемчужный. — Махорки нема?

Прохвятилов подал ему кисст.

Перед тем как взойти на пароход, заключенные столпились у трапа. Некоторые из них молча переглядывались с матросами «Оби».

Маринкин шепнул Андрею:

— Посмотрите на этих матросов! Обратите внимание на их глаза.

Андрей взглянул на нижнюю палубу, куда был перекинут трап. Там возле поручней стояли два матроса с «Оби» в грязных парусиновых робах. Ненависть и скрытая злоба чувствовались в каждой черте их словно застывших, неподвижных лиц. Они в упор глядели на английских и американских солдат.

В последнюю минуту перед отплытием на пристань прибежал какой-то военный. Он сообщил, что заключенных решено отправить не на пароходе, а на барже.

— Правильно... — с презрением сказал подполковник Ларри. — А то эта рвань еще распустит вшей. Нельзя пускать ее на один пароход с нашими солдатами.

Два взвода солдат, посылаемых на Мудьюг, остались на пароходе, а заключенных погнали на маленькую старую баржу, подтянутую к «Оби». Снова пошли в ход приклады и послышалась безобразная ругань.

— Живо! — кричали переводчики. — Не задерживайся, комиссарщина! Грузиться!

— Справа по четыре! Марш! — скомандовал Ларри. — Тихо! Не разговаривать!

Маринкину, с его распухшими, больными ногами, трудно было спускаться в трюм. Увидев, что он замешкался, Ларри засмеялся и приказал конвойному:

— Подгони прикладом этого... Не стесняйся.

Застучал пароходный винт, дернулась на тросах баржа. Через полчаса, когда проходили мимо Соломбалы, Андрей услышал с берега чей-то далекий, приглушенный расстоянием крик: «До свидания, товарищи!»

«Обь» направилась к Двинскому устью. Кроме архангельцев, на барже находились и шенкурские большевики, и коммунисты с Пинеги, и профсоюзные работники, и матросы с военных кораблей. За исключением доктора Маринкина и боцмана Жемчужного, Андрей никого не знал. С ними же он познакомился в тюрьме. Они сидели в одной камере...

И теперь Андрей не думал о будущих страданиях и уже не чувствовал себя одиноким...

Когда вышли в Белое море, баржу стало бросать. По стенкам ее заструилась вода. Жемчужный запел своим надтреснутым, ослабевшим, но все еще звучным баритоном: «Вихри враждебные веют над нами...» Песню подхватили. Тотчас конвоиры с яростью захопнули люки. Сразу пахнуло сыростью, трудно стало дышать.

Базыкин, обхватив голову руками, сидел на ящике. Он вспоминал, как Шуру прогнали прикладами, и в ярости стискивал зубы.

— Все, все припомнится вам... — хрипло бормотал он.

Группа заключенных собралась вокруг Жемчужного.

Боцман рассказывал товарищам о Мудьюге. Большинство из них не имело об этом острове никакого представления.

Жемчужный объяснил, что Мудьюг находится в Двинском заливе Белого моря, в шестидесяти верстах от Архангельска. Остров невелик и отделяется от материка так называемым Сухим морем, а точнее говоря, проливом, ширина которого в самом узком месте достигает двух верст. В двух-трех верстах от западного берега проходит фарватер. На острове пустынно и голо, только незначительная часть его площади покрыта лесами. На побережье тянутся луга. Селений нет. На южной оконечности острова стоят навигационные створные знаки и метеорологическая станция. Верстах в восьми на север от нее высится Мудьюгский маяк. Вблизи от маяка расположены батареи, защищающие подступы к Архангельску с моря.

Он рассказал, что в конце сентября на острове сменился гарнизон. Французские матросы с крейсера «Гидон» уехали на родину, и вместо них появились английские солдаты.

— Новый комендант — англичанин... Врач тоже из англичан, шкура, под стать коменданту! Не доктор, а палач... К нему и носу не кажи. Мордобоем лечит. Да еще стеклом, поганец! И люди добрые мрут в лазарете.

— Ты что пугаешь? — прикрикнул на Жемчужного один из заключенных в коротком летнем пальто, голова у него была повязана женской косынкой. — Егоров, зачем он нас пугает? Нарочно, что ли?

Плечистый, плотный мужчина с большой рыжей бородой и в дымчатых очках, к которому был обращен этот вопрос, посмотрел на своего соседа и ничего ему не ответил.

— Я не пугаю, — возразил боцман. — Навстречу опасности треба идти с открытыми глазами. Ишь, завязал уши! Заодно завяжи и глаза.

— Ты прав, Жемчужный... Надо знать все, что нас ожидает, — поддержал его Маринкин. — Но откуда ты все это знаешь?

— Докладывали ему, — высунулся опять человек в косынке.

— Моя природа такая: все знать... — с гордостью шутивым тоном проговорил Жемчужный и улыбнулся, показывая белые ровные зубы. — Знаю я и то: на Мудьюге заключенным положено получать по четыре галеты на брата, да всегда за щось такие штрафуют, и они получают по две. Знаю, после Красной Армии там остался склад ржаной муки. Все захапали союзнички да пустились в спекуляцию. Я все знаю... Даже то, что фамилия твоя Пуговицын! — со смехом проговорил он человеку в косынке. — Один выход у нас, братцы мои, — закончил боцман, — бежать с этого острова. Бежать, хлопцы...

— Жемчужный дело говорит! — крикнул молодой матрос Прохвятилов. — Бежать куда глаза глядят!

Человек в косынке, услышав эти слова, будто перепугавшись чего-то, отошел от Жемчужного.

Егоров покосился на него и тихо сказал боцману:

— Зря вы так открыто говорите о побеге. Все-таки здесь разные люди...

Эти слова задела Андрея, он посмотрел на Егорова, на Жемчужного, но боцман только махнул рукой и сказал:

— Эх, товарищ Егоров! Наше дело — бегать, их дело — ловить. А бежать все-таки треба! — шепотом прибавил он, наклоняясь к Егорову и к доктору. — Нет такой силы, шо могла бы нас сломить. И остров каторжный не сломит. Всем надо сговориться и бежать. Всем товариством.

— Верно, Жемчужный! Все это верно! — сказал Егоров. — Но прежде чем устраивать такой массовый побег, надо о многом подумать. В одиночку такое дело не делается! Прежде всего об этом не кричат... А то и сам не спасешься и других подведешь под расстрел. Надо нам и на каторге жить организованно. Понятно?

Егоров снял свои дымчатые очки.

Глядя на измученное лицо с большими синими кровоподтеками под глазами, трудно было узнать в Егорове одного из ответственных работников Шенкурска. Он пользовался любовью почти всех трудящихся уезда за прямому характера, за свою честность и скромность. Уважали его и за деловые качества, как знатока местного лесного хозяйства, и хотя Егорову давно перевалило уже за сорок, но все считали его молодым, так как

все в нем было молодо и даже большая ярко-рыжая борода не старила, а только украшала его.

После переворота какой-то мерзавец «продал» Егорова, и арестованный большевик был увезен интервентами в архангельскую тюрьму. Он сразу изменился. Только умные, живые глаза блестели по-прежнему молодого. В них чувствовалась непреклонная воля.

Егорова состарила тюремная камера. Десять дней подполковник Ларри вместе со своими подручными допрашивал его, изолируясь в пытках. От Егорова требовали, чтобы он выдал местопребывание успевших скрыться шенкурских большевиков, в частности партизана Макина, и указал склады спрятанного оружия. Десять дней Егоров молчал, но это молчание дорого обошлось ему.

Боцман знал, что в Шенкурске Егоров пользовался безграничным авторитетом. Такой же авторитет приобрел он и в тюрьме. Ему невольно подчинялись даже и не знавшие его люди.

Выслушав Егорова, Жемчужный коротко спросил:

— Дисциплинку хотите?

— Да, хочу, — ответил Егоров. — Без нее мы пропадем.

Боцман задумался.

— Добро... — негромко сказал он. — Не зря советуете.

Достав нож, ловко припрятанный при обыске, Пуговицын и Прохвятилов начали дележку хлеба. Каждый получал не больше одного куска. Прохвятилов, не глядя на куски, выкрикивал фамилии. Пуговицын выдавал.

— Интервенты будут нас так кормить, чтобы мы подошли... — горячо говорил тем временем Базыкин. — Голодом они хотят заменить массовые расстрелы. Бороться с тяжкими испытаниями, которые нас ждут, мы можем только путем организованной, взаимной поддержки. Товарищ Егоров прав... Дисциплина прежде всего.

4

Когда «Обь» приближалась к Мудьюгу, уже темнело. Трюм залило, и заключенные перебрались на палубу. Не дойдя трехсот-четырёхсот сажень до берега,

дырявая баржа наполнилась водой и застряла на мели. Ее отцепили. Пароход отошел, конвойные погрузились на лодки, а заключенным было приказано прыгать в воду. Они брели к берегу по горло в ледяной воде. На берегу их ждали солдаты. Одетый в шубу крикливый лейтенант, приняв заключенных под расписку, повел их к лагерю. Дрожа от холода в мокрой одежде, люди едва тащились по дороге. Шестые замыкали конвоиры.

Тут же, осматривая всех вновь прибывших, гарцевал на рыжем гунтере английский офицер с опущенным под подбородок лакированным ремешком фуражки...

Когда последний заключенный прошел мимо офицера, он дернул поводья и погнал лошадь вперед. Рыжий гунтер помчался по дороге, отбрасывая задними ногами жирные комья глины.

Андрей запомнил лицо этого офицера, белое и круглое, как тарелка, с выступающей вперед, точно вывернутой нижней губой.

— Кто это? — спросил он у встречного русского солдата. — Не комендант?

— Комендант... — озираясь по сторонам, уныло ответил солдат.

— Видать, и тебе здесь не сладко, — усмехнулся Жемчужный, — пан конвоир!

Кто-то из заключенных засмеялся. Солдат испуганно отскочил в сторону. Андрей подумал: «Смеяться здесь?»

Лагерь был обнесен колючей проволокой в несколько рядов. Приземистые одноэтажные бараки, сколоченные из досок, стояли на пустыре. Возле одного из этих барачков бродили люди с опухшими, изнуренными от голода лицами. Их загнали в барак, как только новая партия заключенных появилась во дворе. Неподалеку от лагеря, за колючей проволокой, чернели кладбищенские кресты.

— Видишь, Жемчужный?.. — сказал Андрей. — Это все жертвы Мудьюга.

Жемчужный взял Андрея за плечи и резким жестом повернул его к себе.

— А ну к дьяволам! Не рви душу в клочья. Мы еще поборемся, выживем, — нахмурившись, проговорил боцман. — Верь мне, хлопец.

У входа в барак стоял дородный англичанин в военном плаще. Из-под плаща виднелся красный шнур от

пистолета. Чем-то возмущаясь, крича и багровея от собственного крика, англичанин тыкал пальцем в грудь дежурного белогвардейского офицера, который должен был принять вновь прибывших.

— На обыск становись! — закричал дежурный офицер.

— В тюрьме уже обыскивали... Безобразия! — раздался голоса.

— Не разговаривать! — крикнул офицер.

После обыска заключенных погнали в барак.

Егоров остался стоять у входа.

— Ты что! — накинулся на него офицер. — Иди, а то лучшие наты расхватают.

— Я хочу поговорить с начальством. Передайте ему... — Егоров кивнул на дородного англичанина, — чтоб всей партии немедленно был выдан дневной рацион. Люди сегодня еще ничего не ели.

— Подумаешь — господа! Поголодаете денек-другой, не велика важность, ничего с вами не сделается, — ухмыльнулся офицер. — На ваше довольствие еще не заготовлены списки.

— Не заготовлены, так заготовьте... С вами говорит староста барака! Если пища не будет выдана, я не ручаюсь за порядок, — заявил Егоров. — Мы не просим. Мы требуем. Учтите это...

Не дожидаясь ответа, Егоров спокойным шагом направился в барак. Через полчаса требование его было выполнено. Очевидно, решительный тон Егорова произвел должное впечатление, и офицер, не желая, чтобы в его дежурство случились какие-либо беспорядки, приказал солдатам притащить в барак ящик с галетами и бочку с тепловатой, напоминавшей болотную тину водой. На каждого заключенного, как и предсказывал Жемчужный, пришлось по две галеты. Все-таки это была хоть какая-то пища.

На море подымался туман. Ночь вызывала страх и тоску. Разговоры среди заключенных постепенно прекратились. Усталость брала свое. Наступила тишина, которую время от времени прерывали стоны и кашель. Со двора глухо доносилась английская речь. В сенях беспрерывно, как маятник, шагал часовой.

Посередине барака стояли печи, но их никто не топил. В бараке было холодно, темно и грязно.

От одного из мудьюжан вновь прибывшие узнали лагерные распорядки. На каждого заключенного причислялась по раскладке голодная, жалкая порция. Однако и от нее мало что оставалось. Продовольственные запасы открыто расхищались комендатурой Мудьюга. Паек никогда полностью не доходил до заключенных. Голодных людей выгоняли на изнурительные работы, и солдаты, подталкивая прикладами, измывались над ними. Врач-англичанин говорил: «Есть много вредно, а свежий морской воздух вам полезен».

Умывальников и бани не было. Мыло, белье, одежда не выдавались. Нары кишели паразитами. В помещении, рассчитанном на сто человек, разместили более четырехсот. Через две-три недели после пребывания на Мудьюге одежда у заключенных превращалась в рубище, многие из них ходили босыми или заворачивали ноги в тряпки и обвязывали их веревками.

Заключенных не оставляли в покое даже ночью: врывались с обыском и все переворачивали сверху донизу. Обыски обычно сопровождалась побоями. Охрана была изможденных людей резиновыми палками.

На острове свирепствовали цинга, дизентерия, сыпной тиф, но никто не отделял больных от здоровых, и каждый день из барака выносились трупы.

Егоров и его товарищи молча выслушали этот жуткий рассказ.

Они сидели кучкой, тесно прижавшись друг к другу. Все дрожали, хотя от скопища человеческих тел в бараке стало несколько теплее. Никто уже не замечал ни духоты, ни вони, и, когда изнеможение дошло до предела, заключенные стали расходиться по нарам...

Доктор Маринкин лежал на крайних нарах возле бокового прохода. Он чувствовал себя отвратительно. Подложив под голову локоть, Маринкин, не отрывая глаз, смотрел на видневшееся в окне темное небо.

У Андрея от усталости слипались глаза, но, как ему ни хотелось спать, он не мог оставить доктора.

— Вот там должна гореть Полярная звезда... — задумчиво сказал Маринкин, показывая рукой на небо.

Доктор говорил тихо, преодолевая мучительный приступ кашля. В груди у него что-то шипело и клокотало, точно в кипящем котле.

— Я старый архангелогородец, Андрей. Я помнил эту звезду ребенком, юношей, взрослым... Сегодня она не горит. Но завтра она будет гореть! — сказал доктор, справившись наконец с кашлем. — Завтра будет... Завтра будут полыхать северные зори. Северная Аврора, как это называли в старину. Это будет, будет! — упорно, будто убеждая себя, повторял Маринкин.

Андрей приложил ладонь к его лбу. Егоров, который проходил мимо, остановился возле доктора и тоже положил руку ему на лоб.

— Да, — с грустью проговорил он.

— Плохо?.. — сказал Маринкин, приподымаясь и опираясь на себе одеяло. — Мне не выжить, я и сам знаю...

— Плохо, что вы заболели. Только это и хотел я сказать. Ничего другого, — спокойно возразил Егоров, усаживаясь возле Маринкина.

Со стороны моря вдруг донесся пронзительный вой.

— Завыли, гады! — громко, на весь барак сказал Жемчужный. Он лежал против Маринкина.

С верхних нар спрыгнул Прохвятилов.

— Это с «Оби», — по-северному окая, объяснил он. — Сирена. Тумана боятся. Пужливы больно.

Босой, в тельняшке и в подштаниках, он подошел к Андрею.

— Ну как, Андрюша?

— Ничего... Знакомлюсь с нравами освободителей от большевистского режима, — горько пошутил Андрей.

С моря опять донесся визгливый, пронзительный вой сирены. Откуда-то выскочил Пуговицын и с развевающимся на плечах одеялом побежал к дверям барака.

— Да замолчите вы! — кричал он. — Я больше не могу, проклятые!

Боцман догнал его и насильно уложил на нары.

— Спи, дурень... Чего кричишь? Не маленький, чай...

Пуговицын притих. В сенях загремели солдатские сапоги.

— Спать! Буду стрелять! — на ломаном русском языке крикнул за дверью часовой и стукнул прикладом.

— Иди спать, Андрюша... — прошептал Маринкин. — Я тоже подремлю... Теперь мне легче.

Тяжело вздохнув, он закрыл глаза.

Андрей лег, но никак не мог заснуть. Все что-то мерещилось ему... Перед глазами, точно живой, вставал Павлин Виноградов. Мать останавливалась возле изголовья и гладила его по голове, она что-то шептала, будто стараясь его успокоить. Андрей начинал дремать и вдруг проснулся мокрый, весь в поту. Затем опять засыпал. Ему снились Фролов, Валерий, огни выстрелов, и он снова просыпался. И ему слышался голос Любы...

Проснувшись, наверное, в десятый раз, Андрей увидел нагнувшегося над ним Жемчужного и пробормотал:

— Это вы, товарищ комиссар? Сейчас иду.

— Ты бредишь... — с беспокойством сказал боцман. — Занемог! И тебя хворь одолела?

— Нет, ничего... Просто что-то снилось...

Андрей с трудом поднял отяжелевшую голову.

Он спустил ноги и сел на нарах. Присев рядом с ним и обняв его за плечи, Жемчужный ласково сказал:

— Смотри не расхворайся... Послезавтра Егоров решил провести заседание партийной ячейки. У тебя билет не сохранился? Не сумел, поди, его спрятать?

— Я беспартийный, — признался Андрей, краснея и думая при этом: «Хорошо, что в темноте не видно». Волнуясь и чувствуя, что краска продолжает заливать лицо, он рассказал Жемчужному, как его допрашивали в тюрьме и как перед лицом английских и американских контрразведчиков он самовольно принял на себя звание коммуниста.

Жемчужный выслушал Андрея почти с тем же волнением, с каким тот говорил.

— Молодчина! — сказал боцман. — От сердца вышло. Завтра перекажем Егорову. Ой, сынку... Ты щирый большевик. И до сих пор молчал? Ведь ты, поди, чувствовал, как до коммунисту относились к тебе...

Наступило молчание.

— Чувствовал... Душа моя была открыта, — сказал Андрей после паузы. — А язык никак не мог говорить: «Товарищи, вы считаете меня большевиком, а я ведь беспартийный».

— Эх, хлопец... месяц мой ясный... — сказал с неожиданной лаской в голосе обычно грубоватый боцман. — Ты проще до людей подходи. Проще! И с открытой душой. С людьми, чем меньше мудришь, тем лучше, Андрюша.

И они разошлись по своим местам.

«Теперь все станет ясно», — подумал Андрей. Ему казалось, что наконец-то он вышел на дорогу, длинную, трудную, но единственно желанную. За колючей проволокой, на острове, затерянном среди бурного снежного моря, среди мглы и тумана, он будет так же бороться, как боролся по ту сторону фронта. Но теперь он будет уже коммунистом.

Подложив под голову вещевой мешок и накрывшись ватником, Андрей мгновенно уснул и до самого утра спал без сновидений, спокойным и крепким сном.

5

Утром он услышал чьи-то громкие голоса и, свесившись со своих нар, увидел Маринкина. Лицо доктора еще более опухло, глаза воспалились. Возле нар, на которых лежал Маринкин, стояли трое: американский лейтенант, а затем переводчик, сержант-белогвардеец и солдат-англичанин.

— Этот болен, — доложил солдат, указывая на Маринкина. — Не может идти на работу.

Лейтенант что-то коротко сказал переводчику.

— Встань! — приказал доктору сержант.

— Я не могу... — Маринкин опустил ноги на пол и, застонав, опять лег на нары. — Совсем ослабел...

Объясняя свою болезнь, он стал подвертывать брюки и белье, чтобы показать лейтенанту свои распухшие ноги, но тот брезгливым жестом остановил его и, что-то пробормотав себе под нос, удалился.

— Это будет записано как отказ... — заявил сержант-переводчик. — Вам дали работу более легкую, учитывая ваше состояние.

— Но я не могу двигаться.

— Ваша фамилия Латкин? — не слушая доктора, обратился переводчик к спустившемуся вниз Андрею. — Вы назначены вместе с Маринкиным.

— Мы выполним эту работу за Маринкина... — сказал Егоров, стоявший за спиной Андрея.

— Я выполню эту работу, — сказал и Андрей.

— Это неважно... — переводчик пожал плечами. — Лейтенант считает, что это отказ.

— Черт с ним, пусть считает... — насмешливо проговорил Маринкин и обернулся к Андрею. — Не расстраивайся, дорогой мой! Лучше возьми пальто... Накрой меня сверху. Знобит... Все, что можно было сделать со мной, чтобы погубить меня, они уже сделали... Теперь мне все равно.

Сержант, стоя на крыльце барака и вызывая заключенных по фамилиям, отправлял людей на работы. Работы были разные: рытье земли, пилка дров, рубка деревьев в лесу, натягивание колючей проволоки, изготовление кольев и столбов.

Андрея и Маринкина назначили на самую скверную работу: на чистку выгребных ям при доме администрации. Это было сделано совершенно сознательно. Днем к Андрею подошел комендант Мудьюга и спросил его по-русски:

— Сколько лет тебе дали?

— Я военнопленный. Суда не было.

— Жди, пока расстреляют!

Комендант, посасывая трубку, смотрел в глаза Андрею. Затем он показал на выгребную яму с нечистотами и сказал:

— Ты языком вылижешь мне все здесь!

Это был высокий толстый англичанин. В правой руке он держал длинную гибкую палку на тоненьком черном кожаном ремешке. К концу этой палки был приделан стальной гвоздь.

Губы Андрея дрогнули.

— Это что? Издевательство? — крикнул он коменданту.

— Молчать! Здесь не митинг, а каторга, — сказал комендант.

Затем он размахнулся и ударил Андрея кулаком по скуле. Андрей пошатнулся.

Толстые обрюзглые щеки коменданта затряслись. Обычно тупое, безразличное выражение его косых глаз сменилось яростью.

— Отныне ты лишен всех прав, так и знай. Не то что разговаривать, я даже мычать тебе не позволю! — закричал он. — Слышишь? Мне дана полная власть. Я могу пристрелить тебя как собаку и выбросить туда, — он указал рукой на кресты, черневшие за проволокой.

— Еще неизвестно, кто скорее будет лежать там... — тихо проговорил Андрей.

Комендант посмотрел на Андрея, как бы недоумевая, затем круто, по-военному, повернулся, вскочил на крыльцо и, хлопнув дверью, скрылся в бараке.

Вечером, после обеда — так называлась мутная водица, в которой плавало несколько крупинки риса, — к Андрею подошел Егоров и, поблескивая своими умными молодыми глазами, одобрительно сказал:

— Ценишь ты себя, Латкин... Это хорошо. Даже здесь, в этой могиле, где хотят убить все живое... Душу нам измордовать... Будем помнить, что «Человек — это звучит гордо...» Но теперь берегись! Комендант выходку твою запомнит.

— Я не боюсь, — сказал Андрей. Ему показалось, что Егоров жалеет его и как бы советует впредь быть осторожнее.

— Пойми меня правильно, — перебил Егоров. — Я не говорю тебе: береженого бог бережет... Это было бы рабством духа. Такую низость я тебе не посоветовал бы. Но душевную силу надо беречь. Не растрачивать ее попусту... Впереди еще большие дела!..

И он протянул Андрею руку.

Ночью возле больного Маринкина собрались Базыкин, Егоров, Жемчужный, Андрей. Все они пили горячую воду из консервных банок и шепотом разговаривали друг с другом. В печке трещал хворост. Его принесли заключенные, работавшие сегодня в лесу. Печная дверца была раскрыта. В жаркой полосе света, тянувшейся из печки, сидел моряк Прохвятилов и палочкой разгребал угли вокруг закопченного старого чайника. Воду грели в печи.

Андрей подошел к нарам, потом присел возле них, глядя на желтое опухшее лицо Маринкина с большими отвислыми усами. Маринкин лежал, прикрыв глаза рукой. Все черты его лица казались мертвыми. Даже дыхания не было заметно. Впавшие губы точно смерзлись.

Большая часть барака была погружена во тьму. За дощатыми стенами угрюмо стонал ледяной буйный ветер, порывами налетавший с моря.

Андрей, волнуясь и перебивая сам себя, коротко рассказал свою биографию.

— Вопросы будут? Нет... Голосуем, товарищи? — еле слышно проговорил Егоров.

Все, кроме Андрея, подняли руки. Доктор тоже шевельнул кистью руки и начал кашлять, захлебываясь.

— Клянусь до конца моей жизни быть верным членом коммунистической партии... — шептал Андрей. — Клянусь жить и бороться ради трудового народа. Клянусь отдать мою жизнь делу Ленина, борьбе за счастье рабочего класса, за счастье моей родины, за советскую власть...

Маринкин открыл глаза. Слеза скатилась по его щеке. Дрожащей рукой он коснулся волос Андрея.

— Даже здесь... — он снова закашлялся. — Даже здесь, в этом страшном лагере смерти, сияет наша звезда!.. Она осветит все человечество, Андрюша! Эта пора придет!.. И ты ее увидишь! Опять вспыхнут северные зори...

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Архангельские рабочие не забывали своих арестованных товарищей и заботились о них, как могли. Все отлично понимали, что пленникам Мудьюга грозит голодная смерть. По ночам к Шурочке Базыкиной являлись незнакомые люди. Одни из них приносили рыбу, другие — хлеб. Все это необходимо было переправить на Мудьюг. Но разрешение могла дать только контрразведка «союзного» командования.

Шурочка отправилась туда. Ее принял на этот раз французский лейтенант Бо.

В контрразведке наравне с англичанами и американцами служили и французы.

Помещалась она в центре города, в том же здании, где находился штаб Айронсайда, и официально именовалась Военным контролем. Агенты ее были разбросаны по всему фронту, но главным образом они вели работу по наблюдению за русским населением. Лейтенант Бо, бывший служащий одной из французских фирм,

имевших до революции представительство в Москве, отлично говорил по-русски, только с французской интонацией, слегка грассируя букву «р».

Вскинув на нос пенсне в золотой оправе, он нетерпеливо выслушал Шурочку.

— Напишите прошение... — сказал он, бросив на нее неприязненный взгляд.

Она написала. Офицер, недовольно шурясь, просмотрел бумажку и удалился к своему начальнику, английскому полковнику Торнхиллу. Через некоторое время Бо вернулся, и по его лицу Шурочка поняла, что разрешение получено. Теперь оставалось только сдать посылку. Но к кому следовало обратиться по этому поводу?

— Ступайте на пристань, — не глядя на Шуру, сказал лейтенант. — Там стоит лагерный пароход. Вызовите сержанта Пигалля. Он все оформит.

Полковник Торнхилл удовлетворил просьбу Базыкиной со специальной целью. Он сказал лейтенанту:

— Я это делаю вне правил, как исключение! Уверен, что через Базыкину большевики хотят наладить связь с Мудьюгом. Две-три посылки, и мы их поймем, Бо! Не спугните их сразу...

Ничего не подозревающая Шурочка взяла разрешение, зашла домой за посылкой и отправилась на пристань. Французский часовой, стоявший на пирсе, крикнул в дежурку:

— Мсье Пигалль! К вам.

Навстречу Базыкиной поднялся из-за стола сержант с кудрявой каштановой бородкой и веселыми орехового цвета глазами. Он играл в кости и, когда Шура появилась, был в выигрыше. Полы его голубовато-серой шинели были зацеплены за пояс и открывали толстые короткие ноги в таких же голубовато-серых суконных шароварах и в коричневых теплых гамашах.

Несколько секунд француз молча курил, глядя на Базыкину, затем отложил свою трубочку с длинным черенком, прочитал разрешение и принял посылку. Ему понравилась молодая красивая русская дама, так легко и свободно заговорившая с ним по-французски.

— О мадам, — улыбаясь, сказал Пигалль, — у вас почти парижский прононс... Я ведь парижанин, мадам... Вы тоже интеллигентный человек. Ах, вы учительница!

Ну, это сразу видно... Поверьте, я сделаю все, что будет в моих силах.

Перед отправкой катера лейтенант Бо вызвал к себе сержанта.

— Пигаллы! — сказал он. — Ты должен будешь просматривать каждую посылку Базыкиной... И самым тщательным образом. Понял?

— Вполне, господин лейтенант.

— Постарайся войти в доверие... к этой красотке! — Лейтенант усмехнулся.

— Постараюсь, господин лейтенант.

— Будешь сообщать мне обо всем подозрительном.

— Подозрительном?... Хорошо, господин лейтенант.

Пигалль смутился, выслушав такого рода приказа-ние: «Шпионить за этой юной дамой? Мне?»

Он даже внутренне возмущился, так как совершенно искренне считал себя социалистом.

«О нет! Необходимо избавиться от этого дела... Но как? А вот когда лейтенант увидит, что от меня мало проку, он оставит меня в покое. Да, так будет лучше всего! Это будет самый лучший выход».

Через неделю Шурочка опять пришла на пристань, и сержант Пигалль снова принял у нее посылку.

— Я имел удовольствие познакомиться с вашим мужем, с мсье Базыкиным, — любезно улыбаясь, сказал Пигалль. — Он тоже очень интеллигентный человек, хотя его французское произношение неизмеримо хуже вашего. Мы беседовали о трагическом выстреле, которым был убит наш великий Жорес. С него и началась война, этот кошмар...

«Странный француз, — подумала Шурочка. — С чего он вдруг заговорил о Жоресе?... Уж не провокатор ли?»

Но сержант добродушно улыбнулся, и видно было, что он просто рад полюбезничать с молодой женщиной. Это привносило какое-то разнообразие в надоевшую ему казарменную и лагерную жизнь. Провожая Базыкину, Пигалль сказал, что она фея и что мсье Базыкин должен быть счастлив, имея такую жену.

— Такое доброе сердце! О!.. — воскликнул француз. — И, уж конечно, вашего супруга рано или поздно освободят, хотя он и большевик...

Через две недели болтовня Пигалля стала еще непринужденнее.

— Мадам, ваш адрес? — спросил он однажды. — Я сам приду к вам за посылкой.

Шурочка вспыхнула. Но сержант зашел всего на несколько минут, подарил детям плиточку шоколада и рассказал о том, как хорошо ему жилось в мирное время, когда он служил упаковщиком парижского универсального магазина «Ла-файетт»... Затем посмотрел на Шурочку, грустно улыбнулся и, сказав, что жизнь стала слишком печальна, быстро ушел.

Пигалль шагал к пристани, еле волоча ноги не от физической, а от душевной усталости. «Какую позорную роль играю я, — думал он. — Еще счастье, что эта дама не дает мне никакого повода для доносов, но все-таки, Пигалль, стыдись! — упрекал он самого себя. — Несчастливая женщина, и сделали ее несчастной мы. Ах, Пигалль, а ведь ты когда-то кричал в кафе о героях Коммуны! Не замечать человеческое горе легче легкого. Помогите этой несчастной. Тогда ты вправе будешь называть себя социалистом».

Однажды, смертельно стосковавшись по мужу, Шура написала ему письмо на тонкой папиросной бумаге. Катышек, запачканный в рыбьей крови, был так искусно спрятан среди внутренностей рыбы, что при осмотре даже самый внимательный глаз не нашел бы в посылке ничего подозрительного, а беспечный Пигалль тем более ничего не заметил, так как и не старался искать.

Встретившись с Потылихиным на конспиративной явке, Шурочка все рассказала ему о Пигалле.

— Ты в своих записочках пишешь Николаю только о домашних делах? — спросил Максим Максимович.

— Да, только об этом.

— Ну и продолжай в том же духе. Посылки, несомненно, просматриваются... Значит, в них ничего не находят. А если и найдут, тоже не бог весть какое преступление. Ничего тебе не будет. Разве что перестанут принимать посылки.

Спустя неделю от Потылихина пришел к Шурочке старый рабочий судоремонтных мастерских Греков. Шурочка отлично знала его и вполне ему доверяла. Греков принес письмо.

— Это очень важное дело, Александра Михайловна... — сказал он. — Информационный бюллетень для

наших на Мудьюге. Его нужно отправить так же, как ты отправляешь и свои письма. По содержанию все в порядке, тоже как будто твои домашние дела. Бюллетень зашифрован. Но Коля все поймет. Конечно, риск есть, но небольшой... Что делать? Нашему брату все время приходится рисковать... Семь бед — один ответ. Перепиши это письмо своим почерком.

Шурочка с радостью на все согласилась.

Наступил ноябрь.

Поздним вечером Пигаль опять появился у Базыкиной. За чаем он вдруг вытащил из-за пазухи свой солдатский бумажник и, смущенно оглянувшись, словно в комнате могли быть еще люди, передал Шурочке записку.

— Вот, мадам, от мсье Базыкина...

Сердце у Шурочки сильно забилося. В записке не было ничего особенного. Николай Платонович благодарил жену, целовал детей. В конце было приписано: «Судьба милостива, что дала нам возможность обменяться хоть парой слов».

— Большое спасибо, — сказала побледневшая Шурочка. — Но как вы пошли на это, мсье Пигаль?

— Ах, мадам! Ведь никто не узнает! И кроме того, мы с вами не занимаемся политикой... — сказал сержант. — Если это письмо вам доставило хоть немного радости, я счастлив. Ведь моя жизнь тоже не из легких, мадам. Я состою надсмотрщиком на работах... Старшим надсмотрщиком! Пока я имею эту возможность, я готов... Вот если меня переведут, тогда...

Он развел руками.

— Мне часто приходится разговаривать и с мсье Базыкиным и с другими... Правда, мсье Егоров не говорит по-французски. Зато мсье доктор немножко говорит и помогает нам объясняться. Да и я сам теперь тоже немножко говорю по-русски. Боцман карош! — Пигаль улыбнулся. — Если соблюдать инструкции, мадам, — продолжал он, — то жить на Мудьюге нельзя. А умереть можно! В конце концов, инструкции сочиняли англичане! А мы ведь французы!

Сержант лукаво рассмеялся и пощипал свою кудрявую бородку.

Напив его чаем, Шурочка решила написать ответ Базыкину. Письмо опять было исключительно домашнего

характера. Базыкин получил его и снова ответил ей черз Пигалля.

Когда Шура пришла на конспиративную квартиру, помещавшуюся в рабочем общежитии на Смольном Буяне, ей удалось встретиться с Потылихиным, и она опять подробно рассказала ему о своей беседе с французом.

— Ты поступила правильно, — подумав, сказал Потылихин. — Если он провоцирует тебя, то ничего не добьется. Мы сами с усами, и нас на лапте не объедешь... Кроме того, ты не должна выказывать ему недоверия. Именно в том случае, если он специально подослан, опасно было бы показать, что ты не веришь ему или боишься его. А эти невинные записочки вреда нам не принесут... Ты знаешь, Шурочка, — продолжал он после короткого молчания, — может быть, тут есть и другое: возможно, что наши стали его понемножку обрабатывать. Вдруг он в самом деле втянется? Это была бы великолепная связь! Вот тогда... Но посмотрим... Торопиться не следует!

2

Остров Мудьюг, занесенный снегом, обдуваемый со всех сторон штормовыми ветрами, напоминал кладбище, окруженное ледяным оцепеневшим морем. Бараки еле отапливались, одежда на заключенных превратилась в тряпье, съестной рацион стал еще меньше, а количество работы прибавилось. Словом, все было именно так, как предполагал Базыкин.

Сообщение с Архангельском в это время года обычно прерывалось. Только ледокол «Святогор» с величайшими трудностями добирался от Мудьюга, и то не до самого Архангельска, а до станции Экономия, находящейся в пятнадцати верстах от города.

Лазарет Мудьюга был переполнен больными, лежащими вплотную друг к другу. Число крестов на кладбище увеличивалось с каждым днем. Умерших хоронили в общих могилах.

Группа шенкурца Егорова — Прохвятилов, Жемчужный, Базыкин, Маринкин, Андрей Латкин и еще несколько человек — работали на постройке погреба, как им говорили. Работы велись под наблюдением французского

сержанта Пигалля. Пигалль оказался простым, отзывчивым парнем. Он старался, чем мог, облегчить участь заключенных и, если поблизости не видно было начальства, делал им всяческие поблажки.

Однажды француз, к удивлению Базыкина, передал ему письмо от Шурочки.

Егоров и Базыкин часто разговаривали с Пигаллем, объясняя, что такое коммунизм и как протекала революция в России. Француз охотно слушал их обоих.

— Да, с буржуазией так и надо было поступать... Она ведь источник всех мерзостей, — сказал он Базыкину. — Вы правы, друзья.

— Друзья?.. — простодушно воскликнул боцман, когда Базыкин перевел ему слова Пигалля. — А сам ходишь вокруг друзей да следишь за ними. Хорош друг!

Все рассмеялись, а Пигалль печально поник головой. Но вдруг покраснел и воскликнул:

— Боже мой! Несмотря ни на что, вы мне не доверяете... Я вам докажу, вы увидите, что я не враг ваш.

Поздно вечером несколько заключенных собрались на кухне барака. Снова зашел разговор о побеге.

— Сил больше нет, — сказал матрос Прохватилов. — Надо бежать! Выберем день, когда француз будет дежурить в бараке, отпросимся, как будто ненадолго... А часовых у ворот прикончим.

— На вышке тоже часовые, — угрюмо сказал Андрей.

— Ночью выйдем, в метель. С вышки и не заметят! И к югу! А там Сухим морем.

— По пояс в снегу? — возразил Егоров.

— Да хоть по горло. Там недавно обоз проходил. Тропа, должно быть, еще есть...

— Тропа? Неделю уж метет... Ночью задует, начнет бушевать, — в десяти шагах не найдешь дороги ни вперед, ни назад... Эх ты, кочегар! — усмехнулся боцман. — Да и француз никого не выпустит. Ему, думаешь, жизнь не мила? Одно дело — немножко пособить, а другое — под расстрел из-за тебя идти. Сдурел ты, совсем сдурел... Ой, Грицко!

И Жемчужный с досадой махнул рукой.

На кухне были только свои. Пользуясь тем, что сменным «разливалыщиком» кипятка был в этот вечер Андрей, они не ушли в барак и остались здесь погреться. Даже доктор Маринкин кое-как добрался до кухни.

С каждым днем доктор становился все молчаливее, жизнь в нем постепенно угасала. Глядеть на него было страшно, он весь опух и передвигался с большим трудом, помогая себе палочкой.

Жемчужный, Базыкин, Егоров чувствовали себя не лучше доктора. Слабые, изможденные, с одутловатыми бледно-зелеными лицами, они, так же как и Маринкин, выглядели мертвецами. Андрей казался крепче остальных, хотя и у него, как он говорил, «кости стучат».

— А я все ж таки побегу, — пробормотал Прохватилов. — Замерзну — черт с ним! Где наша не пропадала! Все лучше, чем подышать тут собачьей смертью.

— Нет, Гриша, — сказал Егоров, подходя к матросу и кладя руку ему на плечо. — Я просто запрещаю тебе думать об этом. Твоя затея — безумие. Допустим, вначале нам побег удастся. А дальше? В деревнях интервенты, белые... В лесу замерзнешь. Да и десяти верст не пройдешь, как по следам всех перехватают.

Матрос пожал плечами.

— А ты не воображай, подумаешь — умнее всех, — строго сказал Жемчужный. — Ты слушай, когда тебе говорят. — Он оглядел матроса с головы до ног. — Беглец! Эх ты!.. Жалко, зеркала нет! Да много ль ты сам теперь вытынешь? Придет весна-красна...

— А до весны что? Комплекцию прибавлю? Да? — Прохватилов махнул рукой. — До весны под крест закопают. Хрен редьки не слаще. Гирю да на дно! Помирать, так с музыкой. А в общем, товарищи... Я ведь вас не неволю. Кто не хочет, не надо... Моя голова одна! Я ей хозяин.

Матрос встал и направился к дверям, но Базыкин загородил ему дорогу:

— Ты член партии?

— Ну? Ну и что?! — закричал Прохватилов.

— А то, что ты не имеешь права поступать так, как тебе заблагорассудится... Ты забыл, что у нас, хоть мы и на Мудьюге, тоже есть дисциплина. И мы обещали товарищу Егорову ее поддерживать!

— Дальше что? — глядя на Базыкина мутными от озлобления глазами, спросил Прохватилов.

— Дальше вот что, — негодуя, ответил Базыкин. — Твой побег вызовет репрессию... Ты подведешь других заключенных. Понятно?

Матрос тяжело дышал и озираясь на товарищей.
— Ты поступаешь как анархист, — продолжал возмущаться Базыкин.

— Погоди, Николай Платонович. — Егоров мягко остановил его. — Дай Григорию отдышаться. Он бог весть чего наговорил, а теперь и сам не рад... Так, что ли, Григорий?

— Оскорблять я, конечно, никого не хотел, — забормotal матрос. — А вот вам непонятно, что я до точки дошел, — уже громко заговорил он, и в голосе его опять зазвучала злоба. — Не три, не четыре, а, может, десять атмосфер во мне кипят... Это вы можете понять?

— Я все понимаю... — тихо, но властно сказал Егоров. — Я все понимаю и в то же время категорически запрещаю тебе не то что бежать, а даже думать о побеге. Сейчас у нас только одна задача: дожить до весны. На прошлой неделе я через Шурочку Базыкину получил зашифрованную записку. В феврале будут деньги, усилятся помощь арестованным и широко развернется подпольная работа нашей партийной организации. Здесь, в лагере, мы тоже должны объединять людей. На то мы и большевики. Организация, выдержка! Вот готовиться к массовому восстанию в лагере — это дело... Это будет бой, а не какой-то несчастный побег двух или трех заключенных. Вот к чему мы должны стремиться, товарищи! К настоящему бою! — Голос Егорова зазвенел. — Мы, каторжные мудьюжане, дадим бой врагу... Мы должны дать бой, чтобы победить, чтобы в Архангельске вся иностранная шатия схватилась за голову! Чтобы они там почувствовали: нет ничего крепче, чем русский коммунист... Все равно не убьешь! Никогда!

— Для того чтобы подготовить такое восстание, — тяжело переводя дыхание, продолжал Егоров, — надо подыскивать верных людей. Надо крепче наладить связь с подпольщиками Архангельска... И все это мы сделаем! — твердо сказал он.

— Андрюшка, а ты как? — обратился матрос к Латкину. — Со стариками каши не сваришь. Мы молодые... Пойдем! Неужели в жизни да в смерти не волен человек? Рискнем, Андрей! Смелость города берет!

Маринкин взял матроса за плечи, будто желая отвести его в сторону.

Прохватилов запротестовал:

— Не замай, батя!.. Я Андрею говорю. Пускай он выскажется. Не малое дитё!

— Нет, я не позволю тебе его агитировать! — тихо, но внятно сказал Маринкин. — Я тебе отвечу за Андрея, я знаю, что он скажет...

— Я внимательно слушал тебя, Григорий, — заговорил Андрей, — и вот что я тебе скажу: не годится бросать товарищей в беде. Это раз. А два... Прежде чем говорить о побеге, нам действительно надо сплотиться... Надо чтобы не только ты, я, товарищ Егоров, не несколько человек, а сотни заключенных поднялись против тюремщиков. Это труднее, но и убедительнее того, что ты задумал. Здесь не отчаянье нужно, а мужество. Ты понял меня, Гриша?

Матрос хотел что-то возразить, но вдруг нагнулся, достал из-под лавки упавшую бескозырку и хлопнул ею по столу. Пробормотав что-то невнятное, он вышел из кухни, шаркая ногами и переваливаясь, будто шел по палубе.

— Эхма... знаю я, откуда у парня этот дух, — сказал Егорову Жемчужный. — От Яшки Козырева из второго барака.

— Возможно... — задумчиво ответил Егоров. — Я знаю Козырева! Это ведь наш, шенкурский! Грузчик. Набросился на американца с ножом — и угодил на Мудьюг. По пьяному делу. Храбрость от градусов!

3

Потылихин был первым человеком, совершившим трудное путешествие из Архангельска в Вологду и обратно.

Перейдя линию фронта и добравшись до Вологды, он сразу же направился в штаб Шестой армии, разместившейся в здании гостиницы «Золотой якорь».

Потылихин сидел в номере Гриневой, члена Военного совета армии и секретаря партийной организации штаба.

Стены номера были заклеены приказами, расписаниями, плакатами. Железная койка, застеленная одеялом из старого шинельного сукна, стояла рядом с канцелярским столом. То и дело звонил телефон.

Анна Николаевна молча слушала Потылихина. Не надо было долго разглядывать этого человека в рваной, насквозь промокшей одежде, чтобы понять, как много он пережил.

«Да, вот Архангельск», — думала Гринева, и сердце у нее сжалось.

Словно угадав, о чем она думает, Потылихин покачал головой.

— Да, наш Архангельск, — сказал он, — красавец Архангельск! Его теперь не узнать. Расстрелы, голод... И грабеж, невиданный грабеж. Всю осень приходили иностранные корабли, а в декабре стали вывозить на ледоколах. Грузчиков заставляли работать под угрозой расстрела. Увозят все, что только можно. За несколько месяцев ограбили край дочиستا, на сотни миллионов рублей. Все вывозят. Наехали всякие иностранные экспортеры — американцы, англичане... И наше отечественное купечество им отлично помогает... Есть в Архангельске некий господин Кыркалов, бывший лесопромышленник и лесозаводчик. Интервенты вернули ему его заводы. И он разбазаривает все то, что было заготовлено уже при советской власти. Однажды стою я у лесных причалов. Кыркалов сам наблюдает за погрузкой леса на американский пароход. Старый грузчик, видимо давний его знакомый, спрашивает: «Не жалко вам русского добра?» А Кыркалов отвечает: «Чего его жалеть? Деньги не пахнут!» На следующий день приходят из контрразведки и волокут грузчика в тюрьму. Так и живем.

Он схватился за голову.

— Когда расстреливали Степана Ларионова, командира красногвардейцев Печоры, вместе с ним расстреляли еще пять товарищей. Казнили публично, во дворе архангельской тюрьмы, стреляли иностранные офицеры на глазах у всех заключенных. Перед расстрелом Ларри спросил у Степана, не желает ли он, чтобы ему завязали глаза. Степан спокойно и с презрением ответил: «Если тебе стыдно, палач, завяжи себе глаза, а мы сумеем умереть и с открытыми глазами». Это еще можно понять, товарищ Гринева, они хотели запугать нас, мстили большевикам. А вот на Троицком проспекте они расстреляли ни в чем не повинную девочку... Ночью она бежала к доктору, мать у нее заболела... Пропуска, конечно, не было. И ее тут же пристрелили, неподалеку от Гагарин-

ского сквера. Недавно сожгли целую деревню на Двинском фронте. Американские солдаты испугались какого-то звука, похожего на выстрел... и теперь двести крестьян остались без крова. На улицах Архангельска солдаты и особенно офицеры экспедиционного корпуса бесчинствуют, хватают девушек, уводят в казармы либо на свои квартиры. Что там делается — страшно сказать! А через сутки или через двое выбрасывают их на улицу, что падала... полумертвых. И все это без всякого стеснения.

Он побледнел.

— Душно... Я вот приехал сюда, надышаться не могу.

— Как вам удалось перебраться через фронт? — участливо спросила Гринева.

— До Шенкурска я доехал, а дальше — тысяча и одна ночь. Не верится, что все уже позади. И вы знаете, товарищ Гринева, что меня особенно подхлестнуло? Шурин одного из наших товарищей служит в тюрьме надзирателем. Он сообщил нам о пленных комиссарах, сосланных на Мудьюг.

— А фамилии пленных комиссаров не помните? — спросила Гринева.

— Только одну: Латкин, бывший студент.

— Латкин? — повторила Гринева, заглядывая в бумаги и перелистывая их. — Откуда он? С Двины?

— Да, как будто с Двины.

— Такого комиссара у меня в списке нет. Ну мы это выясним. А вы как уцелели?

— Случайно, Анна Николаевна... Совершенно случайно... — сказал Потылихин, улыбаясь и разводя руками. — Пофартило, как говорится. Знакомые ребята, рабочие на Смольном Буяне, спрятали меня в своем бараке. Ведь в первые дни интервенты и белогвардейцы хватали всех нас прямо по списку. Правда, Коля Базыкин, Николай Платонович, — поправился Потылихин, — при первом обыске уцелел... Однако тут же его поймали под Архангельском. Зенькович погиб... А ведь они должны были организовать подполье.

Гринева с волнением выслушала рассказ Потылихина о гибели губвоенкома Зеньковича и телеграфиста Оленина. Потом она попросила составить ей список всех коммунистов, арестованных и оставшихся в Архангельске.

— На свободе нас только шестьдесят человек.
— Подпольный комитет у вас организован?
— А как же... Но мы считаем его временным... Ведь после занятия Архангельска нам пришлось работать в одиночку. Пошли аресты, преследования. Но в ноябре нам удалось организовать подпольные группы на Экономии, в Маймаксе, Исакогорке, Бакарице, на Быку и в Соломбале. Сумели даже объединиться и вот недавно избрали партийный комитет из трех человек... Во главе его стоит Чесноков, старый грузчик, друг Павлина Федоровича Виноградова... Хороший агитатор, организатор и массовик. Человек самостоятельный, свой... Авторитетный мужик, особенно среди рабочих транспорта и судоремонтных мастерских... Наметили выпуск прокламаций. Организуем подпольную типографию.

— Во всем этом мы вам поможем, — сказала Гринева. — А как настроение у народа?

— Ненавидят интервентов лютой ненавистью. Недавно железнодорожники забастовку объявили. Требования были экономические, но каждый понимал, что за ними стоит. К весне, я думаю, мы скажем: «Идет, гудет зеленый шум, весенний шум...»

— К весне? Нет. Надо спешить. Надо бороться с интервентами, не щадя жизни. Нам придется поторопить весеннюю грозу. — Гринева улыбнулась, и ее усталое лицо сразу помолодело. — Большевики, Максим Максимович, должны научиться управлять и стихиями... Народ, томящийся под гнетом интервентов, должен знать, что есть сила, организация, которая освободит его. Я понимаю, что вы сейчас не можете развернуть работу в широком масштабе. Но вы обязаны делать все возможное. Пусть это будут пока только искры. Помните, как Ильич говорил: «Из искры возгорится пламя!»? А ведь тогда были, казалось, беспросветные годы... Годы царской реакции... Вот и товарищ Сталин работал в Баку и в Батуме, всегда вместе с рабочими... Как он работал в подполье царского времени... Не ждал!

В стену постучали.

Потылихин поднялся со стула.

— Нет, посидите еще, — остановила его Гринева, тоже вставая. — Меня вызывают к прямому проводу. — Дотронувшись до плеча своего собеседника, она опять усадила его в кресло. — Я скоро вернусь. Мне еще надо

с вами о многом поговорить... Сейчас я попрошу, чтобы нам дали чаю. — Она торопливо вышла из номера.

...Через несколько дней после встречи с Гриневой Потылихин снова перешел линию фронта и попал в одну из деревень, неподалеку от станции Обозерской. Теперь здесь стояли английские части. Вологда снабдила его надежными документами с визой «союзной» контрразведки. Документы были настолько надежны, что он даже рискнул предъявить их англичанам. Английский комендант поставил печать. Потылихин сел в поезд и благополучно добрался до Архангельска.

Вид Архангельска поразил Максима Максимовича. За прошедшие две недели город резко изменился. Душу из него вынули еще раньше, несколько месяцев тому назад, в августе. Но теперь он был точно береза, с которой ветер сорвал последнюю листву, и стоит она, как скелет, протянув свои заледеневшие сучья, и словно молит о помощи.

Между левым и правым берегом ходил пароходик по пробитому среди льдов фарватеру. Но на перевозе было пусто, пусто было и на пароходике. Немногие пассажиры, что сидели в общей каюте, скрываясь от студеного ветра, боязливо озирались на солдат в иностранных шинелях. Эти чувствовали себя победителями, гоготали и глядели на местных жителей с таким видом, который говорил: «Ну что, еще живешь? Смотри. Что захочу, то и сделаю с тобой».

На городской пристани патрули, проверяя пропуска, беззастенчиво обыскивали пассажиров.

Снег, который так любил Максим Максимович, сейчас казался ему погребальным покровом. Даже трамваи звенели как-то под сурдинку. Прохожие либо брели, опустив головы, либо неслись опрометью, не оглядываясь по сторонам, будто боясь погони.

Проехавший по Троицкому проспекту автомобиль только подчеркнул отсутствие общего движения. «Да, все оцепенело», — подумал Потылихин...

Перебравшись на другую квартиру, он устроился конторщиком при штабных мастерских, где работал столяром Дементий Силин, большевик из Холмогор.

Силина никто в Архангельске не знал. Да и трудно было себе представить, что этот румяный старичок с

трубочкой в зубах, балагур и любитель выпить, имеет хоть какое-нибудь отношение к политике.

Потылихина сейчас невозможно было встретить на улице, в центре Архангельска; особенно днем он избегал появляться. В Соломбале же вообще никогда не показывался.

Дементий иногда встречался с Чесноковым и другими архангельскими подпольщиками. Местом встреч обычно служил Рыбный рынок или конспиративная квартира в рабочем бараке на Смольном Буяне.

В середине января Чесноков через Дементия назначил Потылихину встречу на Смольном Буяне. Он просил зайти и Шурочку.

Чесноков пришел раньше условленного времени. Но Базыкина уже была на месте.

— Давно, Шурик, я тебя не видел, соскучился, поглядеться захотелось... — сказал Чесноков, оглядывая ее похудевшую фигуру. — Вещи, говорят, распродаешь?

— Да распродавать уже нечего, — горестно ответила Шурочка.

— Я деньги тебе принес... Мало... Но больше нет. А в феврале, Шурик, поможем по-настоящему.

— Не надо, Аркадий... Я от Абросимова получу за уроки. Не надо!

— Знаю, сколько получишь... Ребят надо кормить! Да и ты, смотри-ка... будто сквозная стала. Бедная ты моя Шурка. Но ничего. Перетерпим!

Он вручил Шурочке деньги и ласково потрепал ее по плечу.

Правый глаз у Чеснокова был живой, быстрый, а левый, чуть не выбитый три года тому назад оборвавшимся тросом, болел. Чеснокову раньше приходилось носить черную повязку. Сейчас он ее снял — она слишком привлекала бы внимание — и отпустил большие висячие усы, «полицейские», как он говорил. Конспирации помогало еще и то, что в Архангельске Чеснокова знали очень немногие. Он был родом из Либавы и появился здесь только летом 1917 года.

Жил он теперь за городом по чужому паспорту, работал в лесопромышленной артели. Никто, кроме самых близких людей, не узнавал в малообщительном, степенном счетоводе прежнего Чеснокова, старого коммуниста и депутата Архангельского Совета...

— От своих что-нибудь имеешь? — спросила его Шурочка.

— Ничего, — Чесноков вздохнул. — Знаю только то, что рассказал Потылихин: живут в Котласе.

Они помолчали.

— А праздник девочкам ты все-таки устроила! Хороша елочка?

— А ты откуда знаешь?

— Знаю... Молодчина! Надо было их побаловать...

— Принес неизвестный какой-то человек, — зарумянившись, отозвалась Шурочка. — Накануне рождества. В сочельник. Никого из нас дома не было. И записочка приколотая: «А. М. Базыкиной». Для девочек это было огромной радостью... Словно действительно дед-мороз побывал.

Чесноков усмехнулся.

— Да уж не ты ли это, Чесноков? — пристально посмотрев на него, спросила Шура. — Или Греков?

— Нет, не я и не Греков... Честное слово, не я, но ребята мои... Транспортники... Ты знаешь, Шура... Вот сейчас, в дни бедствия, особенно ясно, как ребята нами дорожат. У самих ведь в кармане вошь на аркане, а собирают деньги для заключенных. Вчера опять передали деньги от рабочих судоремонтного завода. Это не шутка!

Наконец пришел и Потылихин. Чесноков отвел его в дальний угол комнаты к окну, и они стали тихо разговаривать.

— Я вызвал тебя вот зачем, — начал Чесноков. — Нам надо устроить явку в самом ходовом месте. В центре! Чтобы могло собираться несколько человек сразу... И чтобы хвоста за собой не иметь.

— Ты уж не о нашей ли мастерской? — спросил Потылихин.

— Именно. Ведь у вас как будто и гражданские заказы принимают.

— Принимают.

— Чего же лучше!.. Вот и ширма! Но дело не только в этом. Надо встретиться судоремонтникам-большевикам. Соломбала — окраина, и частные дома там как на блюде. Надо выбрать какое-нибудь официальное место. Здесь, в центре, гделюдно... Ну, понимаешь! За вашей мастерской ведь никакого наблюдения?

— Никакого.

— А как ты сюда пришел?
— Да уж не беспокойся, я конспирацию знаю. — Потылихин улыбнулся. — Задами... И через забор!
— Ты сейчас должен быть как стеклышко.
— Я и есть как стеклышко. — Потылихин засмеялся. — Меня даже военное начальство уважает! Господа офицеры всегда со мной за руку... Полная благонадежность!
— Так вот, можно ли у вас в мастерской собрание организовать?
— Дерзкий ты человек!
— А что ж, Максимыч! Дерзость иногда бывает самым верным расчетом.

Чесноков встал.
— Эту дерзость я со всех точек зрения обдумал... Никому никогда в голову не придет, что почти в самом сердце врага, в военной мастерской, собираются большевики. Когда у вас кончается работа?
— Солдаты уходят после пяти. Начальство позже четырех редко засиживается...
— Значит, в восемь или в девять можно назначать собрание! Да ты не беспокойся, я за народ ручаюсь... — сказал Чесноков, заметив, что осторожный Максим Максимович колеблется.

— Коли ручаешься, хорошо... Будет сделано. А когда предполагаешь?

— На будущей неделе. Я тебе сообщу через Дементия. И приготовь-ка, Максимыч, доклад... — сказал Чесноков, набивая махоркой глиняную трубочку. — Тема — общее положение. Да не у нас, а в стране... Что делается на юге, на Восточном фронте... Надо, чтобы товарищи знали о работе Ленина. То, что происходит у нас в Архангельске, мы и без доклада знаем. Расскажи, что видел в Вологде... Как строится Красная Армия... Надо, чтобы доклад у тебя был боевой... крепкий, бодрый. Чтобы он поднял настроение у людей.

— Понятно!

Они отошли от окна. Шурочка с тревогой вглядывалась в их лица.

— На Мудьюге как будто что-то случилось, — сказал Потылихин. — Подробности мне еще не известны... На днях обещались сообщить.

Шура побледнела.

— На Мудьюге? — переспросила она дрогнувшим голосом.

— Ничего особенного, Шурочка, — успокаивающе заговорил Потылихин. — Туда ездила комиссия из контрразведки. Какой-то неудачный побег... Вот и все!

— Фамилии какие-нибудь назывались? — спросила Шура.

— Козырев какой-то... Будь спокойна, Колю не называли.

— И Пигалль давно не приходил, — прошептала Шурочка, кусая посеревшие губы. — Вот уже три недели...

— Это еще ничего не значит, — сказал Чесноков. — Возьми себя в руки.

— С Колей плохо... — нервно сказала Шура. Она несколько раз прошлась взад-вперед по комнате. — Я это сразу почувствовала, как только Максим Максимович заикнулся о Мудьюге. Неужели расстреляли? Или привезли сюда, чтобы пытаться?..

Шурочка, вернувшись домой, как всегда, ласково поговорила с детьми, покормила их ужином, уложила спать, сама легла, но заснуть ей никак не удавалось. Перед глазами все время словно падал снег, высились какие-то скалы, шумели, сталкиваясь, ледяные глыбы, чернели волны и в снежной пелене мерещился загадочный, страшный Мудьюг.

Утром она отправилась в контрразведку. Солдаты, которым, очевидно, только что дали виски, выходили из комендатуры с багровыми лицами и пели непристойную песенку. Один из них, проходя мимо Шуры, ущипнул ее за подбородок и сказал: «Ну что, красотка, поедem с нами веселиться!»

Шура в ужасе отшатнулась. Солдаты с хохотом влезали в кузов грузовика. Кучка женщин и мужчин, добивавшихся чего-то у коменданта, смотрела на все это остекленевшими глазами.

4

После долгих просьб и переговоров ее, наконец, пропустили; но не к лейтенанту Бо и не к начальнику контрразведки Торнхиллу, а к подполковнику Ларри.

Покойно сидя в кресле, Ларри курил сигарету. Его замороженное лицо ничего не выражало. Глядя на него, Шурочка заволновалась.

— Я прошу вас только принять посылку... Я узнала, что завтра на Мудьюг пойдет ледокол... Это мне сказали в порту. Нельзя ли воспользоваться этой оказией?

Разговор шел по-английски.

— Раньше мне разрешали, — прибавила Шурочка.

Губы у нее пересохли, но глаза смотрели на Ларри с таким же спокойствием, с каким и он смотрел на нее. Они словно состязались. «Я заставлю тебя дать мне разрешение, — думала Шура. — А если что-нибудь случилось, ты расскажешь мне, в чем дело».

В соседней комнате, где сидел лейтенант Бо, послышался какой-то шум. Дверь отворилась, и через комнату прошли два английских солдата-конвоира с винтовками. Между ними шел Пигалль. Вид у него был очень жалкий, он весь как будто съежился; лицо Пигалля пересекали три тонкие, уже запекшиеся полоски от удара стеклом.

— О мадам! — почти не двигая губами, пролепетал француз и прошел мимо Шурочки.

Ларри поморщился. Ему было досадно, что Базыкина увидела арестованного сержанта.

— Вы подкупили нашего солдата, — сказал Ларри. — Он перевозил вам письма.

— Я не подкупала его, — бледнея и стискивая пальцы, проговорила Шурочка.

— Значит, он сочувствовал вам?

— Мы никогда не говорили о политике.

— Мы его расстреляем. Где вы с ним познакомились?

— Меня направил к нему лейтенант Бо.

Ларри встал.

— Где мой муж? — спросила Шурочка.

— Здесь. В тюрьме.

«Здесь?! Господи... А Максим не знал!» — подумала она.

— До свидания! — резко сказал Ларри.

Шура вышла из приемной, стараясь держаться как можно прямее, не теряя достоинства.

Архангельские газеты писали: «Большевики под Пермью разбиты, недалек тот час, когда войска Колчака соединятся с нашими северными войсками». «Третья большевистская армия панически бежит. Легионы чехословаков скоро появятся не только в Котласе, но и на берегах Двины. Тогда большевикам будет крышка!»

Эти предсказания вызывали бурный восторг у иностранцев. На заборах висели плакаты: «Рождество Христово! Не забудьте: сбор рождественского сухаря для солдат Северного фронта продолжается». Зимние праздники проходили шумно, конечно не на рабочих окраинах, а в Немецкой слободе, где жили главным образом купцы и промышленники.

В кафе «Париж» толпилось офицерство, иностранное и белогвардейское.

Белогвардейцы — юнкера из недавно открытой школы прапорщиков — в желтых английских шинелях, со штыками на поясах, стайками прогуливались возле кино, которое называлось тогда «синематографом». Всюду можно было встретить английских, американских и французских солдат. Город наводнили иностранцы. Белые солдаты запертыми сидели в казармах.

Шурочка, выйдя из здания контрразведки, не замечала этого «праздничного» оживления. «Куда идти? Надо увидеть Дементия и передать ему, что Николая привезли в Архангельск».

Она села в трамвайный вагон и, уже выйдя из него, вдруг вспомнила, что ей нужно на урок к Абросимову, перешла на другую сторону трамвайного пути и села в трамвай, идущий в обратную сторону.

В голове все путалось.

«Не сдавайся, Шурка! — говорила она себе. — Возьми себя в руки».

В красивом особняке Абросимова было тихо, только в классной комнате в ожидании учительницы вполголоса переговаривались мальчики.

В кабинете Абросимова все было добротно и прочно: кресла, письменные принадлежности, книжные шкафы и даже портреты светил адвокатуры — Плевако, князя Урусова, Карабчевского и других.

Хозяин, одетый по-домашнему, в халате и мягких туфлях, сидел за большим письменным столом. Рядом на маленьком столике остывал стакан крепкого чая.

Абросимов всю жизнь вел гражданские дела и считался одним из лучших специалистов по торговому праву. В его доме все как бы говорило: «Не думайте, что я какой-нибудь купчишка вроде тех, чьи интересы мне приходится защищать! Я интеллигентный человек, мне дороги высокие идеалы!» За ужинами и обедами здесь много говорилось о прогрессе русской общественной мысли и традициях русской интеллигенции. Все дышало благопристойностью, и в то же время все было фальшиво от начала до конца.

Короче говоря, это был совершенно чужой, враждебный дом, и Шурочка приходила сюда, точно на казнь.

Заведующий Управлением внешней торговли Северного правительства сегодня прислал Абросимову объемистый пакет. Он ничего не смыслил ни в экспорте, ни в импорте и поручал рассмотрение важных дел своему приятелю адвокату.

Вскрыв пакет, Абросимов прежде всего занялся документами по экспорту. Из них было видно, что стоимость грузов, вывезенных американцами, англичанами и французами в навигацию 1918 года, то есть всего за три месяца, составляет почти пять миллионов фунтов стерлингов. Иностранные фирмы вывозили лен, пеньку, паклю, свекловичное и льняное семя, спичечную соломку, фанеру, щетину, поташ, смолу, шкуры, мех. Все это они брали даром, в счет процентов «по русскому государственному долгу».

«Ловко! Одним махом окупили все расходы по интервенции... Ну и союзнички! Вот братья-разбойники... — весело думал Абросимов. — К тому же цифры наверняка преуменьшены».

Развернув новую пачку документов, Абросимов увидел, что не ошибся. Данные таможи в три раза превышали цифры Управления. На вывоз шли еще лесные материалы, скипидар, спирт, кожа.

Внимание адвоката привлек проект, разработанный антарктическим путешественником англичанином Шекльтоном. Шекльтон предлагал организовать общество для эксплуатации естественных богатств Кольского полуострова. Проект предусматривал аренду земли в Мурман-

ске и на Кольском полуострове, разработку найденных минеральных богатств, право покупки железных дорог по минимальной цене, право на рыбные ловли, на постройку лесопильных заводов, на установку электрических станций при порогах и водопадах.

Откинувшись на спинку кресла, Абросимов прикинул, какие выгоды сулит ему это дело: консультационные, комиссионные, оформление бумаг по продаже, проценты по сделкам, неофициальные расходы. «Да, это грандиозно...»

В дверь постучали. Вошла Шурочка и сказала, что сегодня ей придется кончить урок раньше времени.

— В гости, наверное? — любезно улыбнулся Абросимов.

Шурочка отрицательно покачала головой.

— Нет, Георгий Гаврилович... Серьезное дело.

— Не по поводу ли вашего супруга?

Шурочка покраснела.

— В первую очередь надо добросовестно исполнять свои обязанности. Мы ведь условились, что урок будет продолжаться полтора часа, — сухо сказал адвокат и отпустил ее.

Шурочке хотелось крикнуть ему: «Мерзавец!» Однако она вежливо попрощалась и вышла, плотно закрыв за собой дверь.

Когда Базыкина, выйдя на улицу, пересекала площадь, мимо нее пронеслась пара лошадей, покрытых синей сеткой. В санках сидел представительный генерал. Несмотря на мороз, он был в тонкой, летней шинели. За санками следовала конная охрана — четыре ингуша из отряда Берса в бурках и мохнатых черных папахах.

Генерал Миллер, ставленник Колчака, рослый сорокачетырехлетний франтоватый немец, появился в Архангельске всего три дня назад. Почти весь 1918 год он провел в Италии на должности военного атташе старого, еще царского времени посольства.

Чаплина в Архангельске уже никто не помнил. Другой командующий, маленький генерал Марушевский, канцелярский педант с белыми штабными аксельбантами, тоже отошел на второй план. Теперь всеми белыми войсками командовал Миллер; он же был назначен и местным генерал-губернатором. Миллер назывался главнокомандующим; Марушевский — просто командующим,

так как называть его начальником штаба было неудобно.

Старого Фредерика Пуля отозвали в Лондон — он не поладил с Френсисом, — и вместо него в Архангельск прибыл Эдмунд Айронсайд, один из самых молодых генералов британской армии.

При первой же встрече с Айронсайдом Миллер ощутил в нем соперника, и все в Архангельске сразу ему не понравилось: люди, природа, штабные взаимоотношения, зависимость от дипломатического корпуса. Хотя Френсис уже уехал, но американская миссия осталась, союзное командование тоже осталось, и теперь подлинным главнокомандующим вообще всеми войсками был, конечно, Айронсайд. Миллер часто вспоминал теперь о своей безмятежной жизни в Риме. Он вспоминал свои светские знакомства, большие прохладные кафе, верховые поездки по Аппиевой дороге. «Какое там было солнце, боже мой!.. И зачем я приехал сюда, в эту проклятую Россию?»

Сидя в санках, Миллер с тоской и ненавистью глядел на архангельское небо, точно укутанное в дымную вату. Санки проехали площадь с бронзовым памятником Ломоносову, чуть не раздавив какую-то молодую женщину, и подкатили к двухэтажному белому особняку. На маленьком балконе второго этажа стояли два пулемета, стволы которых были направлены в обе стороны проспекта. У ворот дежурили часовые.

Окна в спальне жены были уже освещены. Миллер рассердился: «Сколько раз надо говорить, чтобы закрывали окна портьерами! Мало ли что может быть! Еще бросят бомбу в освещенное окно!..»

— На кра-ул! — раздалась команда.

Ворота распахнулись, и санки въехали во двор.

6

В приемной, сидя на диванчике, ждал Миллера полковник Брагин, низенький, толстобрюхий, с распущенными, как бакенбарды, усами и заплывшими глазками. Увидев генерала, Брагин молодцевато вскочил и даже приподнялся на носки.

Доклад был назначен в домашнем кабинете. Сегодня Миллер интересовался настроениями в армии.

— Многие наши офицеры вырвались из объятий Чека, ваше превосходительство, — докладывал Брагин, стоя навтыжку перед опустившимся в кресло генералом. — Многие бренчали на балалайках в ресторанах Стокгольма. Их чувства ясны, ваше превосходительство! Их нужда гонит.

«Выражаешься ты черт знает как...» — подумал генерал.

— Ну, а рядовые?

Брагин провел пальцами по лбу.

— Не очень надежны, ваше превосходительство. Недавно мобилизованные шли в армию чуть ли не под огнем пулеметов.

— Почему?

— Агитаторы! Кричат, что возвращается власть помещиков и кулаков...

— Ловить, сажать, расстреливать!

— Делаем, ваше превосходительство.

«Ну, это я устрою, — подумал генерал. — Я буду действовать без пощады».

Он встал с кресла, прошелся по кабинету и спросил:

— А что произошло тут в декабре? Что за бунт? Что за безобразие? Генерал Марушевский мне докладывал, но хотелось бы знать поподробнее.

— Владимиру Владимировичу неприятно об этом говорить. Не предусмотрел! Проморгал!

— Вы присядьте, полковник, — предложил Миллер.

Он протянул Брагину серебряный портсигар. Полковник закурил и стал рассказывать о том, как одиннадцатого декабря несколько рот Архангельского полка должны были уйти на фронт и как утром вместо молебна возник солдатский митинг и люди, расхватав оружие, заявили офицерам, что не желают воевать.

— Пикантнее всего то, — сказал Брагин, — что первыми узнали о мятеже не мы, а генерал Айронсайд и «союзная» контрразведка.

Генерал нахмурился.

— Разрешите дальше? Мы приказали мятежникам выходить. Никого! Никто не вышел. Мятежники открыли огонь из окон, с чердаков. Тогда по приказанию генерала Марушевского мы окружили казармы и открыли

огонь из бомбометов. Это было зрелище! Подавили их артиллерией.

— И все это вы взяли на себя?.. Справились собственными силами?

— Никак нет! То есть не совсем, — Брагин смутился. — Собственно говоря, за нашей спиной стояла английская морская пехота. И, насколько помнится... американские стрелки с пулеметами и легкими орудиями.

— Гм... — промычал Миллер. — Ну, дальше.

— Был дан второй приказ: выдать зачинщиков. В противном случае расстрел каждого десятого из шеренги. Но никто не выдал! Через два часа мы расстреляли тринадцать человек. Было тринадцать шеренг.

— Кто был расстрелян? Большевики?

— Никак нет.

— Они скрылись?

— Никак нет... Если бы это дело подняли большевики, полк спокойно выехал бы на фронт.. А уж там, на фронте, он перешел бы на сторону красных. Вот как поступили бы большевики. Но, к счастью, их не было, ваше превосходительство.

«А ведь он неглуп...» — подумал Миллер.

— Так что ж, выходит, зря расстреляли? — спросил он.

— Зря, ваше превосходительство. Выпороть бы!

— Вот это правильно, — пробормотал генерал. — Наши предки были не глупее нас... Драли! Оттого и было тихо. А как пошли реформы...

— Еще одно срочное дело, ваше превосходительство, — почтительно напомнил полковник. — На станцию Экономия с Мудьюга пришел ледокол. Доставил арестованных большевиков.

Полковник заглянул в бумаги.

— Егорова, Базыкина, Латкина и Жемчужного. Все они доставлены в архангельскую тюрьму, числятся за контрразведкой, за полковником Торнхиллом. Дознание началось. Ларри предполагает, что в Архангельске работает подпольный комитет большевиков.

— Даже так? — Генерал покраснел. — А что же американцы и англичане мне хвастали, будто вычистили все под метелку? Значит, тоже зря?

Брагин пожал плечами.

— Ну, хорошо, — сказал Миллер. — Я наведу здесь свои порядки. Я буду действовать... как Николай

Первый, Первый, а не Второй, — важно прибавил генерал.

Брагин чуть было не засмеялся, но вовремя сдержал себя.

7

Шестнадцатого января Ларри приступил к разбору крупного дела. В общих чертах оно представлялось ему так: в ночь на второе января несколько заключенных — Петров, латыш Лепукалн, Виртахов во главе с Яковом Козыревым — воспользовались сильной метелью, перерезали колючую проволоку и скрылись. Через час побег был обнаружен. Начались поиски. К утру все бежавшие были пойманы, за исключением латыша Лепукална. Труп его был обнаружен только через несколько дней. Он замерз в сугробе.

Третьего января на Мудьюг выехала комиссия Военного контроля во главе с лейтенантом Бо.

На допросе Яков Козырев показал, что, кроме него, Виртахова, Петрова и Лепукална, никто не хотел бежать.

— Значит, вы и с другими говорили об этом?

Яшка отчаянно усмехнулся.

— Да, почитай, все об одном мечтают, вкусив вашу сласть... Извиняюсь, вашу власть!

Он держался лихо, понимая, что терять ему уже нечего.

Побег Козырева и еще трех заключенных не представлялся лейтенанту Бо крупным событием. Но американская разведка воспользовалась этим побегом для организованной расправы с большевиками.

Стало известно от конвойных, что за несколько дней перед побегом заключенных Козырев разговаривал с матросом Прохватиловым. Вызвали Прохватилова. Матрос все начисто отрицал. Вызвали тех, кто был близок с Прохватиловым: Жемчужного, Маринкина, Егорова и Базыкина.

Пятого января Егоров, Базыкин, Жемчужный и Маринкин были посажены в тот самый погреб, постройку которого они только что кончили. Латкина не трогали.

Еще на Мудьюге, когда один из членов комиссии поднял вопрос о Латкине, лейтенант Бо сказал:

— Подвергать его карцеру преждевременно. Это натура неустойчивая, склонная к необдуманным поступкам. Он сгоряча объявил себя коммунистом, а проверка точно установила его беспартийность, во всяком случае формальную. Был одним из рядовых красноармейцев при штабе Северодвинской бригады. Архангельска не знает. Связей ни с кем не имеет. Простой военнопленный. Поэтому предлагаю пока что не подвергать его репрессивным мерам.

На рассвете десятого января беглецы были расстреляны. Комендатура позаботилась о том, чтобы выстрелы слышал весь лагерь.

Расстрел производился неподалеку от бараков, и сразу же после него комендант лагеря вместе с охраной ворвался в помещение второго барака.

Все заключенные вскочили.

— По уровню нар — пальба! — скомандовал комендант.

Беспорядочные залпы охраны заглушали крики раненых и страшные стоны умирающих. После обстрела начался повальный обыск. Людей избивали прикладами, пол барака был залит кровью. Комендант палкой со стальным гвоздем наносил людям рваные раны. Он наслаждался этим собственноручным избиением. Как садист, он мстил второму бараку за побег. После этого побоища из барака вынесли десять человек убитых и около сорока раненых; половина из них в этот же день умерла в лазарете.

Мудьюг притих. Заключенные перестали разговаривать друг с другом.

Такая же могильная тишина наступила и в первом бараке.

День шел за днем, товарищи Андрея по-прежнему сидели в погребе, а его самого никто не трогал. Андрей не находил себе места. Порою самоубийство казалось ему лучшим выходом, но когда он вспоминал Павлина Виноградова, Валерия Сергунько, Фролова, вспоминал Любу, думал об Егорове, Базыкине, Маринкине, тогда Андрей говорил себе: «Нет, надо все вынести до конца».

Однажды, находясь в помещении команды, сержант Пигалль также обмолвился несколькими словами по поводу побега.

— Это бесчеловечно, — сказал он. — Мадам Базыкина — такая милая дама! Воображаю себе ее горе, когда она узнает о том, что случилось! Нет, как хотите, но это бесчеловечно.

Слова Пигалля были переданы. Лейтенант Бо немедленно вызвал к себе сержанта и стал допрашивать его.

— Мне нечего рассказывать, — возразил Пигалль.

— Ты возил посылки?

— По вашему распоряжению.

— Еще что?

— Больше ничего.

— Ничего? Так-то ты выполнил мое приказание... Ничего!

Бо несколько раз ударил Пигалля стеком.

— Ну? — бледнея от гнева, сказал лейтенант. — Я знаю все! (Хотя он ничего не знал.) Все!.. Понял?.. Если ты что-нибудь утаишь, то никогда не вернешься во Францию... Твои кости сгниют на Мудьюге. Признавайся, а то еще хуже будет.

Пигалль испугался и рассказал о том, что передал Базыкину два письма от жены.

— Я пожалел мадам... Там не было ничего серьезного.

— Ты же не знаешь русского языка, дерьмо!

— Мадам не могла лгать...

Лейтенант поморщился.

— Ты не только преступник, но еще и дурак, — брезгливо сказал он.

Вошли англичане-конвоиры. Сержант был арестован. К «делу привлеченных в связи с побегом» прибавилось дело сержанта Пигалля.

Шурочка увидела Пигалля как раз в тот день, когда его привезли в Архангельск. Это было шестнадцатого января.

Накануне, то есть пятнадцатого января, рано утром Андрея послали на очистку выгребных ям возле лазарета. Лазарет представлял собой строение из щитов,

пустое пространство между которыми было заполнено мокрым песком, сейчас затвердевшим, как лед. Температура здесь не поднималась выше трех градусов тепла даже тогда, когда топились печи. Но так как они почти никогда не топились, то температура в каторжном лазарете была такая же, как и на улице. Заключенные называли свой лазарет «машиной смерти». Холод был такой, что больные спали в обуви, и, несмотря на это, ноги, по их выражению, примерзали к подошвам...

Кончив порученную ему работу, Андрей собрался идти в барак. Но внимание его привлекли сани, остановившиеся возле лазарета. На них сидели конвоиры и лежали заключенные.

Сердце Андрея сжалось от недоброго предчувствия. Между тем из лазарета вышли санитары с носилками и началась выгрузка.

Андрей пошел вслед за санитарями. Носилки поставили на грязный пол в приемном покое. Английский врач начал осмотр, не снимая шубы, со стеком в руках.

Скинули рогожу с первых носилок. Андрей увидел Егорова. Большая рыжая борода шенкурца совсем поседела, будто покрылась изморозью. Руки, синие как лед, лежали неподвижно. Лицо раздулось, почернело. Егоров лежал не двигаясь, и можно было подумать, что он умер, если бы не легкий парок, который чуть вился из его открытого рта.

В приемный покой вошел лейтенант Бо. Он никому не задал ни одного вопроса, только покусывал губы да время от времени поправлял пенсне в золотой оправе.

Вторым осматривали Жемчужного. Андрей узнал его лишь по бороде. Мертвенно-бледное лицо боцмана было так обтянуто кожей, что напоминало череп. Отвисшая нижняя губа обнажила крепко стиснутые зубы.

Посмотрев на Базыкина, врач приказал его раздеть. Когда с Николая Платоновича стали снимать белье, вместе с бельем длинными мокрыми лоскутьями полезла кожа. Базыкин не стонал, либо уже не чувствуя никакой боли, либо сдерживаясь из последних сил. Но глаза на его темном, заросшем какой-то зеленой щетиной лице вдруг загорелись ненавистью. Когда доктор, нагнувшись, постучал стеком по его лбу, плечи Базыкина вздрогнули. Он, видимо, хотел вскочить, кинуться на врача, но сил не было, и он только тяжело вздохнул.

До сих пор Андрей стоял молча, оцепенев от всего, что он увидел. Но тут в нем взорвалось что-то, и он не помня себя кинулся к носилкам, упал перед ними на колени и судорожно обнял потерявшего сознание Базыкина.

— Негодяи... Мучители! Мы все вам припомним! Все! Есть справедливость на свете! Николай Платонович... Очнитесь, Николай Платонович! Это я, Андрей...

Санитары попытались оторвать его от носилок, он оттолкнул их от себя.

Тогда врач вызвал солдат. Они подхватили упиравшегося Андрея, протащили его по грязному полу приемного покоя и выбросили на снег, предварительно избив до того, что он потерял сознание.

Вечером того же дня Базыкин, Егоров и Жемчужный были доставлены на «Святогор».

«Святогор» стоял среди льдов на рейде Мудьюга, в версте от причалов. К его носовому борту льды подходили сплошняком, тут был спущен трап.

После доставки заключенных на ледокол прибыла англо-американская комиссия, возглавляемая лейтенантом Бо. Сюда же привели и Андрея Латкина. Его посадили в отсек вместе с боцманом Жемчужным.

Жемчужный спал, лежа ничком на койке. Андрей боялся шевельнуться, чтобы не разбудить его. Перед глазами Андрея в иллюминаторе был виден силуэт Мудьюга, ледяного, страшного Мудьюга... Царство холода, крови, убийств и смерти. Сколько жертв! Сколько невинно загубленных жизней на этом пустынном болотном острове! Вот здесь, у этого маяка, расстреливали людей. Расстреливали и у сигнальной мачты, расстреливали за батареями... Вся земля обагрена кровью. А сколько людей, падавших во время работ от истощения, побитых прикладами, приколотых штыками, погибло во льдах!.. Сколько могил скрыто сейчас зимним туманом! В этих ледяных торосах, в снежных обмерзших буграх — всюду трупы.

Вдруг Андрей увидел, как на острове вспыхнули сигнальные огни, словно глаза чудовища. И тут будто чей-то голос услышал Андрей.

«Ты вырвался от нас, с Мудьюга? Ты оставляешь сотни своих товарищей... Они спят в насквозь

промерзшей земле! Им уже никогда не проснуться. Они взывают к мести!»

Подмаргивает маяк. И в то мгновение, когда он зажигается, в луче его видна метель, вечная метель Мудьюга...

«Неужели я жив? Как это могло случиться?»

У Андрея кружится голова, он хватается за столик. «Вот лежит Жемчужный... Жив ли он? Не бред ли все это?»

Но боцман вдруг поднял голову. Увидев Андрея, он громко зарыдал. Андрей бросился к нему. Они плакали, что-то говорили друг другу и сами не слышали своих слов. Первым успокоился боцман.

— Ой, сынку, тебя, значит, тоже везут? — спросил он.

— Тоже... — ответил Андрей. — Но я рад, Матюша... С тобой вместе. Как мне было тяжело одному, если бы ты знал! А сейчас я даже рад, ей-богу. И Егорова увижу и Базыкина.

Боцман покачал головой.

— А где доктор, Матюша?

— Умер... Неделю тому назад. Там же, в погребке. Отмучился... — Жемчужный закрыл лицо руками.

Андрей уткнулся лицом в подушку. «Умер... умер... умер...» — стучало у него в висках.

Ему хотелось с головой зарыться в подушку, ничего не видеть, не слышать, но Жемчужный мягко положил ему руку на плечо и стал рассказывать обо всем, что случилось в карцере.

9

— После допроса, конечно, бросили в карцер. Боцман сказал: «Будете сидеть до тех пор, пока не сознаетесь и не выдадите тех, кто еще собирался бежать...» Егоров как закричит: «Подлец! Мы не предатели. И все равно некого нам выдавать. Сами не собирались, других не подзуживали». Опять карцер, голод, мрак, стужа. В могиле... Ну, прямо в могиле. Прохвятилов просил прощения, плакался: «Извиняйте, дорогие товарищи... За меня, такого дурня, страдаете».

— А где же Григорий? — со страхом спросил Андрей.

— С ума сошел. Расстреляли бедного Грицка. Они помолчали.

— А Егоров все ободрял нас, — продолжал боцман. — Ночью зараз слышу шепот: «Где ты, Лелька, Лелечка?.. Где ты, моя золотая?.. Доченька милая...» Часто ее вспоминал. Все беспокоился. Думка за думкою... «Надо дожить...» — говорил. Часто повторял: «Коммуну вижу... Наши идут. Солнце червонное... Архангельск росстал...»

День... Ночь... В карцере все темень, мокреть, холод лютый, собачий... Я Маринкину говорю: «Доктор, не лежи без конца, сделай милость... Встань хоть ненадолго, треба трошки размяться». А он отвечает: «Нет уж, милый. Ты двигайся... А меня не тревожь. Нема дыхания».

Потом Николай Платонович заболел. Доктор его выслушал. «Крупозное воспаление», — говорит. Базыкин бредит, горит весь в холодище таком... Стонет иногда: «Шурочка!» Я вырвал доску из стены, стал бить ею в дверь. Прибежал сержант. «Маляд, кричу, маляд у нас... Давай переводчика!» Прибежал переводчик. Мы все кричим: «Маляд! Доктора! В лазарет...» Все напрасно. Только кипятку стали давать и котелок водянистого супа принесли. Я лег рядом с Базыкиным, чтобы хоть как-нибудь согреть его. А Прохвятилов на четвертый или пятый день замолчал. Опух страшно, а из глаз текла вода. Да, хлопчик... Злому ворогу не пожелаешь такого житья.

— Засни! — сказал Андрей. — Не надо больше рассказывать. Засни, Матюша!

— А раз Егоров говорит, — не слушая Андрея, продолжал Жемчужный: — «Товарищи, давайте рассказывать друг другу свою жизнь. Я начну первый». Добре придумал. Иной раз и не слушаешь, только голос жужжит. И легче. Прошло сколько-то дней. Егоров мне за раз говорит: «Ну, Жемчужный... У меня тиф». — «А как ты определил?» — «Определил! Но ты, если выйдешь отсюда живой, передай Чеснокову, всем, кого увидишь, что я до последней минуты думал о них... Мое завещание — бороться до победы. Дай воды!» Дал я воду. «Матвей, Павлина бачишь? Он с нами...» Я понимаю, бредит он. «Бачу», — говорю. А Егоров весь встрепенулся, кличет

его: «Павлин, Павлин!..» А то Чеснокова или Потылихина. Кричит: «Скорее к нам, Максимыч!»

— Не надо больше, Матюша, — вскакивая с койки, умоляюще сказал Андрей. — Не надо! Я прошу тебя. Смотри, как ты дрожишь.

— Нет, надо! — содрогнувшись всем телом, но упрямо и твердо сказал боцман. — Надо! Я могу умереть! Надо, чтоб знали.

Андрей присел к нему на койку и обнял за плечи.

— Егоров очнулся. «Нехай, говорит, доктору носилки принесут и похоронят честь честью. Тебе поручаю, Жемчужный... А червонное знамя мы потом принесем». И опять впал в беспамятство. Тут пришла посмотреть на нас комиссия. Кто-то спросил: «А где шенкурский большевик?» Лейтенант Бо показал. Егоров открыл глаза. Лейтенант Бо усмехнулся и шось так сказал своим. Они посмеялись и ушли. Тогда Базыкин сказал мне: «Знаешь, чего смеялись? Надеются — теперь мы будем сговорчивее. Пардону запросим». А я ему ответил: «Нет, дудки! Не дождутся...»

И знаешь: пытку придумали. Поставили в карцер железную печурку, натопили ее жарко. Мы обрадовались... А с оттаявшего потолка полился дождь, отсырели стены. Одежда зараз взмокла. Пришлось ее снять, выжать. После печка остыла, и пошла холодюга. Рубашки, брюки — ледяной саван... от жары к холоду — от было мученье, Андрюха!.. Я, понимаешь? Я и то не стерпел, завопил: «Да когда же смерть!»

Жемчужный закрыл глаза. Андрей вскочил с койки и подал ему кружку с чаем.

— Нет, Андрюша, — прошептал боцман. — Душа не принимает. Однако добре! Мы с тобой проживем! Больше не могу говорить. Устал... Ох, мамо... мамо...

Андрей опять присел к Жемчужному на койку. Боцман задремал. Сначала дыхание его было прерывистым, слабым и хриплым, затем он стал дышать ровнее.

«Сколько же душевных сил должно быть в человеке, чтобы вынести все это? — думал Андрей. — Нужно иметь крепкую, закаленную душу большевика... Обыкновенные люди не перенесли бы таких мучений. А мы, большевики, все вынесем. И победим... Обязательно победим!»

На занесенных снегом улицах Соломбалы было темно и пустынно. Лишь кое-где мерцали фонари да виднелись тускло освещенные окна.

Во всем облике этого архангельского пригорода чувствовалась близость моря. На фоне мрачного, выюжного неба смутно вырисовывались мачты зимовавших морских судов.

Чесноков и Дементий повернули с Адмиралтейской набережной на Никольский проспект и, миновав длинные морские казармы с флагштоком на вышке, добрались до судоремонтных мастерских.

Собрание уже началось. Сначала в цех вошел Чесноков, потом Дементий. В проходах между станками и в большом пролете тесно стояли рабочие и моряки. Под высоким потолком тускло горело несколько электрических лампочек.

Возле отгороженной от цеха конторки сидел за столом Коринкин, председатель правления кооперативной лавки, и смотрел на оратора, мямлившего что-то о лавочных делах. Собрание возмущенно шумело, и Коринкин пытался успокоить народ.

— Граждане! — взывал Коринкин, багровея от натуги. — Возмущение ваше понятно... Безобразия следует пресечь беспощадно! Однако не нужно нарушать порядок. Посылайте записки. Порядок прежде всего. Продолжайте, — говорил он, оборачиваясь к оратору.

Чесноков знал, что в толпе шныряют десятки агентов контрразведки. Да и меньшевик Коринкин был не лучше любого агента. Но Дементий предупредил Чеснокова, что на собрании будет группа рабочих, которая, в случае чего, не даст его в обиду. Действительно, как только он вошел, несколько молодых рабочих незаметно окружили его.

«Умница Дементий! Ловко все оборудовал, — подумал Чесноков. Тут в гуще толпы он увидел Грекова. — Нет, это Греков, его работа... И его ребята... Ах, какие молодцы!»

Все разговоры на собрании велись вокруг продовольственных вопросов. Только при этом условии собрание было разрешено контрразведкой. Чесноков слушал

вполуха и больше присматривался к людям, стараясь уловить их настроение.

Часть сгрудившихся вокруг него молодых рабочих, несомненно, пришла с оружием. «Только бы не пустили его в ход, — думал Чесноков, — тогда будет плохо. А что я сейчас скажу? Здесь нужно сильное, резкое. Люди должны почувствовать: не погнулась наша боевая сила...»

— Седой! — крикнул наконец Коринкин. — Где гражданин Седой?..

— Я... — откликнулся Чесноков и почувствовал, что дружеские руки легонько подталкивают его вперед.

— Товарищи! — громко сказал он, остановившись возле стола, за которым сидел Коринкин, и в голосе его зазвучала бесстрашная решимость. — В декабре англичане и американцы расстреляли ни в чем не повинных солдат Архангельского полка. В январе они расстреляли на Мудьюге обезумевших от голода, ни в чем не повинных людей. На днях с Мудьюга привезены сюда и заключены в архангельскую тюрьму наши товарищи: Базыкин, Егоров, Жемчужный и другие. Требуйте их освобождения! Долой интервентов! Долой эсеровщину и белогвардейцев!

— Безобразия! Стража! Полиция! — кричал Коринкин.

Туда же ринулись стоявшие у стен стражники. Но толпа стихийно подалась к столу и оттиснула их. Какие-то люди под видом рабочих, по всей вероятности полицейские агенты, яростно, с криками также проталкивались вперед. Началась общая свалка.

В то время как одна часть толпы еще волновалась у стола, другая устремилась к выходу. В этом круговороте нетрудно было затеряться. На Чеснокова нажимали. Окруженный со всех сторон молодыми рабочими, он быстро двигался к проходу, словно щепка в бурном потоке.

Вдруг электричество замигало и вовсе погасло. В темноте толпа еще больше зашумела.

— Товарищи — перекрывая голоса рабочих, крикнул Чесноков. — Партия большевиков жива!.. Рабочий класс жив! Недалек тот час, когда к Архангельску подойдет Красная Армия! Да здравствует свобода!.. И пролетариат!

Толпа подхватила его возгласы, где-то совсем рядом с ним пронзительно засвистели стражники.

— Налево, товарищ Седой, — сказал ему негромкий голос, и чья-то осторожная, но крепкая рука подтолкнула его к дверце бокового выхода.

Оказавшись на заводском дворе, Чесноков, перемахивая через бревна, побежал вдоль длинного забора. Вслед за ним бежал и тот самый матрос, который помог ему выбраться из цеха.

Берег Двины был занесен снегом. Впереди спокойно маячил светлый глазок иллюминатора. На приколе во льду стоял тральщик.

— Сюда, товарищ Седой, — сказал Чеснокову его спутник. — Разрешите познакомиться. Матрос Зотов. По поручению товарища Дементия.

Все так же осторожно, но крепко поддерживая Чеснокова под руку, Зотов повел его по сходням на тральщик.

— Мы нынче двое дневалим: я да боцман. Больше никого. Так что не тревожьтесь... Либо ночью, либо утречком я вас выведу. А то теперь кругом завода все оцепят, проверка пойдет и заметут вас почем зря.

Ступив на борт тральщика, они спустились по крутому узкому трапу, и Чесноков очутился в помещении для команды.

Через полчаса он сидел за столом и пил горячий чай.

— Завтра мне шифровку от подпольного комитета принесут, — говорил Зотов. — Будем передавать радиogramму в Вологду, в штаб, что Архангельск ждет помощи... Великое дело радиотелеграф. — Матрос помолчал. — А вы не боялись, товарищ Седой? — неожиданно спросил он.

— Где уж там было бояться! — с улыбкой ответил Чесноков.

— А я бы боялся, — сказал Зотов. — Я и за вас боялся... Как ахнули вы про Мудьюг, точно гроза пронеслась...

Матрос с уважением, не отрывая глаз, смотрел на Чеснокова.

— А как вы считаете, — обращаясь к Чеснокову, спросил сидевший рядом с Зотовым боцман, — скоро ли наши придут? Не байки ли это? Вот ведь в архангельских газетах пишут...

— А вы не верьте этой белогвардейской брехне. Может быть, сейчас, когда мы сидим в теплой каюте и чай пьем, наши бойцы идут по горло в снегу. Придут и спросят: а вы, товарищ, что сделали?

— Им легче, чем нам, — поникшим голосом сказал боцман. — Я бы все отдал, только бы там быть. На белых спину гнуть... Подлая наша жизнь, и уже ей завидовать...

— Да не завидовать! — перебил Зотов. — Дело делать надо! Знаешь, как туннель строят: идут навстречу друг другу... Так и нам нужно. Красная Армия там, а мы здесь... Помнишь, что Греков говорил...

Боцман махнул рукой и вышел.

— Он надежный? — спросил Чесноков.

— Вполне, — уверенно сказал Зотов.

Молодой матрос вдруг задумался и потом тихо сказал:

— Есть у меня брательник двоюродный. Вместе росли. Я ведь шенкурский... Может, и он теперь в рядах Красной Армии? Или партизанит? Слышал я, что появились в тех местах партизаны... И вот воюет мой Яшка Макин...

— Зотов! — раздалось с палубы. У люка стоял боцман. — Гостя придется в трюмное помещение перевести.

— А что?

— Проверка на судах! На берегу шевеление.

Боцман вставил в фонарь огарок свечи и зажег его.

— Пойдемте, — предложил он Чеснокову. — Там сыро, зато ни один черт не разыщет.

Кое-где на берегу горели фонари. За этой жалкой цепью света ничего не было видно. Город притаился во тьме ночи. Выглянула луна, осветила сотни снежных крыш. С заводского двора доносились тревожные крики,



ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Усть-Важское, за которое шли той же осенью кровопролитные бои, пришлось отдать. Противник подтянул большое количество артиллерии. Стало ясно, что выгоднее всего переждать и действовать, накопив резервы.

Бригада Фролова временно оставила усть-важский берег. Американские, английские и канадские войска расположились по реке Ваге. На ее правом берегу в городе Шенкурске, лежащем между Вологодской железной дорогой и Северной Двиной, разместился штаб интервентов; там же был расквартирован и местный гарнизон; в состав его входили и некоторые белогвардейские части.

С наступлением зимы боевые действия остановились, за исключением взаимной разведки и столкновений патрулей.



Подступы к Шенкурску, особенно в зимних условиях, казались непреодолимыми. Интервенты же, засевшие в Шенкурске, страшились не только суровой зимы и занесенных снегом дорог, но главным образом сильной оборонительной линии, созданной бригадой Фролова. Они ждали подкрепления, которое должно было прибыть весной из Америки и Англии.

Штаб фроловской бригады помещался теперь в Красноробске. Отряды же были разбросаны по обеим сторонам Двины и частью по Ваге.

При этих условиях был особенно необходим постоянный контроль со стороны командования. В последних числах декабря Фролов направился в одну из деревень, расположенных неподалеку от селения Петропавловского. Там у него были назначены встречи с командиром конного отряда горцем Хаджи-Муратом Дзарахоховым, о котором ему много рассказывали, но которого он еще не знал лично. Также предстояла встреча с шенкурским партизаном Макиным, опять перешедшим фронт, на этот раз уже не в одиночку, а с десятком своих людей. Кроме того, Фролов хотел поговорить с местными крестьянами о предстоящей мобилизации лошадей.

Дел было много. Комиссар выехал из Красноборска еще ночью, чтобы как можно раньше попасть на место. Он рассчитывал покончить со всеми делами, если будет возможно, в одни сутки.

Стояла ясная морозная погода, снег скрипел под полозьями. Северный лес исполнен торжественного величия. Снег на деревьях такой богатый, плотный, застывший, такого ослепительно чистого цвета, что деревья кажутся гигантскими фарфоровыми изваяниями. И все безмолвно в голубом при свете ночи снежным царстве...

Но вот, испугавшись колокольчика, что-то затрещало, зашумело в лесу. Лось, что ли? Или медведь покинул свою лежку? Вот сороки встрепнулись и, точно комочки, брызнули в стороны от дуплистой, корявой сосны. Снова затихло все. Нет, брехнула волчица, взвыла лиса. Ни путевого огонька, ничего. Деревеньки запрятались в снегу и лесах. Расстояния длинные. Не скоро доедешь до теплых полатей.

Хорошо, когда нет здесь метели. И не дай бог, как говорят старики, когда она примется бушевать. От сугробов, что по плечо человеку, помчатся белые вихри,

с деревьев — снежные волны. Задует с речных просторов Двины. И снежный буран с ревом кинется на путника! Тогда стой. Лошади первыми точно замрут на дороге.

Но как волшебное все это, когда спит ветер и когда высится в небе алмазный, сказочный полог.

Так и было в ту прекрасную ночь, когда Фролов ехал в сторону Петропавловского...

Черное небо, изрешеченное россыпью мелких, как булавочные головки, звезд, низко нависло над дорогой. Иногда его озаряли зеленовато-желтые дрожащие вспышки далекого северного сияния. В этих заснеженных лугах и перелесках нельзя было не почувствовать сурового величия северной природы.

Санный путь по тракту был накатан. Позванивал на дуге колокольчик. Низенькие мохнатые лошадки были накрыты вместо попон рогожами. Фролов в шубе поверх шинели полулежал в санях. Морозный воздух иголками впивался в лицо. Впереди темнели согнувшиеся на облучке фигуры парня-ямщика и матроса Соколова, после смерти командира бригады перешедшего к военкому. На ямщике был старый армяк, а на Соколове — бараний тулуп с поднятым воротником и, несмотря на жестокий мороз, неизменная бескозырка.

Сани ныряли в ухабах. Фролов то и дело погружался в дремоту, но мозг его бодрствовал. Вспоминались старые боевые друзья, люди, которых сейчас уже не было рядом. В первые недели после гибели Павлина Фролову казалось, что командир бригады просто находится в отлучке. Вот-вот он вернется, и Фролов услышит его, как всегда, торопливые шаги, его веселый, бодрый голос: «Ну что, друг? Как дела?»

Размышляя о предстоящих решительных боях, о разгроме интервентов, он всегда спрашивал себя: «А как бы действовал в этой обстановке Павлин?» Павлина невозможно было представить себе мертвым. Он постоянно присутствовал в мыслях военкома и как бы продолжал участвовать в войне рядом с ним.

Мысль о Павлине сменялась воспоминанием об Андрее Латкине.

«Как жалко, что нет с нами Латкина, — думал Фролов. — Андрей, конечно, тоже рвался бы в бой, тоже негодовал бы на это вынужденное затишье, на этот переход к позиционной войне и случайным стычкам. Что

теперь с Андреем? Убит? Лишь бы не плен. Нет ничего страшнее плена! Лучше пасть на поле боя, отдать свою жизнь за родину и за народ, чем остаться в живых и находиться в лапах врага».

Спрятав лицо в воротник шубы, Фролов задремал и проснулся только тогда, когда почувствовал, что сани остановились.

Открыв глаза, он увидел в нескольких шагах от себя большую избу. Из предутренней полутьмы возникли две фигуры и направились к саням. Это были вестовой Соколов и командир роты, стоявшей в деревне.

— Не только мы, население вас ждет не дождется, — весело заговорил командир, провожая Фролова в избу.

— Дзарахохов здесь? — спросил комиссар.

— Какой Дзарахохов? Ах, Хаджи-Мурат!.. Как же... Еще с вечера здесь... Вся деревня на него дивуется.

— А Макин тоже прибыл?

— Нет еще, — ответил ротный. — Сегодня должен быть.

2

Когда Фролов вошел в избу, навстречу ему шагнул пожилой горец с острой черной бородкой, гибкий, среднего роста, в черкеске с газырями, в мохнатой высокой папахе. Богатый кинжал и казачья шашка с серебряной насечкой отличали его от рядового джигита. Впрочем, во всем его облике было нечто такое, что сразу обращало на себя внимание.

Хаджи-Мурат носил очки, но даже стекла не могли скрыть соколиного блеска его глаз. Большой жизненный опыт и природный ум ощущались в его взгляде и в выражении его худощавого загорелого лица с узкими, миндалевидными желто-карими глазами.

Сели за стол. Фролов вежливо попросил Хаджи-Мурата поподробнее рассказать о себе.

Горец улыбнулся, показав прокуренные, желтые длинные зубы, и заговорил. Голос у него был гортанный и немного резкий. По-русски он говорил почти свободно.

Хаджи-Мурат не спеша рассказал комиссару о горном ауле, где родился, о крестьянине отце, о притеснениях царской полиции, которая угнетала и отца и его са-

мого. Тогда он был юношей и, по его словам, обличал купца-князя, мерзавца пристава и хитрого муллу.

— Еще в те времена мы с отцом искали правду и верили, что она есть... — с улыбкой добавил Хаджи-Мурат.

Все с тем же задумчивым и спокойным видом он рассказал, как заступился за своих односельчан, как в столкновении с приставом ранил его и после этого принужден был бежать на греческой шхуне.

— В Испанию попал... Потом уехал в Америку... Языку научился, жил в Вашингтоне, в Сан-Франциско, работал на постройке железной дороги, на заводе... в Клондайке был... Все счастье, правду искал... И ничего не нашел. Все там ложь, обман. Там, как нигде, золото царствует. Там страшно жить, комиссар. Я соскучился и вернулся на родину. Враги мои умерли. Тут началась война, меня взяли.

— Много воевал? — спросил его Фролов.

— Много. Был в дивизии у генерала Крымова... И когда пришла революция, я говорил: идет правда. Но я тогда не понимал большевиков. И генерал Крымов повел нас в Петроград.

— Тогда был корниловский мятеж, — сказал Фролов.

— Да, корниловский... Я был в Гатчине. Матросы-большевики из Кронштадта пришли к нам. «Матросы говорят правду, джигиты, — сказал я. — Нам надо убить генерала Крымова, врага революции». Но нам не удалось его убить. Он сам потом убил себя. Мы приехали... весь эскадрон... в Петроград. Керенский позвал меня в Зимний. Я пришел, положил руку на кинжал и сказал: «Ты враг революции... Зачем ты позвал меня?» — «Я друг революции, — сказал он. — Служи мне». — «Нет! — я сказал. — Ты подлец, изменник... Ты врешь!» Я плюнул. Он хотел меня арестовать. Кругом стояли люди... офицеры его... Но они боялись меня. И я ушел. Я уехал к матросам в Кронштадт. А потом я услышал Ленина и полюбил его... Это в Петрограде. И еще был я на штурме Зимнего.

— Дрался в Октябрьскую ночь?

— Да, вместе с моими джигитами.

Хаджи-Мурат вынул из кармана шаровар шепотку махорки и, заправив ею кривую маленькую трубочку, закурил.

— Я большевик.

Фролов с интересом смотрел на горца.

— Начальники в Петрограде сказали мне, — продолжал горец: — «Ты будешь комиссар в кавалерии». Я сказал: «Нет, не буду. Я плохо знаю русскую грамоту».

— Да, много ты повидал в жизни... Ну что же, Хаджи-Мурат, займемся делом, а то время идет. — И, вынув из планшета карту, Фролов показал Хаджи-Мурату на один из ее участков и объяснил предстоящую операцию.

— В эту деревню? — сказал горец, выслушав все. — Знаю... Это можно. Ротный мне тоже говорил вчера... Я ждал тебя. В набег ночью надо... Да?

— Да, надо... Там у американцев зимние укрепления. Штаб! Хорошо бы застигнуть их врасплох. Погнать их, чтобы чувствовали... Понял? Это должен быть лихой набег! Сколько тебе нужно людей, кроме твоих?

— Двадцать пять стрелков дашь? — спросил Хаджи-Мурат. — Ну, тридцать...

Фролов рассмеялся:

— Да ведь у них в двадцать раз больше. Возьми хоть роту.

— Не надо. Монх джигитов двадцать пять. Два пулемета дай. И все. Хватит.

Комиссар невольно улыбнулся:

— Обдумай прежде. Смотри! А вдруг не справишься?

— Сделаю! Ты не беспокойся, — сказал Дзарахов. — Народу больше, хлопот больше. А мы по-кавказски... Хороший набег будет.

На этом и порешили.

3

Изба, в которой остановился Фролов, была большая, в два этажа, да еще с чердаком. Раньше она принадлежала приказчику вологодской лесной фирмы. Осенью приказчик сбежал к белым в Архангельск. Теперь в этой избе жили семьи председателя комбеда Петра Крайнева и его соседа — старика Егора Ивановича Селезнева.

В селе перекликались петухи. Начиналось утро. В избу вошел невысокого роста сухопарый человек в солдатской куртке и суконной ушанке. Он назвался Петром Крайневым. Узнав, что перед ним комиссар Фролов, он обрадовался и сразу захопотал:

— Поесть надо чего-нибудь! Такие гости...

Фролов стал отказываться от угощения, но хозяин настоял на своем.

На столе появились глиняные чашки с картошкой, сметаной и крошечными солеными рыжиками.

— Носочки! Так зовутся... Бабы босыми ногами во мху нащупывают! — смеясь, говорил Крайнев. — Их не видать... Босиком надо ходить за ними. Кушайте, милости прошу.

За завтраком Фролов завел разговор о деле, из-за которого приехал. Тем временем в избу один за другим входили крестьяне и рассаживались у стены, на лавке.

Завязалась беседа. Фролов расспрашивал о хозяйстве. Крестьяне благодарили комиссара, говоря, что жаловаться сейчас не приходится, не такое время, и, в свою очередь, интересовались делами на фронте.

— Коли к весне с ними не управитесь, — говорили они об интервентах, — так хоть осенью, товарищи. Чтоб без них хлеб в закрома спрятать... Чтоб хоть к осени чисто было, выгнать их, подлюг, в море из Архангельска. Пушай в море уплывают... На льды их гнать, пушай пешком идут по льдам, откуда пришли, проклятые мучители!

— Мы так и предполагаем, — сказал Фролов. — Бригада ждет зимних боев.

— Предполагать-то вы предполагаете, а пока что дела не видно, — сказал Крайнев.

Фролов рассмеялся. Засмеялись и мужики.

— Зря, граждане! — обиженно возразил Крайнев. — Я газеты недавно читал. О нашем фронте молчок. Вроде как топчется, выходит?

— Народу, наверное, требуется? — спросил старик Селезнев.

— Да, папаша. Осенние бон были тяжелые, — ответил Фролов. — Люди очень нужны.

Он поднялся из-за стола.

— Я ведь к вам, граждане, за делом... Вот вы говорите о зимней кампании, а бригада почти без лошадей... Транспорт замучил. Особенно зимой. А когда двинется фронт, большая помощь нужна будет от крестьянского общества.

— Об этом что говорить... — сказал Крайнев. — Коли нужда, все дадим!

— Мы будем расплачиваться наличными.

— Сочтемся, товарищ комиссар. Вы объявите только вашу надобность... Все, что можем, обеспечим сполна... Заявляю ответственно, как председатель комбеда.

— Мы и людей дадим! — поддержал его старик Селезнев.

— По хозяевам роспись... Чтобы в порядок была повинность... В порядок, главное! — заговорили крестьяне. — Без спора чтобы...

— Я к вам специального человека из бригады пришлю, — сказал Фролов.

— Присылай! Все обсудим по совести. По душам распишем.

— Нет, не по душам, — возразил Фролов. — В основном надо исходить из имущественного положения.

— Ясное дело, — отозвался Крайнев.

Он вскочил с лавки, подошел к военному, тряхнул прямыми желтыми и мягкими, как лен, длинными волосами и, ударив себя в грудь кулаком, сказал:

— А мы, бедняки, товарищ комиссар, воевать пойдем за народное дело... Бедняк-то впрямь всю душу отдаст. Ну ладно! — перебил он себя. — Давай, граждане, роспись. Комиссару некогда.

— С Карева надо взять особенно, — проговорил старик Селезнев. — Разжился, клоп... Амбары полнехоньки.

Начался длинный разговор. Крестьяне тщательно обсуждали имущественное положение своих односельчан. Хотя время от времени возникали споры, Фролов видел, что на его просьбу все откликаются с охотой и что назначенные повинности будут выполнены с лихвой.

Поднялась сильная метель. Шенкурских партизан все еще не было. Крестьяне же давно разошлись.

Разлив чай по чашкам, Петр Алексеевич начал рассказывать Фролову о деревне, ее делах и жителях, в том числе и о себе. Из его рассказа Фролов узнал, что Крайнев родился в Холмогорах, некоторое время работал на Двине плотогоном.

— Я и на Волге побывал... На пароходах там околачивался! Кем придется!.. В Кустанае на военном конном заводе служил. Оттуда и в армию взяли. Ну, война все сбунтила. Зато мир повидал, австрияков, Карпаты. Имел два ранения. Я все о земле думал, товарищ комиссар. Теперь коммуной начнем жить. — Крайнев вздохнул.

— Трудно? — спросил его комиссар.

— Не жди легкости на голом-то месте. Но мы, бедняки, друг к дружке жмемся. Есть уж десяток семейств. Коммуна у нас получится. Я в Котлас ездил. Власть вполне содействует. Я загоревшись сейчас этим... Конечно, кабы не война!

Петр Алексеевич расстегнул ворот рубахи и вытер потную жилистую шею.

— Воевать надо... Слыхали, что сельчане говорят?.. Ведь это, как старики бают, иноземное нашествие. Вот в старинных книгах писалось, как ляхи к нам на север приходили разбойничать да грабить. И как мы их дрекольем выбивали отсюда... А нынче уж не то. Только позволь этим американам и прочим хоть за вершок нашей земли уцепиться, не оторвешь потом... Нужно сразу с корня их подсекать. Еще при старом режиме тут были некоторые промышленники из ихней нации. Кровосос на кровососе... Натерпелся народ горя. Мы ихнюю породу знаем. В кабалу хотят загнать, ярмо на шею. Нет, товарищ комиссар... Драться надо!

Мы в селении намерены конную группу собрать из добровольцев. Солдат двадцать. Ну, молодежь прочила меня в командиры, да общество не очень пускает. Боятся: без меня не справятся. Ну, да это вначале только... Все сладится! — Он почесал затылок. — К Хаджи-Муратову нам бы... Было бы дело! Посодействовать не можете?

— Вы разве тоже кавалерист? — спросил Фролов.

— Вполне! Унтер-офицер гвардейского драгунского полка, — лихо ответил Крайнев и, улынувшись, добавил: — Вот волосья отпустил, а постригусь да побреюсь... как картинка буду! Не узнаете.

— Вы хорошее дело задумали, товарищ Крайнев... Собирайте вашу группу... И без проволочек! — сказал Фролов. — А в военкомат я сейчас дам записку.

Шенкурские партизаны во главе с Яковом Макиным пришли только после обеда. Их было десять человек. Все они замерзли, устали, а некоторые даже поморозились. Обогрвшись и немножко приведя себя в порядок, часа через два они явились к комиссару. В вечерних

сумерках Фролов едва различал лица сидевших вокруг него людей.

— Ты пойми, — взволнованно заговорил Макин, обращаясь к Фролову. — Мы перли к вам через фронт десятки верст, где на лыжах, где пёхом, где на попутных подводах... Горе да гнев народный толкали нас. Нам надо теперь постоянную связь иметь! Надо общими силами нажимать. Вы с фронту, мы с тылу.

— И дело легче пойдет, — вставил богатырь Шишигин, степенно оглаживая свою круглую рыжую бороду.

— Объявлена у их мобилизация... — продолжал Макин. — Всех гонят... Всю молодежь. А кто отказывается, тех просто гноят в магазее, а потом в тюрьму шлют, в Шенкурск... Тех, кто отлынивает, каратели по лесам ловят. Расправляются, порют... Мужиков порют, отцов, бородачей! Да что это? Вот пришел иностранный капитан! Грабеж несусветный... Все им подай: и коровье мясо, и овцу, и поросенка... Ничем не брезгают. Фураж гони, подводы, лошадей! Все задарма. Мы, говорят, ваши спасители. От ихнего спасения мужик готов удавиться. А поди заикнись — сейчас порка либо тюрьма... А то конные, с нагайками! Какого-то отряда господина Берса... из Архангельска, что ли. Ужас что делается, товарищ военком!.. Как в дурмане живем. Коменданты всюду иностранные, помимо беляков. Вон в Шенкурске лиходействует комендант капитан Отжар. Он всему голова, всем вертит в уезде... Он главный вампир.

— Да вот почитай сам, — сказал Макин, доставая из холщовой сумки несколько смятых листков и передавая их военкому. — Третьего дня мы одного ихнего кулбера, что ли, поймали. Шишигин сгреб его по-медвежьи, в охапку.

Шишигин сконфуженно улыбнулся.

Фролов пробежал глазами листки. Сержант Мур писал своему начальнику, лейтенанту Бергеру: «Поэтому обязан доложить: русские крестьяне в большинстве смотрят на нас враждебно, по существу это большевики. Мои распоряжения выполняются плохо. Наши люди боятся партизан. Вчера узнал: красные разведчики были в Коскаре, понаделали там дел... Под командой какого-то бандита...»

Фролов перевел содержание этого письма и сказал Макину:

— Да уж не тебя ли честит?

— Меня, — ответил Макин, улыбнувшись. — Еще бы! Не даем гидре жизни! Хорошо, что мужики не выдают меня, а то ведь отцу было бы плохо...

«Шенкурский комендант капитан Роджерс приказал мне поймать этого бандита вместе с товарищами и расстрелять тут же без суда и следствия, на месте, то есть действовать именно так, как действует он в Шенкурске. Только этим путем и можно будет добиться повиновения».

Прочитав письмо до конца, Фролов спросил:

— Он американец? Цел?

— Цел... Как барина вели. Щиколодом поили.

Глаза Якова блеснули, он подмигнул Шишигину. Тот, тяжело переваливаясь, вышел в сени.

— Сержант... В амбаре отдыхает. Нытик! Все боялся, что расстреляем. Вот его документы, — сказал Яков и подал комиссару пачку бумаг, перевязанных веревкой.

Среди бумаг Фролов нашел маленькую записную книжку и первым делом раскрыл ее. Это оказался дневник.

Вот что писал в своем дневнике сержант Джонсон:

«...На середине моста через речку, разделяющую нас и русских, Смит вчера нашел листовку. Русские сообщали в ней о том, что делается в мире. Они сообщили, что война с немцами окончена и у нашего правительства нет никаких причин держать нас здесь, когда германцы капитулировали и с ними подписан мир. В листовке говорилось, что германские солдаты стали революционерами и свергли своего кайзера, что на юге и северо-западе России, где раньше были немцы, теперь везде народные восстания. Далее русские писали о том, как страдают наши солдаты, в то время как в тылу у нас творятся всякие безобразия. Смит сказал: «Это правда...»

— Моя листовочка, — усмехнулся Фролов.

«Смит вроде красного... Болтает всякие глупости! К концу концов, какое нам дело до того, что делается в мире? Мне лично на это наплевать. Но вот погибнуть здесь? Большая война кончилась, а тут еще убьют... Это мне не улыбается.»

Впрочем, к черту политику! Мне нравилось воевать тогда, когда можно было съездить в Париж. А тут метель, снег, лес, в котором скрываются партизаны. Плохо стал спать по ночам. Мери не пишет. И все вообще надоело до черта. На прошлой неделе к нам на позиции приехал американский консул. Мы спросили, почему мы остаемся здесь, когда война с Германией кончилась. Он заявил, что мы должны без рассуждений выполнять нашу задачу».

Комиссар дочитал дневник до конца и приказал привести пленного.

Спасаясь от холода, Джонсон повязал голову махровым полотенцем, поверх которого была чуть не на уши надвинута армейская фуражка. Щеки сержанта покрылись щетиной, нос посбагровел.

Войдя в избу, Джонсон стянул с рук толстые перчатки и отряхнул от снега полы своей громоздкой брезентовой шубы на бараньем меху. Видно было, что двигаться в ней ему неудобно и трудно.

— Где уж тут воевать! — кивнув на пленного, засмеялся Шишигин.

— Претензий не имеете? — спросил у Джонсона Фролов. — Дорогой вас никто не обижал?

— Нет, — ответил пленный.

— Есть хотите?

— Нет, меня кормили... — Сержанта помолчал, и какое-то подобие улыбки пробежало по его лицу. — Вообще я не против русских!.. Русские же косятся на меня. Народ здесь угрюмый, нелюбезный.

— Нелюбезный? — переспросил Фролов. — Но вы же знаете, что ваши соотечественники убивают нас, наших жен и детей. Они поступают с русскими крестьянами и рабочими как звери.

— Это англичане! Не мы...

— А чем вы лучше? Вот люди из вашего тыла, — Фролов показал на партизан, внимательно слушавших иностранную речь комиссара. — Они рассказывают об ужасах, которые творят там американцы. Попробуйте их опровергнуть. Докажите, что это не так.

— Да, мы поступаем плохо, — пробормотал Джонсон. — Но что мы значим? Нами командуют старшие офицеры.

— Что хоть он говорит-то? — спросил Макин.

Комиссар перевел. Макин покачал головой, губы его сложились презрительно. Он взглянул на сержанта и сказал:

— Эх ты, душонка!.. Гроша ломаного за нее и то не дал бы... Как попался, так валит на дядю...

Когда партизаны ушли, Фролов начал допрос.

Джонсон отвечал охотно, видимо ничего не скрывая.

— Здесь стоят йоркширские полки, — показывая по карте, объяснял он. — Шестой и Десятнадцатый. На Важском участке находится наш батальон Триста тридцать девятых пехотного полка, четыре роты по двести сорок штыков с тридцатью двумя пулеметами...

— Сколько орудий в Усть-Паденьге, Высокой, Шенкурске? — спросил комиссар.

— Не знаю.

— А людей?

— Наших? Много... В Шенкурске мы хозяева. Штаб наш находится в монастыре. Орудия размещены на горе, около собора. Калибр крупный. Окопы идут кругом всего города, но не сплошные. Большой окоп у монастырского кладбища, как раз на дороге в деревню Высокая гора... В деревнях тоже расквартированы наши части. Белых мало.

— Все деревни по Ваге укреплены?

— Все! И Высокая, и Шолаши, и Усть-Паденьга, и Лукьяновка...

— Так... — Фролов помолчал, испытующе глядя на пленного. — Теперь скажите-ка, не попадались ли вам наши листовки?

— Попадались, — с готовностью ответил Джонсон. — Но их отбирали офицеры. Я сам отбирал их по приказанию ротного командира. По прибытии сюда, в русскую тайгу, был даже случай, когда мы не захотели идти в наступление, — сказал Джонсон. Крупные капли пота струились у него по вискам и шее. — Тогда офицеры прямо сказали, что это работа ваших агитаторов.

— Но в конце концов вы все-таки пошли в наступление? — усмехнувшись, спросил Фролов.

— Разве у нас может быть единодушие? — Джонсон покачал головой. — Мы сдались на уговоры... Но я лично против этой войны. Ее затеяло правительство. Нам она не нужна.

— И многие солдаты так думают?

Джонсон поежился.

— Не знаю... Офицеры заставляют нас помалкивать. Мы молчим.

— Я знаю содержание вашей записной книжки, — искоса взглянув на пленного, сказал комиссар.

— О! — воскликнул американец и даже покраснел. — А я думал, что потерял ее при схватке.

— Книжка у нас.

— Это очень хорошо, — сказал повеселевший Джонсон. — Я там как раз писал, что мне надоела война. Теперь вы знаете мои мысли. Поверите... Отнесетесь ко мне мягче.

«Уже торгуется», — подумал Фролов.

— Если бы я и не читал вашей записной книжки, — сухо сказал он, — то все равно разговаривал бы с вами так же. Жестокость не в наших правилах.

Американец рассыпался в благодарностях, лицо его приняло угодливое выражение.

— Благодарить меня не за что, — сказал Фролов. — Идите. Я отправлю вас в Вологду.

5

В тот же вечер Макин вместе со своими партизанами уходил обратно через фронт домой. В роте они получили повозку, оружие, запас патронов, литературу. Перед уходом Яков снова зашел к Фролову.

— Так как же, Павел Игнатьевич, — спросил он прощаясь, — будем бить супостатов?

— Будем! Не беспокойся... — ответил Фролов, крепко встряхивая его руку. — Ты-то, смотри, не подкачай. Когда ответственное поручение тебе дадим, сумеешь показать свою партизанскую доблесть? Человек полтора-ста наберешь?

— Двести наберу, — сказал Макин. — А за сочувствие населения головой ручаюсь. Такой наказ от мужиков имею.

— Ну и добре! Скажи, чтобы ждали Красную Армию.

На этом они распрощались.

Фролов остался один. Притомился за этот день. После долгих разговоров в душной, насквозь прокуренной

избе ему захотелось подышать свежим воздухом. Он вышел на улицу и, смахнув снег с лавочки, стоявшей возле крыльца, уселся на ней.

Месяц ярко освещал деревню. В небе играли звезды. Над крайней избой, где помещалась ротная кухня, кольцами клубился дым. С кухни доносились голоса бойцов, пиликала гармошка. Низкий женский голос протяжно запевал частушку: «Ой, да выходите, девушки, молодые елочки...» В этом голосе Фролову почудилось что-то знакомое. Напрягая память, он пытался вспомнить, где мог его слышать, но песня оборвалась.

Вскоре недалеко от дома раздался шаг. Из-за изгороди появилась высокая женщина в пуховой косынке, в ситцевой широкой юбке, в коротком полушубке и серых валенках-чесанках. Поравнявшись с комиссаром, она остановилась и, по-старинному кланяясь ему в пояс, тихо проговорила:

— Здравствуйте, Павел Игнатьевич. А я вас, почитай, с утра добиваюсь, да у вас, как на грех, все народ да народ. Аль не узнали? Это я... Нестерова!

— Любаша!.. — обрадованно воскликнул Фролов и вскочил с лавочки.

Люба рассказала Фролову о том, как добралась сюда из Котласа.

— Ну а Тихон-то как? Как его здоровье? — спрашивал Фролов.

— Да не джуге, Павел Игнатьевич. В госпитале покамест... Левым глазом что-то видит. «Обойдусь, говорит. Я, кричит, теперь носом чую больше собачьего!» Выписки требует. Ругается, бедокур.

Затем, не упуская ни малейшей подробности, она сообщила, как старика Нестерова привезли в Вологду и как лечили сперва на пароходе, потом в госпитале.

— Я ведь в Нижней Тойме его перехватила, пароход с ранеными за дровами пристал... От патрульных моряков узнала. Ну как же было старика бросить... И про Андрейку все узнала.

Люба опустила голову.

— И командира вашего убили... — печально сказала она, ресницы ее задрожали. — Дошла весть! Вот горе-то-злосчастье. Горе, что бусы... Все одно к одному. Ну, я так думала: провожу свекра! Похороню хоть сама, а не чужие люди. Уж так плох был! Никак не чаяла, что

оправится. Никак! Доктор в сиделки определил. Помочь покормить, питье больному подать. Чужая рука хоть гладка, да чужая... А своя жестка, да легка! Доктор сказал: «Ты выходила...»

— Да ведь так и было, наверное...

— Бог знает,— Любаша пожала плечами.

Она очень изменилась за это время: похудела, черты лица стали резче, обозначились скулы. Но голова ее с бело-золотистыми тяжелыми косами, туго затянутыми и скрученными на затылке, сохранила свою прежнюю красоту. Распахнувшаяся теплая косынка открывала белую шею, видневшуюся из открытого ворота бумазейной кофточки. «Лебедя бы с тебя рисовать»,— невольно подумал Фролов.

— А почему ты, Люба, просилась непременно сюда?

— С Вологды-то? И сама не знаю. Здесь с Андрейкой несчастье случилось. Потянуло. Пленных-то отправляют в Архангельск. Вот и я...

«Она думает, что Андрей в плену,— подумал комиссар.— Ну и очень хорошо. Может быть, так ей легче. Не хочет примириться с тем, что его убили. Впрочем, кто знает?...»

— Принесло меня сюда, как ветром пушинку,— продолжила Люба.— К Валерию в отряд пойду. Мне баяли в Вологде, будто он на Ваге лыжников собирает...

— Правильно. Там формируют лыжную команду.

— Ну вот! У него и буду воевать...— сказала Люба, решительно потрянув белокурой головой.— Ах, Павел Игнатьевич... Где же наш Андрейка-то? Вот бедная головушка! Жив ли?— Она вздохнула, закрыла лицо руками, чтобы не показать слез, потом вытерла глаза ладонями.— Свет не мил, правду скажу. Словами горе-то не размочишь! Слова не вода, горе не сухарь...— Она опять потрянула головой.— Завтра человек пятнадцать отсюда на Вагу уходят. И я с ними.

— Ну, воюй, Любаша. Желаю тебе всякого счастья. Счастливо воюй... Да про Андрея не забывай.

— Я еще увижу его, Павел Игнатьевич,— сказала Люба.— Непременно увижу...

— Если верится, верь... Это ты у околицы пела?— спросил комиссар.

— Я... Петь-то пела, а на душе... деготь.— Люба горько вздохнула и, поджав губы, замолчала.

Через некоторое время она шла вдоль пустынной деревенской улицы на другой конец деревни. Шла задумавшись, опустив голову, иногда что-то говорила себе. Кругом было ровное снежное поле, голубое от луны.

6

В ночь со второго на третье января Фролов выехал в Красноборск. Соколов опять сидел на облучке рядом с парнем-ямщиком. Под ногами лежали в соломе две заряженные винтовки. Вторые сани, с пленным американцем и сопровождающим его бойцом, тащились где-то позади. В пути Фролову пришлось несколько раз менять лошадей. Домой он приехал к вечеру следующего дня, невыспавшийся, усталый, но в отличном настроении.

В конце широкой улицы светились за сугробами окна красноборского штаба.

Тройка коней, окутанных морозным паром, вкатила на штабной двор и остановилась посередине его. На ступеньку крыльца из сеней выбежал дежурный.

— Приехали?!— крикнул он, узнав Фролова.— Здравия желаю, товарищ комиссар!

Ответив на приветствие, Фролов прошел холодные темные сени и шагнул в горницу.

Драницын и Воробьев сидели за ужином. Они не слышали, как Фролов подъехал, и вскочили из-за стола, обрадованные его неожиданным появлением.

Комиссар тоже был рад возвращению в штаб, который казался ему теперь родным домом. Но радость его быстро погасла, когда он узнал новости, полученные за несколько часов до его приезда.

Потерпев неудачу на Северодвинском направлении, интервенты изменили план, и послушный их воле адмирал Колчак бросил крупные силы на Пермь, намереваясь двигаться дальше на север и захватить Вятку и Котлас. Третья армия Восточного фронта, лишенная поддержки, в течение двадцати дней героически сражалась с белыми, но двадцать четвертого вынуждена была оставить Пермь.

Через два часа после того, как пришло известие о падении Перми, Драницын получил длинную телеграмму от Семенковского.

Тот приказывал Северодвинской бригаде, как всегда срочно и как всегда «неукоснительно», снять с позиций несколько «лишних» частей и немедленно отправить их на другой участок Северного фронта, на Вологодскую железную дорогу, чтобы «усилить железнодорожный сектор». Одновременно с этим бригаде предлагалось «всемерно укрепить линию обороны».

— Это у нас-то лишние части? Что за чушь! — пожилая плечами, сказал Фролову Драницын. — «Снять части...», «всемерно укрепить...» Формалистика! — возмущенно повторял он. — Кроме того, я не понимаю, почему приказание идет от него, а не от командарма.

Фролов молчал. И вдруг скорее сердцем, чем рассудком он почувствовал в этой переборке частей что-то неладное, какую-то страшную беду и ошибку.

— Обнажить Котлас? — прошептал он и поглядел на товарищей. — Что за притча?

На него было страшно смотреть. Он был обескуражен и в то же время разъярен.

— Ты связался по прямому проводу с Семенковским? — спросил он Драницына.

— Связался, — ответил тот и метнул в сторону сердитый, обиженный взгляд. — Мне приказано не рассуждать. Это — распоряжение главкома.

В комнате воцарилось молчание. Слышно было только, как трещат в печке еловые поленья.

— А с реввоенсоветом Шестой не пытались связаться?

— Как же... — сказал Воробьев. — Гринева сообщила мне, что по поручению Владимира Ильича из Москвы на Восточный фронт выехала Комиссия ЦК. То есть она в Вятке будет, конечно... Хорошо бы и нам с нею связаться... Это для нас, пожалуй, было бы важно...

Фролов вскочил.

— Вот как?! — воскликнул он. — Это очень важно.

Ночью Фролов говорил по прямому проводу с Гриневой. Он спросил, как относится Реввоенсовет Шестой армии к приказу Семенковского. Выполнение этого приказа должно привести к тому, что будет обнажен один из важнейших участков фронта — Котлас.

— Что это? — спрашивал Фролов. — Согласно букве военного закона я обязан подчиняться приказам, идущим свыше. Но я коммунист, я выполняю не только букву, но и смысл закона. Я обращаюсь к партийной организации. Должен ли я подчиняться приказу? Семенковский заявляет, что это — распоряжение главкома. Каково мнение командарма?

— Командарм намерен как будто ждать указаний Комиссии... Так мне передали... Мне, очевидно, вместе с нашей делегацией тоже придется побывать в Вятке... Если есть возможность, вам бы тоже хорошо туда приехать, надо разъяснить положение... Приезжайте. Я в Котласе закажу для вас паровоз, дело срочное... Поедете вне графика...

В ту же ночь комиссар Фролов снова выехал из Красноборска. На облучке сидел неизменный Соколов. Ямщик всю гнал лошадей. Морозный воздух так обжигал, что трудно было дышать. Тройка мчалась в Котлас.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Вятский исполнительный комитет помещался в здании бывшего губернского присутствия. В просторных, обставленных массивной мебелью кабинетах появились люди, одетые в кожаные куртки или в мешковатые пиджаки, из-под которых виднелись ситцевые косоворотки. Но в канцеляриях прочно сидели за своими письменными столами вчерашние царские чиновники. Обшив материей орленые пуговицы своих сюртуков, они делали вид, что добросовестно выполняют порученные им обязанности.

Войска контрреволюции двигались от Перми к Вятке. В конце декабря Пермь была сдана Колчаку. Ценнейшие механизмы и станки Мотовилихинского завода и почти все хозяйство Пермского железнодорожного узла попали в руки противника.

Усталая Третья армия отступала под натиском врага. Вторая же по приказу главкома не втягивалась в бой и не оказывала Третьей никакой помощи.

В этот грозный час из Москвы в Вятку шел поезд Комиссии ЦК. Пятого января тысяча девятьсот девятнадцатого года поезд подошел к низкому насыпному перрону Вятского вокзала. Навстречу прибывшим торопливо выходили люди. Одни явились затем, чтобы немедленно представить свои объяснения или доложить о военной, хозяйственной и политической обстановке. Другие считали своим неперменным долгом лично встретить членов Комиссии, направленных сюда Центральным Комитетом Российской Коммунистической партии (большевиков) и Советом обороны. Третьи пришли хоть издали взглянуть на поезд, прибывший из Москвы.

На путях были поставлены бойцы комендантской охраны. Телефонный провод тотчас связал поезд с городом.

В течение дня около поезда можно было увидеть самых различных людей. Здесь находились вызванные Комиссией ЦК ответственные работники, сотрудники штаба фронта, военспецы, комиссары; пришли сюда и ходоки из окрестных деревень, железнодорожники, рабочие с лесопильных и кожевенных заводов. Некоторые подавали заявления, вынимая бумаги из портфелей, из полевых сумок, из-за пазух тулупов или просто из-за голенищ. И уже по той горячности, с которой они обращались, видно было, сколько надежд возлагали эти люди на приезд Комиссии из Москвы.

Небритый человек с ввалившимися щеками, в истертой добела кожанке, с черным маузером за поясом, настойчиво говорил одному из секретарей Комиссии:

— Я из Кунгура... Я комендант станции! Ты, дружок, доложи все, что я тебе говорю. Наш начальник эвакуации головой ручался, что эвакуирует Пермь. Мастер обещать, сукин сын! Вывез свою рухлядь, ломаные венские стулья, а пушки оставил. Измена, черт в их душу!

Едва секретарь успел выслушать коменданта Кунгура, как около него появился другой посетитель — крестьянин в лаптях и в рваном тулупе. Он возмущенно тряс бородой.

— Я бедняк... А чрезвычайный налог как раскладывают? По душам. На что, выходит, революция? У меня семь душ и ни одной коровы. У кулака три души и пять коров... Рихметика!

Все новые и новые люди осаждали секретаря. Поезд Комиссии ЦК сразу стал центром всей жизни не только города, но и губернии.

Возле поезда гудел ветер, мела пурга, звенели от мороза телефонные и телеграфные провода, слышались мерные шаги постовых. Фельдгегерь во всем кожаном, на ходу поправляя сумку, бежал по заснеженным станционным путям к настойчиво свистевшему паровозу, который срочно уезжал в Москву.

...Два дня в поезде Комиссии ЦК шла напряженная, не прекращавшаяся ни днем, ни ночью работа. Как и в первый день, в Комиссию ЦК являлись военные работники, комиссары и командиры, губкомовцы и члены президиума обоих исполкомов — Пермского и Вятского. От Шестой армии тоже была вызвана делегация, в состав которой вошла и Гринева.

Буквально с каждым часом выяснялись все новые подробности сдачи Перми, становились все яснее как общая картина пермской катастрофы, так и та роль, которую сыграли в ней отдельные лица.

Многие чувствовали, что только партийная комиссия может разобраться во всем этом, только она может направить поток событий в нужное русло, повести людей по верному пути, отбросить все негодное, все мешающее успеху, развеять растерянность, которая овладевала даже теми, кто мог, умел и хотел работать по-настоящему.

Перелом наметился уже на второй день. На фабриках и заводах, в штабах и войсковых частях, в городских учреждениях и даже на улицах — всюду заговорили о том, что теперь, пожалуй, многое переменится.

Настроение заметно улучшилось.

Это почувствовал и Фролов в день своего приезда.

Паровоза из Котласа, который обещала Гринева, он не стал дожидаться. Поезд выходил раньше. Поэтому из Котласа в Вятку он добрался обычным способом. Пришлось трястись в переполненной военными душной теплушке. Ночью только и было разговора, что о Перми. Именно в эту ночь Фролов окончательно осознал всю серьезность пермских событий. То, что так волновало его вчера, теперь по сравнению с пермскими событиями показалось ему не столь уже значительным и важным.

По обеим сторонам дороги тянулись необозримые леса. В теплушке нечем было дышать. На нарах, построенных в два этажа, лежали и сидели люди. Фролова мучила жажда. Ночь, проведенная в дороге, казалась ему бесконечно длинной, и он с трудом дождался утра, когда поезд наконец остановился возле дощатого барака станции Вятка-Котласская.

Увидев неприветливые станционные постройки, полуманные заборы, толпу крестьян, сидевших прямо на снегу со своими корзинами и мешками, Фролов окончательно приуныл. «Ни помыться, ни привести себя в порядок,— с раздражением думал он.— Выпить бы хоть воды, что ли...»

— Кипятильник тут у вас есть или нет? — спросил он встретившегося ему на перроне путевого рабочего.

— Пойдем... — ответил тот. — Есть бачок, ежели деревня не выпила.

— Ну и станция, — проворчал Фролов, следуя за быстро шагавшим рабочим, — неужели воды нельзя запасти? Ведь она же не по карточкам...

— Да, правильно, что говорить... глупостей у нас не оберешься!..

Некоторое время они шли молча. Вдруг рабочий, ухмыляясь, сказал:

— Ну, теперь, слава богу, подкрутят кое-кому хвост... Не слышал разве?

— А что? Комиссия уже здесь?

— А как же! Здесь... От Ильича с полным мандатом!.. Приезд ее будто душу в нас вдохнул, ей-богу... А то ведь ни туды ни сюды. Недолго, думаю, похозяйствуют господа колчаки!..

Они поравнялись с бачком, возле которого стояли люди с чайниками и кружками.

— Вот и бачок! — сказал рабочий. — Ну, прощай пока. Комиссар какой, что ли?

— Комиссар, — улыбнулся Фролов.

— То-то! — сказал рабочий, кивнул и скрылся за дверью путевой будки.

Становясь в очередь за водой, Фролов почувствовал, что настроение его тоже изменилось. Станция уже не казалась ему такой унылой, и, посмотрев на часы, он заторопил старика, стоявшего у крана с большим чайником в руках.

Напившись воды, Фролов расспросил, как ему пройти к главному вокзалу. Путь предстоял далекий.

Город был завален свежим, только что выпавшим снегом. Выглянуло солнце, и Фролов совсем повеселел. Выйдя на проспект, он увидел обоз, далеко растянувшийся по улице.

«Снаряды... — подумал он. — Вот это здорово... Нам бы надо до зарезу...»

Вагон Вологодского штаба находился на запасных путях. Когда комиссар Фролов вошел туда, там уже толпились военные и штатские лица, и среди них он тотчас заметил Гриневу, в черной юбке и в аккуратно пригнанной гимнастерке.

— Успел! Здравствуй... — приветливо сказала она, крепко пожимая ему руку. — Очень хорошо... У тебя письменный доклад или устный?

— Устный, — ответил Фролов. — Только в черновике для памяти записал... Я так торопился...

— Ну, ничего... Военная косточка... Не любите вы писанины... Ну-ка, дай мне...

— Вот, Анна Николаевна... — смущенно начал Фролов, передавая ей бумагу. — И без моего участка столько важных дел, как я слышался в дороге... Уместно ли?..

— Что уместно? Не понимаю... — проговорила она, торопливо проглядывая список вопросов, намеченных Фроловым.

— До Двины ли сейчас?

— Это видно будет, — сказала она. — Думаю, что до Двины... Ты вот что... Располагайся пока тут, у меня... Отдыхай. Вызовут тебя часам к трем, не раньше. Я пришлю за тобой.

— А кто приехал?

— Да немало народу... Во главе комиссии Дзержинский и Сталин...

Вместе с товарищами, находившимися в купе, она вышла. Фролов почистил сапоги, умылся, затем, вынув из вещевого мешка краюху хлеба и кусок печеной рыбы, с аппетитом поел и принялся за работу. Он все-таки решил представить доклад в письменном виде. «Так надежнее будет», — подумал он.

Времени прошло немало. Доклад был кончен. Фролов прилег на диван. Всю ночь он провел без сна, но и сейчас ему не спалось. Мысли назойливо возвращались к тому, что делается дома, на Северной Двине... Не случилось ли чего-нибудь? Гринева все еще никого не присылала. Фролов уже не мог лежать. «Да вызовут ли меня? — думал он беспокойно. — Ну, не вызовут, и Гринева доложит... Но так ли? Не пойти ли мне к поезду... Пойду...»

Он вышел на пути. Уже сильно стемнело. Поезд Комиссии ЦК стоял за водокачкой. По путям прохаживались несколько человек, видимо так же, как и Фролов, ожидавших приема. Люди, покуривая, беседовали между собой.

Высокий мужчина в папаше и в широченном, с чужого плеча, тулупе говорил седоусому рабочему в кепке и кожанке:

— Приказано немедленно собрать анкетные данные. Правильно, а то до сих пор всюду сидит царская контра... — отозвался рабочий. — Тебе досталось, что ли? — По первое число. — За что же, если не секрет? — Ну, за что? За дело, конечно... — Человек в папаше развел руками и виновато усмехнулся.

За путями, по другую сторону вокзала, виднелись низкие одноэтажные домишки, кусты, елки. Алел краешек горизонта.

Фролов пожимал плечами от холода. Ветер яростно рвал искры с его сигарки. Потуже надвинув на уши кубанку, он обошел вагон, чтобы укрыться от ветра. Двери в теплушках соседнего эшелона были распахнуты настежь, в одной из них топилась чугунная печка. Вокруг печки стояли командиры и тоже взволнованно и оживленно говорили обо всем случившемся в Перми. Часть товарного состава была уже занята бойцами. За маленьким забором ожидала погрузки другая группа бойцов.

— Вы не от Красноборского штаба? — вдруг окликнул Фролова какой-то военный. — Я вас ищу уже четверть часа. Товарищ Гринева поручила...

Быстро пройдя по путям и поднявшись по обледенелым, скользким ступенькам вагона, Фролов протиснулся в тамбур, где так же, как и на путях, стояли люди, ожидавшие приема.

Миновав коридор, он подошел к двери с наполовину застекленными узкими створками. Стекло было матовое, с затейливым узором.

— Куда ты делся? Я так беспокоилась... — сказала стоявшая у двери Гринева. — Сейчас кончится совещание, а потом начнется прием... Подожди здесь. Я уже о материальном снабжении, о боезапасе да о теплых вещах поговорила тут кое с кем... Дадут!

— Спасибо вам за участие, Анна Николаевна.

— Какое там участие... Не скромничай. Знаю, что не сладко вам приходится. Вы у нас забытый участок... Эх, Павлина нет, жалко... Правда? Светлый был человек... — сказала она с доброй улыбкой, поправляя пенсне, и скрылась за дверью.

Рядом с Фроловым стоял у окна командующий Третьей армией, кургузый, энергичный по виду человек с лысой головой и крупным, мясистым носом. Тут же, в коротком до колен полушубке, стоял член Военного совета армии. Командарм, расстроенный, нервно барабанил пальцами по оконному стеклу.

Через несколько минут вышел секретарь и сказал, что они могут отправляться в Глазов... Комиссия прибудет на фронт. Они вышли.

За дверью заговорило сразу несколько человек... Задвигали стульями, послышался кашель, по матовому стеклу забегали тени. Заседание кончилось.

«Теперь вызовут меня...» — подумал Фролов, и сердце его забилось учащенно. Действительно, из-за двери снова выглянул секретарь.

2

Фролов после своего доклада вышел из вагона с таким чувством, словно его подняла и несет какая-то огромная, могучая и радостная волна. На улице трещал мороз. Будто серебряная соль, выступили звезды на темном январском небе. И Фролову казалось, что станционные огни горят с такой же яркостью.

«Шенкурск!.. Развеешь как дым все замыслы интервентов...» — восторженно думал он, еще и еще раз вспоминая подробности своего разговора в Комиссии.

...Предложение идти на Шенкурск, освободить этот глухой, лесной городок от противника поразило Фролова... Распоряжение Семеновского о переброске войск с Северодвинского участка на центральное направление было отменено. А ведь это было главное, к чему Фролов стремился и чего хотели многие из военных работников его, фроловского штаба... Да, хорошо, что он лично прибыл сюда! Хорошо, что честно рассказал обо всех настроениях своего участка, о делах партизан, о Макинском отряде и даже о бородаче Шишигине, который ухитрился приволочь на своей широкой медвежьей спине какого-то растерявшегося сержанта и всю дорогу кормил этого парня трофейным шоколадом. Над этим в Комиссии здорово посмеялись. «Я толково все изложил?» — задал он себе вопрос. Да, конечно, все... Все, что делается сейчас в укрепленном районе, занятом неприятелем... Как там страдает народ, как ждет избавления... Какие неприятельские войска на этом участке... Где и как они укрепились?... Да, все... Неужели с этой точки мы пойдем к Архангельску, сдвинется фронт и прекратится наконец постылая зимовка, вспыхнет бой?

Да, народ оживится... Духом окрепнет. Еще прибавятся партизанские силы. Тут он вспомнил, как твердо обещал Комиссии протащить свои пушки сквозь саженные снега и сугробы... «Мы там ударим, где враг нас не ждет, — снова подумал он. — И крепко ударим».

Через час, простившись с Гриневой, Фролов вернулся на станцию, чтобы поскорее оформить у коменданта. «Да, да... Как можно скорее домой... Мои-то волнуются, верно... Но как я их обрадую, когда приеду».

Пути были забиты пустыми составами, пригнанными сегодня из-под Глазова. Мигали красные и зеленые огоньки стрелок. Раздавались частые гудки маневрового паровоза. Слышалось звяканье буферов, ржанье лошадей, тяжелый стук вкатываемых на платформы орудий. Все на станции говорило об усиленной подготовке к упорным боям, все звало Фролова к берегам Северной Двины, к своим бойцам и товарищам... «Скорее, скорее...» — торопил он и себя и комендантских писарей, оформляя проездные документы.

На Шенкурск Красная Армия шла в трех направлениях: первое — западное, со станции Няндомы Вологодской железной дороги, через леса и болота, второе — восточное, из селения Кодемы, также по лесам. И третье — центральное — линия главного удара — Вельско-Шенкурский почтовый тракт, тянувшийся по левому берегу Ваги от городка Вельска, через село Благовещенское. Движение всех трех колонн было начато с таким расчетом, чтобы к девятнадцатому января они могли занять исходное положение к бою, охватив с трех сторон Шенкурский район, и начать штурм Шенкурска по реке Ваге, вдоль ее правого берега. Отряд партизан Макина действовал за Шенкурском, в тылу у врага.

Помимо Макинского отряда, на Ваге образовались Вельский, Суландский и многие другие партизанские отряды. Некоторые из них влились затем в центральную колонну Фролова.

В совершенстве зная каждую тропинку этой местности, красные партизаны легко проникали в тыл противника и были незаменимыми разведчиками.

Всюду действовали партизаны, ходившие в бой с лозунгом: «Смерть интервентам!»

Ввиду особых обстоятельств на Фролова по решению высшего командования было возложено не только политическое, но и оперативное руководство войсками, идущими на Шенкурск. Драницын был к нему прикомандирован как военный специалист. Оба они находились в центральной колонне.

План окружения противника с трех сторон был разработан Фроловым и Драницыным совместно.

Подступы к городу защищались тремя укрепленными участками, господствовавшими над местностью. Каждое из укреплений противник хорошо снабдил артиллерией и пулеметами. Сам Шенкурск, стоящий на правом берегу Ваги, был обнесен тремя рядами проволочных заграждений и окружен шестнадцатью блокгаузами¹, каждый

¹ Блокгауз — иногда фортификационная постройка, иногда обычный деревянный дом, обнесенный лесами, на которые укладывались в несколько рядов мешки с песком. В окнах сооружались амбразуры для пулеметов и мелкокалиберной артиллерии. Блокгауз окружался окопами и проволочными заграждениями.

из которых имел до шести пулеметных гнезд. Кроме подвижной артиллерии, состоявшей из двадцати орудий, в Шенкурске была еще морская, крупнокалиберная, на бетонных установках.

Все три колонны шли днем и ночью, невзирая на разыгравшуюся в эти дни метель.

Особенно тяжело пришлось восточной и западной, пробиравшимся по снежной целине. Их путь был гораздо длиннее, чем у центральной, местность глуше, почти без селений, леса да болота. Красноармейцы по пояс увязали в снегу, лошади выбивались из сил, и людям приходилось впрягаться в сани и самим тащить орудия, пулеметы, боевые припасы и продовольствие, приходилось почевать у костров на морозе.

Но тяжелее всего было отсутствие хорошей связи между колоннами. О степени продвижения флангов Фролов узнавал с запозданием, что усложняло развертывание операции.

Несмотря на все эти трудности и лишения, колонны упорно продвигались вперед.

Сквозь лес, стоявший сплошной стеной, пробивалось багряное зимнее солнце. Замерзшие, покрытые толстым слоем снега деревья клонили долу свои отягченные ветви. В лесу стояла тишина. Только лось выбегал иногда на придорожную поляну и, раздувая ноздри, принимаясь к воздуху, поводил своей красивой головой с ветвистыми рогами.

Тройка мохнатых лошадок бежала дружно, санный возок нырял в пушистых сугробах, на расписной дуге коренника задорно бренчал колокольчик.

Седоки ехали почти без отдыха. Останавливались лишь затем, чтобы перезаложить лошадей в деревушках, кое-где встречавшихся на пути, и мчались дальше по лесным дорогам из Красноборска к Вельско-Шенкурскому тракту, не зная ни сна, ни усталости.

На облучке рядом с ямщиком трясся вестовой Соколов. В саних, прижавшись друг к другу и закутавшись в совики — шубы из оленьего меха, сидели Фролов и Драницын.

За этот долгий совместный путь они уже успели переговорить обо всем: о прошлом и настоящем, о Павлине Виноградове, которого оба не могли забыть, о случайных встречах, порой определяющих всю дальнейшую

судьбу, о жизни, о любви. Посмеиваясь, они уверяли друг друга, что до самой смерти останутся холостяками и солдатами.

Но о чем бы ни шел разговор, одна и та же беспокойная мысль неотступно тревожила обоих — мысль о предстоящих боях, о выполнении боевой задачи, о взятии Шенкурска.

На второй день пути в одной из деревень они догнали шедший к фронту конный отряд Хаджи-Мурата.

Фролов полагал, что Хаджи-Мурат остался в Красноборске. Еще два месяца тому назад горец был тяжело ранен в ногу, рана у него не заживала. Каково же было удивление комиссара, когда ординарец Акбар доложил, что его командир идет с отрядом.

Фролов вспыхнул:

— Да ему же приказано было остаться! Передай начальнику, чтобы он явился ко мне...

— Понял, — сказал Акбар, покачав головой.

Фролов и Драницын зашли в избу, отведенную для постоя. Радушная хозяйка угостила их макивом — похлебкой из соленой трески. Не успели они поесть, как в сенях послышался стук костылей.

Драницын усмехнулся, задержав ложку у рта.

— Мурат! Собственной персоной!

Действительно, это был Хаджи-Мурат. Остановившись на пороге избы, он приложил руку к газырям черески.

— Ослушник... — сказал Фролов. — Ты что выдумал? Садись.

— Нет.

Мурат стоял в дверях. В руке у него была плетка. Он пристально посмотрел на Фролова и спросил:

— Ты, комиссар, назначил командовать Крайнева?

— Да, я... — несколько смущенный, проговорил Фролов. — Крайнев пошел со своим отрядом. Вернее сказать, с конной разведкой... Он будет в центральной колонне. А твои конники в правой, восточной...

— Мои орлята... и без меня? — оскорбившись, сказал Хаджи-Мурат. — А потом... когда соединятся? Кто будет командовать? Ты думал, комиссар?

Он щелкнул языком.

— Ты ранен... А поход нешуточный, — сказал Фролов. — В таком деле раненый — и себе и другим обуза.

Я же о тебе забочусь, чужак ты этакий. Поправишься — дело другое.

— Все идут! Хаджи-Мурат не идет?

— Во-первых, не все. А во-вторых, вот что... — уже сердито сказал Фролов. — Ты находишься в армии. Так не заводи свои порядки! Без лечебной комиссии нельзя.

— Я не лазарет был. Меня кто лечил? — Хаджи-Мурат сдвинул брови. — Комиссия? Я сам себя лечил! На конюшне.

Он скинул с плеч бурку и бросил костыли.

— Лезгинку плясать?

— Слушай, Мурат. Твои чувства мне понятны, но лучше тебе все-таки...

— Нет! — с негодованием прервал его горец. — Только смерть меня сразит! Я сам дохтур... Палки я носил, чтобы ран не портить. Хочу на Шенкурск!

Он поднял костыли и один за другим сломал их о колено.

— Пожалста!

Драницын поморщился с невольным раздражением кадрового военного, которому казались странными сцены подобного рода. Но Фролов внимательно следил за Хаджи-Муратом.

Горец, лукаво подмигнув, подвел Фролова к окну.

— Смотри, — сказал он. — Весь отряд просит!

Отряд стоял на улице в конном строю. Одеты всадники были по-разному: кто в крестьянской русской одежде, кто по-кавказски. Позади отряда вытянулся обоз.

В избу зашел ординарец Акбар. Хаджи-Мурат обернулся к нему.

— Акбар, скажи орлятам, еду я...

— А как же приказ? — недовольно спросил Драницын. — Что же, ты в конце концов военнослужащий или нет?

— Я воин, — гордо сказал горец и обратился к Фролову. — Приказ дай, пожалста.

Фролов добродушно махнул рукой, и просиявший Хаджи-Мурат вышел из избы вместе со своим ординарцем.

— Орел! — снова принимаясь за обед, сказал Фролов Драницыну! — Помнишь, как он разгромил американцев

в Сельце? Как налетел на них ночью? С ним и ста человек не было, а тех больше тысячи.

— Для операций в тылу врага Хаджи-Мурат, конечно, незаменим, — согласился Драницын.

— А Тулгас? Как он расщелкал интервентов под Тулгасом! Я очень рад, что он будет с нами под Шенкурском. За что я его ценю больше всего? — продолжал комиссар. — Революционное сердце! Другой рубака налетит не разобравшись, с ходу начнет тарарам! А Хаджи-Мурат с толком действует. Одно слово — орел!.. Даром что старик.

— Ну что же... Смелость не знает старости, — сказал Драницын, вставая из-за стола.

Они поблагодарили хозяйку, вышли на улицу и тронулись в дальнейший путь.

Лунной морозной ночью Фролов и Драницын нагнали также направлявшуюся к фронту артиллерийскую группу в составе двух батарей.

Впереди орудий медленно двигался сделанный из бревен треугольный снегорез. Его тащили двенадцать лошадей. Мутная снежная пыль клубами вилась над ним.

Несмотря на то что снегорез расчищал дорогу, орудия двигались с трудом, бойцы, помогая лошадям, толкали лафеты. Колеса орудий вязли в нижней корке снега.

— Послушай, Леонид, — обратился Фролов к Драницыну. — Ты же хотел пушки на полозья поставить. Не вышло, что ли?

— Это шестидюймовые. Боюсь, что сани не выдержат.

— А ну, еще раз! Давай, давай, давай!.. — кричали бойцы, вытаскивая из сугробов застрявшее орудие.

Фролов вылез из саней. Тотчас откуда-то появился начальник артиллерийской группы Саклин в ловко сидевшей на нем бекеше. Фролов помнил Саклина еще с того времени, когда тот после гибели Павлина Виноградова отчаянно дрался под Шидровкой.

Позванивая шпорами, Саклин быстро подошел к Фролову и, как всегда, лихо отковырял. Бойцы-артиллеристы стояли без шинелей и даже без ватников. Некоторые утирали вспотевшие лица. Кое-кто, видимо, узнал комиссара.

— Тяжело, товарищи? — спросил Фролов.

— Трудновато, товарищ комиссар, — ответил за всех один из бойцов...

— Ничего... Справимся как-нибудь, — сказал другой.

— Как с фуражом? С питанием? — спросил Фролов.

— Фураж в деревне берем. С питанием хуже. Лошадь вчера ногу сломала, пристрелили... Конина — штука хорошая. С ней не пропадешь!

Саклин стоял молча, понимая, что комиссар хочет в первую очередь побеседовать с бойцами.

— Ничего, справимся, — говорили бойцы. — Вызволить надо народ. Не может он в кабале жить. Знаем, что там интервенты творят.

— Один Мудьюг чего стоит, — поддержал их Фролов. — Слыхали, поди?

— Как не слышать...

— Стреляют рабочих и крестьян, грабят край! Архангельск превратили в застенок. Шенкурцы среди вас есть?

— У нас на батарее нет. В первом батальоне будто.

— И помните еще вот что, — продолжал комиссар. — Когда мы в Вятке были, мы, представители армии, обещали взять Шенкурск... Не кому-нибудь, а Комиссии ЦК, что приехала от Ленина, обещались... Такое слово надо держать крепко! Я головою ручался, товарищи.

— Всыплем по первое число!

— Раз бойцы говорят, товарищ комиссар, значит так и будет, — вмешался в разговор Саклин. — Их слово свято.

Бойцы рассмеялись.

— Вот это верно, — улыбнувшись, сказал и комиссар.

Поговорив еще немного, Фролов и Драницын простились с артиллеристами и поехали дальше.

Фролов торопился. Ему надо было поспеть на уездную партийную конференцию в селе Благовещенском. Всю ночь они ехали без остановок.

Под утро тройка устала. Уносные лошадки едва перебирали ногами, не натягивая даже постромок, только коренник тянул за собой санный возок и добросовестно месил желтый, зернистый, заезженный снег. Уже по цвету этого снега можно было понять, что недалеко жилье.

На облучке дремал Соколов, дремал и возница, опустив вожжи. А Драницын даже похрапывал. Всем телом

собравшись в клубок, он лежал под меховой полостью. Спал он неудобно, съжившись, но Фролову жаль было его будить. Во сне лицо Драницына выглядело очень юным, и Фролов думал: «А ведь он оказался неплохим парнем».

В селе Благовещенском дорога была еще больше наслезана, всюду тянулись телефонные провода, над одной из деревенских изб висел флаг Красного Креста. Во дворах слышались голоса бойцов, виднелись под горюшкой патрули, на выгоне стояло несколько легких батарей.

Фролов снял варежки и растер озябшее лицо. Только что проснувшийся Драницын, увидев избы, смущенно сказал комиссару:

— Приехали? Вот сморило... Сам не помню, как заснул.

— Хоть немного поспал... А я глаз не сомкнул! — Фролов оглянулся. — Кого же тут спросить?

По улице шли женщины, позвякивая пустыми ведрами. В проулке, возле дымившей кузницы, стоял верховой и, свесившись в лошади, разговаривал с молодым парнем.

Заметив тройку, верховой подскакал к ней.

— Здравия желаю, товарищ комиссар, — сказал он, подбегая вплотную и принаравливая бег лошади к ходу саней.

— Здорово, Крайнев... Ты, я вижу, бороду сбрил. Со всем стал герой!

Крайнев смущенно улыбнулся.

— Показывай, где наппи стоят.

— Касьян! Терентьев! — зычно крикнул Крайнев пареньку, по-прежнему стоявшему у кузницы. — Иди скорей сюда... Товарищ Фролов прибыл!

Парень хлопнул руками, точно удивляясь, и подбегал к остановившимся саням. На его молодом румянном лице выражались любопытство и смущение. Из-под трехуха выбилась вьющаяся длинная прядь.

— Добро пожаловать, товарищ комиссар, — юношеским баском заговорил он, здороваясь с Фроловым и Драницыным. — А мы рассчитывали, что вы только к обеду доберетесь, не раньше... Меня выслали встречать вас, а вот как вышло. Хотел лошадь перековать.

Паренёк, соблюдая солидность, крикнул:

— Эй, Петра! Лошадку мою потом в конюшню отправь. Да пускай овсеца зададут. Скажи конюху, что Касьян распорядился... Слышишь?

— Слышу, — отозвался кто-то из кузницы.

— Вы как, сначала на конференцию заглянете или в штаб? — снова обратился паренек к Фролову.

— А конференция еще не открылась?

— Нет.

— Тогда в штаб.

Касьян кивнул, подсел на облучок рядом с вестовым и важно сказал ямщику:

— Трогай! Прямо валяй, а у колодца свернешь.

— Где будет конференция-то? — спросил Фролов. — В каком помещении?

— В школе, — ответил Касьян. — Народ так и валит. Только я так думаю: чего разговаривать-то? Воевать надо.

— А ты, видать, на войне еще не был?

— Не пришлось, — зардевшись, ответил Касьян. — Я еще молодой. Восемнадцати нет. На вид-то я старше.

— Ничего, Касьян, успеешь повоевать, — дружески сказал Фролов. — Может, и командовать придется. Сумеешь повести людей в бой?

— Сумею, товарищ Фролов!

От разговора с комиссаром ему, видимо, стало жарко, он размотал свой гарусный шарф, обнажилась его сильная, мускулистая шея.

— Ну, приехали! — крикнул Крайнев.

Тройка подкатила к большому старому дому с мезонином и с красивыми резными наличниками на окнах.

Чье-то лицо на мгновение показалось за оконным стеклом, и Фролов, еще сидевший в санях, тотчас услышал знакомый голос Сергунько.

— Ребята, комиссар приехал! — на весь дом кричал Валерий.

Оставив сани и попрощавшись с Касьяном и Крайневым, приезжие подошли к широкому крыльцу. Навстречу им выбежал радостный и взлохмаченный Валерий.

На крыльцо вышли также Бородин, теперь уже командир стрелкового полка, и Жилин, списанный с флотилии и назначенный сейчас комиссаром в морской отряд.

— Ну как, Жилин, твои морячки? — говорил комиссар на ходу.

— Хорошо! Командиром у нас Дерябин. Помнишь ротного политука?

— Лихой матрос. Как же не помнить! Сам подписывал назначение.

— А где Гринева? Разве она не приедет на конференцию?

— Нет... В Вятке осталась.

Так разговаривая, они прошли в комнату с двумя окнами. Там вплотную к стене был придвинут длинный стол с разложенными на нем топографическими картами.

— Чайку, товарищ военком, да закусить с дороги, — предложил комиссару Валерий.

— Давай чаю! — сказал Фролов. — Да погорячей. Замерзли мы.

Бородин уже стоял с Драницыным у стола и докладывал ему о расположении частей, об их готовности к бою. Драницын, не теряя времени, проверял его доклад по карте и делал какие-то замечания. Фролов, не вмешиваясь в их беседу, пил принесенный ему Валерием чай и разговаривал с окружившими его командирами.

— А у тебя как дела? — обратился он к Валерию.

— Все в порядке, товарищ комиссар, — ответил Валерий.

Валерий командовал сейчас первым батальоном с приданными ему отрядом лыжников и конной разведкой Крайнева.

— Настроение боевое, товарищ комиссар, — продолжал Сергунько. — Командир полка на меня не обижается.

Он помедлил и уже другим, неофициальным тоном добавил:

— Пока сидел в лесу — еще ничего. А вот вы приехали да товарищ Драницын, будто еще кого-то не хватает...

— Андрея?

— Его... Словно брата потерял. Свыкся, что ли? Так жалко парня, сказать не могу. Я его даже во сне вижу, ей-богу!

— Есть сведения, что Латкин жив и находится в плену, — сказал Фролов. — У белых или у англичан... Они считают его комиссаром.

— Откуда это известно?

— От перебежчиков.
— Там, в лагерях, говорят, зверство... — сумрачно заметил Жилин.

— Будем надеяться, что обойдется, — угрюмым голосом сказал комиссар.

— Что с Любкой будет? — Валерий опустил голову. — Говорить ей или нет?

— Где Люба? У тебя? — спросил Фролов.

— В лыжной разведке. Сегодня отправлю в тыл к противнику. Злая стала, как ведьма.

— Придется рассказать. Вот вернется из разведки, ты и Расскажи.

Валерий тяжело вздохнул. Мысль о неизбежном разговоре пугала его.

Через полчаса Фролов обходил растянувшийся по селу воинский обоз; он разговаривал с людьми, придирчиво осматривая свое хозяйство. Но вместе с обычными, повседневными заботами в голове у него теснились и другие мысли, вызванные разговорами об Андрее и Любе. Он думал о тех суровых испытаниях, которые выпали на долю почти всем без исключения участникам великой борьбы за свободу — старым и молодым, опытным и еще только начинающим жить.

Над входом в школу висело красное полотнище с надписью: «Даешь Шенкурск!»

Войдя в сени, Фролов сразу столкнулся с Крайневым. Разговаривая с окружившими его делегатами, Крайнев горячился, спорил и, казалось, только ждал сигнала, чтобы немедленно броситься в бой с врагом. Фролов отлично понимал его состояние и перемолвился с ним несколькими дружескими словами.

На конференцию съехалось много коммунистов из других волостей. Они пробрались через линию фронта и хорошо знали, что такое власть интервентов. Фролов вспомнил, что еще осенью членов партии здесь можно было пересчитать по пальцам. «Растет наша сила, — с удовлетворением подумал он. — С каждым днем растет!»

К нему подошел широкоплечий подвижной белокубый мужчина лет сорока, с окладистой бородой. Это был Черепанов, благовещенский коммунист, один из организаторов конференции. Он родился в Шенкурске, жил там, и в селе Благовещенском, под Шенкурском, амери-

канцы его арестовали. Но Черепанов сумел убежать. Многие собравшиеся здесь люди приходились ему близкой или дальней родней. Его все знали, да и он знал почти всех.

— На десятки миллионов ограбили интервенты нашу шенкурскую сторонку, — жаловался Фролову Черепанов. — Сколько лесу! Один Кемп, американский экспортер, на два миллиона золотых рублей увез лесных материалов и ни копейки не заплатил.

— Ну, лес чуток в запанях застрял. Морозы рано хватили! — возразил один из делегатов, бледный худощавый старик.

— А кудель? А лен? А кожа? А пушнина? Все подчистую вывезено. Миллионы награблены! Кемп, Барнс... Шильде... Целая банда орудовала.

Конференция проходила в большой комнате, тесно набитой людьми. Президиум расположился за учительским столом, стоявшим возле классной доски. К доске было прислонено красное знамя Шенкурского Совета, вывезенное из Шенкурска еще прошлой осенью.

Выступавшие говорили коротко, горячо и просто. Их речи дышали готовностью к борьбе и верой в победу.

Находясь в президиуме, Фролов с интересом вглядывался в лица делегатов.

Внимание его привлекла сидевшая в первом ряду девушка в толстой вязаной кофте. Короткие золотисто-рыжие волосы девушки были гладко зачесаны и собраны на затылке. Она внимательно слушала все выступления, щеки ее разругались, кончики ушей порозовели.

— Кто это? — показывая глазами на девушку, спросил Фролов у своего соседа...

— Местная учительница, — шепотом ответил тот. — Леля... Елена Егорова... дочь одного из шенкурских большевиков... — добавил сосед, наклоняясь к Фролову.

— Мудьюжанина?

— Да...

Фролову уже давно, еще в августе, было известно из разведочных данных армейского штаба об ужасной судьбе Егорова. И хотя Егоров не был ни другом ему, ни знакомым, он не мог оторвать взгляда от хрупкой фигуры девушки, думая одновременно и об отце и о ней.

Фролов знал, что все собравшиеся здесь члены партии после окончания конференции немедленно отправятся

на фронт политбойцами, агитаторами и даже рядовыми красноармейцами.

«И она пойдет?..» — Он невольно покачал головой, вздохнул и тут же стыдливо оглянулся, смутившись от своей мысли.

Когда пришла его очередь выступать, он выразил уверенность в том, что все коммунисты, присутствующие на конференции, будут личным примером вдохновлять бойцов на борьбу с врагом.

— И вот еще что важно. Ведь не все знают, что творится по ту сторону фронта... Как там хозяйничают и зверствуют интервенты! Среди бойцов есть и вологодцы, и москвичи, и питерцы. Вы местные люди... Расскажите бойцам правду... Только чистую правду! Ничего не убавляя. И не прибавляя. То, что вы сами воочию видели. Расскажите, как интервенты превратили Архангельский край в лагерь смерти. Бойцы должны знать не только то, за что они борются... Но и против чего... Ясно?

Он подчеркнул, что взятие Шенкурска — шаг к освобождению Архангельска.

Люди повскакивали со своих мест. Раздались возгласы: «Да здравствует Ильич!», «Долой интервентов!»

— Даешь Шенкурск! — не помня себя от обуревавших его чувств, кричал Касьян Терентьев.

К столику подошла учительница. Ей было поручено прочитать присягу. Ее молодой голос звенел, как и у Касьяна.

— Клянемся... — читала она, — не жалеть своей жизни в борьбе за наш Северный край, до последней капли крови будем бороться с чужеземцами-интервентами — американцами, англичанами и прочими, с помещиками и капиталистами, с белогвардейцами всех мастей, с предателями интересов трудового народа... Клянемся, как верные солдаты Великой Октябрьской революции...

В ответ неслись голоса, молодые и старые, хриплые и звонкие. Они повторяли: «Клянемся!» Будто эхо проносилось по школе.

На улице начался митинг.

Драницын стоял, затерявшись в толпе. Молчаливая, внимательно слушающая толпа, раскрасневшиеся лица, строгие, серьезные глаза крестьян, негодующие воз-

гласы, которые раздавались в толпе, когда кто-нибудь из выступавших рассказывал о страшных, позорных событиях в Архангельском крае, — все это еще и еще раз убеждало Драницына в одном: народ против интервентов, народ ненавидит их смертельно.

«Вот это и есть тот настоящий патриотизм, которого раньше не было, — думал Драницын. — При царе-то разве так мужики отправляли своих сыновей на войну? С плачем, со скрежетом зубным. Неохота было воевать за чужое дело. А сейчас мужик воюет за себя... За жизнь детей... За свою землю! Сейчас все другое... Совсем другая картина... Вот она, подлинная Россия...»

Взволнованный собственными мыслями, Драницын плохо слушал ораторов. Он почти не слышал и того, что говорила молодая девушка в тулупчике, валенках и темной косынке. Но лицо ее, одухотворенное и гордое, поразило его.

Он даже поинтересовался, кто она такая?

— Не здешние они... Будто учительствует, что ли... — сказал ему беззубый старик в меховой шапке и меховых сапогах, стоявший в толпе рядом с ним. — Будто с Шенкурска.

2

После митинга Черепанов пригласил Фролова к себе поужинать. Комиссар очень устал, ему хотелось побыть одному, но хозяин так настаивал, что отказаться было невозможно.

В избе, где жил Черепанов, собралось много народу: все хотели поговорить с приезжими военными о подробностях предстоящего похода. Пришла и учительница. Драницын, явившийся вместе с комиссаром, сразу заметил ее и почему-то обрадовался, что и она здесь.

Собравшиеся говорили о предстоящем шенкурском походе и вообще о зимних походах. Драницын вспоминал различные эпизоды из истории старой русской армии и утверждал, что лучшие, свойственные русскому солдату боевые традиции с особенной яркостью проявляются именно теперь, в молодой Красной Армии.

— Многого нам еще не хватает... По части организации особенно! Но победоносный дух войска, товарищи. Драницын взмахнул руками.

— Много ли я служу в Красной Армии, но чувствую, как она растет!.. Это словно Илья Муромец, почуявший свою силу.

Слушали Драницына до тех пор, пока хозяйка не вытащила из печи чугунный котел со щами.

На стол поставили маленькую керосиновую лампу. Гости стали рассаживаться, продолжая начатую беседу. Драницын сел рядом с учительницей. Лицо девушки сохраняло задумчиво-сосредоточенное выражение. Чем чаще Драницын посматривал на свою соседку, тем больше она ему нравилась.

Было жарко. Учительница сняла свою толстую вязаную кофту и осталась в простенькой ситцевой блузке с цветочками. Тоненькая, как тростиночка, она показалась ему еще милее. Он молчал, не зная, как с ней заговорить. Будто пропала в нем та грубая простота в отношениях с женщинами, к которой он уже привык за годы войны.

Напротив Драницына сидел седой старик с удивительно яркими и живыми глазами. Он ни разу не вступил в разговор, видимо не желая мешать молодежи.

— Кто это? — шепнул своей соседке Драницын, желая завязать с ней разговор, и незаметно кивнул в сторону старика.

— Савков, — тоже шепотом ответила учительница. — Он еще из ссыльных, с девятьсот пятого года здесь... Отец мой очень уважал его.

— А ваш отец умер?

— Мой отец — Егоров, бывший работник Шенкурского Совета, — еле слышно сказала девушка. — Я ничего не знаю о его судьбе.

Увидев, что Драницын не понимает ее, она прибавила:

— Он сейчас на Мудьюге. Я не знаю, жив ли он... Папу арестовали здесь, около Шенкурска, еще в первые дни оккупации...

— С кем же вы здесь? Одна?

— Я здесь с мамой и братишкой. Братишке только девять лет. После взятия Шенкурска вернемся домой. Я ведь там буду работать в отделе народного образования.

Драницына удивила та уверенность, с которой учительница говорила о своей будущей работе в Шенкурске. Но, прислушиваясь к разговору, не утихавшему за

столом, он убедился, что все были точно так же уверены в том, что Шенкурск через несколько дней будет освобожден от врага. Раньше это, может быть, показалось бы Драницыну легкомысленным. Но теперь он чувствовал, что люди, сидящие за столом — Фролов, Черепанов, Крайнев, юный Касьян Терентьев, — не могут думать иначе. Теперь он уже понимал, что именно эта нерушимая вера в победу и дает большевикам силу побеждать врага даже в том случае, если он сильнее их.

Весь вечер Драницын не отходил от Лели, и потом он пошел ее проводить.

По дороге Леля рассказала Драницыну, что до революции она жила в Петрограде, училась на курсах.

— Но это продолжалось только один год... Незадолго до революции папу арестовали. Я должна была вернуться в Шенкурск и помогать семье... Без папы было очень тяжело! И даже не столько материально... Я страшно скучала.

— Вы очень любили своего отца?

— Я и сейчас люблю.

— Простите, я не то хотел сказать.

— У меня был замечательный отец... Да, конечно, был, — договорила она очень тихо. — Вряд ли он жив.

Леля шла, так доверчиво и просто опираясь на его руку, будто они давно были знакомы. Драницын испытывал все возрастающую нежность к этой девушке.

Они подошли к маленькой, утонувшей в сугробах избушке. Леля остановилась.

— Вот я и дома, — сказала она.

Драницын осторожно пожал ее маленькие холодные пальцы.

— Вы попадете в полк, которым командует Бородин, — негромко сказал он. — Как будут распределены мобилизованные коммунисты, я не знаю... Неизвестно, когда мы теперь увидимся. Я ведь буду мотаться по разным участкам фронта. Такова уж моя должность...

— Да, да, конечно, — сказала Леля, и Драницыну показалось, что голос ее прозвучал грустно.

«Что же мне сказать? — подумал он. — Не то я говорю, совсем не то!..»

Но все привычные слова куда-то исчезли, и он стоял, с растерянной улыбкой глядя на Лелю. Девушка тоже молчала.

— Теперь уж мы встретимся только в Шенкурске, — наконец сказал Драницын.

— Видимо, так, — тихо ответила Леля.

— Значит, до Шенкурска?

В оконцах избушки мелькнул огонь. Леля стиснула руку Драницына, и через мгновение ее легкая фигура растаяла в темноте.

Драницын тряхнул головой, словно освобождаясь от охватившего его оцепенения, и быстро зашагал по дороге.

«Вот дела!.. Кажется, я влюбился, — усмехаясь, сказал он себе. — Судьба, что ли?..»

Дойдя до главной улицы села, он встретил Крайневу, Касьяна Терентьева и еще нескольких коммунистов, ужинавших вместе с ним у Черепанова. Люди расходились по домам. Рано утром отряд коммунистов должен был двинуться по направлению к деревне Березник¹. Там сосредоточивались перед штурмом все части центральной колонны.

3

«В Шенкурске тихо», — гласила сводка городского коменданта капитана Роджерса, которого крестьяне называли Оджером или Отжаром.

Установление в городе этой тишины потребовало от Роджерса немалых усилий. Начиная с осени 1918 года он только и занимался тем, что вылавливал большевиков и подозреваемых в большевизме. Затем, в связи с распоряжением из Архангельска, его рвение удвоилось. Любо́й житель города, вплоть до старого монаха из шенкурского монастыря, выразившего недовольство бесчинствами интервентов, попадал в арестный дом и либо высылался в Архангельск, в губернскую тюрьму, либо расстреливался на месте.

Немало хлопот доставили ему рыбаки. Они то и дело вылавливали трупы людей, замученных в контрразведке и спущенных в реку. В общей сложности они выловили таким образом почти двести трупов. Роджерс приказал арестовать рыбаков и выслать их на Мудьюг.

Много неприятностей доставил ему и набор в миллеровские войска. Молодых людей пришлось разыскивать по всему городу с патрульными. Когда новобранцев за-

гнали на монастырский двор, из толпы раздались выкрики: «Не желаем устилать вам дорогу своими костями!.. Мы русские!.. Вон из России!.. Грабители, убийцы!..»

Капитан распорядился окружить двор пулеметами, выстроил мобилизованных и объявил им:

— Через пять минут выдать бунтовщиков. В противном случае все будете уничтожены! Кто кричал?

Прошло две минуты. Новобранцы молчали.

— Кто кричал? — поглядывая на часы, повторил Роджерс.

В рядах было по-прежнему тихо.

— Осталась последняя минута! Полминуты!

Когда назначенное время истекло, Роджерс скомандовал пулеметчикам, чтобы они приготовились к открытию огня.

Это было понято новобранцами даже без знания языка.

— Кто кричал? В последний раз спрашиваю! — с угрозой сказал комендант.

Новобранцы по-прежнему молчали.

Тогда разъяренный Роджерс выхватил из толпы несколько юношей, подвернувшихся ему под руку, и расстрелял тут же, перед строем. Остальных под караулом повели в казармы.

...Рынок пустовал. Жители окрестных деревень перестали ездить в город. Под видом реквизиции интервенты грабили их как на заставах, так и в самом Шенкурске. Старые запасы леса были давно вывезены и отправлены за границу. Лесорубов и корьевщиков таскали на зимние заготовки силком.

В городе царил произвол. Часовщик Апрельский был арестован в парикмахерской за то, что сказал кому-то в очереди: «Лучше нам не видать бы таких демократов! В чем выражается их демократия?» — и, по мнению присутствовавшего при этом офицера, нахально усмехнулся.

Часовщика пытали, водили на Вагу, опускали в прору́бь, требуя, чтобы он раскрыл подпольную организацию, в которой якобы состоял. Апрельский ничего не мог сказать, он цеплялся за лед, но конвоиры били его по пальцам прикладами. В конце концов его утопили.

...Однажды Роджерс, напевая веселую песенку, возвращался к себе домой из офицерского бара.

Чуть потеплело, снег светился на солнце, и Роджерс думал, что Россия — совсем не такая плохая страна...

¹ Деревня по Вельско-Шенкурскому тракту.

Товар, за который он не заплатил ни копейки, нашел покупатель. Комиссионер Роджерса в Архангельске, лейтенант Мэрстон, недавно сообщил, что вся партия дегтя и смолы продана на вывоз. «Надо будет позаботиться о новых запасах...»

У входа в комендатуру его остановил дежурный адъютант и доложил, что в приемной сидит Абрамов. Роджерс поморщился.

Инспектора городского училища Абрамова знал весь Шенкурск. Роджерсу несколько раз приходилось вызывать его в комендатуру по делам школы.

У Абрамова пропала шестнадцатилетняя дочь. Три недели тому назад труп ее нашли в лесу за Спасской горой. Труп девушки был в таком состоянии, что отец опознал свою дочь только по нательному серебряному крестику. Роджерс официально заявил, что девушка убита партизанами. Надо же было что-нибудь придумать! Кто мог знать, что дело так скверно обернется!..

Недавно в гости к Роджерсу приехали с Важских позиций два офицера. Приятели решили повеселиться. Они погрузили в сани вино и поехали кататься. Дорогой много выпили и порядком охмелели. На обратном пути им встретила миловидная девушка. Офицеры потащили ее в сани. Девушка сопротивлялась отчаянно, но ей заломили руки за спину и заткнули рот платком. В квартире ей пригрозили пистолетом, затем напоили до бессознательного состояния. Дальше все происходило так, как уже не раз бывало у Роджерса.

Утром, когда комендант проснулся, денщик доложил, что девушка повесилась в уборной. Роджерс распорядился закопать ее труп в лесу. Но солдатам было лень копать яму, и они бросили тело на растерзание волкам.

— Чем могу служить? — хладнокровно спросил Роджерс, показывая Абрамову на двери своего кабинета.

Они вошли. Абрамов в оцепенении смотрел на Роджерса, будто впервые видя его клочковатые брови, усы в щеточку, кадык, большую синюю бородавку на носу.

— Все именно так и было, как я предполагал... — сказал Роджерс, закуривая сигарету. — Оказывается, ваша дочь дружила с учительницей Еленой Егоровой, коммунисткой... Она вообще была близка к этому семейству... Хорошо знала самого Егорова...

— Да, знала, — глухо отозвался Абрамов.

— Ну вот! Это несомненно политическая месть... Быть может, за измену или за отказ выполнить какое-нибудь задание подпольной организации. К сожалению, это ваша единственная дочь...

— Единственная, — так же глухо повторил Абрамов. Роджерс молчал. Больше ему нечего было сказать.

— Я все знаю, — вдруг медленно заговорил Абрамов. — Нашлись добрые люди... А вы думали, что и концы в воду? Нет, народ все видит. Не спрячетесь. Это вы убили мою Клаву.

Роджерс откинулся на спинку кресла.

— Я ездил в Архангельск, — прибавил Абрамов. — У меня там знакомый в вашем штабе. Он доложил генералу Айронсайду. Но генерал сказал, что офицеры имеют право повеселиться... А с дочкой просто несчастный случай! Так что вам ничего не угрожает, господин комендант. Ваш генерал — еще больший негодяй, чем вы. А самые главные негодяи, которые выше генерала, за морем-океаном. Так я понимаю... Это они дали вам права на все преступления, — гневно продолжал Абрамов. — Сами вы не осмелились бы. До заправил ваших мне не дотянуться, а до вас... Оружия нет, и стрелять не умею. Но я очень желал бы вас убить... Вот и все, что мне нужно было вам сказать. Больше претензий не имею.

Он спокойно взглянул на капитана. «Сумасшедший», — подумал Роджерс.

Тяжело вздохнув, Абрамов напялил на голову потертую бобровую шапку и вышел. Этой же ночью его арестовали.

Через день Роджерс телеграфировал Ларри: «В городе тихо, учитель Абрамов умер в арестном доме от сыпняка».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

«Не к офицерству обращаемся мы, а к вам, одетые в военную форму рабочие и крестьяне Америки и Англии. Вас пригнали к нам на Север. Банкиры и фабриканты послали вас душить Советскую Россию».

Так начинались листовки, разбросанные лыжниками в неприятельском тылу.

Только под утро измученная и продрогшая Люба Нестерова пришла вместе с товарищами в деревню Березник, где теперь расположился батальон Сергунько.

Той же ночью сюда передислоцировался и штаб колонны. С самого утра началась работа. Комнаты штаба наполнились людьми. Командиры приезжали с передовых позиций, расположенных в нескольких верстах от деревни.

Фролов и Драницын рано утром выехали в части. К середине дня они вернулись в Березник, чтобы провести совещание командиров и политработников, посвященное общему ходу шенкурской операции и конкретным задачам ее первого этапа.

Самая большая комната дома, где разместился штаб колонны, была переполнена. К потолку поднимались клубы махорочного дыма. Открыв совещание, Фролов предоставил слово командиру. Драницын взял карандаш и подошел к висевшей на стене карте Шенкурского района.

— Здесь движется восточная колонна, Кодемская, — сказал он, показывая на карту. — По донесениям разведки противник концентрирует на этом направлении значительные силы. Кодемской колонне, идущей в составе восьмисот штыков и одной инженерной роты, приданы пять орудий — одно двухдюймовое и четыре полуторадюймовых. Даже на своем пути к исходной позиции эта колонна, видимо, не обойдется без боя...

— Западная, Няндомская, колонна, — продолжал Драницын, — движется на Шенкурск через Верхнюю Паденьгу в составе одного стрелкового батальона, добровольческой роты при двенадцати пулеметах, двух трехдюймовых и четырех полуторадюймовых орудиях. Движение этой колонны, так же, впрочем, как и восточной, требует героических усилий. Наша, центральная, колонна оказалась в более благоприятных условиях. Ей не пришлось прорывать таких походов, какие выпали на долю наших соседей.

Сейчас обе фланговые колонны находятся приблизительно на таком же расстоянии от Шенкурска, как и мы. Вот по этим радиусам... равным двадцати пяти — тридцати верстам. Сегодня ночью мы должны сделать последний бросок и на рассвете атаковать противника.

Противник знает сейчас только о Важской группе, дислоцирующейся здесь с осени. Таким образом, он считает, что ситуация на Важском участке не изменилась. Это тот козырь, благодаря которому мы должны выиграть. Внезапность! Вот на чем построен наш план, товарищи!

Затем Драницын перешел к чтению боевого приказа. Перед батальоном Сергунько была поставлена задача продвинуться вдоль Вельско-Шенкурского тракта и овладеть деревнями Лукьяновской и Усть-Паденьгой. Морской батальон Дерябина должен был двигаться по левому берегу реки Паденьги, выйти на просеку к Удельному дому и овладеть вражескими укреплениями в этом районе. Лыжникам и партизанам надлежало взять деревню Прилук, обеспечить фланги батальонов Сергунько и Дерябина и поддерживать между ними непрерывную связь. Из трех других рот полка, которым командовал Бородин, две оставались в резерве в деревне Могильник, а шестая рота частью прикрывала артиллерию, стоявшую на правом берегу Ваги, частью должна была поддерживать огнем батальон Сергунько, действовавший на левом берегу.

Далее в приказе было точно определено время действия каждого подразделения. Батальону Сергунько к пяти часам утра следовало занять опушку леса, находящуюся в двух верстах южнее деревни Усть-Паденьги. Морскому батальону Дерябина приказывалось к пяти часам тридцати минутам сосредоточиться на опушке леса, что находится в одной версте северо-западнее Удельного дома. Лыжникам и партизанам — к шести часам занять деревню Прилук.

— Это все, — закончив чтение приказа, сказал Драницын.

Ему стали задавать вопросы, он отвечал подробно и обстоятельно. Его лицо становилось тогда еще более серьезным, чем обычно, и упрямая, волевая складка возле губ приобретала еще большую резкость.

«Так ли я говорил? Все ли было людям понятно?» — спрашивал он себя.

Комиссар взглянул на Драницына, почувствовал его состояние и одобряюще шепнул:

— Не беспокойся. Доклад отличный...

Фролов обратился к собравшимся:

— Других вопросов нет?

Он провел рукой по колючим, давно не стриженным волосам, в которых пробивалась уже первая седина.

— Значит, все ясно, товарищи?

Посмотрев на часы, он погасил в блюдце окурки, встал и обвел собравшихся долгим, будто прощупывающим взглядом.

— Тогда в бой, — сказал он своим обычным глуховатым, напряженным голосом. — Покажем обнаглевшим разбойникам империализма, на что способны русские рабочие и русские крестьяне!.. Сегодня партия и народ говорят нам: «Вперед, к победе!» Прорваться сразу. Битва насмерть. Не давать пощады. Идти только вперед. Шенкурск будет взят. Иначе и быть не может. В бой, товарищи!

Он вышел из-за стола и молча пожал руки всем командирам и комиссарам. Невольное волнение овладело людьми. Все поняли: свершается то, чего каждый ждал с таким нетерпением, о чем мечтал длинными зимними ночами. На рассвете начнется долгожданный, решительный, священный бой...

2

Ровно в полночь бойцы морского батальона отправились на опушку возле Удельного дома. Они снялись первыми, так как им предстоял длинный путь. Во главе батальона шли командир Дерябин и комиссар Жилин. Выйдя из Березника, батальон некоторое время двигался по Вельско-Шенкурскому тракту, затем свернул в поле. Все бойцы встали на лыжи.

— В море, товарищи! — шутливоскомандовал Жилин.

На людях поверх обмундирования, из-за отсутствия маскировочных халатов, было надето белье. Все шли молча. Лишь иногда кто-нибудь из матросов, чертыхаясь, останавливался, чтобы поправить на лыжах крепление. Небо было звездное, лунное. И при свете ночи вдали, будто берег, смутно чернела кромка леса. Моряки торопливо двигались к ней.

Спустя два часа на тракте появился батальон Сергунько.

Тишина нарушалась окриками на лошадей, тащивших дровни с ящиками патронов, и перекличкой телефонистов, проверявших провода.

Вскоре батальон разделился: одна рота двинулась дальше по тракту, а две другие свернули на фланги.

Последними протрусили по тракту возглавляемые Крайневым конные разведчики. Им было поручено выполнять роль связных в том случае, если телефонная связь окажется прерванной или временно нарушенной.

В пятом часу утра на тракте появился санный возок, запряженный тройкой лошадей. На облучке сидел матрос в тулупе. Тройку сопровождал верховой.

Проехав немного по тракту, возок свернул на полевую дорогу, миновал покрытую льдом Вагу и двинулся по недавно вырубленной просеке.

Вовсю задувал ледяной, пронизывающий до костей ветер.

— Борей повернул рычаг, — оборачиваясь к саням, с усмешкой сказал верховой. Это был Саклин.

В сопровождении Саклина Фролов и Драницын объехали все батареи. Осмотрев хозяйство и поговорив с бойцами, они оставили санки в роще и вернулись на первую батарею. Откинув рогожу, закрывавшую вход, они вошли в просторный шалаш. Внутри ярко горел керосиновый фонарь. Тут же, на ящике, стоял телефонный аппарат, возле которого пристроились командир батареи и молоденький телефонист.

Мороз усиливался. Хотя в шалаше топилась железная печурка, Драницын сразу почувствовал, как стынут у него ноги в сапогах.

То и дело попискивал телефон. Батарейный командир принимал сообщения от наблюдателей. На позициях противника все было спокойно. То одна, то другая батарея вызывала Саклина. Все ждали приказа открыть огонь.

— Соедини меня со штабом! — приказал Фролов. телефонисту.

— Готово, товарищ комиссар, — через минуту сказал телефонист, протягивая Фролову трубку.

— Бородин? Что там у тебя? — спросил Фролов.

Бородин ответил, что все роты уже находятся на своих исходных позициях перед Лукьяновской и Усть-Паденьгой.

— Из Вологды, — добавил Бородин, — сообщают, что восточная колонна встретила противника на полдороге между Кодемой и Шенкурском и уже ведет бой.

— Уже ведет бой? — взволнованно переспросил Фролов.

— Так точно. Инженерная рота пошла в обход, по лесным просекам. Очевидно, хотят зайти во фланг американцам.

— Там тоже американцы?

— Оказывается, тоже.

— А что западная колонна?

— Ничего особенного. Вошла в Тарнянскую волесть.

Рассказав Драницыну о новостях, Фролов вместе с ним вышел из шалаша. Саклин по-прежнему сопровождал их.

— Да, мороз крутой, — сказал комиссар, похлопывая руками. — Даже в варежках пальцы мерзнут.

— Америка, поди, запряталась в шубы, — беспечно отозвался Саклин. — А мы тут и ахнем! Дадим жару!

Комиссар посмотрел на часы. Бой должен был начаться с минуты на минуту. Фролову казалось, что стрелки движутся с невероятной медленностью.

Шагах в десяти от командиров, возле небольшого костра, грелись артиллеристы. Фролов крикнул им:

— Желаю успеха, товарищи! Сегодня вы должны показать, что советская артиллерия — первая в мире!

— Есть, товарищ комиссар, — ответили бойцы. — Постараемся! Огоньку не пожалеем.

Слегка ссутулившись и нахлобучив на уши свою папаху, Фролов пошел по тропинке к саням.

Тройка снова выехала на тракт. Небо на востоке уже посерело, повсюду разливалась предутренняя мгла.

Сидя в возке рядом с комиссаром, Драницын молчал. Сосредоточенное, хмурое лицо Фролова не располагало к разговору. «Волнуется», — думал Драницын.

Фролов испытывал то чувство, которое было уже знакомо ему по первому бою под Ческой, когда он «полез» в тыл к американцам. Сейчас ему снова мучительно хотелось «полезть самому». Тогда сразу стало бы гораздо легче. Лежа в цепи стрелков, он думал бы только о том,

чтобы добежать до вражеских окопов и забросать их гранатами. Но сегодня он не имел права зря рисковать собой. Ведь ему доверена судьба всей операции.

В эту минуту загрохотала артиллерия.

— Саклин начал, — сказал Драницын.

Комиссар выпрямился и опустил воротник тулупа, словно для того, чтобы лучше слышать артиллерийские залпы.

Канонада то усиливалась, то ослабевала.

Вдруг сидевший на облучке Соколов резко обернулся к Фролову:

— Зарево, Павел Игнатьевич! Видите?

— Вижу... Над Лукьяновской! Давай скорее!

— Сейчас шрапнель разорвалась над лесом, — сказал Драницын. — Над саклинскими батареями. Это уже американцы стреляют.

Тройка въехала в молодой хвойный лесок. Теперь к орудийным выстрелам присоединились звуки винтовочной и пулеметной стрельбы. Фролов заметил нескольких бойцов, стоявших с винтовками около легковых санок, принадлежавших батальонному штабу. Тут же стоял и адъютант штаба с двумя телефонистами. По выражению их лиц комиссар почувствовал что-то неладное и приказал Соколову остановиться.

Подбежавший адъютант доложил, что бойцы стрелкового батальона залегли под огнем противника.

Фролов посмотрел на его дрожащие губы.

— Без паники, молодой человек, — спокойно сказал комиссар. — Проводи нас к опушке. Это близко?

— Рядом, — ответил адъютант.

— А где Сергунько?

— С бойцами. В поле. С первой ротой.

Они быстро выбрались из леса и пошли по снеговому окопу. Уже рассвело. В деревне Лукьяновской, будто факел, пылало какое-то строение, очевидно, полный сена сарай. С окраины деревни ожесточенно стреляли вражеские пулеметы. Из Усть-Паденьги американцы и англичане также вели непрерывный огонь, винтовочный и пулеметный.

Плотность огня была такая, что бойцы, цепью рассыпавшиеся по полю, лежали, не поднимая голов.

Фролов взглянул на Драницына.

— Случилось самое страшное... Замерзло оружие! — встревоженно сказал Драницын. — Люди зря гибнут. А те стреляют из теплых блокгаузов.

— Нельзя терять ни одной минуты. Надо сейчас же идти в штыковую атаку. Это единственно правильный выход. Я подыму людей.

— Павел Игнатьевич!

— Товарищ Драницын, примите командование.

Фролов сбросил с себя тулуп и надел ватник, который подал ему один из находившихся в окопе бойцов.

— Товарищ комиссар, возьмите сопровождающего, — предупредительно сказал адъютант.

Фролов махнул рукой. Но к нему уже шел боец.

За спущенными, со всех сторон закрывавшими голову краями папахи этого бойца Фролов разглядел побелевшее от мороза лицо Любы Нестеровой.

— Люба? — Фролов на мгновение задумался. — Не боишься?

— Я, Павел Игнатьевич, так буду драться, что чертям станет тошно! — с трудом шевеля потрескавшимися от морозного ветра губами, ответила Люба. — Андрею небось не легче приходится...

«Сергунько рассказал ей», — подумал Фролов.

— Ладно, — сказал он. — Давай.

Комиссар перемахнул за бруствер, Люба последовала за ним.

Припавший к брустверу Драницын видел, как две фигуры быстро поползли по снегу, приближаясь к бойцам, лежавшим под неприятельским огнем.

3

Фролов потерял одну из своих варежек, и обледеневший снег, будто наждаком, драл ему кожу. Люба ползла шагах в десяти за ним. Вражеский огонь то и дело прижимал их к земле. «Вперед, только вперед», — думал Фролов и полз дальше.

Бойцы лежали неподалеку от колючей проволоки, опоясавшей деревню. Когда комиссар добрался до них, они подняли головы.

— Комиссар здесь, — услышал он чей-то хриплый голос.

Живые лежали на снегу вперемежку с мертвыми. У тех и других были одинаково белые, безжизненные лица. Раненые и обмороженные стонали.

— Где батальонный? — крикнул Фролов.

Через несколько минут к нему пополз Сергунько. Нос у него был совершенно белый, точно из воска. На щеках белели два больших круглых пятна.

— Пойдем в штыки, — сказал ему комиссар. — Как люди?

— Выполнят приказание, — ответил Валерий со спокойствием человека, который уже не придает никакого значения смерти.

— Готовь атаку...

Взводные и отделенные тотчас передали команду бойцам. Людям сообщили, что комиссар пойдет вместе с ними. Цепь сразу зашевелилась. Фролов подобрал лежавшую рядом с убитым бойцом винтовку и с нетерпением ждал сигнала. Ожидание было мучительным. Саклин стрелял мастерски. Снаряды рвались в самом центре Лукьяновской.

В шрапнельном дыму, похожем на куски ваты, вдруг сверкал желто-белый огонек, как у молнии, и раздавался треск, затем вата рассеивалась в мелкие клочья.

— Давай, Саклин, давай! — кричал Фролов, словно его крик мог долететь до артиллерийских позиций.

Когда над деревней перестали рваться снаряды и плавно пошла в небо зеленая ракета, обозначающая начало атаки, Фролов вскочил во весь рост.

— За мной, товарищи! — крикнул он и побежал вперед, сжимая в руках винтовку. «Неужели не поднимутся?» — мелькнуло в голове у комиссара, но в это время за его спиной раздалось дружное громкое «ура», и он почувствовал, что стопудовая тяжесть свалилась у него с плеч. Некоторые бойцы уже опередили его, резали ножницами проволоку, бросали на нее шинели и ватники. Первые несколько человек ворвались в неприятельский окоп. Комиссар прыгнул вслед за ними, упал, тотчас поднялся и увидел бежавшую от него фигуру в желтой шубе.

Американские солдаты без оглядки ударили по боковому ходу сообщения. Он бросился за ними.

— Бей интервентов! — раздался где-то впереди яростный голос Валерия Сергунько.

Фролов стоял возле разбитого вражеского блокауза теперь представлявшего собой беспорядочное нагромождение обуглившихся и расколотых бревен.

«Неужели все?» — думал он, утирая рукавом ватника потное, горевшее, несмотря на мороз, лицо.

В деревне еще слышались крики бойцов. Люди обшаривали погреб, прикладами взламывали подполья, вылавливая прятавшихся там американских и английских солдат.

Вдруг Фролов увидел Соколова. Матрос шел, устало переваливаясь, с карабином в руках. Завидев комиссара, он обрадовался и бросился к нему. Обрадовался и комиссар.

— Ты как сюда попал?

— За вами полз... Не заметили?

Матрос вынул что-то из кармана и подал комиссару.

— Ваша?

— Моя?.. Да, моя. Спасибо, друг!.. — удивленно и растроганно проговорил комиссар, надевая найденную варежку.

— Не за что, — пробормотал Соколов.

— Ну, теперь пойдем наводить порядок, — сказал комиссар.

Повсюду были видны вспаханные снарядами остатки окопов, исковерканные пулеметные гнезда, поврежденные и разбитые орудия. Валялись трупы в маскировочных халатах, в брезентовых шубах.

Неожиданно в одном из блокаузов опять затрещал пулемет. Проходившие мимо бойцы бросились на землю.

— Чего прячетесь? — крикнул им чей-то грубый голос. — Наши бьют. Не видите, что ли?

Это стрелял Сергунько. В уцелевшем блокаузе на краю деревни он нашел исправный пулемет и обстреливал из него дорогу, по которой скакали упряжки канадской артиллерии. Он не отрывался от пулемета до тех пор, пока не кончились патроны. Тогда Валерий сел на пол и, поводя налитыми кровью глазами, сказал:

— Ну, отстрелялся... — Руки у него дрожали. — А комиссар жив?

— Жив, — отвечали ему бойцы.

Между тем Усть-Паденьга еще держалась. Явившийся из морского батальона связной сообщил, что бойцы

лежат в снегу на опушке возле Удельного дома. Потери очень велики, ранен командир батальона Дерябин.

Командование принял Жилин. Он и прислал связного, приказав ему во что бы то ни стало найти комиссара и доложить обстановку.

Разыскав в кармане клочок бумаги, Фролов торопливо написал: «Лукьяновская взята. В пять часов вечера будем штурмовать Усть-Паденьгу. А ты жми на Удельный дом, атакуй этот блокауз и возьми его во что бы то ни стало. Это необходимо для штурма Усть-Паденьги».

Лицо связного было обморожено, он тяжело дышал.

— Быстро дойдешь? — спросил его комиссар, передавая записку.

— Через час буду, — ответил связной, становясь на лыжи.

— Давай! Сегодня снег должен гореть под ногами.

Комиссар лично руководил штурмом, то с одной, то с другой стороны подбрасывая к Усть-Паденьге атакующие группы, не давая противнику ни минуты передышки. Все огневые средства были пущены в ход. Саклинская артиллерия то стреляла по деревне, то переносила огонь на фланги и тылы противника, то вспахивала снарядами его круговую оборону и разрушала вражеские блиндажи.

Фролов знал, что гарнизон Усть-Паденьги очень силен, и ему хотелось создать впечатление, что наступающие значительно превосходят противника как в людях, так и в технике.

Когда комиссару доложили, что из окрестностей Шенкурска стреляют тяжелые орудия, он даже обрадовался.

— Прекрасно! Значит, испугались и запросили у своих подмоги. Расчет наш оправдался. Теперь не ослаблять нажима! Понадобится десять раз идти в атаку — пойдем десять! Двадцать — пойдем двадцать!..

Воздух дрожал, земля содрогалась от взрывов.

4

Известие о взятии Лукьяновской пришло в Архангельск около полудня девятнадцатого января. По старому стилю это был праздник крещения. В Троицком

соборе шла обедня, после которой на Двине должна была состояться церемония «водосвятия».

Солдат строем пригнали на берег, и они с унылым видом стояли на набережной, замерзая в своих подбитых ветром английских шинелях. Среди форменных офицерских пальто виднелись шубы купцов, чиновников, иностранных дипломатов.

Крестный ход вышел из собора и спустился на лед. Возле сделанной ночью проруби была поставлена па-русиновая палатка. Место для церемонии огородили елками.

Возгласы архиерея в сверкающем саккосе и позолоченной митре сменились песнопениями хора. Затем архиерей взял в красные, мясистые руки золотой крест, унизанный драгоценными камнями, и важно, со значительным лицом троекратно опустил его в прорубь. На Соборной площади сверкнули огни. Пехота выстрелила холостыми патронами.

Именно в эту минуту на Соборную площадь приехал из штаба полковник Брагин. Ему волей-неволей пришлось ждать конца молебна. Улучив наконец подходящий момент, он подошел к Миллеру и на ухо, чтобы не слышали соседи, изложил содержание телеграмм, только что полученных с фронта.

Миллер выслушал его с невозмутимым видом. По мнению генерала, сейчас не следовало соваться в дела союзников.

— Уместнее выждать, — философски сказал он. — Ведь они командуют Важским участком.

Вечером Миллер встретил Айронсайда в клубе георгиевских кавалеров. Они обменялись двумя-тремя фразами. Из слов Айронсайда Миллер понял, что тот не придает действиям на Ваге никакого значения.

— Большевики хотят отвлечь наше внимание от Восточного фронта. Вот они и устраивают маленькую ложную демонстрацию. А вы уж, наверное, испугались? — Айронсайд улыбнулся. — Вы, русские, страдаете преувеличениями. Вага — это болотный пузырь. Дайте только этой несчастной горсточке сумасшедших большевиков добраться до Высокой горы... Их там разнесут! Мы посылаем туда резервы. Все меры приняты. — Шенкурск — это северный Верден. Мы заманиваем большевиков в ловушку. Ведь и Верден отдавал свои форты и все-таки

оставался Верденом. А до Высокой горы у нас есть еще Усть-Паденьга, — самоуверенно продолжал Айронсайд, — сильнейший форт, окруженный несколькими линиями прекрасно сделанных окопов, имеющий много блокгаузов и превосходную артиллерию...

Он еще не знал, что почти вся эта артиллерия вместе с боевым запасом уже досталась Фролову. Усть-Паденьга была взята центральной колонной в шесть часов вечера. Американцы и англичане отступили, ничего не успев вывезти.

...Обед накрыли в столовой клуба, помещавшейся в подвале. Стены подвала были украшены зеленью и флагами. Долговязый Айронсайд в мешковатом френче с отвислыми карманами сидел во главе стола и весело рассказывал о своих охотничьих похождениях в Южной Африке.

Неподалеку от него восседали генералы Миллер и Марушевский. Среди штатских были иностранные дипломаты, управляющий финансами князь Куракин, заведующий управлением торговли и промышленности доктор Мефодиев, юрист Городецкий, все члены «правительства». Присутствовали также члены кадетской партии, не занимающие правительственных должностей, вроде адвоката Абросимова.

На диване, у шампанского и вазы с фруктами, удобно расположился толстый Кыркалов, владелец десятка лесопильных заводов. Щурясь на всех и согревая в руке бокал с красным вином, он молча курил папиросу за папиросой.

Когда Айронсайд исчерпал наконец свои охотничьи рассказы, разговор зашел о Париже. Глава «правительства» Чайковский завтра уезжал туда на так называемое «политическое совещание» представителей всех белых «правительств» России. Все считали, что после этого «совещания» военное положение коренным образом изменится и что новый, 1919 год сулит присутствующим только одни радости. Миллер произнес тост за здоровье Колчака таким громким голосом, словно он обращался к эскадрону юнкеров.

Но успевший уже опьянеть Кыркалов как будто не слышал этого тоста.

— Чего там дурака валять! — сказал он, поворачиваясь к Айронсайду всем своим тяжелым туловищем. —

Вся надежда на вас, господа союзнички. Да, лучше сгореть всем моим заводам, лучше мне провалиться сквозь землю, чем что-нибудь отдать большевикам. Бейте их! Последней рубашки для вас не пожалею! Только бейте, господин Айронсайд!

Находившимся в этом обществе белым офицерам слова Кыркалова показались обидными. Назревал скандал. Положение спас Абросимов. Он мигом очутился возле Миллера и Айронсайда.

— За цивилизацию и порядок! — выкрикнул адвокат, поднимая бокал. — За белую Россию! За доблестную Британию, за героическую Францию и великую Америку! За их военные силы! За всеобщую встречу в Москве под звон кремлевских колоколов!.. Ура!..

Офицеры подхватили этот клич. Все потянулись к Айронсайду и Миллеру с рюмками и бокалами.

В конце обеда, когда за столом остались только избранные, опьяневший Айронсайд вдруг сказал:

— Если бы я был на месте Черчилля, я бы поступал по-другому... Я бы воевал без всяких планов. Ведь наступление на Вятку не вышло, теперь это ясно видно. Большевики всполошились и подняли на ноги все! Значит, уже нет надежды, что наши войска в этом районе соединятся с войсками Колчака. В этой стране нельзя воевать по плану.

— Потерпите, боевое счастье изменчиво, — осторожно заметил Миллер.

— Я бы предпочел, — в запале крикнул Айронсайд — чтобы оно изменяло большевикам, черт возьми!

Белые офицеры один за другим поднимались из-за стола и уходили в соседние комнаты, где начинались танцы.

«Ну и шушера!.. — презрительно подумал о них Айронсайд. — Что за самомнение! Эти господа действительно считают, что мы пришли сюда им помогать... Идиоты! Они помогут нам справиться с мужиками, а потом мы их пошлем к черту. Эта страна будет нашей страной!.. Как Галлия для Цезаря!»

Тупыми, ословевшими глазами он оглядел стол.

— Теперь, когда русские ушли, я позволю себе быть откровенным...

Миллер смущенно усмехнулся.

— А вас я не считаю за русского, генерал, — бесцеремонно заявил Айронсайд. — Простите меня, но это так...

Он наклонился к бригадному генералу Ричардсону, командующему американскими войсками.

— Вы правы! Помните, вы мне как-то сказали, что лучше бы нам не вступать в бой с большевиками, а пройти огнем и мечом среди мирного населения, смыть начисто большевистское пятно с цивилизации... Ограбить... Да, ограбить Россию! Говоря по-военному — взять трофеи! И пусть все наслаждаются жизнью, как может наслаждаться солдат, не боящийся крови...

Айронсайд засмеялся.

— Когда я был в Лондоне, я поделился этими мыслями с Черчиллем. Он был в восторге. Он мне сказал: «Прекрасно... Так и действуйте. Но не забывайте и о стратегической обстановке...» — Он допил вино. — Нам надо действовать, как в Африке! Ведь русские ничем не отличаются от негров.

...Пользуясь тем, что благодаря празднику в центре города было некоторое оживление, Греков с соблюдением всяческих предосторожностей решил вечером навестить Базыкину.

Шурочка уже спала. Услыхав стук в окно, она мгновенно проснулась. «За мной», — подумала Шура и, соскочив с кровати, подбежала к замерзшему окну. На дворе было пустынно. Босиком, в одной рубашке она вышла в холодные сени.

— Кто там? — дрожа от холода и страха, прошептала Шура.

— Не бойся, Александра Михайловна, — раздался знакомый голос. — Свои!

Шура вернулась в комнату, накинула на себя пальто и открыла дверь.

— Ты только не волнуйся, — сказал Греков, входя вслед за ней. — Говорят, пришел ледокол с Мудьюга и привез заключенных. Сейчас они в архангельской тюрьме. И Коля здесь, и шенкурский Егоров, и еще кто-то. Ты только не волнуйся.

— Я не волнуюсь, я все знаю.

Шура сообщила ему о своем разговоре с Ларри.

— Меня, конечно, арестуют. Он меня нарочно отпустил. Я завтра собиралась сказать Дементию, чтобы ты не заходил.

— Что ж, дело! — сказал Греков. — Пожалуй, мне не следует к тебе ходить. Держи связь со мной только через Силина. Приходи на Рыбный рынок утречком, пораньше. Дементий почти каждый день там бывает. Возьми еще немного деньжонок. От рабочих... В случае ареста мы тебе поможем. Не беспокойся. И Максим Максимович и Чесноков поддержат полностью. Я надеюсь, что через одного надзирателя нам удастся передать Коле посылку. И тебе передадим в случае чего... Но, может быть, все и обойдется. Не волнуйся, Александра Михайловна! Не так уж страшен черт.

Греков ушел. Осматриваясь по сторонам, он вышел на набережную. Мимо пронесся санный поезд. На передних санях, держась одной рукой за плечо кучера и размахивая другой, стояла дочь Кыркалова. Ее поддерживал иностранный офицер. «Гай-да, тройка, снег пушистый...», — пела она на всю улицу.

— Сволочи, — пробормотал Греков. — Волчья стая!..

Под утро к Шурочке Базыкиной пришел офицер из контрразведки в сопровождении двух солдат. Он предъявил ордер, подписанный подполковником Ларри.

Солдаты долго обыскивали комнату, даже выстукивали стены, но ничего не нашли.

— Одевайтесь! И одевайте детей, — сказал офицер, когда обыск был закончен.

— Но, позвольте, при чем же здесь дети? — возразила Шура. — Я отправлю их к соседке.

— Мне приказано забрать всех... Дети вписаны в ордер.

— Я категорически протестую!

— Одевайтесь! А то я вас сам одену, — с угрозой проговорил офицер. — Одевайте их... — сказал он, указывая солдатам на девочек.

Людмила с рыданием бросилась к матери.

— Мама, я не хочу... Я не хочу в тюрьму! Мамочка!

Побледневшая Шура стояла посередине комнаты, зажав руки за спину.

— Одевайте детей, — приказал ей офицер.

— Ни за что... — ответила Шура.

Девочки вырывались. Один из солдат облапил Леночку, поднял ее на воздух, другой в это время напаяливал на девочку платишко, шубенку. Ветхая шубенка затрещала.

— Мама... Мамуля! — что есть силы кричала Леночка. — Возьми меня... Возьми меня!

Шура не выдержала и вырвала из рук солдата дочку.

— Их-то за что? — с душевной болью за детей крикнула она. — И вы... — она обратилась к офицеру, который хладнокровно наблюдал за всем происходящим, — вы... офицер?! Так не поступают даже на большой дороге!

— Мамочка, не спорь с ним, — в ужасе зашептала Людмила. — Я с тобою, мама.

Страх и отчаянье увидела Шура в глазах дочки. Она прижала ее к себе.

— Успокойся, доченька... — зашептала Шура. — Только успокойся.

Через полчаса всех троих вывели солдаты. Шура несла рыдающую Леночку на руках. Затем их толкнули в крытый брезентом грузовик. Он затарахтел и поехал по набережной в тюрьму.

5

Бойцы буквально на плечах у неприятеля ворвались в его окопы, прошли все три линии вражеской обороны и, преследуя его, вступили в Усть-Паденьгу.

Интервентов охватило смятение. Артиллеристы бросали орудия. Офицерам никто не повиновался.

К этому времени вызванный Фроловым с Ваги свежий батальон зашел в тыл Усть-Паденьги, чтобы перерезать отступающим дорогу. Батальоном, так как опытные командиры погибли в первой атаке, командовал теперь Драницын, приехавший в это время на передовую на помощь Бородину.

Интервенты попробовали спуститься к Ваге, но попали под яростный пулеметный обстрел. Они решили скрыться в лесу, но взрывы тяжелых снарядов выгнали их оттуда.

Осталось только одно — поднять руки. Это они и сделали. Солдаты выходили из своих убежищ с белыми платками на винтовках.

— Рош!.. Боло!.. Сдаюс! — кричали они.

Бой за Усть-Паденьгу длился шесть часов.

Еще дымились сгоревшие деревенские избы, возле разбитых блокгаузов еще валялись трупы интервентов, но на перекрестках уже пылали костры, а в уцелевших домах и сараях крепко спали изнуренные от боя люди. Бодрствовали только патрули да выставленные вокруг деревни посты и секреты.

Штаб разместился в большом многооконном доме с развороченной тесовой крышей и разбитыми окнами. Напротив штаба тоже горел костер. Бойцы собрались вокруг него и негромко беседовали.

— Американ только издали садит, а штыка боится. Пых-пых, будто рябчик, — насмешливо сказал кудрявый, раненный в ногу артиллерист.

— Не, граждане, — заметил пожилой партизан в длинном, до колен, пиджаке из самотканого сукна. — Они остервеневши. Я наскочил на одного да штыком!.. А он на меня вроде медведя, не то чтоб бежать. А уж потом, как мы их приперли, тогда заорали: «Боло!»

Послышался смех.

— Пьяные! Их виской поят.

— Ромом.

— Нет, это раньше. Теперь виской.

— Да пой их как хошь, все равно не выстоят! Только гнать их надобно без задержки, — сказал паренек-пехотинец.

— Верно! — поддержал его Крайнев. Он уезжал в Березник за пополнением и стоял сейчас у костра, опирая седло на своей лошади. — Нам ждать нечего. Это он в блиндажах да в блокгаузах отсиживается. А нам не расчет. Да вот, к примеру! Жили здесь, в Усть-Паденьге, люди, а он их вовсе выселил да еще дома поджег, которые не нужны ему были. Разорение народу!..

— У нас в Панькове та же история, — вмешался в разговор другой партизан, горбоносый, в рваном зипуне. — Нагрянули архаровцы в декабре и определили с деревни сотню пар валенок, да две дюжины саней, да столько же сбруи. Наутро пришла рота в шубах. Переводчик пошел по деревне и говорит мужикам: «Вы, ре-

бята, не сопротивляйтесь. Нам такая власть дадена, что можем на месте расстрелять». Для острастки, чтобы мужиков напугать, взяли Сеню, председателя нашей кожевенной артели, да плетюгов надавали. А потом привязали к своим саням да как пустят лошадь. Версты две она его волочила, так он и помер...

— Вот звери! — выругавшись, сказал артиллерист.

— Ну, народ испугался, конечно... Отдали сани, валенки. И тут им, вишь, мало показалось. Всю артель ограбили. Еще на семь тысяч взято было одних бурок! Вот как чисто сработали!.. Да чтоб след замести, склад сожгли. Все добро погорело. Что дальше, то больше. Чего ж нам ждать?

В штабе командиры подводили итоги длившемуся весь день бою за Лукьяновскую и Усть-Паденьгу.

Фролов при свете горевшей на столе свечки читал бумаги, поданные ему Драницыным. Фролов так устал за день, что лицо его казалось черным.

Вестовой Соколов стоял у холодной печи.

— Спину греешь? — усмехнулся Валерий, вместе с Любой входя в избу. Они только что закончили проверку постов.

— На Высокой согреемся, — мрачно пробормотал матрос.

— Да, там будет жарко, — сказал Драницын. — Кстати, Павел Игнатьевич, между Высокой и Шолашами имеется большой артиллерийский склад.

— Точно выяснил? — с оживлением спросил его комиссар.

— Да говорят так... Сейчас я распорядился привести в штаб несколько пленных, допросить их... Вот если бы этот склад подорвать...

— А коли мне пойти на Высокую гору? — сказала молчавшая до сих пор Люба. — Я подорву.

— Ах, ты здесь, — взглянув на нее, сказал Фролов. — Знаешь что, милая... не торопись.

— Да коли надобно!

— Не торопись, говорю, — резко сказал комиссар.

«Чего это он?» — обиженно подумала Люба. Она хотела возразить комиссару, однако он снова заговорил с Драницыным. Не прислушиваясь больше к их

разговору, Люба громко, во весь рот зевнула и вышла из комнаты.

Благовещенские коммунисты пришли в Усть-Паденьгу ночью. Леля Егорова попала в избу, в которой расположились бойцы лыжной разведки.

— Здесь хоть тепло, — виновато разведя руками, сказал ей провожатый. — Устраивайся пока тут. Утром приходи в штаб.

Печь была жарко натоплена. Стягивая с себя промокшую одежду и пристраивая ее сушиться, партизаны-лыжники вполголоса переговаривались. Из их разговора Леля поняла, что утром они опять уходят куда-то в неприятельский тыл.

Все лавки давно уже были заняты. Даже на полу Леля не видела свободного места. Она растерянно стояла у окна, не зная, что делать. Может быть, пойти в сарай, где разместились остальные благовещенцы?

Дверь избы открылась, и вошел еще один боец. Леля не сразу узнала в нем женщину. Это была Люба Нестерова.

Люба сняла с плеча винтовку, лыжи поставила в угол и огляделась. Взгляд ее задержался на Леле.

— Ты что, девушка? — спросила Люба. — Ночевать здесь собралась?

Леля объяснила ей свое положение.

— Плохо дело. — Люба покачала головой. — Теперь их пушками не разбудишь.

Она прошла по избе, бесцеремонно расталкивая спящих, но никто даже не пошевелился.

— Сенька! — сказала она, подходя к молодому бойцу, спавшему на печке.

Боец не отозвался.

Она ткнула его кулаком в правый бок. Он перевалялся на левый.

— Ах ты!.. — Люба выругалась. Взяв бойца за плечи, она встряхнула его. — Слезай живо, а то стяну за уши.

Боец проснулся, с сожалением посмотрел на печку, прыгнул на пол.

— Еще дерется, бесовка, — пробормотал он, потирая бок.

— Сам ты бес! Ишь развалился. Тебе бы еще с лапушкой в обнимку, лежебока! А ты, девушка, чего же? —

обратилась она к Леле. — Разувайся да скидавай ватник. Будь как дома, привыкай...

Она сняла даже гимнастерку и бросила ее на солону. Простая холщовая рубаша, заправленная в ватные шаровары, плотно облегла ее стройное тело. Парень покосился на Любу.

— Отвернись, леший! Сто раз вам говорить!.. — крикнула Люба.

Перекинув за спину расплетенные косы, Люба легла. Леля пристроилась рядом.

— Спи, девушка, — ласково сказала ей Люба и, будто жалея, поцеловала в щеку. — Спи, утро вечера мудренее.

Она сразу же заснула, а Леле не спалось. Сердце билось часто, по спине то и дело пробегал озноб.

«Кто она такая? — думала Леля про свою соседку. — Ну, завтра поговорим. А сейчас надо спать».

Леля вспомнила о Драницыне и невольно улыбнулась. Ей стало теплее — то ли от мыслей о Драницыне, то ли оттого, что печка уютно пригревала бок. Потом усталость взяла свое: глаза начали слипаться. Егорова крепко уснула.

Она проснулась только в восьмом часу утра. В окно едва светило солнце. В избе уже никого не было. Только вчерашняя знакомая стояла у окна и расчесывала свои длинные белокурые волосы.

Леля тихо сползла с печки и прислушалась. Над избой с протяжным свистом проносились снаряды и с уханьем рвались где-то вдалеке.

— Что это? — с тревогой спросила Леля.

— Наши бьют, — ответила Люба. — Дорожку нам прокладывают.

— Какие у тебя замечательные волосы! — сказала Леля, оглядывая Любу с головы до ног.

— Была краса, кабы не дождь да осенняя роса, — усмехнулась Люба. — А ты, девушка, у тебя женишок или муженек есть?

— Нет... — краснея, ответила Леля.

— Дружок, значит? — Люба засмеялась.

Они сели за стол и выпили по кружке теплой воды, заедая ржаным хлебом с постным маслом и солью. Через четверть часа Люба уже все знала о своей новой знакомой.

— Отец, значит, там, — делая ударение на последнем слове, задумчиво сказала она. — Так, так...

Мысли ее сами собой обратились к Андрею, губы задрожали, на виске задергалась синяя жилочка.

— Господи... — прошептала Люба. — Ах, елочка!.. Ах, березонька ты моя!..

Она бросилась обнимать девушку. На глазах у Лели выступили слезы.

— Я решила отомстить за папу, — сказала она, всхлипывая. — Мне ничего не страшно.

— А ты не торопись! На геройство, добрый молодец, не навязывайся, да и от геройства не отказывайся... Вот как у нас комиссар говорит. Поняла? Ишь, бабы как сойдутся, так и в слезы. Затирай, затирай воду-то! А то мужики засмеют.

В избу вошел Соколов.

— За мной, что ли? — спросила его Люба.

— Комиссар зовет.

— Так и знала!

— И мне надо в штаб, — сказала Леля.

Они вышли на улицу. Пушки еще продолжали стрелять, но огонь стал реже.

Подойдя к штабу Леля увидела благовещенцев, кучками толпившихся на дороге. Сейчас им предстояло разойтись по ротам и отрядам. Они уже получили оружие. Некоторые из них впервые держали в руках винтовку.

Черепанов сидел на крыльце со списком в руках. Все получили назначения. В списке не было только Елены Егоровой.

— В чем дело? — растерянно спросила Леля. — Почему меня забыли?

— Не знаю, роднуша, — ответил Черепанов. — Сейчас выясним.

— Но ты же на всех получил документы?

— Кроме тебя! Да не беспокойся, — улыбнулся он. — На военной службе людей не забывают...

«Может быть, Драницын что-нибудь предпринял... Бойтся за меня... — с сердцем подумала Леля. — Как это нехорошо! И какое право он имеет?»

Черепанов стал выстраивать людей в две шеренги. Леля уже знала, что он и Касьян Тереньев назначены

в штурмовую группу первого батальона. Савков уходил в артиллерию, к Саклину.

— Пушки старой гвардии откроют тебе дорогу, Касьян, — посмеивался старик над Тереньевым.

Юноша ждал боя, точно великого праздника.

Настроение у всех было приподнятое, возбужденное.

Оправив винтовку, висевшую у него за плечом, Черепанов громко скомандовал:

— Смирно! Равнение направо!

На крыльцо вышел Фролов. Черепанов подбежал к комиссару с докладом. Лицо у Фролова было хмурое, сосредоточенное. Подойдя к строю, он окинул людей острым, оценивающим взглядом.

— Товарищи, — тихо сказал он. — Говорить долго нечего. Гора Высокая — ключ к Шенкурску. Укреплена она здорово! Почище Паденьги... Но мы должны ее взять сегодня ночью. В быстроте продвижения — залог нашего успеха. Коммунисты идут в первых рядах. «Коммунисты, вперед!» — с этим лозунгом мы пойдем в бой... Ясно?

— Ясно! — громче всех ответил Касьян Тереньев.

Фролов на мгновение умолк, словно увидев перед собой людей, ползущих по снежному обрывистому склону Ваги.

Подняв руку, он крепко сжал ее в кулак и тряхнул им.

— Бой будет очень трудный... Но партия учит, что коммунисты должны побеждать в любых условиях. Вы будете на самых опасных местах. На то вы и коммунисты.

Крепко пожав руку Черепанову и пожелав всем успеха, он поднялся на крыльцо.

— Товарищ комиссар, — раздался за его спиной голос дежурного. — Егорова явилась.

Фролов обернулся и увидел стоявшую в сторонке Лелю. Глаза его приветливо улыбнулись.

— Здравствуй, Леля, — негромко сказал он. — Пойдем-ка со мной.

6

В штабе толпился народ. Войдя вслед за Фроловым в комнату, Леля увидела Любу. Та сидела на подоконнике и, когда Леля проходила мимо, как-то по-особенному подмигнула ей.

«Может быть, и Драницын здесь?» — подумала Леля. Но и во второй комнате его не оказалось.

В третьей комнате, где, видимо, расположился комиссар, стояла кровать с продавленным пружинным матрацем, на окнах висели старенькие кружевные занавески, в углу виднелись иконы.

— Садись, — кивнув на стоявший посреди комнаты единственный стул, сказал Фролов.

Леля села. Она не понимала, зачем комиссар привел ее сюда. Почему она не получила назначения, как все остальные коммунисты?

Фролов молча прошелся по комнате.

— Ты на лыжах ходить умеешь? — спросил он Лелю.

— Конечно, умею...

— А стрелять?

— Тоже умею. У меня папин револьвер остался.

Фролов остановился у окна. Леле показалось, что он за ней наблюдает.

— Ну, вот что, — сказал комиссар, присаживаясь на кровать. — Есть одно опасное дело. Наша разведка обнаружила между Шолашами и Высокой горой американский склад боеприпасов. Его необходимо взорвать. Но возле склада день и ночь стоят часовые. Никого, кроме женщин, они к себе не подпустят. Склад находится у дороги. Неподалеку лес. Там будут три наших парня. Лыжники. Они и взорвут. Но нужно отвлечь часовых. Днем их только двое. Ночью несколько человек с пулеметом. Поэтому действовать придется днем. Вы с Любой отвлекете часовых, а лыжники взорвут склад. Понятно?

— Понятно, — прошептала Леля.

— Сможешь?

— Смогу...

— Подумай. Такие дела наобум не решаются.

— Я подумала, — просто сказала Леля. — Отец научил меня ничего не бояться. Я же коммунистка, товарищ Фролов.

Операция, о которой комиссар рассказал Леле, тщательно обсуждалась им вместе с Драницыным, Бородиным и Сергунько. Когда речь зашла о том, чтобы поручить выполнение этой операции Любе Нестеровой и Леле Егоровой, Драницын спросил:

— А свою дочь, Павел Игнатьевич, ты бы послал на такое дело?

— Послал бы, — сказал Фролов.

Драницын замолчал.

Фролову было мучительно трудно отправлять девушек на такую рискованную операцию. Но уничтожить склад, лишить противника боеприпасов значило обеспечить успех ночного штурма Высокой.

Напряженно всматриваясь сейчас в лицо Лели, Фролов думал: понимает ли эта маленькая и слабая на вид девушка, почему выбор пал именно на нее, почему он не может поступить иначе? Глаза Лели смотрели на него спокойно, на лбу и около носа собрались морщинки. «Да, все понимает...»

— Ну, дочка... решено! Идешь! — сказал Фролов.

В комнату вошли Драницын и Бородин. Леля покраснела, вскочила с табуретки и, будто рассердившись на себя за это, покраснела еще больше.

— Звать Нестерову? — спросил Драницын, бросив беглый взгляд на Лелю.

— Зови, — словно нехотя ответил Фролов.

Через час две девушки, одна в новеньком тулупчике, а другая в нарядной бархатной шубке, шли на лыжах по деревенской улице. На выходе из деревни, у кустов лозняка, они встретили высокого военного в двубортной шинели. Лошадь его с опущенными поводьями бродила неподалеку.

— Я хотел проводить вас, — сказал Драницын, подходя к Леле и косясь на Любу. — Дорогу запомнили? Сначала по лесу до мельницы, потом тропкой на Шолаши. Но в Шолаши ни в коем случае не заходите.

— Да, да, — не глядя на него, ответила Леля. — Мы знаем.

— Лыжники уже ушли.

— Мы все знаем, — повторила Леля.

Люба хитро смотрела на Лелю и Драницына. «Ну, уж прощайтесь... прощайтесь, дружки любезные. Чего там!» — говорили ее лукавые глаза.

— Оружие в исправности? — спросил Драницын.

— Люба проверила, — ответила Леля.

— Ну, Люба, я на тебя надеюсь, — сказал Драницын, подавая ей руку. — Слышишь?

— Слышу... — проговорила Любаша.

Она отлично понимала, что сейчас происходит в душе Драницына, и ей вдруг стало жаль его. «Тоже ведь еще молодой», — с сочувствием подумала она.

— Не тревожьтесь, все выполню, — грубовато сказала Люба. — С батькой на медведя хаживала. Управлялась. Даст бог, и нынче справимся. Бывайте здоровы!

Запятав под шапку выбившиеся волосы, она сильно взмахнула палками. Лыжи легко заскользили по замерзшему снежному насту.

Драницын и Леля остались одни.

— Никак не предполагал, что так получится, — смущенно сказал Драницын, как будто был в чем-то виноват перед Лелей. — Что угодно предполагал, только не это.. Ведь это я подал идею о взрыве склада.

Леля посмотрела ему в глаза.

— Ну что же, хорошая идея... До свиданья, — сказала она дрогнувшим голосом. — Я даже не знаю, как вас зовут.

— Леонид, — тихо ответил Драницын. — Ленья...

— Ленья? — повторила девушка. — До свидания, Ленья. Если вернусь, встретимся. Если нет... прощайте, Ленья. Она тоже взмахнула палками и, не оборачиваясь, понеслась за Любой.

Драницын долго смотрел ей вслед. Затем достал папиросу и вынул из коробка спичку. Спички тогда были скверные. «Если загорится сразу, все будет хорошо», — усмехаясь в душе собственному суевию, подумал он. Спичка загорелась. Он с облегчением вздохнул.

В кустах фыркнула и завозилась его лошадь. Слышно было, как она хрупала, перегрызая тонкие розовые плети лозняка. Драницын вскочил в седло и пустил ее вскачь.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Англо-американское командование почувствовало, что натиск советских войск возрастает. Стало окончательно ясно, что это не случайные бои, а тщательно

подготовленный удар. Даже Айронсайд при всей своей тупости и самоуверенности не мог не понимать, что положение крайне серьезно.

Созвав офицеров на совещание, он тщательно скрывал от них свою растерянность.

Вокруг стола, на котором лежала карта военных действий, разместились американские, английские и французские офицеры. Здесь же были и представители белогвардейского штаба, генералы Миллер и Марушевский со своими сотрудниками.

— Большевики хотят разгромить все по пути к Шенкурску и овладеть городом, — обеспокоенно проговорил Миллер.

— Вы полагаете, что это им удастся? — спросил Айронсайд.

Миллер неопределенно пожал плечами.

Не зная, что ответить, он оглянулся на Марушевского. Тот молчал. Их выручил полковник Брагин.

— Многое зависит от того, — сказал он, — удастся ли большевикам овладеть Высокой горой. Это прежде всего! К счастью, она укреплена великолепно.

Начальник разведки, английский полковник Торихилл, посмотрел на него с самодовольной улыбкой.

— Тем не менее, — продолжал Брагин, — судьба Шенкурска внушает серьезные опасения. Теперь уже ясно, что большевики пытаются обойти город с флангов. Шенкурск под угрозой охвата. Большевики идут тремя колоннами. Слева заходит западная колонна, справа — восточная... На западе от Шенкурска идут бои в Тарнянской волости. Восточная колонна противника также с боями приближается к деревням Афанасьевская и Захавка. Центральная же колонна, ведущая бои на Вельском тракте, по-видимому, должна выполнять роль тарана. Большевики тщательно продумали весь план операции. Они прекрасно понимают, что взятие Шенкурска открывает им путь на Архангельск.

— Ну? Далеко вы шагаете... По-штабному, — насмешливо проговорил Ларри, быстро выступая вперед. — Что такое охват? — спросил он, с пренебрежением глядя на Брагина. — Говоря об охвате, вы, господин полковник, забываете о том, что охватывающая сторона должна иметь гораздо больше сил, чем обороняющаяся. Это — неизменное правило. В данном же случае все как раз

наоборот... Большевики вдвое слабее нас. Мы располагаем мощными артиллерийскими средствами. А что есть у большевиков? Наши склады ломаются от снарядов. А что могли подвезти большевики? Чем ближе они подойдут к Высокой горе, тем хуже для них. Уже второй день они штурмуют ее, но все их усилия безуспешны. До тех пор пока стоит Высокая гора, большевистские фланговые колонны не стоят выеденного яйца. Еще сутки — и они будут разбиты.

Айронсайд посмотрел на русских. Миллер что-то шептал Брагину на ухо, и тот покраснел, как ученик.

Тем временем слова попросил высокий лысый майор с обмороженными щеками. Это был начальник американского карательного отряда, сегодня утром прилетевший из Шенкурска.

— На пути к Шенкурску, — заявил он, — большевики найдут только пепел и руины. А они, конечно, надеялись на поддержку местного населения. Скот частью реквизирован, частью истреблен. — Майор улыбнулся командующему. — Чем большевики будут питаться, трудно себе представить. В деревнях, точнее говоря — в бывших деревнях, бродят только одичавшие кошки...

Это заявление окончательно убедило Айронсайда в том, что все его страхи преждевременны.

После совещания, которое всех успокоило, присутствующие были приглашены к ужину.

Офицеры выпили по несколько рюмок русской водки, и разговор возобновился.

— Вы действуете вяло, — говорил Айронсайд, обращаясь к Миллеру и Марушевскому. — Вы должны немедленно призвать под ружье всех — от мала до велика.

Накладывая себе зернистую икру, Миллер почтительно слушал Айронсайда.

— Но всеми вашими частями должны командовать американские или английские офицеры.

— Это будет похоже на индусские корпуса или на негритянские дивизии в Африке? — заметил Марушевский.

— Вот именно, — спокойно ответил Айронсайд. — Не вижу в этом ничего странного.

— За славный американский гарнизон в Шенкурске! — провозгласил Ларри. — За гарнизон Высокой горы.

— За американских солдат! — отозвался Айронсайд, любезно чокаясь с Ларри.

Айронсайду подали телеграмму из Шенкурска. Генерал Финлессон, командир Северодвинской бригады, телеграфировал: «Все атаки большевиков отбиты с большим для них уроном».

— Вот! — сказал Айронсайд и бросил телеграмму на стол. Ларри схватил ее и громко прочитал вслух. Офицеры захлопали в ладоши.

2

Штаб Фролова уже второй день находился в деревне, расположенной между Усть-Паденьгой и Высокой горой.

Позиции интервентов в районе Высокой горы действительно представляли собой сильно укрепленный оборонительный пояс. Селение, стоявшее на самом верху крутого склона Ваги, было окружено цепью хорошо оборудованных блокгаузов. Все подходы к Высокой горе преграждала колючая проволока. Это было сплошное кольцо из двенадцати рядов, за которыми шло несколько линий глубоких, в человеческий рост, окопов. Десятки прекрасно укрытых вражеских пулеметов простреливали каждый клочок земли. Мощные батареи, стоявшие на окраинах деревни, в любую минуту были готовы открыть огонь. По словам пленных, в тылу стояли резервы. Кажалось, все было рассчитано, все гарантировало от поражения.

Действительно, ни одна из атак, предпринятых командованием Важской колонны, не дала результата. К ночи грянул мороз. Но комиссара больше всего беспокоило отсутствие сведений из фланговых колонн. Связь с ними порвалась. Вологда не имела телеграмм ни от Левко, командира левой колонны, ни от Солодовникова, стоявшего на правом фланге с конницей Хаджи-Мурата.

Ночью все группы, подготовленные для штурма, были размещены вокруг Высокой и разведаны по снеговым окопам.

В окопы первого батальона шенкурские коммунисты принесли знамя. Оно было свернуто и перевязано тесемкой. Черепанов хотел распустить его, но Фролов не позволил.

— Я разрешу это только тогда, — сказал он, — когда буду уверен, что знамя не вернется назад. Мы ведь не на параде. Со знаменем взад и вперед не ходят.

Мороз усиливался. Бревна избенки, отведенной под командный пункт, потрескивали. Маленькие окна были завешены байковыми одеялами. На бревенчатых стенах выступил иней. Здесь было немного теплее, чем на улице. На столе дымилась коптилка, тускло освещая бумаги и чертежи. В углу на лавке пристроился со своим аппаратом телефонист.

На командном пункте собрались почти все командиры. Не было только Драницына. Он вместе с Саклиным находился на артиллерийских позициях.

Фролов молча сидел у стола. Коптилка озаряла его лицо, изрезанное глубокими морщинами. Командиры тоже молчали. Все были в шапках, папахах, тулупах и шинелях. Никто не раздевался и даже не расстегивался.

— Не слышно чего-то... — отчетливо раздался в тишине негромкий голос Сергунько.

Все поняли, о чем он говорит. Лыжники, посланные для взрыва вражеского артиллерийского склада, очевидно, погибли. Если бы они выполнили задание, взрыв был бы, конечно, слышен.

На слова Валерия никто не откликнулся. Только новый командир второго батальона, человек желчный, раздражительный от постоянно мучившей его болезни, надел рукавицы и с сердцем сказал:

— Послали баб!

Он вышел из избы, сильно хлопнув дверью. Пламя коптилки качнулось.

В эту минуту американская артиллерия дала мощный залп. Вздогнули оконные стекла. При втором залпе они гылетели из рам с каким-то злобным звоном. Фролов вскочил и выбежал на улицу. Все последовали за ним. Валерий Сергунько побежал к своему батальону. На командном пункте остался только Бородин с помощником по оперативному отделу и телефонистом. Вокруг командного пункта в двух окопчиках лежали бойцы комендантской охраны. Заслышав канонаду, они тоже вскочили.

Неприятельские орудия усилили огонь. Наши батареи стали отвечать противнику с не меньшим ожесточе-

нием. Началась артиллерийская дуэль. Бойцы лежали в окопах, ожидая сигнала к штурму.

Фролов направился в батальон Сергунько.

— Сейчас американцы начнут атаку, — сказал он бойцам. — Мы встретим их контратакой.

Вражеские снаряды рвались главным образом в тылу. Среди артиллеристов появились убитые и раненые.

К Фролову подскочил запыхавшийся Крайнев.

— Павел Игнатьевич, — с трудом переводя дыхание, сказал он, — Саклин убит.

— Кто тебе сказал?

— Санитары... Когда начался обстрел, Саклин приказал сменить огневые позиции. Это случилось по дороге. Снаряд разорвался в двух шагах.

«Еще одна жертва, — с горечью подумал Фролов, — еще одну жизнь погубили, проклятые...»

Но предаваться горестным размышлениям не было времени. Американцы пошли в атаку.

Скрытно, по заранее подготовленным проходам пробравшись сквозь свои провололочные заграждения, они появились совсем внезапно, будто выросли из-под земли, и под прикрытием артиллерийского и пулеметного огня упорно ползли к нашим окопам. Несколько залпов легкой батареи, стрелявшей прямой наводкой, смяли их и прижали к земле. Некоторые побежали вперед и легли под собственным огнем. Другие бросились назад.

В это время по скату горы стали взрываться тяжелые снаряды. Они падали то на подступах к деревне Высокой, то в самой деревне. Видно было, как поднимаются в воздух колья вместе с проволокой, как летят бревна блокгаузов, как загораются постройки. Глыбы земли взметывались вверх, будто гигантские черные фонтаны.

Это работал Драницын. Орудия его батарей непрерывно били по деревне. Огромное зарево поднялось над Высокой горой.

Первыми по приказанию Фролова появились на склоне горы партизаны. Их поддерживали моряки и бойцы батальона Сергунько. Склон горы был усыпан ползущими по снегу людьми. В открытом поле бойцы и матросы встретились с американцами, поднялись во весь рост и пошли на них в штыки.

Однако, когда они почти достигли первой линии провололочных заграждений, противник встретил их таким

огнем, что люди не выдержали. Хотя вражеская атака была сорвана, но и наша контратака захлебнулась. Бойцы и матросы вынуждены были откатиться назад, в свои окопы, оставив на поле боя немало убитых и раненых.

Уже под утро Фролов и Драницын приехали в штаб, находившийся на разбитом хуторе, неподалеку от Усть-Паденьги. Повсюду в штабе, на полу, на лавках, спали люди. За столом у фонаря, рядом с телефонистом, сидел дежурный адъютант и тоже дремал, опустив голову на руки. Фролов и Драницын чувствовали такую усталость, что им ни о чем не хотелось говорить. Даже есть не хотелось. Они тоже растянулись на полу, чтобы поспать хоть часок.

За окнами слышались возгласы санитаров, отправлявших в Березник обоз с ранеными.

Укладываясь, комиссар сказал Драницыну:

— Надо завтра написать письмо в Москву матери Саклина.

3

В то самое время, когда Важская колонна действовала на Вельско-Шенкурском тракте, ведя бой за овладение Лукьяновской, Усть-Паденьгой и Высокой горой, в глубине шенкурских лесов действовал отряд Макина. Он дрался с белогвардейскими частями, которые по приказанию Айронсайда были размещены в тылу за Шенкурском.

Бои были не из удачных. Правда, комиссар Фролов и не надеялся на то, что Макину удастся разбить вражеские части. Сравнительно небольшой партизанский отряд не мог справиться с такой задачей. Фролову было важно, чтобы противник нервничал, постоянно ощущая всю непрочность своего тыла. Эту задачу партизаны Макина полностью разрешили. Но сам Макин считал, что он должен был наголову разбить врага, и теперь, не добившись столь решительной победы, мучился своими неудачами.

Отряд Макина встретился с белыми на Святом озере. Его здорово потрепали. Вернувшись в Пучег, отряд от-

дохнул, получил оружие, пополнился людьми и двинулся на Коскару. Дойдя до своей родной деревни, Макин решил остановиться. Здесь он получил новый приказ. Прибывшие от Фролова связные сообщили, что в час ночи двадцатого января отряд Макина должен произвести налет на селение Шеговары, находящееся в сорока верстах от Шенкурска, в глубоком тылу. Приказ был выполнен. Партизаны подошли к Шеговарам, измотанные после шестидесятиверстного похода. Налет был отбит белогвардейским офицерским батальоном, который встретил партизан яростным пулеметным огнем.

Отряд отступил. Настроение было мрачное. Люди поговаривали о том, что Яков сплеховал. Некоторые считали, что следовало бы сменить командира...

Партизаны вернулись в Коскару поздней ночью. Выставив караулы, отряд расположился в деревне.

Когда, сделав все распоряжения, Макин переступил порог родного дома, отец встретил его в сенях.

— Ну, Яшка... не справился? — с упреком сказал он сыну. — Что же теперь люди скажут?

Макин молчал. Ему и без отцовских упреков было тяжело.

Он сел на лавку и сбросил тяжелые, отсыревшие валенки. Отец сидел рядом, взъерошенный, маленький, щуплый, и сердито поглядывал на сына. Мать, не проронив ни слова, полезла на теплые полаты. От молчания в избе стало как будто еще душней. Отец и сын сидели каждый со своими думами. Отец думал: «Как же так, Яшка? Коли не умеет... куда лез в начальство?»

Догорала лучина, угольки с коротким шипеньем падали в корыто с водой. Так прошел час. Яков закурил, прошелся по избе, вздохнул и снова сел.

— А Фролов-то еще не взял Шенкурска! — негромко заговорил он. — Мы языка сегодня поймали. Под Высокой еще идет бой. Большой бой. Много орудий стреляет.

У старика шевельнулись брови. Яшка опустил голову.

— Горько мне, тятя, — сказал он. — Ты мне отец... Пойми ты меня...

— Вот и должен перед отцом ответ держать.

— Я перед партией, перед товарищами в ответе, тятя!

— То-то и есть. Ты слушай, что народ говорит...

— Ладно! — решительно сказал Яков. — Шеговары я возьму. Меня сейчас неудачи преследуют. Но будет и удача. Ты, тятя, не сомневайся... Слово мое свято. Худого ты про меня не услышишь.

На этом разговор оборвался. Отец полез на печь, а Яшка устроился на лавке, подложив под себя тулуп. Он смертельно устал и заснул сразу, будто в воду камнем ушел.

Под утро его разбудили голоса под окном. Он привстал, подышал на замерзшее стекло, растер иней пальцами и посмотрел.

По улице кого-то вели. Неизвестный был в кубанке и в коротенькой рваной бекешке, отороченной по бортам черным барашком. Яков еще не успел сообразить, что случилось, как в дверь застучали. Не надевая валенок, он бросился в сени. В избу с руганью и шумом ввалились люди из отряда. Они заговорили все разом:

— В полверсте от деревни поймали... Тебя ищут! Кто его душу знает? Может, ихний разведчик?..

Среди партизан стоял горбатый человек. Лицо у него было молодое. Он смело взглянул на Якова.

— Михаил?! — вскрикнул Макин, подаваясь вперед, и вдруг остановился.

— Нечего сказать, хороша встреча! — рассмеялся горбун. Но в скорбных глазах длинноволосого плечистого горбуна не было смеха. — Старому другу не веришь? Не Каин ли? Эх, Яшка... Уж во мне-то ты, пожалуй, мог бы и не сомневаться...

— Что ты, Миша! — смутившись, пробормотал Яков. — Садись, друг. А вы, ребята, идите... — сказал он партизанам.

Отец Якова с печи покосился на пришельца.

— Мишуха! — радостно закричал он, спускаясь с печи. — Во... И кости целы? Ну, мать, ставь самовар. Мишуха ведь это, не признали, что ли?

Михаил Смыслов действительно был старым другом Якова Макина. Когда-то, еще до революции, деревенский паренек Смыслов, начитанный и довольно развитый, помогал ему учиться.

Яков любил разговаривать с ним. Михаил много знал и невольно заражал его своей страстью к науке и книгам. Они читали вместе и подолгу беседовали о прочи-

танном. В восемнадцатом году Смыслов переселился в Шеговары.

Макин считал своего приятеля давно погибшим, а он вдруг объявился, да еще так неожиданно! Но пришлось ему, видать, плохо: лицо такое худое, что кажется прозрачным, глаза лихорадочно блестя...

— Искал я тебя, чертушку... Измучился, как собака! — сказал Смыслов, когда они сели за стол. — Слух-то про тебя идет по всей вселенной.

Яков потупился.

— Молодчага ты, хвалю! Знаю я, что ты делал налет на наши Шеговары...

— Да не вышло! — Яков махнул рукой.

Михаила старики усадили за стол. Смыслов долго рассказывал о своей жизни.

— Прямо объявлю, товарищи-граждане, петля... Не мне одному, конечно, а всему населению. Всех большевиков и вообще свободомыслящих, как говорится, похватали сразу... В Шенкурск, в комендатуру. А там и на Мудьюг, говорят. Таков ихний порядок... Без просвета живем.

Он тряхнул длинными волосами.

— Нет, вру, Яков! Есть просвет... Я затем и пришел... К тебе... Шестьдесят верст отмахал. Правда, и на подводе случалось ехать. Я по лесному промыслу начал работать... В конторщиках! Так вроде командировочки у меня вышло. А то бы и не попасть. Но командировку-то я сам схлопотал... Историю одну задумал. Как ты отнесешься? — Горбун лукаво улыбнулся. — Есть, Яшенька, и у нас в Шеговарах боевая, славная молодежь. Всю зиму мы тайком собирались, обсуждали положение... И оружие есть, крепко спрятанное. В дело пустить хотим... Сейчас как раз подходящий момент. Бьют их наши-то... Слышал ведь, поди?

— Знаю.

— Ну, так и в Шеговарах надо скорее кончить. Надо нам сговориться с тобой, Яша. Оружие имеется. Ребята хорошие, самоотверженные. Давай налет в одночасье делать... Мы с тобой, а ты с фронту.

— Это надо обмозговать, Миша. Сразу не решишь.

— Ну, это известно... А кто сказал, что сразу? Мозгуй... А народ верный. Уж за это ручаюсь. Шеговарский гарнизон — всего сто человек. Тут, коли умно обдумать дело... подпереть вовремя да нажать там, где у них слаба гайка... побьем, Яша! Ей-богу, побьем.

— Да кушай ты, Мишуха! — сказал старик.

— Спасибо, папаша. Я кушаю...

— Ты, Яшка, борешься... Эх, завидовал я тебе! А то под их властью чувствуешь себя последней скотиной. Башка тупеет. И кажется, что не выдержишь. Нищета, голод... Молодежь ищет выхода... Да и не только молодежь...

Недоверие, которое промелькнуло в голове у Якова, давным-давно рассеялось. Смыслов был паренек серьезный, и действительно задуманное им дело могло оказаться удачным.

— Добро ты задумал, Миша, добро... — сказал Яков. — А что бы ты делал, коли меня не застал?

— Надо было рисковать. Тебя ждут в Шеговарах.

— Уж и ждут, — проворчал старик, в глубине души довольный за Якова.

— Ждут, папаша, не вру... Я до некоторой степени могу считать себя посланцем народа.

— Да, это-то — дело понятное, — соглашаясь, проговорил старик. — К примеру, возьми Коскары! Ни один мужик не выдаст, что здесь Яшка бывает.

— Народ измучился, отец, — сказал Смыслов. — Все с нетерпением ждут той минуты, когда власть этих варягов будет сброшена...

4

Командование Важской колонны еще несколько раз предпринимало атаки на Высокую гору. Бойцы дважды врывались в деревню, но закрепиться в ней так и не удалось. Американцы по-прежнему удерживали за собой эту ключевую позицию на подступах к Шенкурску.

Наступило двадцать третье января.

Весь этот день Важская колонна провела в приготовлениях к решительному штурму. Все словно сговорились, что сегодняшний ночной бой должен быть последним, что как бы там ни было, а Высокую гору сегодня ночью необходимо взять.

Весь день сыпал снег. Даже на тракте лошади вязли в сугробах. Но, несмотря ни на что, снаряды и патроны подвозились, орудия меняли огневые позиции, люди лихорадочно готовились к решительному бою.

Комиссар собрал у себя политработников и отдал распоряжение, чтобы с бойцами были проведены беседы о значении предстоящего ночного штурма.

Одну из таких бесед проводил Касьян Терентьев, назначенный политбойцом в первый батальон.

Юное лицо Касьяна раздвинулось не столько от мороза, сколько от волнения. Большинство бойцов было гораздо старше его, и он боялся, что его не станут слушать.

— Товарищи, — начал он, покраснев и тщетно стараясь придать своему голосу необходимую твердость, — сегодня великий, можно сказать, день...

Он умолк и с тревогой оглядел бойцов. Одни слушали внимательно, с полным доверием, другие улыбались, но добродушно.

— Казалось бы, что такое Шенкурск, товарищи? — приободрившись, объяснял парень. — Лесная глушь! Леса да болота! А ведь именно о нем наши комиссары с товарищами из Москвы беседовали...

Пожилой бородатый партизан сочувственно кивнул ему.

— Да разве сам Владимир Ильич об этом не знает... — уже уверенным тоном, баском сказал Касьян. — Вот я и говорю, что бой, в котором мы сегодня будем участвовать, — это исторический бой. На всю жизнь... Для потомства! Детям будем рассказывать... Есть что!

От сердца сказанные слова Касьяна взволновали бойцов.

— Вправду, сынок, — тихо проговорил бородатый партизан. — Такое дело не забудется.

— Некоторые говорят, — продолжал Касьян, — что у американцев столько пушек, что нам не пройти. Сегодня я был в штабе. Комиссар Фролов сказал: «Дадим такой огонь, что бойцы как по пашне пойдут». А наш комиссар слов на ветер не бросает.

Наступил вечер. Час штурма приближался с каждой минутой, но на этот раз Фролов волновался меньше, чем обычно. Конечно, он не мог поручиться, что разгром Высокой обеспечен. Мало ли какие неожиданности бывают

в бою. Однако он сделал все возможное, принял все меры, которые следовало принять... Комиссара беспокоило только то, что диверсионная группа словно канула в воду. Шел уже второй день, а никаких известий о ней так и не поступало. Никто не слышал взрыва, а не услышать его здесь, под Высокой, люди не могли.

«Попались», — с тревогой думал Фролов. Теперь он уже упрекал себя, что затеял это дело, да еще втянул в него Любу и Лелю. По лицам окружающих его людей он видел, что и они думают о том же.

Драницына, к счастью, рядом не было. Но, прощаясь с ним на батарее, он понял его молчаливый взгляд.

Обо всем этом Фролов размышлял, возвращаясь на командный пункт. Он ехал верхом по заснеженному ночному лесу. За ним следовал Крайнев.

До начала штурма оставались считанные минуты. Не доезжая до командного пункта Фролов и Крайнев отдали своих лошадей конным разведчикам и пошли пешком.

В лесу среди голых березок сидели на снегу бойцы.

— Вот бы и мне с ними пойти, — сказал Крайнев. — Я людей своих спешил на всякий случай, товарищ комиссар.

Фролов молчал.

Крайнев неспроста завел этот разговор. Ему было стыдно, что его отряд до сих пор не принимает прямого участия в боевых действиях, а выполняет только отдельные поручения.

— Нет, верно, Павел Игнатьевич... люди смеются... Ну что это? Мне Бородин сказывал, что вы Хаджи-Муратова ждете... Меня хотите с ним соединить. Да выйдет ли еще он? Это еще одна прокламация.

Комиссар не отзывался.

Когда он подходил к командному пункту, Крайнев снова начал:

— Честное слово, Павел Игнатьевич...

— Прекрати, — сказал ему Фролов и вошел в избушку командного пункта.

Драницын сидел у телефона.

— Ну, что там? — спросил Фролов.

— Сейчас тяжелые начнут, — ответил Драницын.

— Отлично! — сказал Фролов, садясь на скамейку и потирая посиневшие от мороза руки.

— Вы что же без Соколова сегодня? — спросил его Бородин, находившийся тут же.

— Он к матросам ушел.

Вдруг раздался глухой взрыв, настолько сильный, что пламя коптилки метнулось в сторону. Фролов вскочил и прислушался. Через несколько секунд раздалось еще два, менее сильных взрыва, а затем послышался прерывистый частый звук, похожий на бой огромного барабана. Это длилось несколько минут. Фролов быстро подошел к окну. Где-то далеко за Высокой горой по небу стлался огонь. Пламя растекалось все шире, поднимаясь к небу и застилая звезды. Зарево было огромное, дрожащее, оранжевое, смешанное с дымом.

— За Шолашами, товарищи... — сказал Драницын и, вздрогнув, взглянул на побледневшее от волнения лицо комиссара.

— Наши... — тихо сказал Фролов. Только это он и мог сейчас выговорить. «Как там они? — пронеслось у него в голове. — Как Леля? Люба?»

— В атаку! Давай теперь атаку, Драницын! Скорее атаку!

Драницын приказал открыть огонь. Через десять минут бойцы второго батальона и матросский отряд пошли в наступление. Но Высокая яростно огрызалась артиллерийским и пулеметным огнем.

Противник был еще силен. Он сосредоточил всю силу своего удара на наших окопах. Но бойцы уже покинули их и бежали вперед по снежному полю. Бешеный огонь противника снова заставил их прижаться к земле. Склон горы совсем обнажился. Снега не было. Будто гигантские плуги прошли здесь, выворотив камни, истерзав землю. Переждав несколько минут, бойцы снова поднялись и с криками «ура» бросились вперед.

Комиссар вместе с Крайневым приехал на правый фланг к бойцам первого батальона. Командир батальона Валерий Сергунько, стоя возле саней с боеприпасами, отдавал ротным последние распоряжения. Он был, несмотря на мороз, в одной гимнастерке, с винтовкой за плечом.

К Фролову подошел Черепанов.

— Знамя можно взять? — спросил он.

— Бери, — решительно ответил Фролов.

Артиллерийский огонь не ослабевал. Теперь Высокая горела так, что блики пламени ярко озаряли ее гористый склон. На краю деревни виднелись мечущиеся фигуры солдат. Все пылало: дома, сараи, блокгаузы. Однако противник еще отвечал. Пулеметы его еще работали. Но в их огне уже не было той силы, с которой американцы вели бой вчера.

Комиссар из снегового окопа лично наблюдал атаку бойцов.

Перейдя по льду через замерзшую Вагу, бойцы взбирались по склону горы, то и дело падая на землю и снова поднимаясь.

— Ур-ра! Даешь Шенкурск! — кричали они.

В нескольких шагах от Фролова шла группа с развевающимся красным знаменем. Нес его Черепанов.

— Под знамя, товарищи! — услышал комиссар голос Касьяна.

В ту же минуту он увидел, что Черепанов упал. Знамя накренилось, чуть не упало вместе со знаменосцем, но чьи-то руки схватили древко, и знамя снова двинулось вперед, освещаемое вспышками выстрелов. В этом неуклонном движении вперед было столько мощи, что громовое «ура» понеслось по наступавшим цепям.

Пулеметный огонь противника снова прижал бойцов к земле. Но знамя продолжало двигаться вперед. Фролов разглядел, что теперь его несет Касьян.

— Под знамя, товарищи! — снова донесся до комиссара охрипший, но все еще громкий юношеский голос.

Люди поднялись с земли и в едином порыве бросились вперед.

— Коммунисты, вперед! — крикнул Фролов. — Вперед, к проволоке! — Вытащив из кобуры револьвер, он взмахнул им. — Приготовить гранаты!

— Смерть интервентам!.. Да здравствует Ленин! Ура! — кричали бойцы.

Цепи двигались с неудержимой силой. Фролов видел, что теперь никакой огонь уже не способен остановить бойцов, что они сметут все на своем пути, что их воодушевление, их ненависть к врагу растут с каждой пройденной пядью земли.

Громкое «ура» снова прокатилось по склону горы. Впереди слышались взрывы. Это коммунисты подрывали

вали гранатами остатки проволочных заграждений. Люди бросали на проволоку полушубки, ватники и шинели.

Первыми прыгнули в окопы противника бойцы Валерия Сергунько. Но американцы уже отступили, Драницын перенес огонь на вражеские тылы.

Бойцы ворвались в горящее селение. Следом за ними двигалось простреленное шенкурское знамя. Теперь его нес уже не Касьян Терентьев, а один из бойцов его роты, пожилой бородатый партизан в черном зипуне.

Через час после занятия деревни Высокой туда прибыл Драницын вместе со своим штабом. В деревне уцелело лишь несколько построек. В одной из них и разместился Драницын со всеми своими помощниками и телефонистами.

Фролов приказал Крайневу преследовать бегущего противника. В сторону Шолашей направились две стрелковые роты под командой Валерия Сергунько.

Комиссару доложили, что Черепанов убит, а Касьян Терентьев ранен и отправлен в Березник. Но, как всегда в минуту боя, Фролов думал только о враге, с которым еще не были кончены счеты. Окрыленные победой, люди рвались вперед, не дожидаясь приказаний. Надо было добивать врага. Орудия продолжали стрельбу по тылам противника. В помощь Валерию лесными тропами была послана еще одна рота.

Фролов остановился в избе, судя по всему только что брошенной американскими офицерами. На столе еще стояли кружки с недопитым кофе и высокие тонкие бутылки с яркими цветными этикетками.

Фролов присел на покрытую пушистым ковром тахту и почувствовал, что встать уже не сможет. Так он и уснул, сидя на тахте и даже не расстегнув шинели.

Его разбудили среди ночи. Связной доложил, что Шолаши взяты и что оттуда доставлен старик лет семидесяти, который непременно хочет видеть комиссара Фролова.

Через несколько минут в дверях показался плачущий Тихон Нестеров. Он шел неестественно прямо, словно прислушивался к чему-то, и громко говорил:

— Павел Игнатьевич, где ты, родимый? Это я... Тихон-грешник идет...

Комиссар подбежал к нему. Тихон обнял его и троекратно поцеловал.

— Привел господь! — бормотал старик сквозь слезы. — Ночью Валерия видал... А где Любка, Андрейка? Фролов понял, что Валерий ничего не рассказал Тихону.

— Люба в своей части... Андрей уехал... В Котлас. Ну, рассказывай, Тихон Васильевич, как здоровье? Что пережил? Как здесь очутился?

— Ангел водит... Мальчонку завел! — Тихон улыбнулся. — Протяну руку, батожком постучу — и смело иду! Слава богу... — говорил старик. — А как живу? Как возможно... До Плесецкой наши довели меня по железке. А там побрел, как обещал товарищу Виноградову... Фронт перешел... Убогому не закроешь пути. Где пугнут, лесом бреду... Где открыто... Где подвезут... Где и свои ноги держат. Правду в глаза говорил людям... Не боялся! Что мне? Мне теперь, как дыханию, свободно, через все преграды иду. Ах, Павел Игнатьевич!.. Страшно живет народ, воем воет... Коли видал бы, как вчера батожьями лупили мужиков, баб гнали из Шолашей... Малых, больших! Старух, детей... Как сено палили! Последнее зерно не дали взять мужикам, все пожгли, злодеи. Картошку пожгли даже, господи... Как ревело все: и голодные люди и голодная, перепуганная скотина; как последнее все рушилось и падало. А ироды с ружьями стоят, покрикивают... Петухов, кур стреляют! Тут камни расплакались бы и треснули бы от горя. На веки веков проклятие! Стоял я и думал: «Людие мои, дорогие мои людие!.. Неужели забудете, неужели простите?»

В избе собралось много народу. Командиры и бойцы с трепетом в душе слушали слепого.

— В Шенкурске не были, дедушка? — спросил Тихона молодой боец. — Что там делается?

— Нет, сынок... Не успел! Да, дружки мои... Из колотцев не пейте. Все испорчено. Зверь от злобы рыщет и себя в лапу кусает. А эти, выходит, подлее зверя... — Старик помолчал. — А где же все-таки Любка? — с беспокойством спросил он.

Комиссар на мгновение замешкался, переглянулся с Драницыным.

— Все в порядке... Воюет, — сказал он. — В роте... В передовой группе.

— И ничего? Жива, здорова?

— Отлично воюет, батя... Ты ею гордиться можешь! Ну, товарищи, дайте Тихону Васильевичу чего-нибудь закусить, — добавил Фролов, обращаясь к бойцам и желая отвлечь старика от дальнейших расспросов.

За едой Тихон рассказал о том, что недавно случилось на горе Высокой.

— В декабре набор объявили. Нашлись смелые, отказываться стали. Тогда похватили парней, отцов... Имущество и дома пожгли. Многие по миру пошли, Игнатьич! С ними и я ходил. Народ прокормит... Знаешь, Игнатьич, не покоряется русский мужик под чужеземную лапу! Нет! Ничем нас не возьмешь и не застрашаешь! Народ наш смелый и гордый... Все вынесет, вытерпит и выгонит в море всех этих новых хозяев и тех, кто иже с ними, несмотря на ихние пушки. Кричат каманы¹: «Вы все большевики!» Я раз не сдержал духу и ответил: «Да, все мы большевики! Ну, что? Стреляй!» Не посмели. Замахнулись только, чтоб по шее... Да кругом народ как закричал: «Не троньте убогого!..» Пришлось меня отпустить...

...Всходило солнце. Фролов решил двинуться дальше. В деревне Высокой по его распоряжению оставалось несколько красноармейцев. С ними остался и Тихон.

— Прощай, батя, — сказал ему комиссар. — После твоих слов еще больше ненависти у нас в сердце... И не будет никакой пощады этим подлецам и зверям... В Шенкурске увидимся!

Он вышел из избы вместе с Драницыным. Лошади были приготовлены.

Фролов и Драницын ехали молча. Каждый был погружен в свои мысли. Им обоим хотелось спросить друг у друга: «Что же с Любой? Что с Лелей? Живы ли они?» Но оба не знали, что на это ответить, и потому предпочитали молчать.

Наконец Драницын, чтобы прервать молчание, заговорил об отряде Макина.

¹ Каманы — так в Архангельске и Архангельской области называли местных жителей интервентов.

— Взял ли Яков Шеговары? Где находится теперь? Мы ведь ничего не знаем...

— Скоро все узнаем, — задумчиво ответил Фролов. — Скоро все выяснится.

5

Взорвав неприятельский артиллерийский склад, диверсионная группа благополучно выбралась из расположения противника и углубилась в лес.

Ночью в районе Шолашей послышалась отчаянная стрельба. Один из лыжников отправился узнать, в чем дело. Вернувшись, он сообщил, что Шолаши взяты бойцами Сергунько.

Под утро лыжники вместе с Любой и Лелей Егоровой были уже в деревне. Валерий радостно встретил девушек и предложил им остаться здесь, подождать Фролова и Драницына. «Начальники-то утром должны приехать в Шолаши», — сказал он.

Люба и Леля заночевали в баньке за большим двухэтажным домом, занятым бойцами.

Люба спала, накрывшись с головой ватником. Леля сидела на лавочке. Перед ней стоял котелок с водой, она чистила картошку.

Кто-то вошел в предбанник, осторожно постучав в дверь. Необычный стук удивил ее.

— Можно? — слышался негромкий голос Драницына.

Сердце у Лели заколотилось: «Леонид!..» Некоторое время она не могла вымолвить ни слова. Наконец, опомнившись, она вскочила, подбежала к порогу и распахнула дверь.

Шагнув через порог, Драницын увидел Лелю. Она была в той самой ситцевой кофточке с цветочками, которую он запомнил еще в Благовещенске. Глаза девушки смотрели доверчиво и немного испуганно. Сейчас, в этой ситцевой кофточке, с посиневшими от холодной воды пальцами, она показалась ему особенно слабой и хрупкой. Никогда не испытанная нежность с такой силой охватила Драницына, что он, не говоря ни слова, подошел к Леле, обнял ее и крепко прижал к себе.

Некоторое время они стояли молча, тесно прижавшись друг к другу.

— Эти двое суток я не жил, — наконец заговорил Драницын. — Каждую минуту я думал о тебе... Теперь я знаю, что люблю тебя... Провожая тебя, я еще не знал этого так, как знаю сейчас...

Говоря все это, он целовал Лелю в щеки, в губы, в глаза, в открытую шею. Оба они забыли, что здесь же, на лавочке, спит Люба. Не думая ни о чем, Драницын сжимал тонкие плечи девушки, глядя ей в глаза, и знал, твердо знал, что в этих глазах, в золотистых завитках волос, в тонких губах, в посиневших от холода маленьких пальцах навсегда заключено для него самое близкое, самое нежное, самое родное — то, чего он никому и никогда не уступит. Леля молчала, пораженная неизвестным ощущением своей власти над этим большим, сильным человеком, который так стремительно вошел в ее жизнь.

Еще неделю назад этот человек был совсем чужим для нее, она не знала даже, что он существует на свете. А теперь стал самым близким. Почему она хочет, чтобы он держал ее в своих руках?

— Ты правда любишь меня? — тихонько шепнула Леля на ухо Драницыну.

— Я очень люблю тебя, — серьезно сказал Драницын. — Поверь мне... Я никого так не любил, как люблю тебя...

Леля обвила его шею руками. Поцелуй, которым она ответила на его признание, был для Драницына красноречивее всяких слов.

Леля оглянулась. Люба исчезла. Только ее рваная косынка еще лежала на жесткой, набитой сеном подушке.

6

— Я знала, конечно, что если мы не выполним задания, Шенкурск все равно будет взят. Правда ведь? Не это же решало исход боя?

— Конечно, — сказал Драницын.

Они шли по деревне, направляясь к штабу, и Драницын бережно вел Лелю под руку.

— Но в то же время я понимала, что значит для врага такой взрыв в тылу... Да еще в момент нашего наступления... Паника и все такое...

Боялась ли? Не то чтобы боялась, но была уверена, что иду на смерть. Сначала мы шли лесом, обогнули Шолаши. Добрались до лесной избушки, где должны были ждать нас ребята-лыжники. Заглянули. В избушке никого. Что делать? Сидеть здесь или выйти на дорогу? А дорога близко, с полверсты. По ней машины ходят, мотоциклы, повозки. Движение большое. Решили все-таки ждать ребят. Уже ночь наступила, а мы как сели, так и сидим. «Ну, думаю, ничего у нас не выйдет... С позором вернемся». Я говорю Любе: «Выйдем на дорогу». Она не хочет. «Не торопись, говорит. В разведке терпение требуется. Может, ребята где-нибудь у самой дороги спрячутся и выйти не могут. Тогда мы их подведем». Так оно и вышло. Просидели мы в лесу целый день. К вечеру слышим: пушки рокочат. Значит, вы уже начали. А мы сидим в лесу, прохлаждаемся. Такая досада меня взяла! «Пошли, говорю, Люба, нет сил больше ждать». Вижу, что и ей тоже невтерпёж. Только мы собрались, приходит Горбик, один из ребят-подрывников. Оказывается, они сутки просидели у дороги, высунуться не могли. Горбик повел нас к складу. Неподалеку от склада мост, а под мостом сидят два других подрывника. Рядом дорога проходит. Я говорю Любе: «Знаешь, Люба, у меня есть один план». Рассказала ребятам, они согласились... Условилась. А уж шестой час, темнота!

Вползли мы на дорогу. Склад близко, а как к нему подойти? Три ряда проволоки. Видим, что вечерней смены еще нет. Только один часовой ходит вокруг проволоки, а другой — у ворот за кольями. Под грибом сидит. Ворота из жердей и тоже все опутаны проволокой. Мы подходим к воротам, громко смеемся. Солдат кричит нам что-то по-английски. Делаем вид, что не понимаем. Он бежит к нам. Мы уже у ворот. Другой солдат вылезает из-под своего гриба и тоже нам кричит... Мы отходим. Первый солдат свисток дает. А напротив будочка. Из нее выбегает сержант с разными нашивками и по-русски: «Вы, девки, что?» И так нас и эдак... Я как на него закричу: «Мужлан, дурак... А еще американец! Да как ты смеешь ругаться? Я сейчас офицеру вашему пожалуюсь. Мы не девки, мы барышни из Шенкурска, сестры милосердия...» В то же время сыплю Любе по-французски все, что помню... А Люба держится как ко-

ролева. Откуда что взялось!.. Сержант смотрит на нее во все глаза. К нему подбегает первый солдат, что-то говорит по-английски. Я его перебиваю, жарю без конца, возмущаюсь... Будто бы дорогу спрашиваю на Шолаши. И все это в повышенном тоне, с разными французскими словами. Объясняю, что я сестра милосердия из офицерского батальона... Так мы с Бородиным условились. Он ведь нам и документы выдал на всякий случай. Сую документы. «Ну, думаю, погибать — так уж с музыкой». Револьвер в кармане. Ну, покричали минут десять, пока ребята возились по ту сторону склада. Они перерезали там проволоку, подползли к стенке, заложили мину...

Я посмотрела на часы, надо, думаю, уходить. А как уйти? Вдруг сержант нас в комендатуру потащит? Тут, на счастье, дровни катятся. Люба как закричит: «Стой! Куда, мужик?» Тот называет какую-то деревню. «Ладно, по дороге! Валяй в Шолаши! Садись, Леля!» Смеется и говорит сержанту: «До свидания, кавалер». А сержант спрашивает: «Послушайте, барышня... А где вас можно найти?» Люба отвечает: «В офицерском батальоне». — «А как спросить?» — «Нестерову Любовь Ивановну». — «Хорошо, говорит, обязательно приеду. Сегодня же...» Я тоже обнаглела. «Смотрите, говорю, не опоздайте!» Помахали ему рукой, поехали.

Мужичонка молчит, косится на нас.

Едем... Ну, с полверсты, не больше... даже меньше, пожалуй... отъехали... и вдруг взрыв. Да какой еще! Лошадь понесла... Слышу, в воздухе осколки свистят. Версту так гнал, как сумасшедшие неслись... Ну, потом Люба кричит ему: «Стой, дядя! Не выдашь нас? Мы красивые. Не выдашь, поезжай с богом. Выдашь, плохо тебе будет. Везде твою личность найду». А сама стоит над его душой с револьвером. Мужик вдруг как обрадуется... Обнимать стал. Слезы у него ручьем. «Когда вы нас, говорит, от этих извергов освободите?» А Люба ему: «Слышишь, пушки гремят. Сегодня здесь будем...» Простились мы с мужиком — и в лес. Полночи плутали, пока не встретились с ребятами.

Леля замолчала. Драницын шел рядом, посматривая на ее раскрасневшееся лицо и маленькие, полуприкрытые шапкой розовые уши. Он был взволнован рассказом Лели и радовался тому, что эта девушка, ставшая для

него самым дорогим человеком на свете, уже находится вне опасности.

— А ты знаешь, у меня было такое чувство, что я дома... — сказала Леля. — И мужичок, который вез нас... И вообще в любой деревне можно было бы найти приют. Мы на своей, родной земле. Что ты замолчал?

— Думаю, — сказал Драницын.

— О чем?

— А если бы тот самый солдат, который должен был ходить кругом проволоки, не впутался бы в разговор, а сразу вернулся бы к складу?.. Увидел подрывников? И тогда...

Леля улыбнулась.

— Тогда, — просто ответила она, — ребята сейчас же подорвали бы склад. Так мы условились с Горбиком.

7

Высокая гора, на которую генерал Айронсайд возлагал столько надежд, не устояла. После тяжелого поражения, понесенного на этой ключевой позиции, вражеские части стали поспешно откатываться к селению Спасскому.

Англо-американские батальоны вместе с миллеровцами улепетывали что есть мочи, перегоняя друг друга и сталкиваясь на узких, взрытых снарядами зимних дорогах. По выражению бежавших с Высокой горы солдат, большевики свалились на них «точно с неба».

Наступление центральной колонны в самом деле было стремительным. Не задерживаясь на Высокой горе и в Шолашах, войска двинулись дальше. Первыми наткнулись друг на друга дозоры Хаджи-Мурата и Крайнева. В два часа дня артиллерия разбила вражеские батареи, в одиннадцать часов вечера батальон Сергунько возле реки Шеньги соединился с передовыми частями восточной колонны. Ночью все три колонны — центральная, западная и восточная — встретились и объединились под общим командованием Фролова.

Крайнев с бойцами подъезжал к Спасскому и еще издали заметил на дороге несколько конников. Без выстрела он полетел им навстречу. Те остановились, и по их движениям Крайнев понял, что они снимают с плеч

винтовки. Однако он не переменял аллюра. «Попадешь ты в меня, как в копеечку...» — задорно подумал он, пришпоривая коня. И крикнул своим бойцам:

— За мной, ребята!

Было уже темно. Неизвестные всадники цепью рассыпались по дороге. Оставался на месте только один из них, одетый в черную бурку. Он стоял как скала. И через минуту Крайнев так столкнулся с ним, что лошади отпрянули друг от друга. Крайнев увидел знакомую бороду, очки и трубку в зубах.

— Муратов?

— Я... — ответил горец, затем крикнул: — Акбар, наши!..

Люди съехались.

— Вот счастье!.. — говорил Хаджи-Мурат. — Молодец! Хорошо скакал! Я любовался.

Бойцы Крайнева вместе с джигитами Хаджи-Мурата поехали по дороге.

Двигались молча, в напряженной тишине, каждую минуту готовые встретиться с врагом. Но, к их удивлению, путь на Спасское оказался свободным.

Окопы, опоясавшие селение, были пусты. Густо чернела никому не нужная теперь колючая проволока. Неподалеку от дороги лежали разбитые, безмолвные орудия.

По всему было видно, что противник ушел отсюда недавно. Крайнев и Хаджи-Мурат решили ехать дальше. Они беспрепятственно добрались до Шенкурска и въехали на окраину города. Здесь тоже было спокойно и тихо. Виднелись амбары, колокольни, занесенные снегом дома.

Выехав на городскую площадь, конники услышали голоса и увидели группу неприятельских солдат, окруженную красноармейцами. Тут же стояло двое конных. Это был Сергунько со своим ординарцем. Не выдержав неизвестности, он тоже помчался в город вслед за своими разведчиками. Увидев Крайнева и Хаджи-Мурата, Сергунько подскочил к ним и крикнул:

— Здорово, товарищи! И вы здесь?.. «Союзнички»-то драпанули! Вот несколько пленных. Сами сдались.

Из ворот маленького одноэтажного домика вышел мужчина и, сняв шапку, остановился в нескольких шагах от Сергунько.

— Красные? Наши? — спросил он.

— Да подходи, подходи... Ты что, боишься нас? — сказал Валерий. — Не узнал Севастьян своих крестьян?

— Нет, верно красные? Слава тебе господи!.. Ох, ребята! Что мы только пережили! Видите, картина...

Перед глазами конников раскинулся пустой оцепеневший город. Нигде не видно было ни одного огонька. Пугливо и мертво глядели на площадь черные окошки. Дома казались нежилыми, брошенными. Площадь была завалена какими-то бумагами; их, очевидно, жгли в кострах, но сгорело не все, и бумажные клочки теперь неслись по снегу, подхватываемые ветром. От всего этого веяло тоской и ужасом. Ни шороха, ни стука. Мертвая тишина.

— Даже собак не слышно... — с невольной грустью и ужасом проговорил Сергунько.

— До собак ли, милой. Богатеи-то еще неделю тому назад подались... Все в Архангельск! А нам не до собак. Самим жрать нечего.

— Где же народ? — спросил Крайнев.

— Напуган... Еще в себя не пришел.

Валерий встрепенулся и соскочил с лошади.

— В тюрьме политических нет?

— Нет, кого угнали, кого прикончили в полночь, — сказал мужчина. — Комендатура хотела город зажечь... Да уж не до этого было, так и бросили все. Только склад свой спалили... Да канцелярию, что ли...

Приказав конникам остаться при Валерии, Хаджи-Мурат и Крайнев поскакали с новостями в штаб.

Штаб расположился в одной из деревень, уже за Шолашами. Кроме Фролова, Драницына и Бородина, здесь собрались командиры западной и восточной колонн — Левко и Солодовников.

Все три колонны находились не более чем в семи верстах от Шенкурска.

На пути к городу лежало сильно укрепленное противником селение Спасское. Собрание было посвящено подготовке к предстоящему сражению под Спасским. О результатах разведки еще никто в штабе не знал.

Колонна Фролова по-прежнему стояла на Вельско-Шенкурском тракте. Вправо и влево от нее находились фланговые колонны: западная — Левко и восточная —

Солодовникова. Обе они по плану Фролова должны были обойти Шенкурск и захватить его тылы. Важской колонне предстояло взять селение Спасское лобовым ударом и затем ворваться в Шенкурск.

Первым выступил на совещании Солодовников, огромный, грузный человек с упрямыми глазами.

— Мы уже в четырех верстах от города, — настойчиво говорил он. — Моя колонна под Спасским. Бойцы рвутся в Шенкурск. А теперь — пожалуйста... От ворот поворот!.. Неверно это!.. Не могу согласиться.

После него попросил слова командир западной колонны Левко, худощавый, узкоплечий, с нервным, подвижным лицом.

Что же это получается? — вытирая ладонью потный лоб, также с недовольством проговорил он. — Почти непрерывный бой на марше. Всю Тарню с боями прошли. Выюги, морозы... Помороженных уйма... Я только тем ребят и поддерживал... «Товарищи, говорю, мы возьмем Шенкурск...» А теперь, выходит, его без нас возьмут?..

— Таково приказание штаба армии, — сказал Фролов. — Это тебе понятно?

— Понятно... — ответил Левко. Его лицо перекошилось. — А чувства людей тебе, комиссар, понятны? Сердце бойца ты учишь?

В избе наступило молчание. Бородин стоял у окна, заложив обмороженные, красные руки за пояс гимнастерки, и смотрел на улицу.

Он понимал Левко и Солодовникова. Действительно, было обидно: проделать изнурительный боевой поход и не участвовать в его славном победоносном завершении.

Но в эту минуту случилось то, чего никто не ожидал. За стеной избы послышалось ржание лошадей. В сенях раздались радостные голоса. Дверь распахнулась, и в избу вошли Крайнев и Хаджи-Мурат.

— Конец! — весело сказал Хаджи-Мурат своим гортанным голосом. — Шенкурск свободен.

— Вы были в Шенкурске? — вскрикнул Фролов. Он вскочил с такой стремительностью, что лампа едва удержалась на столе. Ее подхватил Бородин.

— Да, мы были в Шенкурске, — ответил Крайнев. — Город свободен. Интервенты в панике удрали.

Это бегство после столь яростного сопротивления удивило и Фролова и всех командиров. Но затем по

рассказам пленных удалось восстановить картину того, что произошло в осажденном Шенкурске.

Защищать город интервенты уже не имели возможности: их разбитые вдребезги части все равно не выдержали бы натиска советских войск. Бросая оружие, они разбегались по лесам.

— Довольно! Мы не хотим умирать! Домой! — кричали американские солдаты, покидая окопы под Шенкурском.

Паника была так велика, что перед офицерами стояла только одна задача: предупредить массовую сдачу в плен, своевременно отвести солдат в тыл.

Малочисленные гарнизоны в нескольких селениях от Шенкурска до Двины в любом случае не могли задерживать продвижения советских войск. Быстро подтянуть свежие резервы из Двинского Березника, с Двины было немыслимо: для этого не хватало ни транспорта, ни времени. В тылу за Шенкурском не имелось никаких оборонительных рубежей. Предчувствуя неизбежность окружения и стремясь спасти жалкие остатки своих разгромленных, обесилевших батальонов, бригадный генерал Финлесон приказал им немедленно отступить к Усть-Важскому.

Вдогонку за бегущими были посланы конные отряды Крайнева и Хаджи-Мурата.

В четыре часа утра колонны Фролова, Солодовникова и Левко с трех сторон вступили в Шенкурск. Навстречу им отовсюду бежали люди.

В полдень был назначен митинг. Город украсился красными флагами. В центре переполненной людьми площади возвышалась увитая алыми лентами трибуна. Над ней также развевался красный флаг. У трибуны стояли знаменосцы отрядов и шенкурцы, вернувшиеся в родной город.

На митинге выступили бойцы, командиры, рабочие шенкурского лесного промысла. Горячую речь произнес вовремя подоспевший Тихон Нестеров.

Фролов выступал последним. Он говорил о том, что взятие Шенкурска во многом предопределяет успех предстоящих боев за Архангельск. В заключение он предложил почтить память павших в боях за освобождение Шенкурска Саклина, Черепанова, красноармейцев и матросов, погибших при штурме Высокой горы.

Тут же было решено послать приветственную телеграмму в Москву — Владимиру Ильичу Ленину.

Город зажил советской жизнью. Американцы не успели всех угнать. Часть жителей спряталась. Теперь люди возвращались в свои дома. Всюду топились печи. Хозяйки угощали бойцов, чем могли. Девушки обнимали красноармейцев и командиров.

На площади собралась молодежь. Окруженный девушками и подростками, вестовой Соколов играл на гармонии. Бойцы подхватили частушку, которую еще недавно местные жители распевали под страхом смерти:

Ты играй, моя тальянка,
Знай наяживай, играй,
Англичанам, мерикаанам
Зад крапивой надирай...

До поздней ночи на улицах толпился народ.

На другой день был создан Шенкурский ревком. Вернувшегося из Березника Касьяна избрали членом ревкома. Простреленное шенкурское знамя, которое он нес при штурме Высокой горы, теперь стояло у него в кабинете.

Фролов ходил по комнатам штаба счастливый, веселый, словно хозяин, вернувшийся к себе домой после длинного и тяжелого пути. Часть его политработников оставалась в Шенкурске. Он предложил остаться и Леле, но та и слышать об этом не хотела.

Конные отряды Крайнева и Хаджи-Мурата преследовали противника. Фролов поставил перед ними задачу — к вечеру взять Шеговары. Телеграфная и телефонная связь по этой линии была перерезана. Вскоре ее восстановили. Фролов узнал, что под Шеговарами два дня шли жестокие бои. 25 января партизанский отряд Макина ворвался в это большое село. Молодежь села во главе с Михаилом Смысловым тушила пожары и преследовала отступающих. Шеговары, как и прочие селения, были подожжены интервентами.

В первом номере газеты «На борьбу», вышедшем в освобожденном Шенкурске, комиссар Фролов писал:

«Мы не раз обращались к разбойничьим правителям Англии, Франции и Америки... Мы спрашивали их: что им надо на нашей земле? Они молчали, не желая разговаривать с советской властью.

Ну что ж!.. Тогда заговорило наше советское оружие.

Сейчас из Усть-Паденьги захватчики уже откатились к селению Кица, на девяносто верст. Скатертью дорога! С первого августа 1918 года по январь этого года советское правительство восемь раз выступало с мирными предложениями. Реакционные круги, вдохновлявшие интервенцию, не отвечали. Они не хотели говорить с нами на человеческом языке. Поговорим на языке пушек и пулеметов. Очевидно, разбойникам такой язык понятнее...»

Над Шенкурским ревкомом реял освещенный луной красный флаг.

Снег падал большими редкими хлопьями. Фролов, Драницын и Леля шли по заснеженному, уютному городку. Поодаль от них, взявшись за руки, шли Валерий и Люба. Сегодня ночью все они уезжали к селению Кица.

Леля нагнулась, слепила снежок и бросила его в Драницына. Молодые люди весело засмеялись.

«Что ж! — подумал Фролов. — Молодость. Даже под выстрелами она остается сама собой...»

Ему невольно вспомнились события, которые произошли за последние две недели. «Да, — думал он, — враг был иногда сильнее нас оружием, но мы всегда были сильнее его духом, ибо мы знаем, за что боремся. Мы не могли не победить...»



ЧАСТЬ ПЯТАЯ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Парижские отели были переполнены американцами и англичанами. В залах Кэд'Орсе обсуждался русский вопрос. Им занимались в Совете четырех, в Совете десяти, на Парижской мирной конференции. В обсуждении принимали участие представители эмигрантских белых «правительств», в том числе и Чайковский, добравшийся из Архангельска до Парижа, быть может уже как-то почуявший, что «корабль» их тонет, и бегущий с него, точно старая хитрая крыса!.. Не было только большевиков, то есть как раз тех людей, которые действительно имели право выступать от лица русского народа. Парижские рабочие отмечали это на страницах своих газет.

Пролетариат Европы и Америки выступал против всякого вмешательства в русские дела и открыто

выражал свои симпатии Советской России. В Англии бастовало двести тысяч шахтеров. В английский парламент и в американский конгресс один за другим направлялись гневные запросы. Рабочие требовали от своих правительств прекращения войны с Россией.

Это, конечно, беспокоило Вильсона и его коллег по грабежу. Но гораздо больше они были обеспокоены успехами советских войск, одержавших в конце 1918 и в начале 1919 года немало внушительных побед над интервентами и белогвардейскими прихвостнями.

После разгрома англо-американских войск под Шенкурском и нараставших с каждым днем мощных ударов Красной Армии на других фронтах Вильсон и Черчилль ясно поняли, что их попытка подорвать силы молодой Советской республики окончательно провалилась.

Этот провал англо-американской интервенции был величайшей победой советского народа, одержанной благодаря мудрости его великого вождя Ленина, благодаря героизму Красной Армии, благодаря мужеству и отваге красных партизан.

Англо-американским захватчикам, не отказавшимся от своих планов уничтожения большевизма, волей-неволей пришлось менять тактику. В то время как премьер-министр Франции Клемансо продолжал настаивать на открытой форме интервенции, премьер-министр Британии Ллойд-Джордж и президент Америки Вильсон считали необходимым замаскировать свои истинные намерения. Вильсон, ранее отрицавший возможность каких бы то ни было переговоров с большевиками, теперь выдвинул идею мирной конференции по русскому вопросу с участием большевиков. Конференция должна была собраться на Принцевых островах. Созывом ее Вильсон рассчитывал приостановить и сорвать советское наступление. Кроме того, на Принцевы острова решено было пригласить представителей всех так называемых «российских правительств» и предоставить им равные права с большевиками. Тем самым Вильсон предполагал закрепить расчленение России, то есть узаконить именно то, чего он не мог добиться путем открытой войны. Ленин своевременно разгадал этот коварный план Вильсона. Впоследствии конференция на Принцевых островах была провалена самими интервентами.

Уинстон Черчилль — один из главных участников закулисной антисоветской игры — также находился в Париже.

...В апартаменты Риц-отеля, занятые Черчиллем, вошел Мэрфи. Ему пришлось немного подождать, так как Черчилль разговаривал с Вильсоном. Закончив беседу и проводив президента, Черчилль пригласил Мэрфи.

Тот чувствовал себя неловко. Сегодня необходимо было послать в парламент доклад о военных действиях. Консультанта смущала статья доклада, посвященная шенкурской операции. Он не мог подыскать подходящей формулировки. Нельзя же было просто написать, что англичане и американцы наголову разбиты советскими войсками.

— Я предлагаю сформулировать эту статью так, — гримасничая, словно от мигрени, сказал Мэрфи: — «Мощные атаки противника повели к очищению нами Шенкурска». Подходит?

В ожидании ответа Мэрфи зажмурился. «Сейчас Уинстон вскочит, — подумал он, — рассердится». Но Черчилль вдруг рассмеялся.

— Великолепно! Одной этой фразой мы заткнем тысячи глоток... Митинги, резолюции! Теперь мы можем сказать нашим рабочим союзам: «Чего же вы хотите? Мы ведь ушли из Шенкурска». Да, да, мы ушли... А почему и как — это никого не касается...

«Очередной блеф», — подумал Мэрфи.

— Но положение весьма серьезное, — сказал он вслух.

— Я беседовал с Ватсоном, секретарем английской миссии, только что прибывшим в Париж вместе с Чайковским... — Мэрфи вздохнул. — Красная Армия стала грозной силой. Партизанское движение растет с каждым часом. Что говорить о русских мужиках, если микроб большевизма действует даже на наших солдат.

— Послушайте, вы... Кассандра! — с насмешкой сказал Черчилль. — Именно этим летом мы покончим с большевиками.

— Вы, как всегда, нелогичны, Уинстон, — пожал плечами Мэрфи. — Это к добру не приведет. Вчера на конференции вы произнесли речь о Принцевых островах, о мире... А сегодня готовите новый план нападения? Где

логика? Неужели все изменилось только оттого, что вас посетил Вильсон.

— Да! Америка держит все в таком напряжении. — Черчилль показал сжатые кулаки. — Но дело не в этом! Я и сам никогда не откажусь от своих планов... Никогда, Мэрфи! Я скажу на конференции, что мы решили предоставить Россию ее судьбе... Пусть варятся в собственном соку! Но я нарисую такую мрачную картину положения Европы, что у всех волосы встанут дыбом. Я не буду требовать военной интервенции. Боже сохрани! Но, выслушав меня, все придут к мысли, что эту задачу отлично может выполнить антибольшевистская армия из белогвардейцев, эстонцев, финнов, поляков, румын и греков. Я добьюсь этого, Мэрфи. Я превращу Совет десяти в военный штаб Антанты.

Размахивая руками, Черчилль бегал по кабинету.

Мэрфи прикрыл глаза рукой и откинулся на спинку дивана.

Прошло около месяца. Во время одной из обычных деловых бесед с Черчиллем Мэрфи молча подал ему московскую газету «Известия» с приложенным к ней переводом статьи Сталина.

«...К чему «опасная» для империализма открытая интервенция, требующая к тому же больших жертв, раз есть возможность организовать прикрытую национальным флагом и «совершенно безопасную» интервенцию за чужой счет, за счет «малых» народов?» — так в ней писалось.

Черчилль читал долго, как будто не веря собственным глазам. Затем он нервным жестом отложил листки в сторону. Мэрфи показалось, что лицо патрона еще больше пожелтело.

Мэрфи смотрел на Черчилля, как бы говоря всем своим видом: «Я вас предупреждал, этого следовало ожидать».

Некоторое время длилось молчание. Наконец Черчилль не выдержал.

— Идите к черту! — закричал он. — Вы обожаете приносить новости, от которых скрипят нервы. Не мешайте мне!

Андрей Латкин и Матвей Жемчужный уже месяц находились в архангельской тюрьме. Вначале их почти каждый день допрашивали, грозили расстрелом, били, сажали в карцер. Но оба они в один голос утверждали, что никакой группы Егорова на Мудьюге не существовало.

Жизнь в тюрьме была ужасной. Повторялось все то, что было на Мудьюге, — голод, неожиданные вызовы на допрос, избиения, расстрелы.

Когда вскрылась река, заключенных погнали на работу в порт. Люди замерзали в ледяной воде. Негде было ни обсушиться, ни обогреться. Заключенных по-прежнему морили голодом, и они, так же как на Мудьюге, умирали от цинги и тифа.

Однажды вечером надзиратель Истомин, родственник Дементия Силина, подошел к Жемчужному и, оглянувшись по сторонам, тихо сказал:

— Ну, Матвей, директива тебе от подпольного комитета... Вот записочка от Чеснокова. Завтра бежим. Я, ты и Латкин.

— Ты-то куда? — спросил Жемчужный.

Надзиратель сердито махнул рукой.

— Куда — это ничья забота. Бегу потому, что сил больше нет, с души воротит. Ты вот что, слушай. Завтра будут посылать за цементом на левый берег. Я возьму тебя и Латкина. Понял?

— Невелика хитрость... А дальше?

— В пакгаузе у портовиков переоденемся. Там же получим документы. И сразу в поезд. Билеты нам будут уже куплены. Доедете до станции Тундра. У Тундры путевые работы идут. Пойдете к ремонтному мастеру Семенову, он вас примет... С ним условлено. А я поеду дальше. Все понял?

— Все.

— Риску не боишься? Башка недорого?

— Дорога бо одна... — Боцман зло ухмыльнулся. — Да воля дороже. Ты меня не пытай... Сам-то действуй по чьему приказу?

Истомин объяснил, что ему дано поручение от подпольного комитета.

— Не боишься? — спросил Жемчужный Андрея, рассказав ему о разговоре с надзирателем. — Может, и

провокация? Бес его душу знает... Давай прикинем, помозгуем.

— А что думать? И чего бояться? — усмехнулся Андрей. — Все равно нам нечего терять, Матюша.

Побег сошел отлично. Портовые рабочие оттолкнули лодку, на которой переправлялись беглецы, она поплыла по течению, и контрразведка потратила много времени на ее поиски. Найдя наконец пустую лодку, контрразведчики решили, что Истомин убит и выброшен в воду. Но где заключенные? Их долго искали в Архангельске и, конечно, не нашли.

Почти месяц Андрей и Жемчужный работали землекопами. Боцман сбрил бороду и стал неузнаваем. Но и он и Андрей все-таки со страхом смотрели на каждого нового человека, появлявшегося в рабочем бараке. Когда всю партию рабочих перебросили к станции Обозерской, они почувствовали себя спокойнее и стали думать о переходе через линию фронта.

Но тут случилась беда, помешавшая им осуществить свою мечту. Однажды ночью — это было в конце мая — барак оцепили солдаты. Всех рабочих от двадцати до сорока лет вызвали по списку, объявили им, что они призваны в армию, и под конвоем отправили в Архангельск. Довезя до Бакарицы, их высадили там и разместили в казармах. Миллер называл это «очередным набором».

Из казарм никого не выпускали, поэтому Жемчужный не мог связаться с архангельскими подпольщиками.

На второй неделе пребывания в казармах молодой железнодорожный рабочий Степан Чистов, сосед Жемчужного по нарам, показал ему листовку.

— Женка принесла! Почитай! Греков сказал, что мне нужно с тобой связаться...

«Товарищи, — говорилось в листовке, — вас загнали в миллеровские войска! Берите оружие... и переходите фронт... Красная Армия ждет вас...»

— Как считаешь, дело советуют?

— Дело, — хитро улыбаясь, ответил Жемчужный. — Выходит, Миллер не только мобилизував нас, но и вооружит. От тут-то мы ему пропишем, где раки зимуют... Что ж, Степан, пора действовать. От спички и города горят... Давай, не теряя духа! У меня люди найдутся. Ты тоже подбери добрых хлопцев. Партия

указывает нам дорожку... С разговора о листовках и начнем. Лиха беда начало... А уж там... Мы не из робких!

Тяжкие, почти нечеловеческие испытания закалили Андрея. В этом молодом и невероятно исхудавшем солдате с упрямыми серыми глазами никто не смог бы узнать прежнего студента. Да и по документам Андрей Латкин был теперь мещанином Алексеем Коноплевым, место рождения — Царское Село, постоянное местожительство — Каргополь, образование — городское училище.

При проверке Андрей смело подал свои документы офицеру контрразведки. Тот поставил на них штамп.

«Союзное» командование мало беспокоилось о настроениях солдат. Айронсайд считал солдата машиной: «Достаточно поставить ее в соответствующие условия, и она принуждена будет действовать механически». Так же думали и его офицеры, с помощью пулеметов загоняя людей на военную службу.

Батальон находился под неусыпным наблюдением офицеров и переводчиков, присланных военным контролем. Когда батальон размещался в деревне или в лесу, русские роты по приказанию командира сводной Северодвинской бригады генерала Финлесона окружались английскими или американскими частями. В бою за спиной русских солдат должны были стоять английские или американские пулеметчики.

Солдаты, конечно, сразу поняли, что их хотят использовать как пушечное мясо. Однако русские люди не упали духом. Ненависть к врагу возросла. Большевистские листовки имели успех у солдат. Они с нетерпением ждали того часа, когда смогут направить оружие против своих угнетателей. В каждой роте были созданы пятерки. Их деятельностью руководил подпольный комитет, в который вошли Матвей Жемчужный, сейчас носивший фамилию Черненко, Алексей Коноплев (то есть Андрей Латкин) и Степан Чистов.

Пропаганда среди солдат велась так искусно, что офицеры не замечали в своем батальоне ничего подозрительного. Айронсайд каждую неделю получал успокоительные рапорты. Он стал считать этот батальон своим

детищем, гордился им перед белогвардейским генералитетом, предлагая направить своих офицеров и в другие миллеровские полки. Марушевский и Миллер просили его повременить с этой мерой, которая, по их мнению, «могла оскорбить национальные чувства русского офицерства». Айронсайд милостиво согласился.

Он чувствовал себя на вершине славы, забыл уроки Шенкурска и считал, что большевики скоро будут разбиты.

Из Англии и Америки прибыли новые части. По освободившемуся от льдов морю пришли транспорты с вооружением. Все это настолько вдохновило Айронсайда, что он собрал у себя в штабе газетных репортеров и торжественно заявил им:

— Проблема решена. Коглас скоро будет взят! Тогда я предложу перенести базу армии Колчака на север. Наступление будет победоносным. К осени на севере не останется большевиков.

Он принял парад и остался доволен солдатами, их касками, шинелями, начищенными сапогами.

После церемониального марша Айронсайд обошел строй. Белогвардейские листки писали, что при этом у него был вид северного Цезаря.

Днем и ночью по городу, охраняя покой чужеземцев, ходили сводные патрули. Лежавший на письменном столе доклад Ларри убеждал Айронсайда в том, что теперь он действительно является истинным хозяином русского Севера.

Вот что сообщалось в этом докладе:

«Архангельск. Июнь 1919 года. Тема: расстрел арестованных. Краткая информация. Не подлежит оглашению.

Мы наконец всюду установили свой порядок. Большевицкая организация, наличие которой могло привести к печальным недоразумениям, вроде намечавшихся бунтов как на заводах, так и в воинских частях, например в 3-м Северном полку, теперь разгромлена. После расстрела большевиков, а также иных лиц, заподозренных в большевизме, произведенного в ночь на первое мая, мы произвели вчера новый массовый расстрел (список расстрелянных привожу дополнительно).

Наличие преступного большевистского ядра привело к тому, что мы, считаясь фактически хозяевами города и края, в сущности сидели как бы на вулкане. Путем агентуры я установил, что начиная с февраля сего года в городе работал подпольный большевистский комитет. На некоторых собраниях так называемого «актива» присутствовало иной раз до тридцати человек. Активисты вели в массах неустанную пропаганду, кроме того, ими было выпущено несколько листовок возмутительного содержания. Ими же была организована и подпольная типография.

Нам удалось выяснить и еще одно немаловажное обстоятельство. Архангельские подпольщики, рассеянные в массах и поэтому трудно уловимые, имели систематическую радиосвязь с Политотделом Шестой большевистской армии. Связь осуществлялась через двух моряков, радиотелефонистов, которые служили на тральщике, стоящем в Соломбале. Один из моряков, двадцатитрехлетний Зотов, был членом подпольного большевистского комитета.

Вчера ночью оба моряка в числе других активистов были расстреляны на Мхах, за Немецким кладбищем. Расстрел производила особая сводная команда из наших солдат. Затем руководивший расстрелом дежурный офицер вместе с офицером медицинской службы подошли к яме и произвели от одного до трех выстрелов в тела, которые еще проявляли признаки жизни. К 2.00 были расстреляны все осужденные.

Подполковник *Ларри*».

Несмотря на предпринятые интервентами чрезвычайные меры, Потылихин и Чесноков остались на свободе. Никто из арестованных их не выдал. Подпольная организация была жива. Правда, сейчас приходилось действовать еще осторожнее. Коммунисты встречались друг с другом лишь один на один.

Как ни хотелось Жемчужному повидаться с Чесноковым или Потылихиным перед отправкой на фронт, он не рискнул прийти ни на одну из явок. В тот день, когда батальон грузился на речной пароход, какой-то молодой матрос незаметно передал Жемчужному записку:

«Поступили правильно. Не сомневайтесь. Ждем результатов. Максимов».

Жемчужный понял, что записка от Потылихина.

За несколько часов до отправки Андрей Латкин и Степан Чистов ехали на грузовике из интендантского склада. Проезжая по ухабистому переулку, машина попала в наполненную водой выбоину и забуксовала. Пришлось остановиться. Машину вытащили быстро. Но заглох мотор. Шофер, открыв капот, принялся искать повреждение.

Был светлый июньский вечер. Латкин и Чистов вылезли из кузова и отошли в сторону. Над распахнутыми настежь, покосившимися воротами висела табличка с номером дома и названием переулка. То и другое показало Андрею знакомым. Он вспомнил Базыкина, его рассказы о жене и детях: «Неужели они здесь?..» Только вчера Жемчужный говорил ему: «Эх, повидать бы Шурочку Базыкину... Но если и отпустят в город, все равно зайти не удастся. За мной могут следить, я ведь здешний. Ты другое дело. Кто тебя тут знает? А как хотелось бы подбодрить Александру Михайловну. Поди, томится, бедняжка!»

Еще находясь в архангельской тюрьме, Андрей узнал, что Базыкин и Егоров умерли в тюремной больнице. Егоров не протянул после Мудьюга и трех дней. Вскоре скончался от цинги и Николай Платонович.

Заглянув во двор, Андрей увидел девочку в белой пикейной шляпке. Она играла у крылечка с куклой-негринтенком. Заметив солдата, девочка с недоумением посмотрела на него.

— Твоя фамилия Базыкина?

— Да, — ответила девочка удивленным тихим голосом.

Андрей оглянулся. Ни одного человека ни во дворе, ни на улице. «Рискну! В случае чего все равно фронт. Черт с ним!»

— Степа, — сказал он Чистову. — Подожди меня несколько минут. Потом расскажу, в чем дело.

Он подошел к девочке.

— Мама дома? Проводи меня.

Шагнув через порог, Андрей увидел молодую женщину, сидевшую за столом и чистившую селедку.

Шурочка вскочила, вытирая руки о передник. Яркие пятна выступили на ее бледных, худых щеках.

— Не бойтесь меня, — сказал Андрей. — Я Латкин...

— Латкин?.. Андрей? — растерянно прошептала Шура. — Я слыхала о вас... Вы были с Колей на Мудьюге? Садитесь...

— Простите... мне некогда. Я на секунду.

Загорелый подтянутый солдат с кокардой на фуражке и погонами на плечах произвел на Шуру странное впечатление. Она испугалась его.

Почувствовав это, Андрей взял Шурочку за руки, крепко сжал ее задрожавшие тонкие пальцы и, не выпуская их, будто боясь, что она прервет его, рассказал Шурочке все случившееся с ним и Матвеем Жемчужным.

— Александра Михайловна, не бойтесь меня. Не обращайте внимания на эту форму. Так надо... Я должен был навестить вас... и сказать, что умер Николай Платонович, как подобает большевику и герою.

Шура опустила голову.

— Мне так и не удалось увидеться с Колей, — сказала она и заплакала. — Ведь я тоже была в тюрьме... Меня выпустили недавно, в апреле... за отсутствием улики. И дети там со мной были. Вот старшая до сих пор опроститься не может, все кашляет, болеет... — И она показала на кровать, где лежала худенькая девочка с изможденным лицом.

— Не надо плакать, Шурочка... — мягко сказал Андрей. — Простите, что я вас так называю. Так всегда говорил Николай Платонович. Я почему зашел? Николай Платонович просил меня, если выживу, обязательно навестить вас. А сегодня сама судьба привела меня к вашему дому.

— Подождите, Андрей! Я сейчас угощу вас чем-нибудь.

— Ничего не надо, — поспешно возразил Андрей. — Мы сейчас уходим на фронт. Я пришел только сказать вам... Для меня образ Николая Платоновича никогда не померкнет. Да и не только для меня одного. Прощайте... Я не могу задерживаться.

— Спасибо, что исполнили просьбу Коли, — сказала Шура. — Мы все вынесем... И непременно победим!

— Непременно, Шурочка! — отозвался Андрей уже с порога.

— Боцману... Матвею кланяйтесь... Коля ведь его сильно любил!.. — крикнула Шура вдогонку.

Через несколько дней после приезда на Северную Двину батальон был расквартирован по деревням вокруг селения Двинский Березник.

Стояли томительно длинные дни. Солнце почти не заходило. В короткие воробьиные ночи небо мутнело, как вода, забеленная молоком. Среди солдат только и было разговоров, что о предстоящем восстании. Внешне все держались по-прежнему спокойно. Но лающие команды на английском языке теперь доводили солдат почти до бешенства. Из опасения, как бы бунт не возник стихийно, Андрею и Жемчужному приходилось успокаивать людей.

В полку существовали две власти: явная и тайная. Получив какое-нибудь распоряжение, солдаты прежде всего докладывали о нем одному из членов своей ротной пятерки. Интервентам лихо козыряли, пели в угоду переводчикам похабные песни, по вечерам хором читали «Царю небесный», в воскресенье плясали под гармошку. А по ночам в сараях велись приглушенные разговоры, мгновенно стихавшие, когда приближался кто-нибудь из офицеров.

В подготовку к восстанию были уже вовлечены все роты первого батальона. Второй батальон еще находился в Бакарице.

Андрей на воздухе окреп, разругаясь, посвежел.

Попав на фронт, Латкин своими глазами увидел, как интервенты под предлогом реквизиции беззастенчиво обирали крестьян, отправляя пушнину и меха в Архангельск, а оттуда — за границу. Особенно отличался этим батальонный командир Флеминг, за полмесяца наживший себе большое состояние. Крестьяне так ненавидели его, что он не ложился спать без охраны и для храбрости целыми днями хлестал виски. Солдат он подвергал бесчисленным наказаниям, надеясь таким образом внушить им страх и парализовать их волю.

За избой комендантского взвода на полянке были вбиты в землю железные колья. Провинившихся русских

солдат раздевали донага и, распластав на земле, привязывали к этим колыям на съедение комарам.

Солдаты с жадностью прислушивались к далеким выстрелам, доносившимся иногда с Двины. Когда в Березниковский порт возвращались покалеченные английские речные канонерки и мониторы, насупленные лица солдат прояснялись, и членам ротных пятерок опять приходилось успокаивать людей, чтобы они не навлекли на себя подозрений. Нужно было дожидаться, когда полк повезут к передовым позициям.

Это случилось в июле.

Среди людей роты особое внимание Андрея привлек молодой солдат Фисташкин. Он ни с кем не заговаривал, неохотно отвечал на вопросы и всегда держался в стороне. Никто не решался поговорить с ним в открытую, и Андрею пришлось взять это на себя.

Только что прошла вечерняя июльская гроза.

Андрей и Фисташкин сидели в окопе.

Полузакрыв глаза и прислонившись спиной к глинистой стенке окопа, Фисташкин тихо напевал старинную протяжную архангельскую песню:

Эх ты, участь моя, участь,
Участь горькая моя...
До чего ты меня, участь,
В эту пору довела.
Довела ты меня, участь,
До горяшка, до беды,
До такой беды несчастной,
До Немецкой слободы...
Как во этой во слободке
Жил я, парень молодой...

Из блиндажа вышел лейтенант, командир роты.

— Молчать! — крикнул он Фисташкину и со всего размаху ударил его по щеке.

Фисташкин охнул от боли. Андрей перехватил его взгляд, брошенный на лейтенанта. В этом взгляде было столько ненависти, что Андрей про себя усмехнулся. «Э, брат, — подумал он, — ты, кажется, только на первый взгляд такой тихий...»

— Открыть стрельбу по большевикам! — приказал лейтенант Андрею.

— Есть открыть стрельбу по большевикам, господин лейтенант! — громко повторил Андрей.

Ротный командир ушел. Мгновение подумав и покопившись на Фисташкина, Андрей дал пулеметную очередь по болоту.

Фисташкин улыбнулся.

— Вот как надо, видел? — сказал Андрей.

Солдат боязливо оглянулся и кивнул.

— Не робей, Фисташкин, — весело проговорил Андрей, хлопая парня по плечу. — Здесь, по эту сторону фронта, тоже есть советская власть. Нас много, и никакие иноземные сволочи нам не страшны! Ну, подыми голову. Выше голову! — уже командуя, сказал он. — И посмотри мне в глаза... Не выдашь? Имей в виду, если со мной что-нибудь случится, и тебе плохо будет. Товарищи отомстят. Так и заруби себе на носу! Понял?

— Понял, — ответил солдат.

— Чего ж ты дрожишь? Смотри, как вся наша рота дружно живет. А ты что?

— Страшно, товарищ Коноплев... Вдруг кто-нибудь узнает.

— Никто не узнает, если будешь держать язык за зубами.

Он протянул руку за бруствер.

— Там советская власть... Ждет нас.

— А наказанья нам не будет? — осторожно спросил Фисташкин.

Андрей вынул из кармана листовку, привезенную им еще из Архангельска.

— На, читай! По этому пропуску целая рота, даже полк может перейти.

Фисташкин прочитал листовку и вернул ее Андрею.

— Я уже читал ее, давали. А это верно, товарищ Коноплев?

— Конечно, верно. Неужели тебе самому не совестно гнуть спину перед иностранными офицерами? Как он тебя сейчас саданул! До сих пор щека горит.

— Я ночей не сплю, — глухо сказал солдат. — Все думаю: придет Красная Армия, что я скажу?

— Встать! — раздался у них за спиной голос переводчика.

По окопу шел командир батальона, высокий, дородный Флеминг.

— Что за разговоры? — спросил он по-английски.

— Сказку рассказываю, — по-русски ответил Андрей.

— Скас-ска?..

Андрей спокойно усмехнулся.

— Про Иванушку-дурачка.

Ничего не понявший Флеминг с презрением посмотрел на Латкина.

— Молчать! — крикнул он.

Это было единственное русское слово, которое от него можно было услышать.

Вечером рота была отведена на отдых в деревню Труфаново. Оружие у солдат отобрали. Согласно распоряжению Флеминга они должны были получить его только при выходе на позиции.

Люди бродили по деревне. Несколько солдат стирали на речке белье.

— А что, Степан, — спросил один из них, обращаясь к Чистову, — Коноплеву нас вроде комиссара? Али Черненко?

— Бог знает, — лукаво, с хитринкой ответил Чистов. — Может, один из них комиссар, а другой командир. Мы, ребята, при начальниках, беспокоиться нечего.

— Я сегодня с Коноплевым говорил, — сказал Фисташкин. — Он нас выведет к своим.

— Ясно, выведет! — горячо подтвердил молодой солдат с лицом, усыпанным веснушками. — Меня что грызло: хоть камень на шею да топись. А теперь не пропаду. Выйдем!

После того как люди поужинали, лейтенант вызвал к себе Андрея и приказал ему явиться к батальонному командиру.

Во дворе избы, где расположился штаб, Андрей увидел нескольких унтер-офицеров и солдат из разных рот. Все это не предвещало ничего хорошего. От командира батальона с какой-то бумагой в руках вышел Жемчужный. Лицо его было бледно. «Чем он так взволнован?» — подумал Латкин.

Оглядевшись по сторонам, Жемчужный отвел Андрея за сарай и сказал ему на ухо:

В деревне Арсентьевской бунт... — Он снял фуражку и хлопнул ею о колено. — Ой, мамо! Они так заняты — лучше времени не выберешь. Сегодня в ночь, Андрейка, треба переходить линию фронта...

— Я готов, — решительно сказал Андрей.

— А рота?

— Тоже готова.

Жемчужный стоял молча. На лбу его обозначились глубокие морщины. Он повертел бумажку в руках.

— От знаешь... Завтра в наступление... С утра. Нам фартит. Значит, сегодня дадут оружие. Иди в канцелярию, тебя затем и послали. От палачи! — с ненавистью сказал он, увидев группу интервентов. Это были стрелки, вразвалку шагавшие по дороге с сигаретками в зубах. — На подавление.

— Значит, сегодня?.. — задумчиво сказал Андрей.

— Сегодня, — басом огозвался Жемчужный.

— Еще бы недельку. Тогда и второй батальон при- был бы. Вместе пошли бы, Матвей.

— Рано заварилась каша. Ничего не поделаешь. Ждать нам нет расчета. У хлопцев уже терпенья нет.

— Когда пойдем?

— Часа в три ночи. Самое подходящее время. Я еще зайду к тебе.

Они разошлись. Андрей получил приказ, вернулся к себе в роту и передал его лейтенанту. Тот распорядился приготовить оружие. Взводные были посланы за патронами.

В Арсентьевскую поскакал отряд офицеров, предводительствуемый Флемингом. Командир батальона был, как всегда, пьян.

Перед отъездом он осведомился о состоянии людей. Ему доложили, что в батальоне все спокойно.

Приближалась белая ночь. На горизонте вспыхивали голубые зарницы.

3

Как только стало пригревать солнышко, старик Нестеров простился с Любой и Фроловым.

— Нет, други, — отвечал он на их уговоры остаться в Шенкурске, — не держите меня. Зря! Я ведь тоже упрям да норовист. Я слово дал Павлину Федоровичу. Чем способен, тем и посодействую.

С помощью мужиков он перебрался через линию фронта, а затем шел, уже не скрываясь, вместе со своим поводырем — десятилетним Володькой.

— Ты, сирота, не бойся... — успокаивал он мальчика. — Слушай лучше, как птицы поют! Птицы малые и

то головы не вешают, а ведь мы с тобою мужики. Я больше всего дятла люблю. Одна песня: «Стук, стук». Долбит с утра до ночи. Бери пример с этой птицы — и счастлив будешь на земле. Да, сирота! Придет осень — отдам тебя в школу...

Ночевали они в деревнях. Тихон беседовал с крестьянами, рассказывал, что случилось с ним на Ваге, что делалось в Шенкурском уезде, пока его не освободила Красная Армия.

— Главное, ребята, — говорил старик, — не подчиняйся иноземцам. Нечего бояться: смелым-то бог владеет. Сковыривай нарыв да горячим железом прижигай. Тогда и Красная Армия справится скорее.

Если появлялся патруль, старика прятали.

Так бродил Тихон Нестеров из деревни в деревню, не зная ни страха, ни усталости. Однажды, когда он находился в деревне Арсентьевской, туда прискакал канадский конный патруль и приказал всем мужикам запрягать лошадей и немедленно отправляться в Двинский Березник. Мужики отказались. Канадцы стали угрожать оружием. Мужики стояли на своем. Тогда солдаты открыли огонь. Несколько человек было ранено, одна девушка убита наповал. Не вытерпев этого, крестьяне схватили колья и бросились на солдат.

Канадцы усаkali.

...Через два часа Арсентьевская, оцепленная сводным отрядом интервентов, была подожжена с двух концов и уже пылала. Скот, выпущенный из хлевов и тоже окруженный солдатами, топтался на болоте. Испуганно мычали коровы, жалобно блеяли овцы. Солдаты гнали по дороге к Березнику табун крестьянских лошадей. На окраине деревни был свален в кучи вытащенный из домов крестьянский скarb. Тут же толпились ограбленные крестьяне. Слышались плач, крики, вопли. Черный жирный дым поднимался над горящими избами и расстилался повсюду.

Офицеры во главе с Флемингом, стоя на дороге, наблюдали за пожаром. Кто-то из них громко и по-дурацки хохотал, показывая на обезумевших от горя, рыдающих старух.

Тут же на дороге, со всех сторон окруженная конвоирами, в мрачном молчании стояла группа арестованных крестьян, среди них был и Тихон Нестеров.

Один из переводчиков-офицеров, здоровенный рябой парень, с наглой улыбкой говорил арестованным:

— Сами виноваты! Эх вы, темные головы! Заработали себе три аршина?

— Молчи, пес!.. — крикнул Тихон. — Мы знаем, за что гибнем. За родную землю, за народ! А вот за что ты подохнешь, собака? А ведь подохнешь!

Переводчик ударил его по лицу стеком. Но старик, словно не ощутив удара, только потряхнул головой.

— Кто это? — спросил у переводчика Флеминг.

— Не знаю... Неизвестный бродяга. Прикажете расстрелять?

— Да, — сказал Флеминг.

— К речке!

Тихон, конечно, ни слова не понял из этого разговора, но почувствовал, что его ждет смерть. Он не испугался: «Сыт, пожил!..» Ему хотелось одного — умереть спокойно, твердо, ничем не унижить себя перед обнаглевшим и презренным врагом.

Когда солдаты подошли к нему, он замахнулся на них палкой и гневно закричал:

— Никуда отсюда не пойду, хоть волочи. Стреляй на людях! Прочь от меня!

Среди арестованных раздалась возмущенные возгласы. Услышав их, Тихон воспрянул:

— Мужики, не робейте, не падайте духом! Крепко стойте за советскую власть! Скоро будет конец псам смердящим... Прощайте, мужики!.. — высоким, звонким голосом крикнул Тихон. — Бог с вами! Любка... батюку не забывай...

Перед его мысленным взором вдруг возникла Люба, как она, держа кафтан в руках, что-то сказала... Он вспомнил сына...

Флеминг выстрелил. Взмахнув руками, старик упал. Флеминг подбежал к нему и еще несколько раз выстрелил в мертвого.

В избах, где размещались солдаты первого батальона, вовсе не было так спокойно, как казалось офицерам Флеминга.

Солдаты готовились к предстоящему выступлению. Подпольный комитет обсуждал маршрут прорыва. Предполагалось, что, пройдя линию окопов, люди разойдутся

по лесам, затем выйдут к назначенному месту. Были выбраны командиры рот и взводов.

На исходе второго часа ночи Жемчужный зашел к Андрею. Андрей сидел, окруженный солдатами своей роты.

— Не выдержать и Колчаку, — говорил он. — Вот «Северное утро» пишет, что у Колчака хорошо. А на самом деле еще весной колчаковцы разбиты, держатся кое-как, на последнем дыхании. Про Питер тоже писали, будто он взят. Ничего у интервентов не вышло. И не выйдет. Много раз нападали на Россию иностранные грабители и каждый раз получали по шапке.

— И по зубам... — зычно прибавил Жемчужный, заглянув в сарай. — Здорово! Ну, что тут у вас?

— Подсаживайся, — проговорил Андрей. — Вот поужинали да беседуем помаленьку... Не спится.

Люди сидели на сене. В ногах у них стоял котелок с кашей, но до нее никто не дотрагивался.

— Рады, хлопцы? Аврал? — возбужденно заговорил Жемчужный. — Дождались дня! Только подумайте: к своим пойдем. Одно приказываю: без паники! Ясно? Держаться всем по-флотски, гордо. Мы бесстрашны, и никаких гвоздей! У вас все в порядке?

— Все, — сказал Андрей.

— Услышишь залпы, начинай. И тоже подавай команду к залпу... Я ровно в три подыму свою роту. Ну, братва... За власть Советов!

Жемчужный встал и пожал всем солдатам руки. Рукопожатия были крепкие: люди будто прощались навек.

— Офицеров арестовать. Колы будут сопротивляться, распорядись по-кронштадтски!

Он рубанул рукой и вышел.

Андрей пошел проводить его. На горизонте полыхало зарево.

— Арсентьевская горит, — со злобой сказал боцман. — Ну, сынку... Недолго им теперь пановать! И ты теперь не тот, что був раньше...

Боцман одобряюще улыбнулся и, потряхнув Андрею руку, не спеша зашагал по деревенской улице.

«Неужели я скоро всех увижу: и Фролова, и Любу, и Валерия? — думал Андрей, провожая глазами сильно поседевшего, но все еще крепкого и чубатого боцмана. — Неужели доживу?» Он поймал себя на том, что не

вспомнил о матери: «Что с нею? Ах, мама... Отбился твой сынок от тихой жизни. Не тот, прав Матюша».

После карательной экспедиции Флеминг приехал в Двинский Березник с докладом к бригадному генералу Финлесону. Сели играть в покер. Генералу везло, Флеминг повышал ставки. Вдруг раздались далекие одиночные выстрелы, затем донеслась заглушенная расстоянием пулеметная очередь.

Финлесон прислушался.

— Это со стрельбища,— спокойно сказал Флеминг.— Вчера привезли новое оружие. Пробуют, очевидно.

Канонерская лодка «Хумблэр», стоявшая на Двине, также услышала выстрелы. Но берега реки были спокойны. Все словно замерло. На канонерке тоже решили, что идет пристрелка оружия.

Все выяснилось только после того, как на берегу появился раненый офицер одной из рот. Он подползал к реке. «Хумблэр» выслал ему шлюпку.

Насмерть перепуганный, трясущийся от страха капитан рассказал, что присланный на Двину русский батальон восстал. Офицеры, спавшие по избам, обезоружены и связаны. Перестрелка была с теми из них, кто сопротивлялся. Батальон, руководимый большевиками, направляется к линии фронта...

В телефонной трубке что-то трещало. Раздраженный Ларри плохо слышал голос генерала Финлесона и никак не мог поверить случившемуся.

— Но позвольте,— кричал он,— неужели никто не мог остановить их?!

— Их преследует конная пулеметная команда...

— Как же им удалось прорваться?

— С большими потерями. Сейчас несколько аэропланов бомбят лес.

Ларри бросил трубку и поехал к Айронсайду.

4

Об отряде Хаджи-Мурата Дзарахохова, врезавшемся в глубокие тылы противника, ходили легенды. Хаджи-Мурат громил штабы интервентов, снимал секреты и

засады, уводил обозы, лошадей и все свои трофеи раздавал беднякам. Особенно он славился ночными набегами. Прослышав, что в окрестностях появился отряд Хаджи-Мурата, интервенты не спали по ночам.

В ту ночь, когда русский батальон прорвался сквозь линию фронта, отряд Хаджи-Мурата вместе с приданной ему командой разведчиков застрял в прифронтовой джунгли.

Горцу не спалось: болела раненая нога. Он не находил себе места.

В сениях послышались чьи-то осторожные, мягкие шаги. Затем скрипнула дверь в избе. Хаджи-Мурат обернулся. На пороге появился стройный боец с длинными белыми кудрями, выбивающимися из-под кубанки.

— Что, Люба?

— В лесу ухает... Что-то дается! — Голос у Любы был тревожный.

— Какое нам дело! Там наших нет,— равнодушно ответил Дзарахохов.

Люба ушла. Но Хаджи-Мурат стал прислушиваться. Минут десять все было спокойно. Пели петухи, в сениях возились куры. Стрелковые лошади бродили вдоль канавы и хрупали траву. Вдруг невдалеке, за синей грядкой леса, раздался глухой взрыв.

«Бомба!» — подумал Дзарахохов.

Надев очки, он разбудил спавшего на полу Акбара.

— Вставай! Кого-то бомбят за лесом... А наших там нет.

— Бежит кто-нибудь. Может быть, преследуют? — позевывая, проговорил ленивый Акбар.

— Преследуют? — Старик вскочил. Эта мысль не приходила ему в голову. — Подымай взвод! Поедем посмотрим.

Через несколько минут по лесной тропке мчалась группа всадников. Впереди скакал на своем Серко Мурат. Сзади на телеге вместе с товарищами по разведке ехала Любаша.

Выбравшись на озаренную утренним солнцем лужайку, всадники увидели стрелковую цепь. Она залегла в межевой канавке, проходившей вдоль густого, разросшегося заказника, и отстреливалась от притаившихся за бугром вражеских пулеметчиков. Люба быстро оценила положение.

— Мурат! — сказала она. — Ведь ребята, как бог свят, к нам прорываются. Неужто дадим живым людям погибнуть? Да нас на том свете за это калеными крючьями!..

Она стала торопливо снимать с телеги свой пулемет. Противник открыл беспорядочный огонь. Над головами всадников засвистели пули. Серко взвился на дыбы и поскакал назад. Всадники последовали за ним.

Сделав несколько скачков, Серко упал на передние ноги, затем повалился на бок, придавив Хаджи-Мурата. Горец с трудом выбрался из-под лошади. Серко заржал, по телу его прошла судорога, и он распластался на земле. Это был любимый конь Хаджи-Мурата.

Горец сел на пень и закрыл лицо руками.

— Ну, дядя, заснул, что ли? — закричала Люба. — Ведь стрельба идет!

Хаджи-Мурат будто ничего не слышал. Просидев безмолвно несколько минут, он встал и сказал Акбару:

— Отдай мне твоего Шайтана! А ты, Люба, со мной поедешь. Пулеметы на выюки!

Впереди снова ахнула бомба.

Всадники рассыпались по лесу и через четверть часа зашли в тыл противнику.

— Мы поскачем на них, — сказал Любе Хаджи-Мурат, — а ты открывай по бугру огонь.

— Есть! — отозвалась она.

— Орлята, за мной! — скомандовал Мурат всадникам, обнажая шашку, и бесстрашно направил своего коня прямо на пулеметы врага.

Внезапное появление конников перепугало интервентов. Джигиты неслись на них, с гиканьем обнажая шашки.

— Мурат идет!.. — кричали кавказцы своими гортанными голосами.

Впереди всех мчался старик в черном бешмете и черной папахе. Левой рукой он дергал поводья, горяча лошадь. В правой сверкала шашка. В зубах была зажата трубка.

Пули свистели вокруг Хаджи-Мурата, но он словно не чувствовал этого.

За ним, рассеявшись по всему полю, в таких же черных бешметах и папахах скакали джигиты.

Люба с иступлением стреляла по вражеским пулеметчикам.

Те бросили пулеметы и с криками: «Мурат!..» — кинулись врассыпную.

Тогда рота Андрея поднялась из канавы. По всей лужайке замелькали шинели стрелков, бегущих со штыками наперевес, некоторые открыли стрельбу по бугру.

Еще через четверть часа стычка была кончена. Джигиты захватили много пленных. В полуверсте от лужайки всадники обнаружили и роту Жемчужного.

Грязные, измученные люди спешили навстречу джигитам. Пошли объятия, расспросы, рассказы.

— Перейти фронт было еще не так страшно, — говорили солдаты своим спасителям. — Мы уничтожили их пулеметные гнезда!.. Все предусмотрели. Но вот когда по пятам пошла ихняя коннопулеметная, дело стало хуже. Либо беги, либо отстреливайся. Черта с два от коня убежишь. А тут еще бомбы.

— Он вас в болото загонял, — сказал Хаджи-Мурат.

— А черт его знает!

— Перехватал бы, как рябчиков.

— Нет, не перехватал бы. Я шел на помощь... — сказал Жемчужный. — А где Коноплев? — спросил он, оглядываясь. — Где мой сынок?

— Коноплев! — закричали стрелки.

Люба увидела, как из толпы вышел невысокого роста, худощавый молодой солдат в фуражке с кокардой и погонах. Уже по тому, как другие солдаты расступались перед ним, чувствовалось, что это командир. «Андрей?! Какой же это Коноплев? — всплеснула руками Люба и прыгнула с телеги. — Наваждение!..»

— Не узнаешь, бес?.. — дрожащим голосом сказала она, подходя к Андрею.

— Люба! — вскрикнул Андрей и бросился к ней.

Люба не выдержала и разрыдалась.

Стрелки, не понимая, в чем дело, смотрели на Коноплева. Джигиты и разведчики с не меньшим удивлением глядели на рыдающую женщину.

...Вечером, поужинав у Хаджи-Мурата в Неленье, Андрей с Любой вышли на улицу и пошли по деревне. Повсюду слышались песни стрелков и джигитов.

— Значит, завтра к Павлу Игнатьевичу поедом. Вот уж он удивится. А Валерий-то? — смеялась Люба. — Он баял мне: «Забудь, Любка... Что делать? Легче будет!» А я его к черту послала!

Андрей шел как хмельной, голова у него кружилась от счастья.

— Батю скоро увидим! — тараторила Люба. — Эх, жизнь будет, Андрюша! Скоро ведь в наступление! Только уж тебе не надо, ты отдохнуть должен. Столько вынести! Как еще тебя хватило!

— Что я? — говорил Андрей. — Людям труднее бывало. Нет, Люба, отдыхать нам еще рано...

Был тихий летний вечер. В его мирной, успокаивающей тишине не верилось, что идет война и что прошлой ночью перешедшие фронт люди подвергались смертельной опасности.

Миновав околицу, Андрей и Люба присели возле ельника на мягкие мошистые кочки.

— Вспоминал меня?

— Вспоминал, — ответил Андрей. — Даже на Мудьюге.

— А не врешь? Ну, поцелуй меня... солнышко...

Она обхватила Андрея своими сильными руками и крепко, жадно прижала к себе.

5

Генерал Финлесон докладывал Айронсайду:

«...Конечно, неприятель, прекрасно осведомленный о том, что произошло, решил на следующий же день воспользоваться восстанием. Только что перебежавшие от нас роты были брошены в атаку. По сведениям моей разведки, на этом участке действовали войска бригады Фролова. Нам пришлось отступить под сильным пажимом противника и под давлением его артиллерийского огня с каноперок, которые внезапно появились на Двине и поддерживали наступающие пехотные части.

К полудню восьмого июля неприятель находился лишь в 1200 ярдах от флотилии и гидропланной базы. Наша пехота отступила. Поэтому все вспомогательные силы и гидроаэропланы были отодвинуты мною назад.

Мониторы 33 и 27 получили тяжелые повреждения и выбыли из строя. «Сигала» некоторое время вела бой, но также получила повреждение и была заменена «Крикэтом». Канонерка «Крикэт» попала под сильный огонь противника и поспешила переменить место...

— То есть попросту удрала. Удрала! Это же ясно, черт возьми! — крикнул Айронсайд.

«Этот бой, по словам захваченных нами раненых матросов десанта, вел старший начальник их флотилии Бронников (бывший царский морской офицер). Тактическое руководство большевиков оказалось весьма эффективным.

В помощь подбитому «Крикэту» я распорядился послать сильный «Хумблэр», который пошел полным ходом вверх по течению, насколько позволяла глубина. Контратакам нашей пехоты предшествовали четыре артиллерийских налета тяжелых орудий. Но и они не дали желаемых результатов. Пришлось отправить колесные пароходы вниз за новыми, свежими частями. Только девятого июля, после того как прибыло подкрепление, наше преимущество стало сказываться. К вечеру мне удалось приостановить натиск противника.

На минах, которые он успел заложить, подорвались и погибли два наших тральщика «Суорд-Данк» и «Фанданго». Много жертв в пехоте и на флоте. Положение серьезное.

Айронсайд смял доклад и с раздражением бросил его в корзину. Вечером он выехал на фронт.

В газетных сводках говорилось, что «на Двине все спокойно». Однако, после того как в Архангельск прибыли первые раненые, слухи о восстании и битве на реке распространились по городу.

Не прошло и полутора недель, как в Пятом Северном полку, стоявшем на Онежском фронте, также началось восстание. Полк, руководимый коммунистами, арестовал офицеров, перешел на сторону Красной Армии и вместе с нею занял город Онегу.

Новая катастрофа произвела на интервентов ошеломляющее впечатление.

Генералы Миллер и Марушевский были немедленно вызваны к уже возвратившемуся с Двины Айронсайду. Оба они были поражены видом командующего. От надменного и напыщенного фанфарона ничего не осталось. Из него словно выкачали воздух.

Айронсайд говорил с Миллером и Марушевским сухо, не вдаваясь в подробности.

Он отпустил их, не дав им вымолвить ни одного слова.

Генералы ехали в пролетке по набережной.

— Да... — прошамкал Марушевский. — Не начало ли это конца?

Миллер показал ему глазами на кучера, и Марушевский замолчал. После этого свидания в стане белогвардейцев поползли панические слухи.

У Михаила-архангела всюду звонили колокола. С Троицкого проспекта доносилось погромыхиванье трамвая. Безоблачное небо предвещало хорошую погоду. Сады при домиках на набережной стояли, озаренные ярким светом утреннего солнца.

Но жителям словно не было никакого дела ни до безоблачного неба, ни до зелени садов, ни до яркого утреннего солнца. Набережная, на которой раньше толпилось столько народа, пустовала. На Двине не видно было ни лодок, ни яхт. Лишь кое-где покачивались на воде жалкие суденышки рыболовов.

На одном из таких суденышек отправились на рыбалку Чесноков, Потылихин и Греков. Они провели на реке весь вечер и всю ночь.

Рыбалка была устроена Максимом Максимовичем с тем, чтобы спокойно, ничего не опасаясь, поговорить друг с другом. За летнее время архангельские подпольщики опять возобновили подпольную работу. На судоремонтном заводе и в порту уже готовились забастовки. Но необходимо было усилить пропаганду среди военных.

Обо всем этом Чесноков и Потылихин говорили у ночного костра. Затем разговор зашел о положении на фронтах. Оно продолжало оставаться серьезным. На северо-западе угрожал Юденич. На юге — Деникин. Дрался еще и Колчак, которого, впрочем, здорово потрепали весной. Но хотя враг был еще силен, и Потылихин, и Чесноков, и Греков верили, что недалек тот час, когда их родина воспримет как свободное, сильное рабочее-крестьянское государство.

Теперь Чесноков и его товарищи возвращались в город. Греков лежал на носу лодки, свернувшись в клубок среди снастей и укрывшись рваным драповым пальто. Чесноков, сидя на корме рядом с Потылихиным, доставал из сетчатого садка трепещущих красноперых окуней и опускал их в ведро с водой.

Когда лодка подошла к отмели, Греков взял кошелку с рыбой, простился с друзьями и, по щиколотку увязая в песке, поднялся наверх. Ему пришлось пройти мимо больницы. За покосившимся забором стояли больные, в одном белье, босые, с изможденными, желтыми лицами.

— Голодаем, братцы. Хоть корочку хлеба, — уныло просили они. — Ради Христа... По возможности помогите.

Греков направился к Немецкому кладбищу. Чтобы избежать слежки, пришлось идти окольными путями.

Вскоре Греков увидел низенькую каменную церковь.

За сломанной оградой среди кряжистых берез и тополей виднелись памятники и надгробные кресты. Со стороны кладбища неожиданно вышла группа иностранных офицеров.

Увидев иностранцев, Греков поспешно скрылся на кладбище. Оно было ему знакомо: три месяца назад он хоронил здесь Базыкина. Ему помогали товарищи, тоже рабочие с судоремонтных мастерских. Они взяли из больницы тело Николая Платоновича, сами сколотили гроб, купили место на кладбище и принесли венок с алой лентой.

Шурочка сидела на скамейке, опустив голову. Возле нее вертелась маленькая девочка в суконном пальтишке и пикейной шляпке.

Греков огляделся по сторонам, подошел к Шуре и поставил на землю кошелку с рыбой.

— Это вам, гражданка...

Он снял картуз и остановился у могилы Базыкина.

— Почему ты ходишь так открыто? — спросила Шурочка не двигаясь.

— Какое там открыто! Как вор, оглядываюсь! — Греков засмеялся. — погоди, придет время, открыто пойдем! А сейчас что с меня взять, с простого рабочего человека? Мы с вами, гражданочка, насчет печки разговариваем, какую вам печку к зиме сложить... Вот и все... Ну, что у тебя нового? Меня Чесноков послал. Говорят, Абросимов опять тебя приглашает? Мне ихняя кухарка Дуняшка говорила. Это факт?

— Приглашает. Непонятно, почему...

— Вполне понятно! На всякий случай заручку желает иметь: дескать, поддерживал семью Базыкина. Хит-

рая бестия! Он уже нас побаивается, ей-богу: вдруг не удастся удрать! Ты согласилась?

— Противно.

— Соглашайся. Абросимову всегда известны все новости. Нам нужно, чтобы ты работала у него.

— Ты только за этим и пришел? Рискуешь!

— Видишь, цел! Значит, не так уж рискую. Тебя хотел повидать, — сказал Греков с нежностью. — Я знаю, ты по воскресеньям всегда сидишь здесь в это время. — Он помолчал. — Ну, мне пора. Ты зайди к Потылихину. Он хочет тебе какое-то дело дать. И не горюй! У тебя еще вся жизнь впереди. Жалко Колю. Но что же делать, Александра Михайловна?.. Надо жить. Жизнь ведь не ждет, не останавливается... Теперь уж наша победа не за горами. Скоро, Александра Михайловна, скоро!

Он крепко пожал ее руку и ушел так же быстро, как и появился, деятельный, бодрый, словно ничто ему не грозило в этом городе.

Шура осталась на кладбище. Через несколько минут в глубине тенистой аллеи показались двое рабочих. Один из них приблизился к Шуре и тихо сказал ей:

— Не узнаете? Помните, провожал вас, когда Николай Платоновича на Мудьюг увозили. Не горюйте, Александра Михайловна, скоро все переменится.

Он достал из сумки букет полевых цветов и положил на могилу.

Рабочие держались смело, свободно и этим напомнили Грекова.

Шура ушла с кладбища взволнованная. Ей казалось, что даже листва старых берез шепчет на тысячу ладов: «Скоро, Шурик, скоро!»

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

В августе 1919 года Айронсайд решил доказать, на что он способен. Это решение было принято по прямому приказанию Черчилля.

Сначала интервентам удалось захватить несколько селений на Северной Двине и в районе станции Плесецкой на железной дороге. Но эти мнимые победы стоили

чрезвычайно дорого. Интервенты обескровили себя. После этого одно поражение следовало у них за другим. 3 сентября Красная Армия начала наступление. Интервенты стали откатываться назад, и это было уже не отступление, а бегство. Две дивизии гнали врага. Одной из них руководили Фролов и Драницын. Фролов был назначен сейчас военкомом этой дивизии, а Драницын ее командиром. Шли бои... Батальон Валерия участвовал в славном сражении под Ивановской. В этом бою отличился Андрей, с горстью красноармейцев бросившийся на блокаду противника. Одновременно со штурмом Ивановской начался штурм деревни Борок. Там действовали два других батальона из полка, которым командовал Бородин. Там же под командованием Макина дрались бойцы, набранные в Шеговарах. Вражеские гарнизоны, стоявшие в деревнях Слюдка и Чудиновая, также подверглись разгрому. Флотилия Бронникова обрушила на них весь свой огонь, а затем Фролов ввел в бой резервные полки.

Красная Армия наступала с огромным воодушевлением. Противник, подавленный быстротой ее действий, силой натиска, превосходством в стрелковых и артиллерийских атаках, бросал позиции, оставляя на месте боя не только убитых, но и раненых.

Красной Армии оказывали большую помощь партизанские отряды. Крестьяне доставали из ям пулеметы, винтовки, охотничьи ружья, прятались в засады, внезапно обстреливая бегущие вражеские войска и этим внося в их ряды невероятную панику.

Армия интервентов часто увязала в болотах, тонула на переправах, ее выгоняли из лесов и уничтожали на дорогах. Разбитая, вконец деморализованная непрерывными ударами, которые наносили ей советские войска, она уже не могла думать о сопротивлении и ринулась назад, к Архангельску.

Несколько суток шел проливной дождь. По Двине ходили желтые тяжелые волны. Берега реки были забиты отступающими частями.

Возле одной деревни, застряв на перекате, стояли баржи с боеприпасами. Даже канонерка «Хумблэр» не могла стащить их с мели. Минерам было отдано приказание подорвать баржи. Оглушительные взрывы раздавались один за другим.

Продрогшие солдаты ломали избы и сараи, разжигали костры и, тупо глядя в пламя, сидели под дождем в ожидании парохода.

Винтовки валялись в грязи. О них никто не заботился. От щеголеватого вида, которым еще недавно кичились интервенты, не осталось и следа. В рваных шинелях, в украденных полущубках, в дырявых и размокших бусах, с ног до головы облепленные болотной грязью, солдаты сушились возле раскиданных по всему берегу костров.

Такими же жалкими кучками толпились возле огней даже офицеры, по внешнему виду мало чем отличавшиеся от солдат.

Порой солдаты кидали на них озлобленные взгляды.

— Черт возьми, — уныло сказал сержант, плечи которого были прикрыты мокрой рогожей. — Кто мог знать, что все так скверно кончится?

— Были люди, которые предупреждали, — вдруг отозвался чей-то насмешливый голос. — А ты что тогда говорил? Трофеи подсчитывал.

— Нет... — поеживаясь, сказал сержант. — Но уж теперь я вернусь в Чикаго совсем другим человеком.

— Прозрел, когда побили... Дешево стоит! — мрачно усмехнулся солдат с пожелтевшим от малярии лицом, расталкивая ногой бревна, чтобы лучше горели. — А кто доносил на Смита? Кто называл его большевиком?

— Я? Врешь, сволочь!

— Нет, ты врешь, — поправил его другой солдат. — Ты его подвел под дисциплинарный батальон. И весь взвод из-за тебя пострадал.

— Ребята! — испуганно закричал сержант. — Это не я!..

— Не ты?! — крикнул лежавший у огня солдат с забинтованной ногой. — Не ты... А кто же? Богачи? Генералы? Боссы? Все на них валишь?.. Да, они... А зачем ты сюда согласился поехать? Прогуляться вздумал? Мовету нажить?.. Я, идиот, дал себя околпачить, потому что жрать было нечего... Я уже стал пухнуть с голодухи... Но в конце концов я знал, на что иду... И теперь проклинаю себя... Лучше бы мне было подохнуть под забором, как собаке... А ты еще оправдываешься!.. Скот!

Он вытащил из кобуры пистолет.

— Убирайся к черту отсюда, или я застрелю тебя, гадина... И никто за тебя не вступится.

Сержант вскочил и сбросил с плеч рогожу.

— Ты обалдел!

— Уходи!.. — опять крикнул раненый.

Сержант взглянул на молчаливые, суровые лица солдат и быстрыми шагами пошел прочь. Когда он отошел шагов на тридцать, вслед ему раздался выстрел, заглушенный взрывами, гремевшими на реке. Сержант побежал.

— Да будет ли пароход? — спросил раненый сквозь зубы.

— Пусть красные приходят, — сказал молодой солдат. — Мне плевать. Хоть в плен, хоть в Архангельск.

— Проклятая война!

— Большевики соглашались на мир, это я слышал.

— А Вильсон сблефовал. Выкинул трюк! Большевики дорожат каждой каплей крови своих солдат, — говорил щуплый, бородатый, заросший черной щетиной канадец. — Я сам читал листовку. Народы хотят мира... Большевики только об этом и говорят... Они всем народам предлагают мир. Они простые люди. Это мы полезли к ним в дом.

— Это мы убивали их! — выкрикнул смуглый кудрявый солдат. — И за это бог покарает нас! Мы не выберемся отсюда!

Он приник лицом к земле, тело его затряслось от рыданий.

— Довольно... — сказал ему раненый. — Сдавайся в плен. Ничего большевики с тобой не сделают... Будь уверен... И поскорее замени свои бараньи мозги человеческими...

К костру подошел солдат в свитере и вязаной шапке. Он бросил на землю несколько зарезанных куриц.

— Откуда это у тебя? У крестьян забрали? — спросил раненый.

— Нет, из магазина... — Солдат ухмыльнулся.

— Опять грабил?

— А ну вас к черту! Мне надоела репа. Не все ли равно, как подыхать. Красные уже обстреливают Бологицу...

Канадец стал щипать птицу. Остальные равнодушно глядели в огонь.

По тракту, ныряя из ухаба в ухаб и подымая брызги, протащился грузовик. Кузов его был доверху завален офицерскими чемоданами. При толчке один из чемода-

нов скатился в канаву. Солдат, сидевший в кузове, видел это, однако не остановил машины.

Проходивший по дороге офицер что-то крикнул ему. Солдат отвернулся. Офицер подошел к канаве.

— Вы что, Спринг? Хотите купаться? — крикнул ему другой офицер, проезжавший по дороге верхом.

— Чемодан плавает.

— Ну и черт с ним! — Верховой придержал лошадь. — Передайте людям, чтобы все поджигали. До тех пор, пока не подожжем, не будет посадки. Таков приказ Финлесона.

— Передайте Финлесону, что он ничтожество.

— Вы пьяны, Спринг?

— Вот как! Это для меня новость, — пробормотал офицер и, шатаясь, побрел по воде.

Он шел, размахивая руками и разговаривая сам с собой. Потом остановился и, запрокинув голову, сделал несколько глотков из походной фляжки.

— Ты тоже ничтожество... Что же ты стоишь? Иди! Тебе же надо устраивать фейерверк.

Он посмотрел на реку, откуда доносился лязг и грохот. С «Хумблэра» срывали броню и орудия. Капитан канонерки, боясь перекатов, приказал облегчить ее.

Издали доносились глухие разрывы снарядов.

Это стреляли тяжелые орудия советской артиллерийской бригады.

...Финлесон ничего не мог поделать. Несмотря на приказ Айронсайда держаться во что бы то ни стало, солдаты уже никому не подчинялись и улепетывали со всех ног. Подстрекаемые офицерами, они врывались в деревни, забирали лошадей и подводы.

Уходя, они взрывали мосты, блиндажи и блокгаузы, с утра до ночи жгли баржи, запасы дров и даже речные пристани, обливая их машинным маслом или нефтью.

Двинский Березник горел.

На реке испуганно перекликались пароходы. Слышалась артиллерийская канонада. Невдалеке за лесом трещали пулеметы.

Финлесон, бледный и злой, молча стоял в группе офицеров возле пристани, ожидая подхода канонерки «Крикэт». Он покидал фронт.

— Утомительная страна, генерал, — прерывая молчание, сказал человек, хотя и одетый в хаки, но совсем не

военный по виду. — Я мечтал, что у меня будет прекрасный материал для газеты. Жаркие бои, рискованные операции, стычки с туземцами, лесные вигвамы, необыкновенные приключения... И вместо всего этого постыдное бегство. Какой уж тут материал для газеты! Нельзя же писать о неудачах британской армии, армии-победительницы в мировой войне! Глупо, генерал, очень глупо!

— Да, вы правы, утомительная страна, — пробормотал Финлесон.

— Не утомительная, а неутомимая. Этот народ нельзя покорить, — сердито сказал прыщавый офицер с желчными глазами.

Он нахмурился, махнул рукой и отошел к солдатам, которые вытаскивали увязшую в грязи тяжелую телегу с офицерскими вещами и проклинали войну, дожди, начальство, прокисшие сухари, Черчилля и решительно все на свете.

В Архангельске мало кто знал о случившемся. Интервенты и белогвардейцы тщательно скрывали свое поражение. Но хотя архангельские газеты почти не писали о военных действиях, слухи с фронта все-таки доходили. Контрразведка неистовствовала, будто чуя свой близкий конец. Каждую ночь в городе устраивались облавы.

«Держись, Шурка!» — эти слова Базыкина твердила себе постоянно. Днем она бегала по городу в поисках хоть какой-нибудь работы: на абросимовские уроки нельзя было просуществовать. Ночью, когда все в доме спало, ей становилось особенно тяжело. Ворочаясь на жесткой, неудобной постели, она вспоминала свою жизнь с Николаем Платоновичем, вновь видела себя курсисткой Высших женских курсов, а мужа — политическим ссыльным, запятанным в глухой Холмогорский уезд под надзор вечно пьяного полицейского урядника.

Потылихин помогал Шуре, чем мог. Утешать ее не было надобности. Как бы трудно ей ни приходилось, на ее озабоченном лице то и дело мелькала улыбка. С каждым днем она все больше втягивалась в подпольную работу.

На дворе в дровяном сарае Шурочка хранила партийную литературу. Раздачу листовок доверенным лю-

дям Максим Максимович всецело возложил на нее. Она с этим отлично справлялась.

Шуре казалось, что теперь она не смогла бы жить без постоянных встреч с Грековым, который приходил к ней за листовками. Подпольная работа придавала смысл всей ее жизни. Шурочка чувствовала, что не просто живет, не только борется за свое существование. Нет, она продолжает ту самую жизнь, которой жил бы и Коля, если бы он был с ней. «Ах, если бы Коля был со мной!» — часто думала она. Тогда она бы ничего не боялась. Быть вместе с ним, вместе бороться за счастье народа — это было бы счастьем!

В середине сентября на явке у Потылихина она встретила Чеснокова. Шурочка очень обрадовалась ему. Они даже расцеловались.

— Ну, старушка, жива?

— Жива! Давно не виделись. Полгода, если не больше. А как ты, Аркадий?

— Лучше не надо!

Шурочка посмотрела на него удивленно.

— Судоремонтники забастовали, — объяснил Чесноков. — Политические требования: освободить арестованных рабочих.

— А новые репрессии?

— Репрессии? Тут уж ничего не поделаешь, — серьезно сказал Чесноков. — Зато растут новые бойцы за дело рабочего класса. Каждая забастовка вызывает подъем самосознания, расшатывает врага, подрывает его авторитет. В рабочем человеке крепнет уверенность в себе, в своих силах. Забастовки — великое дело! — Чесноков рассмеялся. — Вот подожди. Скоро Архангельский порт грохнет! Господа союзнички зачешутся!

— Твоих рук дело?

— Только этим сейчас и занят. Твоя помощь тоже понадобится.

— Я готова.

— Что нового у Абросимовых? Не бегут еще?

— Разве уже пора? — шутливо спросила Шурочка. — У него какие-то совещания с пароходовладельцами. Кыркалов часто бывает.

— Вот, вот. Засуетились, значит! Швах дела у господ интервентов, совсем швах! Бьют их, Шурик! Теперь

вся Вага наша! Березник взят. А ведь это база интервентов, их опорный пункт на Двине. Наши движутся и по Двине и по железной дороге. По реке наступает флотилия Бронникова! Интервенты удирают! Так бегут, что с мониторов своих снимают броню и орудия, чтобы легче было бежать!

Чесноков подошел к диванчику, на котором сидела Шура.

— Ты только представь себе: рывок вперед на сто двадцать верст! Вот как мы сильны. Вот она, красная Россия! Колчак непрерывно отступает. Скоро ему будет каюк! А наш Айронсайдик мечтал с ним соединиться. Базу его устроить в Архангельске! Все к черту у них полетело.

Шура глядела на Чеснокова широко раскрытыми глазами.

— Ты понимаешь, Шурик, какое впечатление все это произведет на рабочих, когда они узнают истинное положение?

— Значит, победа?

— Большая... Огромная! Нужно, чтобы об этой победе узнали все рабочие.

В соседней комнате пробили часы. Лицо Чеснокова приняло озабоченное выражение.

— Мне надо уходить. Вот тебе советские газеты. Ознакомься. И напиши листовку о наших победах. Краткую, сильную! Покажешь Максимычу. А потом размножай. От руки, на машинке, на гектографе, как хочешь! Только скорее.

Он передал Шуре увесистый пакет с газетами.

— Откуда столько?

— Силин ездил на Северодвинский фронт... Ну, до свиданья. За листовками к тебе зайдет Греков.

Поручение Чеснокова было выполнено Шурочкой в тот же день. Теперь все в городе представлялось ей иным. Слыша, как женщины смеются в очереди на рынке, видя на улице оживленно разговаривающих рабочих, читая объявления финских контор, приглашавших своих сограждан ехать на родину и записываться на пароходы, Шурочка мысленно твердила себе: «Знают, знают! Теперь недолго ждать, скоро наступит конец».

Архангельский порт был забит иностранными пароходами. Днем и ночью шла погрузка. Тревожно гудели сирены. Выйдя из Архангельска, пароходы то и дело садились на мель. Английские и датские капитаны ругали русских лоцманов, которые, по их мнению, забыли фарватер. Лоцманы ссылались на изменчивое и капризное течение Двины, разводили, руками, будто не понимая, в чем дело. В порту каждый день случались аварии. Портились и выходили из строя погрузочные механизмы. Соломбальская верфь не справлялась даже с очередным ремонтом. Почти исправные машины при разборке вдруг оказывались совсем негодными. Порттовые буксирные пароходы тонули по неизвестным причинам. Загорались склады с топливом.

«Союзная» контрразведка деятельно искала виновников участвовавших катастроф. Торнхилл называл это поисками «направляющей руки». Но поиски ни к чему не приводили. В Архангельске действовали тысячи рук. Лоцманы, крючники, машинисты, кочегары, механики, грузчики, слесари, матросы, сторожа... Их нельзя было поймать. Они действовали смело, но в то же время осмотрительно и осторожно. Ими руководило только одно желание — во что бы то ни стало остановить тот грабеж, которому подвергалась родная земля. Каждый из них думал только об одном — помочь Красной Армии, облегчить ей победу, приблизить желанный час освобождения от ига интервентов.

В архангельских газетах за подписью полковника Торнхилла было опубликовано следующее предупреждение:

«Все русские, эстонцы, латыши и литовцы, желающие ехать в Либаву или Ригу, должны немедленно получить пропуска в эвакуационном бюро и погрузиться на пароход «Уиллокра». Предупреждаю, что это последний пароход, на котором может получить место гражданское лицо, не находящееся на службе у союзников или у русских властей».

Будто бомба разорвалась в Архангельске.

В тот день, когда Торнхилл опубликовал свое предупреждение, Шуручка пришла на урок к Абросимовым.

Обычно ее встречала горничная, шла вместе с ней в переднюю, помогала ей раздеться. Но сегодня горничной не было. Дверь открыла кухарка Дуня.

— Проводить вас? — спросила она.

Шуручка вошла в переднюю. Из полураскрытых дверей столовой слышались громкие, раздраженные голоса. Шуручка узнала Абросимова и Кыркалова.

Уже по первой фразе ей стало ясно, что в столовой идет какой-то крупный спор.

— Нет-с, почтеннейший! — кричал Абросимов. — Я с вами договаривался на деньги, а не на товары. Вы с Айронсайдом денежками делитесь, а не товарами! Извольте и мне платить проценты наличными деньгами.

— У меня нет денег!

— А что я буду делать с вашими досками? Солить, что ли? Я частное лицо. Мне парохода не дадут! Придут большевики, куда я денусь с этими досками?

— Не придут. Э, милый! Этой осенью и Москва и Питер будут наши!

— Тогда зачем же вы бежите?

— И не думаю бежать. Я еду в Лондон по делам.

— Врете! — завизжал Абросимов. — Бежите с награбленным. Такой же грабитель, как и наши союзнички. Братья-разбойники!

— Послушайте, почтеннейший!..

— Я занимался делами по экспорту. Мне Мефодиев все присылал. Миллионов на семьсот или восемьсот награбили! В золоте!.. Вот что стоит Архангельску интервенция! Да ведь это только то, что учтено! А что не учтено?

— Послушайте!..

— Извольте делиться!..

В столовой грохнулся стул. Услыхав шаги, Шуручка сняла пальто и направилась в детскую.

В переднюю выскочил Кыркалов, за ним Абросимов. Буркнув что-то себе под нос, Кыркалов сорвал с вешалки пальто и выбежал на лестницу. Абросимов растерянно поглядел ему вслед.

Шуре хотелось как можно скорее передать Чеснокову все то, что она услышала у Абросимова. Но Греков не приходил. Самой же идти на Смольный Буян не имело смысла: без предупреждения она вряд ли кого-нибудь застала бы там.

Через несколько дней выяснилось, что ходить на Смольный Буян вообще незачем. Вечером на Гагаринском сквере какой-то человек в демисезонном пальто и серой шляпе пошел рядом с Шурой.

— Забудьте явки, — тихо сказал он, не глядя на нее. — Силин попался.

Она не успела опомниться, как неизвестный свернул на боковую аллею и скрылся в темноте.

В тот же вечер Шура узнала, что на заводах опять начались аресты. Слухи, один мрачней другого, опять поползли по городу. Чем больше было неудач на фронте, тем яростнее свирепствовала контрразведка.

В штаб к Айронсайду был вызван Миллер.

— Я солдат, — не глядя на генерала, сказал Айронсайд. — Буду говорить по-солдатски. В политике происходит черт знает что. — Искоса взглянув на угрюмого Миллера, он продолжал: — Нас расколотили большевики. Я скажу даже больше: у меня такое ощущение, что они гонятся за мной по пятам. Но есть еще и другие, политические соображения. Президент Вильсон боится дальнейшего развертывания открытой военной интервенции, Черчилль с ним согласен. Но, говоря между нами, самое главное в том, что большевики нас покаутировали. После этого мы и заговорили о другой форме интервенции. Эти разговоры — не от хорошей жизни...

— Разве есть какая-нибудь другая форма интервенции? — спросил Миллер недоумевая.

Айронсайд рассмеялся.

— А вы? А Деникин? А Юденич? Мало ли какие еще могут быть формы!

Подойдя к Миллеру, он с прежней бесцеремонностью похлопал своего собеседника по плечу.

— Вы, генерал, будете обеспечены вооружением, деньгами, чем угодно... — Раскачиваясь на своих длинных ногах, он зашагал по кабинету.

— Благодарю вас, — пробормотал Миллер.

— Спокойно ведите борьбу с большевиками. Она не кончена. Происходит перегруппировка сил. Зреет новый план. Может быть, уже созрел.

— Все это очень хорошо, — рассеянно отозвался Миллер, — но ужасно то, что вы нас покидаете.

— В конце концов, дорогой мой, что мы можем сделать? Мы искренне хотели вам помочь. Но что же получилось? Всюду на позициях стояли мы, англичане, американцы, а ваши солдаты бунтуют, у вас восстания!

Мужики против нас! Они тоже бунтуют. Все это мы должны подавлять. Согласитесь сами, мой дорогой, это бессмысленно. Кроме того, протесты наших рабочих союзов в парламент... Это слишком дорого стоит королевскому правительству...

Миллер сидел, поджав губы и пощипывая бороду.

— Оставьте хоть что-нибудь, — наконец сказал он. — Хоть какие-нибудь части.

— Не могу!

— Когда вы эвакуируетесь?

— Точно не знаю. Вы будете своевременно предупреждены.

Миллер встал. Шея у него покраснела. Ему было душно.

— Разрешите откланяться... — пробормотал он.

«Щелкну шпорами, выпрямлюсь и выйду из кабинета, как ни в чем не бывало...»

Однако это ему не удалось. Он ослаб и заискивающе протянул руку Айронсайду.

— Поймите, генерал, — сказал он. — Как частное лицо я вполне удовлетворен бы сегодняшней встречей, но как член Северного правительства я не имею права... Прошу вас обо всем случившемся объявить на совещании.

Приехав домой, Миллер заперся в кабинете.

«Удрать?..»

Глупая мысль! За ним следит тысяча офицерских глаз.

«Счастливцев Мурашевский! Он уже в Финляндии. Есть чему позавидовать!»

2

По мнению начальства, забастовка в Архангельском порту возникла неожиданно. Сперва грузчики заговорили о каких-то деньгах, которые им недоплатили по весенней навигации. Их жалобу удовлетворили.

Вскоре после этого к причалам подошли океанские транспорты. Предстояла большая погрузка. Начальник порта приказал немедленно приступить к работе. Кладовщики частных коммерческих контор, военного ведомства и «союзного» штаба приготовились к разгрузке складов. Люди были распределены на погрузочные пар-

тии, документы выписаны, трюмы на пароходах раскриты, грузовые трапы перекинуты с пароходов на берег.

К самому началу погрузки на реке вдруг появился неизвестно кому принадлежащий закопченный деревянный катерок.

Он стал шнырять между причалами и плавучими буйками. За мутными стеклами его дощатой рубки был виден человек в рыжей мятой шляпе, стоявший рядом со штурвальным. Катерок, ныряя с волны на волну, подходил то к одному, то к другому причалу. Человек в рыжей шляпе что-то кричал грузчикам, ожидавшим на берегу. Затем катерок уносился дальше.

Через некоторое время на берегу раздались крики: — Шабаш! Бросай работу! Уходи, ребята!

Повсюду появились кучки грузчиков. Портовые чиновники кинулись к ним с расспросами и уговорами, но не добились никакого толку. Канцелярия порта немедленно связалась со штабом контрразведки. На территории порта появились иностранные солдаты с пулеметами. Был отдан приказ никого не выпускать с транспортов.

Между тем у выхода собралась толпа грузчиков. Поглядывая на пулеметы, народ шумел, слышалась брань:

— Иностранные фараоны! Позор... Выпускай!.. Не имеете права... Врешь, силком все равно не заставишь! Начальники! Да бей их!.. Ишь, морды наели... Выпускайте!..

Солдаты стояли как истуканы, держа винтовки у ног и боязливо осматриваясь. По всему было видно, что, если бы не офицер, они давно убралась бы отсюда.

На крыльце конторы появился начальник порта англичанин Броун. Его сопровождал дежурный офицер контрразведки.

Броун, плававший до революции на пароходах Добровольного общества, отлично владел русским языком.

— Кончай галдеж, ребята! — зычно крикнул он. — Чего хотите? Ведь мы же удовлетворили ваши требования! Что же еще? Что за лавочка! Говорите по-человечески. Расплачиваться будем фунтами, а не моржовками¹.

¹ Моржовки — банкноты с изображением моржа, выпущенные «правительством» Чайковского.

Заметив, что передние ряды смолкли, он воодушевился и крикнул еще громче:

— Зря, братва! Растак вашу так... Или жрать не охота? Расплата фунтами сразу после погрузки! Никто за шкуру вас не берет... Давай по-честному! За три дня разбогатеете. И еще по бутылке коньяку на брата в день. Идет?.. Ну, по две. Топай на палубу!

Он нарочно говорил на языке старого портовика, употребляя словечки, которые, как он надеялся, должны были расположить грузчиков в его пользу.

«Сейчас надо бы стрелять, — подумал Броун. — Много ли стоит взвод оробевших солдат? И где взять грузчиков? Погрузка огромная, сложная, без рабочих-специалистов не упрaviшья!»

— Отвели душу, и хватит! — снова обратился он к грузчикам. — Сошлись? Ну, марш в кантину¹. Забирай варенье и обувь. Это в премию от порта. И становись по местам. Первыми работу начинают причалы правого берега и станционные.

Неожиданно по толпе пропел свист. Вперед вышел грузчик, парень огромного роста, слегка сутулый, с длинными болтающимися руками, в ватной жилетке, на которой блестяли медные пуговицы. Веревка с железным крюком была перекинута через его могучее плечо. Он не шел, а выступал толстыми, как бревна, ногами, обувью в мягкие бахилы. Ворот его рубахи был раскрыт. Сквозь дыры широких шаровар виделось загорелое тело.

Поскоблив ногтем подбородок и словно смахивая улыбку, грузчик сказал:

— Не играй с народом, Броун. Не те времена. Не блазни его банкой варенья.

— И ты не играй, Блохин! Здесь не шинок! Что надо? — с угрозой ответил Броун.

— Ничего нам не надо. Эх, ты! — Грузчик покачал головой... — Банки, бу-утылка!.. Дерьмо! За все богатства мира не купишь! Работать не будем! Вот тебе и весь сказ. Выпускай. Отказываемся. Забастовка.

Дверь конторы отворилась, и на крыльцо вышел человек с розовыми мохнатыми ушами, в маленькой ке-

¹ Кантина — солдатская лавочка. Такие лавочки принадлежали английскому военному ведомству.

почке. Это был меньшевик Коринкин. Встав боком к толпе, он выбросил руку вперед и тонким голосом сказал:

— Одну минуту, товарищи. Пролетарская солидарность требует целесообразности. И с точки зрения общего положения еще неизвестно, что нам выгодно. Пролетариат как таковой обязан...

— Вон! Долой нуд! — загудела толпа.

Дежурный офицер взял человечка за локоть и втолкнул в контору.

Вдруг в толпе кто-то прокричал:

— Делегацию надо! Пусть делегация заявит...

— Прекрасно! Выбирайте, — откликнулся Броун.

Тогда раздался голос Чеснокова:

— Обсуждать нечего... Резолюцию получите!

— Какую резолюцию?

— Мы отказываемся работать по политическим причинам. Резолюция будет прислана.

— Кто это? Прошу ко мне.

Броун рыскал по толпе глазами, но в колышущемся море голов ничего нельзя было разобрать.

Из толпы опять раздался крик:

— Не будем грузить за границу... Не позволим вывозить русское добро... Кядрене бабушке! Долой грабителей!

Послышалась на дворе команда английского офицера. Он приказывал солдатам открыть огонь. Но голос его потонул в реве толпы:

— Ах, вы... Чтоб вас! Нет, сволочи! Ломай, ребята! Не застрашаешь! До-олой... Вон из России! Вон, убийцы...

Грузчики кинулись к пулеметам, повалили их. Блохин разбивал пулеметы железным ломом. Размахивая крючьями, люди бросились на солдат, загнали в контору Броуна и дежурного офицера. Затем торжествующая грозная толпа, разбив стекла конторы и расшвыряв охрану, с пением «Интернационала» хлынула на улицу.

К порту мчались два грузовика с солдатами контрразведки.

Но было уже поздно. Порт опустел.

На его территории было найдено несколько листовок:

«Кто эти наглые грабители и воры, эти озверевшие хищники, эти мерзавцы и разбойники, для которых жизнь

советского человека не стоит и копейки? Это международные империалисты... Их интересуют богатства нашего края: леса, пушнина, промыслы... И они пришли, как приходят бандиты и убийцы. Сперва кровь, расстрелы, убийства. Затем подлый грабеж, подчистую, до нитки. Почти на миллиард рублей золотом уже ограблена ими наша родная Архангельщина, исконная русская земля. А как разорена деревня! Это даже не подсчитаешь на рубли. Опустошен Архангельск. Опустошен Мурманск! На десять лет вперед, если не больше, подорвано хозяйство нашего края. Гоните в шею этих живодеров и вампиров! Спротивляйтесь! Задерживайте все, что возможно. Они разжирили на грабеже. Однако этим хищникам все еще мало. Сейчас они уведут наши лучшие морские суда. Грузят на корабли наши паровозы. Препятствуйте этому во что бы то ни стало!»

В окна бил дождь. От его нудной, мелкой дроби по стеклам невозможно было уснуть. Шурочка встала, зажгла керосиновую лампу, заслонив ее книгой, чтобы свет не падал на спящих детей. На душе у нее было тревожно.

В городе все выглядит внешне по-старому. Те же патрули. Так же водят арестованных. Так же голодают рабочие на Маймаксе и в Соломбале. Впрочем, голод стал сейчас еще сильнее: на лесопильных заводах нет никакой работы.

Газеты кричат о каком-то национальном ополчении, очередной выдумке Айронсайда и Миллера. Но никто не хочет идти в это ополчение. По городу идут слухи о массовой забастовке в порту.

Вместо грузчиков в порт набирают празднующихся, соблазняют пайками безработных. Но бастующие перехватывают их. Несколько рабочих пикетов арестовано.

Говорят о дерзком до безумия массовом побеге каторжан с Мудьюга. Поймана лишь часть, остальные скрылись неизвестно куда.

Шурочка уже давно не видела никого из своих. Это страшнее всего...

Вдруг кто-то постучал в наружные двери.

Шура вскопала. Стук повторился. «Неужели опять арест?» — в страхе подумала она и выбежала в сени.

— Кто там?

— Я, Шура... Скорее открывай! — ответил Потылихин возбужденным голосом.

Он ввалился в комнату, принес с собой запахи моря, дождя, ветра. Одежда на нем была мокрая, хоть выжми.

— Ты?.. Пришел ко мне? — с удивлением спросила Шура.

— И даже без конспирации, — весело ответил Потылихин. — Сегодня уж такая ночь, Шура. Не знаю, что будет завтра. А сегодня пришел!

— Что случилось?

— Шурка! Удирают! Интервенты бегут! — закричал Максим Максимович на всю комнату.

Шура села на койку. Что-то подступило ей к горлу. Она чуть не разрыдалась, но пересилила себя.

— Пойдем! Ты должна посмотреть. Свершилось, Шурик! — восклицал Потылихин. — Ну, одевайся. Пошли!

— Ты к Чеснокову заходил?

— Нет. Он в Соломбале.

Шура и Потылихин выбежали на набережную. Возле пристаней видны были шеренги солдат. При свете фонарей казалось, что они, еле двигая ногами, словно ползут по корабельным трапам.

Суда отчаливали одно за другим.

Никто их не провожал, даже белогвардейцы. В порту пылали склады с военным имуществом. Все, что «союзники» не смогли взять, было ими подожжено. Горели аэропланы, горела мука, горел облитый бензином сахар. Горело солдатское обмундирование. Что нельзя было поджечь, утопили в Двине: орудия, снаряды, сотни машин. И уже по одному этому Миллер понял, что все обещания Айронсайда оказались пустой фразой.

Он поехал в «союзный» штаб с протестом.

— Вы правы, генерал, — выслушав его, сказал Айронсайд, — но дело зашло слишком далеко. Поздно! Мы не намерены снабжать большевиков вооружением и продовольствием. До свидания. Увидимся в Лондоне.

На Маймаксе запылали заводы. Солдаты штабной команды, еще оставшейся в Архангельске, никому не разрешили даже приблизиться к пожару.

Площадь возле пристаней была запружена телегами, экипажами и машинами. Сотни солдат тащили сундуки, чемоданы, тяжелые кожаные кофры с медными замка-

ми. С телег снимали шкафы, столы, рояли, посуду, ковры, лампы. Солдат в стальном шлеме тащил на плече кадку с большим фикусом, стоявшим в кабинете Айронсайда. Вслед за ним бежал другой солдат, пряча под поллой шинели клетку со снегирями.

У пристани стоял пароход для старшего офицерского состава и дипломатического корпуса. Здесь среди солдатских шеренг двигался тонкий, дрожащий поток шляп, котелков, зонтиков. При свете корабельных прожекторов сверкали золотые жгуты и гербы на фуражках.

Ларри, стоя у трапа, кричал на солдат, грузивших в трюм штабные ящики.

Прошел маленький японец в золотых очках, прошли французы, скандинавы, англичане, американцы, наместники Френсиса и Линдлея, прошли их секретари, клерки, слуги. Все они суетились, толкали друг друга, кричали, спешили. С одним американским экспортером случилась истерика: он забыл деньги в гостинице...

Потылихин и Шурочка стояли под деревянным навесом пакгауза, среди штабелей дров. Тут же было еще несколько прохожих... Многие в городе еще не знали о случившемся.

Жгучая ненависть к уезжавшим и радость, все захлестывающая радость освобождения переполняли сердце Шурочки.

— Вот уж действительно бегут, как воры под покровом темной осенней ночи, — сказал в темноте чей-то окающий глухой голос. — Бандиты и есть... Все залили кровью, все ограбили! И драла!

— Бродяги! Ахнуть бы мину под них... — прогудел другой голос, низкий бас.

— А те, кто в креслах по Лондонам да Нью-Йоркам сидят, сигарки раскуривают! Заправил этих, сволочей империалистов, вот кого надо в первую очередь к ответу... Кто начал войну? Они... Они по горло в крови. На суд потомства! На пролетарский суд истории!..

Рядом с Шурочкой стояли молодые рабочие парни.

— Идет, гадина! — с ненавистью сказал один из них. — Гляди, гляди! Ох, скотина! Как только его земля держит, сукина сына, палача!

В свете прожектора Шура разглядела Айронсайда. Его сопровождали штабные офицеры. Айронсайд всту-

пил на трап, пугливо озираясь, и зашагал так быстро, словно боялся, что его сейчас ударят в спину.

Забыв о всякой осторожности, Шурочка выкрикнула на всю площадь сильным, негодующим голосом:

— Бу-удьте вы прокляты!

Толпа вздрогнула. Солдаты загалдели, кто-то побежал, заметался прожектор. Схватив Шуру за руку, Потылихин бросился в проход между штабелями. Они выскочили в темный переулок и скрылись.

Засвистели караулы. Проскакал конный пикет. Но в другом конце площади, за Гагаринским сквером, опять кто-то крикнул:

— Будьте вы прокляты!

...Огромное дрожащее зарево нависло над Архангельском. В разных концах города пылали пожары. Оставшаяся в городе группа «союзной» контрразведки под страхом смертной казни запрещала тушить их.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

С двадцать седьмого сентября в Архангельске было введено осадное положение. Подполковник Ларри остался при Миллере, Миллер же удерживался в Архангельске только благодаря общей обстановке того времени. Потерпев решительное поражение на Севере, Вильсон и Черчилль сделали ставку на Деникина. Снабдив его армию всем, вплоть до офицеров-наблюдателей и консультантов, они двинули ее против советской власти. В октябре Деникин занял Украину, взял Орел и уже подходил к Туле.

Владимир Ильич Ленин объявил лозунг: «Все на борьбу с Деникиным!»

В эти дни решающих сражений Антанта, чтобы помочь Деникину, бросила на Петроград корпус Юденича. Он подошел к самому городу. Шестая армия должна была отдать много сил на помощь Петрограду. Поэтому на Севере опять наступило временное затишье.

Но как только Деникин был разбит, Юденич выброшен в Эстонию, а остатки колчаковцев уничтожены, Се-

верному фронту была поставлена задача перейти в наступление и уничтожить миллеровские банды.

Партия, ЦК, Москва обеспечили войска Северного фронта всем необходимым. На Север пошли эшелоны с людьми, орудиями, боеприпасами, теплым обмундированием. На фронте появились бронепоезда. Началась подготовка к будущим решающим боям.

Рабочие Архангельска, понятно, не могли знать об этом. Но они знали, что советская власть помнит о них, и с нетерпением ждали Красную Армию. Они верили, что час освобождения близок, и эта вера давала им силы преодолевать голод, холод и болезни, свирепствовавшие в городе.

В одну из метельных январских ночей у Чеснокова в Соломбале, в мезонине деревянного домика, стоявшего неподалеку от канала, собрались большевики.

Окно было закрыто одеялом. Сидели при свечке. С Двины, потряхивая ветхую крышу, дул резкий ветер.

Чесноков передал товарищам сводку, полученную от Политотдела Шестой армии. Сведения были радостные.

— Еще месяц, товарищи, не больше. Шестая армия скоро закончит переформирование... И тогда...

Чесноков был, как всегда, спокоен. За последнее время он сильно страдал от цинги, болели ноги, он ходил с палкой.

— Об одном не забывайте, — говорил Чесноков товарищам. — Народ страсть как волнуется... Вот Потылихин считает, что судоремонтники не выдержат, снова выступят. Но это будет бесплодное выступление. Рано, товарищи. Напрасные жертвы! Надо учитывать момент. Помните, как Ильич выбирал время для Октябрьского восстания? Мы ведь не анархисты. Кровь рабочих и крестьян дороже самого дорогого. А сейчас Ларри завернул гайку, как говорится, на всю резьбу. Опять расстрелы пошли.

— Ты-то сам добегаешься! — сказал Потылихин. — Тебе совсем нельзя сейчас выходить на улицу. За тобой охотятся, я знаю.

— Я ничего... Мне не нужны никакие явки. — Чесноков весело улыбнулся. — Меня Архангельск укрывает. И портовики, и Соломбала, и на лесопильных. Сейчас нам необходимо подбодрить народ. Пускай головы не вешают. Унынию не поддаются. Сейчас надо копить

силы. Кто, как не пролетариат, будет подымать Архангельск из мерзости запустения?

Рядом с Шурочкой сидел огромный роста мужчина в потертой матросской шинельке. Его привел Потылин.

Жадно выслушав Чеснокова, новичок спросил:

— Неужто? Наверняка, что скоро?

— А ты думаешь, я баюшки-баю пою? — сурово сказал Чесноков. — Впустую, что ли, как нянька, утешаю? Чтобы и вы людям баюшки-баю напевали? Через месяц, полтора наши будут здесь. Так и говори ребятам!

...Когда все разошлись, Чесноков и Шурочка остались вдвоем. Базыкиной опасно было идти ночью через весь город. Но у Чеснокова была только одна койка. Он велел Шурочке ложиться спать.

— А ты?

— Я еще побуду тут часик, а потом пойду к меднику, рядом живет. Смелый парень, ничего не боится. Много у нас, Шурочка, замечательных людей, беззаветно преданных советской власти. Когда с ними сталкиваешься, еще сильнее хочется жить, бороться, идти вперед... Я чем жив? Людьми, ей-богу! От них и бодрость и силы. Вот возьми парня, что сидел рядом с тобой. Не смотри, что с виду прост. Это Блохин, грузчик... Вместе с нами в подполье.

Свеча догорела. Чесноков подошел к окну и снял одеяло. Лунный свет проник в комнату, казавшуюся теперь особенно холодной, жалкой, неудобной. Шура прилегла на койку.

— Легче шагай. Услышат внизу, Аркадий.

— Ничего. Там тоже свои, — ответил Чесноков и вдруг рассмеялся. — Я, знаешь, что вспомнил? Павлина! Ночью, как раз после выборов в Совет, на него налетели бандиты... Белогвардейцы, конечно! Он ехал по Петроградскому проспекту. Они с винтовками. А он их жалким пистолетишком разогнал. Эх, был боец! Жаль, что нет его с нами. А ты спи, Шура! Я еще посижу у окошечка... Помечтаю.

Он снова подошел к окну.

Необъятный северный город раскинулся под луной, будто выкованный из серебра. Ни одного огня. «Какая ширь!.. И точно все заколдовано, — думал Чесноков. — Ну, недолго, брат... Расколдуем!»

Пятого февраля 1920 года войскам Северного фронта было прочитано воззвание.

«Товарищи! Победы, одержанные Красной Армией на всех фронтах, открывают нам дорогу. Юденича нет. Колчак добит. Деникин влачит последние дни. Но еще не вся советская земля очищена от разбойников. Крестьяне Севера еще под ярмом чужеземцев-капиталистов.

Чужеземные войска, потерпев поражение, разбитые Красной Армией в боях на Северной Двине, поспешили оставить Архангельск, боясь народного гнева, народной мести. Поспешили они уйти еще и потому, что пролетариат Америки и Англии против интервенции, и хотя там нет вооруженной революционной борьбы, однако рабочие оказались способными повлиять на свои капиталистические правительства. Они выступают против интервенции.

Мы, по слову Ленина, выиграли тяжбу с международным капитализмом.

Остался Миллер и группа англо-американских офицеров. Выполняя волю капитала, они еще угнетают наш родной Север. На Севере мы должны победить также! Пусть от края и до края Советской страны развеваются красные знамена! Несите их к Белому морю. Столкните в море насильников, окончательно и навсегда освободите Север от ига чужеземцев и лакеев интервенции. Вас ждут архангельские рабочие, крестьяне. Вперед, товарищи! В Архангельск!»

Двум полкам дивизии Фролова была поставлена задача — наступать на главную, сильно укрепленную позицию противника, расположенную вдоль реки Шипилихи, по левому берегу Северной Двины. Валерий Сергунько командовал теперь батальоном одного из этих полков. Андрея и Жемчужного направили к нему в качестве политработников.

Бойцам пришлось преодолевать глубокие снега, рубить лес и на себе тащить орудия через тайгу. Мороз стоял ниже сорока градусов. Валерию не раз вспоминались бои за Шенкурск. Теперь он знал, как следует действовать в подобных обстоятельствах.

Оба полка подошли к Шипилихе и приготовились к атаке.

Когда стемнело, советские батареи, находившиеся на правом берегу Двины, начали обстрел противника. Огонь был ураганный. Артиллерийская подготовка оказалась настолько эффективной, что батальоны во время атаки не потеряли ни одного человека. Но противник отчаянно цеплялся за каждый рубеж. Ожесточенный бой за Шипилиху длился ровно пять суток. В конце концов миллеровцы откатились.

...Батальон Валерия перед новым боем расположился в лесу, неподалеку от деревни Звоз. Ночевали на снегу, не зажигая огня.

Ночью вернулась Люба с разведчиками.

Андрей первым встретил ее и прямо по снежной целине повел в лесную чащу, к развалившейся сторожке, где сидели Жемчужный и Валерий.

— Ну, как там? У миллеровцев-то?.. — по дороге спрашивал Андрей Любашу.

— Да квелые совсем, — устало ответила она. — Я, между прочим, прошла середь них вроде как привидение. Не заметили даже! Ошалели, видать, прах их возьми! — Люба сбросила рукавицы и белый маскировочный халат. — Замерзла.

— Скоро погреемся! — весело сказал Андрей. — Сейчас начнет артиллерия. Решено ударить сегодня же под утро, чтобы противник не успел окопаться.

Андрей был в полушубке, туго перетянутом ремнем, ушанка спускалась на брови, и это придавало ему строгий, мужественный вид.

— Ты вот что, комиссар, — словно невзначай сказала Люба, — ты уж не выпяливайся, пожалуйста. Держись! А то норовишь впереди всех. Славу зарабатываешь?

— Дурочка, — мягко сказал Латкин.

— Да ведь я почему говорю, — оправдывалась Люба. — Бог тебя прости, ты какой-то... Что с тобой стрясется, никогда не чаешь... Тоска меня гложет. Вдруг в последнем бою сгинешь навек.

Жадно, радостно глядела она, хватаясь за полушубок Андрея. Губы, брови, глаза, волосы, даже запах махорки, который она так не любила, — все в нем было дорого ей, потому что принадлежало ему.

— Солнышко мое, — тихо твердила она. — Ну, сделай, как прошу.

Андрей возмущился:

— Я делаю то, Люба, что должен делать! Ты пойми. Товарищи мои там, погибшие и живые. Кто же за них отомстит, если я за чужие спины буду прятаться?!

До утра оставалось недолго. С рассветом началась артиллерийская подготовка. Когда орудия перенесли огонь на вражеские тылы, батальоны, развернувшись в несколько цепей, пошли в атаку.

Андрей сам повел вторую цепь. Небо на востоке все больше светлело.

— Шагу! Не зимовать нам тут, — сказал он своим бойцам.

Впереди себя он увидел Валерия и Жемчужного, скакавших на лошадях. Они скрылись в низком березнячке. Вдруг захлестала пулеметная очередь. Засвистели пули. В поле навстречу атакующим двинулись еле заметные в утреннем тумане цепи врага. Над молодой березовой рощей рвалась шрапнель. Враг бил яростно, с каким-то злобным отчаянием. Из рощи вынеслась раненая лошадь Валерия и повалилась, уткнувшись мордой в сугроб.

Вражеские цепи нагло шли на сближение. Жемчужный, размахивая винтовкой и что-то крича, бежал впереди цепей своего батальона. Завязалась рукопашная схватка. Андрей повернул своих бойцов и повел их с таким расчетом, чтобы ударить по врагу с тыла.

В штыковой схватке Андрей наотмашь ударил прикладом офицера в каске. Тот застонал и, схватившись за голову, опрокинулся на снег. Цепь противника порвалась, солдаты бросились врассыпную.

Их приняли в штыки две роты Валерия. Вражеские солдаты побежали к лесу, надеясь там найти спасение. Но в лесу стоял третий батальон. Встреченные пулеметным огнем, миллеровцы кинулись назад. Но здесь их смяли, как блин между ладонями.

Взошло солнце. В пылу боя Андрей не заметил, что у него ранена правая рука. Сбросив мокрую от крови варежку, он погрузил руку в чистый холодный снег, потом вынул из кармана бинт и перевязался.

На окраине деревни, у гумна, по дороге в лазарет, Андрей нашел Валерия и Жемчужного.

— Где Люба? — беспокойно оглядываясь, будто надеясь увидеть ее здесь, спросил он Сергунько.

— С лыжниками! Преследует врага. С рукой-то что?
— Пустяк, думаю... Осколочек.
— Ну? Он хуже пули. А за Любу не тревожься... —
Валерий усмехнулся. — В Емецком повстречаешь.
— Да, еще денек, — торжествуя, сказал Жемчужный, — и зайдем Емецкое!
...Наступление бригады было стремительным и победоносным.

Насильно мобилизованные Миллером солдаты бунтовали. Теперь уже не только одиночки, но целые батальоны и полки переходили на сторону Красной Армии и затем сражались в ее рядах.

Разбежался Четвертый Северный полк. Солдаты его скрывались в лесных деревнях. Крестьяне не только давали им убежище и кормили, чем могли, но и провожали по лесным тропам к тем местам, где находились части Красной Армии.

Никакие меры не могли остановить начавшегося возмущения в войсках. Во многих полках действовали подпольные большевистские группы. Пламя восстания разгоралось.

Фронт Миллера разваливался и ломался, как гнилое, трухлявое дерево.

Несмотря на то, что местные газеты продолжали хранить упорное молчание, правда о событиях на фронте докатывалась и до Архангельска. Листовки Политотдела Шестой армии уже передавались из рук в руки. Люди прислушивались: не доносятся ли до города хотя бы отдаленные звуки боя? Но фронт был еще в ста двадцати верстах от Архангельска.

Миллер перебрался к подполковнику Ларри, в помещение контрразведки. В газетах было напечатано следующее обращение: «Граждане горожане, крестьяне, рабочие! Довольно слов, немедленно за дело! От министра до писца дружным общим подъемом ударим на большевиков и отразим их. Только не откладывайте, не собирайтесь долго. Господа члены правительства и земско-городского совещания, покажите пример, идите первыми, а мы за вами. Миллер».

Это обращение вызвало презрительный смех даже у самих миллеровцев.

Контрразведчики хватали матросов и рабочих, которые издевательски выкрикивали на пристанях: «Идите

первые!» Повторялись все ужасы кровавой весны прошлого года.

Но теперь расстрелы уже не могли никого устроить. На окраинах города, в Соломбале, Кузнечихе, на Быке и Бакарице ребяташки писали палками по чистому снегу: «Идите первые!»

На фабриках и заводах с часу на час ждали прихода Красной Армии. В рабочих казармах, хижинах и хибарках голодные женщины шили красные флаги. Казалось, что народ не выдержит, хлынет на улицы и попадет под пулеметы расставленных Ларри полицейских команд.

По городу круглые сутки ходили патрули.

Однако, несмотря на это, Потылихин и Чесноков появлялись всюду: в порту и в железнодорожных мастерских, в рабочих общежитиях Маймаксы и в Соломбале.

Последнее заседание подпольного комитета было назначено у Грекова. Хотя у хозяина и не было ничего, кроме квашеной капусты, он усадил гостей за стол.

— Мы накануне восстания, — говорил Чесноков. — Мы должны поднять рабочих при первой возможности. Ты, Максимыч, уже сейчас сговаривайся с людьми на заводах. В порту и на железной дороге тебе поможет Блохин. Базыкина поговорит кое с кем из интеллигенции.

— Мы встречаемся на Смольном Буяне? — спросил Потылихин.

— Да... — ответил Чесноков. — Передай всем, что теперь связь надо держать каждый день... Вся организация сегодня переходит на боевое положение. С телеграфом есть связь?

— Есть, — сказал Греков. — Там мой племянш работает.

— Все должны быть наготове...

— Слышал я, что миллеровцы собираются передать власть меньшевикам, — усмехаясь, проговорил Греков.

— Чепуха! — перебил его Чесноков. — Власть возьмет рабочий класс. Он хозяин. Через день-два у нас уже опять будут Советы...

Грузчики железной дороги забастовали так же внезапно, как и портовики. «Ни одного снаряда фронту!» — поклялись они. Почти в каждом рабочем контрразведка видела заговорщика-большевика. Но арестовать всех было невозможно, и подполковник Ларри, точно сознавая свое бессилие, отправился на фронт, в село Средь-Мехреньгу, ключевую позицию к местечку Емецкому.

В районе реки Мехреньги Хаджи-Мурат занимал одну деревню за другой. Ему оставалось пройти несколько верст, чтобы добраться до села Средь-Мехреньги. Конной атакой он опрокинул вражеские заставы, перерезал все пути и при помощи пехоты замкнул селение в кольцо.

Гарнизон Средь-Мехреньги, насчитывавший свыше полутора тысяч человек, подвергся осаде. Осажденные каждый день пытались прорваться, но безуспешно. Резерв, высланный из Емецкого, Хаджи-Мурат отбил. Ларри сидел в седле, проклиная ту минуту, когда он сюда приехал.

В селе в избах с выбитыми окнами стояли пулеметы. Когда начинались атаки, контрразведчики, которых Ларри поставил к этим пулеметам, открывали отчаянный огонь.

Но главное их назначение было иным. С помощью этих пулеметов Ларри поддерживал порядок. Хмурые, угрожающие лица солдат не внушали ему никакого доверия. Вместе с командиром полка Чубашком Ларри побаивался восстания.

Все в полку было накалено до предела.

Офицеры избегали появляться среди солдат. Всей жизнью полка ведали унтеры. Глухое недовольство нарастало и с каждым днем все больше грозило вырваться наружу.

Ларри и тут был бессилен. Команда белых контрразведчиков, которую он захватил с собой из Архангельска, конечно, не могла справиться с целым полком.

На десятый день осады солдаты второго батальона должны были сменить своих товарищей, сидевших в окопах переднего края. Рано утром солдаты, которым предстояло выйти на передовую, собрались перед заколоченной церковью. Офицеров еще не было.

В толпе раздавались возгласы:

— Чего там! Так и заявим... Долой окопы! Не ходить — и все!

На паперть, по которой вился снежок, выскочил унтер Скребин, здоровенный, сильный детина, запевала и вожак батальона.

— Ребята! — кричал он на всю площадь. — Когда же, если не сегодня? Которые робкие души, отстраняйся в сторонку напрочь. А мы начнем! Силой зата-

щили нас на эту псарню! За что погибать? Братья придут, спросят: «А ты что делал, когда мы кровь проливали? Покорялся?» Да ведь холодный пот прошибет, волосья станут дыбом. Подумайте только... Вы крестьянские сыны! Не дети малые. Да ребенок, и тот, как из брюха вылез, уже орет благим матом. Что, у нас голосу нет? Винтовок нет?

Скребин вдруг почувствовал около себя какое-то движение, услышал громкие голоса.

Рассекая толпу плечом, к паперти шел полковой командир Чубашок. За ним следовал Ларри.

Американец набросился на унтера:

— Ты что кричишь?

— Не твое свиньячье дело! — побледнев от злости, ответил Скребин.

Ларри вытащил свисток, но, прежде чем его тревожная трель разнеслась по морозному воздуху, унтер-офицер ударил американца прикладом в плечо. Ларри, отлетев к ограде, лихорадочно расстегивал кобуру пистолета.

— Не зевай, ребята! — скомандовал Скребин. — В штыки его!

Солдаты с криками набросились на американца.

Чубашок был тоже схвачен. Трупы убитых были оставлены на площади.

В тот же день, арестовав остальных офицеров, полк перешел к Хаджи-Мурату.

Только что кончился бой. Снег вокруг железнодорожного пути почернел. Всюду валялись куски рваного металла. Бронепоезда «Красный моряк» и «Зенитка» вдребезги искрошили бронепоезд миллеровцев. Сейчас пути освобождали от стального лома. К станции Холмогорской вели пленных.

Вдоль путей горели костры. Возле них, не выпуская из рук оружия, кучками сидели красноармейцы и матросы.

У костров пели:

Мундир английский,
Погон французский,
Табак японский,
Правитель омский.
Мундир сносился,
Погон свалился,
Табак скурился,
Правитель смылся.

«Правитель омский» недавно был расстрелян в Иркутске.

Штабной поезд стоял за бронепоездами.

Выйдя из вагона, Фролов и Гринева пошли по дорожке, тянувшейся вдоль путей. Анна Николаевна только что приехала из Вологды.

С волнением говорила она о речи Ленина на VII съезде Советов:

— Если бы ты видел, Павел Игнатьевич, какая поднялась буря, когда Ильич сказал: «Желал бы я посмотреть, как эти господа, Вильсон и прочие, осуществят свои новые мечты... Попробуйте, господа!..» Столько уверенности было в этом: «Попробуйте, господа!»

Лицо комиссара пошло морщинками, в глазах появились лукавые искры.

— Ильич скажет!

Любаша спала в сарае, по своей привычке зарывшись с головой в сено. Сквозь щели в дощатой стене проникал слабый, словно затухавший от беспрепятного пробегавших тучек свет месяца. От сена пахло терпко и пряно, как от преюющих листьев в осеннем лесу.

Проснувшись, Люба долго лежала с открытыми глазами и слушала, как в дальнем поле истошно выли волки. Она думала о старике Тихоне: «Где же он? Где мой батя?»

В сарай вошел Андрей.

— Не спишь, Любаша? — спросил он.

— Нет! Залезай сюда... — улыбаясь, ответила она. — Да дверь-то закрывай. Не лето.

Андрей подошел к двери. Кругом лежали глубокие снега. На высокой, крутой горе, издали казавшейся неприступной, виднелось темное село Усть-Мехреньга.

Над землей ярче других звезд пылала Полярная звезда. Глядя на небо, Андрей вспомнил Северную Аврору, слова Николая Платоновича о прекрасном будущем, стоящий вой беломорской метели, окрики караульных... В памяти его сами собой возникли слова «Мудьюжанки», которую он пел когда-то вместе с Базыкиным.

Захлопнув дверь сарая, Андрей подсел к Любе.

— Хочешь, Любаша, — тихо сказал он, — я спою тебе песню, которую мы пели на Мудьюге?

— Спой, — так же тихо ответила Люба.

И Андрей запел негромким, хриповатым голосом, видя себя снова на острове смерти, рядом с Базыкиным, Егоровым, Маринкиным, Жемчужным:

«О чем, товарищ, думаешь, поникнувши челом,
Какая дума черная и тяжкая, о чем?»

«Ты хочешь знать, что думаю? Изволь, мой друг, скажу:
О лучших днях, минувших днях я горестно тужу!

Я вспомнил дни счастливые: как веял красный флаг,
Рабочий был правителем, крестьянин и батрак.
Но враг пришел, стоит палач, решетка у окна,
На острове, на северном, мудьюгская тюрьма.

Явился «союзники» под ручку с богачом,
Свобода в грязь затоптана под ихним каблуком,
Царят вильсоны, черчилли, в работе штык, приклад...
Скажи теперь, что делать нам? Что делать, друг и брат?»

«Что делать? Дело ясное, не поддавайся, брат,
Не сгнет революция, навек ее набат.
Придет пора, друг милый мой, восстание начнем
И с палачами родины расчет произведем!

Не вешай, друг мой, голову! Былые дни придут,
И наши зори алые тюрьму эту сожгут,
Растопит наша ненависть мудьюгские снега,
К оружию, к оружию, к оружию, друзья!..»

Некоторое время они сидели молча.

«Теперь все это далеко... Все позади», — подумал Андрей.

— Хорошая песня, — задумчиво сказала Люба. — А пулеметы перетащили? — вдруг спросила она уже другим, деловитым тоном.

— Перетащили, — ответил Андрей. — Скоро начнем. Я за тобой пришел.

Люба выбралась из сена, отряхнулась и стала переобуваться.

— Сейчас смотрели с Валерием карту, — сказал Андрей. — Наш маршрут: Сия, Холмогоры... и Архангельск... Заветный Архангельск!..

Когда они вышли из сарая, в ночное небо врезалась ракета, издали похожая на звезду.

— Ну, Дзарахов начал, — торопливо сказал Андрей. — Сигнализирует! Пошли скорее, Любаша.

Бронепоезда мчались вперед. В пятнадцати верстах позади от них двигался штабной поезд дивизии.

Первым, открывая путь, мчался «Красный моряк». Гремела броня. Вдрагивали бронеплощадки, зажимая между собой бронированный паровоз. В головной батарее Жилин беседовал с артиллеристами. Драницын, сидя на пустом снарядном ящике, писал письмо Леле, оставшейся в Шенкурске из-за внезапно открывшегося легочного процесса:

...Обидно, что тебя нет с нами, но со здоровьем шутить нельзя. Знаешь, Леля, никогда в жизни я не переживал такого боевого подъема, как нынче. Впервые на бронепоездах! Специально выпросился, чтобы на практике посмотреть, что это такое. Прекрасно работают во взаимодействии с пехотой и конницей. Жаль только, что ограничены рельсами... Вчера на одном из перегонов видел Фролова. Он просил передать тебе самый нежный привет. Архангельск! Если бы ты знала, родная моя, как много для меня в этом слове! Я вспоминаю, каким я был два года назад, когда Фролов взял меня в свой отряд железной защиты. Тогда многие, в том числе и сам Фролов, посматривали на меня косо. А теперь все зовут «товарищ Драницын»... Да, родная, пути господни, как говорили до 1917 года, неисповедимы. Я знаю только одно: сердце каждого из нас полно гордости тем, что одержана большая, серьезная победа, что пресловутым «четырнадцати державам» мы утерли нос, что... Этих «что» невероятно много, потом допишу. Будут ли еще бои? Сомневаюсь. Не только этого жалкого Миллера, у которого все трещит по швам, но и самого мощного врага мы сейчас стерли бы с лица земли. Я хочу, чтобы ты готовилась к отъезду в Архангельск. Мы займем его на днях. Пропагандисты там потребуются сразу же, а их очень мало!..

Бронепоезд замедлил ход и остановился. Драницын посмотрел на Жилина и, увидев его обеспокоенные глаза, вскочил.

— Что такое?

Моряк пожал плечами и молча через дверь бронированного вагона прыгнул на полотно железной дороги. Драницын последовал за ним.

По сумрачному небу слоились густые тучи, и хотя шел только третий час, но было так темно, что Драни-

цын не мог понять, что чернеет вдали, преграждая поезд путь.

Наблюдатель, оторвавшись от бинокля, крикнул:

— Да это народ, товарищи! С красными флагами!

Бойцы повыскакивали с бронеплощадок. Открылись люки в башнях.

— Нас встречают,— сказал Жилин Драницыну, взявшему бинокль.

На лице чернобородого моряка появилась улыбка.

— Построиться, товарищи! — крикнул он строже, чем обычно. — Отрапортуем, как полагается, его величеству народу.

По железнодорожному полотну и просто по снежному полю торопливо шли мужчины, женщины, дети, старики. В толпе крестьян, спешивших к бронепоезду, слышались возгласы. Впереди опрометью неслись мальчишки. По зимнику, проложенному вдоль полотна, катились розвальни. В некоторые из них были впряжены олени. Чем ближе толпа подходила к бронепоезду, тем сильнее овладевало ею чувство восторга.

Впереди всех бежал крестьянин в коричневом армяке с длинными рукавами, которые он все время на бегу подбирал. За ним спешила молодуха в тулупе и серых валенках. «Ура-а!» — кричали мальчишки. Точно наперегонки, бежали девушки и парни. Опережая всех, выскочил мужичонка в ушастой шапке, в лаптях, с кнутом в руке. Из-под шубенок и ватных кофт пестрели ситцевые разноцветные юбки женщин.

— Родимые... Желанные... Пришли!

Жилин и Драницын видели блестящие и широко раскрытые, увлажненные радостью глаза девушек, трясущиеся бороды мужиков, раскрасневшиеся от волнения и бега щеки парней. Выстроившиеся по приказу Жилина бойцы не выдержали и бросились навстречу крестьянам.

— Ура!.. — кричали они, бросая в воздух папахи.

— Болезный мой, сыночек мой! — причитала сухонькая старушонка.

На ее вспухших, покрасневших веках дрожали слезы, она тянулась к Драницыну посиневшими губами и, расплакавшись, упала ему на руки.

За ее спиной стоял тощий, длинный старец. Ветер трепал его седые, спускавшиеся почти до плеч кудри. Он крестился и приговаривал:

— Богу слава! Ныне и во веки веков.

— Тут, почитай, с четырех деревень народ... Обществом вышли, — рассказывал один из крестьян, одетый в нагольный тулуп, с берданкой за плечом.

— Не боялись? — спросил его Жилин.

— А чего? — Крестьянин засмеялся. — Конечно, звюга огрызается, когда дохнет. Да мы его, как только преклонил колена, стукалом по башке. Бежит миллеровщина! У нас уже своя, народная власть. Советы!

— Как жили?

— Эх!.. — прошамкал старец. — Ребята — в партизаны, а мы, убогие, погибли, ночь постигла. Совсем бы исчахли, родимый... Да ребята все баяли: «Терпи, идет с Москвы выручка...»

Крестьянин, улыбаясь, смотрел на старца.

— дождался, дед?

— Добро, Мартьяныч! Слава господу.

— А вы не из партизан? — спросил Драницын крестьянина. Тот осклабился.

— Партизаны... Вы, случаем, не знаете, где Макин Яков? Давно что-то след его затеряли.

— Жив! Весь его отряд в один из наших полков влился. Сразу после взятия Шенкурска. А что, знакомый?

— Свояк бабушке, да по душе родня, — пошутил партизан.

К бронепоезду подъехали розвальни. Женщины привезли бойцам угощение: мороженое молоко, рыбу, картофельные пироги.

Крестьяне сообщили Жилину, что в нескольких верстах отсюда удирающие миллеровцы подорвали путь. Мужики вызвались на работу. В обозе у них уже припасены были топоры, пилы, лопаты.

— Помогать пришли, — говорили крестьяне. — Бейте сукиных детей в хвост и гриву.

Через час путь был восстановлен. Бронепоезд двинулся дальше.

3

Ледокол «Минин» стоял на рейде. От него к устью Двины тянулась черная дорожка, пробитая среди льдов. Свиристельствовала стужа. Тяжелый морской буксир поддерживал фарватер, быстро покрывавшийся ледяной корой. Днем и ночью он ломал и раздвигал льдины.

На кормовой и носовой палубе «Минина» стояли возле пулеметов иностранные солдаты. Это были остатки иноземного корпуса. Они смертельно мерзли в своих шинелишках. Вместо команды на ледоколе работали белогвардейские морские офицеры.

Миллер, объявив себя диктатором, поселился на «Минине».

Отопление на ледоколе не действовало, офицеры не умели его наладить. Железные массивные борта парохода источали холод, стенки кают покрылись изморозью, иллюминаторы замерзли, к медным ручкам дверей опасно было притронуться голой рукой.

Но страшней всего были, конечно, вести с фронта.

По словам полковника Брагина, явившегося к Миллеру с докладом, один полк за другим переходил к большевикам, а крестьяне бунтовали.

Выслушав доклад, диктатор закричал, что не хочет оставаться у власти и готов передать ее кому угодно, хоть меньшевикам.

— Хорошо, ваше превосходительство, — пролепетал Брагин. — А как же мы?

— Ничего не знаю.

— Армия...

— Какая армия?! — рявкнул Миллер.

Иностранные офицеры сами притащили на ледокол свои чемоданы и жаловались Миллеру, что в городе беспорядок, нет даже носильщиков.

— В квартирах осталось много ценных вещей, нет возможности вынести. Хорошо, что хоть сами выбрались живьем. Жители кричали: «Хватит, награбили!» Что у вас грабить? Вы только подумайте, какая наглость!..

По улицам Архангельска ходили толпы народа с красными флагами.

Процессия рабочих, возглавляемая Чесноковым, Потылихиным, Грековым, с пением «Интернационала» подошла к тюрьме и взломала ворота. Охрана не оказала никакого сопротивления.

— Отворяй камеры! — кричали рабочие. — Где политические? Политических выпускай!

Тюремный двор быстро наполнился людьми. Испуганные надзиратели бегали с ключами по каменным коридорам и отпирали камеры.

Тюрьма шумела.

Истощенные, измученные люди, многие еще со следами тяжких побоев, увидев Чеснокова, кидались к нему!

— Аркадий! Спасибо!.. Что такое? Восстание? Все кончилось?

— Скоро кончится, товарищи! Выходите поскорее. Одевайтесь! Приветствую вас от имени рабочих и крестьян... С освобождением!..

— Вещи давайте! — кричали заключенные надзирателям.

Потылихина окружили освобожденные моряки, портовые служащие, рабочие.

— Максимыч! Родной! Красная Армия пришла?

— Подходит, ребята.

— Жизнь! Воля! Братцы!.. — Кто-то заплакал от радости.

Базыкина побежала в женские камеры.

— К нам, товарищи, к нам!

Со двора доносилась победная, торжествующая песня!

Вставай, поднимайся, рабочий народ,
Иди на врага, люд голодный...

— Товарищи, настал час мести! Не расходиться, товарищи!.. — кричал в коридоре неимоверно худой человек с зеленым, как трава, лицом.

— Где Силин Дементий? — спросил Греков у одного из надзирателей.

— В одиночке.

— Открой!

Когда дверь одиночки отворилась, в нос ударил удушливый, смрадный запах гниения.

На голых нарах, покрытый истлевшим тряпьем, лежал человек. Под головой у него вместо подушки была скомканная, грязная рогожа. В этом изможденном существе, вернее говоря — в этом подобии человека, Греков с трудом узнал никогда не унывавшего балагура, старика Дементия Силина.

— Свобода, Дементий! Вставай! — крикнул он.

— Что такое? — еле слышно прошептал Силин.

— Вставай! Освобождаем тюрьму! Да что с тобой?

— Я не могу идти.

Он задышался. От напряжения лицо его покрылось крупными каплями пота.

— Аркадия искали. Выбить из меня хотели, где он. Сперва ломали ноги и руки... Потом били. «Живой труп сделаем, выдашь!» А я боялся с ума сойти... Просил расстрелять...

— Погоди, Дементий, погоди, родной! Не утруждай себя. Сейчас вызову людей с носилками, отправим тебя в больницу...

Потрясенный всем виденным, Греков побежал в тюремную канцелярию. В дверях стоял бледный, взволнованный Чесноков.

— Ужас! — сказал он. — Камера набита трупами, Штабелями, как бревна. В последний день... Массовый расстрел... Волосы дыбом становятся.

По Троицкому проспекту медленно двигалась толпа. Гремел «Интернационал». Реяли красные флаги. Незнакомые люди обнимали друг друга, плакали и поздравляли с освобождением от чужеземного ига.

Казалось, что никто не думает сейчас ни о чем, люди ликуют и трудно заниматься делом. Но группы вооруженных рабочих уже становились возле складов, занимали здание штаба, банк, телеграф, захватывали грузовики. Руководил этими группами Чесноков.

Миллер удрал внезапно, ночью, скрываясь от всех, так же как Айронсайд. Впереди шел «Минин», а за ним яхта «Ярославна», набитая штабниками и архангельской буржуазией. На обоих судах огни были потушены. Молодые рабочие Соломбалы выбежали на берег и дали несколько залпов по ледоколу, ворочавшему льды в полуверсте от них. Но задержать ледокол не было возможности. И Архангельск уже сообщал в эфир о событиях...

Той же ночью радисты Шестой армии приняли сообщение: в Архангельске восстали рабочие. Миллер бежал.

Бронепоезда и штабной состав стояли у платформы станции Тундра, вблизи от Архангельска. Фролов получил известие о том, что вскоре некоторые части во главе с их командирами и политработниками будут отправлены на юг добивать Деникина. В одну из армий Южного фронта назначались Фролов и Драницын. Валерия

Сергунько командование посылало в Москву на военные курсы. Андрей вследствие серьезного ранения правой руки возвращался в университет. Вместе с ним уезжала и Люба.

...Возле сторожевых постов ярко горели костры. Андрей с Любой шли по снежной дороге. Поравнявшись с баракком, в котором он жил вместе с Матвеем Жемчужным, Андрей стал рассказывать, что здесь было летом, но Люба слушала его рассеянно.

— О чем ты думаешь? — спросил ее Андрей.

— Боязно, — ответила она. — Не хочу с тобой в Питер. Придут образованные, а я замычу, как корова. Нет уж! Видать, песня кончилась! Ветер повенчал нас на Онеге. Ну и славно! А теперь прощай, ракита. Не для меня Питер. Здесь останусь... Либо упрошу Павла Игнатьевича взять с собой... Прощай, дружок мой ясный! Плохого не желаю. Хочу, чтобы у меня с тобой только хорошее было... Помни навек Любку.

— Да ты что выдумываешь? — взволнованно заговорил Андрей. — Ведь решила, кажется? И вдруг извольте!

— Нет уж! Избави бог цепляться. Нет уж! — твердила Люба. — Батю еще надобно поискать... Где-то он мается?

Андрей взял Любу за руку.

— Люба, нет нашего бати... Погиб! Палач... Флеминг... убил его.

— Как это убил?.. — сказала она. — Не понимаю.

Это известие настолько не укладывалось в ее мозгу, что она приняла его почти спокойно.

— А где же могилка? — прошептала она, почувствовав наконец, что это правда.

— Какая там могилка! — Андрей махнул рукой. — Вчера из разведотдела сообщили. Восстание было в Арсентьевской...

Любаша вдруг бросилась прямо на снег и закрычала:

— Батя, на кого же ты меня покинул? Родной мой! Красавец мой! Ах, зачем ты потерял свою буйную головушку! Сиротой мне горе-горевать... Что ты сделал, мой желанный!..

— Опомнись!.. — говорил Андрей, поднимая Любу. — Пойдем в вагон. Мне так же горько, как тебе. Пойдем. Успокойся. Ну что за вопли? Некрасиво.

В вагоне Люба действительно немного успокоилась. Андрей сидел рядом с ней на лавке. Лицо у Любы было такое, словно она спала с открытыми глазами.

— Эх, батя, батя! — сказала она. — Верно баял: «Вспомнишь, озорница!» Так и не пожил на покое... — Вдруг она встала с лавки, одернула гимнастерку, ту же затянула пояс. — Ладно, Андрейка! Едем! Попробую. Чем я хуже других? Авось чему-нибудь научусь.

Переход, как всегда, был самый неожиданный. Андрей крепко расцеловал Любу.

— Вот и хорошо! А я тебе помогу. Ты способная.

— Уж этого я не знаю. А характером возьму! Собиралась я еще из Вологды в Питер ехать... Прислугой хотела работать. Девчонкой совсем была. Купила три аршина кисеи по четвертаку за аршин. Еще при старом режиме. Сшила платье сама... Радовалась... А на следующий день его украли. Так и не поехала. А ты, Андрейка, любить меня будешь? Ну, смотри! Ах, батя, батя!.. Что бы он мне посоветовал?

— То же, что и я, — сказал Андрей. — Павлин Федорович как-то раз сказал мне: «Надо строить наш, советский университет».

В вагон вошел матрос Соколов.

— За нами? — спросил Андрей. — Сейчас идем.

В купе у Фролова собрались все командиры. Драницын показывал только что полученную телеграмму от Лели.

— Чувствует себя хорошо. Едет сюда. Значит, теперь вместе с ней на Южный фронт.

Матрос принес кипятку, заварил чай.

— Разлетаются мои соколы, — с грустью проговорил Фролов, глядя на Андрея и Валерия. — А помнишь, Андрей, каким ты пришел к нам в казармы, на Фонтанку?..

— Чижиком! — с обычным лукавством добавил Валерий.

Все рассмеялись. Андрей тоже.

— Ну что ж! — сказал Фролов. — Зато уходишь комиссаром. Дорога перед тобой открыта, Андрей.

— Постараюсь, Павел Игнатьевич, пройти ее как комиссар!

За ужином Фролов рассказал Любе, что командование решило представить старика Нестерова посмертно к ордену Красного Знамени.

— Настоящий русский человек был твой батя...

На следующий день войска Шестой армии с музыкой и знаменами входили в Архангельск. Весь город был расцвечен красными флагами. Шумные толпы встречали бойцов. Несмолкаемое «ура» гремело над городом. Приветственные возгласы бойцов смешивались с кликами восторженно встречавших Красную Армию архангельцев.

— Да здравствует советская власть! Да здравствует Красная Армия!.. Ленин!.. Ур-ра!.. Спасибо, товарищи!.. Родные, здравствуйте!.. Ура-а!.. Да здравствуют навеки и нерушимо Советы! Спасибо Ленину!.. Ура!..

Рабочие и служащие порта вышли на набережную. Блохи, в распахнутой шинели, без шапки, целовался с бойцами и кричал:

— Наша взяла! Угвоздили бандитов! Молодцы! Привет от портовиков!

На Соборной площади вокруг трибуны выстроились сотни знамен. От Троицкого проспекта и до набережной Двины бушевало народное море.

На трибуне стояли представители армии, в том числе Гринева и Фролов, рабочие от заводов Маймаксы и Соломбалы.

Архангельцы впервые после 1918 года видели Красную Армию. Сверкающие штыки, тяжелые пушки, стройные ряды солдат в ладных, исправных шинелях, иные в ватниках и даже в полушубках и папахах... Это была именно та армия, которую жаждал видеть народ, — дисциплинированная, сильная, победоносная.

Валерий и Андрей шли рядом, шагах в трех впереди своего батальона. Бородин на гнедой лошади объезжал колошну, тихо приказывая командирам:

— Шагу, шагу!

Увидев Андрея и Валерия, он забрал повод, осаживая гарцевавшую под ним лошадь, подмигнул приятелям из-под козырька фуражки: дескать, знай наших — и, дав лошади шенкеля, помчался к голове полка, к знаменосцам.

Общее настроение сразу передалось Валерию и Андрею. Глаза застлал туман. Сердце билось учащенно. Хотелось выскочить из строя, броситься к наводнившим улицы людям, веселиться и ликовать вместе с ними.

Торжественно пели трубы военных оркестров.

На крышах, занесенных снегом, сидели мальчишки,

— Ур-ра!.. — кричали они.

— Андрюша! — вдруг вырвался из толпы женский крик.

Латкин оглянулся по сторонам. Но его окружали сотни улыбающихся лиц. Сотни рук тянулись к нему отовсюду.

Навстречу красноармейцам выбежала женщина в косылке и, обняв Андрея одной рукой, пошла с ним рядом.

— Шурочка... милая!.. Вот мы и встретились, — ласково проговорил Андрей. — Какое счастье, Шурочка!..

Шурочка плакала и смеялась в одно и то же время. Крупные слезы текли по ее улыбающемуся лицу, и она вытирала их покрасневшими на морозе пальцами.

— А где же Матвей? — беспокойно спросила она о Жемчужном.

— На Пинеге. Вместе с батальоном, — ответил Латкин.

Не доходя до площади, где должен был состояться парад, Шурочка простилась с Андреем, взяв с него слово, что сегодня же вечером он придет к ней вместе с Любой.

На митинге выступал Чесноков. Он снял свою рыжую помятую шляпу, вцепился пальцами в барьер трибуны. Голос его звучал твердо и сильно:

— Прошли страшные, кровавые времена. Почти двадцать месяцев властвовали здесь интервенты — американцы, англичане... Советские люди увидели по-настоящему лицо этих претендентов на мировое господство. Нас угнетали, мучали, грабили, расстреливали, убивали голодом!

Чесноков взмахнул рукой.

— Лучшие люди, драгоценные наши люди погибли. Вечная слава, вечная память героям! Народ их не забудет никогда.

Голос у него задрожал, пальцы еще крепче вцепились в барьер.

— Угрозами, обманом, запугиванием интервенты хотели перетащить наш народ, рабочих и крестьян, на свою сторону. Ничего не вышло. Страшное бедствие обрушилось на нашу голову. Но рабочие массы стойко вынесли его. Они отстаивали социализм! Они боролись за мир, за международную солидарность пролетариата... Понимали, что делают это не только для себя, но и для

всего человечества! Вот почему народ остался с большевиками.

— Верр-на-а!.. — крикнули в толпе.

— Народ сопротивлялся, — продолжал Чесноков. — Империалисты не смогли заставить трудящихся Севера ни воевать, ни работать. Даже массовые расстрелы не могли устроить советских людей. Недавно товарищ Ленин сказал, что Англия и Америка дико зарвались... Как в свое время германский империализм... Раздулся на три четверти Европы, разжирел, а потом тут же лопнул, распространяя зловоние. По этой же дорожке мчится англо-американский империализм. Но и его постигнет та же судьба. Светлое будущее ждет нас, товарищи! Слава нашей партии большевиков, слава Красной Армии и Красному Флоту!

В торжественной тишине слушали Чеснокова войска.

Потылихин стоял рядом с Грековым у трибуны, глядел на взволнованное лицо Чеснокова и так же волновался, как и тот.

Чувства иногда так сильны, что требуют лишь одного — короткого, но всеобъемлющего слова. Это счастье. Оно было в сердцах у всех. Архангельск ликовал. И некоторые даже плакали от радости, глядя на батальоны, стоявшие в центре большой прямоугольной площади под багряными знаменами. Они развевались, подхлестываемые вечным ветром с огромных заснеженных просторов Северной Двины.

— Я скажу то же, что все говорят сегодня на улицах Архангельска! — воскликнул Чесноков. — Спасибо Ленину!

Его слова были подхвачены, по площади пронесся одобрителный гул многотысячной толпы, и грянуло громкое красноармейское «ура».

Это было 21 февраля 1920 года.

1947—1950



Р А С С К А З Ы



В О С П О М И Н А Н И Я



СУРОВЫЙ ДЕНЬ

Необыкновенное утро. Страшная потеря. Гляжу в окно и не могу понять: верно ли? Кажется мне, что если бы это действительно было, действительно произошло, в реальности — неужели бы не упали дома, улицы должны бы застыть в печали. Этот город-любимец, откуда всегда шла революция, еще ничего не знает, молчит, живет, судачит, быть может, о втором японском землетрясении и двадцати двух пострадавших городах; идут классические молочницы, веет снег, десятый час утра — выходят лениво из-под ворот закутанные в тулупы дворники, тихо, спокойно, когда должны бы «раздирать завесы».

Еще никто ничего не знает... Нет, нет, завтра полмира будет наполнено скорбью.

Смерть потрясет весь мир, весь, весь, расколотый на две сферы, — одна злобно загогочет, завоет, захлещет, другая обленется в глубокий траур. Эта смерть — рана, нанесенная человечеству. Весь мир будет говорить только об его смерти... Только — *он, он, он...* Мы не прочитаем другого имени ни в одной из газет мира, все мысли, все то, что думает в мире, остановится только на нем; тысячи газет, сотни книг во всех углах мира, от Вальпарайзо до Гвинеи, от Мценска до Югор, все столицы, материки, острова, поезда, корабли, маяки, морские дома, театры, гостиницы, клубы, заводы, мастерские, шахты, рудники, поля, леса, реки, моря, джентльмены и пролетарии — каждый на своем языке, наречии, жаргоне расскажут только о нем, ибо он задал человечеству гениальнейшую тему — разрешится она лишь битвами, где его имя — вечное пылающее знамя.

День 21 января — день смерти Герцена. Нынче к этому дню прибавилась еще новая горькая дата.

Герцен — враг жандармов, царя, деспотий, той тошной «сверкающей эполетами машины, которая свертывала в дугу народ». Герцен — это вольный печатный станок, «взрывший в девятнадцатом веке ту почву, что в двадцатом столетии стала полем борьбы». Герцен — это ненависть изгнанника. Ленин — радость борца, делающего революцию *руками*. Между ними, конечно, разница времени, каждому свое. Герцен хотел быть мстителем. Но он не мог отомстить.

«Мальчиком, 14 лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии, и тут, перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить казненных и обрекал себя на борьбу с этим тронем, с этим алтарем, с этими пушками. Я не отомстил: гвардия и трон, алтарь и пушки — все осталось».

Так Герцен писал в «Былом и думах» о казни декабристов Николаем.

Герцен жил и умер, когда империя торжествовала. Он не мог отомстить. Революция Ленина ниспровергла империю. Ушла и гвардия, и трон, и алтарь, и пушки. Ленин — это какие-то необычайные руки, которые в удовольствии своем хотят все переставить, переустроить, переместить или разрушить, чтобы выстроить новое. Всегда готовые к работе руки, тянувшиеся не только к

России, но ко всему миру. И этот мир он держал в руках.

Нынче летом в английских и немецких портах, куда стекаются моряки всех наций, мне самому пришлось убедиться в том, какой огромной славой расплеснулось имя Ленина. Оно — как океан среди суши. Оно велико потому, что о нем знает последний рикша из Бомбея, у которого все существование сведено к нескольким сентам, чтобы только опьяниться бетелем.

Интересно, что в своих разговорах о Ленине люди каждой национальности проявили себя по-своему.

Англичане спрашивали меня так: «Правда, что Ленин хочет уничтожить деньги?»

Британец — экономен, практичен, ясен, деловит.

Француз — другое. Он бредит своим славным прошлым — якобинцами, Коммуной; в разговоре иной раз кажется, что революция для него вроде театра.

Французы говорили (это было летом двадцать третьего года, во время болезни Ленина): «Вы должны зорко следить, чтобы его не отравили аристократы».

Немцы: «Дайте нам хотя бы одну четверть Ленина, и мы сделаем революцию невиданную».

Португальцы, креолы, негры, встречаясь с моряками советского судна, приветствовали всегда одинаково: «Да здравствует Ленин!»

И вот нынче наши флаги обшиты трауром. Чужие миссии, делегации тоже приспустили свои флаги. И на морях — на каботажных судах, в проливах, на океанах, на судах дальнего плавания, — во всем мире, во всех градусах широты и долготы, на каждом судне в каютке верхней палубы — спардека, где стоит радиоприемник, получена траурная радиogramма. Отсюда, с питерского закоулка, я вижу, как в матросских кубриках блуждающих по водам кораблей идут, идут разговоры. Эта печаль, как морская соль на железе, съедает сердце.

Много было сказано слов, еще больше будет сказано теперь, тысячи книг о нем еще наполнят века — имя, не сходящее с уст из века в век, все — в будущее. И только ли до России тут, когда он огромен, — захватил весь мир, держит его. Я не умею говорить о России, когда вспоминаю о нем, потому что он думал не о России только, а о мире. Много ли людей, которым дано право

разговаривать с миром? Он был один из этих немногих. Он — простой, земной, маленького роста человек — никак не укладывается в нашем воображении. Для народов, для сознания — это гигант, огромный рост, герой. Для мира, для людей, для простого человеческого сознания он, в эти шесть лет встряхнувший землю точно куриное яйцо, давно уже потерял земную оболочку *просто человека*. Он был — идея, начало, образ, — огромен. Нынче страшатся многие, потому что видят — физическая смерть действительно страшна — не откроются умные глаза, — но страшатся напрасно. Не умрет образ — этого не победишь. Разве не почувствовали мы, как в этой великой смерти родилась новая любовь, это — феникс из пепла, скорбь объединяет...

Когда провинциальная аристократка убила Марата — раздался крик по улицам смятенного Парижа: «Что мы будем делать? Нет нашего защитника. Нет друга народа».

Я верю, что нынче в копиях Уэльса, Донбасса, в манчестерских мануфактурах, в шахтах Вестфалии, в Питере, Москве, на Урале и в Руре, в Бирмингеме, на приисках Сибири, Клондайке, в Австралии — всюду, где живет рабочий Востока и Запада, — в заводы, в копи, в дома пришла печаль. Мы слышим плач на Востоке. Но мы услышим и с Запада плач.

Революция у нас — шаг революции мира, и на пути ее так много было потерь, поражений, так много великих побед, но стольких слез, как нынче, не будет никогда.

Умер Ленин. Но не умер его образ. Живет его мысль. И чем больше печали, чем тяжелей гнев, тем сильнее страсть. Ленин — это большая страсть, воля, умевшая смести все, если нужно; ум, сердце, не знавшие страха.

Если бы мог он вдруг встать сейчас перед нами, потрясенными, он сказал бы по-ленински:

— Довольно! Сожмите крепче кулаки и... в бой!

1924



Шел май — с цветами по горам и лугам, с травами, бежавшими даже из камня, — и запах поднятого леса и запах лугов приносило ветром в городские улицы. Солнце золотой дорогой ложилось на пруд, облетали пухом ивы. В деревьях пели птицы. Дымилась по утрам голая земля. В земле радость — веселая, телесная, земная. Такая же теплая, как солнце, и влажная, как вода. От тепла и влаги на земле любовь, жизнь, цветы, травы. Шел май, чтобы дать счастье, такое же голубое, прозрачное, удивительное, как небо над городом, и такое же душистое, как сирень в палисадах. В воздухе, в мае, в сирени — бодрый и нежный звон. Этот звон поет по утрам, когда парит земля, тянется, мурлычет, что рыжая, веселая, облитая рыжим же солнцем огненная кошка. Все огненнее, все пышнее ее золотая шерсть.

В это утро, когда разошлась организация, Антон Черняк сказал Марине:

— Марина, завтра в пять. Заседание в четыре. Наталье не говори, осторожнее...

— Ревнует? — спросила Марина. И закрыла глаза веками — длинными, мягкими, что шелковый платок. Еще раз посмотрела и опять закрыла. И сжала руки у косынки, у худой, плоской, как у мальчишки, груди. Вдруг, подняв их, положила на плечи Черняку. Черняк чувствовал, как нагреваются плечи, вот еще теплее, — и как глаза томят маем, сиренью, небом. Он улыбнулся глазам. А может быть, и не глазам, не девушке, а теплу, нежности, маю.

От улыбки любимого женщина распускается как цветок и идет ко всему, на все, точно май с цветами, с любовью, нежностью.

Марина закрыла глаза снова и, закрыв, представила, что вот идет этот человек, сухой и тонкий, с желтым лицом, как свечной вечерний нагар, с бровями упругими, собравшимися, как задвижки. Он дороже для нее и неба, и мая, и жизни. И для него она отдаст всю нежность. Эта нежность скопилась у девушки к двадцати годам.

Как копилась?

Еще так — когда была не Мариной, а Маришкой и считала, что в пятнадцатую весну может прийти любовь,

вот тогда в огороде у матери, когда садили в землю рассаду, аккуратно упрятывая в ямки клубни, закапывая корешки тьмою, тогда еще от земли, от пара, от голнца шла тяга и липла к босым ногам, как земля. И дальше через все года несла эту тягу, этот позыв через все весны. Дальше — когда работала на фабрике и сквозь оконца корпуса в машинах бегало солнце, не поспевая за ходом поршней, и шум станков напоминал пчел на пасеке, хотелось луга, мая, росы, хотелось утра, когда сладко проститься с милым и в последний раз еще хоть немного прижаться, приткнуться к нему и потом отлететь, пронестись над первыми цветами по пахучему лугу молодою болтливой пчелкой.

Девушки собирают нежность так же, как муравьи строят свой мир из хвои по иголке.

Это у тех, кто умеет копить, где берегут нежность, как прекрасный дар, как жертву.

Марина обняла Черняка. Руки у нее теплее ночных, нагретых за день степных ручьев.

Она сказала:

— Пусть... Я люблю тебя. Я не боюсь.

— Дела надо бояться...

— Не надо бояться. У нас будет счастье.

Черняк улыбнулся сухим, колючим ртом.

— Будет, Маришка, будет! Иди. Завтра в четыре.

Женщина ушла по тропке к увалам, к белой стенке, где был вывален шлак и среди шлака блестели на солнце кусочки острых разноцветных сплавов, как солнечные в дыму искры. По тропке же, тут же — по узенькой, пробитой ногами ленточке — грелась ромашка. Марина шла, нагибаясь быстро, резко, весело, как хлыст. Она собирала в подол по дороге ромашку. Ей казалось, будто она собирает счастье. Вот тропка поднялась. Женщина мелькнула на гребне, обернулась, крикнула — что — не слышно, но хорошее, от чего Черняк засмеялся, — и спустилась под гору.

Черняк сказал одно:

— Ах!..

И сдвинул в груди широкой ладонью сердце. Сердце было беспокойное, тяжелое, как камень.

Потом, оглянув кусты, забор, небо, подумал: «Тихина».

И ушел в дом, щелкнув калиткой.

Это был май, утро.

Завтра после заседания, после четырех, один из пятерки тайной организации большевиков должен был взорвать за Екатеринбург артиллерийские склады.

Черняк думал: «Может быть, я...»

В это время на спичечной фабрике дали гудок.

Начинался день.

Это был — день первый.

В доме Варлаама Никитича сегодня очень тихо. Капитан Карасик с Дорой уехали на Уктус — гулять, кататься на лодке. Ведь начиналась весна. Мама — Артемида Васильевна — лежала у себя в спальне. Голова туго замотана полотенцем. У Артемиды Васильевны мигрень. Поэтому штор в спальне не приказано подымать. А сам хозяин — Варлаам Никитич — собирался ехать на прииск. Сегодня он получил от управляющего телеграмму, что надо прибавок и что рабочие хотят бастовать.

Варлаам Никитич рассудил, что признак этот зловещий и что рабочих необходимо унять. У Варлаама Никитича дурное настроение. Поэтому в кабинете тоже не приказано подымать штор.

В комнате деда, Василия Семеновича, где не вздохнуть от лампадного масла, от копоти лампад, что горят у всех икон по стене, точно иконостас, от старого белья (за дедом плохо следят) — душно... Дед, в старости жадный, все жалуется, что его мало кормят, что, получив от него все капиталы, нынче его хотят уморить голодом, что настали последние времена, когда родная дочка — уж про зятя и говорить нечего — и та, будто большевик, норовит его спихнуть со свету, чтобы не мешал... Так жалуясь, съел он вчера из жадности полную миску щанек. Ел и плакал, как голодный. Даже Маремьяне — няньке — стало противно, и она, утирая нос передником, сурово сказала старику:

— Будет вам бога-то гневить, Василь Семеныч...

Вчера старик ел, а сегодня катался от боли по привычной, пропахшей потом и старческими слабостями кровати. Старик ставили клизму. Но и это не помогало. Старик плакал, просил зажечь свечи перед иконами и отворить все двери в доме.

— Отхожу, няношка, отхожу в усыпление. Как собака отхожу, ни один черт проститься не придет. И не надо, и не надо. Ненавижу и не желаю. Пусть подавятся, я им потом сниться буду, да поздно будет, не поможет...

В комнате у деда штор не было. Окно завешивалось старым байковым платком. Нынче платка не сняли. Солнце собиралось в дырки и жадным лучом ползло в комнату к клизмам, к ветоши, к иконам, к потным валенкам и потной кровати. От этого в комнате становилось еще мокрее, еще поганее.

Старуха Маремьяна бродила из комнаты в комнату.

— Господи, жить бы да радоваться, покарает вас, покарает, мухоморы.

Она злилась из скуки и из привычки, толкаясь от нечего делать из кухни в комнаты, из комнат в кухню.

— Агашка-а!.. А, Агашка!.. Вот, лешая, опять, поди, к солдатам побежала...

Старуха сунулась в мезонин, чтобы самой убрать комнату у младшей барышни.

Барышня сидела на кровати.

Маремьяна, оглядев комнату, подняла щетку, подошла к кровати, сказала:

— Хороша, уж так хороша! Что же ты грязными сапогами по одеялу-то полощешь, не сама, видно, стираешь.

Но синий взгляд был прям, густ, упорен. Входил в стену, как гвоздь. Казалось, девушке не отвести взгляда.

А Маремьяна — старуха — рядом скучна. Смотрит, не знает. Что там чужое? В этих глазах?..

Глаза — синие, влажные, странные. Такими бывают лесные болота. Где сила тайная, темная уводит, щекочет. Где синее — темное, как страсть. Настойчивый темный путь. Девушка вспоминает утро, как пряталась в то утро, когда пришла к любимому, как скучен был забор, когда вышли двое (любимый и та), и как был кругом май, но, может быть, и он, и она, и май — все ненужное, тупое, вся земля, где спичечная фабрика, — враг, и он — чужой и враг, и та, конечно, — враг, и напрасно было таиться, и не надо было ходить, чтобы узнать, только боль, и не отдать эту боль ни росе, ни ветру, потому что все это чужое — все для них, а не для нее. Жизнь — как болото, вязнешь, не знаешь, темно.

Но старуха с тряпкой и щеткой стоит рядом.

— Наталья, я тебе говорю или приходскому дьякону, спусти ноги...

Девушка подняла голову. Попалась на глаза тряпка, кусок щетки, окурки (много курила), сдвинуло в висках клещами, и в сердце — клещ, и оттуда — кровь, как испуганная стая зверей в облаве. Девушка кинула руки, крикнула:

— Вон, нянька, вон!.. убью!

Маремьяна еле спустилась с мезонина (на каждой ступеньке думала: «Довели гулянки деву до самовару... Ну, не мое дело, пусть сами чокаются...»).

А Наталья знала, что это не так, но знала, что именно так думает сейчас нянька; от этого еще злее, еще бешенее бродила кровь, как огонь, как буря, и больно было даже телу от тупости, от ненависти, от непонимания, будто буря ходила в теле, как в лесу, ломая деревья с треском.

Наташа целый день просидела на кровати. Взгляд, как гвоздь, — в стену. Или в ботинки. На ботинки налипла желтая глина (это вчера... или сегодня, сколько прошло часов?).

Приходили — звали обедать: молчала.

Пить чай — молчала.

Ужинать — молчала.

Ночью, когда вернулась с прогулки Дора, Наталья посмотрела на ее вспухшие губы и усмехнулась.

— Я буду писать письма... Ты мне, Дорка, не мешай.

Вот уже двенадцать, час, два — ночь... Мезонин, крыша, чердаки. Поют голуби. В окне фикусы. На столе свеча. В комнате одиноко, пусто. Каждый угол — куда бы ткнуть тоску — чем-то полон, страшен. У стола, у свечки, у бронзовой чернильницы-лягушки шуршит перо, шуршит бумага. Пишет девушка, упав грудью на стол, подогнув под себя одну ногу (так сидят птицы). Девушка пишет в дневник:

Отдать Антона нельзя. Любовь моя — темная, сладкая вода. Она меня отравила. Я пойду, куда угодно, только бы он приказал, но он не прикажет. Нет! Отдать Антона нельзя. Если бы я хоть что-нибудь понимала, если бы я была когда-нибудь радостна... Мне надо упрятать его в маленький-маленький темный уголок, только

себе, для себя. Надо, чтобы он покорился мне. Чтобы для меня, мне и никому, ничему. Не только женщины, дело, друзья — а бумажка, если он прячет ее на сердце, и то мне враг... Если это ревность, — пусть ревность. Я хочу покорить до остатка. В нем все до последнего мизинца — все мое... Я не могу жить, я убью себя...

Шел май... Кончалась ночь. Еще тихий лежал на дороге ветер. От сирени в палисаднике душно, невозможно, пряно. Где-то подходило солнце, но его еще не было видно, только зернистые невидные тени незаметно косили из углов углами, обозначались с каждой секундой упорнее и ясней.

Девушка плакала. Плечи от кос прятались глубже. Будто тяжело ей было нести их белую медь.

...пусть я злая, выродок, чудовище. Для них луга, май, любовь. Я темная, в грехе, пакости, хочу тоже счастья. Антон меня любил. Пусть будет смерть, если так.

Это был — день второй.

Началось очень просто: заняли все выходы, и укаждого окошка по часовому. Потом сразу в дом вошел взвод. Ружья наизготовку.

— Руки вверх!

Заседание пятерки еще не начиналось, но собрались все — пятеро.

— Документы!

Солдаты берут за руки. Вяжут. Хлещут прикладом. Ведут. Так арестовали всех пятерых.

Арест, как молния.

Идут по дороге к Исетскому.

В кучах на дороге прошлогодние листья. Метет. Пыль. Небо ясное. И тоска ясна — в сердце.

Думает Черняк: «Какой провал! Кто?»

Только теперь, когда повели, можно было подумать. Арестовали — кроме Антона — Терехова, Бурдина, Глухого и Мака.

И когда шли к Исетскому — знали: ждет смерть.

На Верх-Исетском, в старом заводском дворе, среди сора, кувалд, кирпичей, шлака, песку, травы, колес, де-

рева, — уединенный дом. Оттуда не долетает крик никуда. В этот дом контрразведка водит для пыток.

Там, в комнате, за столом с дырявой клеенкой, комендант Ермохин и начальник контрразведки ротмистр Чегодаев, коротенький и вечно пьяный, ставят допросы. Чегодаев решил: «Расстрелять успеем... Надо найти нить».

Там же Чегодаев решил, что Антон Черняк — главарь военной организации. Выругавшись, он начал:

— Говори, б... На особый учет посажу!

Черняк молчал. Брови — как задвижки. Если бы сказать, что губы смеются, сам не поверил бы. Улыбка бывает от страха, от тоски. Тут же была и тоска, и страх, и твердость.

— Не скажешь?

Брови у Черняка дернулись, растворились. Дернулись — и улыбка к лицу, как рыба в сетке.

— Что ж говорить?.. Говорить нечего.

И опять сомкнулись брови, но уже плотнее.

Ротмистр Чегодаев приказал:

— Начните.

Четыре солдата встали по двое, с боков. И уложили на скамейку. Сняли рубашку, штаны. Ноги привязали к скамейке.

Чегодаев хохотал. Когда он, смеясь, широко раскрывал рот, кожа на маленьком лбу собиралась складками и ползла дальше в складках на лысый череп.

— Живо!.. Становись в позицию. Мы тебя научим говорить!

Два солдата встали с боков. Один с головы. И еще один с ног, вдоль спины.

Первый прием — били нагайками с проволокой.

Черняк потерял сознание. Сволокли во двор. Отлили водой. И опять притащили.

— Ну, будешь говорить?

Еще туже сомкнулись у Черняка брови.

Тогда стали бить нагайками со свинцом, шомполами, ногами, ломали руки, рвали волосы, царапали лицо и тело... Потом отливали водой и опять начинали сначала.

В этом прошли вечер и ночь. Пытка угарная, злая и настойчивая. В промежутках солдаты и начальство пили водку. А за окном шел май, подымались травы, любовь, нежность, и голубело небо.

Ночью избитых в кровь, беспамятных разбросали по камерам.

Ротмистр Чегодаев сказал:

— Пока не расстреливать, оставить для лечения. Я еду в Пермь, вернусь через трое суток — там сообщают, что раскрыта новая организация...

Комендант Ермохин, приложив руку к бороде вместо виска, басом ответил: — Слушаюсь! — Солдат подал ротмистру серую тонкую шинель. Чегодаев, выходя, зябко спросил солдата:

— Поди холодно?

— Никак нет, ваше выс-скородие! Благодать!

Ротмистр Чегодаев, поджидая лошадь, присел на крылечке, закурил. И, как всегда, затянул свою песенку:

Да и-ох, девчоночки, куда котитесь,
Пошлите, пошлите и парветесь.

Лошадь подали. И, когда Чегодаев садился, из форточки высунулась борода Ермохина — басом спросила:

— Господин ротмистр, фершала-то им послать?

Чегодаев повел губой, выронил папироску и, стянув повод, тронул лошадь. И уже с седла крикнул:

— Пошли.

Опять утро. Черняк очнулся только тогда, когда какой-то солдат сдирал с него белье. Белье сдиралось прямо с кожей, с корками засохшего мяса и с кровью. Потом солдат принес свинцовой примочки, размыл ею побой и налил в поранения йоду.

Тут Черняк опять потерял сознание. Третий день кончился, начинался четвертый день.

После обеда мальчишка подошел к дому на Клубной, к подъезду. День был сухой и пыльный. И солнце — сухое и пыльное, как медная доска на парадном подъезде:

ВАРЛААМ НИКИТИЧ АНТОНОВСКИЙ

Правление оренбургских
золотых принсков

Мальчишка долго сидел у тумбы, грыз семечки, не знал, как войти, звонить же боялся. Когда выбежала из ворот прислуга Агашка, мальчишка остановил ее:

— Девка... Ты здешняя?

Агашка стала. Подтянула платок.

— Здешняя. Тебе за чем, сопленосый?

Парень усмехнулся, вытащил из голенища бумажку.

— Вот барышне Наталье секрет передашь. Немедля.

Поняла?

И так строго посмотрел на нее, что Агашка фыркнула.

— Поняла, тоже почта, мало вас порют.

Когда Наташа получила записку — прочла, лицо помертвело.

В записке карандашом писала Марина:

По получении немедленно идите к Ивановскому кладбищу.
Надо спасать. Убьют.

Прочла — поняла.

Когда выходила из дому, сказала няньке:

— Маме передай, чтобы ужинать не ждали. У меня дело.

Не успела Маремьяна ответить ей — «довертишь-ся», — как Наташа ушла.

Кладбище в соснах. Сосны — розовые свечи. Смола, как ладан, и тепло днем. И на могилах легкая голубая трава. А в траве острый земляничный лист и белый цвет земляники, как птичий глаз.

Встретились двое. Марина — в суровости, в тоске. Наталья — тяжелая, мутная, странная. Так встречаются соперницы, враги, горе. Глазам Марины — девушки, женщины от земли, от майских радостей и нежности — видно только горе. Любовь — горе. Утрата — горе. А глазам Натальи — страх, грех, мука. То есть, когда любовь — гнев, преступление, когда розовые руки девушки берут нож.

Так понимала Марина. Так хотела она понять. И звала Наталью сюда для испытания, чтобы узнать, действительно ли так. И потому начала осторожно:

— Антона взяли. Слышали?

Чтобы не упасть, Наталья села на могилу, ответила:

— Да.

И Марина, строже надвинув косынку, как старая монашка, с глазами глубже темных ям, испытывала беличку.

— А спасти можно. Похлопотать можете. У вас за ручка найдется.

Наталья свела губы ниточкой. Поняла, что испытывает. И сказала совсем спокойно:

— Может быть, могу... Не знаю.

И, когда Марина вспыхнула, когда не выдержала Марина и кинула ей, как кость:

— Антон говорил, что с вами надо осторожней... как раз перед провалом... —

тогда Наталья усмехнулась шире, синее осветились глаза, страшнее...

— Вот как? Антон говорил?.. Это ничего, что говорил. Убить меня хотите? Я — думаете? Убейте.

Тогда испугалась Марина.

— Нет, не думаю, не знаю... Не знаю, как смею думать, откуда?.. Нет, Наташенька.

Задрожала косынка у Марины, и, как сказала — «Наташенька», — застыдилась больше. Заплакала.

— Спасти хочу, помочь и вас прошу.

— Любите?

В глазах у Наташи настоящее испытание, глаза — как боль. Но она закрутила, запутала. Опять глаза синие, сильные, издеваются.

— Любите? Себе хотите? Этого нельзя, этого я не могу.

И перед Наташей на могилке нет Марины, есть только платье в траве, женские плечи, косынка, ноги — все дрожит.

Тогда Наташа сказала твердо:

— Встаньте, Марина, я попробую.

Когда расставались, Марина хотела ее обнять, но Наташа отвела руки. Захотала.

— Вы думаете, для вас? Не для вас — для себя. А вас я ненавижу. Приходите утром, скажу, что делать.

Слова нарочно выбрала короткие, простые, как камни, чтобы сильнее ударить. Ударила — и ушла.

Марина долго сидела на чужой могиле.

Так расстались женщины.

Вечером Наталья пришла к Чегодаеву. Сняла пальто. Вместо стула села на кровать. И сказала просто:

— Ротмистр, вы просили меня отжаться. Пожалуйста. А потом отпустите Черняка. Идет?

Чегодаев почесал лоб, подумал.

— Сегодня собрался ехать.

Он тоже понял все просто. Для контрразведки это было в привычку.

— Только я не понимаю... То у вас одно, то другое.

— Замолчите... Вы хоть что-нибудь понимаете? Ни черта. Так и молчите. И, пожалуйста, скорее.

Утром, когда она уходила, Чегодаев научил:

— Пусть пилку принесут в еде... Но если попадется за работой, не пеняйте. Я ловить не буду, я честно...

— Честно?.. — усмехнулась Наташа.

— Конечно, честно, но пусть не попадется.

Наташа вышла. Тут ротмистр вспомнил. И догнал ее.

— А кто принесет?

Наташа задержалась, смутилась, потом собрала сердце, смяла в комочек боль в сердце, смяла так же, как мнут батистовый платочек.

— Разве надо?

— Надо.

— Ну, так Терехова Марина, со спичечной...

И пошла, не прощаясь, не говоря дальше ни слова.

Ротмистр долго смотрел, как качалась на ходу спина Талочки. Ротмистр плюнул.

— Ловко!

В это утро Наталья записала в дневник:

Мне страшно, и я не надеюсь, что он вернется. Мое семя позорное. Любовь моя — позор. Если бы я могла наложить руки на себя, как Иуда! Но я не могу. Я девочка.

О дне пятом можно рассказать из записок Антона Черняка. Он впоследствии писал их для Истпарта. Здесь приводится сокращенно:

Марина Терехова сумела передать мне в булке пилу и два ножа, а также деньги, бумагу и карандаш. Начал пилить. Работать было трудно, опасно, так как окно выходило во двор, где постоянно был часовой и

пожарные. Вывесив в окно тряпку «для сушки», пилил, стараясь визг пилы заглушить пеннием, хотя и плохо пелось в это время. В соседней камере сидели товарищи. Я сообщил о случае. Мы решили бежать вместе. Они для этого начали разбирать стену над печкой, чтобы перебраться ко мне. Работа к вечерней поверке была готова. Решетка была в таком состоянии: были перепилены три продольных прута внизу, а вверх лишь два из них были надпилены до половины. Этого было мало, но надо было ускорить побег. Один из караульных захотел проверить исправность решетки — к великому нашему счастью взялся не за подпиленные прутья, а за целые. Бежали мы в ночь, в общем благополучно. С большими усилиями, но все же решетку мы выворотили и стали по очереди вылезать. Сначала один, а затем другой из вылезавших товарищей завязли в дыре, первого вытащили быстро, со вторым возились значительно дольше. Наконец все оказались на земле и через ворота, которые были открыты еще с вечера, выбрались на волю. Я еще не совсем оправился от побоев и бежать мог с большим трудом. Бежали мы друг за другом, почти бегом. На опушке леса за Московским трактом разделились на две группы и разошлись в разные стороны.

После побега утро и день отряды казаков искали убежавших на дорогах и дорожках. А в тюрьме и караул и арестованные соседних камер были избиты комендантом Ермохиным.

Приходил уже вечер.

В лесу, в тишине, в непроходимом болоте прятался Черняк.

Часто к топи подходили отряды, — и тогда кричали люди, ржали кони. Но топь была верна и тиха. Почти по горло Черняк утонул в желтой лесной жиже. Вечером от испарений стало тошнить. Но он не вылезал. Только ночью, когда вскрикнула, как ребенок, сова где-то в стволах, Черняк выбрался из болота.

И в лесу на пахучей кочке среди жесткой брусники прилег, чтобы отдышаться. Свобода, радость, тишина. Черняк встал на колени, прижался к седой мохнатой сосне и вспомнил о Марине

В эту ночь в городе ее арестовали и через полтора часа расстреляли в Исетском дворе. Но Черняк этого знать, конечно, не мог.

Это был — шестой день.

1923



ЧЕРНЫЙ ХУТОР

Между Темными Воротами и Стаей — большая старая тяжелая дорога. Когда-то люди везли здесь пушки, и там, где не могла пройти лошадь, шли люди по поясу в воде, налаживая для пушек лесную гать. Замерзали, топли, гибли в болоте. Эти три версты сделаны из людей и дерева...

Это было тогда, когда, казалось, нет предела человеческому героизму, когда не мерилась жизнь медной копейкой, и не потому, что этих копеек не было и в заводе, а потому, что голая жизнь соперничала с голой правдой и человек совершал дела, часто не понимая их. Об этих славных днях напишет еще история, а поэты сложат поэмы про этих необыкновенных людей.

Сейчас же я хочу рассказать о том, как после отгремевшей веселой славы пришел скучный и расчетливый будень. Мне бы хотелось поговорить здесь о человеческой правде, о верности, о любви, об этом простом, как булавка, что поверяется на малых человеческих делах, и лучше на малых, чем на больших, но пусть — нарочно кинем это куда-то, чтобы не путалось оно под ногами, и, освободив себя от надоедливых рассуждений, будем тише деревенского утра. Будем только созерцать.

В декабрьских пожнях за старой дорогой у этих трех верст, в узком кинutom поле — скоруженной кожей среди белого поля торчит темный двор. Издали можно принять

его за кирпичный заводик. Так он уныл и суров. Мужики из соседних деревень зовут этот хутор Черным. Богатый двор стоит, как точный квадрат, как по плану разбитая крепость: два дома, обшитые тесом, амбары, овин, хлева — перетянуты наглухо крепкой из бревен стеной. Лишь в двух местах воротами прорвана эта стена — слева за левым домом и справа — за правым. В этих домах со своею семьею живет эстонец Карл. В правом доме — сам Карл со своею хозяйкой, а в левом — ребята и бабка. И под каждым крыльцом каждого дома конура для овчарок.

В правой — Камп и в левой — Клейпа, две рыжие веселые и сильные собаки на богатом хуторе. По всему полю слышен их лай.

Целыми днями Карл ругается и поет за работой. А ночью изредка вьется дымок во дворе, и острый, как пот, запах стелется к дороге. Значит, Карл гонит водку.

Вокруг двора — большое картофельное поле, картофель убран давно, и темная земля, сквозь тонкий снег, смотрит разрыто и неудобно. В конюшне крепкие, рослые лошади медленными губами перетирают клевер. В хлеву круглые коровы тихо роются в кормушках, твердо зная часы пойки и корма. В ржаное поле летят вороны. Буби — глупый рыжий щенок, приплод от Кампа и Клейпы, нюхает воздух, землю и ветер. Он еще очень мал. Он боится ворон и чужих лошадей. Лапы у него мягкие, будто без кости, и круглый день неугомонно носится он, как на мячиках.

Эту ночь Камп спал очень плохо.

Началось так. Вечером дети Карла собрали у овина солому, щепки, бересту и развели огонь. Дети прыгали у огня, и веселый ветер, наскочив на костер, помогал им. Трещала кора, пуская узкие желтые стрелы, и снова свертывала их в трубочку. Потом ветер загреб горсть искр и вместе с легкими пучками соломы покати́л их в сумерки по двору. И когда, громко смеясь, обрадовался этому дети, Камп испугался. На лай его кинулась Клейпа, остановилась издали и повторила то, что пролаял Камп. Поняла Клейпа, что Камп не будет беспокоиться напрасно. За все долгие семь лет, проведенных вместе, Клейпа не помнит случая, чтобы Камп беспокоился зря. Много было рожено щенят, много прошло

историй, исчезали щенята, забывались истории, и оставалось всегда одно: Камп. Клейпа привыкла верить Кампу и в любви и в беспокойстве.

Хозяина Карла ждали зима и охота. Карл сидел в правой своей избе и, тихонько мурлыкая, чистил ружье. Промазав салом замки, подумал он, как будут на охоте весело щелкать курки. И когда залаяли псы, он вышел из избы, и, увидев бегущие по земле огненные шарики и огонь у овина, он кинулся к костру. Ребята бросились от него, но он догнал каждого и прикладом ружья побил ребят. И ругался на весь двор, и даже в поле летела его ругань, как хлопья. Потом подошел к костру и сапогами затушил костер, примяв в землю золу и уголья. Ребята кричали, точно щенки, и Камп слышал, что даже в избе не могут они успокоиться, и тут Кампу стало жалко ребят. Он совсем не думал выдавать ребят. Он залаял, чтобы предупредить их. Но когда Клейпа, не выносившая плача, тоже стала подвывать, Камп остановил ее. Он не любил тоски и беспорядка. Камп подумал: хозяин чистит ружье, значит — скоро будет охота.

К ночи закрапал дождь. Карл с крыльца оглядел небо, покачал головой и сказал что-то, чего Камп не слышал за ветром. Камп подошел к нему, ткнулся в колени к хозяину, и Клейпа тоже прибежала к Карлу, чтобы прижаться к человеческим коленам. Карл приласкал собак, потрепав их за уши, и ушел в избу, взяв с собой Буби. Буби спал всегда в сениях. Буби было всего три месяца. Хозяин его жалел. Ночью всегда индеели поля, и Камп знал, что для Буби в сениях удобнее, теплее и мягче спать.

Камп пролез из-под крыльца дальше — под пол, к трубе. В холодные ночи очень приятно лежать, прижав спину к накалившемуся за день кирпичам трубы, думать о том, что скоро опять придет зима и землю засыпет белым сырым снегом. А ночи станут еще чернее. В такую ночь приятно думать, что у тебя есть еда, теплая труба и хозяин. И надо чутко слушать — не ходят ли у ворот чужие. Каждый чужой ночью становится вдвойне опасным. Ночь страшная и темная. Ночью свои собираются в кучу. И каждый должен спать. Тот из чужих, кто не спит ночью, уже подозрителен. Зимой, правда, меньше

работы. Летом и Кампу и Клейде приходится пасти скот, но по летам ночи короткие и теплые. Так прыгали у Кампа мысли. Они как блохи, их никак не поймаешь, их трудно поймать. Потом он думал о лисе, дважды подкапывавшейся у задней стенки двора, ближе к птичнику. Но вот по снегу, за большими морозами — начнут ходить волки. Это будет серьезнее. Но не время Кампу бояться волков, еще крепки зубы, и широка грудь, и сильны лапы. А когда рядом Карл, тогда совсем нечего бояться. Если идешь с человеком, можно бросаться на целую стаю: у человека есть ружье, он приложит его к плечу, прицелится и страшным ударом убьет огнем волка. Человек — самое сильное, он никогда не выдаст никого своего, и за человека можно быть спокойным. Но вот иной раз неизвестно, что делается с человеком, — он начинает бить и сердиться; тут никак не поймешь его поступков. Если это бывает, когда Карл пьян, тогда лучше к нему не подходить, от него нехорошо пахнет, он может и приласкать и ударить — лучше быть осторожным. Недавно Карл вернулся из города очень пьяным, и Клейпе попало, когда она хотела приласкаться к нему. Клейпа глупа и доверчива и часто забывает, чему ее учит Камп. Но вот тоже недавно Камп не понял, почему хозяин Карл швырнул в него кирпичом. Был очень хороший, теплый день, солнце было почти горячее. Жена Карла расстелила по лугу белое полотно. Тут с ребятами играли Камп и Клейпа. Было очень весело. Ветер играл концами белого сырого полотна. Ветром хлестало полотно, и, чтобы его не раздувало, хозяйка разложила на концах кирпичи. Клейпа побежала от ребят, ребята за нею. Клейпа попала в лужу и от ребят бросилась на полотно. По белому полотну от лап Клейпы побежал желтый собачий след. Камп кинулся за ней. И от его лап тоже оставался хороший след. Тогда Камп стал прыгать с Клейпой, и следов становилось все больше. Вдруг ребята испугались и кинулись от них к матери и закричали, и тогда закричала хозяйка, и на крик выбежал Карл. Камп остановился, и Клейпа покорно легла на брюхо. Хозяин подбежал и, схватив два кирпича, швырнул их в голову Кампу. Это совершенно непонятно.

Но все-таки человек добр — он дает есть. И надо ему служить, надо слушаться его окриков, в беде надо предупреждать его, быть внимательным, осторожным, вер-

ным. Человек все-таки добр. Он заботится о скоте, о детях, о собаках, он жалеет Буби. Человек имеет ружье, он носит за плечом смерть, и потому даже лесные звери боятся его. Он распоряжается огнем и землей, он владеет машинами, хлебом и большими домами. И не потому ли он равнодушен, что всю силу земли он держит в своих руках, как кость.

Ночью бегала по двору Клейпа. Иногда поднимался лай. В голосе Клейпы не было страха. Отсюда — за полверсты — по дороге, наверное, проходили обозы. То возвращались в деревню мужики. Можно было бы и не беспокоиться, можно тихо сидеть и дремать, поджав лапы под брюхо. Правда, Карл не любит людей из деревни, и часто с проезжающими мужиками он заводит шум, и тогда хозяин Карл надрывается и краснеет, а проезжающие мужики хлещут кнутом землю. Но ведь Карл не может бояться людей из деревни. И сейчас, ночью, Клейпе нечего бояться телег. Хозяин Карл спит в доме, за печкой висит ружье, с этим ружьем — попозже, когда захрустят снега, — Карл пойдет на охоту. Это бывает каждый год, и в этом году будет так же, как и в прошлом. Будет раннее утро, белые пожни, синие сосны в пуху, и на жестком снегу заячьи лапы, — хозяин зовет их восьмерками. Пахнет лес деревом и землей. Долбят дятлы. Скрипят ветви, задевая друг друга лапами. Камп наметит тропу и пойдет по этой тропе впереди хозяина Карла, приглядываясь к розовым пням, принимая кем-то помятый снег. Лесом пересекут они не одну поляну, подымая черные гнезда, пронесутся тяжело над головой каркающие птицы, но хозяин Карл, равнодушный к птичьим тревогам, скользая спустится к застывшему ручью и долго будет ходить, опустив глаза в снег. Потом остановится и, взяв Кампа на ремень и подтянув в кулак кожу ремня, пересечет мутный, как похлебка, лед, чтобы уйти за волчьим следом в чащу соседнего леса. И когда зверь с серой шерстью, наткнувшись на них, остановится, Карл придержит Кампа; так простоят они секунду, и после Карл спустит Кампа на волка, и Камп бросится в ельник, как камень. Камп знает конец этого дела. Карл приложит ружье к плечу, треснет, как ветка на морозе, заговор, упадет выстрел, и в ельнике рухнет с пробитой

грудью старый серый волк. Тут же Карл ножом снимет шкуру и швырнет для Кампа мясо, но Камп не станет есть этого волчьего мяса. Человек, конечно, добр и силен. Камп посмотрит на хозяина Карла, а Карл посмотрит на Кампа, и засмеется хозяин Карл, и Камп, поняв, чему он научился от хозяина, кинется к хозяйским коленям, чтобы лизнуть человека, и Карл, заметив кровь на губах Кампа, осторожно odstranit его рукой. И станет весело Кампу, увидевшему в хозяине оправдание своей ненависти и радости. Камп, потонув в сугробе по брюхо, вдруг взволнованно крикнет вверх, к желтым перебегающим в солнце верхушкам, там, где молчат сейчас дятлы, и лай убежит в глубь леса. Тогда хозяин сдержанно прихлестнет Кампа ремнем.

Ночью свистал в трубе бешеный ветер, и часто слышал Камп, как шарит ветер в трубе и вниз сыпятся по трубе кусочки кирпича.

Так прошла эта ночь, — пока остыла теплая труба избы, — и серые ужи утра проскользнули сквозь щели в подполье. Тогда только заснул Камп, крепко зажмурив глаза, и, засыпая, все же успел подумать о добром хозяине Карле, о ружье хозяина Карла — более надежном, чем собачьи зубы.

Камп проснулся от дождя. Дождь, перепутавшись вместе со снегом, из скопленных ветром туч разошелся в бурю. Дождь падал в тонкий снег, и снег шипел от ударов дождя, слезая с земли, как кожа. Камп, высунув морду из-под избы, слушал непогоду. Муть совсем заволокла двор. В избе огонь от печки ходил языком по окну, Клейпа спряталась под крыльцо, и Буби беспокойно выл в сенях у Карла.

И вот, когда разорвало ветром муть, и пронесся дождь, и небо опять стало небом, Камп выполз на мокрый двор и обежал кругом двора, осторожно минуя лужи. Муть еще не сошла совсем, еще бродила сырость кусками, и Камп, вытянув голову, останавливался, чтобы потянуть ветер. Но вот стих и ветер, и рассыпался пепел облаков. Еще немного, и, мигнув теплом, начнется день, выйдет хозяин Карл, чтобы осмотреть дома, скот и собаку. Камп ложится у крыльца, он хочет первым встретить хозяина Карла, первым кинуться мордой к коленям

и, поднявшись к руке, первым лизнуть ласково хозяина в руку.

Камп лежит и ждет доброго хозяина Карла. Изредка он поднимает голову, чтобы узнать, где скрипнуло, не случилось ли чего в этом богатом, точном, как квадрат, дворе — с лошадьми, с коровами и птицей. Хутор одинок в этом поле, но глаз Кампа внимательно следит за пустым полем. А в сером поле гладко — ни камня, ни цветка. Пусть приходит опасность с этого гладкого поля — у хозяина Карла есть ружье.

Медленно сеют сумерки мутного утра. Хорошо дожидать хозяина Карла. Хорошо слушать, заложив морду в лапы.

Камп слушает.

И вдруг, будто толчком подымает морду, встает, загорелась на затылке шерсть. Камп тихо, не чувствуя лап, идет к правым воротам. Камп оглянулся — двор спокоен. Буби опять залился в сенях. Камп стал у ворот.

За хутором, из-под правой стенки, стараясь попадать лапами не в снег, а на голую землю и держаться стенки, подошла к воротам волчья стая. Волки шли цепочкой. Впереди цепочки, подавшись от нее на несколько шагов, медленно, верно и спокойно бежал вожак, с бурыми кусками подпалин по брюху и бедрам. За вожаким шло еще пятеро. Они пересекали дорогу от деревни. Камп выбежал из ворот — и вожак остановился, передернув шеей. Остановилась и вся стая. Камп выкинул правую лапу, пригнул морду и заметил из всего — один седой клочок за ухом у вожака, и вдруг, откинув туловище назад и сразу же забросив его вперед, упал на вожака, попав зубами пониже шеи в спину волка. Волк рванул, но Камп зажал зубами хребет, и хребет переломило надвое. Тогда на Кампа навалилась стая, он вцепился в бедро другому и не успел заметить, когда два остальных волка вгрызлись ему в шею. Закрыв глаза, он почувствовал, как хутор доброго хозяина уплыл от него. Черный хутор, как пленкой, затянулся уплывшим миром, и медленно щелкало сердце под грудью. Сердце щелкало и в судороге еще ожидало удара ружья. Где хозяин? Где выстрел?

Тут толчком разбудило Клейпу, она сразу подняла тревогу. В сенях у Карла плакал Буби. Клейпа, выскользнув из-под крыльца, стрелой метнулась вперед. В это время четыре молодых тонконогих волка, обогнув

заборы, подбежали к левым воротам и встали, увидев Клейпу. Клейпа, не опуская голоса, подалась назад. И, не услышав рядом Кампа, тотчас догадалась, что его нет, и тогда брызнула волна крови из груди в глаза, и Клейпа, отступив еще шага на два, обернулась на окна изб. Из правой избы в окно глядел хозяин Карл. Если чувствуешь рядом человека, исчезает страх. Еще на один шаг отступила Клейпа и, глядя на хозяина, не поняла, почему его лицо еще в окне, — значит, хозяин спокоен, значит, спокойно все, и сейчас будет выстрел хозяина Карла. И, забыв Кампа, Клейпа кинулась на первого волка. Три остальных удивленно отскочили от нее. Но когда первый упал с разорванным горлом, те трое сразу бросились к ней! Клейпе некогда обернуться. Вот она слышит, как скрипнула ржавая петля окна. Может быть, дверь. Сейчас выйдет с ружьем хозяин Карл. Клейпа ждет знакомого выстрела. Еще одна минута. Клейпа рванула в сторону одного из волков. Сзади на спину ей упали двое других, и один рвет зубами шерсть.

Скорее, хозяин Карл!

Клейпа прижалась к земле, и бурая пенка выползла из ее развернутых губ. И когда волки ушли, она услышала визг Буби и задрожала в судороге, чтобы осмотреть двор доброго хозяина Карла. Но голова ее ткнулась в мерзлые комья. Только тогда вышел из избы хозяин Карл, но в руках у него не было ружья.

Вечером хозяин Карл потрошил трупы Кампа, Клейпы и волков. И равнодушный ветер одинаково сушил и рыжие и бурые шкуры. И когда дети или Буби подбегали к колыям, на которых были развешаны звериные шкуры, хозяин Карл отгонял их оттуда. Дети убежали в другой конец двора, а Буби пришлось запереть в чулан. И в темноте чулана до полуночи не мог успокоиться Буби. Но вот и Буби, поджав под брюхо мягкие свои лапы, заснул. И все заснуло в хуторе — дети, женщины, скот и птицы. Только один хозяин Карл не знал, как удобнее ему улечься, — хозяин Карл думал о псах. Он хотел понять — было ли это честным делом или бесчестным. Хозяин Карл только одно понимал: что, если бы выстрелил он, мужики из деревни узнали бы, что у Карла есть ружье; в этом году он хотел скрыть ружье, и если бы донесли

мужики — Карлу пришлось бы платить три с полтиной охотничьего взноса, и еще за сокрытие пришлось бы платить штраф хозяину Карлу. Деньги — всегда деньги, а верные, хорошие псы — все-таки псы.

Вот почему не выстрелил добрый хозяин Карл.

1924



ТОСКА

В рыжую вянет малина у хлева, зацепилось небо за забор, как свежая шкура, и за забором в холоде твердеет песок, и непонятные, нежитые, сухие томят землю хвой, — люди про это говорят: тоска...

И никогда не пойму этого леса.

Лес — изумруд и радость. А хвоя — хвою надо сыпать на гроб и на смертный путь.

Куда пойдешь. В бору — песок, игла и мох. Его легко скосырнуть пяткой, и под губкой мха опять песок.

Мы живем на горе. Под горой в длинном поле — город. В городе — каланча, исполком и у собора могила жертв революции.

Утром — сырая мга, к ночи дождь, а с пяти вечера с неба падает кусками деготь, липнет к воде, к песку, к окнам — и такая кругом темь, что теряешь ноги. В город нам ходить незачем.

Так живем.

Вчера у реки под откосом — там, где в отдели вечном лежат два челнока, нашел черные ямы костров, паклю, пропитанную керосином, поленья, лужу крови и нож. Наверное, прошлой ночью у реки в ямах гнали из хлеба спирт. Откуда кровь — не знаю. Знаю одно: в деревнях — а их в округе семьсот — гонят водку. И еще — русскому человеку без ножа скучно.

В комнате тепло, как в бане. Сажу — расстегнутый. Бревна сохраняют тепло, тишину и рожают комаров. К ночи комары начинают зудеть и мешать. Возьмешь

книжку, а книжка летит. Ну и лети, не тронь, не пугай тишины.

Через полчаса придет хозяйка Афимья, плеснет в меня рыхлой калуцкой речью, обольет ею — что зеленою. — Чай кушать пожайлуйте.

Будем долго сидеть у стола, за камчатной скатеркой, за белым хозяйским хлебом, пить чай с кислой калиною. Самовар мурчит, под столом тычется в ноги Барс — кошка. Кинешь хлеба ему — станет шипеть, рвать, играть. И стенные часы пропоют длинно, неторопливо, в три такта каждую четверть.

Будем долго сидеть — молчать. Ведь не знаем, что сказать и о чем... Ведь мы гости из разных стран, разной души и разной веры. Моя — напичканная книжная душа. А ее душу не словишь, легче голой рукой поймать угря.

Сижу и смотрю.

Крепкий, как ядрышко, дом. Афимья — домашняя баба, здоровая, с хрустом, как кочан на морозе. Капог на ней в клетку, сытый круглый живот, скользкие губы поджала. Наверно, рот мокрый. А в комнатах ведет такую чистоту, что ни нашаркать нельзя, ни плюнуть, ни бросить окурка, конечно.

И на дворе, точно дома. Боров Хрюшка, Катка — коза и выводок кур. Очень чисто.

— Одолели меня животные. Одолели, што черти. Жрать жрут, а я ухаживай. Завела со скуки, думая развлечение, и не рада так, чтобы сдохнули. Работай на их, а прибыля грош, ей-богу, в лавке купила без хлопоту, понюхала — свеженькое, а што тут выдет, бог его знает. Беда.

Афимья утирает руки передником. Смотрит, как пью я чай, а я нарочно пью из стакана; хочется ей налить в блюдце, да стыдно, берет также стакан, оттопырив мизинец.

Думаю — ленивая будто баба...

И спрашиваю.

— А кто же вы будете?

— Мещане калуцкие, заехали мы сюда по должности, как Иван Степанычу, так основались... Иван Степаныч калуцкие тоже, наша губерния зеленая, летом ясная, земля растворенная, листовая, песни играют. А здесь скушно, зимой особо ад крёмешный, вот кабы муж был, а то веселье сидеть одной, а он двести отсюда

верст, вот уж третий месяц сидит там, письма мне пишет, мама, пишет мне, Фимушка, скушно мне без тебе, и пища неподходящая, сготовить не могут. А куда уедешь — животные держут, так и живем вот розно, и не знаю, когда приедет.

— Кто же он будет там?

— В кооперативе он будет, торгует всякой товар, от дегтю до калоши, как известно — провинция. Он артельщик бывшой. Бароновской артели.

— И давно вы, Афимья Ивановна, замужем?

— Давно — и... забыла.

Перебрав губою, что тряпкой, считает:

— Тринадцать нынче будет годов, вот... Так и горюем тринадцать годов. Ничего, хозяйство справное, и напито, и наедено, и одеждой не бедовали никогда. А вы много ли жалованья получаете?

.

И стряхнула крошки с живота.

У меня — в городе далеком отсюда — живет мой мальчик, и потому я привык спрашивать про детей. Кого встречу, сейчас и спрошу: есть ли дети, как их зовут да какие...

И очень люблю, когда говорят простые бабы. Каждая, когда расскажет, обязательно прибавит против сглазу: — Ну мой, прости господи, здоровенький.

Хотел об этом спросить и Афимью, да стало чего-то неловко, так ушел молча к себе.

Трещит тихо за рамой сосна. Дверь к Афимье открыта. Сидит, точно дерево корнями посажено в стул. И читает местную газету.

Этого никогда не мог понять.

Спросишь.

— Что читаете?

Улыбнется в стенку.

— А новости печатают... Про животных тоже...

И спишь после крепче.

Так — каждый вечер — читала на сон.

И вдруг неожиданно прибавит:

— И про попов тоже.

— Ну и как...

— Да што, многово верно.

— А бог?

Пожует пальцы и равнодушно скажет:

— Што жа бог... Без богу только в нашем лесу страшно, у нас елка — дерево черное, вредное.

Сыплется день, как песок, А ночь падает холодным камнем. Утром проснешься — выйдешь на крыльцо. Видишь — сквозит сквозь песок легкая слеза, и, укутанное в небо, осеннее солнце сочит мягкий жар, и земля, будго зверь, чуть теплая и потная.

В сенях с утра толчется Афимья, бухтит в воде дымное месиво. Солнце смотрит мне в шею, а за ним и Афимья — белыми, собачьими своими глазами.

— Ну, што, супруга спит...

— Спит.

— Городская птичка. А вот мы с утра за животными. Боров, сволочь, донял, картошку ему вари, стерве. Пушай холод дойдет, обязательно зарежу, што я ему подденка, што ли, смучал...

Так бегут дни, как верный шаг зверей. И сутки разбиты на корма, на звериные сроки: утро, полдень и вечер.

Тут тоска залапит даже звериное сердце. Что из того, что темнота ноябрьской реки волшебнее индийского шелка, а красный песок внимательно слушает синие песни болтливового леса.

Вода речная — не ласка, лес — не радость, а песку в мире много, песком не утетишь человеческого сердца.

Я иду в лес — и по дороге мечтаю: что, если на каждую елку повесят по электрической лампочке — станет ли светлей жить. Или лампочку носит и в себе человек.

.

Знаю — в большом городе люди будут советовать мне почитать Карла Маркса. А пускай сам Карл Маркс придет сюда, где баба Афимья ходит неслышно, как кот, в мягких медвежьих чулках.

Днем ехал с Афимьей дорогами. Я вез с города почту и книги. Она — с базару горшки.

— Четвертый месяц... — сухо сказала Афимья. — Пишет, хозяйство блюди... Да што за люди жильцы у тебе. Вот рассудите, у себе сидит, а мене учит. Эк, мужик зараженный... Четвертый месяц.

И, поджав вожжи, перевела лошадь на рысь. Сверкнула грязь из-под колес.

Я взглянул на Афимью и понял, что письмо было ей неприятно.

Она тоже взглянула на меня и на мои письма из дому, и быстро, как только что лошадь, перевела разговор на другое.

— Ну што вам домашние пишут... Сынка своего не жалеете. Смотрю я на вашу супругу и диву даюсь, как они могли кинуть свое дите... Што бабка, бабка — не мать. Допустим, корова или свинья не пустит свое дите без себе, приказывает ему и стережет его глазом. Я мужику, ежели бы он взял дите и сказал: вот тебе дом — живи, а дите пушай там живет, а бы голову оторвала такому мужику, пес с ним, с мужиком...

По скатам к реке лежали за проволокой нивы, прямо в небо изрезанными черными глазами, и дожидали ветра, чтобы высохнуть перед тем, как запахнуться снегами.

Афимью приворожили поля, и в голове ее, наглухо перекутанной шалью, закопошились мысли, как черви в земле. Она морщилась, будто жалило ее, и старалась ту же стянуть распухавшую голову. А они бились, бились, как по ненастью бьется в окна дождь.

Видно было, что они прорвутся.

— И здесь будет плод в полях. Каждая мать страждет за свой плод.

Не понимая ее тоски, я спросил ее:

— О чем вы?

— Да я зря... — и подхлестнула кобыленку вожжой: — Сапожок подымите, захлещет.

Грязь и поля, не уйдешь ни от скучного пути, ни от скучных слов, они стелются рядом, как осень и чад. Только в этой земле встретится черное и страшное, потому что человек дышит запахами этой земли. У меня сжимается сердце, будто и я найду нож и зарежу им человека.

Зачем так точит крышу дождь, нет покоя; за шесть верст просвистел ночной паровоз. Тишина зажала наш домишко в горсть, и под окошками дежурит мрак. И не хочешь, да слышишь, как шелкнет паз, как по железу скрипнет сосна за окошком и голая сирень бесстыдно

шепчется в углах палисада. Днем рассыпается, как кубики, а по ночам собирается. И наполняет каждый звук. И самое последнее горе, самая кровь тихо всплывут со дна, и шепот неудержимо закричит. Мне больно от непрестанного слушания, но это ведь клей, оно прилипает к ушам и к груди.

У человека самого среднего, самого обыкновенного случаются необыкновенные ночи. И вот такую ночь я прожил один раз и, может быть, иной никогда не проживу. В первый раз я слышал такую молитву и другой такой теперь никогда не услышу. Помню я — и слышал в прежние годы, — как по ночам мать моя молилась богу, как в городе товарищи мои проклинали и кощунствовали над этим самым богом. Но молиться тьме, падающей в окна водою, — этого не слышал никогда.

Сперва за стенкою, где спала Афимья, дремала тишина, потом дрогнула эта тишина, забродила, как тесто, пузырями, и вместе с нею дрогнула стена.

Я не мог усидеть на месте и прошел по коридорчику.

Афимья, в одной рубашке, тяжелой грудой упав на пол у окна, положила на подоконник голову и руки. И вот вижу, будто сейчас, эту голову, обращенную в тьму, и руки, сжавшие дерево, как человека.

Она не называла имени бога, только не богу она молилась, или себе, или этой тьме, распахнув перед нею сердце, как фортку:

— Ты што... Ты мучаешь... Ты отдашь мне... Ты тело мое вернешь... Ты лучше зарежь...

Если бы человек в петле сумел говорить, он говорил бы так.

На дворе к морозу мел ветер, жужжал в пазах, пролезая бритвой сквозь бревна нашего дома.

Утром я получил телеграмму: в далеком городе захворал мой мальчик. Жена испугалась. Встала к окну, — в стекло и в песок несет первой пургой и холодом, и набегают по земле кисея за кисеей. У жены дергаются губы, глаза упали, и вся побелела, как сугроб.

И не разберешь, откуда катятся — слова или слезы.

— Может быть, ты не поверишь мне... может быть...

— Не надо плакать, ничего нет.

— Может быть, ты не поверишь мне, как мне жалко нашего мальчика... Может быть...

— Не надо плакать, сейчас собирайся в город.

Я взял лошадь, отвез жену. На станции — бранью, потом, махоркой, кучей толпились рекруты.

Мальчик, когда ты вырастешь, ты тоже будешь браниться, цыкать и повесишь винтовку за плечи.

Жена ничего не видела. Она глядела в себя, и по щекам от глаз выросло два коричневых крыла. Вечернее небо заклеило тьмою. Мимо станционных фонарей пробежал, как шалун, веселый свист. Я поцеловал жену, она вошла в вагон. Ее лицо пошло тенью и мутью... Вот тронулись, и точка — красный сигнальный огонь — отходила от меня, грустно и мерно вздыхая колесами.

Что же, каждому в свое время будет дан сигнал...

Накормив на ночь скотину, Афимья долго плескалась в умывальнике.

Когда вышел я пить с нею чай, Афимья сидела за самоваром в новом, жестком капоте. Пар кольчиками полз к черной, подмасленной ее голове. На столе опять кислая калина и хлеб ломтями.

Спросила:

— Без женки скушно?

— Немного.

И, брызнув в меня зеленью своих калуцких глаз, протянула стакан. Сама, теперь не стесняясь, пила прямо в прихлебку.

— Любовь — страшное дело, а дите нужно, дите — верное дело. Ежели человеку написано горе, будет горе через дите, а ежели радость, через дите и радость получает. Бабе, как деньги кошельку, надо дите.

— А у вас были дети?..

Афимья высморкалась в рукав и уронила глаза в чашку.

— Не было своих, взяла чужую, Танюшку: крови нету, волк, ласки нету; нет своих — и чужих нечего, бросила... Полгода подержала, пустое все...

И, вылив на меня теплую свою зелень, замолкла, что немая.

Потом без спроса завела старый рыгающий граммофон. Играли гармонисты русские песни. А она глухо подпевала им, зажевывая в горле слова:

Ростов-город мы прославим,
На Садовой дом поставим...
Карманчики, чики-чики,
Бубенчики, чики-чики,
Московские трепачи.

После длинно улыбалась мне белыми, собачьими глазами, рассказывая о замужней жизни, о папеньке, а я ничего не понимал, я думал, как бы скорей уйти мне — пожеливее — от этого невинного и тягучего, как трава, разговора.

И когда ушел, затих мышью у лампы, у книжек, и долго-долго просидел — пока, отвернув занавеску, не увидел мерцающих игл на верхушке моей сосны. Значит — пора спать. Я разделся. Лампа еще горела. Лег, звякнув пружинами, и на минуту задумался о моем мальчике. Вдруг шаркнуло что-то и, зашуршав, остановилось на моем пороге... Афимья — в длинной суровой рубахе, пальцами прикрыв глаза, как козырьком... Помедлила тяжело — и перешагнула резко через порог.

Так — рассказывали мне на охоте — когда ломит медведица сквозь облаву, обрывая линию облавы, веревку с красными флажками. Чего никогда не сделает ни один зверь — ни волк, ни рысь, ни лиса.

И, подобрав мое одеяло, села на кровать.

— Ну, слушай, я пришла, будь что будет...

У меня похолодело в груди, не знаю — что было и почему... Я покраснел и крикнул ей:

— Убирайтесь отсюда вон, сейчас!

Она встала, схватилась за грудь, и половицы скрипнули от ее шагов.

Утром, как ни в чем не бывало, Афимья бухтила в корыте месиво для скота. И я столкнулся с нею в сенях. И улыбнулся почему-то, и она улыбнулась, и рассказала все просто, не стесняясь, будто говорит в скотнике со своими зверями:

— Припадошное это... Очень хочу понести дите, и тоска мене так грызет, так гложет мене тоска, не могу,

жуга мнет сердце, не помню, как решилася... пушай бы Иван Степаныч выгнал, пушай все...

Тут я понял ее тоску, и то, чего не смог дать ей муж. И понял прошлую ночь.

Сегодня новые сутки, по-старому разделенные на звериные сроки: утро, полдень и ночь.

Мне надо было бы обнять и поцеловать эту женщину, захотевшую стать матерью... но я сам не знаю, чего застыдился, и из сеней вышел в лес...

А может быть, я понял все превратно, как часто со мною бывает. Я многого не понимаю ни в этой жизни, ни в этом тоскливом сосновом лесу.

1924



О БЫВШЕМ КУПЦЕ ХРОПОВЕ

— Как тебе, Антон Антоныч, газеты эти не надоедят... — сказала Олимпиада Ивановна, выходя из яблоневого сада с охапкой пакли.

— Не твое дело... — мрачно ответил Хропов, и рассердился, и даже покраснел. — Не бабьего ума дело... Тебе поручено кутать яблони, и кутай.

Что это вы, господь с вами! Поехали бы куда, развлеклись, а то с вашими газетами с ума сойдешь.

— Сходи... — посоветовал Хропов. — Скучно мне, места в жизни не найду.

— Вот другие торгуют, пристроились, приспособился всякий человек к новому режиму, а вы, прости господи, старовер, что ли, не знаете, как подойти. Теперь, слава тебе господи, нет революции, поехали бы куда, и я бы поехала. Вот деверя сестра два года уже уехала в Берлин и живет, не померла, а мы как оглашенные...

— Ну, довольно, — перебил жену Хропов, — довольно. Торговлю запретили — значит, запретили, лавки

закрыл — значит, закрыл. А ежели им пришла охота разрешать, пожалуйста — пушай гольтепа торгует. Вот в бога веровал, а разочаруюсь и перестану веровать. Что ты в самом деле, Олимпиада Ивановна, что ты пристаешь? Может, я революционер.

Олимпиада Ивановна в изумлении даже опустила руки, и пакля упала на землю и, подхваченная сухим ноябрьским ветром, покатила к забору.

— Да что это с вами, Антон Антоныч?

— Ничего, скучно, — плюнув на сторону, сказал Антон Антоныч, — места в нонешней жизни нет. Уеду в Парагвай... Вон в газетах пишут... в парагвайских штатах восстание, войска сдались, штаты пылают, буржуев ловят и бьют, будто блох.

— Да что с вами, Антон Антоныч?

— Ровно ничего. Обидно мне... меня ущемляли, ущемляли, реквизировали, реквизировали... Пушай их ущемляют... А уж ежели там восстание, так небу жарко...

— Да, может, все это врут в газетах, Антон Антоныч. Может, и города такого нет.

— Страна! Страна! — в исступлении почти закричал Хропов. — Не знаешь ничего, а тоже берешься рассуждать. Парагвайцы — это такой народ. Волос черный, густой, что мох, зиму и лето ходят во фраке и даже при цилиндрах, а в правом кармане обязательно ножик. Наваха — по-ихнему. Чуть что, наваху из кармана — и пошло. Спроси сябрского дьякона, он по этому поводу все книжки прочел. Пьяница человек, а с того, может, и пьет, что скучно ему здесь жить.

— Вот вы всё говорите — скучно, а сами никуда не едете.

— И не поеду.

— А мне не скучно, опротивело мне. И даже совестно вам, я еще не такая старая женщина, чтобы губить себя. То у вас торговля, то революция, а то сами не знаете что... как сыч.

— Человек должен сидеть на родине, Олимпиада Ивановна. Не спорьте. А на родине нынче нашему элементу скучно. Не спорьте, — сурово сказал Хропов.

Вдруг из-за забора выросла рука с пакетом, потом показалась почтальон и, протягивая пакет, басом сказал:

— Хроповой Олимпиаде... из Берлина.

— Ай! — вскрикнула Олимпиада Ивановна и упала в обморок.

— Распишитесь в книжке.

— Давай скорей сюда! — крикнул Хропов почтальону. — И что это ты залпом: из Берлина? Видишь, женщина нервная. И много таких писем в наш город приходит? — важно спросил Хропов, расписываясь в почтальонской книжке.

— Да, почитай, на Посолодь первые.

— Первые. А вот ты ленишься газету заносить. Смотри, с каким городом у меня переписка.

— Да, это действительно необыкновенно. Спасибо, товарищ Хропов, — сказал почтальон, получив на чай.

Хропов недовольно посмотрел на жену.

— Лежит... вот чумовая. Ну, письмо, ну, чего тут удивительного, даже перед человеком совестно, право, ну, чего лежишь?

— А может, она ненормальная, товарищ Хропов?

— А ты чего здесь стоишь? Видишь, дело семейное.

— Я что же, — сказал почтальон, прячась в усы, — я могу уйти.

Тут Олимпиада Ивановна, очнувшись, схватилась за письмо.

— Антон Антоныч, брось его, пожалуйста... Не читай, пожги его, бог с ним...

Тогда сказал Антон Антоныч строго:

— Смотрю я на тебя, Липуша, и удивляюсь: при таком муже и такая серая женщина.

Но тут Олимпиада Ивановна вскрикнула: «Свистят, свистят», — и опять упала в обморок.

И действительно, за палисадом проходил свободный художник Мокин, насвистывая песню своего сочинения.

В ярости Хропов выругал свистуна.

— Не видят, черти, рассвистался тоже... Перестань свистеть.

— Это я, Антон Антоныч, художник Мокин. — И толстый, кругленький человек прошел через калитку. — Здравствуй! — сказал толстый, круглый человек в огненных кудрях,

— Что это у вас, и почему Олимпиада Ивановна без движения?

— Да ничего особенного... Письмо мы получили из Берлина. Лушка!

— Чего? — ответил из дому неторопливый голос.
— Воды барыне принеси и нервных капель.
— Принесу, — ответил голос из дому, но в доме все оставалось тихо.

Антон Антоныч Хропов стоял над Олимпиадой Ивановной, размахивая носовым платком.

— От неожиданности, — объяснил Хропов художнику.

В это время из дому вышла Луша со стаканом воды на подносе, с рюмкой и пузырьком.

— Вот вам лекарство, накапано... Накапала...

— Накапала, накапала... Да верно ли ты отсчитала? — спросил Антон Антоныч, взглянув на пузырек. — Может, ты на глаз накапала. Сколько капель отсчитала?

Луша покачала головой, задумалась:

— Будто... пятнадцать...

— Ну, я сам налью, — сказал Хропов и выплеснул рюмку. — Липушка, да очнись ты, господи... Какая у тебя порция для лекарства?

— Пятнадцать, — расслабленным голосом ответила Олимпиада Ивановна.

— Черт, так и знал.

— Зря добро испортили, — сердито сказала Луша и, нарочно зазвенев подносом, ушла в дом.

— Слышал, Яша?

— Что, Антон Антоныч?

— Как народ отвечает.

— Свобода личности, Антон Антоныч, кончен старый режим, умер старый Фирс.

— Какой такой Фирс, Яша?

— Так это, из одного сочинения... Что ж Берлин... Берлин — выгодный, наверное, город. Вот я разживусь, тоже поеду в Берлин картины писать, — сказал Мокин, рассаживаясь на скамейке и закуривая.

— Ишь, корысть-то тебя заела, — рассердился Хропов, — заладил: в Берлин. Сиди здесь... Русский человек обязательно в России должен жить... что мы свою работу в Берлин будем совать?

— Не корысть, Антон Антоныч, а житейское дело. К примеру, зовет меня ваш поп...

— Какой он мой?

— Ну, я к примеру... Распишите, говорит, церковь и подновите старое, то, се... Пожалуйста, могу, деньги на

бочку. А он торгуется, для богородицы, говорит, уступите. Вот серость! А я ему говорю: мне на вашу богородицу работать не расчет. Вообще искусство нынче эксплуатируют. Тоже в Совете портреты пишу, и Парижскую Коммуну им надо — гроши предлагают. Вы, говорит, разве не из революционной совести работаете? Совесть-то совестью, а кто будет совесть мою кормить?

Олимпиада Ивановна, будто что ее кольнуло, вскопчила, услышав такие слова, и в страшном изумлении закричала на Мокина:

— Хоть вам и даден дар, а вы, Яша, прохвост! Больше я ничего не могу сказать.

— А ведь ты действительно прохвост, Яша, — после долгого раздумья сказал Хропов.

— Я... прохвост? Это вы серьезно?

— И не только прохвост, ты хулиган, Яшка.

— Я... хулиган?

Мокин побагровел.

Но Антон Антоныч не унимался.

— Подлец даже ты, Яшка, уж я тебе прямо скажу.

— Я... подлец? Что же это такое, граждане? — в растерянности развел руками Мокин. Но быстро оправился и, надев круглую шляпу-панаму, странно улыбнулся. — Я мстительный, Антон Антоныч, смотрите.

— Не пугаешь меня, Яшка, дар тебе дан, а все же ты от двух отцов рожден: один делал, а другой доделывал, вот потому и нет в тебе соответствия.

— Ах, так! — вскричал художник. — Вы храпидол сами. Мало вас давили, капиталистов.

И стремительно выскочил из палисадника.

Вот из-за какого пустяка началось все происшествие.

Вечером Мокин сидел в трактире и, напившись в долг, хвастался соседям:

— Вот так, и не плачу... А почему я не плачу?.. Никто не знает, почему не платит Мокин. А потому Мокин не платит, что Мокин неприкосновенность личности имеет. Ну, а скажите, пожалуйста, почему бы мне не иметь неприкосновенность личности? А потому он имеет неприкосновенность личности, что имеет советский заказ на праздник Октябрьской годовщины. И вот он сидит и подымает за искусство бокал. Мироныч, дай еще пару!

Ночью Мокин ходил пьяный по Посолоди, бросался грязью и кричал на всю улицу:

— Хропов! Держи карманы! Держи карманы шире!

Псы страшно лаяли, и многие встречные люди, увидев Мокина, отходили от греха в сторону, даже не стесняясь прыгать в канаву.

Поп Паисий, глядя на эту картину из церковного дома, неожиданно для себя перекрестился и сказал матушке:

— Встань, мать, посмотри, как налился наш художник Мокин. До чего доводит человека талант!

Надо прежде сказать, что против церковного дома стояла чудесная липа, а так как Мокин, может быть, не желая терять направления, держался середины, то в пути своем он наткнулся как раз на эту самую липу и, наткнувшись, упал. Полежав у дерева, он встал и оправился, но направление все равно было спутано, и потому около этой чудесной липы он заблудился. А может быть, ему понравился воздух, и потому он ходил кругом дерева и кричал, все более размахивая руками:

— Эй, Хропов, держи карман шире, держи карман!

Поп Паисий, испугавшись, подумал — что бы это могло значить (ведь это было против церковного дома), — сбегал в милицию и рассказал там, задыхаясь:

— Художник Мокин налился и кричит у липы неизвестные слова.

Тогда пришел милиционер. Но Мокин гордо отстранил его рукой:

— А ты знаешь, кто я?.. Мокин я.

— Знаю, вы Мокин.

— Это верно, я Мокин... Но этого мало, дорогой товарищ. Кто я такой? — И Мокин удовлетворенно засмеялся. — Вот уж этого ты и не знаешь. Ну, тронь меня, тронь, пожалуйста.

— Никто вас не трогает, — сказал милиционер. — Уходите подобру-поздорову.

Ночью Мокин кричал в трактире. А кругом собирався народ и слушал.

— Скажите вашему Хропову: пусть карман держит шире. А кто мне может что сказать? Вот выпил и еще выпью, еще могу бутылку заказать. Потому что — кто

я... художник Мокин, имеющий советский заказ... неприкосновенный художник, свободная личность. Вот кто я... Вот я даже могу по улице пойти и петь песни своего сочинения:

И действительно, Мокин, нахлобучив летнюю панаму, вышел на Егорьевскую улицу, держа направление к липам, чтобы не потеряться, и пел песни.

И так как никто не мог понять, какие песни поет Мокин, то, во избежание скандала, народ не пошел за Мокиным.

Мокину стало скучно. Он упал у церковного двора и, запев что-то невообразимое, совсем испугал попа Паисия. Поп опять сбегал в милицию и заявил:

— Художник Мокин у моего дома поет песни с неизвестными словами.

И когда пришел милиционер Пантюхов, Мокин уже заснул у столба.

— Вот, — сказал поп, — до чего доводит гордость. Возьмите его, товарищ.

Пантюхов поднял Мокина под мышки и прислонил к забору. Мокин проснулся. Тогда сказал Пантюхов громко, как будто уронил рояль:

— Пожалуйте.

— Не пойду! — закричал Мокин и в ярости сорвал с головы любимую свою шляпу. — Веди меня силой... Не хочу подчиняться узурпации. Знаешь — кто я... я художник Мокин, меня все начальство знает... я свободная личность.

— Может быть, — спокойно сказал Пантюхов и подал ему шляпу. — Пожалуйте за мной, товарищ Мокин!

— Не пойду... Употребляй насилие, пусть все видят.

— Ах, так, — спокойно прибавил Пантюхов, — ежели вы не перестанете бузить, я свистну.

— Свистни... — попросил Мокин, повиснув в воздухе, — пускай все узнают. Свистни, пожалуйста, сейчас тебе будет...

Милиционер засвистал. И Мокина повели в участок.

А он смеялся в лицо всей встревоженной Посолоди и пел песни.

Вот, граждане, вы увидите, что такое будет.

Если бы здесь мы поставили точку, мы не рассказали бы самого главного.

Волнения столиц ничуть не важнее нашего волнения. Правда, посолодский пруд не есть Ладожское озеро, но вода есть вода. Кто же может это оспаривать?

Вот почему художник Мокин был выпущен на свободу и заявил милиции:

— Пьян был, сознаюсь, но кто причина?.. Бывший купец и капиталист Хропов...

И в этот же вечер он снова напился и ходил по улицам, угрожая:

— Погодите, я его съем.

И каждого, конечно, занимало—кто кого съест и как.

Наконец наступил этот торжественный день, принесший небывалый смех.

Под звуки собственного оркестра шла группа профессионального союза советских служащих с плакатом: «Мы наш, мы новый мир построим». Плакат изображал союз крестьянина и рабочего, трогательно скрестивших руки на обломках, и вот из-под этих обломков старого мира выглядывала испуганная голова Хропова.

Хропов затаил злость.

На следующее же утро, взяв палку, он пошел, встревоженный, по улицам, останавливая встречающих и заходя в дома.

— Слыхали?

— Что? Как будто бы ничего не слыхали. Нет, слышали, Антон Антоныч... Начальник милиции обрезал своей собаке хвост... говорит — французская порода.

— Да нет, не то...

— А что же такое, Антон Антоныч?

Хропов осторожно приподымал палку и шептал на ухо:

— Мокин...

— Не слышу!

— Он... шу-шу-шу... шу-шу-шу-шу... Он... шу-шу-шу...

Он... шу-шу...

Тут оба оглядывались по сторонам и переходили на такой шепот, что даже сами плохо слышали друг друга.

— Не может быть, Антон Антоныч.

— Я вам говорю...

— Не может быть... Он же лики мажет в церкви.

— Совершенно правильно, мажет... Он такое всем намажет... И намажет так... И мы такие выйдем измазанные. Ну, наше дело маленькое, я тороплюсь... Я вот тут себе собачку подыскиваю.

Вечером донесли об этом Мокину. Он был уже пьян, кинул бутылку и крикнул:

— Пусть ждет трубы твой Хропов!

Никто не удивился. Уже привыкли к тому, что художник изъяснялся туманно и что ему, как человеку искусства, вполне прилично отличаться странностями.

И только одно интересовало всех—о какой трубе занкнулся художник Мокин. Есть сигнальная труба, допустим, у стрелочников, есть просто труба—например, водопроводная, музыкальная труба тоже есть, есть выражение, многим непонятное,—«бертова» труба, бывает дымовая труба—конечно, о ней мы совсем забыли, выражение есть—в трубу вылететь. Но если на это последнее намекал художник Мокин, то это был пустой намек, недостойный представителя искусства, плохо разбирающегося в текущем моменте. Нет, несомненно, здесь что-то не то... Но что именно не то, долго бились над этим посолодяне и, не добившись, бросили. Да и как было добиться такой мудреной загадки, когда жители Посолоди занимаются скотоводством и прасольством, а, как известно из «Общей истории культуры и цивилизации», подобные занятия мало способствуют развитию ума. Но все-таки мудрец нашелся, пусть не чистая кровь, пусть не прирожденец Посолоди, однако же имеющий дом и аптекарскую практику,—гражданин Сонеберг, аптекарь, с которым даже при Февральской революции случился такой казус. Соблазнился он революцией и вступил в партию социалистов-революционеров и даже выступал однажды на крестьянском митинге с такими словами:

— Правильно сказано, товарищи, что в борьбе обрешь ты право свое, а потому всю землю нам.

На что мужики, расходясь с митинга, так говорили:

— Вот сука, все о себе хлопочет, умная нация...

И, желая опередить Сонеберга, немедленно пожгли именина и произвели дележку.

Итак, когда взялся отгадывать гражданин Сонеберг, воздух был напряжен и действительно пахло в нем по-рохом.

Сонеберг же вопрос поставил ясно и прямо ребром.

— Что? — сказал гражданин Сонеберг, занимающийся аптекарской практикой. — Почему не так, почему не труба? Я уже давно говорил... Как вы не понимаете? Знаете, есть такие места, о которых очень страшно говорить, потому что это очень дальние места, и можно туда глядеть в подзорную трубу... О! Это уже есть труба! И я не завидую товарищу Хропову.

Все ахнули — и разошлись.

И обнаружилось все совершенно неожиданно. И даже, можно сказать, что никто никогда помыслить не мог. Смелость Мокина превысила границы человеческого разума, развернувшись небывалой фантазмагорией, и ослепила Посолодь настолько, что сначала все сказали только одно слово: «Ну...»

И с этим, только с одним этим словом ходили целую неделю. И при встрече с художником Мокиным каждый житель делал вежливое лицо и глазами изображал живейшую радость, будто и в самом деле видеть его доставляло жителям величайшее удовольствие.

Что же такое выкинул Мокин? Отчего проник в сердце трепет?

У левого престола посолодинской церкви художник Мокин писал картину «Страшного суда». И в Егорьев день, 27 ноября, в престоле полотняная завеса была спущена. В верхней части картины голубой ангел трубил в золотую трубу, а в нижней части, где изображались муки ада, голый грешник в непривлекательном и гнусном виде, дергаясь, лизал адскую сковороду. Читатель, конечно, догадывается, что этим грешником был Хропов Антон Антонович.

И когда Хропова подвели к картине, думали, что с ним будет удар. Затряслись на лбу синие жилки, он пошатнулся, но, ухватившись за соседей, имел еще силы сказать:

— Не ожидал, совсем не ожидал.

А после этого случая супруга Хропова, Олимпиада Ивановна, желая, может быть, смягчить тягостное впечатление, сообщила соседкам:

— Ничего страшного. Голова его, это верно, а тело совсем чужого мужчины. И не знаю даже, чье тело... Вот чье тело такое — интересно узнать...

Я ровно ничего не хочу этим сказать, у всякого, конечно, свои мысли и даже, может быть, цели, но Олимпиада Ивановна была действительно взволнована. И сам Антон Антонович, заметив это, рассердился и запретил ей посещать церковь.

Вечером сего же дня, надев картуз, отправился он к отцу Паисию. Застал его за колкой дров (вечером матушка собиралась печь оладьи). Линию свою Антон Антонович повел очень тонко.

— А может быть, отец Паисий, тут пахнет кощунством?

— Сейчас, — сказал отец Паисий, отбрасывая колун, — я только надену подрясничек...

— Не беспокойтесь, отец Паисий, оставайтесь в штатском виде, — ответил Хропов, — я ведь на минуту зашел спросить, нет ли здесь беса или какой ереси.

Отец Паисий, закурив, сказал очень твердо:

— Беса нет, но в творении пребывает нечто католическое, но оно столь тонко, что, может, сего и нет.

— А нельзя сие тонкое заметить? — ласково сказал Хропов.

Отец Паисий не любил скорых решений и потому попросил:

— Антон Антонович, дайте мне сутки на размышление.

Целую ночь думал отец Паисий, ворочаясь в кровати столь энергично, что матушка, лежавшая с ним рядом, заметила спросонья:

— Не ври... клопов я выводила вчера.

— Да отстань. Вот сосуд навязался на мою шею, — отмахнулся отец Паисий.

Отец Паисий думал так: «Ежели картину замазать, хорошо... А что будет дальше? Хропова, конечно, удовлетворишь, а дальше? А дальше христиан отгонишь... Так придет каждый полюбопытствовать, даже соседи придут: каждому интересно посмотреть, как Хропов в виде грешника лизет сковороду, и, конечно, зайдя,

свечку купит или в блюдо как-нибудь кинет, а может быть, посоветуется, вдруг нечаянно и молебен закажет. Мало ли что бывает... Нет, — решил отец Паисий, — откажу я Хропову. Откажу!»

И когда Хропов явился за ответом, отец Паисий сказал ему смиренно:

— Что поделать, Антон Антонович, ведь оно теперь святое... Ведь рассвятить его не могу, ну, — я могу помыть, почистить, лаком покрыть.

— Куда вы хватили, отец Паисий? Лаком... — испугался Хропов.

— Да я только к слову, Антон Антонович. Я к тому веду, почтеннейший Антон Антонович, что своими средствами ничего тут не попишешь, тут придется к архиерею ехать, и еще как тому взглянется, — может быть, и до митрополита придется дойти.

— Я дойду, — решительно заявил Антон Антонович.

— Очень это долго, Антон Антонович. Это, может быть, год.

— Да хоть в десять лет, а дойду.

— Это вы в запальчивости говорите, Антон Антонович; когда подумаете, сами увидите, что напрасно...

— А я взрыв сделаю. Собор взорву, — сказал Хропов и в волнении даже встал во весь рост.

— Бог с вами, Антон Антонович, эка вы газет читались. И даже лица на вас нет, сходили бы вы к доктору.

— Не пойду я к доктору, я не лошадь, — не помня себя, сказал Антон Антонович и в полном смятении, даже вприпрыжку, даже забыв попрощаться с отцом Паисием, ушел с церковного двора.

Полную ночь не сомкнул глаз Антон Антонович. И прекрасный месяц, вливавшийся за штору как жидкое серебро, только мешал сну, рассеивая его мысли. Дошло до того, что, не выдержав, обулся Хропов в валенки и, одев прямо на исподнее старую шубу, вышел к крылечку — подышать ночью и развеять жар прохладой.

И, наверное, ночной воздух так подействовал на разгоряченную голову, что Антон Антонович Хропов, вернувшись, крепко и хорошо заснул. И как только встал утром и не успел еще попить чаю, его осенило. Ничего

не сказав Олимпиаде Ивановне, собиравшей к столу чашки, он побежал к отцу Паисию.

Агафья Тихоновна окликнула его, немного встревожившись:

— Что вы, угорели, Антон Антонович?

Но он не услышал этого, так велико было его стремление. И, запыхавшись, вбежал он за церковную ограду, крича что есть мочи:

— Нашел, отец Паисий, нашел!

Отец Паисий, прикрываясь занавесью, так как был еще в спальном виде, отворил форточку.

— Здравствуйте, Антон Антонович.

— Нашел... — только и мог сказать Хропов, в изнеможении падая на влажную утреннюю траву.

— Что же мы так стоим, — сказал поп Паисий, — да вы зайдите в квартиру...

— Нет, спасибо, я к вам на минутку забежал... я нашел...

— Да что вы такое нашли, Антон Антонович? Да встаньте с земли, там сыро, и собаки тут ходят, — удивляясь, сказал поп Паисий.

— Средство нашел от зла...

— Что сие означает? — еще больше удивляясь, спросил поп.

— Свесить, отец Паисий. Снять, то есть, картину совсем, будто ее и не было.

— Необыкновенно простой выход, — согласился отец Паисий, — но необходимо подумать.

— Господи, отец Паисий, чего же думать? Да я хоть сейчас сам вон сниму, и без посторонней помощи. Где у вас лестница и молоток?

— Сейчас, — ответил поп, — я одену подрясничек.

И захлопнул форточку, чем немало рассердил Антона Антоновича, сказавшего: «Вот фокусник!»

И пока поп Паисий открывал дверь, чтобы впустить Антона Антоновича, Хропов придумал еще одно доказательство:

— Отец Паисий, Мокин — безбожный человек, и вы должны радоваться, что от нее избавляетесь. Не могла бы она вам помогать.

Поп покосился на Антона Антоновича, но спорить не стал.

— Антон Антоныч, вы человек светский и в нашей духовной профессии мыслите не иначе, как по-светски. Чудотворить может простой камень или, к примеру, дерево, и даже бесы носили воду угодникам, когда был на то всевышний промысл. Я не к поводу спора, а к поводу неизвестности.

— Отец Паисий, я понимаю, я человек коммерческий. Вы говорите о возможных убытках.

— Не о возможных, а о настоящих я говорю, Антон Антоныч. Прикиньте, что мне стоит, простите, живопись — раз, холст — два, дерево для рамы и работа рамы — три, гвозди — четыре, за...

— Довольно! — вскричал Хропов. — За все я вас вознаграждаю.

Поп Паисий не знал, как вывернуться, и остался в большом смущении, выдумывая новый предлог. Тогда Хропов, заметив его колебания, поднял полу своего сюртука и с жаром воскликнул:

— Ну, покупаю!

— И еще.

— И еще вкладываю в храм, — ответил Хропов.

Поп Паисий не знал, что ему делать. С одной стороны, ему очень хотелось согласиться, а с другой — боялся прогадать.

— Вот что, Антон Антоныч, — решительно сказал поп, — дайте мне еще одни сутки на размышление.

Антон Антонович Хропов вышел из церковной ограды, смутным пудовым взглядом окидывая травку, солнце, дома, и, придя к себе, отказался пить чай. Еле-еле дозвалась его к обеду Олимпиада Ивановна.

— Вы покушайте, Антон Антоныч, и будет вам легче.

Ел он без всякого аппетита, не обращая на кушанье никакого внимания. И тогда Олимпиада Ивановна, обеспокоившись, спросила его:

— Антошенька, как тебе второе понравилось?

— Ничего, лещичек славный.

Тут Олимпиада Ивановна рассердилась таким невниманием, и вырвала вилку у Антона Антоновича из рук, и сказала недовольно:

— Да ты сказился, батюшка мой. Ты же свинину ешь. Или вникай в дело, или я прикажу кормить тебя на кухне.

— Что? Что ты такое сказала? О-лим-пи-ада? — по-багровел и закричал нараспев Хропов, выскочив из-за стола и швырнув ложкой прямо в кота, тершегося около Олимпиады Ивановны в ожидании подачи.

— Ничего. Не кричите, пожалуйста, не при старом режиме. Я еще не настолько стара, чтобы терпеть, — спокойно сказала Олимпиада Ивановна, взяв с полу обалдевшего кота и уйдя с ним в спальню.

В другое время Антон Антонович разнес бы дом по бревнышку, но сейчас, увлекшись совсем другими мыслями, он не придавал особенной важности подобной супружеской вспышке и решил пройтись за город, чтобы там на просторе разгуляться и найти иной выход.

Конец ноября как раз выдался сухой и ясный, и осенние гряды туч безмятежно отдыхали на самом краю полей, ничуть не мешая погоде.

Антон Антонович на пересечении двух дорог, сябровой и стружской, выбрал камень, смахнул с него дорожную пыль и присел, чтобы рассортировать мысли, как на прилавке товар.

— Несомненно, поп мне не нравится... Поп жаден, ну, пускай, черт с ним, что из того, что жаден: корыстолюбие свойственно человеческой натуре, но зачем же оттягивать? Оттягивать — это уже афера, это даже шантаж, за который при старом режиме могли послать в тюрьму, а нынче могут даже к высшей мере... Нет, не верю я попу, хоть ты что сделай, не верю. Тут надо обойти, тут выдумку подвести такую, чтобы сел он в галошу: на вот тебе, мол, аферист, сиди в галоше и чеши пятки. Тут что друг не сделает, враг поможет. Именно враг. Враг в таком деле вернее всякого друга. Что друг? Есть у тебя деньги — и друг. А нет денег или попал в безвыходное, так ты будто стреляная ворона — никому и не нужен, и друга нет, и даже предаст друг, не постесняется. Несомненно, это так. И несомненно, что в таком щекотливом деле враг нужен, только враг пожалеет и скажет: «Ладно, мол, Антон Антонович, вот, мол, твое дело рассыпем так и так». А попу я не верю, убей меня на этом самом месте, не верю. Тут только Мокин может. Приду к нему. «Ну, скажу, Мокин, здравствуй! Помогли мне, Мокин, спаси, пожалуйста, нет больше моей силы,

ты победил. Вот пришел к тебе купец Хропов и просит прощения, победило искусство Мокина... На вот тебе от души пять червонцев, или даже десять могу, замажь меня на картине немедленно, и пойдем в трактир». А Мокин мне скажет: «Давно бы так, Антон Антонович, мне ведь и самому неприятно». А если этот аферист будет кочевряжиться, может Мокин, как свободная личность, прийти в Совет и шепнуть. И без сомнения, шепнет. Пускай поп бесится... А я ему: «На-ка выкуси, отец Паисий, видал-миндал... на тебе размышление, съел?»

Так Антон Антонович, сидя при двух дорогах на камешке, рассуждал вслух и смеялся.

В это время проезжала телега из Сябер с комсомольцами, возвращались они с конференции. И самая молодая из них, курчавенькая, с тупым носом, Сонечка Сонеберг, аптекарская дочка, увидя Антона Антоновича смеющимся и рассуждающим на разные голоса, сказала товарищам:

— Не рехнулся ли купец Хропов? Вот здорово.

И, приехав домой, рассказала о Хропове папаше.

Олимпиада Ивановна сидела дома у окошечка и плакала, когда пришел аптекарь Сонеберг.

— Что вы плачете, мадам Хропова? — спросил он осторожно.

— Как же мне не плакать, господин Сонеберг. Все люди как люди, одна я несчастная... Вот Фимушка, например, деверя моего сестра, в Берлине живет. Чего только нет там, в этом Берлине, господин Сонеберг. И луну-парк показывают, и под землей ездят. А какие кофточки! Рисунок им не в рисунок, полоса не в полосу — прямо зарылись. Негры на каждом шагу сапоги чистят, а я у моего благоверного в Питер выпроситься не могу: сиди, говорит, на чем сидишь. И теперь еще эта история...

И вдруг снова в три ручья залилась Олимпиада Ивановна.

— Какая это история, мадам Хропова?

— Какая, господи, да эта, с картинкой. Не пьет, господин Сонеберг, и не ест.

— Не ест? — внимательно спросил Сонеберг.

— Совсем не ест, господин Сонеберг, и не пьет совсем ничего, кидается на меня, как бешеный пес.

— Бешеный, — воскликнул Сонеберг, — это уже есть!

— Совершенно бешеный, господин Сонеберг. Совершенно. Сегодня даже кинул в меня ложкой.

— О! — перебил ее Сонеберг. — Я так и думал. Это уже есть. Знаете что, мадам. Заприте скорей все ложки и спрячьте туда, пожалуйста, все ножики. Я, как практикующий на правах врача, советую вам. Больше ничего я не могу пока сказать. До свиданья, мадам Хропова.

— Да что же вы так скоро? Да что ж вы думаете, Иосиф Иосевич? — испугалась Хропова.

— Медицина, — гордо ответил Сонеберг, — ничего не думает, мадам Хропова. Она анализирует и ставит диагноз.

— Ах, господи! Да вы бы хоть чаю остались попить... — заметалась в страхе Олимпиада Ивановна.

— Нет, благодарю вас, я спешу. Мне телочку предлагают, все же надо посмотреть...

— Подождите одну минуточку, господин Сонеберг, — попросила Олимпиада Ивановна и, отобрав в соседней комнате серебро, вынесла гонорар Сонебергу бумажными деньгами.

— Простите, господин Сонеберг, — сказала она ему.

— Ах, зачем же такое беспокойство. Мерси, не стоит...

И, положив комочек бумаги в жилетный карман, вышел он из комнаты с достоинством, вежливо улыбнувшись на прощание Олимпиаде Ивановне.

— Главное, не волнуйтесь, можно еще вечером взглянуть.

Только что успел уйти Сонеберг, как вернулся Хропов. Вынул из кармана банку с медом и поставил перед Олимпиадой Ивановной.

— Кушай, Олимпиада Ивановна, свеженького, центробежного, сейчас в лабазе взял.

— Спасибо, Антон Антонович. Где это вы так долго гуляли?

— В поле гулял, Липушка... в поле чудесный воздух, очень прочищает ум. А попу Паисию не верю я, Липушка, вот убей меня на этом самом месте, совсем не верую такому аферисту. Да что ты на меня так подозрительно смотришь? Не пьян, в своем уме и в твердой памяти.

— Может быть, вы еще хотите прогуляться? — ласково подошла к нему Олимпиада Ивановна, думая, как бы ей без него убрать в доме эти проклятые ножики.

— Рехнулась ты, видно, матушка. Мало я гулял! Да я есть хочу, как собака. Прикажи собрать... А-ах... — веселым смехом залился Антон Антонович... — К Мокину заходил, к врагу. Уехал... в Сябры его, видишь, звали церковь расписывать, заказ получает. Знаменитость. А все откуда пошел, спрашивается... С меня пошел, с моей легкой руки... вылезает в люди.

— А ты бы погулял, Антон Антонович. Я бы пока собрала.

— Да отстань ты со своим гуляньем. Вот гвоздь. Есть я хочу. Что там у тебя есть, давай.

«Как же быть с ножиками?» — думает Олимпиада Ивановна.

— Каша только есть, Антон Антонович.

— Не хочу каши, мясного давай.

— Нет мясного, кот съел, Антон Антонович.

— Как — кот? Да побойся ты бога, Олимпиада Ивановна, ты же целый окорок к обеду подала.

— Вот... так и вышло... не стали вы кушать, ложкой бросили и ушли, а он нарочно, наверно, и слопал.

— Да как же это может кот нарочно?.. Где же это видано, чтобы простому коту целый окорок слопать? Нет, матушка Олимпиада Ивановна, ты, кажется, и впрямь рехнулась. И верно, придется мне в аптеку пойти.

— И верно, пошли бы сами полечились. Сказали бы отцу Паисию, чтобы он хлопотал...

— Стой, твоему отцу я не верю... Вот он сутки ждет, размышляет, а я сговорюсь с Мокиным, а ему — дулю, пущай кушает.

— ...А мы бы, дорогой Антон Антонович, поехали бы в Питер потом, проветрились бы, полечились...

— Да от чего мне лечиться?

— Ну, я хочу развлечение иметь. Не собака я, Антон Антонович. Собаку, и ту гулять водят.

— Пожалуйста, гуляй, сколько в душу влезет. Я, кажется, тебя не неволю.

— Антон Антонович, миленький, дорогушенька, уедем отсюда, из этого проклятого города, проветримся...

— Ну... Ну, что такое тебе требуется проветривать? Что, у тебя сырость развелась?

— Посмотрим, что есть там такое, в Питере, какие новые фасоны носят, походим по улице..

— Ну, заладила... Здесь тебе улицы мало.

— ...По проспекту хочется. Ну, Антошенька, вспомни...

И Олимпиада Ивановна горячо обняла Антона Антоновича.

— Ишь ты, ишь ты... Ну, кошка... У-у, какая кошка. Ну, есть-то мне прикажи подать: в животе урчит, как паровая машина.

— А поедешь в Питер?

— Пристала... Не поеду в Питер. Не поеду.

— Ах, не поедете?

— Не поеду.

— Решительно не поедете?

— Решительно не поеду. Прямо черт.

— Ну, ладно, запомните мои слова... Лушка, давай мясного Антону Антоновичу...

— А кот?.. — в удивлении спросил Антон Антонович.

— Ни при чем тут кот... Вам запрещено мясное. А теперь кушайте, если охота...

Но Антон Антонович так проголодался, что не хотелось ему расспрашивать. Попросил себе горчицы. А тем временем Олимпиада Ивановна, что-то сообразив, потихонечку вышла из дому — будто в прогулку.

— Ножик вам сейчас дадут, Антон Антонович, — крикнула ему в окошко. Сама же скромненько, выбирая места посуше, пошла прямо, разнюхивая жительство художника Мокина.

План у нее созрел такой: уприсит Мокина, во что бы то ни стало, отказаться от предложения Антона Антоновича под тем предлогом, что необходимо ему лечиться, так как иначе его никак отсюда, из Посолоди, не вызовешь. Если же Мокин откажет, то Антону Антоновичу, дескать, поневоле захочется уехать отсюда, а тем самым и желание Олимпиады Ивановны будет выполнено.

Так, хитря и улыбаясь сама себе, добралась Олимпиада Ивановна до места своего назначения.

Художник Мокин проживал у посолодского пруда в желтом доме, там же, где и церковь. Некогда обитал

здесь отец дьякон, но при сокращении штатов дьякон был упразднен, а дом по хилости отдан был гражданам в разлом. Граждане посолодские разломали уже половину, когда в Посолоди появился художник Мокин. Приглянулась ему эта развалина, и он упросил местное начальство отдать ему этот дом во владение. Приглянулся же он по четырем причинам: первая — отдала дом ему почти даром, вторая — должен он был работать в церкви, взяв тут небольшой заказ, и потому житьazole было страшно удобно и отвечало его малоподвижной натуре, третья — руина нравилась ему: тут есть что-то и от романтизма, в глубине души он все-таки парил высокими чувствами, и четвертая — дешевизна дров; вернее — они ему ничего не стоили: он разламывал постепенно одну половину дома, в которой не жил.

Придя к Мокину, Олимпиада Ивановна немного испугалась царившего там беспорядка, но, как дама с характером, сразу сдержалась и спокойно спросила пробогавшую с утенком девочку:

— Скажи, милая, здесь художник живет?

Девочка выпустила утенка из рук, и он побежал с крыльца, ковыляя, как старичок.

— Нетути тут такого.

— Да как же нету, когда мне сказали, что в дьяковом доме он живет, художник Мокин.

— А если вы знаете сами, чего же спрашиваете? — засмеялась ей в лицо девочка и побежала за своим утенком.

— Дрянь, мерзавка, — обругалась Олимпиада Ивановна.

Но девочка не слыхала и, поймав утенка за изгородью, крикнула ей совсем просто:

— Может, маляра вам? Маляр Мокин тутотки проживает.

У Олимпиады Ивановны забилося сердце, и, капельным крестиком перекрестившись под жакетом, она вошла в переднюю.

Яша Мокин, стоя перед рукомойником, без рубашки, усердно натирал мылом лицо, волосы, шею. Увидев входившую Олимпиаду Ивановну, он не смутился и попросил:

— Простите, я в неглиже. Сейчас оботрусь. Вы пройдите в апартаменты.

И ногой, — так как мыло лезло ему в нос, в глаза и в уши, и он усердно протирал их пальцами, — указал Олимпиаде Ивановне на дверь с изодранным войлоком.

И подумал: «Зачем приперлась? Ну, будет жара. Самое прислал. Черт с ним, замажу. Ну, будь что будет».

И, вытершись насухо и надев пиджак прямо на голое тело, он пошел за Олимпиадой Ивановной. Она стояла в комнате, не зная, куда присесть. Везде была навалена всякая дрянь: на табуретке горшок с маслом, на стульях табак, краски, кисточки, а кресло, сделанное под стиль gusse — с дугой вместо спинки, кнутом, рукавицами и двумя топорами вместо подлокотников, — служило Мокину вечной пепельницей, и на сиденье образовалась гора окурков — было их там никак не менее нескольких сотен.

— Здравствуйте, Олимпиада Ивановна, — сказал Мокин любезно. — Что же вы не присядете?

Она попробовала было присесть на краешек табуретки, где стоял горшок с маслом, но табуретка закачалась, так как была на трех ножках.

— Ах, простите... Здесь не совсем чисто. Вот я вам сейчас опорожню, — сообразил Мокин и резким движением руки сковырнул с кресла грудю окурков на пол, сразу подняв такое облачище пепла, что Олимпиада Ивановна расчихалась.

— Фу, фу, фу... Что вы тут такое копите? Я думала, пушка выстрелила.

— Да, действительно, — смущенно согласился Мокин. — Некогда, знаете, выбрасывать, ну и набралось.

— Но ведь это же нечисто, Яша.

— Да, действительно, Олимпиада Ивановна. Но я живу без предрассудков...

И Мокин весело тряхнул рыжими, как огонь, кудрями.

— И потом, знаете, Олимпиада Ивановна, скучно без пыли одинокому человеку. Ну, у кого жена там или розанчик какой-нибудь, тому действительно приятна чистота... А мне зачем? Мне этак удобнее, да и уютнее оно как-то.

Сам он неизвестно каким образом уместился на краешке табуретки, и она не пошатнулась. И, точно в оправдание этого, улыбнулся Яша Мокин.

— Это вам с непривычки, Олимпиада Ивановна.

— Может быть... — согласилась она.

Оба посидели друг против друга молча минут десять. Наконец Олимпиада Ивановна собралась с силами.

— Вы простите меня, Яшенька, за прошлые слова.

— Что вы, Олимпиада Ивановна, я и думать давно забыл. У меня всегда так: меня оскорбят, ну, думаю, кипятком оболью или даже застрелить могу, — тогда мне не попадайся под руку, тогда точно винт винчусь, все могу сделать. А прошла неделя, и уж сам остыл...

И, помолчав, добавил, как бы с некоторой тайной мыслью:

— ...И даже с сожалением вспоминаю.

— Да вы совсем, значит, хороший, — с какой-то тронутостью сказала Олимпиада Ивановна.

— Как вам сказать, Олимпиада Ивановна, может быть, я и гадкий. Только я не думаю о гадости, значит, я не из желания гадить нагадил. Все мы хорошие, когда спим.

— Это о чем, позвольте, Яша?

— Это я так-с, Олимпиада Ивановна.

Хропова вынула платочек, не зная, как начать разговор. И неожиданно выручил сам Яша.

— Олимпиада Ивановна, я человек русский, я прямоу люблю. Вы насчет картинки пришли?

— Насчет картинки, Яшенька, — призналась Олимпиада Ивановна и, покрасневшись слегка, застыдившись, поднесла платочек к голубым своим глазам.

И вдруг стало стыдно Яше белокурых ее волос, и голубых глаз, и этого платочка, и он, почувствовав себя страшным подлецом, упал перед ней на колени.

— Олимпиада Ивановна, не плачьте, я сейчас побегу и замажу.

— Не надо замазывать, Яшенька.

— Нет, я замажу, Олимпиада Ивановна. Я не могу так.

Он вдруг схватил кисть и ведро, чтобы побежать в церковь.

— Нет, Яшенька, — властно остановила его Хропова, — я запрещаю. Не замазывай, пожалуйста. А вот, когда мы уедем, тогда замажьте, уж тогда, миленький, пожалуйста, замажьте, я с вас слово возьму.

Яша в изумлении неловко присел на свою табуретку, так что чуть не опрокинул с нее масляный горшок,

— Что такое в мире делается, не понимаю я. Олимпиада Ивановна, куда вы уедете?

— Сейчас объясню. Выходит так: в мире надо жить, Мокин, обманом и свинством, иначе не проживешь. И дело мое обстоит так. Как вы знаете, Антон Антонович, прости господи, упористый человек, и уж коли сказал, так кончено — менять не будет, хоть тут мир расколись вдребезги. Сегодня у нас один фокус, завтра другой, и ежели он начал так расстраиваться, необходимо его рассеять. Мне и Сонеберг говорил так, Яша. И, по правде говоря, самой-то мне Посолодь наша так посолодела, так мне хочется все поглядеть, ничего-то я не видала за сорок пять лет, скоро пятьдесят стукнет, кроме Посолоди, что вот так бы и вырвалась, так бы пешком пошла, глаза завязавши, червяком бы поползла, гадом. Как же это сделать, Яша?

— Не знаю, Олимпиада Ивановна.

— К вам придет Антон Антонович и просить будет. А вы его не слушайте.

— Как не слушать?

— Так, не сдавайтесь на просьбы, да и все. Ну, приврите что-нибудь...

— Что же я привру?

— Ну, Яша, будто стали вы маленький. Не могу, скажите, да и все, совесть мешает.

— Этого я не могу сказать. Он не поверит в этом мне.

— А ведь, пожалуй, в этом и не поверит вам. Это вы верно, Яша. Ну, тогда скажите, что боитесь начальства, да мало ли что можно сказать.

— И в этом он не поверит мне, Олимпиада Ивановна. Все знают, начальства я не боюсь.

— Вот что тогда вы скажите...

Олимпиада Ивановна задумалась и, найдя что-то ловкое и убедительное, даже прищелкнула пальцами.

— ...Скажите так, что невыгодно это вам, невыгодно, вот и все... Или даже просто скажите ему, что не станете вы себе службу портить...

— Карьеру, лучше сказать, Олимпиада Ивановна.

— Ну, вот так. Вот тогда увидит Антон Антонович, что пекуда ему податься, а я его подзужу, бросим все да уедем от этой гадости, и чтобы разошлась эта смута, он тут и согласится. Так мы рассеемся, и ему хорошо,

да и мне это такая радость. А когда вернемся, тут уж и нет ничего. Тут уже всё замазали.

— Вы очень хорошо, очень умно придумали, Олимпиада Ивановна. Вам бы комиссаром быть.

— Вот все и кончится по очень хорошему. Вот, Яша, дайте мне слово и на то и на это.

— Даю, Олимпиада Ивановна.

Олимпиада Ивановна, встав с кресла, надела не спеша митенки.

— Всегда это вы принарядившись... — слюбезничал Мокин.

— Старинные еще, Яша. Я ведь до сих пор стариной живу. Нынче Антон Антонович за все семь лет революции ничего мне не покупывал, булавки простой не принес. Так можно мне на вас, Яша, надеяться?

— Да что я — собака, Олимпиада Ивановна, что я — кошка? Будьте спокойны. Пойдемте, я вас провожу.

— Ой, Яшенька, не хочу, чтобы кто видел. Такое наплетут...

— Да что вы.

Поискав в сору зонтик, Олимпиада Ивановна успокоенная вышла от Мокина.

Пробуждение Антона Антоновича было радостным.

Когда стал он одеваться, приключилась с ним, правда, маленькая история, на несколько минут омрачившая его настроение, Антон Антонович обувал левую ногу, наклонился, чтобы поднадавить на пятку; вдруг темная тень пролетела в глазах, похолодел лоб, и к глазам точно кто коснулся льдом, сжалось в кулачок сердце — и Антон Антонович чуть не потерял сознание.

— Что с тобой, Антоша?

— Ничего, мать, будто кто-то меня схватил.

— Это от сердца, Антон Антонович, я тебе накапаю нервных капель, выпей скорей. Луша, рюмку скорей!

Все болезни лечила Олимпиада Ивановна своими нервными каплями. Но когда выпил Антон Антонович рюмочку, через четверть часа почувствовал себя легче, лучше, веселее.

— Луша, палку мне принеси.

— Да не брали бы вы с собой палку, Антон Антонович. Вы еще побьете Мокина.

— Дурочка ты... Таких людей не палкой учат, а розгой.

— Он уж не такой дурной, — заступилась за Мокина Олимпиада Ивановна.

— Да уж не в стачке ли ты с ним? — пошутил Антон Антонович, и Олимпиада Ивановна покраснела.

Но Антону Антоновичу некогда было замечать. Взяв палку, чтобы не оскользнуться, он направился к дяконову дому на Егорьевской улице (потом Красной)... Жители, решив, что ее без конца будут переименовывать, в обиходе оставили для себя прежнее название — Егорьевская.

Боясь, как бы художник не ускользнул куда по своим делам, Хропов заторопился впритрусочку среди мягких, молодых сугробов. Он углядел, что за его спиной жители перемигиваются и кукишем стучат по лбу.

«Ладно, стучите, — подумал Антон Антонович, — еще кто кого перестучит?»

Дойдя до церковного двора, хотел он зайти в церковь, еще раз поглядеть себя в гнусном этом виде, но церковь была замкнута, а на крыльцо дяконова дома vyšкочил сам художник, видимо поджидавший Хропова.

— Сюда, сюда, Антон Антонович! — крикнул ему Мокин.

— А, знаменитость... когда приехал?

— Вчера еще, после вечерни, Антон Антонович. Вот сюда, Антон Антонович, — сказал Мокин, почтительно беря Хропова за руку. — Здесь оскользнется.

— Не такой дряхлый, Яша. Ну, показывай свой дворец. Так бы, может, и не пришлось побывать, да и ты бы не позвал, не любишь ты гостей звать... — громко, больше от некоторой неловкости, смеялся Хропов. — ...А вот тут довелось нашему светиле визит нанести. А неприглядно ты живешь, Мокин, — сказал Хропов, осматривая уже известную нам обстановку мокинской комнаты.

— Так лучше, Антон Антонович, я человек новой формации. Мне совсем это незначит. Я в жизни люблю легкость. Вдруг через час не понравится мне в вашем городе жить — сейчас всю рухлядь за полтинник продал, подушку под мышку, извозчика...

— Гм, — усмехнулся Хропов, — ежели все будут так жизнь решать, мы и государства не построим никакого.

Таких бы людей, вроде тебя, изничтожать нужно. И откуда, не понимаю, такой характер взялся у русского человека?

— От птицы, я думаю, Антон Антонович.

— Сам ты птица, да еще редкая, тебе доложу.

— Вечно вы нервничаете, Антон Антонович. Говорят же, что человек произошел от обезьяны. А обезьяна откуда? Из птиц. А птица от рыбы...

— Ну, ну, дальше... — подсмеивался Хропов.

— Это серьезно, Антон Антонович. Научная теория. А рыба от червяка.

— А червяк, по-твоему, откуда?

— А червяк из материи.

— А материя? — еще язвительнее спросил Хропов.

— А материя — это космос, Антон Антонович.

— Ну, а космос-то твой откуда?

— Космос — это вечно присутствующее в природе, Антон Антонович.

Хропов рассердился.

— Дурак ты вечно присутствующий, больше ничего.

Мокин обиделся и, облокотившись на стенку, закурил от недовольствия губу. Хропов посмотрел на него, подумав, что может испортить себе дело, подошел к Мокину.

— Господи, уж и надулся, уж и поспорить нельзя. Как это у нас в России, ей-богу, спорить не умеют: чуть скажешь что-нибудь горячее, и пошли — обида да оскорбление личности, разговоров, разговоров по пустякам. Брось, Мокин, не надо умничать, и я беру свои слова обратно; пожалуйста, происходи от птицы.

Мокин покраснел и, оттолкнувшись от стенки как мяч, накинудся на Хропова:

— Вы что, издеваться пришли? Так уходите, пожалуйста, или я вас выставлю.

Отчасти Мокин был даже рад такому исходу дела, такой ссоре, потому что отказывать в просьбе Хропову, когда бы он попросил, было бы неудобно и неприятно, а сейчас, воспользовавшись ссорой, все выходило и гораздо естественнее, и приличнее, и глаже, и никак не марало самого Мокина.

— Ну и напасть! — плюнул в пол Хропов и, запахнув шубу, ушел.

Выйдя во двор, он остановился — и тогда только понял, что он наделал... Недаром утром сердце замерло. Вот было предчувствие.

Во дворе чуть подтаивало, морозец спал, и от солнца острые кристальные капли капали с деревьев.

— Что же мне делать? — вслух сказал Хропов. — Нет, поставлю на своем, добыюсь; раз задался, влезай в чашу унижения.

Мучительно было так решить Антону Антоновичу, ему показалось даже, будто что у него перевернулось в голове справа налево.

— Это мысли, — сказал он сам себе и опять вошел к Мокину.

Мокин быстро отскочил от окна, откуда он наблюдал за стариком. Любопытно казалось ему видеть, как ломится этот старый дуб. Он никак не ожидал, что Хропов вернется к нему.

— Яша, — сказал Хропов. — Ты погорячился, и я погорячился, брось, ну что с меня взять, что еще новое возводить, Вавилонскую башню? Ты теперь зарабатываешь хорошо, и тебя в Совет зовут и церковь писать, оба режима тебя ласкают, а ты еще злобничаешь... Ну, Яша... Ну, прямо тебе скажу... пришел с поклонной головой — замажь мою картинку, бога ради. Вот. А?

И упорными, точно гири, глазами впился Хропов в Мокина.

— Что вы смотрите? Ну что? Ну, что ты так смотришь?.. — растерявшись, крикнул художник, но быстро овладел собой и даже вызвал на лице усмешечку и хладнокровно сказал:

— Что вы, Антон Антонович. Стану я себе карьеру марать.

Неожиданно тихо, до странности как-то тихо и просто рассмеялся Хропов и сел на стул: показалось ему, будто в ноги упала какая-то тяжесть.

— ...Достукался, Яшка, прости меня, пожалуйста, а ведь я тебя за дурака считал, да и с виду никто не скажет, что ты умный, а вот вы как под дурацкой вашей рожей... Очень удобно... Так ты злее, злее, Яшка, чем я думал, вот почему ты не хочешь...

— Не потому, не потому... — обеспокоенно закричал художник. Неприятно ему сделалось, что Хропов так

о нем думает. Любил Мокин, чтобы люди имели о нем хорошее мнение. И даже искал этого.

— А почему же?

— А потому... не потому... потому, — забормотал Мокин, и вдруг он услышал, как облепил ему уши целый рой букашек: «выдать», «выдать», «не выдать», «выдать», и, слепившись в одну кучу, громко прожужжал: «выдать», и тогда Мокин почти спокойно сказал:

— Я вам скажу, если вы честное слово дадите, что меня не выдадите.

— Даю честное слово, говори скорей, — потеряв голос, прошептал Хропов.

— Меня Олимпиада Ивановна просила... — сказал Мокин и взглянул на старика.

Старик ничего, взгляд этот выдержал.

— ...Может быть, чтобы уехать вам от стыда, ей хочется очень уехать отсюда. Вот. И вообще, Антон Антонович, вас за нос тянут, а вы и не замечаете. Поп тоже. Ведь ему невыгодно, и ваш вклад ему не нужен, он за год больше получит. Сами посудите. Из соседних волостей приезжают посмотреть на купца Хропова. Все вас знают. И всем интересно поглядеть, как вы в аду сковороду лижете.

— Всем, говоришь?

— Конечно. Постоят, посмеются. Ангелу свечку поставят, а вам в бороду плюнут. Не вру я, честное слово. Поп мне сам говорил. Все рассказал. Вы даже проверить можете. Если бы пошли к нему опять просить, он на милицию бы сослался. Сказал бы вам, что боится начальства.

Хропов сидел, придавленный горой. Страшно его поразила история с Олимпиадой Ивановной.

— Какие глупости, Яша!

— Глупости, а сказал бы... Вот, Антон Антонович, я вам все рассказал, но вы меня, пожалуйста, не выдавайте. А я, Антон Антонович, и так замажу. Что-нибудь там другое нарисую, другую голову... Сегодня днем сделаю.

— Спасибо, Яша, объяснил ты мне всю механику, а уж Олимпиаде Ивановне ты слово сдержи, не выдавай своего слова, не замазывай моей картинки, пусть не знает, а то страсть ей будет стыдно передо мною, когда узнает, что мне все известно. Слышишь?

— Ну, как вам угодно, — холодно сказал Мокин. Он был уже недоволен тем, что все складывается как-то смешно и путано, и, пожалуй, не вышло бы из-за этого в дальнейшем каких-нибудь неприятностей.

Хропов вышел, забыв у художника палку. Впрочем, о чем он мог сейчас думать? Он не думал даже об обиде. Обиды не было. Только тяжелела в голове мысль — сизая, большая как бычачье сердце. Будто она налилась кровью. Менялась голова. Только об одном — об обиде — и она тяжелела, наливаясь кровью, как сизое большое бычачье сердце.

Он прошел мимо посолодского пруда. Вода в нем покрылась льдистой мутной коркой и только у мостика, где обычно полоскали белье бабы, ручилась около свай кружками. Солнце мазало воду. И Хропов, глядя на кружки, подумал:

«Вот гривеннички да полтиннички... К чему жили?»

Он остановился на мостике. Подобрал с легкого под ногой снежку щечешок и кинул его зачем-то в пруд, щечешок поскакал по корке.

«Как же мне поступить?» — подумал Антон Антонович.

И как был, в расстегнутой шубе, вышел на Егорьевскую улицу. И, отдавшись своей тяжелой голове, спрятав свои тяжелые мысли, опустив глаза, шел мимо жителей. И видел, как они отходят в сторону от него и шепчутся за спиной.

Антон Антонович пришел к Концам. Концы славились огородами, банями, там своевольничали и гнали самогон. В праздники резались на ножах. Больше ничем не славились Концы.

Так из Концов Антон Антонович направился в Болье Поля, к тому перекрестку, где встречаются две дороги и на перекрестке лежит камень. На камне — сегоднешний снежок. Можно его смахнуть полой, а на камень присесть и подумать, какую выбрать дорогу.

Опять, как в прошлый раз, Антон Антонович встретил здесь курчавенькую девочку с тупым носом. Она поздоровалась с ним. Тогда Антон Антонович спросил ее:

— Чья вы девочка?

— Я дочка Сонеберга, аптекаря в Посолоди.

Очень Антону Антоновичу это понравилось, он даже всплеснул руками от удовольствия.

— А вы меня знаете?

— Очень знаю, — ответила девочка равнодушно и ясно, точно хорошо знакомый урок, — вы Антон Антонович Хропов, бывший купец из рядов.

— Очень, очень отчетливенько, — сказал Хропов, — вы умненькая будете барышня.

— Я не барышня, я записана в организацию пионеров, — спокойно ответила девочка.

— Вот нынче какие растут... Бывший, значит, купец... а нынче что я? — засмеялся Хропов.

— Не знаю... — ответила девочка.

И снова остался Хропов очень доволен, и снова он даже засмеялся.

— Опять правильно... Я и сам не знаю. Ну, иди... Тебе легко жить, ты все знаешь. Скажи отцу, чтобы керосину запас мне.

— Сколько? — спросила девочка.

— Да все равно, ну, пуд. Нет, фунтов десять, скажи, довольно.

Когда девочка на полдороге оглянулась, Хропов сидел на камне — лицом в Белые Поля.

Напротив церковного двора на посолодской площади стоит двухэтажный желтый дом с желтой вывеской: «Посолодский совдеп». У дома вечно метет ветер соломой, сеном, навозную пыль. Кругом дома построена в три стенки коновязь, у коновязи вечно — куча подвод, шум и мужики, и чего больше, разобрать этого здесь нет никакой возможности. Вечно выбегает на крыльцо писарь в белых кудерьках, бритый начисто, с широкой крутой грудью, хорошо упрятанной в летнюю (так как в совдепе всегда тепло) гимнастерку с черными углами по воротнику, и кричит тонким голосом: «Следующий. Ну, кто следующий?» Мужики останавливаются, замирают и начинают подталкивать друг друга локтем; тогда писарь сердится, лезет в список и, найдя нужный номер, обкладывает мужиков: «Степан Загин из деревни Дряни... Граждане, порядку не знаете». А мужики, смотря на писаря, не могут понять: баба он или нет.

Мужики гуторят о налоге, о земле, о местном лесе, о больнице, ветеринаре и учителе. И о чем бы ни говорили, ко всему приложат крепкую печать.

Баба Шитиха говорит мужикам:

— Он мне и говорит: донеси, говорит. А я ему говорю: нечего говорить мне и доказывать, прямо скажу, что сын мой Максимка Шитов гонит самогон. Вчерась пуд согнал. Хорошо, говорю, ежели я тебе докажу, господин начальник милиции, у меня сына уведут и корову возьмут, Максимку — бог с ним, а коровы жалко. Как же я могу доносить, господин начальник милиции? — я ему говорю. Так, значит, и не доказала ему. И он меня похвалил. Спасибо, говорит, вы, говорит, сознательная женщина. Будешь сознательная, когда корову уведут, а то бог с ним совсем, прости господи, донесла бы...

— Ну, правильно! — сказал один из деревенских жителей. — Я зря впутался. Жалуются мне баба, что, говорит, ихняя школа: песни поют, игры играют, рисунки рисуют, а букв не учють. Митька наш год ходит, а букв не знает. Ладно, думаю, пойду к учительше, и она мне говорит: новое, говорит, ученье, наглядный способ. Хорошо. Приходит Митька домой; дай, говорю, тетрадку, гляжу — вся в рисунках, а под ними подписи. Читаю один: фуфайка. Ну, говорю, Митька, почитай мне. И он читает: ру-баха. Я говорю: читай, сукин сын, лучше, голубу тебе расшибить, а он опять мне говорит: да тут рубаха, тятя, написано. Вот тебе, думаю, и новое ученье: пошел я к учительше, не годится, говорю, давай нам старое. Она меня ругать, говорит: несознательные... Ну, а я выпивши был, дотронулся до нее... Что же это такое? Это нам больной удар, раньше этого не было. Не дотронулся, выходит...

В это время среди этой кучи разговоров и мужичьих жалоб протискивались к совдепу двое: поп Паисий и аптекарь Сонеберг. Поп находился в чрезвычайной смуте, а аптекарь в чрезвычайной взволнованности, но и здесь аптекарь не утерпел, загорелось его просвещенное сердце, и он вмешался в спор.

— Простите, граждане, — сказал он, пробравшись к мужикам, — кто сказал: давайте старое?

Мужики, стоявшие около, сразу, точно по команде, подтолкнули друг друга локтем и замолчали.

— Кто сказал: давайте старое? — еще настойчивее повторил аптекарь Сонеберг.

Мужики молчали опять, и только один, самый большой, дерзко выставил вперед рыжую свою бороду и сказал аптекарю:

— Проходи, а то получишь новое.
— Нет, товарищ — храбро сказал аптекарь, сжав кулак и указывая кулаком на совдеп, — у нас есть закон, пойдем туда и разберемся.

Тогда рыжий, немного опешив, сказал тише:

— Ну, что ты хорохоришься, что тебе надо?

— О! Что мне надо? — повторил аптекарь. — Мне надо вбить гвоздь просвещения в ваши темные головы.

— Будет вам совать нос, Иосиф Иосевич, — сказал поп, хватая Сонеберга за рукав, — вечно вы суетесь в истории...

— Ша, — сказал аптекарь попу, — не мешайте. Я вколочу этот гвоздь!

— Отстань ты, пожалуйста, уйди от греха, — посоветовал аптекарю рыжий мужик, — мы насчет нового ученья говорили.

— А я что говорю, — сказал аптекарь, — ты, сударь, не понимаешь нового ученья. Оно развивает в детях наблюдательность. А? Моя девочка учится в школе. Учитель школьников спросил: «Сколько у кошки ног?» Один ответил: «Три». А другой ответил: «Пять». Что делать?

И только что аптекарь хотел дальше развить целую теорию, оглянулся и видит, что мужиков уже нет, все рассеялись, и только сбоку за аптекарский рукав держится поп Паисий да рыжий мужик нахально смеется в лицо аптекарю.

— Эх, барин, на крестьянстве кошка пустая вещь. Вот они чему учють, а буквы не учють...

— Пойдемте, Иосиф Иосевич, у нас свое дело, — попросил поп.

И аптекарь, грустно махнув рукой, поплелся за попом на крыльцо совдепа.

Войдя в совдеп, они немного поспорили.

— Дозвольте, Иосиф Иосевич, кто же будет там говорить?

— Я все расскажу, отец Паисий. Не беспокойтесь.

— А почему не я, позвольте вас спросить? — рассердился поп.

— Что?! Глупый человек, я интеллигенция, а вы представитель культа. Разве вам верят? Не высказывайте, пожалуйста.

— Знаем, — ехидно сказал поп, — это вы на иконостас лезете, сами вылепиться хотите.

Но Сонеберг, не возражая ни слова, успел первым юркнуть в кабинет.

Аптекарь считал своим долгом держаться с властями свободно и независимо, дабы не уронить престижа. И потому в кабинете товарища Камчаткина уселся в кресло и, закулив папироску, начал излагать просьбу. Товарищ Камчаткин, в ватной тужурочке, отказался от папиросы, предложенной аптекарем, и закурил свою собственную, — он тоже заботился и о престиже и о независимости и даже, ссылаясь на болезнь глаз, но больше для поддержания этого самого престижа, завел очки. Слушая аптекаря, он спустил очки на кончик носа, поигрывая в рассеянности карандашом, и поглядывал сквозь стенку, сквозь попу, стоявшего рядом с креслом аптекаря. Поп сесть не рискнул. Поп стоял и грыз ногти.

— Теперь вы видите, — сказал аптекарь, плавно кончая свое изложение, — почему бывший купец Хропов является опасным для населения нашего города...

— Я еще этого не вижу, — спокойно сказал товарищ Камчаткин.

— Поздно будет, товарищ Камчаткин, когда социально вредный элемент в сумасшествии своим наточит ножик и начнет кидаться. Странно, — возмутился аптекарь Сонеберг, — надо прислушаться к общественному мнению, я, как местная интеллигенция, снимаю с себя всякую ответственность. Странно. Точно я для себя хлопочу. Я хлопочу в целях медицины и общественного спокойствия.

— Хорошо, — сказал Камчаткин, — я назначу комиссию, ежели в целях медицины.

И поднялся с кресла, давая этим понять, что разговоры кончены, но тут поп не вытерпел и выскочил к самому столу.

— Дозвольте мне. Они, — кивнул он на аптекаря, — самого главного не сообщили. Он, газет начитавшись, террористический акт учинит, он на прошлой неделе мне грозил при свидетелях взрыв сделать...

— Взрыв? — сказал Камчаткин и, сняв очки, закричал: — Пантюхов!

Милиционер Пантюхов, стукнув сапогами и зазвенев, будто он уронил рояль, встал у двери.

— Слушаю, товарищ начальник.

— Приведи немедленно бывшего купца Хропова.

— Слушаю,— сказал Пантюхов и опять уронил рояль.

— Вот видите,— победоносно подмигнул поп аптекарю и снова обратился к Камчаткину: — Позвольте доложить. При свидетелях, при матушке, купец Хропов в исступлении сказал: я, говорит, тебя взорву, все говорит, сие взорву без остатку, то исть меня, матушку и церковь,— которое есть здание, то исть государственное имущество, и поелику это так, в городе вспыхнет пламя...

— Почему же вы мне этого не сказали, гражданин Сонеберг? — сурово сказал Камчаткин и подозрительно посмотрел на Сонеберга.

— Я... с медицинской точки... — залепетал аптекарь.

— Позвольте, точка точкой, а это уже пожарный факт.

— Справедливо сказано, пожарный факт,— заторопился поп, поддакивая Камчаткину,— и пока мы тут рассуждаем, Хропов, может быть, бомбы начиняет... Уже имеются материалы... Хропов закупает... — сказал поп, ехидно взглянув на аптекаря.

— Какие материалы имеются? — повторил Камчаткин и тоже взглянул на аптекаря; аптекарь сидел в кресле и старался закурить папиросу, но от волнения не мог зажечь спичку.

— Спросите, спросите его, товарищ Камчаткин,— подзуживал поп, уже подобранный боком к креслу и усевшийся на кончик.

— Так какие же материалы имеются, гражданин Сонеберг?

— Никаких, никаких, товарищ Камчаткин, вы не верьте: это поп со злости врет.

— А керосину пуд, это тоже со злости? — ехидно подбавил поп.

— Какого керосину? — спросил Камчаткин.

— Ихней дочке сегодня Хропов заказывал: приготовьте мне, говорит, пуд аптекарского чистого керосину... Что, не правда сие? Ну-ка, ответствуйте товарищу, гражданин Сонеберг.

Аптекарь дрожал в кресле. Камчаткин внимательно посмотрел на него, надел очки и сказал:

— Предупреждаю, гражданин Сонеберг...

— Что касается керосину,— испуганно ответил Сонеберг,— то это совершенно верно: керосин мне заказан...

— И вы отправили, гражданин Сонеберг?

— Отправил...

— Пуд отправили?

— Что значит пуд, товарищ Камчаткин? Отправил. Керосин — не взрывчатое вещество, оно в домашнем хозяйстве...

— Господи,— засмеялся поп от радости,— оно зажигательная вещь. Видите, как он прикидывается... Может быть, он сам знает, чем нужно бомбы начинять. Спросите, спросите его, товарищ Камчаткин.

— Не вмешивайтесь,— сурово перебил попу Камчаткин. — Итак, керосин куплен в вашем магазине. Вы не подумали, гражданин Сонеберг, зачем сумасшедшему пуд керосину, что из этого может произойти?

Аптекарь страшно заметался в кресле.

— Вы бывший эсер?

— Бывший... но, товарищ Камчаткин... какой я эсер... что, в самом деле... какое это... да дочка моя... да я всей душой сам... о, что же это такое?

Еще страшнее заметался аптекарь в кресле.

Но в это время около двери кабинета упал рояль. Это Пантюхов докладывал начальнику:

— Никак нет, не найден. Супруга ихняя, гражданина Хропова, говорит: с утра сгибли, как, попивши кофию, к художнику посылали, и художник Мокин, по сообщению, донес, что выбыл от них утром неизвестно куда, в растянутой шубе.

— Ладно,— сказал Камчаткин,— поди к Хропову и арестуй там бочку керосину и дождайся там.

— Слушаю,— ответил милиционер Пантюхов и, опять уронив рояль, круто повернулся кругом.

— Что же теперь, какого суда ждать? — мудро спросил поп.

— Ничего,— отрывисто ответил Камчаткин попу,— вы можете идти, а что касается гражданина Сонеберга, то, впредь до выяснения... — тут Камчаткин посмотрел на аптекаря, и аптекарь быстро подскочил с кресла, как пружина,— ...подпишите протокол.

— Какой еще? — спросил аптекарь.

Но поп не дождался ответа Камчаткина и, хотя был тонок, как осока, однако шариком выкатился из кабинета, успев все же на ходу показать аптекарю язык и даже шепнуть: «Что, сунулись?»

Так окончилась их экспедиция.

Антон Антонович Хропов, возвращаясь из Белых Полей, шел по Егорьевской улице. Знал Антон Антонович, какую дорогу ему выбрать. Весел был чрезвычайно и доволен... «Вот, — думал, — приду домой, кофию напьюсь... и Липушке-шельме все расскажу. И даже нервных капель приготовлю Липушке-шельме, на всякий случай от неожиданности. Прощаю Липушку-шельму, так как купец Хропов жить перестал... Насмеюся я над всеми, как последний человек».

Покраснел от ветра нос у Антона Антоновича — день был ветреный, — а все думали, что Антон Антонович идет выпивши.

Подходит Хропов к своему дому — и видит: на форточке в спальне висит розовая ленточка.

«Почему висит розовая ленточка?» — подумал Хропов и прошел дальше, не заходя домой. Было когда-то условлено, давным-давно еще, когда обыски шли по городу, что ежели висит на форточке розовая ленточка, значит в доме неблагополучно.

«Совсем новый ход делу дан...» — подумал Хропов и остановился в растерянности около пруда.

Мимо Хропова, не кланяясь, пугливо прошмыгнул поп Паисий. Хропов засмеялся, поднял камень и бросил в попа.

— На, собака, получи.

Поп крикнул: «Ай!», думая, что Хропов кинул бомбу, и опрометью влетел в церковный дом, ожидая взрыва. Но на дворе было все спокойно, и поп со страху, укладываясь в постель, подумал: «Не зажглось».

А Хропов стоял у пруда, не зная, куда ему деться. В пруд кинуться — самое подходящее дело. Посолодский пруд подземным ключом соединяется с Сябрским озером... Вот бы кинуться туда Хропову, пройти трубой до Сябра и в Сябре-озере уже выплыть мучеником... Шуму будет много...

Тут и автору повести очень удобно было бы поставить точку и романтически разделиться с героем. Олимпиаду Ивановну можно было бы отправить в Берлин... В Берлине Олимпиада Ивановна поступила бы в кафе Рушо исполнять русские песни, влюбился бы в нее изгнанный с родины русский князь... О, до чего не довела бы фантазия, если бы за это дело взялся французский романист!.. Художник Мокин, почувствовавший угрызе-

ния совести, погнался бы в Европу за Олимпиадой Ивановной, решившись предложением руки и сердца загладить страшный грех... Но влюбленная парочка — князь и Олимпиада Ивановна, вообразив, что гонится за ними русский большевик-террорист, перебежали бы, как куропатки, из одного угла Европы в другой, не успевая насладиться семейным счастьем... И вот наконец тут автор придумывает американский трюк, и читатель, благословляя находчивость автора, с благодарностью и приятной зевотой откладывает в сторону роман.

Жизненная правда всегда беднее вымыслами. И потому в действительности все обстояло гораздо проще.

Хропов попробовал концом валенка берег: хрустнул лед, покрылся мутной, как суп, водой, и сказал тогда Антон Антонович:

— Растаяло... Да ну их к черту, в самом деле... возьму и развяжусь.

И крупными шагами направился прямо в совдеп и без доклада влез к товарищу Камчаткину. Вид его в расстегнутой шубе, вспотевшее от ходьбы лицо, наверное, не были привлекательны, потому что Камчаткин, подумав: «Он!», вдруг отскочил в угол своего кабинета. Хропов в шубе упал на колени, простер руки к товарищу Камчаткину и громко, так что дрогнули стекла в совдепе, спросил его:

— Товарищ Камчаткин, могу ли я надеяться на вашу помощь? Если же нет...

— Можете! — сказал Камчаткин, испугавшись: уж не взбесился ли Хропов?..

— Могу я отречься, товарищ Камчаткин?

— Можете, — сказал Камчаткин, не желая спорить с сумасшедшим.

— Ну, так я отрекаюсь и от попа и от бога... И желаю разоблачить обман.

Тут товарищ Камчаткин заинтересовался.

— А вы не сошли с ума? Зачем вы пуд керосину купили у аптекаря?

— Какой пуд!.. Вот сука! Я ему десять фунтов заказал, кофий варить.

— Так это для кофия? — улыбнулся Камчаткин. Он вернулся к столу, сел в кресло и, попросив Хропова встать, сказал:

— Считаю дело выясненным. Что вы имеете заявить?

— Разоблачить хочу религиозный обман, как де-
нежки собирают. Меня вся округа знает.

— Это не наше дело... впрочем, действуйте. Мандат
я вам дать не могу, — сухо сказал Камчаткин.

— Ничего, я и без мандата... Покорно благодарю.

Вышел Хропов на крыльцо, бросил оземь каракуле-
вую свою шапку и крикнул на весь базар:

— Православные, слышали ли вы, как вас обманы-
вают?

Мигом затих базар, и сбежался народ к крыльцу.

— Слышали ли, спрашиваю, как вас обманывают?..
Хропов — такой человек вам известен, и морда его зна-
кома?

— Ну, как же незнакома? — засмеялись в толпе.

— Видали вы его морду в церкви на картинке?..

— Видали, известно.

— И плевали?

— Да, поплевали малость.

— А ангела видали с золотой трубой?

— Видали. Как не видать?

— И свечки ангелу ставили?..

— Ну, как не поставишь...

— А много свечек переставили?

— Да порядочно будет.

— Теперь подсчитайте, православные, сколько вы де-
нег на ангела издержали...

— Да соберется, верно, сумма.

— Теперь хочу я сказать, на что вы деньги свои не-
сли и кому свечки ставили. Приглядитесь-ка вы к ан-
гелу... Знаете, перед кем свечу возжигали — перед женой
моей — Хропихой Олимпиадой... И глаза ее с искрой...

Ахнул базар и согласился: и верно, смахивает, волос
другой, а глаза хроповские, верно... Вот история.

— Что же делать теперь, граждане? Что же делать,
когда в церкви обман?.. Ежели подлость такая с трудо-
вых копеек, то на что нам поп, ежели он такое допускает
и вырубку себе в карман прячет?..

— Вот сука-то... — сказали мужики.

— Дальше, граждане, — раскричался Антон Антоно-
вич, войдя в азарт. — Пущай поп пай получает, но какой
же тут бог, ежели он подобную подлость переносит и не
покарает попа?.. Вот отчего я стал безбожником, право-
славные. Слушайте... в образованных странах...

И тут такое стал говорить бывший купец Хропов, что
весь базар изумился, остановилась торговля, и даже,
если бы милиция не приняла своевременно мер, подня-
лась бы давка.

Обратно с базара шел Хропов в сопровождении
толпы. Правда, были в толпе разные голоса. Одни гово-
рили, что купец спятил, другие — что Мокина надо пойти
бить, а третьи сразу согласились с купцом насчет под-
лости.

Увидя Хропова и толпу, испугалась Олимпиада Ива-
новна и упала в обморок.

А когда привели ее в чувство, Хропов с досадой
сказал:

— Ну, какая же ты серая женщина!.. Я пришел как
новый пророк, а ты — бац... Даже перед людьми совестно.

С тех пор Хропов Антон Антонович нашел свое место
в жизни и даже недавно, совсем осмелев, ездил по пору-
чению политпросвета в Сябры — делать доклад на тему:
«Как я стал безбожником».

А художнику Мокину запретили писать в церкви. Он
рассердился и уехал. У Сонеберга же перестали многие
лечиться, — а все Хропов!.. Распустил об аптекаре та-
кие слухи...

Что же было с Олимпиадой Ивановой?

Страшно возгордилась женщина. И недавно задала
Антону Антоновичу совершенно неосмысленный вопрос:

— А не слукавил ты, Антошенька?

И, получив ответ, спросила с еще большим смуще-
нием и даже с непростительным, по-моему, кокетством:

— Антошенька... а не махнуть ли мне в Берлин?..

На что Антон Антонович плюнул и выругался.

Ну, а как поп? — спросит читатель.

Что ж, поп... Поп...

Картину, всех смущавшую, он уничтожил.

1926



Шел 1926 год. Легальные миллионеры платили сотни тысяч подоходного налога. Доход был велик и очевиден. Запад заключал концессии. Все благоприятствовало предметам роскоши. Антиквары блаженствовали. Их связи так же, как некогда и связи масонов, тянулись через рубежи, нарушая все конвенции и все кордоны. Антиквары Лондона через финских и немецких антикваров посылали в Россию свои тайные заказы. Контрабандисты и консульства выполняли поручения. Но все кончается, все истекает. Впереди стояла опасность... и вожаки антикваров мечтали о редких вещах. Отчасти, чтобы рассеяться, отчасти, чтобы подтолкнуть энергию своих агентов, Семен Семенович Брук, ленинградский антиквар, решил устроить пирушку.

На площади против сквера, где от памятника остался только мраморный пьедестал, в подвальчике помещался духан. В коридоре, за потертыми зелеными портьерами, в крайнем кабинете духана сидел Брук со своими гостями. Кроме них, в духане не было ни души. Сюда народ обыкновенно собирался к вечеру. Брук пировал на просторе... Он был щедр, на стол подали шампанское. Пирушка уже кончалась, стол был раздрызган, пьяные гости обнимали друг друга. Кто-то допивал еще вино, кто-то уже спал, кто-то подходил к Бруку, и он, почти не считая, совал деньги.

Художник Шамшин был единственным человеком со стороны в этой компании. Ему казалось, что он дышит не так, как все люди, и из его ноздрей вылетает синий коньячный огонь. Он уже перешел обычные грани опьянения, то есть тупость, усталость, сон, тошноту, он сверкал алкоголем. В голове у него кипело, мысли плавилась. Он с презрением пьяного смотрел на эту ораву. Ему хотелось крикнуть, оскорбить кого-нибудь, бросить бутылкою в стену, чтобы заявить громко в лицо всем: «Я не с вами, я чужой...» Он шурил глаза, выскивая жертву, и вдруг его взгляд упал на хозяина.

Брук был абсолютно трезв. За весь вечер он выпил только стакан вина. Он снисходительно помалкивал среди этого гама и благодушно обмахивался желтым шел-

ковым платком. Брук посмотрел в глаза Шамшину. Этого было достаточно. Длинный Шамшин, не сгибаясь, наклонился над столом и крикнул, показывая пальцем на Брука:

— Кто этот жуткий молодой человек?

Брук улыбнулся ему. Они были знакомы уже два года.

— Не улыбаться! — еще отчаяннее закричал Шамшин. — Как ты смеешь улыбаться? Кто ты такой?

Шум в духане сразу затих. Пьяные жучки и прихлебатели поняли, что Шамшин затевает скандал. Брук сделался серьезным. Грузин стал припирать стол к стенке, боясь за свою посуду. Брук мигнул одному из гостей. Маленький толстенный человек (все его звали Юсупом) подошел к Шамшину и ласково дотронулся до его плеча.

— Василий Игнатьевич... Почтенный гость, уважаемый гость...

— Прочь! — Шамшин рванулся.

Юсуп обхватил его сзади, со спины.

— Не смей!

Шамшин отбросил Юсупа к столу. Задребезжали стаканы... Бутылка с красным вином упала на асфальтовый пол и разбилась. Грузин побежал за официантом.

— Старьевщик! — кричал Шамшин. — Вы роетесь в старье и у себя под носом не видите Рембрандта.

— Уж кому, как не мне, знать, что имеется в этом городе, — спокойным, холодным тоном заявил Брук, желая образумить Шамшина.

Шамшин подхватил эту фразу:

— Конечно, как тебе не знать... Разве не ты ограбил этот город?.. А теперь ты рыщешь.. И ни черта нет! Ты шарись в каждой щелочке, чтобы найти хоть что-нибудь. Все мелочь! Все не то!

Вдруг он улыбнулся, наивно, точно ребенок, и крикнул тонким голосом, как бы поддразнивая Брука:

— А в городе имеется Рембрандт... Имеется, имеется, имеется! А вы не видите, бандиты!.. Контры! Я знаю вас...

Шамшин захохотал, но в эту минуту официант Сашка в мерлушковой кубанке и грузин-хозяин взяли его под мышки и вытолкнули через три ступеньки в дверь, на площадку.

Прохожие с удивлением взглянули на молодого человека, схватившегося за фонарь, на его побелевшие

глаза, наполненные отчаянием и алкоголем, на шелковый галстук, который он сорвал с себя и бросил на троуар.

2

Рано утром он проснулся у себя дома, в постели. Он сразу представил себе весь вчерашний скандал. Разрыв с Бруком ни капли не смущал его. Он не нуждался в Бруке. Брук в нем нуждался. Брук доверял его чутью и приглашал его для экспертизы и кое-что давал для реставрации. Эта работа всегда казалась Шамшину отвратительной, он брал ее для денег. Иллюстрации, зарисовки, театральные костюмы, карикатуры, портреты — он делал все, что ему давали. Он чувствовал свои способности, он был человеком увлекающимся, страстным, как пьяница, как игрок, как любовник. Он искал открытия в своем мастерстве и бестолково топтался, сгорая от попыток, от мучительной работы, которая не оправдывала себя. Он хотел быть современным и, по существу, не знал современности. Он жаждал понять мир, не зная мира. Он хвастал, что в его библиотеке столько же книг, сколько было и у Рембрандта. То есть ни одной. Он жаждал славы, потому что был честолюбив, и не умел ее делать. И это было его несчастьем. Вчерашний скандал, конечно, являлся отражением его душевных неудобств. Крик о Рембрандте был пьяным криком человека, оскорбленного своей судьбой. Антиквары поняли иначе.

От железных крыш и труб становилось душно. В квартире стояла тишина. В соседней комнате, за стеной, еще спала Александра Петровна, она работала в театре и вставала поздно. Уже около года она оставалась женой лишь по паспорту. Они встречались только в ванной. В третьей комнате, самой маленькой, жила Ирина. Она молчаливо любила Шамшина и ненавидела его бывшую жену. Шамшин же сам не знал, кого он любит. При кухне находилась старуха, презиравшая всех троих за несемейность и беспутство. Все вместе, точно в насмешку, называлось коммунальной квартирой.

За дверью Шамшин услышал голос Ирины. Он отошел. Когда Ирина вошла в комнату, Шамшин раскрыл глаза и рассмеялся, пораженный ее нежностью и тонкими удивленными глазами.

— Вставайте... Звонит Апрельский...

Шамшин вскочил и побежал в коридор к телефону.

Алеша Апрельский, старый друг по академии, давно бросил живопись. Революция увела его в сторону, на газетную работу. Он стал заметным человеком в прессе. Встречались они редко. Апрельский был очень занят, но дружба не прерывалась. Апрельский в шутку говорил, что он шефствует над Шамшиным. Недавно, по его настоянию, даже по его теме, Шамшин начал работу над большой картиной. Картина предназначалась для выставки.

Он должен был изобразить один из эпизодов советско-польской войны. Шамшин не чувствовал себя баталистом, но в этом эпизоде, помимо его батальной формы, он видел большую тему. Два полка сошлись в кавалерийской атаке. Утро. Долина. Скользит первый луч. Конница, построенная эскадронами, несется с обнаженными клинками. На бойцах синие венгерки, только что пошитые из французского сукна, взятого недавно с боя. Навстречу нашим тем же эскадронным строем на рыжих гунтерах мчатся сенегальцы, во всем белом. Черные лица. Крик. Когда сошлись головные эскадроны, сенегальцы вдруг остановились и выкинули белый флаг. Атака замерла. Сенегальцы выслали парламентариев. «Нас обманули, — заявили парламентарии. — Нам сказали, что большевики — людоеды, пожирающие женщин и детей. А мы видим солдат». Ругаясь со своими офицерами, они отказались идти в атаку. Повернув лошадей, сенегальцы покидают поле... Горнист-сенегалец трубит отбой.

Шамшин набросал много эскизов, но когда начал писать картину, вдруг все разонравилось. Тема показалась иллюстративной, сюжет обычным, он стал работать формально, увлекаясь пятнами. Картина превратилась в какую-то фантасмагорию. Шамшин обращался к смыслу вещи, все переделывал заново, но чем больше вкладывал в нее рассудка, тем автоматичнее становились образы. Он видел, что мысли без поэтики — ничто. Он пытался вообразить себя участником этого боя и окончательно потерял себя. Все действовало на него — идеи, форма, современность, желание угадать вкусы критики, все это влияло разновременно, смешивалось, путалось... Картина раздиралась на клочки заложенными в ней

противоречиями. Это был документ попыток и личных страданий, но это не было произведением искусства.

Апрельский настаивал на том, чтобы картина была приготовлена к ближайшей выставке. Шамшин очень ценил беспокойство друга, но честно поделиться с ним своими сомнениями мешала гордость и привычка к одиночеству. Он надеялся, что эта заминка временная и что в конце концов он выберется и даст такую работу, какая под силу только большому мастеру. Маленькой победы он не хотел. Этот человек все мерил большим аршином. Заготовки росли. А вещи не было.

— Ну как? — спросил Апрельский.

— Что как?

— Подвинулась?

— Немного... Нет фонаря, — вздохнул Шамшин.

— Какого фонаря?

— А вот такого, какой был у Рембрандта. Все понять и осветить по-своему... Вчера утром я заходил в Эрмитаж. Там при мне освобождали от стекла фламандцев. Я опять увидел эту живопись так близко... Я посмотрел на нее и заплакал. А что они писали? Трактиры, пьяных баб, коров, детей, сидящих на горшке...

— Однако, — фыркнул Апрельский, — Рембрандт написал «Ночной дозор».

— А что ты из него поймешь? — спросил заносчиво Шамшин.

— Ты напиши, пойдем! — Апрельский засмеялся. — Сегодня вечером я позвоню тебе. Меня усылают в командировку.

Картина занимала половину комнаты. Из двух круглых окон, похожих на иллюминаторы, падало солнце, комната напоминала корабельную каюту. Стены ее Шамшин заклеил вместо обоев собственными копиями с гравюр Рембрандта. На потолке был прорублен большой квадрат и застеклен, как это делалось когда-то в фотографиях. К стеклянному люку приставлена стремянка. Шамшин взобрался по ней наверх, как по трапу, и раскрыл люк. Июльский свет и жар с раскаленных крыш наполнили комнату. Издали слышался уличный шум, напоминая театр. Шамшин, полуголый, в синих широких штанах, как у сварщика с Северной верфи, ходил по комнате, засучив рукава, будто он собрался с кем-то драться. Огромный ларь стоял в углу.

Он был наполнен старыми альбомами, записками, набросками, копиями. Это был архив, черновики пройденного пути, летопись разочарований, оставленная только для себя. Когда дрова в плитке плохо загорались, Шамшин шутя запускал руку в ларь и, не разбираясь, разжигал огонь этим материалом. Есть человечки, понимающие втайне свое ничтожество и даже сознающие, что их терпят в искусстве только за выслугу лет, и все же они ревниво берегут, точно святыню, каждый клочок своей бездарности и нищеты! Шамшин был не похож на них. Люди, говорившие, что Шамшин мало работает, просто не знали тех Монбланов, через которые он перешагивал.

Он работал. Ирина вслух читала книгу. Он не слышал ее. Ему необходим был только голос. Иногда она прерывала чтение и снимала с плитки чайник. Работая, он поглощал кипящий чай.

Шамшин швырнул кисть. Она полетела под ящики.

— Не так! — закричал он. — Разве понятно, о чем трубит этот сенегалец? Это просто черный дурак...

Вдруг прозвенел телефон. Шамшин махнул рукой. Побежала Ирина и крикнула из коридора:

— Тебя.

— Пошли всех к черту, — ответил он.

— По экстренному делу.

Сжав зубы, Шамшин подошел к телефону.

— Вася?

— Я.

— Брук говорит. Слушай, Вася. Что ты вчера кричал о Рембрандте?

— Я ничего не кричал.

Шамшин скривился в телефон и тихо повесил трубку. Брук разговаривал так, как будто между ними ничего не произошло. Через секунду снова прозвенел телефон.

— Нас разъединили. Слушай, Вася. У тебя есть деньги?

— Есть.

— А то могу подсыпать...

Молчание. И снова однообразный и тягучий, точно лапша, голос Брука:

— Я сейчас буду проезжать в твоих краях. Он у тебя?

— Кто он? — уже обозлившись, крикнул Шамшин. — У меня никого нет! Отстань!

— Зачем орать! — печально сказал Брук. Звякнула трубка.

3

Вечером, чтобы отдохнуть и рассеяться, Шамшин предложил Ирине пойти с ним в Народный дом. Пока она переодевалась, он разбирал у себя в комнате всякую старую рухлядь. Средихлама ему случайно подвернулась одна доска, плод увлечения Рембрандтом, реакция на мастера. Картина изображала молодую женщину, полулежащую среди разбросанного белья и кружев. Склонясь к ее едва прикрытому животу и держа ее за руку, стоял еврей-врач. Пламя свечи падало пятном на его рыжую бороду. Глаза женщины улыбались. Смеялась ли она над бессилием врача, или, наоборот, ей представлялась будущая праздничная жизнь, когда она встанет и скинет с себя эти широкие шерстяные одежды? Во всяком случае, беременность ничуть ее не тревожила. Она мечтала... Она была далека и от этой постели и от своего материнства. Шамшин вздохнул, поставив доску на мольберт. Картина пропиталась пылью, немножко потрескалась. Она долго пролежала около радиаторов. Шамшин написал ее совсем случайно, счистив чью-то живопись со старинной доски.

Вот годы юности... Ничего не знал — ни жизни, ни опыта, ни ученых соображений, их уже потом натвердила критика. Несмотря ни на что, одним инстинктом была создана эта вещь... В любви, в искусстве, даже в науке, да, пожалуй, и в политике, что сделаешь, если у тебя нет инстинкта?

Была жена. И нет ее... Был ребенок. И нет... Все умирает, даже дети. Был старый итальянец, живший на Васильевском острове, он составлял художникам краски по какому-то старинному рецепту... Где же все это? Исчез, как все... Сколько исхожено дорог? Он прошел по всем путям живописца, от Сезанна и Матисса до черного пятна на незагрунтованном холсте. Здесь караулила смерть. Он отшатнулся к Рембрандту. Его глазами он написал эту вещь, думая, что он берет только традицию и перебрасывает в этот мир новую Голландию... и здесь завяз.

Это не годилось для современного сюжета. Он хотел быть современным. А современность не давалась. «Кто же я? Где я живу?» — спросил он самого себя.

— На Манежной площади, — съязвил он вслух, чтобы оборвать свои воспоминания.

Ирина вошла в комнату и заинтересовалась картиной.

— Что это? Почему я ее никогда не видала? Это Александра Петровна? — спросила она, прикусив губу.

— Нет!

— А похожа... Александра Петровна, переселенная назад, в столетия.

Шамшин усмехнулся.

— Все может быть!

Он захохотал, накинул на мольберт тряпку, и они ушли.

4

Поезд в составе трех вагонеток скрежетал, подскакивая на поворотах, падал в ущелья и снова взвивался вверх. Около управления стоял худой человек. Он улыбался, оглядываясь на пассажиров, точно скелет, не разжимая челюстей. Сзади всех, на самой последней скамейке, сидел молодой пьяный парень. Еще в начале пути с головы пьяного сдуло кепку, она упала прямо в толпу, около американских гор. Парень требовал моментально остановки. Народ хохотал. Когда поезд взлетел на самый верх, Ирина от страха закрыла глаза и уцепилась за Васю. Вместе с ними взлегела тяжелая Нева, черные граниты, электрический пунктир мостов, синие бастионы, коричневые дворцы, трубы Монетного двора и плоский ангел.

Пьяный крикнул:

— Спускайся, черт!

Поезд ухнул вниз, упал в туннель, в сердце горы, там замигал багровый глаз и застонали рельсы. Шамшин нагнулся и крепко поцеловал Ирину. Тут поезд замедлил ход и подполз к игрушечному дебаркадеру. У Ирины билось сердце и кружилась голова. Она улыбалась. А Шамшин подумал: «Она счастлива». И позавидовал ей. Он тоже хотел счастья. Ночью Ирина пришла к нему. В коридоре опять зазвонил телефон, Шамшин, набросив

на себя пальто, побежал к аппарату. Он думал, что звонит Апрельский.

— Да! — крикнул он.

— Добрый вечер!.. Это Брук!

— Не мешай мне спать. Я сплю.

— Да погоди... Не вешай трубку. Я был сегодня у тебя. Открыла мне твоя старуха... Я видел эту вещь... — Брук явно волновался. — Сто хочешь?

— Слушай, Брук. Не сходи с ума. Я хочу спать.

— Откуда ты ее достал?

— Я хочу спать! Я вешаю трубку. Спокойной ночи...

— Погоди, погоди, Вася... двести хочешь?

— Отстань, пожалуйста. Я хочу спать.

— Я думаю, это подделка, но все-таки... А ты, Вася, как думаешь?

— Я ничего не думаю... Меня ждут.

— Ты же сказал, что ты спишь?

— Да, я сплю.

— Погоди... Как ты думаешь, может быть все-таки следует отдать на экспертизу?

— Позвони завтра... Я сейчас сплю.

— Что значит спишь? Ты же не спишь... Ты же стоишь у телефона...

— Я больше не в силах стоять...

— Ты болен, что ли?

— Да, болен.

— Странная болезнь... Когда человеку предлагают деньги...

— Я больше не могу...

— Да погоди, мне надо выяснить...

— Мне некогда!

— Что значит — некогда?

— Всего!

Шамшин брякнул трубкой.

На следующий день Брук встретил Шамшина и первый подбежал к нему.

— Ты сердись? Зачем?

Шамшин молчал.

— Ну! Триста хочешь? — Брук хлопнул Васю по плечу. — И кончим дело... Что за канитель?

— Это моя вещь... — сказал Шамшин, улыбаясь. — Моя! Пойми!

— Твоя? — Брук плутовато подмигнул. — За твою я дам тебе три копейки, а за эту даю триста рублей... Ты меня, надеюсь, понял?

— Вполне! Ты сволочь и арап!

Расхохотавшись, Шамшин круто повернул от Брука.

Брук стоял на тротуаре Невского. Прохожие толкали его, звенели трамваи, извозчики кричали «берегись», поджаривало солнце. Опомнившись, Брук почесал коротко остриженный затылок, поправил кепку и пробормотал:

— Однако!

5

Однажды в соседней комнате, у Александры Петровны, веселились гости. Из-за стены непрерывно слышались шутки, шум и смех. Шамшин злился. Его раздражало это веселье. Он не был желчным человеком, но ему опротивел быт. На столе две недопитые чашки чая. У окна груда неоконченной работы для журнала. На мольберте надоевший портрет. В кресле Ирина, читающая книжку. Перелистывая страницы, она подымает голову, и смотрит на Шамшина влюбленными глазами. За стеной кто-то пропел пьяным голосом: «*Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный...*» Шамшин не выдержал и стукнул в стенку кулаком: «Эй, Моцарт, тише! Здесь Сальери!»

На минуту за стеной притихли, затем раздался взрыв хохота. Обхаживая комнату вдоль и поперек, Шамшин думал: «Хоть потолок бы провалился, что ли».

Когда в коридоре позвонил телефон, Шамшин кинулся к нему, точно птица за пищей. Шамшина спрашивал незнакомый, свистящий голос. Шамшин ответил, что он у телефона.

— Очень рад. Я давно ищу случая с вами познакомиться. Говорит Агафон Бержере.

Шамшин был изумлен.

— Вы ко мне?

— Да, именно к вам.

— Собственно, по какому делу?

— Разрешите мне объяснить это при личном свидании. Где мы можем встретиться? Может быть, мы вместе позавтракали бы в «Европейской»?

Шамшин замаялся.

— Я затрудню вас только на полчаса.

— Ладно, — согласился Шамшин.

— Значит, завтра, — сказал Агафон Бержере, — в два часа в «Европейской». Спокойной ночи.

Ровно в два часа Шамшин вошел в ресторан «Европейской гостиницы». Официанты, одетые в белые куртки и белые брюки, толклись без дела. Зал был освещен только одной люстрой. В самом конце зала, под эстрадой, скрывшись за вазочкой с цветами, сидел у столика немолодой человек, сухой, коренастый, с коротенькими, почти выстриженными усиками и гладкими, приклеенными волосами. На нем был жакет бутылочного цвета. Стоячий крахмальный воротничок повязан узким черным галстуком. Синий абажур скрывал выражение его лица. Этого человека знали все. Агафон Бержере, полуфранцуз-полуголландец, получив от своего отца, выходца из Голландии, небольшое дело, развернул его до европейских масштабов. Драгоценности, дорогие камни, украшения, ювелирные работы, статуэтки зверей, выточенные из минералов, — все это вещи с маркой Агафона Бержере всюду в мире считались первоклассными. Собственно, биография знаменитого ювелира была довольно банальной: мраморный дом на Морской, двуглавый орел поставщика его величества, одна, законная, семья в апартаментах, другая, незаконная, в скромном доме на набережной Мойки, у Крестовского яхт-клуба яхта, в Левашове богатый особняк, наполненный коллекциями, и т. д....

Семнадцатый год прихлопнул все великолепие Агафона Бержере. Законная жена с детьми отправилась в Париж. Агафон переселился к незаконной, записался с нею в загс и занялся антиквариатом. Девять раз его сажали, девять раз он выходил. К революции он относился точно к погоде. Даже в камерах он вытачивал перочинным ножичком деревянные мундштучки и ставил свою марку. Находились любители, за эту дрянь платили деньги...

Бержере всгал, приветствуя Шамшина. Метрдотель, выгнув шею, как лошадь, почтительно принял от Бержере заказ: омары, рыба, утка по-руански, апельсины, французский сыр и теплое старое бордо. Ничего лишнего... И разговоры самые общие. Потом черный кофе. Агафон подымает узенькую рюмку с тяжелым ликером.

— За искусство! — холодно говорит он Шамшину. Он краснеет от еды и выпитого вина, в его голосе прорывается что-то грубое. — Я довольно внимательно всматриваюсь в ваши работы. Вы будете или великим, или ничем.

— Почему же такая дистанция? — смеется Шамшин. Бержере дергает головой.

— Вам не хватает пустяка! Но этот пустяк имеет большое значение.

— Какой пустяк?

— Признание! Одних оно губит, а других окрыляет и ведет к вершинам. Я это знаю по себе...

Бержере хвастливо дергает рукой.

— Что такое полупризнанный художник? Полупотенный дворянин... Признание — это мостик к славе.

Бержере понюхал ликер и вздохнул.

— Да, в искусстве страшно жить. Вообще сейчас страшно жить. Смотрите, что происходит во всем мире... Но я люблю жизнь.

Он улыбнулся, и Шамшин увидел рот Бержере, наполненный маленькими, как у женщины, зубами.

— Больше жизни я люблю искусство... — продекларировал он; он все-таки был французом. — А кто сейчас понимает искусство? Никто! Нигде! В особенности здесь.

Шамшин решил вскочить, но удержался. Из любопытства к людям хотелось узнать этого человека по глубже.

— Зачем же тогда вы остались жить здесь, у нас? — нарочно подчеркивая, спросил Шамшин.

— Видите ли... — Агафон загадочно улыбнулся. — Мне необходим воздух революции... Да, да, не удивляйтесь. В эпоху войн и революций рождаются великие антиквары. Они идут в тылах армий и...

— Грабят! — смеясь, закончил Шамшин.

— Смело сказано! Если хотите — да... Если хотите — нет... Я покупаю! Кстати...

Тут он нагнулся к Шамшину и шепнул:

— Мне говорили, что у вас есть хороший Рембрандт... Шамшин рассмеялся.

— Я отослал его, — сказал он.

— А разве он не ваш?

Шамшин отрицательно покачал головой.

— Кому же он принадлежит?

— Одной старухе.

Шамшин расхохотался, сам удивляясь своему нелепому, случайному ответу. Агафон разочарованно поправил бровь, ткнул окурком в пепельницу и кивнул метростроителю. Оба гостя встали из-за стола. В вестибюле гостиницы Бержере мимоходом, как будто небрежно, спросил Шамшина:

— А вы знаете эту старуху?

— Да нет... — Шамшин иронически пожал плечами. —
Неизвестная старуха.

6

История с картиной странно оживила Шамшина. Дней через пять после встречи в «Европейской гостинице» Бержере опять звонил ему по телефону и спрашивал: не может ли он взять на себя хлопоты по разысканию этой неизвестной старухи?

— Нет! — Шамшин отрезал начисто. — Я не знаю, где эта старуха... А может быть, ее и нет...

Звонил Юсуп об этом же. Очевидно, антикварный муравейник кишел слухами. Только Брук пропал, он перестал существовать на свете. Шамшин всем отказал, но его самого втянула эта фантастическая игра с картиной. В том, что она замечена, было какое-то признание, это странно бодрило.

Он встретил Бержере в балете. Был первый дебют молодой, только что выпущенной из школы артистки. Они подошли друг к другу в конце спектакля. Много раз подымался занавес. Уже потухли люстры. В партере и наверху публика еще отхлопывала себе руки.

— Какая прелесть... — сказал Бержере. — Это Тальони!

Шамшин балета не любил, балет казался ему глупым, но спорить на эту тему не хотелось. Первый снег покрыл площадь перед Мариинским театром, кричали извозчики, подзывая седоков. Гудели редкие машины. Бержере предложил Шамшину поехать с ним отужинать во Владимирский клуб. «Чем я рискую...» — подумал Шамшин и принял приглашение. По дороге Бержере забавлял Шамшина анекдотами из жизни старого

балета. Шамшин почувствовал, что все это опять только предлог к дальнейшим разговорам. «Пусть его...» — решил Шамшин.

Сани остановились около подъезда с чугунными столбами. В прямоугольных фонарях, оставшихся еще из-под газа, желтело электричество. Швейцар выбежал навстречу саням, распахнул теплую медвежью полость и с поклонами кинулся отворять двери. Раздевшись, они поднялись во второй этаж по широкой лестнице, сплошь затянутой красным бобриком. Лепные стены, грубые картины, пыльные амуры, маляром написанные фрески, гипсовые грязные богини — все говорило о вертепе. На эстраде танцевала худая, стройная еврейка в желтых мягких сапогах, сверкая монетами и бусами. За столиками аплодировали: «Бис, Берта! Браво, Берта!» Журчал серый фонтан. В бассейне дремали золотые рыбки. Пальмы свешивали над столами искусственные веера. Сиял свет люстр в хрустальных подвесках. Было жарко, душно, пахло жареным мясом и вином. Сновали официанты. Шныряли женщины, почти полуодетые. Шамшин оглядывался, точно путешественник. За одним из столиков сидел Юсуп. Увидав вошедших, он вскочил. Бержере отвел Шамшина в сторону:

— Нам неудобно быть вместе с этой бандой.

Бержере брезгливо кивнул на компанию, окружавшую Юсупа. Они стояли посреди ресторана, не зная, куда приткнуться. Все места были заняты. Тогда Юсуп, подмигнув своим, подкатился к Бержере:

— Устроить, Агафон Николаевич?

— Да нет... мы сами... — сморщился Бержере.

— Я вас устрою отдельно. — Юсуп улыбнулся и схватил за рукав мимо пробежавшего официанта!

— Сафар, сделай столик. Почтенные гости!

Бержере вежливо поблагодарил Юсупа. Юсуп поклонился и прижал руки к сердцу:

— Хоп май ли, Агафон Николаевич... Хоп!

«Однако буржуазия чувствует себя довольно бодро», — подумал Шамшин, усаживаясь с Бержере. Подали ужин. В соседнем помещении, за огромными дверями из красного дерева, шумела толпа. Там шла игра.

Волнение, люди, нагретый воздух, духи, глаза и плечи женщин, улыбки их, возгласы, холодок, азарт, гул вентиляторов, шелест бумажных денег — все это

смешалось и дразнило воображение. Бержере подливал шампанского.

— Кстати, вас можно поздравить... Вы женились?

— Да нет.

— А мне говорили, что вы женились на соседке по квартире.

— Напрасно говорили, — Шамшин отрекся. — Мне говорят уже десятый год, что падает Исаакиевский собор.

Они чокнулись, и в эту минуту легкие влажные пальцы притронулись к уху Шамшина. Около столика стояла женщина. Ее лицо было покрыто густым слоем пудры. Прижав руки к плоской, маленькой груди, она смотрела на Шамшина зелеными улыбающимися глазами и прошептала ему: «Вася, дай десять рублей... Я должна поставить, я все проиграла. Если, конечно, можешь».

Шамшин дал. Сунув деньги в вырез платья, она так же неожиданно убежала. Бержере поджал губы.

— Какие бесстыдные глаза.

— А чего стыдиться?... Она красивая... Ее зовут Лялькой. У этой девушки есть мать. Вполне приличная женщина. Отца я не знаю... Может быть, они скрывают отца.

Бержере, слушая Шамшина, задумчиво качал головой.

— Почему вы не женитесь на ней? Вам нравятся такие женщины... Я заметил ваш взгляд.

Шамшин лениво ответил:

— Если бы в каждой женщине мы могли видеть будущую жену, мы никогда не ложились бы в постель рядом с женщиной.

— Неужели? — как будто намекая на что-то, ядовито захохотал Агафон. — В жизни бывает именно так. Случай из любовницы создает жену, честного человека делает преступником, величину ничтожеством, а ничтожество величиной. Это даже тривиально... Вам не надоела моя болтовня? Я вас сейчас развлеку.

Бержере вытащил из кармана замечательной работы золотую табакерку и подал ее Шамшину:

— Откройте.

Шамшин приоткрыл крышечку. В табакерке лежала маленькая горсть камней, они сияли гранями и радугой.

— Здесь на двести тысяч, прекраснейшие образцы! — шепнул Бержере. — Я никогда в жизни не расстаюсь с этой табакеркой, конечно, за исключением тюрьмы. Мне необходимо рассматривать и чувствовать эти камни. Я постоянно тренирую свой глаз и свои пальцы. Так же и в жизни надо ничего не бояться, надо тренировать себя, чтобы чувствовать случай. Успех, победу, славу имеет только тот, кто стремится им навстречу. Человек, чувствующий случай...

— ...почти бог! — зло подхватил Шамшин.

Бержере рассмеялся:

— Просто бог... Так думал Франс.

Они встали.

— Пройдем в соседний зал, — сказал Бержере, — я хочу вернуть сегодняшний ужин.

— Сколько с меня? — спросил Шамшин.

— Какие пустяки! — Бержере зевнул, прикрыв рот. — Мы сейчас выиграем. Allons bon! ¹

За овальным зеленым столом, на самой середине, выше всех сидел желтый крупье. Посматривая на столы, точно жулик, он кричал:

— Банк принимает! Банк принимает!

Наваливаясь на спины игроков, стояла жадная толпа державших мазу. Растратчики, рвачи, шулера тесно облепили стол, ожидая счастья. От толпы пахло, и стены были захватаны потными руками. Плавал табачный дым. Синяя муть зеркал превращала всю эту картину в мираж. Проигравшиеся подходили к зеркалам, чтобы поправить волосы или просто посмотреть на себя, и отходили в недоумении. Счастливцев, мокрыми руками рассовывая по карманам деньги, бежал в ресторан. Столы заполнялись бутылками, слетались женщины, и лихо запевали цыгане. Нищие, в грязных сорочках, бродили из одного зала в другой. Они ни на что не надеялись, они дремали в креслах, потерявших позолоту. Утром очередной счастливцев бросал им на колени бумажку в три рубля.

Бержере локтями растолкал всю эту толпу. Взявшись за спинку стула, он протянул руку через чье-то плечо и крикнул банкомету:

¹ Начнем! (франц.)

— Прощу!

По его тону поняли — пришел крупный игрок. Шум сразу затих. Все посмотрели на Бержере глазами изумленных животных.

— В банке три тысячи, — тихо сказал крупье. В руках у него хрустела новая колода карт.

— Ва-банк! — спокойно ответил Бержере.

Крупье поднял голову и, прицелившись к игроку, улыбнулся.

— Простите, может быть, будете любезны обеспечить? Не правда ли?

Бержере тоже улыбнулся, сунул руку в жилетный карман и выбросил на стол табакерку. Все в толпе переглянулись. Все смотрели за тонкими пальцами крупье. Крупье вынул себе туза, затем валета, секунду помедлил и выбросил третью карту. Все увидели, что это тоже валет.

— Банк бит, — сказал крупье.

Бержере снял со стола три тысячи, табакерку и отставил стул.

— Не желаете ли испытать счастье в следующую очередь? — ласково сказал он Шамшину. Тот почти механически сел, взял у Бержере выигранные деньги и, кинув их в банк, принял две карты. Кто-то сбоку под-сказал: «Еще!» Он получил третью. «Жир!» — громко заявил сосед.

Это был Юсуп.

— Банк берет! — крикнул крупье и длинной деревянной лопаточкой кокетливо сгреб деньги в свой ящик. Почти все игроки вздохнули облегченно, справедливость была восстановлена.

— Я не понимаю... — спросил Шамшин. — Что это? Я проиграл?

Улыбающийся Бержере держал его за руку. Они покидали клуб. На лестнице к Шамшину подскочил Юсуп и спросил:

— Ну, как дела, Василий Игнатьевич?

— Какие?

— Нашли старуху?

— Не одну, а десять!

Шамшин был, конечно, подавлен, но по-прежнему смеялся и грубил.

Утром Шамшин проснулся в невероятном настроении. Его мучил проигрыш. И вообще все поведение казалось недостойным. Он долго лежал, завернув голову в одеяло, делая вид, что спит.

«Можно этого долга не отдавать... — думал он. — Да у меня и нет никакой возможности. Кроме того, страшно глупо сунуть этой гнуси свои кровные деньги. Конечно, никаких денег он не увидит. Да он и сам, по моему, на это не надеется. Деньги-то шальные. И все-таки как некрасиво получается! Разве спустить ему картину? А кто за нее даст три тысячи? Какой дурак? Это нужно сделать так: в стиле любезности. Так сказать, в обмен. Дело не в деньгах, а любезность за любезность... Я проиграл, ты получи картину. Только этот паршивый черт, несомненно, сморщится, если я ему так предложу. Тут надо сделать хитрее... Надо, чтобы он умолял меня ее продать. Нет, и это нельзя. Ведь я же сказал, что картина не моя. Она принадлежит старухе... Какой старухе?.. Вот положение. Теперь изволь искать старуху, да еще не какую-нибудь, а подходящую старуху. Если поехать к Ляльке да попросить ее досто-почтенную мамашу? Опасно путать старух в эти дела... Нет, тут, я думаю, следует поступить так. Нужно этих антикваров еще немножко повозить около картины, помучить, чтобы они вошли в раж, чтобы у них накопело до отказа и слюнки потекли... А потом сказать: пожа-луйста, есть одна вещь! Как хотите, дело ваше, я тут ни при чем... Я дам адрес... Пусть они туда сегодня съез-дят. Лялька им скажет, что мамыши нет и неизвестно, когда вернется... Правда, Бержере может узнать Ляльку... И прекрасно! Пусть узнает... Это даже правдоподобнее. Ведь мог же я скрывать. А потом пройдет некоторое время, дело завертится, я тут что-нибудь придумаю... А если они действительно возьмут картинку, я могу сказать: картинка-то моя! Да. Так и сделаю... Коме-дия!»

Он выскочил из постели. Полетел в ванную, ока-тился холодной водой, выбрился, тщательно оделся и по-звонил Бержере и Юсупу, чтобы они приезжали сегодня к семи часам вечера по интересующему их делу на Разъ-езжую, дом № 11, там он их встретит у ворот. Каждого

он звал в отдельности, не сообщая о конкуренте, чтобы создать азарт.

За завтраком он весело рассказывал Ирине про Владимирский клуб, не упоминая об игре. Она огорчилась.

— А ты напрасно, по-моему, ездил.

— Почему?

— Надо все-таки разбираться в своих знакомствах. Не нравится мне этот Бержере.

— Ну, мало ли кто нам не нравится... До вечера! Он поцеловал Ирину в нос и беззаботно удрал.

Все, что случилось дальше, напоминало сон. Днем Шамшин заехал к Ляльке, уговорился с нею. Лялька пошла на все с большой охотой.

Ровно в семь вечера к воротам дома подкатили два извозчика. На одном был Бержере, на другом Юсуп. Расплачиваясь, они еще не замечали друг друга. Столкнувшись у калитки, они отпрянули, но делать было нечего. Они поморщились и примирились с судьбой. Увидев Шамшина, стоявшего за воротами, Бержере церемонно приподнял котелок, а Юсуп ласково хлопнул Шамшина по плечу:

— Хитрец! Столкнул!

Шамшин повел их по лестнице.

— Сейчас вы подыметесь на второй этаж и спросите Агнию Николаевну Баринову.

Дали звонок. К дверям никто не подходил. «Сдрейфила!» — решил Шамшин.

— Попробую я, — сказал Юсуп, приподымаясь к звонку на цыпочках. Звонок задребезжал. Наконец Лялька отворила. Бержере, постукивая тростью, быстро осмотрел переднюю. Ляльки он не узнал. Она была не напудрена, в глухом черном платье. Шамшин не мог взглянуть ей в глаза. Он давился от смеха.

— Мы желали бы видеть Агнию Николаевну, — сказал Бержере.

— Ее нет... — бойко ответила Лялька.

— Позвольте, нам сказали...

— Она уехала! — перебила Лялька.

— Куда? — Бержере чуть не уронил трость.

Лялька выгнула спину и с озорством лисицы посмотрела на него.

— В Москву!

Шамшин не ожидал такого ответа. Бержере наморщил брови.

— Вы дочка?

— Да.

— Нам бы только посмотреть картины... Покажите их — и все в порядке.

Лялька растерялась:

— У меня нет картин...

— Как нет? — закричал Юсуп.

Лялька покраснела, поймав взгляд Шамшина, и храбро соврала, почти не задумываясь:

— Мама все картины увезла в Москву.

Антиквары переглянулись. Шамшин зачесал в затылке.

— Вы знаете адрес вашей мамы в Москве? — спросил Бержере.

— Нет.

Антиквары мрачно повернули к выходу. Лялька подмигнула Шамшину и показала ему язык.

Около ворот состоялось совещание.

— В Москву... — сказал Бержере. — Надо разыскать старуху. Собственно, куда ей деться в Москве? Ясно, она будет где-нибудь среди антикваров. Василий Игнатьевич, едемте в Москву. Расходы на мой счет!

Шамшин пробовал сопротивляться. Но Бержере был настойчив.

— Ехать! Иначе упустим. Ясно... Старуха повезла картины на продажу!

— Да! Надо ехать... — сказал Юсуп.

Шамшин испугался.

— Видите, у меня дела...

— Какие там дела? — энергически заявил Бержере.

— Я только вечером сумею вам дать ответ: поеду я или не поеду.

— Вечером? Ничего подобного! Вечер уже сейчас! — Бержере необыкновенно воодушевился. — Вечером мы будем уже сидеть в поезде и пить красное вино. — Он посмотрел на часы. — Поезд отходит через два часа... Я еду на вокзал. Заказываю носильщику билеты для троих. Потом еду домой, забираю продукты и чемодан... и ужинаем мы в вагоне! Пошел... — сказал он, садясь в сани и дотронувшись до плеча извозчика, и уже с ходу крикнул:

— Встреча в вестибюле!

Юсуп сел на своего извозчика. Шамшин остался на Разъезжей.

— Что делать, черт возьми!

Накаленная атмосфера заразила его. Он почувствовал, что иного выхода нет... Или все позорно проваливается, или надо как-то действовать... Он снова бросился на второй этаж, надавил звонок изо всей силы. Лялька открыла.

— Где мать?

— Спит...

— Буди! Некогда спать... Через два часа она едет в Москву.

— Да ты с ума сошел!

— Буди скорей.

На крик вышла в переднюю старуха, седая, напудренная, подстриженная, с подмазанными губами, в прекрасном суконном платье лилового цвета. На руке у нее бренчала золотая браслетка, и на носу торчало маленькое пенсне без оправы, так называемая «бабочка».

— Я не поеду, — сказала она.

Шамшин понял, что старуха все знает, Лялька ей, несомненно, разболтала.

— Агния Николаевна, — сказал он решительно. — Нам уже некогда убеждать друг друга. Я сейчас еду на вокзал, заказываю вам билет у носильщика... Я еду в десять, вы в одиннадцать! В Москве я вас встречаю и устраиваю у своих знакомых. Все расходы на мой счет.

— Я не понимаю, Василий Игнатьевич, зачем мне ехать?

— Агния Николаевна, вы в Москве все поймете.

— Я не хочу тащиться в Москву неизвестно зачем.

— Как неизвестно? Я продаю картину... Это вам известно?

— Известно.

— Вы владелица этой картины, это вам известно?

— Ну, не совсем...

— Вы с продажи получите десять процентов.

— Василий Игнатьевич, — вдруг важно сказала старуха и высморкалась в маленький кружевной платок. — Простите меня, за кого вы меня принимаете?

— Как за кого? — Шамшин опешил и посмотрел на Ляльку, обращаясь к ней за помощью.

Лялька повела плечами и улыбнулась.

— Я вас очень уважаю, Агния Николаевна, — сказал Шамшин, — но вы сами понимаете, все помимо моей воли так неожиданно обернулось, мои антиквары...

— Мне нет дела до ваших антикваров, — резко перебила старуха. — Я не могу Ляlecky оставить без глаза! Это во-первых... А во-вторых: какой мне интерес?

— Я же вам сказал...

— Вы мне ничего не сказали. Что значат ваши проценты? Пятьдесят рублей, сто, триста... Я ведь ничего не знаю. Зачем я поеду? Я не девчонка, мотаться взад-вперед, неизвестно зачем.

— Да... — Шамшин вздохнул. — Я об этом не подумал.

— Вы странный человек, Василий Игнатьевич... Как будто не от мира сего! — наставительно произнесла старуха и сняла дрожащее пенсне. — Не желаете ли чаю?

— Благодарю вас, некогда! Агния Николаевна, я умоляю вас...

Шамшин приложил руку к сердцу. Он уже вошел в игру, бес азарта им овладел. Он решил подействовать на воображение.

— Агния Николаевна! Это, конечно, риск. Рискните! Риск — благородное дело. И вы, может быть, получите несколько тысяч.

Тут он понял, что порет какую-то невообразимую чушь. Растерявшись, он подмигнул старухе. Но пошлых людей сильнее всего убеждает пошлость. Вот почему старуха сперва удивилась, потом задумалась и наконец вопросительно взглянула на дочку.

— Ну, Ляlecka... Что ты посоветуешь?

— Право, не знаю, мамочка.

— Да чего не знать? — снова врезался Шамшин. — Ну, потеряете дня три, только и всего... А вдруг?

— Рискнуть?

Старуха опять посмотрела на Ляlecky. Лялька, задржав ноги, раскачивалась на стуле.

— Обдерни юбку... Где у тебя юбка? Что за мода? Лялька захохотала. Старуха рассердилась.

— Я не понимаю, Ляля, ведь Василию Игнатьевичу некогда. Он спешит... Надо же решать!

— Езжай, по-моему...

— А это не опасно, Василий Игнатьевич?

— Да что вы, Агния Николаевна... Что тут может быть опасного? Люди-то свои... Я вас не в Америку везу. Согласились?

Он схватил ее за руку.

— Я сейчас еду домой, потом на вокзал, потом забрасываю вам картины... Говорю номер носильщика, вы забираете у него билет и... в Москву, в Москву!

Он расцеловал и Ляльку и заодно старуху. Старуха сразу же забегала по квартире, хватая вещи.

Лялька закричала прислуге:

— Даша, вытащите с антресолей чемодан... Да оботрите!

Начался переполох.

Шамшин опрометью скакал вниз по лестнице. Думать уже было некогда...

Ирине была оставлена записка: «Иринушка! По экстренному делу выехал в Москву дня на три. Вася».

8

Старуха поселилась в одном из московских переулков, в каменном особнячке с помещичьим двориком, занесенным пухлым солнечным снегом. Среди снега стояли три восковых замерзших березы. Все вокруг и в самом домике было очень приятно. Домик, отведенный под маленький музей начала девятнадцатого века, довольно хорошо сохранился. Заведующий музеем, старый художник-реставратор, был большим приятелем Шамшина по винной части. Старуху он приютил в жилой половине дома, которая не экспонировалась, среди красного дерева и ширмочек, около тяжелой круглой изразцовой печки.

Старуха радовалась тихой жизни и готова была жить в этом особнячке до бесконечности. Утром она пила кофе, потом уходила обедать к московской приятельнице и там проводила вечер. Когда наступил решительный день, старухе стало страшно, а может быть, ей не хотелось расставаться с московской жизнью. Она категорически заявила Шамшину, что у нее сосет под ложечкой, что сегодня ночью ее томили скверные

предчувствия и что она вообще не согласна на эту авантюру.

— Вы смеетесь надо мной, Агния Николаевна, — заявил испуганный Шамшин. — Отступить уже поздно. Через полчаса сюда придут антиквары.

— Василий Игнатьевич, я вам говорю, что я сегодня не готова... — стояла на своем старуха. — Придут люди, а я не в состоянии связать мысли, не то что говорить...

Шамшин забежал по комнате... Выкурив две папиросы, он сказал старухе:

— Агния Николаевна, раздевайтесь.

Старуха удивленно посмотрела на него.

— Я вам говорю: немедленно раздевайтесь и ложитесь в постель.

— Зачем?

Она сняла пенсне.

— Вы больны. Вы умираете. Буду говорить я за вас. Ложитесь!

Старуха, подчиняясь приказу, молча пошла за ширму и стала раздеваться. Из-за ширмы он услышал ее веселый, даже интригующий голос: «Я легла, Василий Игнатьевич».

Шамшин раздвинул ширмы. Старуха лежала под одеялом, помолодевшая, томная, румяная, с улыбающимися глазами, почти невеста, ожидающая жениха.

— Что это такое? — строго сказал Шамшин. — Так не годится! Повяжите голову чем-нибудь черным. Сотрите губную помаду... Постойте! Да у вас даже брови накрашены... Все стереть... Все к черту!

Старуха была недовольна, но ей пришлось подчиниться Шамшину. Когда раздался звонок, Шамшин побежал отворять двери.

— Старуха-то плоха... — сообщил он антикварам. — Боюсь, как бы тут не очурилась.

Антиквары, покашливая, осторожно, на цыпочках, вошли в комнату. Раскланялись со старухой. Она ответила им, мигнув ресницами. Когда они начали ее расспрашивать, она тупо ткнула в угол, где стоял пакет, зашитый в холщовый мешок. Юсуп вскрыл его. С недоумением антиквары разглядывали привезенные картины, пока не дошли до работы Шамшина.

Бержере покосился на старуху и шепнул:

— Эта?

Шамшин, взяв свою картину, повертел ее, как фокусник, и швырнул на стол. Бержере с недоумением взглянул на нее.

— Ну как?

— По-моему, фальшивка! — холодно сказал Шамшин.

Бержере вздохнул. Ему тяжело было разочаровываться.

— Как быть?.. Подождите. Я съезжу к Вострецову.

Он не поверил Шамшину. Он заметил в его глазах странный блеск.

Надев свой неизменный черный котелок, Бержере исчез.

9

Профессор Вострецов сидел на пуфике, неподалеку от старухи, и мечтательно оглядывал низкие комнаты сквозь запотевшие стекла очков. Снежинки таяли на его старинной шубе. Из-под бобрового воротника он вытащил седую растрепанную бороду и расправил ее на две аккуратных бакенбарды.

Бержере подал ему картину. Вострецов взял ее небрежно.

— Агафон Николаевич, честное слово, делаю уступку только вам... Вы знаете, обыкновенно, когда мне приносят пакет и говорят, что там завернут Рембрандт или Рафаэль, я кричу: «Идите к черту!»

— Это правильно, — неохотно процедил Бержере.

— А как же иначе? Ведь тащат черт знает какую дребедень. И главное, все убеждены, что у них шедевр... Но я скептик! Я не доверяю неизвестным шедеврам... В особенности подписным!

Шамшин молчал.

— Это не подписная, — робко промолвил Бержере.

— Слава богу... А то, чем хуже вещь, тем лучше подпись.

Профессор хлопнул доскою по столу и рассмеялся.

— Ох, уж эти обманщики, фальсификаторы и шарлатаны! Черт их побери, вот уже десятки лет проходят, шагнула техника, они же все фабрикуют по старинке. Это непременно либо старая филенка, либо старое полотно, на котором делают копию или арлекин-

наду, то есть из самых разнообразных картин того же мастера берут куски и собирают вместе, меняют композицию, фигуры... Своей сухой живописи придают золотистый тон желтым голландским лаком, или обыкновенным, или лаком цвета сепии. Подделывают грязь, пропитывают картину густым слоем лакричного сока, прогревают солнцем, ставят в духовую печь. Кракелюры намечаются иголкой. Хитрецы прикладывают к полотну металлическую пластинку и бьют по пластинке молотком. Лак звездится. Трансформация! Хромофотография! Кислоты! Всю эту машину времени я изучил до тонкости... Убожество! Думают о чем угодно... О линии, о форме, о пятне, о свете! Только не о том, что картина должна дать... Помнят о внешности, об эпидерме модели и забывают дух... Дух, дух!

Вострецов сдунул пыль с доски.

— И главное, всех тянет на Рембрандта! Здесь, между прочим, кроется какая-то несомненная тайна. Пожалуй, его можно скопировать, но дать Рембрандта очень трудно. Нужно самому быть гением, Рембрандтом! Гением, гением! — выкрикнул профессор.

Шамшину становилось не по себе. Чтобы спрятать дрожь, он сунул руки в карманы. Он жалел, что пошел на это дело. Ему хотелось как можно скорее убежать из комнаты и бросить все на произвол судьбы.

— И все-таки... — Профессор снова добродушно расхохотался. — Вы знаете, что сказал одному скептику знаменитый Анри Рошфор о Capitaine en justaucorps de buffle¹, выставленном в Пти Пале... Он сказал: «Милый мой, ты сомневаешься в нем... Сомневайся! Ты прав! Я тоже сомневаюсь. Но если бы ты узнал, кто фальшив из выставленных здесь Рембрандтов, тебе не на что было бы смотреть!» Что делать? В мире циркулирует не менее трехсот фальшивых Рембрандтов. И если разоблачить некоторые из европейских и американских галерей, мы недосчитаемся многого. Кто этого будет добиваться? Те триста погибших, которые были равны ему? Большинство из них умерло в таком же забвении, как он. Триста погибших гениев! Вот тема для трагедии. Разрыв между талантом и временем создал этих несчастных. Мне жалко их... Я их люблю.

¹ Капитан в кожаной куртке (франц.).

Профессор вдруг мельком взглянул на Шамшина. Щеки Шамшина моментально покраснели, он отошел в сторону и готов был провалиться. Вострецов ехидно улыбнулся, снял очки и поднес картину к самому носу. Затем, сделав из ладони что-то вроде трубки, он стал внимательно разглядывать. Антиквары следили за его движениями.

— Откуда она? — вдруг спросил Вострецов, подымая голову.

Антиквары пожали плечами и кивнули на старуху.

Вострецов подошел к ней, потянул носом воздух и моментально отскочил к окну. Здесь, оставив картину на расстояние, он долго смотрел на нее, посапывая, колупнул ногтем краски, поскреб в бороде и осторожно положил доску на стул.

— Вот художник... Бог знает, что это за человек... Пользовался ли он известностью в свою эпоху? Документы говорят, что нет... Его портреты не очень нравились заказчикам. Он был чужим в своей среде. При официальных церемониях его забывали, при наградах обходили... А если где-нибудь случайно ему и находилось место, так обязательно позади прочих.

— Я очень извиняюсь... — Юсуп нервничал. — Вы уважаемый профессор, почтенный профессор. Что мы имеем?

Вострецов опять взял картину, перевернул ее, улыбнулся, постучал.

— Единственное, что меня в ней смущает, так это доска.

— Единственное, что есть в ней настоящего, профессор, так это доска! — горячо сказал Шамшин.

Шамшину показалось, что профессор все видит и только издевается над ним. Тогда он решил открыто сгубить ему. Профессор в ответ блеснул очками и ласково протянул руку Шамшину.

— Друг мой, древние говорили: «Мудрец сомневается только в истине»...

Потом, напив на голову боярскую бобровую шапку с бархатным верхом, не прощаясь, профессор направился к выходу. Вслед ему бросились Бержере и Юсуп. В темной передней Бержере схватил его за руки.

— Все-таки это Рембрандт?

— Если да, то мы не знаем на него цены! Не знаем рынка. Если нет... Нет, очевидно, да!.. Черт его знает, что это за мастер, — восторженно сказал Вострецов и

загадочно заторопился. Сунул антикварам свою ладошку, заправил бороду под воротник шубы и уплыл, громко топая ботами.

Пока антиквары провожали Вострецова, Шамшин приказал старухе:

— Берите с них немедленно пятьдесят тысяч.

Она закатила глаза.

Вернувшись, Бержере долго ковырял в зубах спичкой. Юсуп мечтательно глядел в окно. Огни еще не зажигались.

— Ну... *Ca y est*¹, — шумно вздохнул Бержере и сказал Шамшину по-французски: — Я решил купить! Присоедините для виду еще каких-нибудь две картинки и спросите эту дохлую ведьму: сколько она возьмет за все?

— Дохлая ведьма возьмет за все пятьдесят тысяч, — бойко ответила старуха, тоже по-французски. Ее головка задорно зашевелилась на подушке. Бержере наклонился к старухе, почти вырвал из-под одеяла ее руку и поцеловал.

— Мадам... Я не мог знать... — зашептал он и отсчитал сорок тысяч. — *C'est mon dernier mot*², больше я дать не в состоянии, madame.

От старухи они сразу уехали в «Метрополь» обедать и оттуда на вокзал. Бержере взял купе. В дороге он почувствовал себя еще лучше. Юсуп улегся спать, как человек, выполнивший свой долг. Шамшин забрался на верхнюю полку. Бержере по-прежнему болтал.

— А хороша старуха! Все молчала и выпалила, точно пушка. Поскоблите русскую дворянку, и вы увидите боярыню.

— Да почему вы думаете, что она дворянка? — издевался над Бержере Шамшин. — А вдруг она вдова полицейского чиновника?

— Нет, мой дорогой. Не те манеры. Чиновницы любят унижаться, а эта как отрезала! Не забудьте, у меня есть глаз на эти вещи... Я полуартист, полупридворный, полуаристократ!

— Вот именно, что полу... — захохотал Шамшин.

Скрипели оси, раскачивались занавески, храпел Юсуп.

¹ Так (франц.).

² Это мое последнее слово (франц.).

Не всегда деньги бывают приятны. Шамшин старался спустить их как можно скорее. Часть была отослана в Тамбов старикам, часть отдана Ляльке, выплачен долг Бержере, куплена дача в Петергофе.

На дачу приезжали гости. Кипел самовар, и не сходили со стола закуски и вино. Ирина держала голову выше обыкновенного, и про нее говорили: «Ну вот, все-таки выслужилась в жены». По вечерам играли в покер. Он тоже играл и смеялся вместе со всеми... Однако даже малознакомые люди замечали в этом смехе что-то маскарадное. Ирина пыталась узнать, он молчал. Вся окружающая жизнь подходила к пределу, после которого должно было начаться что-то новое... Но как все это будет, Шамшин не видел. Первыми почувствовали частники. Антиквары, сообразив, что им теперь не жить, стали потихоньку свертываться. Бержере нелегально переребжал через границу. Шамшин узнал об этом совершенно неожиданно.

В Петергоф приехала Лялька. Она влетела в квартиру, точно кавалерийская бригада. За столом сидели гости. Ирина сжала губы, она сразу почувствовала какую-то опасность. Лялька села за стол, не смущаясь попросила чашку чая и закурила папиросу. Она оглядывала Ирину и гостей, улыбаясь из-под фетровой шляпки, и весело спросила Шамшина, как он живет.

Он пожал плечами.

Лялька качалась на стуле, будто она сидела в седле.

— А я задумала смыться в Ташкент.

— Зачем?

Шамшин задал этот вопрос из необходимости, желая хоть чем-нибудь заткнуть образовавшуюся пустоту. Все молчали.

— Как зачем? Мы ведь живем совсем не так, как надо жить... Как от нас требуют. Скоро все изменится...

Лялька захохотала и погладила себя по груди, по бедрам. Она вскочила. Прошлась по комнате, щеголяя тонкими туфлями и серебристым платьем. Остановилась около начатых картин, потом, махнув рукой, перевернулась на каблучках и положила руки на плечи Шамшину.

— Я бегу! Наш клуб скоро прихлопнут. Чего мне ждать? Высылки... Я лучше уеду сама... В Ташкент!

В отстающие районы. — Она засмеялась. — Там солнце, виноград, восточные люди... Программы хватит на год. А дальше? Поживем — увидим... Да, кстати, Бержере смотался за границу... Разве ты не знал?

Лица у гостей вытянулись. Это не смутило ее.

— Неужели вы не знали? — сказала она необычайно звонко. — Этой осенью!

Шамшин покраснел. Кто-то из гостей заинтересовался: каким же образом сбежал Бержере?

— Ну, мне это неизвестно. Не я его переправляла! — опять засмеялась Лялька. — Мне говорили, что на яхте из Дубков... Прямо в Териоки! Решительный мужик.

Крепко стиснув Шамшина за плечи, она ему шепнула:

— Юсуп сказал, что Бержере увез твою картину... туда!

И она сделала жест в воздухе, точно раскланиваясь с трапедии.

Лялька, заметив, что Шамшин терялся все больше и больше, наконец сжалась над ним. Она нагнулась к Ирине и сказала, нагло улыбувшись:

— Простите... Я могу поговорить с вашим... — Тут она нарочно сделала паузу. — С вашим мужем. У меня к нему маленькое дело... Секретное! — прибавила она и погрозила пальцем.

Ирина молча кивнула головой и не подняла на нее глаз. Гости переглянулись. Шамшин, еще больше краснея, увел ее в соседнюю комнату.

Увидав большую французскую кровать, она прикусила губы, потом бросилась на шелковое одеяло, подрыгала ногами и задохлась от восторга.

— Какая мягкая... Какая киска! Вася... Я хочу быть твоей женой. Почему ты ни разу не зашел ко мне? Или уж так хороша твоя Ирина?

Не дав ему опомниться, она его поцеловала и, оглядываясь по сторонам, зашептала на ухо:

— У тебя есть немного денег? Капельку? Мне надо на отъезд... Если только есть...

Шамшин стал искать в шкафу деньги. Не считая, он сунул в сумку то, что попало. Он понимал, что Лялька не шантажирует. Этот заем — для нее явление естественное, как снег зимой. Она не обиделась бы, если бы он отказал. Она прилетела сюда поклевать. Не найдя

здесь ничего, она улетела бы, как птица, в другое место. Шамшин смотрел на этот маленький лоб, лишенный мысли, на разрисованное лицо, на котором широкие зеленые глаза казались странными, точно камни, заросшие тиной и выглядывающие из воды, на маленькое тело, небрежно прикрытое платьем, как будто по необходимости. Она прижалась к Шамшину и сказала ему бесстрастно, точно диктор:

— Спасибо...

Потом еще раз поцеловала его и посмотрела ему в глаза.

— Прощай! Тебя всегда будут любить бабы... А за что? Неизвестно. Впрочем, так именно и любят. Если будешь знаменитым, нарисуй меня. Пускай любят! Хотя... Кому надо такое барахло?

Тут она еще кое-что прибавила на своем кровосмесительном жаргоне, расхохоталась и удрала.

Шамшин вернулся, все гости уже ушли. Ирина одна сидела за столом, закрыв лицо руками. Шамшин бросился к ней.

— Что с тобой?

Он пробовал шутить.

— Ты точно проигралась...

— Да, я проигралась. Я-то ничего... Кто я? Никто. А вот ты...

Ирина развела руками.

— Недаром я боялась этого Бержере. Эта девка, свалившаяся с неба... Ты, очевидно, связан с ними каким-то темным делом?

— Я? Связан? — Шамшин поднял голову. — Ты с ума сошла.

Он рассказал ей все от начала до конца.

— Бержере сам влез во всю эту историю, он сам себя втянул. Есть о чем горевать...

Шамшин наигранно улыбнулся.

Ирина ходила по комнате, растирая лоб, ей мешали оскорбительные мысли, по щекам ее текли слезы.

— Ирина, — говорил Шамшин, — ну, черт с ним, с этим буржуем... Что такое честность, в конце концов? А он был честным? Они сами соблазнили меня. Они меня втянули в эту игру. Разве не так? Да не плачь... Да черт с ними, с этими деньгами! Разве тебе так жалко

денег Бержере? Может быть, следовало даже всерьез, по-настоящему обобрать его... а не так, случайно...

— Случайно ли? — задумчиво сказала Ирина и взглянула в глаза Шамшину.

— Какой вздор! — Шамшин освирипел. — Ну, хорошо, значит, по-твоему, я смошенничал...

Он захохотал, но по его волнению видно было, что этот хохот стоит ему дорого.

— Допустим, я смошенничал. А кто от этого в убытке?

— Ты... — твердо сказала Ирина, — больше никто. Ты прежде всего советский художник... А не... Кто, как не ты, презирал всех этих людей, третировал... А чем ты от них отличаешься? Так чего же стоит твое благородство?

— Вот как? — крикнул Шамшин. — А почему Рубенс мог писать брейгелевского «Старика» и эта копия ценится отнюдь не меньше, чем оригинал? Даже больше!

— Разве Рубенс выдавал ее за Брейгеля? — холодно спросила Ирина.

Молчание. Шамшин лег на тахту и отвернулся лицом к стене. Ирина сидела у окна. Над Петергофом повисли зимние коричневые тучи.

Не глядя на Шамшина, точно обращаясь к себе, вслух подумала Ирина:

— Теперь я понимаю, зачем тебе нужны эти постоянные гости, и покер, и вино...

Она встала, обтерла лицо руками, будто умываясь.

— И такой человек мог мечтать о славе? Лучше бы ты убил меня, — сказала она, глубоко вздохнув. Затем она ушла в переднюю. Потом хлопнула дверь.

Ирина уехала, не сказав ему ни слова.

Шамшин решил покончить с собой в этот вечер. Все случившееся казалось ему не случайным... А преступление, которое он понял во всей широте только сейчас, угнетало его своей бессмыслицей. Зачем он его сделал? Для славы... Чья же слава? Из-за Ирины? Нет. Для кутежей? Нет. Для денег? Нет... Так для чего же? Ни для чего. Тем хуже! Какая бессмыслица... При таком честолюбии попасть в такой тупик! Вспомнив слова Вострецова о погибших гениях, он сел за стол, чтобы написать письма Ирине и Апрельскому: о том, что истина всегда запаздывает, о том, как скучно повторять

прошное искусство и притворяться мертвым. Над чер-
тежным столиком горела маленькая лампа, прикрытая
зеленым колпачком. За домом прохрустел снег. Кто-
то с улицы осторожно постучал в окно. Шамшин
потушил лампу, решив не открывать. Он уже покон-
чил со всем... Минут десять он просидел в темноте не
двигаясь. Когда он вновь повернул выключатель, опять
раздался стук, на этот раз требовательный и настойчи-
вый.

— Кто там? — спросил Шамшин, подходя к дверям.

— Это я, Василий Игнатьевич, — радостно отозвался
дворник с улицы. — К вам гость приехал, вас разыски-
вает...

Шамшин открыл дверь.

Брук мрачно вошел в квартиру и, не снимая пальто,
не здороваясь, спросил Шамшина:

— Можно мне побыть у вас до утра?

— Здесь не гостиница, — резко ответил Шамшин.

— Неужели вы погоните меня?

Шамшин молча ушел в спальню, он не слышал Брука.
Ему было все равно, кто бы там ни был в соседней
комнате. Прошло несколько часов. Брук хрипел за стен-
кой, кашлял, ворочался, как собака, сторожившая Шам-
шина.

Потом он крикнул:

— Вася!

Шамшин молчал.

— Не желаешь разговаривать? Не надо. Я хотел
сообщить тебе новость о твоей картине.

Шамшин не откликнулся.

— Агафон увез ее в Берлин. Она была на экспертизе
у доктора Боде, и он признал ее Рембрандтом тридца-
тих годов. Два мировых коллекционера-рембрандтиста
спорили о ней... А купил какой-то третий дурак! Теперь
она ушла в Америку за сто тысяч долларов! Какой
ужас! А я с Агафона получил только пять тысяч комис-
сии... Зачем ты обманул меня?

Шамшин и на это ничего не ответил. Тогда Брук
тихо засмеялся:

— Вася, да жив ли ты?.. Может быть, я говорю с
покойником?

Шамшин, сжав кулаки, выскочил к Бруку и закри-
чал:

— Врешь! Картина моя!

— Твоя? — Брук зло улыбнулся. — Интересно. По-
чему же она твоя? Я слышал уже это. — Брук махнул
рукой. — Если это даже так, надо доказать... А теперь
поздно доказывать...

— Я докажу... — Шамшин впал в бешенство. —
Только я знаю это место в картине... Если снять там
слой краски, все увидят мою подпись: «Василий Шам-
шин, Ленинград». Я нарочно это сделал! Меня никто не
может обвинить...

— Дурак! — Брук расхохотался. — Кому нужна твоя
подпись! Кто выплюнет золото ради тебя?

— Кто выплюнет золото...

Шамшин, не помня себя, схватил со стола острый
разрезальный нож и бросился на Брука. Зажав нож в
руке, он вдруг остановился, закрыл глаза и швырнул
его на пол.

Нельзя было понять, испугался Брук или нет. Но он
встал. Вынул из кармана золотые часы, посмотрел вре-
мя, щелкнул крышкой и покосился на окно. На синем
замерзшем стекле уже проявились расплывшиеся чер-
ные лапы деревьев.

— Я уйду, — сказал Брук. — Только никому не
советую говорить, что эту ночь я провел здесь. Вчера в
городе арестовали нескольких антикваров...

Когда Шамшин открыл глаза, Брука не было, он ис-
чез, как будто он никогда и не сидел в этой комнате.
У стола валялся нож с разбитым клинком. Шамшин
упал на тахту, совершенно обессилев, словно он ска-
тился в горную щель и все забыл. Мгновениями он про-
сыпался и вспоминал все и от тяжести этих воспомина-
ний опять проваливался в забытие. Очнувшись утром. Он
услыхал звон колокольчиков. Он с ужасом подумал:
неужели утро? Вдруг показался черный горнист, сби-
тый с седла, черная лошадь без всадника, а впереди нее
четыре удирающих офицера. Брук с лошади махнул
ему рукой. Потом Лялька скинула мундир, и Шам-
шин увидел себя. Он лежал, залитый кровью, на него
смотрела лошадь. Тут опять все раздвоилось, и уже не
он, а сенегалец вскочил с земли и крикнул: «Ты ду-
рак!»

Он раскрыл глаза и рассмеялся. В квартире тишина.
Он потушил электричество, растопил печку, вымылся с

головы до ног, потом подошел к забытой картине и сдернул с нее полотно.

— Я повалю горниста... — решил он и начал работать.

Когда обеспокоенная Ирина привезла Апрельского, они увидели художника стоящим около картины. Он писал. Услыхав людей, он обернулся и помахал кистью. В своем потрепанном комбинезоне он с некоторой горечью разглядывал поле битвы, точно главнокомандующий.

— Кончаешь? — осторожно спросил Апрельский.

— Не знаю... Думаю... — ответил Шамшин и гордо прибавил: — Картины бывают разные. Одну можно писать месяц, а другую годы, и все будет, что писать.

Горела печка.

Высокий выпрямившийся и спокойный художник, реставратор, ремесленник, пошляк, болтун, любовник, игрок, похититель Рембрандта, человек с самых низов, но чрезвычайно высокого полета, человек, сложенный из противоречий, смотрел в огонь. Он думал:

«Поменьше вечности, побольше жизни!.. Каждый должен жить настоящим. Не делая настоящего, не рождая его в себе второй раз уже как художник, я мог убить себя...»

— Что ты бормочешь? — спросил Апрельский.

Шамшин улыбнулся:

— Я думаю о том, как будет сделан «Сенегалец»! Иринка, чаю...

1935



ВЕЧЕР В ДОМЕ ИСКУССТВ

В политотделе артиллерийского дивизиона, где я служил, числилось шесть инструкторов. Мы жили все вместе в казарме, рядом со штабом, в специально отведенном для нас маленьком помещении.

Дивизион отдыхал, вернувшись в Петроград из Польши. Поход был труден, народу потеряли немало, и петроградская жизнь всем казалась прекрасной.

Еще бы — в комнате, рядом с канцелярией, размещены были шесть железных коек с тюфяками. Давно мы не имели таких коек. Тюфяки были даже покрыты одеялами, сшитыми из шинелей третьего срока. За дверью на гвозде в брезентовом мешке всегда висел общий казенный паек — буханка хлеба. Хлеб подвешивался из-за крыс. Они осаждали наши казармы, как самое сытое место района. Ночью с фонарями красноармейцы дежурили во дворе у продовольственного склада. Заметив крыс, они нападали на них с топорами. Борьба шла отчаянная.

Над Петроградом сияло небо, не омраченное дымом. В домах печей не топили. Люди варили себе пищу на печурках, прозванных «буржуйками». Буржуйки стояли в пустых квартирах, точно костры, завернутые в кусок железа, с трубой, отведенной в дымоход. Заводы почти не действовали. Окна магазинов были сплошь забиты досками. На улицах никто не мусорил, потому что мусорить стало нечем. В городе проживала только треть населения. Остальные две трети сбежали, погибли или дрались на фронтах.

Однажды после упражнений в манеже командир первого отделения второй батареи Донька Мелков прибежал в политотдел к инструкторам.

— Слушайте, — сказал он, запыхавшись. — Я видел на Мойке дом и афишу на нем прочитал. Там написано: Дом искусств. Что это такое?

Никто из инструкторов не откликнулся. Каждый был занят своим делом: Люди чистились, устали от тренировки.

Я нахмурился.

— А ты почему на езде не был? — спросил я Доньку.

— Я в штаб ходил с пакетом, — ответил он. — Что такое Дом искусств? Объясни, пожалуйста. Ты должен знать. Ты же студентом был?

Я пожал плечами.

Это задело его. Метнув на меня презрительный взгляд, он взял табуретку.

Донька был примечательным парнем. Ему едва исполнилось девятнадцать лет, и, по существу, он был еще

мальчишкой. Его глаза всегда что-нибудь выскивали. Загорелая кожа на лице отливала синевой. Он был болтлив. В бою отличался злостью и отвагой. В мирное время многие его недолюбливали, считая выскочкой и хвастуном. В Петрограде он еще никогда не жил, прибыл к нам в дивизион недавно как прикомандированный к новому эшелону из Луги, отпусков в город еще не имел... И вот сейчас по дороге из штаба округа за какие-нибудь полчаса он уже умудрился откопать в городе нечто, неизвестное даже мне, местному жителю.

Это было похоже на Доньку. В дивизионе он тоже вечно мотался, как неприкаянный. Что бы ни случилось, Донька вертелся уже тут, на месте происшествия, и становился сразу либо его участником, либо свидетелем. Он отличался от остальных какой-то только ему присущей «игрой». Короче говоря, Донька нравился мне. Он был хитер, понимал мою слабость и всегда старался ее использовать.

Сейчас он сидел против меня на табуретке, скрестив толстые, короткие ноги, представлялся расстроенным и всей пятерней скреб себе затылок.

— Эх, досада... — вздыхал он. — Слушай, завтра в этом доме писатель Горький будет читать лекцию о писателе Толстом...

— Ну, так что?

— Хочу послушать, — сказал Донька.

Все это показалось мне фокусом.

Я решил, что Донька просто ищет благовидный предлог, чтобы вырвать у меня отпускной билет на несколько часов.

— Да ты читал Горького или Толстого? — спросил я.

— Ну, еще бы! — сказал Донька.

Однако из дальнейшего разговора сразу стало ясно, что Донька врет. Он почувствовал, что ему не верят, и силился что-то вспомнить. Он помахивал, будто лошадь, головой. Вдруг лицо его вспыхнуло, и он заявил мне с торжеством:

— О соколе читал!

— Ну, а еще?

Донька задумался. Сморщил лоб. Потом небрежно шевельнул плечом.

— Кстати, я не профессор, чтобы сразу вспомнить, — сказал он. — Да не я один хочу на лекцию. Все

желают. Всем интересно! Такое дело не каждый день случается... А то у нас одни картины.

Мне стало ясно: Донька крутит... Дело, очевидно, не в лекции.

Но в канцелярии находился наш комиссар, человек доверчивый и тоже увлекающийся. Он поверил Доньке. Кроме того, Донька так горячился и настаивал, так напирал, что добился своего.

Комиссар приказал мне разыскать телефон Дома искусств.

Я позвонил туда.

Мне ответили, что дом закрыт для посторонних и что на вечерах могут присутствовать только писатели и художники.

— Люди искусства, — значительно прибавил неизвестный.

Разговор шел при Доньке. По моим возражениям он сразу понял, что его затея разлетается в прах.

Он вырвал у меня трубку и прокричал в нее:

— Это невозможно! Я всему дивизиону обещал... В крайнем случае, вы должны пустить хоть одну батарею... Хоть одно орудие...

Не знаю, что ему на это ответили. Вначале он слушал внимательно, потом губы его мгновенно перекошались, и он, ничего не говоря, шмякнул трубкой о рычаг, выругался.

— Ну и черт с ними! — сказал он. — Пусть подавятся своим искусством.

На следующий день он снова появился в канцелярии. Уже по его лицу я догадался о чем-то необычном. Донька льстиво смотрел мне в глаза и говорил, заискивая:

— Хочу все-таки попасть на лекцию! Схлопочи у командира увольнительную... Я уж отплачу! Чем хочешь? Хочешь — лошадь вычищу не в наряд?

Подозрение снова шевельнулось во мне. Я сухо оборвал его:

— У меня нет лошади.

Но Донька продолжал свое:

— Ну, мало ли что потребуется? Я-то уж тебя всегда выручу.

— Говори прямо, хочешь в город? — сказал я.

Донька замахал руками.

— Да что ты... Стану я враты! — сказал он, глядя мне в глаза как младенец.

В конце концов он убедил меня. Больше того. Он заразил меня своей неукротимой жаждой.

Я обещал ему похлопотать у командира.

— Я вместе с тобой пойду на лекцию, — сказал я.

Мне показалось, что Донька этим не совсем доволен. Но выражение его лица обыкновенно так часто менялось, что уследить за ним не было никакой возможности.

В седьмом часу вечера мы вышли из ворот дивизиона. Было еще рано, когда мы подошли к дому, стоявшему на углу Невского и Мойки. Под крытым подъездом висела желтая афиша. Других объявлений не было. Фонари в городе не горели. Город казался молчаливым. Трамвай не ходил, и лишь иногда мелькала тень случайной машины, перевалившейся через горбатый мост. Ее хриплый, изношенный мотор, прорывав, вдруг затухал вдаль, в перспективе темного Невского.

В глубине подъезда за двумя стеклянными дверями багровым огнем тлела старая электрическая лампочка. Только некоторые окна дома были озарены и казались заплатами.

Мы стояли под деревьями у набережной. Было ветрено. К подъезду еще никто не подходил. Донька нервничал и немилосердно хвастал своими успехами среди женщин.

— Я все-таки и здесь завел хорошее знакомство! Случайно заимел! — говорил он мне, улыбаясь.

— Когда же?

— А вот когда в штаб ходил. Если бы ты увидел, позавидовал бы!

— Да что ты! — посмеялся я.

— Да уж будь спокоен! — уверенно заявил мне Донька. — Марусей зовут. Загляденье... Она за Невской заставой живет... — прибавил он, немного подумав.

Я видел, как Донька что-то еще хочет сказать мне, но не решается.

На тротуаре уже появились одинокие фигуры. Народу было немного. Черная дверь на блоке, закрываясь за проходившими, странно вздыхала, будто провожая заговорщиков. В доме вспыхнул ряд окон третьего эта-

жа над подъездом, потом их задержали глухими портьерами.

Донька встревожился. Даже в темноте можно было заметить, что глаза у него поблескивают, как у охотника. Мы ждали толпу, надеясь проскользнуть вместе с нею. Но ее не было. К подъезду подъехал извозчик, он привез высокого человека в черном пальто.

Этот человек заговорил басом. Спутник его засмеялся тонким, повизгивающим смехом. Затем оба исчезли в подъезде. Опять вздохнул блок, и снова опустела набережная Мойки.

— Пошли! — сказал я Доньке.

Прислушиваясь к шагам, раздававшимся сверху, с полуосвещенной лестницы, мы тоже поднялись на второй этаж и вошли в прихожую. Сбоку стояла большая вешалка. Двое только что вошедших уже разделись. В одном из них я узнал Горького. Он был в черном костюме, борта широкого пиджака обвисали свободно, будто на вешалке. Он оправил ворот голубой свежей сорочки, мельком поглядел на нас... В соседней комнате, по обстановке напоминавшей контору, слышался шум. Там разговаривали и курили. Около барьера толпились девицы, чисто и аккуратно одетые, болтавшие с молодыми людьми. За барьером были расставлены канцелярские столы. У одного из них стоял юноша в синей гимнастерке и в синих галифе. Прищурясь, он контролировал всех, входящих в эту комнату.

Я оглянулся на Доньку. Форма, да и не только она, а весь вид Доньки, его насторожившийся взгляд отличали его от всех остальных. Я был незаметнее, мой старый китель, мои старые студенческие брюки со штрипками ни в ком не могли возбудить сомнения. Я подходил к этой публике, сливался с нею. Донька же скрипел ремнями, выпрошенными у командира взвода. Его галифе сверкали вшитой в сукно желтой кожей. На сапогах брэнчали медные шпоры.

Столкновение казалось неизбежным.

Действительно, не успели мы войти в эту комнату, как я уже поймал нацелившийся на нас глаз контролера.

Я понял, что мне сейчас предстоит упрашивать его и объясняться с ним. Контролер подошел к нам, но обратился не ко мне, а к Доньке.

— Вечер закрытый! Вы кто такой? — сказал он.

Донька раскрыл рот, точно намеревался укусить контролера. Потом задрал голову и, не задумываясь, выпалил:

— Писатель! А в чем дело?

Такого ответа никто не ожидал. Юноша был ошарашен, потом начал оглядываться, выискивая кого-нибудь на помощь. Донька, не дожидаясь дальнейших расспросов, храбро пошел вперед. На пути он столкнулся с Горьким, внимательно наблюдавшим за всей этой сценой. Вздернув левое плечо, он прошел мимо всех. Я увидел, как Горький проводил его веселым, усмевающимся взглядом. Тут же он остановил метнувшегося за Донькой ретивого контролера.

Короче говоря, через минуту я уже сидел рядом с Донькой в белом зале. Бронзовые кенкеты, висевшие по стенам, освещали уютный узкий зал. Красивый паркет был отполирован точно для танцев. Возле окон, посередине зала стояла белая мраморная фигура работы Родена. Зал наполнялся публикой, мне казавшейся изысканной, а Доньке в каждом из входивших уже, наверное, мерещился контрреволюционер. Белые воротнички и галстуки, золотые пенсне, черепаховый лорнет и боа из перьев на какой-то старушке, очевидно, казались ему необыкновенной роскошью. Из разговоров этой старушки с ее соседями я понял, что она переводчица. Донька смотрел на нее не мигая. Беспрепятственно то один, то другой человек привлекали его внимание, и он сидел, будто на иголках, оглядываясь на все стороны, словно ожидая нападения.

Мимо него проходили люди, задевая его колени. Рядом с ним уселся маленький и тощий человечек, в черном сюртуке, носатый, с удлиненной головой аскета, с лысиной, похожей на большую тонзуру, бритый. Донька скромно поджал под себя ноги. Человечку многие кланялись. Он отвечал еле-еле, дотрагиваясь острым подбородком до шелкового глухого широкого галстука, закрывавшего ему грудь и шею. Из-под галстука у него чуть виднелся краешек старого, пожелтевшего крахмального воротничка.

— Поляцкий поп! — шепнул мне на ухо Донька.

Замечание Доньки было верно. Действительно, в этом человечке таилось что-то от незвита восемнадца-

того века, посланного своим орденом в свет и поэтому снявшего ясу.

Сосед, однако, отличался тонким слухом. Его плоская, будто вырезанная из газеты голова насторожилась, тонкие губы съежились. Он сказал, боком глядя на Доньку:

— Вы ошибаетесь! — Потом серьезно прибавил: — Я семит! Но пр-реклоняюсь пр-ред кр-расотой Хрр-иста!

Он картавил, в этой картавости было нечто изящное и горделивое.

Донька ничего не понял. Щеки у него стали малиновыми. Это подкупило его соседа. Его жесткий профиль смягчился. Неожиданно взяв Доньку за руку, он сказал:

— Я кр-ритик... А вы кто? Навер-рно, стихи пишете?

— Да! — соврал Донька.

— Здесь многие пишут сквер-рные стихи... — громко сказал старик и презрительно пробежал глазами по рядам.

Донька, глядя на критика, уже не замечал ни блеска люстр, ни шелкового штофа, ни развешанных по залу картин.

Быстрый, размашистый человек прошагал через зал и, задержавшись возле Донькиного соседа, обнял его за плечи. На его подвижном лице растянулась улыбка. Он опасливо поглядел на меня, потом пренебрежительно отвернулся.

— А что, Аким Львович? Что вы думаете: его слава равняется славе Толстого? — спросил он, прикрыв ладонью насмешливый рот. — Тогда это встреча гигантов!

Я понял, что разговор шел о Горьком.

Критик поднял брови дугой. Потом ерзнул плечами. Слова закипели на его тонких белых губах:

— Пр-редставьте... Это именно так! Я это ощущаю нер-рвами!

Спрашивающий смутился и отдернул руки от критика, как от раскаленной плиты.

Около нас шушукались и перешептывались люди искусства. Они отогревали здесь тело и душу. Я сидел среди них, боясь проронить слово, не вступая ни с кем в беседу, и, очевидно, не многим отличался от Доньки. Мои глаза тоже были наполнены изумлением. Вся эта

жизнь была совсем не похожа на суровую стужу, превратившуюся для нас в привычку.

Начало оттягивалось. Я встал и вышел из зала. Откуда-то потянуло запахом хлеба. Это была столовая. Почти всю комнату занимал пустой длинный стол.

Из столовой была видна гостиная. В ней расхаживал Горький. Кроме Горького, в гостиной находились еще люди, очевидно писатели. Но я не знал их. Они задавали Горькому вопросы. Он отвечал рассеянно, хмурился, потирал ладонью широкий жесткий ежик на голове. Он размышлял, потом начинал тушить свою папиросу, постукивая ею прямо о крышку мраморного стола, потом спохватывался и быстро рукой стирал пепел, как ученик стирает с доски неверно написанное. Кругом него посматривали на часы. Время перевалило за восемь. Но Горький не замечал этого.

Шум за стеной рос. Зал уже переполнялся. Из нижних комнат публика тоже перекочевала наверх. Горький поднял голову. Я увидел прокуренные усы. Он прислушался, как на улице, к шуму и спросил:

— Пора, может быть?

Затем вышел в зал. Сразу наступила тишина.

На узком помосте зала стоял маленький отполированный столик. Горький покосился на его тонко выточенные ножки. Столик был прекрасной работы, и Горький невольно дотронулся до него подушечками пальцев. Горький казался очень высоким, столик — слишком изящным и маленьким. Глаза Горького были опущены, плечи, наоборот, подняты и торчали, будто два желвака. Горький решительно посмотрел в зал. Взгляд был мягкий, серый, почти женский. Вдруг он мгновенно переменился. Лицо одеревенело. Голова стала грубой, словно вытесанная долотом. Горький обтер платком нос, рот, усы. Сел. Спокойно разложил на столе рукопись, надел очки. Лицо стало опять домашним. Он приступил к чтению.

Сперва он изложил историю своего сочинения. Это был небольшой пролог, в котором он рассказал, что все эти записи о Толстом были сделаны в разное время, давно хранились в забытом сундуке, считались потерянными и нашлись совсем неожиданно.

Необычайное начало расположило к вниманию. Он читал отрывок за отрывком. Манера, с какой он

вспоминал о Толстом, исключала всякую преднамеренность, он ничего не доказывал, как будто он поставил себе задачу говорить — не думая, говорить — не удивляясь Толстому, не испытывая к нему ничего, кроме интереса, как будто ничто постороннее не мешало ему, впечатления текли свободно, и этот поток, наполненный жизнью, смыл всю ту гору воспоминаний, которая была нанесена его предшественниками.

Только он один показывал человека, звавшегося Толстым.

Он читал, не останавливаясь, ощутив уже власть над слушателями. Щеки его слегка зарумянились. Он окрашивал свои слова чуть заметной интонацией. Они становились выпуклее, как у актера.

Когда Горький объявил перерыв и раздались оглушительные аплодисменты, Донька с нескрываемой враждою оглядел зал. Потом, не обращая ко мне, ушел курить. Я нашел его внизу, у деревянной лестницы, возле окна. Он смотрел в темный двор.

— Ну, как? — сказала я. — Понравилось?

Он не ответил. Я не понимал, что с ним случилось. Многие из публики уже спускались по лестнице. Кругом стояли кучки курящих, и расспрашивать стало неудобно.

Около нас стоял человек в зеленом жакете с круглыми фалдами. У него было полное, слегка опухшее, розовое, бритое лицо, его длинные золотистые волосы казались театральным париком, левую, согнутую в локте руку он держал на черной перевязи.

Он не курил. Он морщился от табачного дыма и, склонив голову набок, слушал красиво одетую даму, полнотелую, необычайно привлекательную, пахнущую духами.

— Эта сильная и могучая хватка богатыря... Не правда ли? — волнуясь, говорила дама. Ее руки, затянутые в темно-серый серебристый шелк, рукавички, обтягивающие запястье узкой полоской кружева, ее ямочки около губ, ее белый лоб, ее ленивый голос оглушали человека в зеленом жакете, он ничего не мог ответить ей. Он только моргал.

— Да? Вы скажете — я люблю Горького? Нет... Но эта горьковская хватка, — поеживаясь, повторяла дама, — увлекает своей широтой... Она родилась на Волге... Она...

Донькин сосед стоял наверху, на деревянной площадке. Три маленьких танцовщицы, прижавшись друг к другу, стояли около него и, боясь шевельнуться, смотрели ему в рот. Они считали его великим, потому что он писал о балете. Глаза у него сверкали. Он брызгал слюной им на плечи. Он негодовал и восторгался.

— Все трр-ранспонир-ровано... И это тр-рагично! Пр-ротивор-речия всегда покор-ряют.

В эту минуту проходил по лестнице высокий толстяк, в обмякших, точно стиранных одеждах, с лицом неопределенного цвета, как студень. Он остановился возле критика. Седые кудри, осыпанные перхотью, загибались у него на воротнике.

— И вы туда же, вы — идеалист? — сказал он, покачив головой. — И вы обольшевичились? Ведь все это пересмотр Толстого! Я не верю в документальность этих записей. Это игра. И, как всегда у него, это на руку большевикам!

Критик брезгливым жестом отстранил толстяка, нависшего над ним, как глыба:

— Пусть это невер-рно! Но в этом есть тр-репет!

— Именно, трепет! — прорывал толстяк и, не дожидаясь ответа, пошел вниз, точно бык, упрямо выгнув шею.

Прозвучал звонок. Мы снова направились в зал.

Горький продолжал чтение.

Теперь он уже по-настоящему казался равнодушным к сидящим в зале, словно он пошел сюда не по своей воле, а его упростили.

Иной раз он помогал себе жестами, и тогда мне казалось, что он, как скульптор, на глазах у публики лепит множество фигурок: то скучного, больного старика, то скептика и аристократа, то мужика и святошу, то гения, то кавалериста, то озорника, то праведника и грешника, то простеца, то философа... Казалось, что каждую он держит между большим и указательным пальцами и, поворачивая ее со всех сторон, наслаждается, умиляется или, наоборот, подсмеивается. Я чувствовал, как из всех этих фигурок складывается у него один великий человек, которого можно обожать и ненавидеть. Я завидовал Горькому, потому что он видел его живым.

Горький читал, склонившись над своими листками. Он уже не думал, наверное, ни о публике, ни о чтении, может быть, даже забыл о том, где находится.

Мне казалось, что из листков вдруг всплыло перед ним лицо Толстого. Когда Горький начал читать о его смерти, голос у него пресекался, он умолк, быстро прикрыл глаза ладонью. Затем встал и, виновато махнув рукой, покинул зал.

Он ушел в гостиную. Дверь ее была полуоткрыта.

Я оглянулся на Доньку. Донька был потрясен. Он выставил вперед левую руку. Она лежала у него на колене, пальцы ее были согнуты, словно он держал в ней повод. Глаза были напряжены. Тело устремлено вперед, как у всадника на галопе.

Через три минуты Горький вернулся в зал с папирсой в руке.

...Чтение кончилось. Мы вместе с остальными гурьбою вышли из еле освещенного подъезда. Мы погрузились в тьму и уже не слушали чужих разговоров. Мы шагали вдоль чугунной решетки по набережной. Донька молчал. Мы приближались к огромным, как крепость, нашим кирпичным казармам.

— Слушай, — вдруг шепнул мне Донька. — А ведь я хотел словчить. Ты думаешь, я на лекцию хотел? К Маруське думал удрать. Спасибо тебе, что ты пошел со мной, а то бы...

Не договаривая, он пожал мне руку. У ворот дивизиона мы натолкнулись на часового с фонарем в руке и с винтовкой за плечами. Часовой отлично знал нас, но, желая показать службу, спросил условный пропуск.

— Пенза... — ответили мы и прошли в железную калитку.

1941



ЗАКАТ

Дюма возвращался в Париж... Это было после его длительного путешествия, оказавшегося совсем не путешествием, не отдыхом. Несмотря на годы, он еще не научился отдыхать. И среди каменистых причудливых берегов, и среди виноградников, роз и пряных лавров, и

в горах, и в море Дюма не находил покоя... Он томился от бездействия на своей маленькой шхуне «Эмма». «Литература еще не все, — думал он. — Быть может, пришло время, когда и в жизни я должен показать свои таланты... Во мне еще немало сил... И жизнь вокруг бурлит... Миром овладевают новые идеи...» Так путешествуя и размышляя, Дюма встретился с Гарибальди. Почти случайно. Но завязалась дружба. Вместе с великим революционером в дни восстания он въехал в Палермо. Тут он решил, что тоже, как и Гарибальди, сражается за единую Италию. То есть за свободу, за человека, за уничтожение австрийского гнета.

И когда дела гарибальдийцев увенчались успехом, он принял на себя пост директора изящных искусств... Он даже вообразил себя археологом. Занялся раскопками. Но сердце писателя не могло удовлетвориться античными черепками. Тот, кто когда-то ослепил мир «Тремя мушкетерами», не мог забыть своей страсти к перу. «Король романов» еще расправит свои крылья.

Так родилась газета «Независимая» — детище Дюма. Дюма рьяно «влезал» в государственную жизнь возродившейся страны. Он был неутомим, как всегда. Он хотел быть правой рукой Гарибальди, его неперенным советником. Но, по существу, что он понимал в происходящем? Да ничего... Кроме романтики.

Однажды за обедом в своем маленьком палаццо Чинатамоне он услышал крики. Толпа стояла перед окнами. На улице гремели барабаны.

Дюма подошел к окну.

Его освистали — как неумелого политика.

Тогда он обиделся, собрал чемоданы и уехал. Однако еще не потерял вкуса к политической и общественной деятельности. Он вздумал вмешаться в греко-албанские дела и здесь потерпел крах, по наивности попав в руки авантюристов. Кроме того, его напугала полиция Виктора-Эммануила...

...И вот теперь наконец он возвращается в Париж. В любимый и милый Париж. Здесь он испытал все, что может пожелать человек искусства. И славу, и любовь, и признание.

Поезд уже проходил через предместье. Всюду в окнах горели огни. Дома казались уютнее. Что может быть восхитительнее парижского вечера?..

Сын Александр, теперь уже ставший знаменитым драматургом, встречал отца на вокзале. Он полагал, что шестидесятилетний человек, уставший от неудач и путешествия, сразу поедет к нему...

— Еще успеем... — сказал Дюма. — Ложиться спать в такую рань? Я не сумасшедший.

— Десять часов!

— Ну так что? Нет! Я сперва хочу повидать Готье... Кто, кроме Тео, расскажет мне все... Завтра уже с утра я хочу быть в курсе всего... Всей вашей жизни.

Сын пожал плечами. Оба они поехали в Нейи.

Перед подъездом дома, где жил этот критик и поэт, Дюма поднял шум. Открылось окно. Дюма забасил:

— Это мы... Дюма-отец и Дюма-сын!

— У нас все спят! — ответил Готье.

— Вы лентяи! А ну, принимай...

Готье, в бархатных штанах, в пурпуровой куртке, в домашних туфлях, отпер дверь неожиданным визитерам. Зажгли свечи. И Дюма долго занимал болтовней друга молодости. Нахохотавшись вдоволь и устав от смеха, Готье только в пятом часу утра проводил гостей.

Приехав к сыну, Дюма попросил провести его в кабинет... «Я хочу сесть за работу... Мне что-то не спится».

Таким Дюма был в дни юности, затем и в те дни, когда выпускал свои книги без всякой передышки и они «гремели» в разных странах. Таким его знали не только в Италии, но и в России, о которой, несмотря на недолгое пребывание в ней, он сумел написать так много, что туда, в эти три тома, вместились и ее история, и ее литература, и сотни впечатлений, и большое количество ошибок. Анекдотичность их и ряд несуразиц — ведь он был доверчив и легкомысленно писал обо всем, что ему рассказывали, — все-таки не портили той общей суммы сведений, которая давалась в этих книгах, знакомивших читающую Францию с далекой страной. И это было полезно, потому что даже в пятидесятые годы еще многим французам казалось, что по Петербургу и Москве ходят медведи и волки... «Забегают из лесов».

Он поселился на улице Ришелье. «Пти журналъ», только что основанная, помещалась в этом же доме. Директор ее предложил Дюма место редактора. Он верил, что гений Дюма принесет ему счастье. Но Дюма отказался. Получив немного денег за свой последний роман, он захотел быть свободным и нанял на целое лето в Антене виллу, назвав ее «Катина».

«Снова жизнь!» — думал он. Правда, в 1864 году не было той роскоши, не было того количества слуг, как в красивой вилле «Монте-Кристо», построенной им на гонорары от этого романа. И потом проданной из-за долгов. Однако и сейчас перед дверьми «Катина» также выстраивались фиакры, доставлявшие сюда прихлебателей. За всех приезжих всегда платил сам хозяин. Если он отсутствовал, гости ворчали: почему он их не предупредил?.. В этих случаях черкес, привезенный им с Кавказа, сурово охранял буфетную и винные запасы. Но шумных гостей это не смущало. Дюма иной раз жаловался на своих посетителей, но без них не мог обойтись. Они были той публикой, которая приветствовала его, когда к обеду он спускался со второго этажа. Наверху он работал, точно каторжник, с шести часов утра. А вечера любил проводить в обществе актрис и актеров и еще каких-то людей, которые называли себя его поклонниками. Он всех обнимал.

«Катина» поражала многих своей сутолокой. Сюда же Дюма вызвал из Италии певицу Фанни Кордоза, тридцатилетнюю даму, черную, как грозовая туча. После ее приезда вилла наполнилась пианистами, певцами и певицами. Дюма зажимал уши и удирает в имение к Жирардену¹, жившему поблизости. Или к принцессе Матильде, находившейся в Сен-Гратьен. «Они мяукают... Я жертва музыки!» — с хохотом говорил он.

Но в конце лета он поселился вместе с Фанни в Париже, и тут мадам Кордоза не стеснялась.

Салон был заставлен лютнями и арфами. Скрипки и ночью рыдали. И даже тромбон сотрясал воздух.

Дюма сбежал. Но люди около него остались те же.

Сын ненавидел эту богему. Когда-то и он прошел сквозь это, но теперь остепенился, писал мелодрамы, осуждал отца и жил респектабельной жизнью много за-

рабатывающего буржуа. Они встречались все реже и реже. Дюма лишь усмехался и, как-то встретившись с Александром на чьих-то похоронах, сказал, вздыхая:

— Что ж, мой дорогой... Возможно, что в следующий раз я увижу тебя только из гроба... Когда и меня повежут на кладбище...

Сын был его единственным наследником, сейчас не ожидавшим, конечно, никакого наследства. Но Дюма по-прежнему его любил трогательно. Он помирился с Катрин Лебай — матерью Александра.

Истекло уже тридцать лет с тех пор, когда кудрявый, самонадеянный и сильный молодец провинциал Дюма познакомился с той парижанкой, которая была его первой любовью. Тогда он был мелким министерским писцом. И теперь с грустью он думал о том, что не вернуть этих потерянных лет. Была чудесная любовь. И нет ее. Только случайные связи. Была огромная литературная слава. Но с ней как будто что-то стряслось! Дюма не верил в падение своего таланта. Правильнее было бы сказать: не хотел даже самому себе признаться в этом, считая, что к нему просто несправедливы и что в жизни очень многое подчиняется моде... Новые литературные звезды горят слишком ярко. Совершенно естественно, когда люди интересуются молодостью... «Жизнь — это поток. Но я не завистлив, я люблю молодежь, люблю все талантливое... Спокойнее, Катрин».

Так он беседовал с ней, сидя в старинных креслах около ветхого столика красного дерева. На этом столике он написал своего «Генриха III». Эта пьеса и была его трамплином. Он «прыгнул вверх». Тогда все началось... Нет, он все тот же. Терпение. Опять придет весна. Она приходит и к старым деревьям...

Дюма поднял бокал, и Катрин подумала, что Александра ничему не научила жизнь. Он беспечен, как в юности. И, улыбаясь, она вспоминала о сюртуке, который когда-то чинила ему и разглаживала перед премьерой «Антони». Эта реликвия до сих пор висела у нее в шкафу...

Год шел за годом. Одна весна сменялась другой. Но в Париже уже не интересовались автором «Трех мушкетеров». Дюма мастерил пьесы, судился со своими

¹ Жирарден Эмиль — французский журналист (1806—1884).

противниками, обвинявшими его в исторических извращениях, и, несмотря ни на что, по-прежнему был уверен в себе. Когда цензура запретила постановку его драмы «Могикане Парижа», он написал Наполеону III письмо. Смысл его заключался в следующем: что как тридцать лет назад, так и сейчас во главе французской литературы стоят три человека... «Это Виктор Гюго, Ламартин и я». Чиновники долго смеялись. «Могикане» увидели свет рампы. Но зрительный зал пустовал. Тогда он стал ходить по чужим премьерам.

При возобновлении «Эрнани» Дюма демонстративно аплодировал своему другу Гюго. На премьерах сына он старался еще больше. Одетый в черный сюртук, в белом пикейном жилете, подпиравшем его толстый живот, он выставлял себя напоказ в средней ложе балкона. Огромный букет, обернутый в белую бумагу, лежал перед ним на барьере. В течение всего спектакля он смеялся, вызывал актеров, кричал «браво» посреди реплик. Затем, когда вызывали автора, он вдруг подымался с букетом в руках, раскланивался и улыбался направо и налево, посылал дамам воздушные поцелуи, как бы говоря: «Смотрите, ведь этот мой малыш написал пьесу!»

После этих премьер, точно завидуя сыну, он вновь начинал мечтать о театральных триумфах. Попытался возродить свой Исторический театр. Объявил подписку. Только несколько студентов Политехнической школы, откликнувшись на его призыв, прислали какие-то гроши. Он затеял другое. Под сводами, поддерживающими Венсенскую железную дорогу, в маленьком театральном зале под грохот и паровозные свистки были сыграны его «Лесники». Спектакль провалился. И артисты остались на улице. Тогда он их назвал «труппой Александра Дюма» и подвизался с ними в пригородных театриках, пока не решил покинуть Париж. Он устал от капризов столицы.

Его видят теперь во Флоренции. Он готовится ризотто, он размахивает кастрюлей и кричит «виват», узнав, что Италия объявила Австрии войну. Затем вдруг снова он появляется в Париже. Франкфурт только что разграблен пруссаками, бургомистр Франкфурта повешен. Дюма

должен все это видеть своими глазами, он едет во Франкфурт, на место происшествия. Затем пишет роман «Прусский террор».

Но журналисты насмеются над творчеством этого повара-любителя. Не он ли держал ручку от сковороды и переворачивал омлет той рукой, которая когда-то писала «Королеву Марго» и разоблачала венценосцев. Хорошо! Публика не хочет больше ни его романов, ни театральных пьес, — он только что опять потерпел в Одеоне оскорбительное поражение. Хорошо! Тогда он будет обслуживать публику своей кухней! Да, как повар! Матлот из карпа, приготовленный им, считается шедевром. Кухарка Верона¹, искусная повариха, предчувствуя соперника, язвительно говорила о нем: «С его карпом то же самое, что с его романами. Делают их другие, а он только подписывает. Он страшный хвастун!» Дюма, узнав об этом, возмущился. Он пригласил Верона и попросил поставить свидетелей к плите. Он действовал у плиты сам, матлот был превосходен, и кухарка признала себя побежденной.

Все в кулинарии было подвластно ему. Он щеголял рецептами европейской и африканской кухни. Не меньше, чем своими книгами, он гордился умением приготовить «алжирский мешуи» или кролика, изжаренного в собственной шкуре. Он подавал макароны и осьминога в масле или в сухарях, следуя правилам, установленным метрдотелем трагической актрисы Ристори. Когда у него случались деньги, он сам закатывал обеды, пышно угощая актера негра Олдриджа, только что с огромным успехом сыгравшего в Париже Отелло.

Литераторы частенько встречают его в кухне какого-нибудь провинциального трактира. Он священнодействует, без шляпы, без сюртука, в одной рубашке, с растрепанными седыми волосами, румяный, как Фальстаф. Он начиняет жирную пулярку трюфелями, жарит ее, режет ломтиками лук, передвигает котлы, бросает чаевые поваряткам и щиплет толстую кухарку. Он счастлив, как школьник на каникулах. У дверей толпою стоят любопытные. Потом начинается обед. Он ест как слон. Пьет меньше. Вокруг него все уже под хмельком, вокруг него

¹ Верон Эжен — известный французский журналист и писатель (1825—1889).

объятия и поцелуи. Затем он уезжает, и хозяйка трактира по высокой цене распродает остатки обеда, приготовленного господином Дюма.

Ему нравится эта популярность. Но грусть все-таки точит его сердце. Вновь бросается он в джунгли литературы. Пробует одно, другое, третье. Выпускает журнал за журналом. Но все они зябнут, будто схваченные морозом. Издатель Леви сокращает ему гонорар. Имя его уже не имеет кредита. Он мечется от одного литературного предприятия к другому. Кое-кто помогает ему. Один из друзей старается иногда устроить на сцену какую-нибудь из его пьес. Но что это за друзья? Тех, с которыми он когда-то делал жизнь, уже нет на свете. Вместе с художником Делакруа все они лежат на кладбище. Все, что было дорого ему, все, что когда-то он любил, все это исчезает. И Дюма начинает думать о своем близком конце.

Но его здоровье по-прежнему прекрасно, аппетит огромен, по-прежнему он не хочет предаваться отчаянию.

Однажды на представлении пьесы «Пират Саванны» Дюма замечает среди актеров наездницу, красивую девушку. Галопом на лошади она проскакала через сцену. В ту минуту, когда Дюма после спектакля выходил из театра, она бросилась к нему и поцеловала его. У себя на родине она считала его необыкновенным человеком. Это была цирковая актриса Ада-Исаак Менкен, португальская еврейка, родившаяся в Америке... Вскоре в витринах писчебумажных магазинов появилась серия фотографий, украшенных подписью: «Ада Менкен и Александр Дюма». Наездница стояла в одном трико и прижималась к Дюма. Публика возле витрин хохотала. Вскоре Ада Менкен упала с лошади и умерла в Буживале от перитонита. После этого Дюма запрятался в нору. Его популярность съезжилась до пределов квартала на бульваре Мальзерб.

Передняя его квартиры была украшена эскизом Делакруа, случайно уцелевшим. В столовой на буфете стояли громадные хрустальные богемские бокалы, экзотические кувшины и пестрый фаянс — остатки редкостей, привезенных из Италии, Алжира, Австрии и России. В спальне над кроватью висел портрет генерала Дюма, черного генерала, сподвижника Бонапарта, оставшегося

верным ему. А на противоположной стене помещался портрет Дюма-сына работы Верне. Вот и все осколки былого.

Через дверь доносился голос хозяина дома. Дюма работал, сидя в низком кресле перед столом. Он был в клетчатой рубашке, в просторных панталонах, обутий в красные шлепанцы. Его крупное лицо побледнело и поблекло, усы повисли. Живот неимоверно вздулся. Но в глазах еще бегали прежние искорки. Он теперь писал, думая только о зарплате. Писать было неимоверно трудно. Ему казалось, что голова его похожа на дырявую корзину. Он начинал роман и, заблудившись в нем, не доводил его до конца.

Как часто вспоминал о Маке¹. Маке и теперь еще имел состояние. Франки, заработанные им вместе с Дюма, не разлетались как дым.

«Милый Маке! — думал Дюма. — Если бы ты был со мной, мы бы написали с тобой еще несколько десятков пьес и романов».

Потом он багровел, стучал пальцем по столу.

— О, люди! — вздыхал он. — Это все сплетни, сплетни, сплетни.

Он смотрел на часы. Надо было одеваться и ехать в Гавр на морскую выставку — читать лекцию о России и Кавказе. Надо было зарабатывать деньги! Как все это надоело... Из кухни донеслись крики: это шла перебранка между кухаркой и лакеем Томазо.

— Мозье Дума! Мозье Дума! — взывал итальянец.

Дюма не обращал на шум ни малейшего внимания. Он подходил к большому зеркалу и принимал величественную позу. Он репетировал речь и разучивал жесты. Он подергивал плечами, улыбался и аплодировал сам себе.

Потом садился — его мучила одышка.

Он думал о том, что ему не мешало бы подышать горным воздухом. Когда лакей приносил ему ботинки, он еще раз оглядывал себя в зеркале и бормотал:

— Но ты еще молодец!

Как всегда, этот жизнелюбец был доволен собой.

¹ Маке Август — сотрудник Дюма, деятельно помогавший ему до разрыва в 1851 году.

После гаврских лекций он уехал в По и там на подъезде отеля увидел молодого Франсуа Коппе. Он крикнул ему:

— Обними же меня, человек таланта!

— Я не осмеливаюсь, человек-гений!— с лукавой скромностью сказал Коппе.

Дюма покраснел...

...Он мог бы жить по-стариковски, наслаждаясь хоть каплей того, что еще могло быть приятным.

Но такая жизнь не в духе Дюма. Он еще сопротивляется, он еще пробует не оставлять литературы. Он по-прежнему любит удовольствия, визиты. Он забывает свое одиночество... Была на свете душа, которой легко было выложить все сокровенное, несмотря на то, что они не подошли друг к другу. Однако нет ее... Катрин умерла.

Он лежит в своей низкой огромной постели. Приносят письмо: один из иностранных послов приглашает его к себе на прием. Дюма болен, но все-таки встает. В доме нет даже чистой рубашки. Перевернуты все ящики комода. Уже восемь часов вечера. Дюма посылает в магазин свою приятельницу Матильду Шау. Но нелегко разыскать белье для такого гиганта, как этот старик. Бельевщик предлагает только одну заваливавшуюся сорочку с необычным рисунком. На ее голубом фоне скачут чертенята, играющие огнем. Взглянув на эту рубашку, Дюма отшатнулся и, бросив ее на пол, стал топтать. Затем одумался, поднял, разгладил и натянул на себя. В таком наряде он явился к послу.

Дипломатический салон был поражен его видом.

Вернувшись из гостей, Дюма хвастал, точно ребенок.

— Этому трудно поверить...— говорил он Матильде.— Но, честное слово, я имел настоящий успех.

Успех — это был фетиш всей его жизни. Успех во что бы то ни стало, каким угодно путем.

И вдруг, как это случается у бурного человека, обожавшего человеческую суету, он прозрел... Он теперь возжаждал тишины и никого не допускал к себе.

Он столько жил, столько писал, столько путешествовал... Пришла пора полежать и подумать.

Он как бы решил пересмотреть всю свою жизнь и поэтому взялся за чтение своих книг.

— Каждая страница,— говорил он,— напоминает мне ушедший день. Я — как одно из тех деревьев с за-

путанной листвой, полной птиц, молчащих в полдень и просыпающихся к концу дня. Когда приходит вечер, они наполняют мою старость хлопаньем крыльев и пением,

Читая, он судил сам себя в первый раз без всякой снисходительности. Он развлекался или скучал в зависимости от того, что было написано.

Однажды сын неожиданно вошел к нему. Дюма так был поглощен чтением, что не заметил даже его прихода. Он с восторгом перелистывал страницы, смеялся, вздыхал.

— Что ты читаешь?— спросил сын.

Дюма поднял свои голубые, уже выцветшие глаза.

— «Мушкетеров»!

Потом улыбнулся и прибавил:

— Я всю жизнь собирался прочитать эту книгу. Я все это откладывал на старость.

— Ну и как?

— Хорошо!

Та же история повторилась с «Графом Монте-Кристо». Он по-иному. Когда сын спросил его о впечатлении, он как-то растерянно повел плечами и что-то пробормотал.

— Что же ты о ней думаешь?— сказал сын.

— Это не стоит «Мушкетеров»...— ответил Дюма.— Однако здесь попадаются страницы, в которых я мог бы поспорить с Бальзаком... Бедняга Оноре!.. Жаль, что его уже нет... Как бы я хотел с ним повидаться... Как рано и как внезапно умер этот гений...

Он вспоминал свои нелады с ним, разные дороги и свою литературную юность...

Дюма цеплялся за жизнь и надеялся удлинить ее тем, что поздно вставал. Уменьшился его богатырский аппетит. Он постоянно обращался к врачам... И в то же время подшучивал над медициной. Когда он чувствовал себя здоровым, его можно было увидеть во Французской комедии. Страсть к театру была неистребима. Не потухала. Он проходил по партеру и раскланивался с капельдинерами-стариками. Они были свидетелями его былых триумфов.

Узнав о смерти Ламартина, Дюма посвятил ему статью. Он понимал этого поэта, упавшего в забвение с вершины. Он сам ощущал ту же боль. В лице этого человека он хоронил свое поколение. Ничто больше не

связывало его с современностью. Жизнь шла сама по себе. Деньги он занимал у издателей, пользуясь их снисходительностью, закладывая в ломбард кое-какие ценности. Иной раз, точно по привычке, хватался за работу и тут же бросал все. Даже ноги уже отказывались ему служить.

В июле 1870 года, когда была объявлена война с Германией, сын увез его на свою виллу, около Дьеппа.

Это была небольшая лесистая долина, спускавшаяся к морю. Дюма поместили в нижнем этаже дома, в самой лучшей комнате, обшитой панелями из белой лакированной североамериканской сосны. Окна комнаты выходили на море. В первый раз он нашел себе убежище, он жил около своих, в семье. Когда была хорошая погода, внушки Коlette и Жаннина провожали его на пляж. Он сидел в кресле и молчаливо наслаждался. Когда у него спрашивали, как он себя чувствует, он отвечал, улыбаясь: «Очень хорошо». На самом деле он томился. Он чувствовал себя как пассажир на вокзале, ожидающий поезда.

Он жил, ничего не ведая о немецком вторжении. Все в доме тщательно скрывали от него известия о войне.

Близкие знали, что этот патриот, любивший свое отечество больше, чем самого себя, узнав о сдаче французских крепостей, способен закричать в полный голос и обвинить как правительство, так и генералов в измене. Этим он, конечно, ничего не добьется. Только скомпрометирует себя... Вернее молчать. Поэтому они молчали.

В октябре пришла плохая пора, туман и дождь наводнили долину. Дюма уже не гулял. Он кое-как передвигался от постели до кресла. Иногда он разглядывал сквозь окно бледное осеннее солнце или горизонт, где небо сливалось с морем.

Целые часы он проводил почти неподвижно, его взгляд был устремлен куда-то вглубь, как будто он старался разглядеть будущее. Никто не понимал его тревоги. Иногда опять с беспокойством он перечитывал свои книги, потом бросал их, снова погружаясь в раздумье. Никто не понимал причин его тоски.

Надвигалась зима... Ла-Манш разбушевался. Старик сидел в кресле у окна, вытянув руки и разглядывая огромные волны.

— О чем ты думаешь? — спросил его сын.

— Ни о чем... Это слишком серьезно для тебя! Ты этого не поймешь.

— Почему?

— Ты отравлен иронией...

Мысли были страшными, и Дюма был прав, боясь ими поделиться. Он думал о суде потомства, он думал о том, не размотал ли он зря свой талант, сочинив сотни томов, сотни драм, сгоревших как мотыльки!.. Быть может, прав был Делакруа, упрекавший его в отсутствии вкуса? Как это море, он ворочал глыбы. Он громоздил книгу за книгой. Зачем? Чтобы осесть здесь на мели и глядеть на этот пляж?

«Не продал ли я за чечевичную похлебку свое дарование? Этот мир, который вырастил и воспитал меня на свои франки, быть может отравил мне душу... Франков я никогда не жалел... Но что из этого?.. Зато и они не пожалели меня... Так же, как все эти банкиры... Что скажут обо мне простые люди спустя несколько десятилетий после моей смерти?.. Как меня вспомнят? Не так, как Гарибальди... Совсем не так...

Дюма зарыдал.

Сын обнял его.

— Ну вот, Александр... — сказал Дюма через силу. — Скажи мне по совести... Как ты думаешь — останется что-нибудь после меня или нет?

Сын принялся его успокаивать. Это было 4 декабря 1870 года.

На следующий день Дюма был при смерти. В десять часов вечера он умер без слов, без сознания, тихо, как будто уплыл.

В этот же час немецкий отряд занял Дьепп.

Его похоронили на маленьком кладбище Невилля. Затем, когда немцы эвакуировались из Вийе Коттре, его тело было перевезено на родину. Его положили рядом с могилами отца и матери.

На этом мы и закончим наш рассказ, написанный по мотивам одной из французских биографий Дюма.

1941



Этот слоненок был маленький и мягкий, точно подушка. Он родился всего только несколько дней тому назад, однако уже топотал толстыми ножками и вместе со своей семьей даже перекочевывал с места на место. Корму на пастбищах хватало. Слоны блаженствовали бы и до сих пор, если бы не охотники... Вся семья была поймана в горах, в узком ущелье, на слоновой тропе.

Вероятно, они бы спаслись, потому что слоны, несмотря на свою неуклюжесть, прекрасно спускаются с кручи. Но взрослые пожалели маленького, он мог разбиться. Они остались его охранять. Однако и тут еще неизвестно: кто взял бы верх? В минуту опасности смелость слонов непомерна. Они приготовились к бою. Но внезапно появившиеся на тропе городские, специально обученные для ловли охотничьи слоны всех заманили в ловушку.

Это происшествие никак не отразилось на слоненке. Он отнесся к нему совершенно беззаботно, он еще ничего не понимал. Пойманных животных отправили в загон. Там началась дрессировка. Но слоненок и в загоне вечно резвился, точно в лесу. С ним никто не занимался. Люди считали, что малыш сам постепенно обучится всему, переняв от взрослых их повадки.

Здесь все получили имена. Его называли Джимом.

После обучения всех слонов отправили на работы. Это было довольно далеко от загона. Джим тоже попал в рабочую партию, конечно не для работы, ведь он был маленький, а из-за матери. Ведь мать должна была его кормить своим молоком.

Он шел рядом с ней и вожаками-индусами. Путешествие ему понравилось. Только один раз он испугался. Это произошло тогда, когда Джим чуть было не поскользнулся и не наступил нечаянно на большую серую лягушку, спокойно гревшуюся на дороге. От страха он спрятался в ногах у матери и не вылезал оттуда. Он шагнул у нее под брюхом и, чтобы скрыть свою трусость, свирепо пищал.

На лесопильном заводе мать складывала в штабеля распиленные доски и сдувала накопившиеся возле машин опилки; Джим всюду бегал за нею и часто требовал у нее молока, задирая хоботок.

Когда Джим подрос и окреп, его отделили от матери. Он попал в детский загон. Там было очень весело. Слонята затевали между собой игры и дрались друг с другом из-за пищи.

Вскоре всех слонят забрали на корабль и увезли из Индии.

Но Джим и тут не горевал. Он был не один. Вместе с другими около года он пробыл в Германии у торговца животными Ротбека. Затем его продали в Россию.

Джим удивился, увидев белую пушистую землю. Она приятно пахла, когда он втягивал ее в себя.

Джима поместили в зверинец, он много спал, иногда к нему приходил дрессировщик. Джим не отказывался от повиновения. Какое-то безразличие мешало ему капризничать. Он еще никак не ощущал себя слонем, и тоска о прошлом не беспокоила его.

Так продолжалось до тех пор, пока Джима не перевели из зверинца в цирк. Он снова ехал на пароходе, затем по железной дороге и даже на грузовике. Это путешествие было совсем иного рода, чем первое; кроме того, он уже не мог отнестись ко всему так безучастно, как раньше... Он вырос. Он уже не был младенцем.

Необъятная и гладкая, почти без морщин, Волга, болатный, влажный ветер с берегов, запах молодого леса, долетавший в открытый трюм, дыхание машин, перекличка пароходов, затем толчея на пристани и на станции, паровозные свистки и, наконец, грохочущий город с трамвайными звонками, с гудками автобусов и автомобилей — все это раздражило Джима и наполнило его смутением.

Джим появился в большом городском цирке растроненный, с издерганными нервами, и когда его сводили по доскам с грузовика и повели через манеж, уши у него тихонько дрожали.

В конюшне для слоненка было уже приготовлено стойло.

В ту минуту, когда один из служащих взялся за кольцо, чтобы надеть его на правую заднюю ногу слоненка и цепью приковать его к стенке, Джим услышал собачий лай. Никогда в жизни он не видел собак. Собачья стая с визгом и воем пронеслась мимо него по коридору цирка. Джим взревел и вырвался из конюшни.

Цирк был в полумраке. Это случилось днем, во время репетиционных часов.

Джим стоял в центре круглого манежа, издавая трубные, воинственные крики. Храбрец не замечал ни актеров, ни униформистов, пробиравшихся к нему с веревками. Но едва они попытались его окрутить, как он пошел на них грудью. Он расшвырял эту толпу людей, затем перепрыгнул через барьер и всех быстро загнал на галерку.

Он стал крушить мебель, он ломал кресла, как спички, и потом так заорал, что в ответ ему зазвенели стекла под куполом цирка.

Он решил вырваться на волю и направился к главному выходу. Двери захлопнулись, кто-то запер их снаружи на ключ. То же самое было сделано и в боковых выходах.

И все-таки двери трещали и гнулись от толчков Джима. Он толкал их то боком, то головой, то ногами.

В большой средней ложе появился директор цирка. Схватившись за портьеры, он крикнул униформистам:

— Все выходы завалите камнями! Быстрее, черт возьми!

Услыхав этот крик, Джим снова пронесся на артистический выход. Там лежали фанерные тумбы, он разбил их, затем сунулся на конюшню и вскочил в левый станок, к рыжей лошади. Она его лягнула. Он кинулся вправо, к пегой. Но и пегая встретила его копытом. Спасаясь, он побежал обратно к боковому выходу.

Его короткие пронзительные всхлипывания, обозначающие отчаяние, казались ревом.

Униформисты собрались на балкончике, между партером и галеркой. Они сбросили вниз веревку, связанную в петли, и осторожно подвели эти петли под передние и задние ноги слоненка. Едва Джим вступил в них, как обе петли были мгновенно затянуты. Джим покачнулся и свалился на бок.

«Погиб!» — подумал он.

Его стреножили.

Артист Цани, высокий, стройный человек, ожидал Джима в конюшне, покуривая папироску. Мягкая серая шляпа была у него небрежно заломлена на затылок, руки заложены в карманы широкого английского желтого макинтоша, трость с костяным старинным набал-

дашником торчала под мышкой. Во всем этом чувствовалась некоторая доля поэзы, по давности лет превратившейся уже в привычку...

Был прекрасный, солнечный летний день. Цани решил ехать за город прогуляться, он торопился. Возле подъезда стояла его машина, в машине сидела знакомая артистка, до вечернего представления оставалось только три часа, и неожиданное происшествие со слоненком отнюдь его не устраивало.

Конечно, Цани знал животных; конечно, любил их. Это было у него в крови. Этим занимались его отцы, деды и прадеды. Он принадлежал к старинной цирковой династии. Еще ребенком он работал уже вместе со своим отцом на Урале, в Сибири, в Поволжье. Маленькие города, где семья Цани обычно гастролировала, часто переходили из рук в руки, от одной власти к другой. Юношей восемнадцати лет Цани ушел от отца в Красную Армию, сперва он служил там тренером конных частей, затем организовал передвижную цирковую труппу. Циркачи говорят, что тот, кто раз перешагнул через барьер на арену, никогда с нее не уйдет. Цани был настоящим циркачом. Больше двадцати лет он израсходовал на то, чтобы овладеть в совершенстве искусством дрессировки. Его жизнь проходила в постоянной, непрерывной работе. Сейчас ему начинало казаться, что все приемы им уже изучены, что нового ничего нет. Незаметно для самого себя он остывал. Несмотря на это, именно теперь Цани имел от цирка все — признание, успех, награды. Однако чем больше было славы, тем меньше занимался он своими животными. Он привык смотреть на них только как на материал для очередной программы. Все чаще и чаще черную, подготовительную работу он сваливал на плечи своих ассистентов.

Так было и с новым слоненком.

Еще вчера Цани отдал распоряжение своему помощнику, ассистенту Гамбузу: принять и устроить Джима.

Цани злился. Длинное, желтоватое, сухое лицо его морщилось. Он нервно смотрел на часы.

Рядом с ним стоял растерянный Гамбуз. Гамбуз оправдывался:

— Слава богу, десятками принимали... Это не слон, а черт! Что я, первый год в цирке? Кто мог знать?

— Надо знать... — нехотя проговорил Цани.

Гамбуз вскипел.

— Что знать? — крикнул он. — Сотни лошадей пропущал! Слонов! Тигров! Что знать?

Гамбуз потряс кулаками.

Гамбуз действительно понимал свое дело, он был когда-то наездником, укротителем, вольтижером. Не раз лошади калечили его, у него были сломаны ноги, и сейчас он уже не годился для выступлений. Он считался неуживчивым человеком, с отвратительным характером. Однако все ему прощалось. Нельзя было не ценить этих цепких грязных рук, умевших работать с животными. Полупрезрительные слова Цани, обвинявшего его в том, в чем он не считал себя виноватым, еще более бесили его. В эту секунду он ненавидел своего руководителя, этого изленившегося, по его мнению, щеголя, этого гения цирка, он презирал его поигрывающее, как нарзан, спокойствие, его черные вьющиеся волосы, раннюю седину на висках, его маленькие, озорные, как у мальчишки, губы, его узкие, как шнуры, глаза.

Гамбуз одернул на себе френчик, постучал об пол каблуками, стряхивая опилки с коротких кавалерийских сапог, и повернулся спиной к Цани.

Но Цани не обратил на него никакого внимания. Цани подумал, что Гамбуз просто испугался слоненка. Цани знал, что это не новость, что цирковые артисты иногда долго помнят несчастье, случившееся с ними. Только у опытных, натренированных людей это чувство совершенно стирается. То, что у Гамбуза в его годы оно еще не потухло, подмывало Цани сказать ему что-нибудь насмешливое, обидное. Однако он сдержался. Он ограничился нетерпеливым замечанием:

— Ну? Где Джим? Я сам его приму!

— Пожалуйста! — с раздражением ответил Гамбуз и, прихрамывая, побежал на манеж.

Когда оттуда приволокли на конюшню слоненка, Цани быстро посмотрел ему в глаза. Они были точно расплавленные, темно-коричневые, как прокуренный янтарь.

— Развяжите его! — сказал Цани униформистам.

Он сбросил с плеч свое пальто на руки иронически улыбавшемуся Гамбузу, потом оглядел свой только что принесенный от портного пиджак, засучил рукава и подошел к слоненку.

На спине Джима торчком стоял черный редкий, мягкий пух. Цани огладил ему спину. Слоненок вспотел.

Почувствовав руку, Джим поднял хобот и снова взревел.

— Воды! — приказал Цани.

Затем, протягивая Джиму принесенное ведро с водой, он тихо сказал:

— Ну? Пей! Пей, птичка.

Джим прислушался к голосу, потом помотал хоботом и послушно опустил его в ведро. Он жадно набирал воду, пуская ее в пасть струей. Первое ведро он выпил сразу, почти без передышки.

Цани протянул ему второе. Джим осушил и его, затем встряхнулся и облегченно фыркнул.

Цани держался спокойно.

Джим обнюхал ему подмышки, грудь, плечи, подергал его за галстук и за шелковое клетчатое кашне, обмотанное вокруг шеи. Запах ему понравился.

— Еще! — крикнул Цани.

Но Джим не захотел больше пить. Он набрал в хобот воды и начал себя обливать, как из душа, направляя брызги на разные части своего тела.

После этого служащие притащили в конюшню морковь, вареную картошку и большой горшок с кашей. Целыми пригоршнями Цани совал прямо в рот слоненку эту пищу.

— Ешь, крошка, ешь! — приговаривал он, почесывая слоненка за ухом.

Потом он положил ему на язык несколько кусков сахара и с улыбкой обернулся к группе униформистов. Улыбка Цани всегда действовала без осечки, как хороший пистолет.

— Все! Бенефис кончился! — сказал Цани. — Теперь заковычайте! Надевайте цепь! Он не заметит.

Цани подали полотенце, мыло, он вымыл свои маленькие желтые руки с коротко обрезанными ногтями на тонких пальцах. Он тщательно, как хирург, отдельно протер каждый палец, все еще сохраняя на своем лице улыбку. Он был доволен, он любил такие минуты. Затем спустил манжеты, рукава. Принял от Гамбуза одежду, поправил на затылке шляпу, посмотрел на часы, сунул свою излюбленную трость опять под мышку и внезапно исчез из конюшни, как чародей...

Вслед за ним ушли и остальные.

Слоненок остался один.

В коридоре было тихо.

Джим старался уловить голос человека, напоившего его, но все было напрасно. Обнюхивая пол, он нашел кусочек сахара и с удовольствием его разгрыз. Потом он заснул.

Он проснулся, как только в цирке начал играть оркестр. Этот непонятный шум встревожил Джима. Потом показался человек. Цани был в черном узком фраке с большими бархатными отворотами, в широких черных брюках с атласными лампасами и в черных лакированных туфлях. Лицо его было подпудрено, губы подкрашены, в руке чуть-чуть подрагивал шамберьер.

Джим прищурился и с опаской отступил назад.

— Ну, как дела? — спросил человек, поднося ему сахар.

Джим вспомнил этот голос. Он подошел к Цани, подышал на него и, склонив голову набок, улыбнулся. Он был добр, как все слоны.

Джим до цирка жил в загоне, в зверинце. Там по свету он мог определить ход времени. В цирке же он не знал ни дня, ни ночи. Он топтался под глухой крышей конюшни, где над его головой вечно горела яркая электрическая лампа.

На краю выбеленного известкой коридора находилось небольшое окно. Сквозь стекло виднелся иногда какой-то мутный клочок. Но Джим не считал его небом.

Джим все-таки научился делить сутки. Третья кормежка после представления обозначала всегда приход ночи. После нее цирк затихал.

Рядом с Джимом в соседнем станке за перегородкой постукивали об пол копытцами и постоянно суетились два белых бородатых козла. Напротив них в железной клетке помещался тигр. Только проволочная стенка отгораживала ее от курятника, где жили петухи. Остальная часть конюшни была занята цирковым реквизитом — обручами, бочками, старыми панно и прочим хламом.

Джим скучал, ему не с кем было развлечься. Тигр Петя, привыкший к петухам, которые ему до смерти надоели, оказался невероятно ленивым и даже угрюмым существом. Когда в конюшне появлялся Цани и входил

к тигру в клетку, Петя рычал и подпрыгивал, стараясь лизнуть хозяина в ухо. Петухи жили замкнутой, самостоятельной жизнью. Они презирали всех, начиная с хозяина. В особенности же они презирали своих соседей, в том числе и Джима. Эти эгоисты, эти нахалы решительно никого не стеснялись. Иногда, путая время, они по ночам громко бранились, иногда горланили на всю конюшню свои деревенские песни. Козлы наоборот... Козлы гордились своим соседом, они пристально следили за Джимом, высунув головы за перегородку. Но Джиму они не нравились. Они пахли...

Днем Джима выпускали на манеж. Он бегал на лонже вокруг барьера, его приучали садиться на барьер, стоять на задних ногах и танцевать вальс. Все это он проделывал неохотно, он очень плохо повиновался — кричал, трубил, а иногда в раздражении даже стучал хоботом, будто кулаком, по барьеру. Многие из артистов говорили, что Джим зол, ни к чему не способен, и даже сам директор однажды прямо заявил Цани:

— Бросьте! Этому идиоту никогда не понять, что такое цирковая работа.

Цани недоверчиво покачал головой. Тогда директор мягко взял артиста за руки (дело было на манеже) и сказал:

— Послушайте, Цани... Слон закалькулирован! Амортизация слона идет! Снабжение идет... Плановик в отчаянии. Вложения в слона идут! А где производственный эффект?

— Может быть, будет... — уклончиво ответил Цани.

— Может быть? Может быть? — не без яда повторял директор. — А план? Ваш слон не уложился в план!... Я вам заявляю со всей ответственностью: лимиты у слона исчерпаны!

— Что же, по-вашему, бросить все?

— Отправим его в зооцентр... Обратно! Пусть там как хотят!.. Не наше дело! Этот Джим, этот варвар никогда ничего не поймет.

— Ерунда! — сказал Цани. — Слона, как и человека, надо понять. И тогда дело в шляпе.

Джима все-таки выключили из программы. Цани на свой страх и риск все еще продолжал с ним возиться, делая это больше из гордости, чем из каких-либо иных побуждений.

Каждый день он репетировал одно и то же, пока Джим не почувствовал, что на кругу из опилок ему несравненно веселее, чем в стойле, на звякающей цепи. Тогда все изменилось. К тому же лакомства, получаемые за исполнение, окончательно прельстили его.

Так понемножку, день за днем, Джим втянулся в работу.

Но самым интересным для него была не работа. После репетиции он обыкновенно разгуливал по манежу. Вот когда он наслаждался! Он обнюхивал все, что ему попадалось, иногда он останавливался и, воинственно задрав хобот, прицеливался глазом на окурок. Иногда он трудился, разрывая ногой манеж, и, будто в джунглях, добирался до глины и пожирал ее. Иногда кто-нибудь из артистов или служащих угощал его яблоками. Он охотно принимал подарки. Как-то раз машинистка из канцелярии цирка принесла ему винограду. Попробовав его, Джим сошел с ума. Хоботом он зацепил машинистку и потащил ее за собой в стойло.

Иногда он забавлялся... Набрав полный хобот опилок, он осыпал ими свою спину. Униформист подбегал к нему с метлой и начинал его чистить. Джим снова осыпал себя опилками. Когда жесткая метла скребла ему кожу, он покряхтывал от восторга. Он повторял свой трюк до тех пор, пока униформист не прогонял его в конюшню.

Однажды днем, когда оркестр разучивал на манеже музыкальную клоунаду, случилось чудо...

Униформисты уже затягивали барьер ярко-пестрой парчой, подготавливая манеж к вечернему представлению. Один из них, взяв кнут, погнал Джима с манежа. Джим послушно потрусил к себе. Около выхода униформист бросил кнут. Джим увидел это, нагнулся за кнутом и зажал его в хобот. Затем он пошел в свой станок, размахивая находкой.

Это заметил Цани, стоявший в коридоре. У стойла Джим выронил кнут. Но Цани поднял его и снова дал ему в хобот.

Джим стал им размахивать, а хозяин вертелся возле него, тоже размахивая руками и напевая: «Ай, Джим! Ай, молодец!»

Этот фокус Цани проделал несколько раз, потом созвал оркестрантов и, объяснив им задачу, снова подошел к слоненку.

— А ну-ка, Джим! Еще! — сказал он. — Ай, молодец!

Кнут взвился в хоботе. Вдруг рядом с Джимом грянул джаз. Джим с тревогой покосился на сверкающие трубы, но все-таки не уронил кнута. Когда музыка стала стихать, хобот его опустился. Он сделал движение, какое делает дирижер, заканчивая пьесу.

Оркестр смолк.

— Сахару! — крикнул Цани.

Опыт с оркестром решили повторить.

Если бы в эту минуту какой-нибудь зритель очутился на конюшне, он решил бы, что в цирк пробрались сумасшедшие.

Перед слоненком прыгал Цани. Его кашне разлеталось на стороны. Пот лил с него ручьем. Он крутился на месте, точно подхваченный бурей. Он выкрикивал бессмысленные слова:

— Ай, хорошо... Ура, ура! Вот это да... Ай да, ай да, какова! Эх, крошка, распошел...

Оркестр ревел что-то свое, невообразимое. Джим неистово, как одержимый, махал кнутом.

Тигр забился в угол клетки от страха. Козлы, высунав из-за перегородки седые бородатые морды, стояли, как два перепуганных старика, попавших на ярмарке в скандал. Раскрыв рот и вытаращив глаза, они смотрели то на оркестрантов, то друг на друга.

Три месяца после этого шли репетиции. Три месяца Джим неустойчиво махал своей палкой. Потом вместе с хозяином, вместе со всей его труппой переехал в новый город, в столицу. Перед подъездом столичного цирка выставили огромный плакат, на котором художник изобразил Джима во фраке и с палочкой в хоботе. Вечерняя газета поместила его фотографию и заметку о гастроли.

Цани волновался. Ведь репетиции в цирке совсем не то, что в театре. Без полного света, без оформления, без публики трудно было решить: как будет принят номер? Его судьба зависела от первого представления.

Маленький, худой и востроносый Гамбуз ходил по цирку, посмеиваясь и предвещая провал.

Он осуждал Цани, он упрекал его в халтуре.

— Цирк — это храм! — говорил он. — Надо иметь уважение, войдя сюда! Почитайте Константина Сергеевича Станиславского... Как Константин Сергеевич писал о театре! А цирк разве хуже? Цирк — это вечное соревнование! А сейчас с кем соревноваться? Вот директор говорит: «Три месяца — номер!» Вздор... Когда-то я готовил номер три года.

Старик ворчал, и чувствовалось, что он не может забыть ни своей юности, ни золотых времен своей конченной карьеры, ни своих неудач и все сегодняшнее кажется ему не тем...

Он плевался, а по вечерам сидел в пивной с карликами и сплетничал:

— Цани тороплив! А цирк этого не любит. Дайте мне Джима, и я превращу его в бога! Вы посмотрели бы на меня раньше... Какой я был элегантный укротитель! Какой наездник! У меня была лошадь, ее звали Блонден! Я ее выучил ходить по проволоке, не дрожа... Вот это было искусство!

Карлики с бокалами пива в руках сидели вокруг него и глядели пристально, как котята, на его перстень, осыпанный рубинами. Перстень тоже был данью прошлому. Гамбуз носил его на безымянном пальце левой руки.

Наконец наступил день представления. Джима одели в черный сатиновый фрак, нацепили на грудь коленкорную манишку с огромным белым бантом. Это было ему знакомо. Он был спокоен.

Цани вел третье отделение. Джим был его финальным номером.

Посмотрев на колышающуюся зеленую занавеску, Цани в шелку увидел Джима, уже приготовленного к выходу. «Ну?..» — с тревогой подумал Цани, и в сердце у него что-то треснуло, как пластинка.

Джим выбежал на манеж и подогнул ноги, делая поклон. Огромные люстры ослепили его. Цирк сверкал. В цирке было жарко, и люди сидели сверху донизу.

Джим увидел хозяина. Хозяин протянул ему палочку в хобот.

На манеж вынесли тумбу. Джим привычно вскочил на нее и встал на задние ноги. Напротив него построились оркестранты, одетые в красные куртки с позументами, белые широкие брюки с бахромой, как у ковбоев.

Вышел на арену режиссер представления и лающим голосом провозгласил название номера. Раздались аплодисменты. Затем в цирке наступила тишина. По знаку хозяина Джим взмахнул палочкой, и скрипки подхватили мелодию. Оркестр играл лирический спокойный вальс.

Весь цирк, притаив дыхание, следил за искусством слоненка. Его движения как будто предупреждали оркестр, и даже Цани, лучше всех знавший нехитрую механику номера, с изумлением видел, как мгновениями слоненок действительно, точно дирижер, как будто бы вел за собой оркестрантов. Джим помахивал в такт головой, покачивался, хобот его кружил в воздухе, трепетал, извивался, и люди, наполнявшие цирк, плакали от смеха.

Красавец Цани, улыбающийся и бледный от напряжения, стоял около Джима, слегка поигрывая кончиком своего шамберьера. Джим косил на него крошечным горящим глазом. Джим был обаятелен. Его умная серая мягкая морда казалась необычайно серьезной. Он дожидался той секунды, когда хозяин шепнет ему «браво» и вложит в рот кусок сахара.

Номер удался. Аплодисментам не было конца. Джим кланялся, но не захотел уходить с арены. Он упирался в опилки передними ногами и трубил.

— Он еще хочет! Бис, бис! — завопили ребята с галерки, и к этим крикам присоединилась вся публика.

Повторение вышло еще удачнее. Давая финал, Джим так классически проткнул своей палочкой воздух, что все в цирке застонали от удовольствия и встретили это овацией.

С трудом увели Джима в конюшню.

В стойло к нему вбежал Цани. Он упал перед слоненком на колени. Слоненок нагнулся, хозяин целовал его в морду.

Джим был весел. Толпа, яркий свет и аплодисменты невероятно понравились ему. Джим не знал, что, начиная с этой ночи, он заживет причудливой, честолюбивой жизнью и, вечно передвигаясь вместе с Цани из города в город, он не увидит ничего, кроме стойла и арены.

После кормежки Джима опять приковали цепью к стене. Только поев, Джим заметил, что его хозяин, как всегда, исчез. Над головой Джима горела электрическая лампа. Козлы храпели. Подогнув ноги, Джим тоже

опустился на пол и лег. В этом цирке все было почти так же, как и в том, в прежнем. Глядя на асфальтовый пол конюшни, Джим долго ворочался с боку на бок, пока не заснул.

Ночью по лестнице, ведущей из артистического общежития в цирк, медленно, точно боясь оступиться, спустился Гамбуз.

Он был сильно пьян. Он не мог спать. На душе у него была какая-то окись. Он бродил по цирку, не находя себе места. Он был в одном белье, на плечи у него было накинуто пальто. Попав в конюшню, он остановился возле Джима и, прищурив глаза, долго глядел на него. Вдруг губы у него завистливо скривились, и, наклонившись к Джиму, он сказал:

— А все-таки ты слон.

Потом, махнув рукой, Гамбуз вышел из конюшни. Джим ничего этого не видел. Он сладко спал. Ему снилось представление. Хобот у него подрагивал.

1941—1944



ТРИДЦАТЬ ДВА ВЕТРА

Я пробирался к станции Луза, надеясь там поймать прямой поезд. Но как-то быстро смеркло, и дальше идти одному стало страшно. Кругом лес, непогода, и я решил заночевать на первом попавшемся мне разъезде — неподалеку от лесопункта, выходившего прямо на линию Киров—Котлас. Приближалась новогодняя ночь. «Как-то я проведу ее?» — думалось мне.

Станционный разъезд был обыкновенной избой. Около него тянулись вспомогательные пути, потому что сюда на погрузку подвозился лес. Пассажиров здесь не было. Беспокоясь о том, как и где я проведу эту ночь, я решил поговорить с железнодорожниками, и они позволили мне лечь на скамье, у кассы возле дежурки.

В служебном отделении горела керосиновая семилинейная лампочка, чугунка раскалилась почти докрасна,

от бревенчатых стен тянуло смолистым запахом, а узкие крохотные окна так заиндевели, что казались фарфоровыми.

Девушка с рыжими вихрами, очевидно начальник разъезда, стояла за конторкой и, перебирая какие-то документы, щелкала на счетах. Старик дежурный, пригревшись около чугунки, читал растрепанную пухлую книжку. Очки у него сползли с носа. Он поправлял их, затем щипал себя за бородку, словно удивляясь чему-то необыкновенному, иногда что-то шептал про себя, и это мешало девушке сосредоточиться. Она сердито поглядывала на него, но старик ничего не замечал.

— Ах, Портос, ах, чертов сын! — вдруг воскликнул старик в восторге. — Вот это мушкетер! Послушай, Анечка, ты когда-нибудь Дюма читала?

— Иван Варсонофьевич, — сказала она. — Видите, дело срочное, а вы тут с посторонними вопросами.

Старик опешил.

— Это что, намек? — сказал он. — Я только хотел спросить вас: читали вы или не читали? И теперь вижу — не читали. — Он хлопнул книжкой по лавке. — И меня нечего учить. Я полвека на железке. Я полный пенсионер. А вы меня учите! Почему я вернулся на работу? Потому что мой мозг сказал мне: «Помогай». А вы...

— Что вы, что я, Иван Варсонофьевич?.. Я вас и не думаю учить. — Аня опустила глаза и погрузилась в работу.

— Понятно, вы начальники, — продолжал старик тянуть свое. — Мы в техникуме не учились. Однако я тоже могу делать замечания. Мы со стрелки проходили жизнь, многоуважаемая. Я тоже мог бы быть начальником, и, когда меня спросили: «Кем хотите?» — «Дежурным», — ответил я. А почему? Годы. Вот как я рассуждал! Значит, я-то понимаю, что такое служба...

Иван Варсонофьевич говорил долго. Он беседовал вслух сам с собой. И в этой беседе было все: и воспоминания о прошлом, и недоумение при мысли о том, что его длинная трудовая жизнь как будто кончается.

Откинувшись на спинку лавки, старик скрутил себе папиросу и закурил от уголька. Аня по-прежнему писала. Равномерно потрескивал телеграфный аппарат.

Старик глядел на Аню. На сердце у него отлегло, и он уже забыл свою обиду.

— Вот что, начальница, — примирительно сказал он. — Приходи ко мне сегодня. Конечно, развлечений у нас нет, но все-таки... Дарья Петровна обещалась пышки спечь. Патефончик пустим. Ясно, сердце не о том болит... Да разве твой Вася в окопе не будет рад, когда ты ему напишешь: «Собралась, дескать, к старикам, желали тебе победы...»

— Иван Варсонофьевич, ведь ночью идет военный состав. И вы отлично знаете.

— Люба заменит... Линия в порядке. Пройдет по графику, как миленький. Впервые, что ли?

Взвизгнул блок у двери. На пороге в огромном овчинном тулупе, занесенная снегом, показалась стрелочница.

— Буран будет... — проговорила она, разматывая платок.

Аня бросилась к дверям.

— И не думай-ко ты без жакетки, — остановила ее баба. — Скрючивает сразу. Такой мороз! Путь совсем закрыло. Рельс в снегу уж по головку.

— А ты раздеваешься? — сказала Аня. — Бежать надо за лопатами. Подымать всех на разъезде. Очищать будем.

— И-и, милая, в такой буран разве мы впятером управимся?

— Тогда на деревню надо, за помощью.

— На деревню?.. Дойди! Вороны дохнут на лету. Как дойдешь на деревню-то?

Аня пожала плечами и обратилась к Ивану Варсонофьевичу чуть не плача:

— Ну, где у них сознательность? Ну, что делать, Иван Варсонофьевич?

Старик молчал.

Аня схватила с вешалки свое пальтишко:

— Ладно, я сама пойду.

Тогда Иван Варсонофьевич тоже оделся, и все сразу вышли из дежурки.

Мороз мгновенно сковал ресницы. Выл ветер, стонали провода, звезды исчезли, и снежный вихрь повсюду наметал сугробы.

— Ишь, сила-то, звезды заносит, — сказала баба.

— Главное, военный состав, — сказала Аня. — Бригаду на помощь, что ли, вызвать? Позвонить дежурному?

Старик махнул рукой:

— Сейчас они сами все на перегонах. Сейчас сам дорожный будет вам звонить: дескать, управляйтесь сами. Ваш разъезд, вы и управляйтесь... Вот сочетание! — Он нахлобучил ушанку и двинулся по междупутью. Остановившись у правой стрелки, старик копнул ногой сугроб, потом плюнул на палец и поднял руку, пробуя ветер.

— С болога дует, — сказал он. И тут словно впервые увидел стрелочницу, пожилую женщину, по-старинному, говоря, бабу. — А ты что идолом стоишь? Тебе сказано было идти. Скажи председателю, чтобы всех прислал. И марш! Одна нога здесь, другая там!

Стрелочница не попыталась даже спорить. Она безропотно перелезла через плетень, зашагала переваливаясь — из сугроба в сугроб — и скоро исчезла в метели.

Через десять минут взрослое население разъезда было на ногах. Иван Варсонофьевич хлопотал среди людей, носивших тяжелые деревянные щиты.

— Углом ставь! Откуда метет, понимай! А эти свех, по сугробу! — кричал Иван Варсонофьевич. — Где у вас мозги-то, граждане?

Иногда он останавливался и, сложив ладошки над глазами, старался рассмотреть: что же делается там, за снежной пеленой? Он думал: «Добралась ли до деревни стрелочница?»

Снег валил по-прежнему. Бушевал ветер. Однако теперь со всех сторон раздавались голоса, и, прислушиваясь к скроботу лопат, к стуку их о рельсы, Иван Варсонофьевич увидал расставленные женщинами щиты.

Он вертелся возле колхозниц и распоряжался:

— Ну как, солдатки? Уж вы для фронта постарайтесь!

— Да уж как не стараться, Иван Варсонофьевич! Ведь ты, поди-ко, ты наливочки припас... — запела одна из них протяжным легким голосом, словно пробуя начать «Ах, не белы снеги...»

...Продираясь сквозь вьюгу, из-за поворота выполз тяжелый товарный состав. Белые глаза паровоза медленно приближались к разъезду. Старик заспешил от семафора к дежурке. Там с фонарем в руке уже стояла Анечка.

— А хорошо у вас вышла расстановочка щитов! Это я знаю. Это мы в техникуме проходили, — самоуверенно

сказала она. — Действительно, ветром распоряжаться можно. Теоретически это называется роза ветров. Тридцать два ветра, тридцать два румба.

Старик улыбнулся.

Поскрипывали от мороза бандажи вагонов, с платформ, закутанных брезентом, выглядывали длинные стволы пушек. Когда шум от последнего вагона затих, мы вернулись в дежурку.

Аня присела, вытянув ноги к потухшей чугунке. Старик взглянул на часы.

— Вот и утро, — сказал он.

Вдруг в черном микрофоне селектора послышался шипящий голос. Это диспетчер издадека, из шумного железнодорожного узла, за много километров отсюда, вызывал затерянный в тайге глухой разъезд.

— Семенова... Семенова... Семенова!.. — нетерпеливо повторял он. — Литерный прошел?

— Прошел, — сказала Аня.

— Понятно. Спасибо. Поздравь всех с Новым годом...

— С Новым годом! — громко ответили мы.

Я даже покраснел от неожиданной ласки этого далекого голоса, долетевшего сюда сквозь все метели, сквозь все тридцать два ветра, бушующих на нашей земле.

Вот так и провел я эту новогоднюю ночь.

1943



ДЕД И ВНУК

Дед Хохряков, высокий, худой, в большом бараньем тулупе с огромным воротником, с большой торбой за плечами, шел по тракту не торопясь. Он опирался на клюку. Снег поскрипывал под валенками так звонко, что деду казалось, будто рядом с ним кто-то бренчит на балалайке. Под эту музыку приятно было обдумывать свою жизнь. Жил он всегда неплохо, и, если бы не война, грех

желать лучшего. Но вот под старость снова надо хлопотать. Да... Мужики ушли на войну, нужно управляться в колхозе без них... Опять же своя есть забота, семейная. Из-за нее-то дед и напросился в город по общественным надобностям. Дело было в том, что весною внука его взяли на завод. Вначале Пахомка прислал письмо, и, как показалось деду, какое-то нехорошее, дед его не понял, и оно ему не понравилось. В ответном письме он выругал внука и уехал по наряду в лес на заготовки. Вернувшись в деревню, он отправил Пахомке еще одно письмо и на него опять не получил ответа.

Теперь дед беспокоился.

Шел он бодро, привычно отмахивая километр за километром, почти не останавливаясь. Тревожные мысли подталкивали его в спину. Шел он день, заночевал по пути в большом селе, шел часть ночи и так незаметно на вторые сутки дошагал до знакомого посада. Оттуда до города было уже рукой подать. Город лежал внизу, распластавшись, как блин на сковородке. На подъезде дорога была избита и посерела, точно камень. Тут вот дед и подсел на проезжавшие дровни. Поехал с оказией... Возчик-то оказался старым приятелем. День был морозный, с румяным дымом из труб, с инеем.

Возчик в брезентовом кожухе и огромной самодельной ушанке был одного возраста с дедом, и поэтому они понимали друг друга с полслова. Возчик не шел, а все время как-то подпрыгивал, будто козел, рядом с дровнями, чтобы согреться... Его бритое, вспухшее лицо стало лиловым от мороза. А бородатый дед сидел, не шевелясь, на каких-то ящиках, запахнув ноги тулупом, и даже не чувствовал холода.

— Понимаешь... — объяснял он возчику. — Невелик еще мой Пахомка. Пятнадцать только в прошлом месяце минуло. А нравный такой, да... Головенка у него на плечах, это правда! Ну и баловства, поди, тоже есть. Тоже правда.

— Возраст, — говорил возчик.

— Ну да! Какая еще самостоятельность! — бубнил дед. — Подобных ребенков еще в кулаке держать следовало. А кому? — Дед морщился. Густые поседевшие брови его топорщились. — Сын мой Иван, отец его то есть, погиб на фронте. Геройской смертью. Командир сам писал! Сноха Дарья в санитарки ушла. Ничего, толковая.

Ленинградская она. Бабки нет, до войны еще сходил, царствие небесное. Прочие кто куды... — Дед охнул. — Ну и, значит, внучок-то оставшись у меня один на руках. Кто за ним наблюдает, кто жизни научит?

— Известно, некому, — равнодушно отвечал возчик. — Глаз на их требуется. У ихнего брата и до бузы недалеко.

— Как ты говоришь?

— До бузы, говорю...

Дед не понял, о чем это говорит приятель. Буза? Но сделал вид, что ему все понятно:

— Вот, вот... Вот и боюсь я, понимаешь, как бы не извертелся он середь заводских. Долго ли? Друзья, друзья, а ведь есть среди них и фулиганье. И главное, почти полгода вестей нету...

— Не зря. Нашкодил чего-нибудь! — высказал подозрение возчик. — Нынче все они характерные. Не учут их палкой-то, а учить надобно.

— Да уж будь спокоен! Я злобу накопил, — сказал дед. — Уж и задам ему перцу. Из-за чего я тащусь? Уж я ему голову-то намылю!

— Не вредно.

— Еще бы! — подхватил дед. — Я его продеру с толченым кирпичом!

Дед рассмеялся, представляя себе, как он будет выговаривать внуку, как внук будет перед ним юлить. «Только бы не случилось чего-нибудь нехорошего», — подумал дед. Все эти хлопоты сами по себе доставляли ему даже какое-то удовольствие. Благодаря им дед чувствовал, что он не одинок в этом мире, не какой-нибудь бобыль, а есть у него еще кто-то, о ком ему следует беспокоиться, и эта озабоченность согревала старика душу.

Когда дровни, тарахтя по рельсам, переехали шлагбаум и за железнодорожной будкой потянулась городская широкая улица, возчик спросил деда:

— А тебе куда? На какой завод?

— Как это, на какой? Ежели не считать лесопилки да кирпичного, один у нас завод в городе... Где циркуль работают и прочее школьное обзаведение.

— И-и... циркуль! — Возчик махнул рукой. — Да ты, видать, год здесь не бывал. Теперь заводов у нас и не сочтешь, и все работают исключительно военное.

Дед удивился:

— Господи! Что же мне делать-то теперь? Мать честная! — Он крикнул и легко, как молодой, соскочил с дровней. — Понимаешь, циркуль там работали! Это я помню, там до войны Назарыч наш, с деревни, работал столяром. Это я знаю... Об этом мне писал в первом письме Пахомка-то.

— Тебе, значит, нужно к Булычевской даче. За театр по тракту.

— Вот, вот...

— Однако нонче там тоже не циркуль! Для самолетов там работают, аппараты всякие! — важно сказал возчик, постукивая кнутом по оглобле. — Внутренность самолетная у них производится. Я ведь, как работник транспорта, все знаю. Я ведь по заводам езжу. Кроме того, у меня племянница там в обмоточной. Народу там — тысячи работают! Дело серьезное! Короче говоря, техника.

— Мать честная! — радостно воскликнул дед. — Значит, и Пахомка мой эту технику работает?

— Ну, не знаю. Это уж как кто, по способности. Там и черной работы много. Там у нас тысячи на черной работе. По человеку там и работа. Может, он канавы копает?

— Это почему же канавы? Хуже, что ли, мой Пахомка твоей племянницы?

— А потому, если бы у него была работа почище, он написал бы, непременно похвалился бы.

— Я никогда не учил Пахомку похваляться-то. Это ты, видно, привык похваляться-то, а мой Пахомка...

— Твой Пахомка! — перебил его возчик. — А что он, твой Пахомка? Неизвестно. Да, может, он из штрафа не вылезает. Да, может, его терпят только по нужде. Народ-то всюду больно нужен. Может, он ворота открывает. Вот племянница моя вечернее образование проходила без отрыва, дак она и ко мне бегала и матке в колхоз писала. А он? Видно, похвалиться нечем. Вот и молчит.

«Пожалуй», — решил про себя дед.

— А главное... — продолжал ораторствовать возчик, размахивая кнутом, — тебе надо было из колхоза написать заявку в кадры. А кадры тебе ответили бы. Вот и все. И незачем было бы тебе тащиться такую даль по

этакой погоде. А все почему это происходит? Борода еще мешает нам... Борода! Еще не приучились к порядку-то! Еще серость.

«Ах ты, щека скоблена... — подумал дед. — Чего ты понимаешь?» Он сорвал с дровней свою торбу и молча отошел в сторону. Возчик посмотрел на деда с недоумением, потом присел на задок дровней, подтянул вожжи и, выругавшись, стегнул лошадь. Дровни быстро покатились. А дед остался на мостках. Ему встречались девушки в маленьких шляпочках набекрень, напоминавших птичьи гнезда, или повязанные как-то по-особенному тонкими пестрыми платочками. Их широкие спортивные фланелевые шаровары, выпущенные из-под юбок и засунутые то в калоши, то в валенки, смущали старика.

— Татарки, что ли, — бормотал он, и новые тревоги овладевали им. — Ну как тут? Поневоле свертишься!

На длинной, бесконечной улице снег был вытопан и вычищен почти до асфальта. По асфальту, скрежеща гусеницами, неслись танки с открытыми люками. Около исполкома они нарочно крутились волчком и затем, развернувшись, лихо, с ревом мчались дальше. Из люков, улыбаясь, выглядывали танкисты-приемщики. Дымили, как самовары, газогенераторные грузовики. У большого здания суетилась толпа и тянулось несколько очередей к кассам. В ларьке, рядом с кассами, торговали пивом. Люди рвались к пиву с ведрами.

— Ребята, что это народ собравшись? — спросил дед одного из мальчишек.

Мальчишка покосился на него и заорал:

— Самосаду, самосаду...

— Тут баня, дедушка, — ответили старику.

Из бани вышел мужчина и тоже крикнул:

— Желаящие дезинфекцию, давай направо в камеру!

Банная очередь мгновенно заволновалась, все сразу спуталось, все зашумели и кинулись в стороны.

Нет, никак дед не узнавал своего старого города Хлынова. Дед свернул поскорее в переулок, к занесенным сугробами палисадникам, к одноэтажным домишкам, где еще сохранились огороды.

Часа через полтора, когда уже в домах зажглись огни, дед добрался до завода, и как раз в это время над

крышей заводууправления пронесся звенящий звук самолета.

Дед полюбовался самолетом, потом ткнулся в первую попавшуюся ему на пути дверь. Сперва он без толку слонялся по коридору, объясняя каждому встречному служащему, зачем он пришел и кого ищет. Его отсылали из одного места в другое, и наконец он попал туда, куда нужно.

За письменным столом сидела машинистка в нарядном капоре. Возле нее, у маленького столика, разбирал какие-то ведомости паренек в суконной старинной шубе с потертым воротником. Лицо у паренька было очень молодое, однако эта шуба и рассчитанные движения придавали ему солидность.

Взглянув на дверь, он сказал старику:

— Ну входите, нечего напускать холоду. Вам чего?

Дед снова принялся объяснять, вдаваясь в ненужные подробности, и все боялся, как бы его не прервали или не сказали бы про Пахомку что-нибудь неладное. Но паренек спокойно выслушал старика и потом спросил:

— В каком же цеху, собственно говоря, ваш внук?

— Не знаю, милый... — Дед улыбнулся, чтобы как-нибудь задобрить человека в шубе. — Проходил ли он чего-нибудь, я не знаю... Мал еще он. Поди, на черной работе.

— Чернорабочий? Он комсомолец?

— Хохряков он, — ответил старик. — Хохряковы мы! Из колхоза Хохряки. У нас полколхоза Хохряковых.

— Постой, дедушка. Он маленький, внук-то твой?

— Да, невидной. Растет еще.

— Уж не Пахом ли это? — сказал парень, оглянувшись на машинистку.

— Ваш внук блондин? — вдруг строго спросила машинистка, обернувшись к деду.

Дед не понял ее и оторопел.

— Не думаю, — сказал он.

Человек в шубе улыбнулся и, взглянув в свои листы, пробормотал:

— Ну да... По отчеству Иванович... Рождения тысяча девятьсот двадцать шестого?

— Его года, — прошептал дед.

— Это Пахом! — сказал человек в шубе. — Вот что, дедушка, придется тебе обождать...

— Это почему же такое?

— А так... Такие обстоятельства. Так что до утра ты внука не увидишь.

— До утра?.. — Сердце у старика заныло, и он взмолился: — Товарищи, мне в исполком надо, я по артельным делам пришедши. До утра я не могу.

— Иначе, дедушка, не выйдет. Во-первых, твой внук в ночной смене. Во-вторых, к нам сегодня из Москвы прибыла комиссия. И в-третьих, нам сегодня вообще не до того. — Быстро написав что-то на бумажке, он передал ее деду: — Вот тебе квиток, ступай в тридцать пятый барак. Там на койку Хохрякова ляжешь. Как выйдешь от нас, возьми влево по дороге, а по правую руку увидишь забор. Как до ворот дойдешь, там бараки. Но ты в первые-то не входи. Ты смотри, где канавы роют...

— Канавы?

— Да, трубы там прокладывают. Ты канаву-то перепрыгни, тут и будет. Понял? Найдешь?

— Найду... Спасибо... — сказал дед и, недовольно покачивая головой, вышел из управления.

Деда встретила в бараке молодая уборщица, обметавшая комнату, она приняла от деда записку и молча показала пальцем в угол. Дед осмотрелся, увидел шесть коек, снял торбу, тулуп, присел на койку своего внука, разулся, размотал портянки, развесил их аккуратно на стуле и только что лег, рукой прикрыв глаза от верхнего света, как в комнату ворвался Пахомка.

— Хо-хо! — закричал Пахомка, увидев старика. — Дед? Дедушка! Вот здорово! — И тут же он обернулся к уборщице: — Послушай, Нюрка, пинжака моего не видела? Где мой пинжак?

— А я почему знаю?.. — ответила ему девушка.

— Понимаешь, неудобно мне в тельняшке... Там комиссия прибыла с генералом гвардии... Тихон Семенович говорит: «Неприлично, говорит, тельняшка у тебя... Сбегай быстро за пинжаком...» Вот я и прибежал.

— Пахомка! — строго сказал старик. — Спервоначалу, когда деда встречают, с ним здоровкаются, с ним говорят, да не как-нибудь, а потом уж...

— Дедушка, — перебил его Пахомка. — Честное слово, я на момент только... за пинжаком. Меня в цеху ждут. Потому тельняшка у меня, сам видишь, какая... От котлов

ведь... А тут генерал гвардии... А мне наш инструктор, Тихон Семенович, говорит...

— Затарахтел. Валенки подай мне! Да не там, а в головах. Растяпа...

— Вот, дедушка. Я сейчас должен, дедушка...

— Портянки дай!

— Вот, дедушка. Я должен бежать, потому что...

— Стыдился бы! Столько времени деду не писать. А сам — как бык... Ладно, уж я с тобой управлюсь. Подай мне торбу, хлеб там у меня и сало. Где кипяток у вас?

— В баке.

— Возьми-ка.

— Сейчас, дедушка. Я, дедушка... Нюрка, где чайник?

— А я почему знаю?.. Вон твой пинжак. Лови!

И Нюрка кинула одежду Пахомке. Одевшись, Пахомка достал из-под койки чайник и, в свою очередь кинув его Нюрке, сказал:

— Сбегай-ка дедушке за кипятком.

Дед, глядя на обоих, в изумлении всплеснул руками:

— Охти! В цирк я попал, что ли?

— Я побегу, дедушка! — прокричал Пахомка. — Я не могу, дедушка, я ведь сюда на один момент, потому что...

И, не dokonчив фразы, он скрылся так же неожиданно, как и прибежал.

Дед потирал лоб.

— Ну, как вам? — спросила его Нюрка. — Кипятку-то брать? Бак скоро закипит.

Дед молчал.

— Ладно... Я возьму, куда вы тут опомнитесь, — сказала Нюрка.

Но деду было уже не до кипятку. Он стоял у широкого окна и даже не видел за стеклами ни звезд, ни фонарей, ни вечера, уже окутавшего все.

— Да... — вздыхал он и по стариковской привычке сам с собою разговаривал: — Это называется — встреча с внуком... Мелькнул, будто привидение, и исчез... Опять, что ли, на полгода? Бегают, крутятся... Цирк! Сущий цирк! Нет, это мне не ндравится. Совесть у них нечистая, по-моему. Оттого и бегают. Который человек

с чистой совестью, тот бегать не станет. Зачем ему? Он сидит спокойно. И на дело идет тоже спокойно. А свое отработал, спокойно домой приходит. А коли к нему дед приехадчи, он не знает, куда усадить его, чайку ему подносит. Да все это умильно, по-людскому, а не так: «Хо-хо, пинжак, чайник...» Дожили! — Дед плюнул. — Нет, я жил не так. И работал всю жизнь, и все прочее... А вот сейчас хотелось бы иметь успокоенье сердцу, посмотреть хотелось бы: как внук мой жизни достигает? А что я вижу? Чем он может меня порадовать? Конечно, мальчишка он, видать, не пропащий, да строжить их надо, узда требуется. А ведь у начальников руки-то до всего не доходят, вот и получается: «момент». Тьфу! А как хочется старому дереву погордиться, покрасоваться своими ветками. Какие на них выросли листочки? И вот нечем. Нет ничего...

Напившись чаю без всякого аппетита, дед в конце концов крепко уснул.

Проснулся он утром. В широкое окно уже рвалось огромное зимнее солнце, точно задевая боками раму.

Комната была пустой, как и вчера вечером, только неподалеку от койки, посередине комнаты, возле зеркала стоял Пахомка и расчесывал волосы пятерней.

— Ишь... Отпустил копну, что стружки, — заворчал дед.

— Это, дедушка, зовется боксом. А что, некультурно, что ли?

— Да уж, культурно! Ишь, вертится! Смотри, зеркало не проверти.

— Я, дедушка, на момент только забежал, потому что...

— Опять момент?

— Ну да... Дай, думаю, была не была, стрекача дам, чтобы дедка порадовался... Уж очень мне хотелось...

— Да ты что? С работы удирать?

— Да не с работы. С митингу. Все там.

— Ну так что? Все работники там, а ты здесь? Ты и на работе так, с прохладцем? Распустили вас!

— Да я, дедушка...

— Вот я — дедушка! Нет, Пахомка! Ты у меня не смей... Вижу я тебя! Одно верченье.

Внук опешил. Глаза у него сразу сникли, съезжились, точно кто примял их.

— По-вашему, я не работаю... — забормотал он.

Дед спустил ноги на пол:

— Нашел, чем хвастаться! Работой? Мне годов сколько? А я работаю — не хвастаюсь. Война с Гитлером не шутка, все нынче работают. А как я работаю? Я бригадир. А ты понимаешь такое слово: бри-га-дир... Да не где-нибудь, а в лесу. Это не тебе чета. Меня начальники вызывают. «Садись, говорят, Сидор Иванович, на стул, пожалуйста... Скажи, пожалуйста, как ты увязываешь план?» — «Ничего, говорю, увязываю!» Вот кто твой дед! Так что ты, выходит, передо мной — нуль... Нуль и больше ничего! Да не моргай глазами-то, чего косишься, будто лошадь...

«Чего это? Обиделся он, что ли? — подумал дед. — Ну ладно. Пускай почувствует: дедушка приехал, не кто-нибудь...»

— Как я перед дедом стоял? И как ты стоишь? — крикнул старик. — Чего руки-то к грудям припилил? Отпусти... Что это? — Дед вскочил с койки. — Что это у тебя?

Пахомка не без лукавства улыбнулся:

— Да медаль.

— Медаль? — Дед даже пощупал ее. — Действительно! И на ленточке! Да когда же это награждали? Тебя наградили?

— Да вот сегодня, в цеху... Там наградили нас, слесарей...

— Кто награждал-то? Да говори ты толком! То бегают, то слова от них не выжмешь. Кто награждал?

— Да генерал.

— Он и нацеплял?

— Он.

— Господи... Пахомка, — прошептал дед и поперхнулся. — Пахом Иванович... — Старик от радости заплакал.

1944





А. Н. ТОЛСТОЙ

Алексей Николаевич Толстой был писатель с богатством, своеобразным талантом. Именно своеобразным, ибо подобного ему не найдешь ни в прошлом, ни в настоящем русской литературы. Вскоре после кончины Толстого я записал несколько своих мыслей о нем («Речь об А. Н. Толстом»). Сейчас, перечитывая этот старый материал, я позволил себе значительно расширить его, сделать ряд дополнений, привести новые факты, но и сейчас это только набросок, только штрихи к тому портрету, который ждет своего времени, словно все еще не верится, что Толстого уже нет, настолько живо его присутствие в литературе наших дней.

Как случилась наша первая встреча? Точно в романе. Я только что приехал в Берлин. Это было летом 1923 года.

Западная часть немецкой столицы. Безвкусная роскошь Курфюрстендамм, той самой улицы, от которой в 1945 году осталось только шесть домов.

Пробираясь через поток автомобилей, я вижу Толстого с женой, Н. В. Крандиевской. Он европеец от шляпы до ботинок. Но я сразу узнал его по дореволюционным фотографиям. Узнал и окликнул. Здесь на тротуаре мы впервые в жизни разговорились. Кто-то еще в Москве сообщил мне, что Толстой вскоре возвращается из своих странствий по заграницам (в годы гражданской войны). Я немедленно спросил — правда ли это. И тут же увидел его сияющее лицо. Радость — вот было мое первое впечатление от Толстого. Уже впоследствии, когда мы познакомились ближе и подружился, я понял, что быстрый, почти детский переход от одного настроения к другому — истинное толстовское свойство. Как он любил радоваться! Как в минуту радости все менялось в его лице — широко и кругло. Как светлело оно... И тут же, впервые, на этих курфюрстендаммовских лощенных плитах я услышал его поистине русскую речь, круглую, будто обкатанную, с легкой оттяжкой:

— Да! Правда, правда, правда... Через три дня в Москву! На родину. Вон отсюда... От этой «смены вех»... От Берлина... Уф!

Он так шумно вздохнул, что прохожие обернулись. И я понял — какая глубокая тоска по родному краю гложет его, с каким нетерпением он ждет той минуты, когда кончатся его блуждания и он снова увидит и Москву, и берега Невы, где протекала его молодость, и волжское приволье, среди которого он вырос.

Не забыть мне, как здесь же с неожиданной экспрессией, с каким-то каскадом слов Толстой, не выбирая выражений, не стесняясь, простодушно выложил все свои затаенные чувства и, будто стыдясь своего пребывания на этом заграничном тротуаре, отплевывался от всего, что его окружало. Презрительная губа, энергичный кулак. В этом было много юношески наивного, совсем молодого, хотя в ту пору ему было уже сорок лет.

Так состоялось наше первое знакомство. Он жил в рабочем квартале, в тесной квартирке, но с гордостью говорил мне:

— Вот здесь бывал Алексей Максимович... Здесь читал свои стихи Есенин...

Он знал, чем гордиться...

«Трудно сейчас вспоминать об Алексее Толстом», — писал я в 1945 году, после его кончины. Но я бы сказал, что и сейчас мне это сделать не легче. Все тот же живой, меняющийся будто на ходу человек перед моими глазами. Раскатистый толстовский смех от души только и слышится мне. Все в нем так полно запасами жизни, что я никак не могу *вспоминать* о нем, слишком он жив для меня.

Откровенно говоря, нельзя, невозможно было не любить Толстого. Мы, писатели, во всяком случае, многие из нас, любили его человеческое обаяние так же, как и обаятельность его таланта.

Прав Николай Тихонов, писавший о нем. Действительно, это был «добрый талант». Прав и Горький, который назвал его «веселым талантом».

Он не хотел трагедии или драмы, он избегал их даже в самых тяжелых для себя обстоятельствах, и, если бы он жил не с нами, не в наше время, он мог бы повторить слова Франциска Ассизского, что из всех грехов самый тяжкий — уныние и что бог — это веселье.

Вот почему так трагично прозвучала для нас эта смерть, хотя мы были уже готовы к ней, зная о его болезни.

Когда я стараюсь уяснить из его книг все наиболее сильное, яркое и удавшееся ему, я вижу это либо в улыбке, в шутке, в лирике, либо в напряженном богатом действии, как в романе о Петре, то есть в устроении жизни, в полном ее утверждении и даже в наслаждении от трудов, которые она приносит.

Да, в книгах своих он не любил смерть. Он не всматривался в нее с той внимательностью, тоской, иногда даже тягой к ней, которые порою встречались в русском романе. У него люди наталкиваются на нее случайно и потом исчезают, как дым.

Это же чувство было свойственно ему и в жизни.

Помню, как умер его друг, историк П. Е. Щеголев. Он писал с ним вместе исторические пьесы. И не только пьесы.

В те годы (это был первый период ленинградской жизни Алексея Николаевича, только что вернувшегося на родину, период не очень легкий для него, надо правду сказать) состоялось его первое знакомство со Щеголевым. Он познакомился тогда и со многими писателями-ленинградцами, начиная с К. А. Федина. Это был тот круг еще молодой советской литературы, в которую Толстой только что «входил».

Помню, как — очевидно, для сближения — А. Н. Толстой устроил у себя на квартире чтение нескольких глав тогда еще только писавшегося К. А. Фединым романа «Города и годы».

Читать, конечно, должен был Федин.

Здесь, на Ждановке, за скромнейшей сервировкой, если так можно сказать о шербатых тарелках и простых железных вилках, состоялся литературный обед Толстого. На первое были поданы щи, а на второе — вареное мясо из этих щей, только с хреном.

Толстой, как будто немножко стеснялся, и в то же время радушно угощал нас этим блюдом, весело приговаривая:

— Это великолепно, уверяю вас... Французы это очень любят... Это «бэф буи»...

Но сколько было радости после обеда, когда началось чтение «Городов». Толстой с дружеской и легкой простотой вошел в нашу среду. Тоже молодой, будто и он только что начинает печататься... Отсюда началась его дружба с К. А. Фединым. Ведь многое решает первая встреча.

Вернемся к П. Е. Щеголеву. Щеголев был колоритной фигурой тех лет. Широко известный большому кругу историков, он, однако, не участвовал в университетской жизни. Он был прежде всего литератор, издатель историко-революционного журнала «Былое». Но его труды о Пушкине и такой его классический труд, как «Дуэль и смерть Пушкина», навсегда обеспечили ему место в пушкиноведении. Это был интересный человек, крупный историк, очень осведомленный в истории русского револю-

ционного движения, великолепно знавший революционные архивы и многое из материалов о гражданской войне.

Мне доводилось слышать не раз, как оба они, то есть Толстой и Щеголев, беседовали друг с другом на эти темы, и Щеголев-историк помогал Толстому-романисту во многом. Тогда Толстой начал писать вторую часть «Хождения по мукам». Вот начало их дружбы, основанной на творческой работе, а не только на быте, как некоторые думают.

Некоторым сейчас кажется, что вся жизнь Толстого протекала как праздник, что успех был всегда ему обеспечен, что он не знал мучительных сомнений, всегда свойственных истинному художнику. Нет, это неверно. И для подтверждения своей мысли мне хочется привести один факт...

«Хождение по мукам» еще писалось... И вот январским вечером я слушаю по радио одну сцену из «Хождения» (тогда мы слушали радио в наушниках). Сцена схватки двух сил, описанная легко, просто, ярко и в то же время мудро, с великолепными диалогами, потрясла меня... Я не мог утерпеть, чтобы не сообщить Толстому о моих впечатлениях. Но я был удивлен еще более, когда через несколько дней получил от него ответное письмо. И я понял, как важен был ему мой скромный голос.

«Милый друг, Коля, ты мне доставил очень большое удовольствие письмом.

...Когда-то такие письма между писателями — о впечатлениях, критические, полемические, хвалебные — составляли часть литературной жизни. Это увеличивало чувство важности дела, приподнимало, создавало напряженную и ответственную обстановку для творчества...»

Письмо довольно длинное, и сейчас не стоит приводить его в подробностях. Здесь важно одно: жажда Толстого к творческому, живому литературному обмену мнениями. В письме чувствуется огромная жажда «подойти друг к другу» (так он пишет)... Толстой ищет большой литературной жизни, мечтает о высоких планах, о коллективной литературной работе.

Щеголев и Толстой были неразлучны в те годы, когда писалась трилогия о гражданской войне. Толстого и Щеголева мы видели всегда вместе — в театре на

премьере, на литературном вечере, в гостях, даже на извозчике. Щеголев — расползающийся, огромный — ел сидит в пролетке. Толстому рядом с ним тесно, он умещается боком, на краешке. Один — небрежный, одежда, его состоит как бы только из складок. Другой — несмотря на свою полноту, всегда подтянутый, словно отглаженный, всегда с новой шуткой, которой он готов поделиться. Даже карикатуристы той поры не разделяли их в своих рисунках.

Щеголев умер, а Толстой не пришел даже проститься и на вопрос, как это вышло, сказал:

— Ругайте меня... Но смерть... — Он как бы отпихнул что-то руками. — Я... я не могу...

Это было естественно, понятно и человечно. Таков был Толстой. Не хотел, не понимал, не выносил смерти.

— Я слишком люблю жизнь... И не терплю ее финала, — сказал он, как бы подшутив над собой.

Говорят, что нельзя отождествлять автора с его героями. В этом утверждении есть правда. Однако и полное отрицание этого, по-моему, ложно. Без трех томиков блоковской лирики как понять человека Блока? Как увидеть Лермонтова без Печорина?

Представьте себе Алексея Толстого без «Петра». Невозможно. Это уже не та биография, не тот человек и совсем не тот писатель. Представьте его без этой темы, которая волновала русскую литературу еще с Пушкина и прошла почти незатронутой через все минувшее столетие. О ней мечтал Лев Толстой. Но, чтобы понять «Петра», нужен был наш век, и эта тема словно упала в руки Алексея Толстого. Он принял ее как наследник. И его рассказ 1918 года о Петре был семенем, из которого выросла и зацвела эпопея.

Мне хочется сейчас высказать одну мысль, которая прежде казалась мне спорной и, быть может, недостойной упоминания. Но именно теперь, когда так высоко и так всеобъемлюще литературное значение Толстого, когда в восприятии ряда вещей многое устоялось, осело, — исчезла, по-моему, и эта спорность. Мысль заключается в следующем: даже те его вещи, которые как-то не были «причислены» к разряду удавшихся, — интересны и богаты содержанием и так написаны, что, читая их, не оторвешься. Сколько искусства и силы, сколько историзма даже

в романе «Черное золото»! Сколько изумительных спен даже в «Заговоре императрицы»! С каким простодушием истинного таланта, ничего не боящегося, он подымал самые разнообразные и не похожие друг на друга пласты современной ему быстротекущей жизни.

Вот почему в этом замечательном русском писателе я чувствую как бы душу Никиты из повести «Детство Никиты», или, как он еще называл эту вещь, из «Повести о многих превосходных вещах». Читая недавно «Слово о Шиллере» Томаса Манна, я глубже понял это ощущение. Томас Манн утверждает, что даже в Шиллере была «великая детская» художника, «вечно отроческое начало» в жизни и творчестве.

Толстой по-детски раскрытыми, смеющимися и удивленными глазами смотрел на этот мир, наполненный превосходными вещами. Он требовал их и добивался. Он впадал в ошибки, стучался лбом обо что-то жесткое, вступал в драку с «мальчишками из-за оврага», бежал домой с синяками, успокаивался, любил родное небо, русскую землю до самозабвения. Не потому ли с такой объемностью, и тут же с лаконичностью, и так сочно выписаны у него люди — «русский человек» разных времен и состояний, и Гадюка, и Бровкин, и Иван Гора, и даже Гусев из фантастической «Аэлиты». Он любил их.

Он брал все темы, не раздумывая и не пугаясь, если они чем-нибудь его поражали или прельщали. Брал даже те, которые ему не удавались. Он делал это так же, как покупал вещи, которые ему часто не были нужны, устраивал и переустраивал свой быт: дома, дачи, квартиры. Несколько раз заново начинал жизнь. Он жил как будто беспокойно. Идеи, события будто сами шли навстречу ему. Он в них работал, он увлекался ими, влюблялся в них. Все это были явления превосходного мира! Многим казалось, что он живет с легкостью. На самом деле Толстой жил трудно. Вечно занятый, необыкновенно загруженный, но довольный этим грузом, он жил с той естественностью, с какой весенний ручей громко несется среди степных оврагов, которые он сам описал в «Детстве»...

Я никогда его не видел без работы. Он работал даже тогда, когда впервые серьезная и опасная болезнь настигла его. Это было за несколько лет до его переезда в Москву. С ним случилось что-то вроде удара. Боялись

за его жизнь. Но через несколько дней, лежа в постели, приладив папку у себя на коленях, как пюпитр, он уже работал над «Золотым ключиком», делая сказку для детей. Подобно природе, он не терпел пустоты. Он уже увлекался.

— Это чудовищно интересно, — убеждал он меня. — Этот Буратино... Превосходный сюжет! Надо написать, пока этого не сделал Маршак.

Он захохотал. В этом желании прикоснуться ко всему, успеть все была какая-то пленяющая творческая жадность, точно у Дюма, хотя строй его писательской души был совсем иным. Но чем-то, какими-то черточками своего человеческого характера он был действительно похож на него. Он был так же трудолюбив, как этот француз, написавший целую библиотеку. Садясь за стол, за обед, он так же чувствовал себя мастеровым, рабочим человеком, который хорошо поработал и поэто-му имеет право поесть.

Вспоминаю рассказ самого Толстого об одном из его портретов.

У П. П. Кончаловского есть портрет Алексея Толстого. Он превосходен. Кончаловский сперва написал Толстого, а потом перед ним на первом плане написал чудеснейший натюрморт. Это были блюда, кушанья, бокалы. Это был Алексей Толстой за обедом. Этот портрет как будто опрокидывал все традиции русского писательского портрета. Казалось, в нем нет ничего от литературы.

Прибавка к портрету была сделана заочно, без ведома Толстого.

Когда портрет был готов, Толстой обомлел. Ему показалось — не выпад ли это против него? Посмотрел на Кончаловского как на злоумышленника... Провел ладонью по лицу, точно умываясь (свойственный ему жест), и вдруг фыркнул и хлопнул Кончаловского по плечу:

— Это здорово! Это черт знает что, Петр! — Он прищелкивал пальцами, подыскивая определение. — Это, это... Поедем обедать!

Я помню, как он умел прощать не только мнимые, но даже и действительные обиды. Не раз друзья по литературе писали на него злые памфлеты. Он только отмахивался.

Я вспоминаю времена, когда люди, не умевшие литературно связать двух слов, которым никогда не удалось бы одну строчку написать таким языком, каким писал всю жизнь Алексей Толстой, отзывались о нем с возмущительной небрежностью. Он как будто их не замечал.

Это был великодушный талант.

Хочу сейчас прикоснуться к самому главному в нем, к основе его таланта, вернее, к тому, чем он побеждал.

Однажды гений мировой литературы Лев Толстой разговаривал с московским извозчиком и на просьбу последнего дать ему «Детство и отрочество» ответил так: «Нет, голубчик, это пустая книжка. Я дам тебе «Ходите в свете, пока есть свет». Это гораздо лучше, чем „Детство и отрочество“».

Алексей Николаевич не понял бы этого.

С каким недоумением в наших редакциях повторяли фразу Алексея Толстого: «Роман? В романе главное — пейзаж».

Она звучала как анекдот. Это и было анекдотом. Но в то же время это было своеобразное исповедание своего художественного принципа. Это означало: «Я не умозрительствую, не рассуждаю, а пишу глазами. Смотрите... Я даю возможность насытиться вам всеми зрительными впечатлениями этого мира... Насыщайтесь!» Так сделаны и «Петр Первый» и драмы о Грозном, то есть даже те вещи — проблемные, в которых поставлены вопросы больших исторических судеб, исторических целей России, и как поставлены! Можно прочитать Ключевского. Историк может быть гениальным, но в сущности как мало власти у него. В романах и пьесах мы познаем историю, как жизнь. Искусство едва ли не сильнее всех исторических трудов закрепляет историю в человеческой памяти.

...В Толстом было много творческой энергии. Вспоминаю одну нашу поездку, после которой он собирался «отразить» жизнь водолазов. В этой же поездке он заинтересовался множеством превосходных вещей. И, что самое главное, именно в эти дни в нем, в его писательском арсенале, зародилось многое, касавшееся русского Севера, что и вошло впоследствии в роман о Петре, — люди, ощущения, пейзажи.

Как же это было?

Мы едем вместе на подъем «Садко». Он, Шишков и я. Но ему мало было только этого подъема. Он изменил весь маршрут, нарушил все планы начальника ЭПРОНа Ф. И. Крылова.

Беломорканал, пристани, шлюзы, капитаны, чекисты, заключенные, консервные фабрики Кандалакши, океанографические станции, совхоз «Имандра», опытные полярные поля, Хибинны, апатиты, горнорабочие, инженеры, старообрядческие деревни на Выге — все необходимо ему, кроме водолазов и кроме подъема пархода, зато нувшего еще в годы первой империалистической войны.

Он как металлург говорит о горных породах с геологами и с академиком Ферсманом. Со старухами крестьянками в деревнях беседует о старой вере, двуперстии, покупает медные иконы, отлитые здесь несколько веков назад, ходит на охоту, ловит форель, участвует в литературных вечерах... Вячеслав Яковлевич Шишков еле дышит, а Толстой засыпает сразу, как ребенок, и встает с прекрасным цветом лица. Каждый день он обмывается с головы до пят, встает раньше всех и, фыркая над ведром, будит Шишкова своей обычной, постоянной шуткой:

— Работать!.. Вячеслав!.. Работать!..

Так всегда начинался толстовский день.

А по вечерам, когда вся наша бригада выматывалась от бесконечных встреч, разговоров, разъездов, неутомимым оставался только Толстой.

— Едем в клуб! — кричит он. — Там нас ждут...

— Нас никто уже не ждет... Скоро десять часов вечера... Кто будет ждать?

Он негодует:

— Спать, что ли? За этим приехали?

Он достает дрезину, и мы несемся в Хибинны со станции Имандра.

Он оказался прав. В маленьком, тогда еще деревянном клубе не только яблоку, но даже булавке негде было упасть. Как торжествовал Толстой... Это был замечательный вечер. А когда мы возвращались на ночлег, Толстой всю дорогу спорил с главным геологом Хибин о магме... Он многое знал...

Это был талант, вечно ищущий нового.

...Тут же, то есть среди всех этих многообразных интересов, зреют в нем мысли и, очевидно, возникают

подробности петровской эпохи — подробности о скитах петровского времени, о старцах, о петровских людях, шедших в глубь этих таежных северных лесов, чтобы рушить старое и подымать новое.

Помню Толстого в кожаном пальто, в военно-морской фуражке, подаренной ему Ф. И. Крыловым. Ее он всегда носил в этой поездке. И ею даже гордился. Мы плывем на маленьком гидрографическом судне среди шхер Заонежья. Толстой часами разговаривал с матросами и капитаном корабля о путях Петра в этой глуши.

Помню, как он стоял, опираясь на поручни, смотрел на маленькие острова и зеркальные протоки, по которым мы шли, как с берега, с подлеска, вплотную подбежавшего к воде, сильный ветер бросал на палубу охапками осеннюю листву, багряную и золотую, с осин и берез.

Он жадно смотрел, как будто впитывая в себя каждую деталь пейзажа.

Он обратил мое внимание на ряд старинных, уже разрушившихся от времени построек.

— Здесь чувствуется Петр, его рука... — тихо говорил Алексей Николаевич, чуть прищурясь и точно уже прощупывая глазами свои будущие страницы, точно читая еще ненаписанное. — Да, все это началось, конечно, при нем...

Так рождался роман о Петре.

Только однажды он как бы «поддался» в этой бурной поездке, у него поднялась температура — это было на станции Академии наук в Хибинах. Он лежал на койке.

— Сегодня мне пятьдесят лет... — сказал Алексей Николаевич, когда я пришел навестить его.

В ту пору этого никто не отметил. Ни письма, ни телеграммы он не получил даже из дому. И я понял, что ему просто взгрустнулось.

— Полвека — это цифра... — сказал он, немножко надув губы.

А утром он был уже здоров и опять всех будил. А на разработках в штольнях апатита интересовался каждой мелочью работы, всем рабочим процессом и разговаривал с рабочими как инженер. Это был неутомимый талант.

...Лето 1942 года. Военная Москва. Тяжелое время. Сталинграда, как начала краха гитлеровского рейха,

мы еще не видели даже в тумане. Германские клещи стремились охватить Москву, и трепет войны чувствовался во всем облике столицы с ее потоками грузовых военных машин, с людьми в шинелях, с зенитными точками и с воздушными заграждениями из аэростатов. Даже в ее красках чувствовалась война. Было очень душно, цвели липы, а люди, точно немые, молча, сжав губы, смотрели на карту военных действий. Тогда в эту пустынную Москву с чистыми, почти не засоренными улицами примчался из Ташкента Алексей Николаевич Толстой.

Я не узнал его. Он был по-прежнему свежий, в летнем костюме, ни одной небрежности в платье, с той же скороговоркой, с той же неизбежной шуточкой, но у него совсем иное лицо. Нет отвисающих щек, как будто к нему вернулась юность. Он очень похудел и, конечно, не от недостатка питания. Это был другой человек...

— Не мог... — сказал он, объясняя свой приезд. — Понимаешь... Противно в Ташкенте. Эта эвакуация... Вроде прячешься.

Вечером мы сидели в особняке на Малой Никитской, в том доме, где раньше жил Горький. Знакомая длинная, мрачная столовая. Длинный стол. Наверху в люстре горит по военному времени только один желтый глазок электрической лампочки. Обсуждаем события, тогда малоутешительные.

Толстой серьезен. В столовой жарко. Он без пиджака, ворот расстегнут. Сирены. Тревога. Он долго сидит не разговаривая, будто раздумывая. Потом встряхивается всем телом, как грузчик с Волги. И нет «графа», нет шелковой рубашки. Он резко встает, исчезает, затем через несколько минут приносит из соседней комнаты портфельчик и, вынув из него рукопись, снова садится за стол. Он начинает читать свой первый военный рассказ о русском человеке из серии «Ивана Сударева»...

Прочитав свой рассказ, он кладет пальцы на рукопись и постукивает по ней.

Мы сидим молча. Толстой «вымыл» сухой ладонью лицо, снова спрятал рукопись в портфельчик и, тоже молча, еще выжидая отклика, оглядел всех, выслушавших его «Русский характер». Федин среди напряженного молчания произносит только одно слово: «Да...» Тишина после чтения полнее и лучше многих слов поведала

о суровой простоте нового произведения, об огромных чувствах, огромном волнении, о тех эпических высотах характера, которые смог показать Толстой. И в ту минуту творческое волнение Толстого разом схлынуло, побледневшие щеки чуть порозовели, глаза стали ясными, беспокойство улеглось, он вздохнул в полную силу.

— Здесь остаюсь... Да! Не уеду я из Москвы, — твердо говорит он, успокоенный собственными словами.

Нам не спалось. Мы долго разговаривали, почти до рассвета. С первого дня войны, еще обремененный всем грузом ее боев и первыми неудачами, он — несмотря ни на что — верил в ее благополучный конец... Об этом мы и говорили в эту ночь...

— Помнишь, — сказал Толстой, — когда я вернулся из Парижа, с антифашистского конгресса... Ну, несколько лет тому назад... Помнишь, я ведь еще тогда предчувствовал, что в случае войны официальная Франция не сумеет драться...

— Помню. Да, да... Ты говорил...

— Я оказался прав... А мы... Мы разобьем фашизм... Вот сейчас, возвращаясь из Средней Азии, я проехал значительный кусок России... Пусть я видел немного... Но и по этому можно судить о многом... И я вижу, я чувствую свою страну как родную, любимую мать... Мы победим...

...И с этих дней Толстой впрягается в работу. Уже в Москве... Статьи, рассказы, роман, пьесы, поездки на юг, на Северный Кавказ, в Польшу, в Ленинград... Идет год за годом. Крылья победы уже осеняют страну. Круто меняются события, и шестидесятилетний человек живет как в водовороте, точно юноша.

В эти же годы Алексей Николаевич снова работал над книгой «Хождение по мукам». Это была сложная переработка — не та, обычная, лишь для переиздания... Нет! Он вносил в трилогию немало нового, и работа так его захватила, что Толстой, как правило, не любивший говорить о себе, сам делился с друзьями своими ощущениями:

— Теперь я с большим опытом... С большими знаниями об этой эпохе... С большим историческим писательским навыком после Петра! Эх, многое я бы сейчас переделал... Но сложившуюся конструкцию романа трудно ломать... Да и невозможно. Может быть, и не

надо. Во всяком случае, и сейчас я здорово потрудился... Пришлось! И хорошо, что пришлось...

Он так серьезно смотрел на проделанную работу, что ему хотелось ее обсуждения. Это была прежняя жажда подлинной литературной беседы, о которой он писал мне когда-то... Диспут состоялся в Доме писателей.

Были разные выступления. После одного из них Толстой как-то сник. И только уже в конце вечера, несколько успокоившись, он сказал о нем с несвойственной ему резкостью:

— Ну чего? Крой... Но зачем жевать, как будто ему противно? Жует резину! Недостатки? Сколько угодно. Но ведь он так разбирает, точно юноша в восточной сказке, о ней писал Лев Толстой.

Он тут же напомнил мне содержание этой сказки, заключавшееся в следующем: некий юноша, взяв луковицу и считая, что ее суть, ее существо спрятаны где-то внутри, сорвал сперва шелуху. Потом верхнюю кожицу. Потом следующий слой луковицы. Затем другой.

— И так пошел рвать один слой за другим... Понимаешь? Сорвав всё, сей юноша пробормотал: «Что такое? Да ведь существа-то у этой луковицы и нет». — Так и он... Только рвет... — с грустью проговорил Толстой о своем критике. — Разве так можно относиться к литературе? Да писал ли он сам когда-нибудь... Каждая страница — будто кусок твоей собственной кожи... Для меня «Хождение по мукам» — это глубоко личное... Я начал писать его еще в Париже. Вернее, за городом, под Парижем... — продолжал Толстой. — Как писал! С каким захлебом! Ведь это мое дыхание! Я как сейчас вижу ту дачку, ту местность, где все это переживалось, это почти моя личная драма... Я писал, почти не отдыхая. Я писал, как дышал. Это моя жизнь... Мои поиски! Мое сокровенное, чем я так хотел поделиться со всеми...

1957



Сколько было знакомых, приятелей, «друзей в кавычках», сближений с женщинами, и обо всем этом Есенин писал в своих стихах: «легкие друзья», «легкие подруги», «вспыльчивые связи». А вот истинной дружбы и, быть может, истинной любви, как он ее понимал, мне кажется, ему не хватало... И не потому ли он так часто тосковал об этом: «Друзей так в жизни мало...», «Ни друга, ни жены» — эта тема кочевала у Есенина из одного стихотворения в другое еще с 1922 года... Его предсмертное обращение к другу («До свиданья, друг мой, до свиданья») мне представляется просто поэтическим и отчасти «бытовым» приемом. Как в «Черном человеке». Я думаю, что тот, кто получил эту предсмертную записку поэта, написанную кровью, как сообщали газеты того времени, не был истинным другом поэта. Быть может, только в бакинском стихотворении («Прощай, Баку!») есть настоящее, а не только прием: «В последний раз я друга обниму...»

И до смерти Есенина и после мне неоднократно приходилось слышать о его невероятной общительности. Да, он был очень общителен. Я это видел сам. Мы, люди его поколения, это помним. Но в этой общительности была в то же время и сдержанность. На мой взгляд, Есенин вовсе не был так прост, как думается. Он был человек по своему и сложный и простой. И до известной степени замкнутый, как это ни странно говорить о нем, прожившем свои дни среди шума. Но не даром же Есенин писал еще в 1922 году: «Средь людей я дружбы не имею...»

* * *

Последней его женой была С. А. Толстая, ныне тоже покойная. И хоть бесцельно теперь гадать, каким бы руслом пошла их жизнь, но, когда думаешь о близких людях, трудно не высказать предположений. В жизни случается всякое. Кто знает, если бы Есенин остался жив, если бы он еще пережил несколько лет, если бы перешагнул через эти критические житейские перевалы, быть может, его судьба сложилась бы по-иному? Хотя, откро-

венно говоря, мне трудно себе представить есенинскую судьбу обычной судьбой.

Но встреча с замечательным человеком, С. А. Толстой, была для Есенина не проходным явлением. Любовь Софьи Андреевны к Есенину была нелегкой. Вообще это его последнее сближение было иным, чем его более ранние связи, включая и его роман с Айседорой Дункан. Однажды он сказал мне:

— Сейчас с Соней другое. Совсем не то, что прежде, когда повесничал и хулиганил...

— Но что другое?..

Он махнул рукой, промолчал.

С. А. Толстая была истинная внучка своего деда. Даже обликом своим поразительно напоминала Льва Николаевича. Она была человеком широким, вдумчивым, серьезным, иногда противоречивым, умела пошутить, всегда с толстовской меткостью и остротой разбиралась в людях.

Я понимаю, что привлекло Есенина, уже уставшего от своей мятежной и бесшабашной жизни, к Софье Андреевне. Это были действительно уже иные дни, иной период его биографии. В этот период он стремился к *иной жизни*. В 1924 году были написаны «Песнь о великом походе», «Поэма о 36» (о «клокочущем пятом годе»). В том же году появилась баллада о двадцати шести комиссарах, стихотворение о Ленине: «Еще закон не отвердел...» Тогда же (1925) было опубликовано большое программное стихотворение «Мой путь». Это был взгляд в будущее и в то же время оглядка на прошлое.

Ну что же?
Молодость прошла!
Пора приняться мне
За дело,
Чтоб озорливая душа
Уже по-взрослому запела...
И пусть иная жизнь села
Меня наполнит
Новой силой...

Но в этом же самом 1925 году Есениным была написана поэма «Черный человек» (трагическое содержание ее известно).

Я не претендую на звание *друга* Есенина, прежде всего потому, что у меня такое же понятие о дружбе,

какое было и у него. Но я знал Есенина главным образом в течение последних трех лет его жизни, и мне захотелось кое-что дополнить к появившимся уже биографическим материалам о нем.

В «Огоньке» (1960, № 40) литературовед Ю. Прокушев пишет, что Есенин «живо следил за творчеством писателей-современников». Ю. Прокушев приводит несколько фраз из воспоминаний какого-то писателя, но фамилию его не называет. Есенин будто бы встретился этому писателю на Тверской «с пачкой книг издания «Круг», которую он нес...» И сказал при этом: «Занимаюсь просмотром новейшей литературы. Нужно быть в курсе современной литературы».

Конечно, Есенин мог нести пачку книг из издательства и даже мог сказать что-нибудь такое. Но мало ли что Есенин сказал! То, что говорим мы случайно, часто не соответствует истине, и главное — во всей этой фразе мне чувствуется совсем не есенинская интонация... звучит-то она стандартно.

Двадцатые годы. Все мы были молоды. Очень молоды. И не знали писателей моложе нас. Стариков из скромности, иногда из почтительности, а иногда из своеобразного и, пожалуй, глуповатого гонора, мы не считали своими современниками. За творчеством действительно своих современников, то есть современников по возрасту, мы не умели «живо следить» и уж тем более не умели «просматривать» их творчество. Мы все вместе кипели в общем котле тогда еще только закипавшей советской литературы. Мы не делились ни на поэтов, ни на прозаиков. Среди нас не было мэтров. Не был мэтром и Есенин.

Мы с жадностью не просматривали, а проглатывали сочинения друг друга. Но, конечно, это еще не значит, что мы читали пачками. Вспоминая Есенина, я могу утверждать, что Есенин мало интересовался прозой. Поэтов знал отлично. Это верно. А в прозе... Да вот в подтверждение один пример. Однажды я спросил его мнение о книгах очень одаренного, хорошо известного многим в те времена прозаика. Есенин вдруг смутился.

— Я не читал, понимаешь... Я очень редко читаю современную прозу. Боюсь. Большинство из прозаиков — мои приятели... Как и он! А вдруг он скверно пишет? Ну как же дальше я буду с ним встречаться?

Это было сказано искренним голосом, идущим от сердца, почти по-детски, даже без улыбки, и, только увидев, что я словно ошарашен, Есенин рассмеялся.

За все годы встреч с ним, если между нами затевался литературный разговор, мы говорили большей частью о поэзии.

Он не любил прю, то есть прений. Длинных разговоров. Его вполне устраивали короткие реплики, и больше всего — эмоциональное отношение слушателя. Этим мы и довольствовались. В этом смысле чуткость его была феноменальной.

Однажды, приехав в Ленинград, он прочитал мне только что написанную «Анну Снегину». Строфы звонко раскатывались по большой комнате бывшей барской квартиры двухэтажного особняка у Невы, на Гагаринской улице.

И вот эта поэма словно прокатилась мимо меня по паркету. Есенин кончил, а я молчал.

— Ну и молчи! — сердито буркнул он.

Вечером мы снова встретились, гуляли по набережной Невы, неподалеку от Зимней канавки. Есенин любил это место. Оно ему напоминало пушкинские времена.

Я попытался объяснить свое молчание после «Анны Снегиной», но Есенин мгновенно перебил меня жестом.

— Да ладно... Не объясняй. Чего там... На твоём лице я вижу больше, чем ты думаешь. И даже больше, чем скажешь.

— Ну, я еще ничего не сказал! Не торопись. А если хочешь, так выслушай.

Есенин приготовился слушать.

Я говорил, что «Снегина» — хорошая поэма, что Есенин не может написать дурно. Но что фон ее эпический. И вот это обстоятельство все меняет. Говорил я главным образом о том, что мне многое ново в поэме. Например, картины революции в деревне. Что по всем строфам и в ряде сцен рассыпаны социальные страсти.

— Этого раньше у тебя не было. Здорова даны образы. Но ведь Оглоблин Прон все-таки недописан. Как его расстреляли деникинские казаки, дошедшие до Кривой... А как он умирал? Разве это не важно? Как мужики из-за земли убили «офицера Борю», мужа Анны?

В общем, у меня был свой взгляд на поэму. Я чувствовал за ней большой классический роман в стихах.

Есенин метнулся в мою сторону.

— «Евгения Онегина» хочешь? Так, что ли?.. «Онегин»?

— Да.

Может быть, эти мои мысли были абсурдны. Быть может, кое-что я уже прибавил сейчас, ведь воспоминания не протокол. Но я твердо помню, что мы долго разговаривали на гранитной набережной, гуляя взад и вперед. Мне помнится, как я говорил, что «Снегина» стала бы шедевром, если бы...

Критика в общем признала ее и до сих пор считает одним из лучших революционных произведений Есенина. Возможно, она и права, и я субъективен. Но в тот вечер мы еще не знали, что скажут критики, и руководствовались лишь своими мнениями.

Помню, как Есенин стал задумчив. Он умел слушать, а не только соглашаться с благожелательными, эмоциональными, вкусовыми оценками.

Мы вернулись в квартиру на Гагаринской. В передней на подоконнике были небрежно брошены черный плащ, черный мятый цилиндр. При мне Есенин никогда не надевал этого наряда. Я тут же вспомнил литературное общество «Колос» и «кафтанчик»...

Есенин перехватил мой взгляд, иронически усмехнулся.

— Привез зачем-то из Москвы эту дрянь! Цилиндр надеть, конечно, легче, чем написать «Онегина». Ты прав... Но... Нет уж... Что делать? Пусть останется в «Снегиной» все так, как было.

На искренности всегда держались наши отношения. Не помню, чтобы он лицемерил, чтобы своим товарищам он говорил дежурные любезности.

Кстати, он с откровенностью проявлял свое отношение к Маяковскому. Таким же откровенным был с ним и Маяковский. Они, конечно, не были друзьями, они были полярны, но через год после смерти Есенина, по-моему, лишь один Маяковский высказал истинное отношение к поэту Есенину в стихотворении «Сергею Есенину». Мне подчас кажется, что стихи «Сергею Есенину» — не стихи... Это воистину —

«...в горле
горе комом...»

* * *

О Есенине при его шумной жизни ходили всякого рода легенды. Вернее, «лыгенды», как называл всякого рода сплетни Лесков. Ходят они и теперь. Я предпочел бы не распространяться на эту тему. Есенин, конечно, не был ангелом, но я предпочитаю следовать не за распространителями дурной славы, которая сама бежит, а за Анатолем Франсом. Франс очень верно и мудро говорил о Верлене:

«Нельзя подходить к этому поэту с той же меркой, с какой подходят к людям благоразумным... Он обладал правами, которых у нас нет... Он стоял несравненно выше нас... И вместе с тем несравненно ниже нас... Это было бессознательное существо... Но это был такой поэт, который встречается раз в столетие...»

Я верю в то, что это же самое вполне приложимо к Есенину.

Мне трудно писать о Есенине в хронологическом порядке. Сейчас я перейду к тому, с чего мне и хотелось начать этот рассказ.

Шла империалистическая война. Собственно говоря, она уже почти прошла. Кончалась, по крайней мере для России.

Я только что вернулся в Петроград с Рижского фронта. Там, на участке батальона, которым командовал мой близкий товарищ, я случайно попал в бой. Он начался на рассвете... На болотной полосе в долине, засыпанной мокрым снегом, которая разделяла наши передовые позиции от немецких, полз туман. Одна цепь наших стрелков за другой, спускаясь в долину, исчезала в нем. Там мутным сплошным огнем вспыхивали разрывы. Немцы били из тяжелых орудий. За три дня боев от батальона осталась пятая часть. Оставшиеся отказались идти в бесплодные атаки. Начались репрессии. Многих солдат арестовали, отправили в арестантские роты, а несколько десятков человек тут же на фронте расстреляли.

Подавленный виденным, я вернулся в Петроград. Один приятель, грешивший стихами, привел меня рассеяться на Жуковскую улицу. Там, в одном из домов возле Греческой церкви, помещалось общество крестьянских поэтов под названием «Колос». В «Колосе» был вечер поэзии. Участвовали Есенин и Клюев. В ту пору эти имена мне ничего не говорили.

Дородный Клюев, с пшеничными усами, с кудрявой шевелюрой ямщика, читал свои стихи, нелепо шамая, кривляясь. Крестьян-поэтов в «Колосе» я что-то не увидел. Вместо них я приметил двух-трех молодых людей, весьма отглаженных, с удивительными проборами, да небольшую группу молоденьких танцовщиц из Марининского театра. Когда Клюеву из благожелательности поаплодировали, на эстраде появился другой поэт, обряженный так же, как и Клюев, в кафтан. Что-то прекрасное чувствовалось в его глазах и в молодом голосе, и поэзия этого поэта показалась мне очень самобытной. Почуялось, что в поле запела свирель.

После вечера я не мог удержаться и, ни о чем не думывая, отправился за кулисы, в так называемую артистическую. Мне помню, как я представился Есенину. Не помню, о чем мы стали разговаривать...

Оказалось, что мы одноклассники, сверстники.

— Ты что же, интересуешься стихами? — спросил меня Есенин: — Ты солдат?

— Нет, я студент университета. Я только что вернулся с фронта и не успел снять солдатскую форму... Я там был с подарками. Сюда же я попал случайно.

— Почему вы так одеваетесь? — вдруг после паузы бесцеремонно спросил я Есенина. — К чему этот кафтанчик и лаковые сапожки? Святочный маскарад?

— Ты думаешь, только Маяковский может носить желтую кофту?.. Садись.

Я сел на диванчик. Мы продолжали разговор, и я рассказал Есенину все, что видел на фронте под Ригой.

— Вот когда вы читали вашу «Корову»:

Не дали матери сына,
Первая радость не впрок.
И на колу под осиной
Шкуру трепал ветерок...

— мне вспомнилось иное... Я видел разбросанные по болоту трупы молодых солдат. Еще и до сих пор они там лежат. Их тоже треплет ветер, засыпает снег.

— Ужас... Я этого не испытал, — сказал Есенин и встряхнулся всем телом. — Знаешь что? Поедем ко мне.

Я поехал.

С той поры мы не виделись до осени 1923 года, когда встретились в издательстве «Круг». Есенин вернулся из поездки по Америке, Франции, Германии после разрыва

с Айседорой Дункан. Я вернулся из Англии. Мы поделились пережитым за все минувшие годы. Наше знакомство возобновилось. Но никто из нас никогда не вспоминал поэтического вечера в обществе «Колос». Не могу понять — почему, ведь оба отлично помнили об этом.

Кстати, в том же 1923 году Есенин (это было уже в Москве) однажды показал мне свою фотокарточку, на которой он был снят в солдатском обмундировании. Он выглядел на ней очень бравым солдатиком, аккуратным, не по-окопному. Помнится, будто бы он говорил мне, что служил санитаром, кажется, в каком-то госпитале Царского Села¹. К сожалению, в моей памяти не уцелели все подробности. И сейчас завел я этот разговор лишь потому, что в Литературной энциклопедии (том IV, стр. 80) о Есенине написано, что он «был мобилизован в 1916 году», а «после Февральской революции дезертировал с фронта». Мне с ним не пришлось разговаривать по этому поводу, но этот момент его биографии хорошо бы выяснить. В «Снегиной» он писал о себе: «Война мне всю душу изъела», «Я бросил свою винтовку...» Как же все это было?

* * *

1924 год, разгар нэпа. Поздний летний вечер.

Есенин вместе со мной приехал в один из кварталов Москвы, который не славился своей безопасностью. По улицам и переулкам брели разные люди, одни о чем-то споря, другие со смехом, видимо, выпившие. Тут были всякого рода подонки, продажные женщины, воры, бездомники и беспризорники. Они направлялись к Ермаковке. Так называлась московская ночлежка. Когда и мы с Есениным вошли туда же, мне вспомнилась надпись над воротами дантовского ада: «Оставь надежду всяк сюда входящий».

«Есенин... Есенин... Есенин» — слышался мне шепот. Я оглянулся. У обитателей Ермаковки наморщенные лица. В глазах светится холодное любопытство. Некоторые смотрят недружелюбно. Есенин чувствует это. Он идет по проходу между нарами, сутулясь, как писал о

¹ Ныне г. Пушкин.

себе в одном из стихотворений, будто сквозь строй его ведут.

На Есенине заграничное серое пальто, заграничная серая шляпа с заломом, обычный, как всегда, белый шелковый шарф. Но вскакивает он на первые попавшиеся ему нары, и с него будто разом сдувает всю благоприобретенную «Европу».

Он начинает чтение «Москвы кабацкой». Этим он, очевидно, задумал купить своих новых слушателей. Но чем надрывнее становился его голос, тем явственнее вырастала стена между хозяевами и гостем-поэтом. На лице Есенина появилась синеватая бледность, он растерялся, а ведь он говорил, что ни к одному из своих выступлений он не готовился так, как к этому, никогда так не волновался, как отправляясь на эту встречу.

А ведь сюда его никто не приглашал. Здесь его вообще не ждали. И когда он начал читать свой «кабацкий цикл», слушатели посматривали на Есенина одни с недоумением, другие неодобрительно.

Сейчас я думаю, что такой прием со стороны ермаковцев психологически совершенно понятен. Как могли они воспринять, да еще в стихах, весь тот бытовой материал, где все так было близко им и в то же время очевидно ненавистно...

Шум и гам в этом логове жутком,
И всю ночь напролет, до зари
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт...

Есенин мнет свой белый шарф, голос его уже хрипит, а бандиты и проститутки смотрят на Есенина по-прежнему бесстрастно. Не то что братья-писатели из Дома Герцена, в ресторане-подвальчике. Положение осложнялось. Все мрачнее становились слушатели.

И вдруг Есенин, говоря по-современному, резко поворачивает ручку штурвала.

Он читает совсем иные стихи — о судьбе, о чувствах, о рязанском небе, о крушении надежд златоволосого паренька, об отговорившей золотой роще, о своей удалой голове, о милых сестрах, об отце и деде, о матери, которая выходит на дорогу в своем ветхом шушуне и тревожно поджидает любимого сына — ведь когда-то он был и «кроток» и «смирнен», — и о том, что он все-таки придет к ней на берега Оки.

Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть...

Что случилось с ермаковцами в эту минуту! У женщин, у мужчин расширились очи, именно очи, а не глаза. В окружавшей нас теперь уже большой толпе я увидел горько всхлипывающую девушку в рваном платье. Да что она... Плакали и бородачи. Им тоже в их пропащей жизни не раз мерещились и родная семья и все то, о чем не можешь слушать без слез. Прослезился даже начальник московского уголовного розыска, который вместе с нами приехал в Ермаковку. Он сопровождал нас для безопасности. Он был в крылатке с бронзовыми застежками — львиными мордами — и в черной литераторской шляпе, очевидно для конспирации.

Никто уже не валялся равнодушно на нарах. В ночлежке стало словно светлее. Словно развеялся смрад нищеты и ушли тяжелые, угарные мысли. Вот каким был Есенин. С тех пор я и поверил в миф, что за песнями Орфея шли даже деревья.

Второе превращение Сергея Есенина случилось в этот же вечер, после Ермаковки, у него на квартире.

Было поздно. Я поехал к нему ночевать. Сестра Есенина Катя радушно встретила нас и собралась готовить ужин.

— Погоди... — закричал ей Есенин. — Мы сперва должны принять ванну. Мы были знаешь где? Мы могли там подцепить черт знает что...

Утром за завтраком он сказал мне:

— Я долго, очень долго не мог вчера заснуть... А как ты? Ты помнишь, что сказал Лермонтов о людях и поэте:

Взгляни: перед тобой играючи идет
Толпа дорогою привычной.
На лицах праздничных чуть виден след забот,
Слезы не встретишь неприличной...

— Хорошо, что мы вчера встретили людей не праздных, а сраженных жизнью. Не с праздничными лицами, но все-таки верящих в жизнь... Никогда нельзя терять надежду, потому что...

Он намеревался прибавить еще что-то, однако по своему обычаю отделался лишь жестом.

Однажды с Есениным мы ехали на извозчике по Литейному проспекту. Увидев большой серый дом в стиле модерн на углу Симеоновской (теперь ул. Белинского), он с грустью сказал:

— Я здесь жил когда-то... Вот эти окна! Жил с женой в начале революции. Тогда у меня была семья. Был самовар, как у тебя. Потом жена ушла...

Я не знаю, о ком он говорил. Я никогда не расспрашивал Есенина о его личной жизни. И он никогда не любил рассказывать об этом. Я не раз задумывался о его романе — уже двадцатых годов — с Айседорой Дункан. Не было ли это попой? Любил ее Есенин или нет? Думаю, любил. Эта была великая артистка, разрушавшая ложные, по ее мнению, каноны классического французского балета. И, очевидно, это был большой человек. Об этом говорят последние страницы ее жизни.

Приехать совершенно бескорыстно в Советскую Россию, едва оправившись от исторических пожаров, нужды и голода... Приехать в «большевистскую» Москву с намерением бескорыстно отдать ей свой талант — это совсем не то, что современные гастроли зарубежных артистов. Поверить в эту Россию мог человек лишь незаурядный. Вспомните те годы... Презреть богатство, свою мировую славу, которая, правда, была уже на закате, все-таки не просто... Но и не в этом дело. Она могла жить в полном довольстве, спокойно. Но она говорила в те годы, что не может так жить. Что только Россия может быть родиной не купленного золотом искусства.

Долгие годы и до самой смерти восторженно относился к ней Станиславский¹. И разве Есенин не мог не почувствовать ее обаяние? Неоднократно он говорил мне о ее танцах. Их недолгая совместная жизнь оказалась горькой. Но какая полынь отравила этот роман, я не знаю...

На берега Невы приехал А. Я. Таиров с Камерным театром. Он позвонил мне из гостиницы «Англетер» и сказал, что ждет меня к обеду, на котором будет и Айседора Дункан. Мне очень захотелось пойти. Я никогда в

жизни ее не видел. Но у меня сидел Есенин, и я сказал Таирову об этом.

— Хочешь прийти с ним? Ради бога, не надо. Не зови его, будет скандал. Изадора и он совсем порвали друг с другом.

Между прочим, все близкие Дункан и Есенин тоже, всегда называли ее Изадорой... Это было ее настоящее имя.

Есенин, сидевший рядом с телефоном, очевидно, слышал весь мой разговор с Таировым и стал меня упрямить, взять его с собой. Я протестовал. Но в конце концов все вышло так, как он хотел.

В номере Таирова Есенин не подошел к Айседоре Дункан. Этому способствовало еще то, что кроме Таирова, А. Г. Коонен и Дункан за обеденным столом сидели некоторые актеры и актрисы Камерного театра. Среди них и затерялся Есенин.

Я смотрел на Дункан. Передо мной сидела пожилая женщина, как я понял впоследствии — образ осени. На Изадоре было темное, как будто вишневого цвета, тяжелое бархатное платье. Легкий длинный шарф окутывал ее шею. Никаких драгоценностей. И в то же время мне она представлялась похожей на королеву Гертруду из «Гамлета». Есенин рядом с ней выглядел мальчиком... Но вот что случилось. Не дождавшись конца обеда, Есенин таинственно и внезапно исчез. Словно привидение. Даже я вначале не заметил его отсутствия. Неужели он приезжал лишь затем, чтобы хоть полчаса подышать одним воздухом с Изадорой?..

Быть может, нам кое-что подскажет отрывок из его лирики тех лет:

Чужие губы разнесли
Твое тепло и трепет тела,
Как будто дождик моросит
С души, немного омертвелой.
Ну, что ж! Я не боюсь его.
Иная радость мне открылась.

Так мало пройдено дорог,
Так много сделано ошибок.

Быть может, и этот роман был одной из его ошибок. Быть может, он приезжал в «Англетер», чтобы еще раз проверить себя, что кроется под этой иной радостью,

¹ См.: К. С. Станиславский. Собр. соч., т. 7.

о которой он пишет... Во всяком случае, я верю в то, что эта глава из жизни Есенина совсем не так случайна и мелка, как многие об этом думали и еще думают.

* * *

О его стиле. Слушая большинство есенинских стихов в его чтении, я часто говорил себе: «Какая лапидарность...» А некоторые поэты шептали тогда, что все эти стихи только цыганщина. Между прочим, Есенин сам виноват в этой молве. О ряде своих стихов еще в «Анне Снегиной» он сказал, что они «по чувству — цыганская грусть». Но ведь он понимал это по-блоковски. Конечно, он шел за Блоком. Я скажу лишь одно: когда еще бурлили акмеистические, символистские, имажинистские, конструктивистские и прочие «страсти», он уже перешагнул через них, а также через свою «цыганскую грусть», как через лужу. Он стал писать как большой русский поэт, идущий от классических традиций. И в то же время был оригинален. Но ему был близок строй классической русской поэзии.

Классическая форма
Умерла.
Но ныне, в век наш
Величавый,
Я вновь ей вздернул
Удила.

Под этими безукоризненными строками мог бы подписаться Пушкин. Прошу понять это как метафору. Может быть, кое-кому покажется, что я Есенина слишком возвеличиваю. Может быть... Это все-таки лучше, чем преуменьшать его значение. Его стихи прожили почти полвека. Надеюсь, и в следующие 50 лет не умрут.

Мне часто вспоминается его драматический эпос. До сих пор не могу забыть «Пугачева». Монологи Емельяна Пугачева и «уральского разбойника» Хлопуши, сочащиеся кровью, страстью, когда-нибудь люди услышат с подмостков какого-нибудь театра. И это будет подлинно народный и романтический театр. Именно он таится в этой крестьянской и поистине революционной драме. Пусть в ней, как кто-то говорил, «мало истории». Но ведь и у Шиллера и Шекспира ее было немного. Предвижу воз-

ражения, что поставить ее очень трудно. Да, нелегко. Но легкого пути не знает настоящее искусство. Когда я читаю очерк Горького о Есенине, именно о том, как Есенин «подавал» Пугачева, мне думается, я не одинок в своих ощущениях. Есенин действительно так читал эту драму, что она была видна и без декораций, без актеров, без театральных эффектов.

Мне помнится, как в 20-е годы, после смерти Есенина, В. Я. Софронов¹ пробовал работать над материалом этой драмы. Это были еще робкие попытки, но и тогда уже они были значительны. И мне чувствовалось, эта драма — не только для чтения...

* * *

Вечером в конце ноября 1925 года в моей квартире раздался телефонный звонок. Звонил Есенин. Он говорил о встрече.

— Приходи сейчас, если можешь...

Я не мог.

Несколько позже, но в этот же вечер он ждал меня у Садофьева.

Когда я пришел, гости отужинали, шел какой-то свой спор, и Есенин не принимал в нем участия. Что-то очень одинокое сказывалось в той позе, с какой он сидел за столом, как крутил бахрому скатерти. Я подсел к нему. Он улыбнулся.

— Я только что, совсем недавно кончил «Черного человека»... Послушай.

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен!
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль

Уже этим началом он сжал мне душу, точно в кулак. Почему-то сразу вспомнился «Реквием» Моцарта. Я не могу сейчас воспроизвести весь наш разговор точно. Помню, что Есенин шутил и был доволен, что проверил поэму еще на одном слушателе. На следующий день мы решили снова встретиться. Он обещал приехать ко мне

¹ Народный артист СССР, умер в 1960 г.

к обеду. Но я его так и не дождался. Мне сказали, что он уехал в Москву, будто сорвался.

Прошел почти месяц. Помню, как в рождественский сочельник (тогда праздновали рождество) кто-то мне позвонил, спрашивая — не у меня ли Есенин, ведь он приехал... Я ответил, что не знаю о его приезде. После этого два дня звонили, а я искал его, где только мог. Мне и в голову не пришло, что он будет прятаться в несчастном «Англетере». Рано утром на третий день праздника из «Англетера» позвонил Садофьев. Все стало ясно. Я поехал в гостиницу.

Санитары уже выносили из номера тело Есенина. Вечером гроб с телом стоял в Союзе писателей на Фонтанке. Еще позднее дроги повезли Есенина на Московский вокзал. Падал снег. Толпа была немногочисленной. Еще меньше было народа на железнодорожной платформе возле товарного вагона. Вот все, что я помню... Нет, еще два слова.

Через некоторое время пошли разговоры, статьи: кто виноват в происшедшем? Поздно было искать, когда уже все случилось. Стихи Есенина и его жизнь не раз могли внушить тревогу, но почему-то все это воспринималось лишь в поэтическом аспекте. Справедливее всех написал А. В. Луначарский: «Все мы виноваты более или менее, надо было крепко биться за него...»

Немало лишнего, немало противоречий в своем образе создал он сам. Вспомним хотя бы его «Исповедь хулигана»... Но этот же человек всегда с подлинной глубиной, чистотой, романтизмом писал о любви. Он сам себя в своих стихах назвал «последним поэтом деревни». Но разве он мало писал просто о жизни? Разве, раскрывая свое собственное сердце, он не писал просто о человеке? Или, и это самое важное, о судьбах своего народа, Родины... Он же воспел ураган революции и капитана ее — Ленина. Это был превосходный русский поэт. Спор о нем будет вечен. Прав Горький, сказавший о Есенине, что он пришел в наш мир либо запоздав, либо преждевременно.

Декабрь 1960 г.



СОДЕРЖАНИЕ

СЕВЕРНАЯ АВРОРА

Роман

Часть первая	5
Часть вторая	143
Часть третья	215
Часть четвертая	271
Часть пятая	369

РАССКАЗЫ. ВОСПОМИНАНИЯ

Суровый день	439
Шесть дней	443
Черный хутор	455
Тоска	463
О бывшем купце Хропове	471
Потерянный Рембрандт	510
Вечер в Доме искусств	544
Закат	555
Джим	568
Тридцать два ветра	580
Дед и внук	584
А. Н. Толстой	594
О Есенине	608

Николай Николаевич Никитин
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ, Т. 2

Редактор А. Рулева. Художественный редактор А. Гасников. Технический редактор В. Алексеева. Корректор Э. Урицкая. Сдано в набор 5/VII 1968 г. Подписано к печати 25/IX 1968 г. Тип. бум. № 2. Формат 84×108¹/₃₂. 19,5 печ. л. = 32,76 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 32,474. Заказ 1338. Тираж 50 000 экз. Цена 1 р. 12 коп.

Издательство „Художественная литература“, Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр. 28.
Ленинградская типография № 2 имени Евгения Соколовой Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Измайловский пр., 29